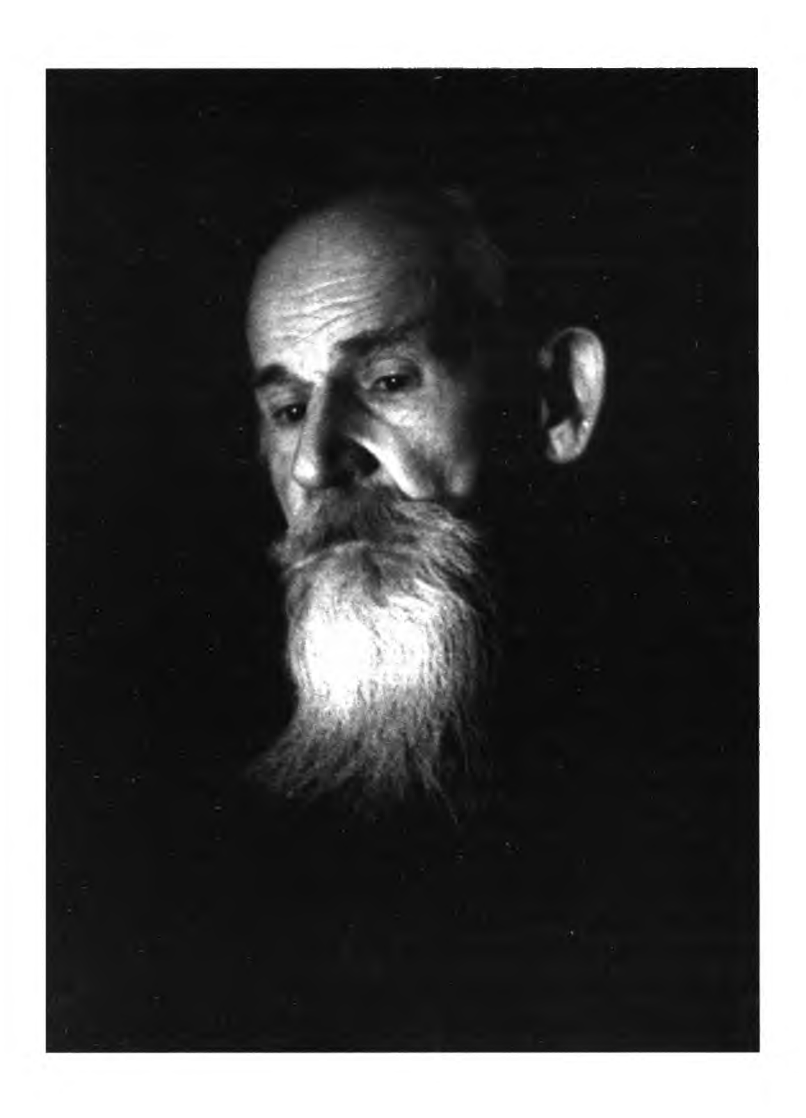
Борис Шергин

Праведное солнце

Дневники разных лет

1939 – 1968

ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ



ПРАВЕДНОЕ СОЛНЦЕ

БОРИС ШЕРГИН

ДНЕВНИКИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ
Санкт-Петербург
2009

Борис Викторович Шергин

Праведное солнце. Дневники разных лет. СПб.: Библиополис, 2009. — 656 с.

ISBN 978-5-7435-0287-5

Составление, биографический очерк, подготовка текстов и примечания — А. В. Грунтовский.

Подготовка текстов дневников, статья «Сокровенный Шергин», краткая библиография — Е. Ш. Галимова.

Приносим глубокую благодарность за помощь в подготовке этой книги: Юрию Федоровичу Галкину, Александру Александровичу Горелову, Борису Михайловичу Егорову, Юрию Ивановичу Марченко.

В данном издании представлены дневники замечательного русского сказителя и писателя Бориса Викторовича Шергина (1893–1973) за 1939–1968 гг. Ряд дневниковых записей публикуется впервые. В приложении приведены письма и «автобиографии» писателя, а также воспоминания о нем.

Рисунки на стр. 35 (дом, в котором жил Б. В. Шергин в деревне Хотьково) и на стр. 345 (портрет Б. В. Шергина) —Ю. И. Коваль.

Остальные рисунки — Б. В. Шергин.

Фото Б. В. Шергина на стр. 2 — А. А. Афонин.

ISBN 978-5-7435-0287-5

СОКРОВЕННЫЙ ШЕРГИН

Много раз доводилось замечать: имя Бориса Шергина звучит чуть ли не как пароль, по ответному отклику на который узнаешь «своих» — тех, кто читал его книги, а значит, и любит их. По-другому не бывает: или человек вообще ничего не слышал о Шергине и не читал его, или читал — и уж тогда сразу и навсегда полюбил.

Чувство, которое испытываешь, оказавшись внутри художественного мира Бориса Шергина, точнее всего может быть охарактеризовано любимым словом писателя — *радость*. И это состояние так драгоценно, что человек, открывший для себя его книги, начинает ощущать себя обладателем несметных сокровищ, которыми ему тут же хочется поделиться с другими. И с чем большим числом людей поделишься этой радостью, тем больше возрастает это «богатство неиждиваемое». Характерно, что даже в официальном тексте телеграммы, направленной Шергину секретариатом правления Союза писателей СССР в связи с семидесятилетием художника, говорилось именно о радости: «...Вы принесли много радости... своими самобытными книгами». А Юрий Шульман сумел передать знакомое многим ощущение того, что «под сенью» творчества Шергина «так неожиданно счастливо нашему сердцу».

Эта радость — нечто большее, чем эстетическое удовольствие, хотя и его тоже, конечно, испытываешь, и его доставляет любая фраза Шергина, любое его слово — величавое, ориентированное на традиции

древнерусской книжности и церковно-славянского языка («Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде»), или народно-поэтическое, фольклорное («Нету слез против материх. Нет причитания против вдовьего»), или живое, озорное, разговорное («Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать. Будто ты колокол соборный»). Именно за слово, которое критики величали, пользуясь эпитетами Шергина, и «красовитым», и «самородным», и «животворным», в первую очередь ценили и хвалили писателя в советское время. В его слове видели «благородную простоту, житейскую мудрость и искрометный юмор», его творчество характеризовали как «какое-то сказочное чудо по языку, неизреченное диво по живописи речевой», а самого писателя именовали «волшебником русского народного слова», «российской словесности рожденным сыном». «Чтение произведений Шергина, — писал А. Топоров, — сущий пир горой для ценителей живого русского языка!»

Всех этих восторженных отзывов язык писателя заслуживает, и больше того заслуживает. Но все-таки, наверное, не только об удивительном слове писателя думал народный художник России Иван Ефимов, когда утверждал, что не знать Шергина — «это непоправимое несчастье».

«Радость», «веселье сердечное» — состояние, знакомое и героям Шергина, и самому автору, и его читателям. Оно не имеет ничего общего с чувством удовольствия и возникает не в момент отдыха, игры, развлечения. То состояние, которое шергинские герои или повествователь называют радостью, необычно (точнее — необыденно) и приковывает к себе внимание хотя бы потому, что часто сопровождается слезами, связано со страданием, а иногда и с последним —

смертным — страданием. Кирик «лежит со смертной стрелою в груди, *весел* и тих». Плачут бывалые поморы, читая вырезанную на деревянной столешнице эпитафию, и в это время «неизъяснимая, непонятная *радость*» охватывает их. «Слезы до пят протекают» у Егора, радостно торжествующего над собой светлую победу. Радость слита со слезами и в рассказе «Миша Ласкин». Слезы становятся внешним проявлением того внутреннего перелома, который происходит в душах героев, вернее, того перевала, который, трудясь и мужая, преодолевает душа. Это тот «радостьтворный плач», о котором говорил Иоанн Лествичник. Радость шергинских героев всегда жертвенна, она дается им огромным трудом души, часто соединяющимся и с не менее тяжелым физическим трудом. То, что истинная радость происходит от жертвы, — это закон духовной жизни, хорошо известный отцам церкви. Об этом, как об основе аскетического подвига, неоднократно напоминает православная патристика. И этот закон, по которому живут шергинские герои, является их внутренним законом.

...В одном из самых совершенных рассказов писателя — «Для увеселенья» — переплетаются мотивы радости и гибели, а смысловое наполнение того состояния, которое названо Шергиным «весельем сердечным», раскрывается в этом произведении во всей своей глубине. Братья Личутины, обреченные погибнуть на затерянном в океане маленьком каменистом островке, рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету переменья не будет». Цитируя эти слова и сравнивая поведение поморов Ивана и Ондреяна с биологической борьбой за существование, которая приве-

ла к каннибализму героев повести Эдгара По, оказавшихся в сходной ситуации, Юрий Галкин пишет: «Это была первая их мысль, мысль не случайная, не по благородному озаренью возникшая, но мы ясно слышим в ней тот “превосходный разум” традиций и “Правильников” прежнего времени, озабоченных строительством жизни, за размышлением братьев стоит не дикий зоологический закон, а закон нравственный, который уже утвержден в душе братьев с младенчества. И потому рассуждение величаво-спокойно, твердо и нормально, и оно определило все их дальнейшее существование на безнадежной каменистой грядке среди холодного моря».

Часто, анализируя этот рассказ, исследователи делают акцент на том, что поведение братьев Личутиных перед смертью — это гимн художеству, торжество творческого начала в человеке. Это утверждение верно лишь в том случае, если творчество понимать расширительно — как деятельность по устроению души, самостроение, плодами которого являются, конечно, не только сделанная «высокой резьбой» эпитафия и узоры на столешнице, ставшей надгробьем. Эти плоды не материальны, но реальны и, уж конечно, гораздо более долговечны, чем доска.

В рассказе есть еще два героя — капитан Лоушкин и повествователь. И то, что происходит с ними, не менее важно, чем поведение и душевное состояние Ивана и Ондреяна. То «увеселенье», ради которого младший из братьев Личутиных «ухитрил раму резьбой», спустя четверть века после гибели двух «рядовых промышленников» достигло сердец двух других поморов, приплывших «на заветный островок»: «Мы шапки сняли, наглядеться не можем... Поплакали и отерли слезы: вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох

от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца.

Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять!.. Где изъяснить!..»

Но именно в этой части рассказа окончательно проясняется, о какой радости, о каком веселье пишет Борис Шергин. Это не эмоция, а нечто другое. Эмоциям свойственна переменчивость: радость сменяется печалью, грусть — раздражением, скука — весельем и т. д. Радость, которую испытывают шергинские герои — состояние не столько душевное, сколько духовное. Она никуда не исчезает и остается с человеком навсегда, более того — и по смерти его изливается на других людей. Не случайно рассказ «Для увеселенья» завершается словами: «Боялись — не сронить бы, не потерять бы веселья сердечного. Да разве потеряешь?!»

Радость — это награда, дающаяся человеку за труд, за преодоление своего «я», за освобождение от «самости», за жертву. И человек получает в дар гораздо больше, чем отдает, получает именно как дар. Получает душевный мир и спокойствие, реальное ощущение бессмертия души и торжества жизни. Чем значительней поступок, чем больше пришлось преодолеть в себе, тем значительнее радость, а душевный подвиг, совершенный человеком, наделяет радостью и многие поколения живущих после него.

Характерно, что исторические словари русского языка фиксируют как однокоренные, происходящие от общеславянского корня «рад» слова «радоваться», «радование» и «радеть» — заботиться, трудиться. Радость и труд изначально были слиты в сознании наших предков, и только современные словари и современные люди забыли это родство, отождествляя радость и ве-

селье с праздностью, развлечениями, добыванием удовольствия. Произведения Бориса Шергина доносят до нас истинное значение этих слов, даруя нам возможность ощутить вместе с героями писателя чистую жертвенную радость и животворное сердечное веселье.

...Самые сокровенные строки Бориса Викторовича Шергина — его дневниковые записи — стали достоянием читателя уже после смерти автора, а большая и наиболее ценная их часть опубликована лишь в последнее десятилетие. Только на страницах дневника Шергин выразил прямо и открыто, чем жила, чем питалась его душа: «Мое упование — в красоте Руси. И, живя в этих “бедных селеньях”, посреди этой “скудной природы”, я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту... Единственную правду, единственный смысл жизни, “единое на потребу” знаю и вижу только во Христе и в Церкви. Вне Церкви и Христа — ложь, мрак и смерть». Публикаторы этих дневников ощутили их удивительную особенность: «Мы всегда чувствуем у Шергина присутствие слушателя, собеседника, ощущаем дыхание живого разговора», объясняя это тем обстоятельством, что писатель осознал полезность своих дневников и другим людям — «как способ спасения от безбожного века, как путь самосохранения и внутреннего религиозного, нравственного очищения и совершенствования». Но более всего своей предельной открытостью, абсолютной искренностью записи Шергина напоминают исповедь, — публичную, на миру, но обращенную, конечно, прежде всего не к людям, а к Богу.

А нам, живущим в современном бедламе, чтение шергинских дневников — глоток живой воды, укрепляющее и вразумляющее свидетельство о Господе: «В часы уныния, мрачности душевной пропадает для тебя благоухание веры, не слышишь блаженной му-

зыки оной, а коснется сердца просветленье, откатится плита оная гробовая, и — опять добро тебе жить и с твоими болезнями тяжкими. Плюешь на них: Господи! Что там скорби земные — ведь у меня есть сокровище неистощимое, богатство есть некрадомое, есть у меня счастье, при котором день и ночь ликовать надобно. Есть у меня вера Христова! <...> О, милость Божия о нас! Песчинка я, пылинка я, ничто я перед этим великим, необъятным миром, перед Богом, перед церковью Божией, а оно всё в моем сердце вмещается. Что есть я? Убогое тело, поглядеть не на что. Много ли я места занимаю? Весь я с этот пень. А смотри-ка, как пречудно мне раскрывается вера: не разыскивай, говорит, где Он есть и где Его обитель. В верных сердцах Он почивает, паче херувимского престола. <...> Бог во мне. А Бог — всё. Значит, всё во мне, и небо во мне. Свет весь во мне. Эти зори небесные, эти весны. И праздники Божии все во мне. А что твое, ты тем обладай, радуйся над тем. Господь, давший тебе эти таланты, спросит с тебя, что приплодил...»

Начнешь цитировать эти записи, и так трудно прерваться, остановиться, поставить точку. И при этом особенно остро ощущаешь, как важно было бы издать Шергина целиком, в том числе и те материалы, которые до сих пор хранятся в частных и государственных архивах. Так нужно именно сейчас, современным читателям, наследие Шергина, так необходимо издавать его и для детей, и в виде «избранного», так много может он дать нам, сегодняшним. И, конечно, пришло время подготовки собрания сочинений Шергина — писателя, названного Владимиром Личутиным «наставником к совестной жизни».

Книги Шергина, посвященные не прошлому, а непреходящему, «единому на потребу», дарящие нам радость, «веселье сердечное», указывают единственно

верный путь и для каждого из нас, и для нашей многострадальной России. Путь, вектор которого можно обозначить еще одним любимым шергинским словом — «доброчестный». Именно так — доброчестно — живут герои его рассказов. Так призывает он жить и нас.

В 1949 году гонимый, не печатавшийся, жестоко нуждавшийся и часто и тяжело болевший Борис Шергин записывал в своем дневнике: «В мире сем род человеческий влачит жизнь посреди горя, несчастий, бед, посреди нужды, лишений, болезней и смертей... “Мир во зле лежит”. Слезы кругом. Похмельное любленье плоти, как воск тает, как чад рассеивается в скорбях и печалях жизни. Кая житейская сладость печали непричастна? Кая ли слава стоит на земле непреложна?

Есть другая красота, нетленная, вечная. Есть красота, в сиянии которой тонет всякая скорбная тьма нашего существования. Слышишь ли Иоаннов пасхальный благовест: “И свет во тьме светится и тьма его не объят”... Сергий Радонежский, святая Русь, вера христианская. “Свете тихий”. Тихий, но всемогущий. Тихий, но тишина эта покрывает и в ничто прелагает визг, лязг и скрежет бедственного нашего житья-бытья».

Об этой красоте, об этой радости, об этом свете рассказывает нам своим тихим голосом Борис Шергин. Нужно только услышать его.

Е. Ш. Галимова

ПРАВЕДНОЕ СОЛНЦЕ
(Биографический очерк)

«Зачинается слово от седого Океана,
От Архангельских песенных рек.
Есть у седого океана Белое море.
У Белого моря есть Архангельский город,
Есть Архангельска Двина.
Летами над городом день и ночь простирает
власы красное солнце.
А в зимнюю пору неизреченно сияют сполохи
огненным венцом.
Светил же мне в полуночной стране и третий
свет истинный.
Как поставлено на небеси праведное солнце
таяти и согревати моря и реки, болота и озёра,
таково мне было на земли материнское
многоласковое слово, благостный взгляд, тихий
песенный голос.
Ныне это солнышко да закатилосе,
ты погасла моя звезда полуночная!
Ох, и крепко спит да моя матушка
и в Архангельской да во сырой земле!
Двина-мати,
Море отец, синя пучина,
Возьми мою тоску и кручину.
И выйду я на море, на синее,
Посмотрю на раздолье широкое:
отец правит судном.
Запой отец!
Уймись печаль человеческая.
Над морем плывут
облака широки как лодейные парусы.
Поёт отец о морской ли глубине,
о небесной ли высоте.

О песня, архангельская слава!
По синю морю поют плывущи,
и по матёрой земле бредут поющи.
По большой земле, полуночной тундре
летят земные крылья — олени!
Поёт самоедин — пошел с олешками в Канскую
землю на летованье.
Поёт у прялки прядея,
Поёт ткея у кросен.
И после матери — златых словес
помяну Пафнутия Осиповича
Анкудинова.
Тот по летам ходил морем в Норвегу,
а зимами мастер был неводов и сетей
ладить.
От него изучился сказывать старины.
Ещё же и красному знаменному пению ходя
по божницам.
И юн был — всего не упамятовал, а теперь
слюбилося и хочется всё поведать, да далеко
спрашивать.
И третью наведу на память Наталью Петровну
Бугаеву.
Которая почасту гостила у нас в Архангельском городе,
перстами прядущая волну,
а устами ведущая стих об Иосафе, о Пустыне,
и иные без числа.
И добре потрудившись, в песнях скончала жизнь.
О, Архангельская страна!
в которой древо жизни моея поется!
…………………………………………
А я был хо́тен до старин и стихов,
и стало мне то дело в примету.
Сберёг бы̣лины до Москвы, ино самому мило.
О, былина! Детям забава, юным утеха,
Старым отдых, работным покой!
И ныне часть собрали в малую книжицу

Да преложили напев.
И кто ноту знает добро бы ему и
о том порадеть, чтобы напиться
песни от живых сказителя уст.
Поючи простирайтесь на тот
архангельский язык.
Пой по старине: Держи ясак[1]
постановной.
Забудь дневную печаль.
Поючи держи в уме студёное северно море,
архангельски текучие дожжи
и светлые туманы.
Тогда станут былинные словеса
поющим и послушающим не на час,
не на неделю, на век человеческий».

Так зачинал, словно былину запевал, Борис Викторович Шергин свою первую книжицу, сам и изукрасил её по-иконному. А было то в 1924 году, и был он летами молод — 31 год всего, а разумом —велик. Самое главное, что нужно, всё сказал: родителей помянул, «домоправительницу» — няньку свою — вспомнил; остальное читай в былях да старинах, да ещё вот дневники — летописание нынешнего веку.

О малом сказать осталось...

«Родитель мой был старинного роду. Прадеды наши помянуты во многих документах Устюга Великого и Соли Вычегодской...» «Всё мне Устюг Великий на ум приходит, кабыть, я в нём. Думается, что в теле мне там не бывать, а по исходе душа, небось, слетает тамо на Двину мою тихославную... Кабыть, ночь светлая июньская. Взор умный летит над лесами; конца им нету. Реки виются, отражая светлое северное небо. И вот стоит дивный город: одни храмы Божие белые.

[1] *Ясак постановной* — установленный напев.

Древний, таинственный град, Устюг Великий. Родина отечества. Устюг Великий, Соль Вычегодская: что сказку вспоминал отец мой и тётка.»[1]

Устюг (буквально — устье Юга, реки Юг) был в древности воротами Руси на Север: из Сухоны в Двину. А род Шергиных издревле известен в Великоустюжских землях. Ю. М. Шульман в своей книге подробно излагает родословную Бориса Шергина, начиная с 1686 года[2]. При этом возводя её к некоему татарину Буге, по прозвищу Шерген (балабол), крестившемуся в 1253 году и ставшему впоследствии местночтимым подвижником благочестия. Позже большинство представителей рода Шергиных обозначатся в дошедших до нас документах священниками. В Великом Устюге есть улица, речка, озеро и село Шергино. Но действительно ли род Шергиных восходит к Буге Шергéну? Нам кажется более вероятным искать не татарского, а русского объяснения фамилии: от шéрга (отмель), шéргать (задевать, цепляться). Вполне поморская фамилия.

Родоначальником же «генеалогической ветви, ведущей напрямую к Борису Шергину», Ю. М. Шульман называет Ивана Шергина (вторая пол. XVII в.) — сына устюжского священника и зачинателя династии Шергиных-солепромышленников. Дед писателя Василий Шéргин был старостой издольщиков-половинщиков в деревне Серегово на реке Выми. Там же в 1850 году родился и отец Бориса Викторовича — Виктор Васильевич.

«В 1865 году, по смерти моего деда, бабушка оставила родину навсегда и... уехала в Город к морю. У моря началась трудовая отцова жизнь. Почти всю жизнь он плавал на мурманских пароходах. А матери

[1] Дневниковая запись от 18.07.1946.

[2] *Шульман Ю. М.* Борис Шергин: запечатленная душа. М., 2003. С. 18.

моей предки (и дед мой по матери) век служили в Адмиралтействе при корабельных верфях»[1]. Дед матери, Михаил Старовский, и её отец, Иван Михалыч, были парусными мастерами Соломбальской верфи. Род Старовских принадлежал к староверам. Мама писателя, Анна Ивановна, была большой рукодельницей и любительницей чтения старинных книг.

Борис Викторович Шéргин родился 16(28) июля 1893 года в Архангельском городе в собственном доме на Кирочной (ныне К. Маркса) № 15. Дом не сохранился... Кроме Бориса в семье было еще две девочки: старшая, сводная сестра (от первого брака отца), — Нина и младшая — Лариса. «Что из детства-то помню: отцову избу, маткины песни...» — это из «Егор увеселялся морем». Многое, очень многое отозвалось потом в песне и в прозе, помянулось в дневниках...

Отец брал с собой сына в море, пел песни, увлекался живописью. Пела и сказывала мать, родственники, гости...

Семейный уклад, песенный, поэтический и, вместе с тем, старообрядческий, книжный, со своей не менее замечательной поэзией книжного слова и истинной веры, с малых лет запали в душу Бориса: «У нас полон дом был древних икон... Иконы, почитание икон, поклонение иконам... Век я любил, чтобы лики святых были в комнате, никогда не прятал их, век теплю лампадку». «Память святых соловецких угодников, почитание преподобных Зосимы, и Савватия, и Германа, и прочих соловецких святых, любовь к ним... О, какое драгоценное наследие вручила мне моя милая родина, возлюбленный мой Север... Смала в родной семье я привык слышать святые имена Зосимы и Савватия, привык видеть икону их, Соловецкий патерик

[1] Дневник от 14.04.1946.

любимейшая моя была книга, а литографированные картинки его первою моею были картинною галерееею. И начал я копировать их, едва научась держать в руках карандаш»[1].

Как в древнерусской книжности сама словесность и книжная графика были неразрывным единством, так и в сознании юного Бориса живопись и сказительство явились единым чудом — быть может, лишь отражая разные грани одного дарования. Также и сказительство народное: «слово устное и слово письменное» — дадены были как нечто единое, словно из допетровской Руси ещё дошедшие голоса... Нерасчлененное, истинное бытие — то, что мы ныне, не совсем осознавая глубин, называем «традицией».

Суров край и щедр, и люди ему под стать, и слово северное русское, жемчужное, родниковое... Друзья отцовы — корабелы да мореходы, судеб и песен своих слагатели, «дружина отцова», учителя и жизни, и художества: М. О. Лоушкин, П. О. Анкудинов, К. И. Вороушин — о многих из них годы спустя, поведал Шергин в своих рассказах. Гостил в дому и Степан Григорьевич Писахов — сказитель, художник, мореплаватель.

«...Шергин до крайности поразил учителей-экзаменаторов при поступлении в подготовительный класс Архангельской гимназии (1903) и был обласкан их похвалами. Учитель Закона Божия о. Зосима, как второй Державин, обнял его и со слезами на глазах благословил»[2]. Притом учился Борис тяжело — к иным наукам влекло его сердце... Ну, да ведь недостатка в них не было.

Борису было двенадцать, когда отошел ко Господу отец (1905). А в стране — смута... Но вместе с тем, до Архангельска докатилось то, о чем он впоследствии

---

[1] Дневник от 9.08.42.

[2] *Шульман Ю. М.* Борис Шергин: запечатленная душа. С. 50.

размышлял в дневниках. Накануне революции русская интеллигенция неожиданным образом начала открывать для себя неведомую доселе страну — Россию — с её песнями, обрядами, храмами, иконами. То, что казалось неприметным, малозначительным, примитивом каким-то, а то и дикостью, — вдруг обернулось и открыло свою красоту и значение. Не только в столицах, но и в Архангельске начинают выходить книги, журналы, статьи о народной культуре, организуются собрания, общества изучения, краеведческие музеи. «...Я приходил домой как заколдованный... наглядевшись, налюбовавшись, точно пьяный, охмелевший от виденных красот народного искусства, у себя резал, рисовал, раскрашивал, стараясь воспроизвести виденное в музее»[1].

На этом художественном поприще обрёл Борис своих первых друзей-единомышленников: известного впоследствии художника Виктора Постникова и Павла Кузнецова, о коем сорок лет спустя сокрушался в дневнике: «...обнял бы твои ноги со слезами благодарности. Ты был богаче меня, талантливее. Вместе сыскали мы древнюю красоту... “то, что едино есть на потребу”... Ты весь был светлость, весь чистота поднебесная, весь утро весеннее, но и теперь день невечерний»[2]. Среди явлений, определивших дальнейшую судьбу, поминает Борис Викторович картины и статьи Билибина, репродукции Васнецова, Нестерова, книги Пришвина[3].

В 1912 году «...гимназические рисунки Шергина приметил московский художник П. И. Субботин, приехавший в Архангельск “на этюды” и снимавший у Шергиных комнату... Субботин горячо убеж-

[1] *Шергин Б. В.* Поэтическая память. М., 1978. С. 48–49.

[2] Дневник от 9.08.67.

[3] *Шергин Б. В.* Гандвик — Студёное море. Архангельск, 1971. С. 173.

дал Шергина не откладывая поступать в Московское Строгановское училище»[1]. Через год (14. 08. 1913), не закончив так и не дававшуюся ему гимназию, Борис уедет в Москву. Ломоносовская дорога...

Отсутствие аттестата, конкурс в Строгановку до ста человек на место, но Шергин (вместе с Виктором Постниковым) принят, и «уже по результатам I учебного семестра... бывший неуспевающий Архангельской гимназии по всем предметам профессионального промышленно-художественного профиля переводится сразу на III курс»[2]. Среди учителей Шергин поминает: С. С. Голоушева, С. В. Ноаковского, П. П. Пашкова: «Как благодатный дождь, принимали мы с Виктором одобрение и поощрение наших северных тем» («Гандвик — Студёное море», с. 173).

Быть бы Борису Викторовичу известным художником, но Господь промыслил иначе. В конце сентября 1915 года состоялась удивительная встреча: двадцатидвухлетний студент Строгановского училища пришел на концерт Марьи Дмитриевны Кривополеновой (1843–1924) — знаменитой пинежской сказительницы, привезённой в Москву О. Э. Озаровской[3]. В этот же вечер познакомился Шергин и с известными учеными-фольклористами Юрием Матвеевичем и Борисом Матвеевичем Соколовыми (1889–1941 и 1889–1930). Встреча не была случайной, ей предшествовало заочное знакомство с Ольгой Эрастовной: в газете «Архангельск» (статья «За жемчугом», 4.07.1915) она писала о таланте Кривополеновой и обещалась привести её в Москву. Через две неде-

---

[1] *Шульман Ю. М.* Указ. соч. С. 60–61.

[2] Там же. С. 64.

[3] Ольга Эрастовна Озаровская (1874–1933) — исследователь и пропагандист фольклора, актриса, певица. Автор «Бабушкиных старин» (1922) и «Пятиречия» (1931). В 1920 году, специально для Озаровской, Шергин запишет свой сказочный репертуар, включенный ею в «Пятиречие».

ли «Архангельск» опубликовал ответную статью Шергина: «Творю память Великому Новгороду».

Быть может, выдающееся исполнение старин Марьей Дмитриевной подвигло Шергина на сказительскую стезю (в эти дни он сам впервые выступил с исполнением старин перед студентами — см. письма к Соколову) и стезю писательскую. (Об этом вечере третья из опубликованных работ писателя.)[1] А братья Соколовы и заразительный пример Озаровской наставили Шергина на путь собирания фольклора. Вскоре Соколовы запишут от него тогдашний Шергинский репертуар старин[2] и даже запланируют его публикацию[3], которая, однако, в условиях военного времени не состоялась.

К этому времени молодые ученые братья-близнецы Соколовы были уже достаточно известны в науке — за несколько месяцев перед историческим вечером вышли их «Сказки и песни Белозерского края»[4]. Юрий Матвеевич пригласил Бориса Шергина иллюстрировать пением старин свои лекции в Университете Шанявского. Братья Соколовы ввели Шергина в научные круги, через них, вероятно, получил он и благословение академика А. А. Шахматова на экспедиционную работу: по направлению диалектологической комиссии лето шестнадцатого года Борис Шергин провел в Шенкурском уезде Архангельской губернии, записывая местный диалект. Это была единственная официальная экспе-

---

[1] «Отходящая красота». Газета «Архангельск», 21.11.1915. Чуть раньше вышел первый известный нам рассказ Шергина «Из недавнего прошлого. Священник Евтропий» («Архангельск», 13.04.1914) — рассказ, посвященный трагедии староверчества.

[2] ЦГАЛИ, ф. 483, оп. 1, ед. хр. 2975 и 2980.

[3] См. *Иванова Т. Г.* Русская фольклористика в биографических очерках. СПб. 1993. С. 80. Отчасти эти старины опубликует сам Шергин в газете «Архангельск», 17, 22 и 24 января за 1916 г.

[4] Сказки и песни Белозерского края. СПб., 1915.

диция Б. В. Шергина. Промысел готовил ему другой путь — не по стопам Соколовых и Озаровской.

Меж тем, новые увлечения Шергина явились не в ущерб прежнему художеству: он продолжает живописание, особенно много работает над иконами («я сам их не одну сотню написал...» — из дневников). О светских работах тогдашнего Шергина можно составить представление из перечня его работ на выставке в Архангельске[1]: «Сожжение протопопа Аввакума», «Хотят гореть. Из истории староверия на Севере», «По вере», «Староверки в молельной. Архангельск», «Собор. Староверческие епископы», «Певцы. Моленная беспоповская», «Слушают былины», «Обряд плача архангельской невесты». Сохранились ли эти работы?

Апрель семнадцатого — училище благополучно закончено, Шергин снова на Родине, а в России — революция...

Дома Борис Викторович устроился художником-реставратором в «Архангельском обществе изучения Северного края», работал в краеведческом музее, возрождал народные ремёсла: роспись посуды, утвари. Устраивал выставки[2], собирал древние книги, лоции, тетради шкиперские, песенники.

«В 1919 г. я, попав под трамвай, потерял правую ногу, пальцы левой ноги...» — это из официальной автобиографии.[3] Действительность же была такова: русский Север был оккупирован американцами, Шергин, мобилизованный на принудительные работы, попал под вагонетку. Эта беда подвигла Бориса Викторовича вернуть слово обрученной невесте. Как потом срифмо-

---

[1] Каталог выставки «Русский Север». Арх., 1917.

[2] Отзывы местной печати о выставке «Русский Север»: Известия АО ИРС, 1917, № 7–8. С. 328.

[3] Цит. по *Шульман А. М.* Борис Шергин: запечатленная душа. С. 282.

валось (только всё наоборот!) в «Стихосложном Груманте»:

В молодых меня годах жизнь преогорчила:
Нареченная невеста — перстень воротила...

Шергин часто «переворачивал» как бы наизнанку сюжеты (может быть, чтоб не накликать беды?). Так и «Митина любовь», и «Егор увеселялся морем» — это как бы про родителей, но кое-что — наоборот. Так или иначе, Борис Викторович сам определил себе одинокую судьбу, да и отъезд с милой родины: «Думал век буду на Севере жить...»

«С 1919 по 1923 [Шергин] художник-инструктор кустарно-художественных мастерских Архангельск[ого] губ[ернского] совнархоза (резьба по кости, деревянные и глинян[ые] игрушки, скульптура и т. п.)»[1]. А вот что поминал о подвижнической работе Шергина Степан Писахов: «О старине уходящей или ушедшей только Шергин может сказать... действительно, “свет клином сошелся” в Борисе».[2] К этому времени написаны рассказы Шергина: «Любовь сильнее смерти» (1919), «Устюжанского мещанина Василия Феоктистова Вопиящина краткое жизнеописание» (1920), «Из воспоминаний о М. Д. Кривополеновой» (1921) и др. Это рассказы-памятники. Под именем Вопиящина вывел Шергин образ близкого его архангелогородского друга В. Ф. Кулакова — собирателя русской старины, иконописца.

В конце 1921-го года Борис Викторович переехал в Москву во вновь организованный «Институт детского чтения». Вот как вспоминает институт один из его слушателей А. И. Ефимов[3]: «Это небольшой, двух-

---

[1] Из письма к Ю. М. Соколову, 1930 г.
[2] *Писахов С. Г.* Сказки. Очерки. Письма. С. 306.
[3] Сын художника И. С. Ефимова.

этажный особнячок в тихом Сверчковом переулке...[1] Внизу у него полуподвал, окна которого выглядывают из-под земли на уровне тротуара. В двух комнатах этого полуподвала и жил Борис Викторович. А наверху дома — небольшой низенький мезонинчик. В единственной комнатке его жила директор института Анна Константиновна...[2] Дом маленький, но очень уютный, добрый. В полуподвал и на мансарду ведут крутые, узкие деревянные лестницы — “как на корабле”, думал я, вероятно ещё и потому, что на многих дверях, на кафельных плитках печей (топили дровами) да и на некоторых оконных стёклах, были нарисованы красивые парусники на синих, крутых, вспененных волнах, морские звери, молодцы-поморы, узорчатые растения. Это рисунки Бориса Викторовича. Они несколько (в меру) стилизованы под рисунки старорусских книг. Уже при входе в дом от рисунков становилось весело, и интересно бы узнать — куда этот кораблик стремится на раздутых парусах?..»

Здесь Борис Викторович и жил, и работал, выступал с рассказами и лекциями о народной культуре, со сказками и былинами для детей. Статьи писал в журналах — для взрослых, — но всё о том же[3]. 1924 год стал годом потерь для Бориса Викторовича — ушла из жизни первая его песельница — матушка Анна Ивановна, скончалась и Марья Дмитриевна Кривополенова. Памятью им стала вышедшая в том же году первая книга Шергина, с которой мы начали наш рассказ.

Итогом работы в «институте детского чтения» стала напечатанная в 1930 году книга сказок «Шиш Москов-

---

[1] Дом № 6, где с 1921 по 1958 год жил Шергин. После переехал на Рождественский бульвар 10, кв. 6. Здесь цитируется по Ю. М. Шульману. С. 110–111.

[2] А. К. Покровская, пригласившая Шергина в Москву, автор предисловия его первой книги.

[3] См. журнал «Новая детская книга» 1922–1930 гг.

ский». Меж тем, как мы узнаём из письма к Ю. М. Соколову, 1 октября 1930 года институт был реорганизован. Борис Викторович остался безработным.[1]

В 1934-м на первом учредительном съезде Борис Викторович стал членом Союза Писателей.

С 1915 года Шергин сказочник и былинщик. А в двадцатые это ко двору пришлось: была установка на народную культуру. Появились замечательные фольклорные сборники, прозвучали на всю страну имена русских сказителей Рябининых, Сороковикова, Кривополеновой, Федосовой, Коргуева. Шергин и в самом деле зазвучал, выступая со сказками (под псевдонимом «Шиша Московского») на радио в 1933–1936 годах. Заказ был узок — сатира требовалась и только. Но и тут скоморошья повадка выручала: сказки-то все с двойным дном. Редакцию просто завалили письмами, успех был необычайный — передачи были прекращены.

От книги к книге прорастал в Шергине-сказителе Шергин-писатель. По старой памяти ссылался на народ. Это не мистификация литературная и не скромность, что паче гордости бывает. Это традиция — так жил, так чувствовал. То, что хранил на молодом голосе, то, что матерь напела. «...Отсюда оригинальность, подлинность и цельность этих текстов, ни в какой мере не тронутых ученым анализом, нередко мертвящим живую творческую мысль», — так писала в предисловии к первой книжке шергинской А. К. Покровская. Сам же он в дневнике, много лет спустя, скажет так: «Неудобно мне склонять это местоимение “я”, “у меня”, но я не себя объясняю. Я малая капля, в которой отражается солнце Народного Художества». Это от целомудрия, от счастия народного, внутри но-

[1] Это год закрытия многих фольклорно-этнографических изданий, кафедр фольклора в областных институтах и университетах. См. *Виноградов Г. С.* Страна детей. СПб., 1998.

симого как дар. Озаровская вывела Шергина в своей замечательной книге былин и сказок «Пятиречие» под именем Скомороха за чудное умение сказывать светло, а уныния бежать. А через полвека привёл Бог оставить записи на магнитной плёнке. Шергин как художник, как реставратор спасает для нас забытые сюжеты, восстанавливает эпическую поэзию Руси. Потому одни старины у него — из фольклора, другие представляют собой реконструкцию, по-научному говоря — фольклоризм. Или, как говорили в древности о церковном песнопении: «пение на подобен» — т. е. подобно образцу... А потому здесь за Шергиным-сказителем стоит поэт, но поэт глубоко традиционный. Ибо само творчество его носило фольклорный, изустный характер. «...Несмотря на образованность (художник), постоянное общение с интеллигентными людьми, сохранил в полной неприкосновенности свой северный язык и произношение... Характернейшая же его черта: ему нужно много раз рассказать на людях, чтобы с напряжением он смог закрепить это самое на бумаге». («Пятиречие», с. 371). Среди всех своих ровесников поэтов серебряного века Шергин, быть может, самый русский, традиционный и, как истинному поэту и должно, — не понятый доселе. Но уж пора... Шергину-прозаику, автору рассказов и былей повезло больше. Шергину-мыслителю — и вовсе была не судьба... Вспоминал Шергин двадцатые годы — не понимали его, как и сейчас многие: «Вот ты дышишь этими былинами, а есть ли у поморов что-нибудь подобное английским балладам? На ответ я сказывал поморские баллады. Я знал их довольное количество. Слушатель говорил: «Это культура своего угла. Существует большая, широкая культура. Ты читал “Бретонские легенды”?» И непонятно было, почему беломорские баллады не могут считаться достоянием “большой”, общеевропейской культуры?» (Дневники).

В 30-е годы с фольклором у нас стало плохо. Допускались лишь хвалебные былины о вождях. Но народ мудрее своих правителей: и Сороковиков, и Шергин такие былины и былички «нашли» и «записали», но не без хитрости, а с думой о будущем. В Великую Отечественную сказители потребовались снова, и Шергин выступает в госпиталях и клубах перед бойцами. После войны репертуар этот вошел в его книгу «Поморщина-корабельщина». К 1947-му ветер, с нелёгкой руки А. А. Жданова, поменялся, кинулась критика на «Поморщину», «грубой стилизацией и извращением»[1] назвала. «Стилизация», правда, была, но не грубая, а Богом данная, и «извращения» — уж что-что, а то было: не видать духу марксистского в шергинских сказках! Так или иначе, забыли о писателе. Нет такого — и не было... «Живое слово люблю: сочинять бы да сказывать. Ино, этот товар не идёт. “Раз в год по праздникам” позовут куда-нибудь побаять, попеть, посказать. Ино для этих редких и случайных “разов” нет резона сочинять да слово составлять. И сдумал бы что, а для кого? “Уронена старая мода с высокого комода”». (Дневники, 1953 г.) Не умел песен «в стол» писать — не писалось. Зато подвигнул Господь дневники сочинять, а нам — чтение чудное, неотрывное. (Сочинялись дневники давно, с детских лет, но в пору непечатанья стали для Художника истинным спасением...)

Годы спустя, в разговоре со своим младшим товарищем, писателем и художником Юрием Ковалем, Шергин так «пошучивал» над тогдашней своей лите-

---

[1] «Книга Шергина псевдонародна. С каждой страницы её пахнет церковным ладаном и елеем, веет какой-то старообрядческой и церковной “философией”. Редактор книги т. Циновский и издательство отнеслись к порученному делу безответственно», — *Сидельников В.* Против опошления народного творчества. Газета «Культура и жизнь», 30.05. 1947. № 15.

ратурной гибелью: «Была такая газета — “Культура и смерть”»[1]. Но беды шергинские ещё только начинались... Дело продолжил А. Морозов: «...[автор] сосредотачивает своё внимание на чертах консервативной экзотики... Застывший и неподвижный быт дореволюционного Архангельска предстаёт перед нами как на выцветшем дагерротипе прошлого века... Вряд ли стоило издавать эту давно написанную книгу»[2].

В 1951 году Борис Шергин встречается со знаменитым капитаном-полярником, героем Советского Союза К. С. Бадигиным, в 1937–1940 гг. возглавлявшим легендарный дрейф «Георгия Седова». Два мореходца — нынешний и сказочный — явно пришлись друг другу по душе. Они замышляют совместную (Шергин-то автор непечатный) книгу о древних северных поморах[3]. Шергин передаёт Константину Сергеевичу часть своего архива, в том числе, сделанную им в молодые годы копию рукописи XV века «Морской уставец Ивана Новгородца». В апреле 1953 года на Географическом факультете МГУ с успехом прошла защита диссертации К. С. Бадигина, посвященной древним мореплавателям. Успех длился недолго. Вскоре выяснилось, что заявление Бадигина о северных плаваниях новгородцев, начиная уже с XII века, опирается на представленную Шергиным рукопись. На заседании Географического общества доклад Бадигина подвергла критике краевед Севера К. П. Гемп, и 12 июня 1953 года НИИ Арктики обратился в Институт русской литературы («Пушкинский дом») с просьбой рассмотреть бадигинские материалы («Морской уставец») на предмет подлинности. Комиссия в составе В. П. Адриановой-Перетц, Д. С. Лихачева и В. И. Малышева признала

[1] *Коваль Ю.* Опасайтесь лысых и усатых. М., 1993. С. 292.
[2] *Морозов А.* Борис Шергин. Поморщина-корабельщина. — «Звезда», 1947, № 9.
[3] См. ниже письма Б. В. Шергина к В. И. Малышеву.

«Уставец» подделкой[1]. Шергин был обвинен в подлоге. Маститые ученые не пожелали разобраться в сути дела. А дальше — больше: начались ложь и наветы: «Живя в Москве, Шергин остро нуждался. Хроническому безденежью способствовало и пристрастие писателя к спиртному. Быть может, поэтому достойные академической кафедры его произведения всё чаще звучали с подмостков второразрядных столичных ресторанов... в этих словах, быть может, и ключ происшедшему...»[2]

Всё здесь было неправдой (кроме одного — хронического безденежья)... Люди, близко знавшие Шергина, помнят о том, что он никогда и не прикасался к спиртному. Военные госпитали и молодёжные аудитории обернулись второразрядными ресторанами, подаренная рукопись фигурировала как проданная. Но главное — «Морской уставец» не подделка, а сделанная художником краткая запись реальной рукописи. Все это разъясняется из писем Б. В. Шергина, адресованных в Отдел науки и искусства ЦК КПСС и в «Литературную газету»[3]. Были ли отправлены эти письма, имели ли ответ? Но двери издательств для Шергина закрылись. Готовая уже книга «Океан-море русское» была отклонена, издательство потребовало возвратить выданный три года назад аванс: «Географгиз не только отказался от книги, он накинул мне на шею удавную петлю, забивает меня в гроб, требуя возврата аванса. А на что же я жил эти три года работы для Географгиза? И могу ли

---

[1] «[Бадигин] привлёк к исследованию грубые подделки под старинные документы...» — В. П. Адрианова-Перетц и др. — Недобросовестный труд, «Литературная газета», 15.12. 1956. *Лурье Я. С., Малышев В. И.* Чья же это речь? / Сб. памяти Я. С. Лурье, СПб., 1997. С. 69.

[2] *Кошечкин Б.* Уроки родиноведения, «Север», 1989, № 5. С. 101.

[3] См. Борис Шергин: запечатленная душа. С.250–254.

я жить и дышать, если Географгиз поднимает меня на дыбу, т. е. принудит выплачивать аванс?»[1]

Но, как глоток чистого воздуха (читаем мы в дневниках) — посещение храма или созерцательное наблюдение божественного течения времён года... Особое отдохновение находил Борис Викторович в домике матери М. А. Барыкина — Анны Харитоновны — в деревне Хотьково, что неподалёку от Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Там он жил временами. И сам Миша[2], коего он принял как родного сына, и «названный брат» Анатолий Крог[3] — вот и вся Шергинская семья, его забота и надежда.

И дал Бог — подула поветерь на другую сторону. Пришел 1955-й год. Устроили хорошие люди творческий вечер в Центральном Доме литераторов. С помощью друга юности писателя Леонида Леонова «Океан-море русское» вышел в издательстве «Молодая гвардия» в 1959 году. Выход книги предваряло доброе слово Леонова[4] и сопровождала достойная статья Э. В. Померанцевой[5]. Заговорили и другие. «Океан-море» был встречен читателем с восторгом, и в 1961 году потребовалось второе переиздание, а в 1967 вышла итоговая книга сказителя и писателя — «Запечатленная слава».

---

[1] Заявление Председателю географ.-исторической секции II съезда Географического общества проф. А. И. Андрееву, черновик — Архив Шергина (по кн. Ю. М. Шульмана «Борис Шергин: запечатленная душа». М. 2003. С 256.)

[2] Михаил Андреевич Барыкин — «названный сын» или «племянник», как называл его Б. В. Шергин.

[3] Анатолий Викторович Крог — троюродный брат (по матери) Б. В. Шергина, коего он величал «братишечкой», «брателком», — по существу, брат, друг и сподвижник во всех трудах. Скончался в 1959 году.

[4] Леонов Леонид. Океан-море русское. «Известия», 1959, 03.06.

[5] Померанцева Э. В. Писатель-сказитель. «На рубеже» (он же — «Север»), 1960, № 5. С. 122–124.

А Шергин все годы, до конца своего (хоть не молод был уже, да и нездоров) всё пел да сказывал. Только жаль не на радио уже, а в малом кругу. Всё своё с собой носил, знал на память: не старины только, но и прозу художественную на память сказывал — каждый раз наново творил. Есть у нас чудная возможность услышать дивный голос, есть возможность и сличить печатный текст с магнитофонной записью, проследить рождение «жемчугов словесных».

«Я всё рассказываю о Русской Земле...», «Моё упование в красоте Руси...» — труд воспел Шергин и человека в труде, об этом говорено и писано. Но не человек в центре его слова, а Любовь. О «народном знании», о «душевном художестве», иными словами, о народной педагогике, о Вере и Любви народной речь шергинская, а оттого и дух житийный в его былях и старинах: «Талантливость есть вещей обличение (от слова “лик” — т. е. проявление — *А. Г.*) невидимых...»

Богообщение, адамово ещё, райское виденье и веденье Бога — вот от чего «радость сердечная», вот от чего «свет невечерний» шергинских произведений.

Ещё скажем о голосе. Сохранил Борис Викторович сызмальства саму манеру сказительскую — наш русский театр, ни в какое прокрустово ложе театральщины нонешней не укладывающуюся. На всём том спасибо ему скажем. Поклонимся низко. Так пели от веку на Руси калики перехожие. Вот что рассказывал в XIX веке ещё один из них, ослепший с младенчества: «Я пою, а в нутре как бы не то делается, когда молча либо сижу. Подымается во мне словно дух какой и ходит по нутру-то моему. Одни слова пропою, а перед духом-то моим новые встают и как-то тянут вперед, и так-то дрожь во мне во всем делается... запою и по-другому заживу, и ничего больше не чую. И благодаришь

Бога за то, что не забыл Он и про тебя, не покинул, а дал тебе такой вольный дух, и память»[1].

Преставился раб Божий Борис 31 октября 1973-го года.

«Отпевали Бориса Викторовича в церкви Михаила Архангела, Меншикова башня. На Чистых прудах.

Из литераторов, помню, были Юрий Галкин, Владимир Глоцер, Владимир Сякин. Единственным членом Союза писателей оказался я.

Горько плачущая пожилая женщина — вдова художника Ивана Ефимова — всё добивалась, есть кто из Союза писателей. Глоцер указал на меня. Не знаю, зачем он решил меня так наказать. Женщина, не видящая ничего от слёз, накинулась на меня, ничего не видящего:

— Я хочу выразить своё возмущение! Умер замечательный писатель, а где ваш Союз?

Спасибо Миша вступился:

— Это друг, а не представитель.

— Голубчик, простите, — говорила Ефимова, — но так обидно, нет никаких представителей.

«Да зачем они здесь?» — подумал я.

Человек в клетчатой кепке подогнал «Москвича» к дверям церкви, вынул венок от Детгиза, снял кепку, внёс венок в церковь, вышел обратно, надел кепку, сел в машину и уехал. Это было единственное официальное явление.

Был пасмурный промозглый день. Шел мерзлый дождь. Могильщики вызывали ненависть. Речей никто не говорил, все молча прощались, глядя на дорогое, неземное теперь лицо.

«Придет день воскресения, яко светлое утро», — прочитал я на соседней могиле. Здесь лежал названный

[1] *Максимов С. В.* Избр. соч., М. 1987. Т. 2. С. 471.

брат Бориса Викторовича Анатолий Викторович Крог. Брат пришел к брату. Кузьминское кладбище. Участок № 80»[1].

Остались книги многие, картины, иконы, плёнки магнитные, дневники удивительные: «Возьми крест, падай под тяжестью его, да опять неси. Гляди, впереди тебя на Голгофу идёт сам Христос...

Возьми на себя подвиг, унылый, преогорчённый человек, отряхни мрачный сон. Возьми иго, возьми бремя, реченное в Евангелии. Возьми на себя крест...»[2]

А. В. Грунтовский

[1] *Коваль Ю.* Там же. С. 294.

[2] Дневник от 23.08.68.

Тишину ты, Господи,
дай в сердце мое...

Дневники

1939

Стивал си сабиса, и помирмишие
на болог час с молчанием и носен отвер
ми не чувствуем, зачем има свои тишине
и свързани земля. отпечатител на нас.
За Единну почву (против) нас)
что прибавит им
прибавит в земи, даже украсете строи
апафили твои.
Скоро от точено градил и воевод
сидон свой им поставил
Бе Богомилски ум
мисли държави
Той не види
не държави
шатри поставили и почили
стои, тъжно страшне не спят.
противну сонцу, свитающу одеви, при-
стъпил облак.
Конейнии поражении, и острими стрела-
ми смертно уязвлени. тогда воевод
побег от града отседнеши и
шатри поставили.
Смело и небоязненно.
И Солнце преклонися на запад и земя
помирно покриет и јако пред темнением
бране. полки поидоша во свои грани, а
мечове во свои острои. и почина стои.
тъжно страшне бремахи.

<Без даты>

...но, кроме, конечно, Достоевского, Самарина, К. Леонтьева, кто сознавал себя современником святого. Знали о<тца>Иоанна К<ронштадтского>, но если «тот берег» Амвросия Оптинского не желал замечать, то Иоанна Кронштадтского «те» поносили и забрасывали грязью[1]. Вот тут-то аксиома «мир во зле лежит»[2] подтвержается. Узнав о святом, если святого поставят на свещницу, наш век не только не умилится, не только не почтит святого, а будет тщиться в грязь имя святое втоптать.

Как досадно, что начнёшь об <1 нрзб.>[3], о внутреннем говорить и сразу свернёшь на внешнее, на ничтожное... Удивительное свойство «мира»: искать, видеть и помнить в людях, от мира отрекшихся, только худое. Одни поносят их сознательно, по заданию, другие бессознательно, по глупости. Слово «монах» у них ругательное. Мнихи[4] «все дармоеды, паразиты, обманщики, притворщики». Монахини — «мокрохвостницы, смутницы, ханжи и т. д.». Конечно, были такие, и таких-то мир знал, потому что был их достоин. А которых мир не был достоин, тех и не знал.

И вот ещё доказательство, что мир пал и лежит во зле невсклонно. (Это многие чуткие, отмечают и поражаются): в зло вера отнюд не малится. Верят в волшебство, в колдовство, в приметы, боятся мертвецов,

---

[1] Лист начинается с продолжения фразы. Начало рукописи отсутствует.

[2] 1 Ин. 5:19.

[3] В оригинале зачеркнуты одно слово и помета «неразбор.» и под ними написано: «онтосе» (?).

[4] *Мнихи* — монахи (*старосл.*).

несчастливых дней. Лизка Харит<оновна>[1] ненавидит Бога, попов, иконы, а колдовство, чертовщина, приметы... тут самым диким и нелепым басням и бабьим запукам верит.

Апостол: «В велице дому не суть точию сосуды серебряные и золотые, но и глиняные и деревянные»[2].

Я отчаялся, горе душу сжало: почему иные хапают, и у них тысячами насыпано, не знают, что придумать. ...И вдруг коснулось сердца: а ты кем быть обещался? Не *иноком*[3] ли? На что ты родился? Забыл ты преподобного Сергия? Не нищету ли и он, чудный, принял на себя? И тебе ли надуваться и надмеваться теперь, когда всечестные кости великого отца нашего Сергия *Радонежского* валяются в плену?[4] Тебе ли, сору, навозу возвышаться?? Отнята красота от нас Божиим промыслом.

А «тем» не завидуй: черви они, кишащие в трупе.

---

[1] Елизавета Харитоновна — вероятно, родственница Михаила Андреевича Барыкина, воспитанника Шергина. В доме матери М. А. Барыкина Анны Харитоновны в деревне Хотьково Шергин часто проводил лето.

[2] 2 Тим. 2: 20.

[3] Курсивом выделены слова, при написании которых Шергин использовал тайнопись, так называемую «простую литорею» (основанную на замене согласных), известную в русской рукописной традиции с XIV в. См.: *Сперанский М. Н.* Тайнопись в юго-славянских и русских памятниках письменности // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 4. М.: АН СССР, 1929. С. 18–20; 56–57; 97–107.

[4] Деревня Хотьково находится неподалеку от обители преподобного Сергия Радонежского — Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Прп. Сергию (1392), игумену Русской земли, посвящены многие дневниковые записи Шергина. «*...Всечестные кости великого отца нашего Сергия Радонежского валяются в плену*». — В 1919 г. рака с мощами святого была вскрыта, а сами мощи выставлены на обозрение в устроенном на территории лавры музее. В 1946 г. обитель была возвращена Церкви и в Успенском соборе на правом клиросе была устроена сень для раки с мощами прп. Сергия.

1839 года[1]

Тишину ты, Господи, дай мне в сердце, чтобы слушать-то мне тебя. Редка, мимолётна была эта радость в сердце. Конечно, м<ожет> б<ыть>, раньше я недарованное восхищал. Встают в уме «начальники тишины»[2], манят светло в мир покоя, тишины, немерцающего света. Оптинские<?> сборники[3]... сколько основоположники иночества в каждом месте, друга столько теперешние умиляют, радуют. Ведь жили эти *иноки* теперь, в нашей обстановке. ещё домы те стоят, где они, чу́дные, обитали.

То, что сейчас не рисуют так, как прежде, не можут так рисовать, говорит о склерозе человечества.

Не вовсе без ума некто говорил, что лучшие произведения, напр<имер>, писатель создает до 30 лет. (Я бы сказал — наиболее взволнованные.) Ну... до 50 лет. А мир ведь уж дряхл, дряхл... Европа особенно. В молодости, можно сказать, всяк поэт, всяк художник. В молодости творческое живёт. Весело смолода жить. «Что это иду да наиттись не могу. А теперь, — говорит старуха, — радость вся потерялась». Это болезнь, это сейчас в искусстве ненормальное состояние, что рисование иссякло. «Senectus ipse morbus»[4]... И надо, конечно, лечиться. Но не надо отчаиваться. Надо только знать, что

---

[1] Вместо 1939 г.

[2] Называя святых «начальниками тишины», Шергин использует слова тропаря из третьей песни Канона молебного ко Пресвятой Богородице: «Ты бо, Богоневестная, Начальника тишины Христа родила еси, едина Пречистая».

[3] В рукописи запись выглядит так: «Отокские неразб. сборники ...». Исходя из контекста, можно предположить, что Шергин говорит о сборниках поучений, писем, жизнеописаний оптинских старцев, издававшихся в Оптиной пустыни в XIX — начале XX в. См.: *Каширина В. В.* Литературное наследие Оптиной пустыни. М.: ИМЛИ РАН, 2006. С. 247–271.

[4] *Senectus ipse morbus.* — Старость сама болезнь (*лат.*).

это болезнь, это состояние ненормальное в искусстве. В нездоровом теле сей дух. Далекие от искусства, от художества, никогда не касавшиеся рисования, громят и раскатывают, топчут копытами рисующих. Мнят себя быть, м<ожет> б<ыть>, убежденно, правыми. А они больные, жалкие склеротики, дети декаданса, дети дряхлости и упадка. Это неврастения, психостения. Но ежели и ты, и я потеряли здоровье (*веру*)[1], дак всё же не считай своё такое состояние нормальным, а лечись, понимай, верь, что правильными были убеждения (рода человеческого) в цветущих годах, при разуме, при расцвете сил умственных, душевных и телесных. А наши времена — упадок, болезнь, идиотизм, маразм. Болезнь века: так тому быть.

Книга как человек. Книга — мир богатейший (говорю о настоящей книге) собран в ней. Она невелика стоит на полке, а всё в ней. И человек, её написавший, и мир, им описанный. Возьми патерик Оптинский<?>, возьми Дамаск<ина> (Валаамский)[2] ...Волны, небо, море, острова, история; века и люди сохранены прекрасные, чудные. Всё перед тобой оживает, как только книгу раскроешь. Дела их, речи, поступки живые,

---

[1] Слово «вера», зашифрованное тайнописью («шема»), встречается в шергинских дневниках неоднократно. Ю. М. Шульман, комментируя опубликованные им дневники Шергина, не расшифровав слово, дал такое пояснение: «Шема — образ, знак, таинство» (*Шергин Б. В.* Дневники. 1942–1947 годы // Москва. 1994 № 4. С. 114). Однако в греческом языке такого слова нет, как нет и звука «ш».

[2] В рукописи: «Дамаск. (Валаамский??)». Шергин говорит, скорее всего, о Валаамском патерике и о игумене Дамаскине (1795–1881), много сделавшем для укрепления обители. Встречающиеся в тексте пометы, большей частью опущенные нами при подготовке записей к публикации (знаки вопроса, указания в скобках — «неразбор.»), возникли при переписывании оригинала 1939 г. Чаще всего непрочитанные слова переписчик (судя по почерку, сам Шергин) заменял многоточиями.

яркие, блещущие, искрящиеся. Люди патериков, они более живы, чем все мы, ещё таскающие ноги по земле. Посмотри, повторяю, на в чёрном переплете патерики[1]. Какая сила, какая мысль, какие характеры, какой героизм! Сколько света, воли! И всё это чудным, дивным образом собрано, осталось в малой книжице. Такая книга, как оконце в мир светлый, бодрый, радостный, здоровый. Такая книга — чудные духи во флаконе. Книгу такую раскроешь — как из чёрной ночи в золотой, вешний день войдешь; из нищеты в богатство. Да, я-то беден, нищ, а царское одеяние у меня на полке. Я-то озяб, трясусь, а летнее солнце у меня вон стоит. Я-то болен, а вон лекарство вечное, испытанное. Я в грязи, а вон моя баня. Я в тосках, в печалях, а вон моя радость. Протяни руку... Я в безумии, а вон верный разума наставник. Воистину книга такая — «царство небесное дома родилось» (Аввакум Петров)[2]. Я слепну телесными глазами, а оная книга очи душевные раскрывает. Ты заблудился, а она путеводитель. Ты голоден, а оная святая книга — хлеб неистощимый. Вот что книга. Книга настоящая. В себе самом где света или силы найдёшь, человека искать куда пойдёшь? А книга та тут с тобой.

---

[1] В рукописи запись выглядит так: «Посмотри, повторяю, на (неразбор.) в черном (?) переплете патерики». Вероятно, Шергин использует иносказательный образ «черный переплет» для обозначения монастырских патериков, житий святых-монахов.

[2] Личность и сочинения идеолога раскола протопопа Аввакума (Петрова) (1620 или 1621–1682) оказали в юности на Шергина, увлекавшегося старообрядчеством, большое влияние. Первая известная иконописная работа Шергина — «Сожжение Аввакума». «Образ Аввакума высится у истоков как литературного, так и живописного пролога художественного мира Шергина» (*Шульман Ю. М.* Запечатленная душа: Очерк жизни и творчества Бориса Шергина. М., 2003. С. 70).

И аз, памятуя о добрых книгах, помышляю оные изобильно у иных лежащие; почитаю их акибы сокровище некое. И в оных по горло увязал, оные приобрести тщуся, и сия моя страсть несть добро, понеже не похваляют отцы, чтущих многие книги.

20 ноября[1]

Учись-ко ты не ждать «соловьев с неба», что настроение и вдохновение снидет на тебя откуда-то. Учись в себе находить и самому создавать. Но как близ десятка лет писал и разорялся на себя, что де «слово просто обидит мя, мала печаль повержет мя», то и теперь едва ли не хуже стало. Соберёшься иное, и хочется от радости отрыгнуть слово, а уж и отлетело «настроение»-то. А тишину, умиление хочется получить. Это всего дороже, это настоящее счастье, «радость» эта, источник, ключ отмыкающая. Когда бывает эта радость, это умиление, не знаю откуда в душу приходящие, то всё ладно, всему радуешься, всем доволен, весь счастлив... Да, расплакался Адам, перед раем стоя: «Раю, мой раю, прекрасный мой раю!». Где ты, мое умиление, где та тишина, где то «настроение», так неожиданно, бывало, находившее? Метёшь пол, постель убираешь, и вдруг тихость эта придёт. ...Бросишь веник и стараешься посильно светлую минуту на бумаге запечатлеть.

...Да, невозможно это с людьми, даже с родными, живя[2].

В каком надо быть устроении, преуспеянии, чтобы равнодушно, не говорю уж «благодушно» переносить

[1] В этой и во всех последующих записях даты приведены по старому стилю.

[2] Эта фраза снабжена подстрочным комментарием, появившимся, видимо, при переписывании оригинала: «Мнение незрелое, ошибочное».

житейские щелчки, пинки, подзатыльники. А в жизни ведь не то что ежедневные, а ежеминутные раздражения да перекоры... «Терпения надо не воз, а целый обоз» (говаривал ст. Амвросий Оптинский). Конечно, ежели в себе самом на каплю нет терпения и благодушия, то нельзя от людей требовать. Верно говорено, что надо с людьми как с детьми обходиться, а часто как с больными. И то понять крепко надо, что сам-от ты «больной» и не по-здоровому всё делаешь и поступаешь. Не смог я никоего добра доспеть «ближнему» своему. Истинно: слепой слепого поведёт, оба... (это всё ведь с горя, в раздражении пишу. И себя со злости угрызаю. И лю́тую на брата. И вдруг помянул, что он хотел завтра насчет книг сходить: еле жив сый побредёт...).

...Насчёт книг... Теплее кряду стало, как о любом-то, желанном помянул... Насчёт книг... Как я жадаю книгами, которые годятся-то мне.

Книги моё удовольствие. Настоящие, конечно, книги. Вот ещё, кабы возможно было, «костюмчик черненький».

Ещё кабы именем псевдоним-то свой сменить[1]. Впрочем, пока-то и своего имени недостоин, а «балабол» — самое мне названье подходящее. А завтра ведь мой праздник Введения[2]... Там у Жиздры[3] снега лежат, и ели стоят, и тишина... «Я не видал твоей святыни, не знаю я твоих красот», прекрасная Оптина пустыня,

---

[1] *Вот еще, кабы возможно было, «костюмчик чёрненький». Еще кабы именем псевдоним-то свой сменить.* — При публикации своих произведений Шергин псевдонимами не пользовался. Скорее всего, под «костюмчиком черненьким» он имеет в виду монашескую рясу, а под заменой псевдонима именем — постриг.

[2] Введение во храм Пресвятой Богородицы празднуется 21 ноября.

[3] На берегу реки Жиздры, притоке Оки, стоит Оптина пустынь.

«одно, одно я знаю верно», что ты ныне «таинственна безмерно», но жива ты, жива душа твоя![1]

И ныне тамо «силы небесные невидимо служат»[2]. Есть Оптина, «не умерла, но спит»[3]... О, восстани, восстани, моя обитель! Жив Бог, жива душа моя!

Видимо святыня Оптинская в едином месте была. А невидимая она везде стала. Разрушена моя пустыня и тем переселилась во многие и многие сердца. И в моё. И в моё! Нет, не случайно и патерик Оптинский<?>, заветнейшая книжица с детства, с оптинскими надписями в руки попал. А портрет любимейшего отченька моего Амвросия. А чудные эмалевые иконы знаменитого ростовского мастера, знаменитыми отцами Моисеем и Антонием[4] принесённые. И это диво мне досталось! Это всё оттуда мне благословение дивным образом.

Я вот что хочу давно сказать: Бог подаёт, вероятно, милость всем, о ней вопящим, но тёмным и слепым, слабым жизнью неявно для них от них смертную беду отводит. Они думают «так прокатилось», а это Он отвёл. Но чистые душей явно десницу Божию видят.

---

[1] Строки из известного духовного стиха «Гора Афон, гора Святая...».

[2] «Ныне силы небесныя с нами невидимо служат: се бо входит Царь славы...» — начало песнопения, исполняемого вместо Херувимской песни на литургии преждеосвященных даров, которая совершается в дни Великого поста.

[3] Мк. 5: 39, 41.

[4] Преподобный Моисей (Путилов; 1862), схиархимандрит. Вместе со своим братом преподобным Антонием (1865) прибыл в Оптину пустынь по приглашению святителя Филарета (Амфитеатрова) в 1821 г. для устроения скита. Прп. Моисей был настоятелем Оптиной пустыни с 1826 г.

<Без даты>

Ох, эти «паршивые настроения»! Когда настанет такое «плохое настроение», то уж всякое неустройство и просрочки, и долги давят и страшат; главное, угнетают.

А как радость или хоть тень радости, дак уж «ладно», «как-нибудь», «обойдётся», «авось да небось». «Живём, мол, да маемся, а всё вперёд пихаемся». «Не горюй, мол, Параха, не потонем».

Всё равно: худо, хорошо. Здоров, болен — повадишься писать, дак оно и пойдёт само. А я себя писать не повадил. У другого льётся само, а я выжимаю. А се и теснота[1] мешает. Хочется писать то, что из души, хоть не ключом бьет, а струится, хоть тоненьким ручейком, а от сердца. А выдумывать, вымучивать — скучно это. Бывало, как на дрождях от полного-то сердца ходишь: скорей бы листок где схватить, карандашик найти.

Бывало, по дорогам на берёзам записывал благие-те мысли... А теперь я увял, оравнодушел. Не подымусь, не полечу весёлой-то думой, лёгкой, светлой. Сел, сижу. Нету в сердце радости...[2]

<Без даты>

Всегда всё хорошо в природе. Всегда она прекрасна, во всякую пору. Не говорю уж о весне и лете. А зимой в лесу разве не чудно хорошо. Нет, не умерло всё, но спит. Тишина, снежок. А тона куда более благородные, чем летом. Чёрный цвет, как сталь воронёная, как тушь ки-

---

[1] Слово «теснота» в рукописи подчеркнуто. Шергин дает понять, что имеет в виду не тесноту помещений, а душевное состояние. Слово «теснота» в церковнославянском языке имеет значение «тоска, тревога».

[2] Далее следует приписка в квадратных скобках, сделанная, видимо, при переписывании текста: «Это, парень, нездоровье, звон в голове; глотка болит».

тайская. Чудная гамма серых тонов: и серебро, и жемчуг, и белые тона — вспоминаю старинные определения белого цвета: сахарный, бумажный, блакитный. А мы всё: «белый». «Палевый» скажут ещё. Своих-то, вишь, нет, дак французское «pâle». А старые красного цвета определения: мясной, брусничный и т. д. А жёлтые: светло-соломенный, русый. «Камень тот рус живёт» (гиацинт).

<Без даты>

Как у отдельного человека притупляется острота восприятия по отношению к тому или другому предмету, так и у целого народа. Отсюда смена вкусов, мод, стилей в искусстве. Нам кажется странным, например, как это в России с конца XVII века могли сменить строгий, величавый, высокий дорический ордер на барокко, тогда уже распространившееся по всей Европе. Да потому что захотелось чего-то полярного давно приглядевшейся древней иконописи. А в барочных (затем рокайль) образах-картинах и была как раз новая острота. И более чем на сто лет барокко чувствительный полюбился. Такова была реакция против многосотлетнего единообразия. Долго матушка Русь от «западных» стилей отворачивалась и небрегла, да вдруг сразу «с ручками» (как говорят ребята-купальщики) в барокко утонула[1].

<Без даты>

Они, святые-то, ведь древние... А что есть древность?? О, как она относительна... Ведь и матери[2] нет, а вот их

[1] Далее следует приписка в квадратных скобках, поясняющая содержание записи: «Об искусстве древнерусском и барокко».

[2] Анна Ивановна Шергина (в девичестве Старовская), уроженка Архангельска, дочь парусного мастера, скончалась в 1924 г. О родителях и предках Шергина см.: *Шульман Ю. М.*

письма, и чернила ещё не пожелтели. Вот кофта материна, кошелек её. А вот Нинушкины[1] все вещи. Отец Виктор Васильевич[2], уж и вещей его мало: писемцо, запись из книжечки. Бабушки Олены Кирилловны[3] что есть ли? А тётино[4], она давно ли умерла, а что есть? Патерик Соловецкий[5], спорок шубный. А иные и прошлый год умерли, а ни синь пороха не оставили.

Да ещё вот, что фотографии многих есть, кои покойные и тряпки по себе не оставили. Но я знаю, что они были. Со мной они, во мне они живы. Поколику я помню их, своих родных, бабушек, дедушек, отцов, матерей, я о них рассказываю, их портреты показываю, пишу о них. И таким образом они живы во мне и через меня. Я свидетель. Не было бы меня да фотографий, дак и недавние они, недавно умершие уж как бы небывшими оказались. Всё равно, что сто лет умерли они, что десять лет. Это в малом, в моём роду. Но так

Запечатленная душа. С. 13–40; *Галимова Е. Ш.* Земля и небо Бориса Шергина. Архангельск, 2008.

[1] Нина Викторовна, сводная (по о́тцу) сестра Б. В. Шергина, старше его на 7 лет. Выйдя замуж, переехала в Петербург.

[2] Виктор Васильевич Шергин (1850–1905), корабельный мастер первой статьи, шкипер, механик морского пароходства. Уроженец с. Серегово, расположенного неподалеку от Великого Устюга и Сольвычегодска, сын солепромышленника. См. о нем: рассказы Б. В. Шергина «Поклон сына отцу», «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин».

[3] Олена Кирилловна Старовская, бабушка Шергина по матери. См. о ней: рассказ Шергина «Старые старухи».

[4] Глафира Васильевна, сестра отца Шергина.

[5] В дневнике Шергина за 1942 г. говорится: «Соловецкий патерик любимейшая была моя книга, а литографированные картинки его первою моею были картинною галереею. И начал я копировать их, едва научась держать в руке карандаш. (Соловецкий патерик. С.-Петербург, 1873). Патерик этот принадлежал тетеньке моей, отцовой сестре Глафире Васильевне». (*Шергин Б. В.* Из дневников. 1942–1953 годов // *Шергин Б. В.* Изящные мастера / Сост., предисл. и сопровод. тексты Ю. Галкина. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 320–321.

и в большом, и в великом. Не было бы о великих людях свидетелей, описавших их, не было бы портретов их, не было бы именья[1] их, и мир не знал бы о них. И их бы всё равно, что не было. Конечно, от великих дела остались, писания их. И это живёт, этим ещё живы великие. «Умолкли Иоанна Златоуста уста, он оставил нам другие свои уста — книги»[2]. Так что великие вдвойне живы. Не только тем, что о них свидетельствовали современники, а по современниках предание устное и письменное, не только потому, что вещи их остались, но и потому, что дела они оставили приснопамятные.

Но всё равно: я хочу доказать, что всё равно, что десять лет, что пятьдесят, что сто лет, что триста лет назад и пятьсот, а м<ожет> б<ыть>, и тысячу лет назад жил человек. Уж как нет в теле человека, дак всё равно, всё равно, что десять годов не вижу, что двадцать пять, что сто лет (мамы нет 18 лет, сестренки 8 лет, отца 35 лет... А разве не всё равно... Какая разница, что, скажем, мамина бабушка умерла в 1863 году, отец отца в 1865... 75 лет назад... А Нина — 7 лет? Живы бы, дак менялись, старились. А нет их в теле, дак они перестали меняться. Время для них не существует. Они уж вечные. Приложились ко отцам своим и стали вне времени.

Относительная вещь время. Оно только для этого болеющего тела существует. А так, вообще, времени нет. Условно это счисление времени. Онтологически не время проходит, а проходим мы. Т. е. вот этот участок бытия своего в теле и измеряй, а как в вечность канешь, дак пустое дело — вычислять. Особливо об отшедшем, канувшем в вечность. Там 1000 лет, яко день един. Там, в пучине вечности, и IX век со светилами его всё

---

[1] *Именья* — здесь: имущества, вещей.

[2] Цитата снабжена подстрочной сноской: «Стишный пролог».

одно, что XIX век. Там они живут без календарей, без дат, без численников, без годов. Там Иоанн Златоуст со святым Филаретом Дроздовым беседует, Дамаскин с Тихоном Задонским, Антоний Великий с Серафимом Саровским[1]. Помахивают они века-то.

Таким образом, как сделался человек невидим здесь, ушёл туда, где нет времени, но жизнь вечная, где нетление, дак и не глупи, не считай, что, вот, те древние «отцы», «чудотворцы», а эти «новые»: мы их застали. Ты этих знал, а бабка твоя тех давних видела и слышала. Ты Нектария[2] знал, а бабушка твоя Амвросия знала лично. Этих не молоди, «недавних», тех не старь. Погляди-ко на иконы-те. Иоанн Предтеча с святителем Филиппом (Колычевым)[3] вместе. То и правильно. Так и есть. Законы настоящей-то жизни, бесконечной, иные, чем тут, в жизни временной. Тут у нас всё, как в ящичке или в инкубаторе, всё в мелких, жалких, ограниченных масштабах. У нас всё тут игрушечное.

---

[1] Размышляя об относительности времени, Шергин объединяет святых, живших в разные эпохи. Святитель *Иоанн Златоуст* (407) — один из трёх Великих святителей и учителей Церкви, богослов и проповедник, епископ Константинополя. По составленному им чину в храмах совершается Божественная литургия. Святитель *Филарет (Дроздов)*, митрополит Московский (1867) — выдающийся церковный деятель, богослов и проповедник. Причислен к лику святых в 1995 г. В своих дневниках Шергин часто упоминает свт. Филарета, обращается к его сочинениям и письмам, называет его в числе своих духовных учителей. Иоанн *Дамаскин* (ок. 780) — византийский богослов и гимнограф. Святитель *Тихон* — епископ Воронежский и Елецкий, *Задонский* чудотворец (1783). Прп. *Антоний Великий* (356) — Египетский, основатель пустынножительства. Прп. *Серафим Саровский* (1833) — основатель Дивеевского монастыря.

[2] Преподобный *Нектарий* Оптинский (Тихонов; 1928) — один из последних оптинских старцев.

[3] Святитель *Филипп*, митрополит Московский (Колычев; 1569) — игумен Соловецкого монастыря (1548–1566), митрополит Московский (1566–1569).

Игрушечный детский мы домик «нащокинский»[1]. А «тамо» — «не тот материал-с!» (И как смешно, что мы тут надымаемся, топорщимся да пыхаем.) Дак вот: детское рассуждение, что «те древние, а эти новые». Все они «в Боге почивают». Значит, жалкая земная мерка о времени не существует для них.

...Я начал было с того писать, что доказывал о вещах да об остатках. Любим (верим) за то новых, что сами их видели. О том говорил, что и древнее столь же достоверно свидетельство... что де остатки остались, дак и живы. И что де всё равно, что 75 лет, как деда нет, что 7 лет, как сестры нет. Дурова голова! Не в остатках дело, а в том, что с Вечным Солнцем[2], вездесущим они соединились. А там разбирай, какой оттуда тебе луч светит — древний или новый. Все там равно сияют. Там, «идеже лики святых Господи и праведнии сияют, яко светила»[3].

Впрочем, по-сесветскому я не неправ. Мы в теле, дак и судить вправе телесно, вещественно. Ино, вечная правда и здесь права. Как увижу калиги[4] да ложку, да чашку Сергиевы (а он жил многонько веков назад), дак

---

[1] *Игрушечный детский мы домик «нащокинский».* — Друг А. С. Пушкина Павел Воинович Нащокин (1801–1854), желая сохранить для потомков интерьер своего московского дома, в котором останавливался Пушкин, соорудил знаменитый «Маленький домик» («Нащокинский домик») — макет размером два с половиной на два метра, тщательно воссоздав все детали обстановки и убранства. Сейчас «Нащокинский домик» является экспонатом Всероссийского музея А. С. Пушкина в Петербурге.

[2] *...с Вечным Солнцем.* — Солнцем правды, Вечным Солнцем христиане называют Иисуса Христа.

[3] *...«идеже лики святых Господи и праведнии сияют, яко светила».* — «Упокой, Боже, раба Твоего и учини его в раи, идеже лицы святых, Господи, и праведницы сияют, яко светила, усопшаго раба Твоего упокой, презирая его вся согрешения». (Тропарь из заупокойных богослужений).

[4] *Калиги* — обувь странников и пастухов, сшитая из лоскутов кожи.

нисколько он не древнее Оптинского Амвросия. У Амвросия тоже и посох, и чётки, и шапка остались. И XIV, и XIX век, вот они: задеваю их руками. А вот кости их. А вот рука — подпись Филиппа Колычева (XVI век), а вот Филарета Дроздова (XIX в.). А се списаны речи их; а се постройки, ими возведённые.

Очень близки к нам (по-сесветски-то) описания жизни их, данные современниками ярко и просто. Поэтому изумительные характеристики, прямо сказать картинки бытовые, скажем, из Патерика Скитского[1] и т. п. отцов наших южных древних (начала Средневековья) очень к нам приближают, к нашему времени подводят. О какое благо было бы, ежели бы эти патерики, прологи, минеи четьи и служебные стали нашими настольными книгами; люди эти (а ведь это не тени — герои сочинённые романа, а биографии) близки были бы для нас. Конечно, время, поскольку мы на земле и во времени, чувствуется. Но, чуть оставили книгу, опять это: ох какая древность! И вот поэтому легко и светло нам видеть во святых современников (XIX) век. Вот почему любим и ликуем их обиталища видеть, их горницы, их вещи, даже фотографии сохранились подвижников XIX в. Как-то нам надёжнее, что вот в этих стенах жил и душу Господеви предал Серафим Саровский. ...Вот его рукавицы, сапоги на прямую колодку. Чу́дно это и радостно. И об Оптинском радовании, Амвросии, знаем, что хоть полсотни годов преставился, а келлия его ещё вчера тут вот была сохранна. А карточки с живого везде и старики о. Амвросия помнят.

Древние в «те» эпохи жили. Жизнь, культура, быт — всё иное было. А эти-то в наше время, в нашей обстановке, среди знакомых нам вещей жили. Они по-нашему

[1] *Патерик Скитский.* — См. Древний Патерик, изложенный по главам.

одевались, говорили, снимались, на таких же стульях сидели, вот эти книги в руках держали.

Уж очень это любо и светло, и радостно, что среди нас они жили, среди наших отцов и матерей.

Но вот тут ещё ворочусь назад. Радуйся, зовый, ликуя, что задеваешь сапоги, рукавицы Серафимовы, и умились, что он перед этой вот самой иконой Умиления отыде ко Господу.

И сразу же сообрази: а вот две келейных преподобного Сергия иконы, перед коими также точно, как Серафим Саровский, молился, на коих Сергий угасающий взор остановил.

Серафим близок, а Сергий почему далёк?? Вот тебе и ризы Сергиевы пестрядинные, и его ученика фелонь[1] и книга тут.

Добавлю, наконец, что и тому радуешься о святых нашего времени, что они доказательство пребывания благодати в церкви Христовой и в наши дни.

Убоги, жалки, скаредны ценности мира сего. Только вера Христова есть действительность. Только Мессия истинная реальность.

<Без даты>

Люблю святых Божиих угодников Севера, своего родного края. Зосима и Савватий Соловецкие, Антоний Сийский, Кирилл Белозерский[2] и многие, многие... Но

---

[1] *Фелонь* — верхнее богослужебное облачение священников, представляющее собой широкое одеяние с отверстием для головы и высокими твердыми оплечьями.

[2] *Зосима и Савватий Соловецкие, Антоний Сийский, Кирилл Белозерский.* — Преподобный Савватий, Соловецкий чудотворец (1435) — основатель Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Преподобный Зосима (1478) — игумен Соловецкого монастыря (с 1452 г.). Преподобный Антоний, Сийский чудотворец (1556) — основатель Свято-Троицкого Сийского

вот живу в Средней России два десятка лет, и уж близки стали не только, напр<имер>, божественный Сергий и Никон[1], его ученик чудный, люблю уж не только святых общеименитых «всея России чудотворцев»: Серафима и прочих великих, не только люблю Оптинского Амвросия и Льва, и Макария, и Антония, и Анатолия[2], в Оптиной подвизавшихся, Димитрия Ростовского[3], Тихона Задонского, Митрофана Воронежского[4]. Их все знают и ублажают. Везде их лики. О них мог бы как-то и на Севере узнать.

Живя в Средн<ей> России, люблю, полюбил и по брату[5] ставшего близким сердцу моему Савву Звениго-

---

монастыря, впоследствии ставшего одним из крупнейших монастырей на Русском Севере. Преподобный Кирилл Белозерский (1427) — ученик прп. Сергия Радонежского, основавший в 1397 г. Кирилло-Белозерский монастырь.

1 *Никон* — прп. Никон (1426), ученик прп. Сергия Радонежского, игумен Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

2 *Амвросия, и Льва, и Макария, и Антония, и Анатолия.* — Прп. *Амвросий* Оптинский (1891) — великий оптинский старец, духовный преемник прпп. Льва (1841) и Макария (1860). Прп. *Антоний* Оптинский (1865), схиигумен. Неясно, которого из Оптинских старцев — Анатолия Старшего (Зерцалова; 1894) или Анатолия Младшего (Потапова; 1922) — имеет в виду Шергин.

3 Святитель *Димитрий*, митрополит *Ростовский* (1709), богослов и писатель, составитель новых Четий Миней и «Алфавита Духовного». Дневниковые записи Шергина разных лет позволяют сделать вывод о том, что особое внимание он уделял книге Димитрия Ростовского «Внутренний человек, в клети сердца своего поучающийся и молящийся» и «Дневнику» («Диариуму») святителя. Неслучайно и свой дневник Шергин называл «диариумом» или «диариусом».

4 Святитель *Митрофан*, первый епископ *Воронежский* (1703).

5 «Братом», «братишечкой», «названным братом», «брателкой» называл Шергин Анатолия Викторовича Крога (†1953), своего родственника по материнской линии (их матери были двоюродными сестрами), самого близкого ему по духу человека; с момента переезда Шергина в Москву (1922 г.) и до конца жизни Крога они жили вместе. По профессии А. В. Крог был ак-

родского[1]. И кто ещё? Да всех святых угодников, что в старых московских градах и обителях почивают.

А святые угодники Севера рисуются мне: море шумит, волны бегут, ветры, бегут корабли, белые парусы. И они: Зосима и Савватий, Антоний Сийский, Елисей Сумский[2], Герман, Иринарх[3]; Пертоминские Вассиан и Иона[4], Яренгские Иван и Логгин[5]... Везде они по северным морям. Они как чайки, нигде им не загорожено. С кораблями они плывут, обороняют попавших в относ на льдинах, видят их у руля, направляющих в гавань шкуны[6], видят с веслом правильным на краю льдины.

тёром, но в те годы, о которых идёт речь в дневнике, руководил самодеятельным театральным коллективом в Хотьково.

[1] Преподобный *Савва Звенигородский* (1407), ученик прп. Сергия Радонежского, основатель Саввин-Сторожевского монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Звенигороде.

[2] Прп. *Елисей Сумский,* Соловецкий (XV–XVI вв.).

[3] *Герман, Иринарх* — преподобный Герман (1484) почитается первым из угодников Соловецких, сподвижник прпп. Савватия и Зосимы; прожил на Соловках более 50 лет. Преподобный Иринарх Соловецкий (1628) — с 1614 по 1626 гг. был игуменом Соловецкого монастыря.

[4] *Пертоминские Вассиан и Иона* — преподобные Вассиан и Иона Пертоминские, иноки Соловецкого монастыря, ученики игумена Филиппа (Колычева); погибли в 1561 г. во время бури на Белом море. На рубеже XVI–XVII вв. рядом с местом их погребения на берегу Унской губы возник Пертоминский Преображенский Крестный мужской монастырь.

[5] *Яренгские Иван и Логгин* — прпп. Иоанн и Лонгин Яренгские (XVI в.) — послушники Соловецкого монастыря; утонули в 1544 г. или 1545 г. во время шторма на Белом море. Тела их были выброшены на берег возле дер. Яреньги на Летнем берегу Белого моря. Эти святые, так же как Вассиан и Иона, были особенно близки жителям Поморья, постоянно подвергавшимся опасностям во время путины.

[6] В сборнике «Океан-море русское» (М.: Мол. гвардия, 1959) Шергин дает такое пояснение: «*Шкуна* — вид морского парусного судна; строились на Севере в XVIII–XIX веках. На шкунах поморы плавали почти до наших дней» (С. 344).

Угодников Соловецких Зосиму, Савватия, Германа, Иринарха, Елеазара[1], Святителя Филиппа (Колычева) в XVII, XVIII, XIX веках видали многажды на судах, стоящими, как мачты, с мантиями, наполненными ветром, проводящими гибнущий корабль в гавань.

Похоже на сагу скандинавскую житие Елисея Сумского[2]. Жену убил любимую, положил тело в кораблец перед собой, погрузил свечей и хлеба. Отворил паруса и уплыл в дали морские. Плыл океаном весну, лето и осень. Зимовал в мурманском диком ущелье, не сводя глаз с лица любимой, мало изменившегося, хотя иссохшего от морских солёных ветров. Весной Елисей справил в Белое море. Полуночное солнце, беспредельное море, кораблец с чёрными парусами, посередине мумия прекрасной женщины... В тихую погоду над нею горят свечи. У руля окаменел человек.

Когда лицо любимой изменилось от чёрных зимних ветров, Елисей высек в Сумском берегу «печеру», схо-

---

[1] *Елеазар* — преподобный Елеазар Анзерский (1656) — схимонах; в 1620 г. основал Троицкий скит на о. Анзер Соловецкого архипелага; учеником и постриженником прп. Елеазара был будущий патриарх Никон.

[2] *Похоже на сагу скандинавскую житие Елисея Сумского.* — В сборнике Шергина «Океан-море русское» (М., 1959. С. 329–331) опубликована «Старина о Варламии Керетском» (с подзаголовком «поморская баллада»), сюжет которой полностью совпадает с пересказанным в дневнике сюжетом жития Елисея Сумского. В «Архангельском патерике», составленном в начале XX в., в разделе о малоизвестных святых Архангельского края приводятся такие сведения: «О преп. Варлааме Керетском достоверно известно только то, что он жил во времена Иоанна Грозного и был уроженцем Керети, священствовал в Коле. Убив жену из ревности, не имея, однако, на это причин, он, опамятовавшись, не счел себя уже достойным священствовать. Похоронив жену, он закончил жизнь в подвигах поста и покаяния и жил в келье на Чупской губе». (Архангельский патерик: Жизнеописания русских святых и некоторых приснопамятных мужей, подвизавшихся в пределах Архангельской епархии / Сост. Епископ Никодим (Кононов). М., 2000. С. 177–178).

ронил жену. И сам в нечеловеческих подвигах поста, молитвы, наготы скончался здесь, стяжав посмертно дар чудотворений.

Или вот ещё живая чёрточка о святых, живших в XV веке. Чёрточка, стирающая без всяких преодолений и трудов, без всяких проникновений «в древность», чёрточка, разрушающая время по самому обыкновенному, земному: «Лета 7032 (1524), 2-го марта, пытал у Евпроксеньи Васильевой. И Евпроксения сказывала: «Помню маму его, которая его кормила. А звали её Ефимия. А жила 106 лет...». Выходит, мама-та ещё в XIV веке жила. Ибо и «дитя» (св. Макарий Калязинский)[1], ею выкормленное, преставилось в 1483 г. «в старости глубоце». А справка понадобилась при обретении мощей Макария Калязинского в 1521 году.

Прочтёшь, и как будто сам проник и приник к тем векам, и обоняешь их аромат. Видишь, как легко через века шагают, как время малится.

Тетка Глафира Васильевна говорила мне, что её дедушка ей рассказывал, что видел человека, который присутствовал при казни стрельцов.

По расчетам, это она от деда слышала в 1850 году. Деду было 80 лет. Деду рассказывали тоже в юности, примерно в 1780 г. Рассказывал 100-летний старик, ещё заставший XVII век.

Если читать историю, историч<еские> «романы», как это всё всегда «было давно». А послушаешь такой рассказ и высоко над временем взлетишь, два века видишь... И это ещё в «сесветных» условиях такой взлёт, такой охват и конденсация времени возможны[2].

---

[1] *Св. Макарий Калязинский* — преподобный Макарий (1483), Калязинский чудотворец, основатель и игумен Калязинского монастыря (неподалеку от г. Кашина).

[2] Далее следует приписка в квадратных скобках: «О времени. Об его условности».

<Без даты>

И ещё почто люблю наших северных святых. Имена их с детства на октениях[1] слышал. Ещё мама на руках в церковь водила, за руку к Воскресенью[2] водила. По порядку из уст о. Михаила[3] помню: Зосиму и Савватия Соловецких, Антония Сийского, Никодима Кожеозерского[4], Трифона Печенгского[5], Варлаама Важеского[6]... Пертоминских... Яренгских, Артемия Веркольского[7] чин.

---

[1] *на октениях* — ектения (*греч.* «усердие», «протяжение») — общее моление на церковных богослужениях.

[2] *...мама на руках в церковь водила, за руку к Воскресенью* — Воскресенская церковь в г. Архангельске, построена в XVIII в., приходской храм семьи Шергиных. Располагалась в начале Воскресенской улицы неподалеку от набережной Северной Двины. До настоящего времени не сохранилась.

[3] *...из уст о. Михаила помню* — протоиерей Михаил Попов (род. 1863), в 1892–1920 гг. — священник (с 1906 г. — настоятель) Воскресенского храма г. Архангельска. В 1926 г. арестован по обвинению в контрреволюционной агитации, в 1927 г. выслан на 3 года. Дальнейшая судьба неизвестна.

[4] *Никодима Кожеозерского* — преподобный Никодим Кожеезерский (Хозьюгский) (1640), пустынножитель, в келье на Лопском полуострове озера Коже (в Поонежье) прожил 35 лет.

[5] *Трифона Печенгского* — преподобный Трифон Печенгский и Кольский (1583) — основатель Свято-Троицкого монастыря (1533) на реке Печенге (Кольский полуостров); миссионер, проповедовавший христианство среди лопарей (саамов).

[6] *Варлаама Важеского* — преподобный Варлаам, Важеский (Шенкурский) чудотворец (до пострига — Василий Степанович Своеземцев, новгородский посадник; 1462) — основатель Иоанно-Богословского монастыря на реке Ваге (1444 г.), позже стал монахом основанной им обители.

[7] *Артемия Веркольского* — праведный Артемий Веркольский (1545) — отрок, уроженец села Веркола на реке Пинеге. Спустя 32 года после смерти Артемия от удара молнии были обретены его нетленные мощи, от которых начались чудеса. В середине XVII в. в честь прав. Артемия в Верколе был основан мужской монастырь.

А в Соловецком подворье с детства выучил на слух Зосиму, Савватия, Германа, Иринарха, Елеазара Анзерского и прочих Соловецких чудотворцев...[1]

И ещё почто радуюсь о таких святых, как Филарет Митрополит? И иные, нам по времени близкие?? Потому что с ними, как на одном корабле плывешь. Они ещё кораблем-то правят. Тут ещё они, близко[2].

<Без даты>

Сто лет для жизни в церкви ничто, и 200 ничто. Например, «петровское» — это уже как бы наше. Но 300 лет, XVII век — это уже древность. Прискорбно это, конечно. Там-то самое «наше». Но послепетровских людей как бы больше понимаешь. Они уже как бы современники. Они уже на твоём корабле. А то все «древние». «Там» всё «разительно» отличается от жизни, от быта, скажем, столь близкого нам века XIX, в недрах которого мы родились. (Деды наши родились из недр XVIII века.) Вот, как художник и как убогий, но всё же именующий себя сыном церкви, люблю, скажем, град Сергиев, Лавру преподобного Сергия (сокровищницу и искусства, и веры). Но кипение её, центры тяжести её ведь вот куда надо отнести — к преподобному её основателю, к его ученикам, к Дионисию XVI века[3]. Вот где основной акцент Лавры.

Цветуща была сия сокровищница и в последующие века, но, как бы утомясь и убоясь величием и роскошью сей святыни древней, центральной, исторической, героической, знаменитой, иное робко ищет душа.

---

[1] Далее следует приписка в квадратных скобках: «О северных святых».

[2] Далее — приписка в квадратных скобках: «Святые XIX века. Почто люблю?».

[3] *...к Дионисию XVI века.* — Прп. Дионисий Радонежский (1633), архимандрит Троице-Сергиева монастыря с 1610 г.

Бремени веков, бремени истории «суеверно дивится посетитель»[1]. Отчасти вот почему возникают новые и новые обители. Да и простодушный человек любит, что поближе. Древние преподобные... их издревле навыкли знать в серебре.

Перечёл написанное и смутился. Лишь плод утомленного ума эти умозаключения... Неужто только музей присносияющая лавра Сергиева?! Неужто не жив богоносный отец наш Сергий... Никон... Дионисий?

Нету «древнего» и «нового» в вере Христовой. Вечно юнеет церковь Христова и всё, что в ней и от неё. Нету времени в Боге. Не стареет ничто, во Христе живущее[2].

<Без даты>

Незамогла ты, ворона, по поднебесью-то летать... Вот и стараешься качество количеством заменить. Вон на Святей Горе велено одну икону, одну книгу держать. А ты хапаешь, хватаешь сюду и сюду. И уж не из чего хватать-то, карман-от пуст, от хлеба у семьи рвёшь, а полки забиваешь. И не читаешь уж, а лишь бы полки ломились. Тужишь, что не как у людей, что нет кармана. А пёс ли тебе в целой-то библиотеке?! Хоть двадцать комнат книгами забей. Хоть Боткиным[3], хоть Остроуховым[4] будь, а кому то осталось?! И на что тебе много книг? Сам будешь читать? И на настоящие книги одну

---

[1] Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Мадонна»: «Чтоб суеверно им дивился посетитель».

[2] Далее — приписка в квадратных скобках: «Церковь Христова присно юнеет. О еже почему любы обители новые; почему радуемся о святых нашего времени».

[3] *Боткин* Михаил Петрович (1839–1914), художник, коллекционер произведений искусства.

[4] *Остроухов* Илья Семенович (1858–1929), художник, собиратель русской живописи, в том числе икон, переданных в Третьяковскую галерею.

полку отряди: их немного, твоему убожеству насущных. А это ведь обжиранье: всё одно не переварить, не усвоить. И вот, знаю, и не только знаю, но и чувствую, что одна, две книги нужны. Потому что «одно на потребу»[1]. А жадности не могу преодолеть. Подавай коробами. Старцы учители скажут, что это плохая примета. В сторону это от самых первых ступень преуспеяния. Хоть и об одном книги собираешь, да для тебя-то много. Да и каждому человеку не множество книг надо об этом «одном». Только «классические» книги об «едином на потребу» надо читать. И будешь их читать десяток, а одну изберёшь.

Но в большой надо быть мере, чтобы, как Феофан Затворник Соловецкий[2], говорить: «Читай Псалтырь! Одну Псалтырь».

А вот как, по-сесветному-то судя, для радости всё это охота собрать обилие-то книг об иночестве, об обителях, о святых... Я радуюсь над ними. Кабы можно, «сухой бы я корочкой питался», а книги покупал. Спал бы с книгами, которые люблю. Ужасти как они дух мне веселят и надымают...

Притупилось восприятие-то, не шевелят меня привычные-то одни и те же вещи и книги; надо новые. И это свойство, вероятно, всех любителей и собирателей «искусства и старины». Помню, говорил Н. А. Кл<юе>в[3] — «я сменил бы эти иконы: не чувствую их». (!!!) Любитель-антиквар Антонов, покупая у

[1] Лк. 10:41–42.

[2] *Феофан Затворник Соловецкий* — пустынник Феофан (1819) — см. «Соловецкий Патерик».

[3] *Клюев* Николай Алексеевич (1884–1937), русский поэт. Любовь к древней духовной культуре Руси, особенно Русского Севера, интерес к старообрядчеству, религиозность и неприятие разрушения традиционных устоев русской национальной жизни сближали его с Шергиным. Травля Клюева, начавшаяся в конце 1920-х годов, завершилась его арестом в 1934 г., ссылкой в Нарымский край и расстрелом в октябре 1937 г.

нас фарфор, говорил: «Пригляделись они мне, я их за ту же цену отдам». А молодой ещё библиофил предложил меняться книгами: «У меня все неразрезанные»...

Дети могут, конечно, в игрушки играть. Но даже и для «будущего» инока очень это несерьёзно. Помню, кажется, у Лермонтова: «Не множеством картин старинных мастеров...»[1]. Настоящая книга, настоящая икона — как дрожди неиждиваемые, век она бродит, мысли родит и надмевает тебя[2].

5 декабря

Зимний завтра Никола. Так по белым снегам его и прокатывает Русь-та. Краше его, света, мало, а прославить соборно некуда сходить. Да ещё и радения мало... В Кленниках у Мечёва Сергия[3], бывало...

Я вот толкую: «древние» святые да «новые» святые. Ближе-де новые. А в народной вере вопроса о древности или современности того или другого святого не существует.

На шкунах в море кого грызут? Многих грызут, а Николу первого. Не плесневеет этот хлеб. Цвет сей не теряет благоухания. Чудное дело: знать, хороший хозяин заботится!

Он жил на далеком юге. Жил много веков назад. И тут вот какое дивное дело: Русь его присвоила, на Руси Никола — «скорый помощник». «Никола — ско-

---

[1] Первая строка стихотворения А. С. Пушкина «Мадонна».

[2] Далее следует приписка в квадратных скобках: «О том, что не добро чести многие книги».

[3] *В Кленниках у Мечёва Сергия* — священномученик Сергий Мечёв (1942) служил в московской церкви свт. Николая Чудотворца в Кленниках на Маросейке с 1919 г., в 1923 г. после смерти отца — преподобного Алексия Мечёва — стал настоятелем храма (по благословению Оптинского старца Нектария). Расстрелян 6 января 1942 г.

ропомогательное имя». Монастыри, храмы, деревни, корабли — сколько их, посвященных святому Николе.

Русь (как и греки) не сделала из св. Николая ёлочного деда, как в Америке. Как он есть, таким Николу имеет Святая Русь. Живший в Малой Азии в Мирах Ликийских в IV веке, живёт уж много веков на Русском Севере. «От Колмогор до Колы тридцать три Николы»[1] — церкви Николины. Монастырь Николы Корельского на Двине[2], Никола Веркольский[3] на р<еке> Пинеге. В каком доме не было его лика пречестного? И много ли ликов краше, любимее лика Николы Милостиво-го?.. А в храмах сияние свеч, темный измождённый лик с высоким челом, взгляд, проникающий душу... Малоазиатский грек, живший в IV веке. Но кто более жив, чтим и любим, чем он?? Кто не знает его? Про кого больше рассказов и легенд?! Жизнь святителя Николая на Руси — разительный пример тому, что счисление веков — IV, V... XX — важно только для учебников. А в церкви «древность» и современность сливаются. Могут не знать и «новых чудотворцев», канонизированных в XIX веке, а «древний» Никола живёт и чудотворит в народе. На Пинеге «вырезной»[4] Никола ежегодно снашивает сапоги. «Поглядишь: подметочки все уж сношены... Он ходит».

---

[1] *«От Колмогор до Колы тридцать три Николы»* — распространенная в Поморье пословица, свидетельствующая об особом почитании здесь свт. Николая Мирликийского: от Холмогор, расположенных в нижнем течении Северной Двины, до с. Колы, Кольского залива Баренцева моря, то есть — вдоль всего беломорского побережья.

[2] *Монастырь Николы Корельского на Двине* — Николаевский Корельский (Николо-Корельский) монастырь, древнейшая обитель на Архангельском Севере, основанная в начале XVI в.

[3] *Никола Веркольский* — в Никольском храме Артемиево-Веркольского монастыря находилась рака с мощами прп. Артемия Веркольского. (См. прим. на стр. 57).

[4] *«вырезной»* — характерное для Русского Севера резное изображение Николая Чудотворца.

Да где только не расскажут вам о новых чудесах св. Николы. На С<еверной> Двине в 1930 году женщины перегружали карбас с сеном. Карбас затонул на песчаной кошке[1]. И женщины враз закричали: «Святитель Никола, убавь воды!». Вот вам малоазиатский «мифический» грек. Полной жизнью живет «святый Николае» на Руси. Что там 70 его лет на дальнем юге, в безвестном тогда граде: его жизнь, жизнь в Византии, в России, в Италии, во Франции, в Германии... настоящая жизнь святителя Николая — это последние полторы тысячи лет. Скажем, с V по XX столетие! Вот этот «период» жизни святителя как раз богат событиями, происшествиями... Европа, Азия, Америка... Везде он!

...Да... В церкви, в религии всё так. В теле жив, невелико место занимал, а сбросил и везде стал. Отошёл святой ко Господу, и сразу «деятельность» его крылья, размах получает.

Как только человек святой жизни, о Господе почивший и Господу угодивший, ко Господу преставился, он, иногда сразу, иногда постепенно (это самое разительное!) со всеми рядом, с людьми-то, становится. Жив-то, дак куда-то писать или ехать куда-то надо, добывать старца-то. А преставился — и рядом около тебя оказался. Жив, годы считал: «Ох, стар де... немощен». А помре, и счет годов отпал. Время перестало для отошедшего ко Господу. Полторы тысячи или тысячу лет назад жил в теле святый, но, начав жить жизнь вечную, стал одинаков и XV веку, и веку XX-му. Века сего света проходят, а живущий жизнь вечную всё тот же. Тамо жизнь неизменяемая, нестареемая[2].

---

[1] *Кошками* в Поморье называют песчаные острова или отмели.

[2] Далее следует приписка в квадратных скобках: «На праздник Николы Чудотворца. Почитание его. И о еже: нет древнего и нового у Господа, нет времени».

7 декабря

Антоний Сийский... Сегодня с Двинской земли струится тихий, но настойчивый свет. Антоний Сийский — одна из звёзд Севера. Он как северное сияние в ночи. Но и сюда достигает свет его святости... Там, на далёком Севере, четыреста лет назад затеплилась эта свеща неугасимая. Сегодня там праздник. Разорена обитель[1], но жив Господь, жива святыня. Ныне силы небесные тамо невидимо служат. Нет людей, но горят свещи праздничные, озаряя снега и дремучие ели, и скованные во льдах реки и озеро. Антоний Сийский, благодатный луч северного сияния. Сегодня в день его блаженного успения стремится на Север душа моя, хочет слушать тихость безмолвную ночи. Вот я вижу Двинскую землю в зимнем сне. Великие реки, беспредельные леса и озеро, и остров, и как ковчег драгоценный — обитель Антониева. Род сей, в смраде срамно ликующий, не видит света святых. Но тем, кто взыскует оного света, сияет имя Антония Сийского, любо его житие и эти леса, и реки, освящённые его пребыванием, его чудесами.

Светильник иночества, зажжённый Антонием Сийским, равно как и сияние иных благодатных огней Севера о дне света, дак именно что на суд тебе. Весь мрак твой только осветит, всю мглу и ночь.

Как надо работать, как учиться... с азов, с азбуки, чтобы как-то приблизиться к осиянному чину иноческому, к пречестному имени преподобного. А то смотреть так со стороны, безучастно, не учась, не трудясь,

[1] Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь был закрыт в 1923 г. Сначала в нем размещалась детская колония, затем дом отдыха лесозаготовителей, детский дом, приют для детей-инвалидов, интернат для престарелых, пионерский лагерь, дача Архангельского облисполкома. В 1992 г. монастырь возвращен Русской Православной Церкви.

не борясь с собственным ничтожеством, не стоит. Кругом дети смерти не спят, не дремлют: растлевают, развращают, хулят правду. Что же ты-то хоть две лепты, хоть одну в дело Божие, в дело правды не отдашь?

Любить церковную культуру, любоваться ею, собирать книги и иконы — это всё внешнее для тебя. Книги и собрание икон кому-то останется. А ты что с собою возьмешь?[1]

<7 декабря>

Вчера вот шёл по переулку... Снег на высоких крышах старых домиков. Снег на ветках. Вспомнил о дне святителя Николы. Бредучи, за безлюдьем пел величанье. И думалось: куда вот эти сердечные излияния о святом и песня уст идут?.. Частью в эфир, частью туда, где его лики на святых иконах, где чтут святую его память. А больше, может быть, в свое сердце посылаю ему величанье, стихи. Сердце человеческое, даже такое убогое, как моё, целый мир. Туда и посылаю слова благодатные. ...Куда идут слова молитвы??

А помнишь: «Ищи Бога, а не ищи, где пребывает». Отцы, стяжавшие подвигом великим молитву, знают, где молитва и куда молитва идёт. Но великим подвигом светлое сие знание достигается. А твое дело — пой да молись, как заповедано по святым уставам. Бог велик, непостижим. Знай, что он во всём и всё в нём, и молись. Николин день, дак читай святителю канон, пой ему, скорому помощнику, умились о нём, помни и люби, и чти дни святых угодников Божиих. Жития их, службы им

[1] Далее следует приписка в квадратных скобках: «На память преп. Антония Сийского, сияние с Севера. И о еже неготовой быти душе к празднику. Одного любования мало».

одна другой дивнее и умилительнее. И Господь даст тебе умиление и молитву, и знание светлое, радостное[1].

<Без даты>

Сам-то я у́падь, тля, дак надо с утра-то хлебнуть живой водицы. Кое и родится в пустой-то башке.

Творения святых великих отцов, великие книги (их с тебя надо не много). Филокалия[2], Исаак Сириянин, Лествица[3].

(Уж, я чай, чтиво всякое мусорно-газетное ты давно оставил.) А в великих книгах всякая строка — жизнь, всякое слово — маяк. Эти книги не будешь читать на ходу, за чаем. Но и не только современное сифилитическое, гнусавое, смрадное чтиво. И классиков новых и старых, где страсти любовные расписаны и размазаны, взыскующий града читать не будет: не интересно, ни к чему, не про нас писано.

Нет пользы, когда «Любовь к красоте» — Филокалия[4], будет у тебя рядом с «1001 ночью» лежать... Тут уж последняя честь горше первых. Тем любоваться и другое любить.

---

[1] Далее — приписка в квадратных скобках: «Куда идет молитва. Ищи Бога, а не ищи, где пребывает. Молись по уставу и найдешь».

[2] *Филокалия* — Добротолюбие (*греч.*), сборник аскетических святоотеческих текстов. Первое издание «Филокалии», составленной афонскими свв. Макарием Коринфским и Никодимом Святогорцем, вышло в свет в Венеции в 1782 г. В Москве «Добротолюбие» в церковнославянском переводе преп. Паисия Величковского было издано в 1793 г.

[3] *Исаак Сириянин* — преподобный Исаак Сирин (Сирянин, Сириянин) епископ Ниневийский — великий христианский писатель-аскет, жил в Сирии в VII в. *Лествица* — «Лествица, возводящая на небо» или «Лествица райская» — сочинение преподобного Иоанна Лествичника (649).

[4] *«Любовь к красоте» — Филокалия...*— Буквальный перевод греческого слова «филокалия» — «любовь к красоте».

Жизнью надо проходить эти книги. Нет пользы после сытного обеда, развалясь в креслах с папиросой в зубах, прочесть полстраницы, нет пользы, когда, блестя корешком, поставлены «Словеса постнические» Исаака Сирина вместе с «Старыми годами»[1], «Аполлоном»[2], стихами, «Декамероном».

А вот польза, когда одну-единственную для себя книгу носил «странник» в котомке, храня её больше жизни и жизнью своей проходя эту Божественную книгу.

Странник «алкал» дивных словес этой книги, читал, забывая мир, в лесу, сидя в сторожке, проходя Сибирь и Россию, пустынными дорогами, питаясь сухарём, утоляя жажду водой из рек и болот. Имея в сердце только великое учение «добротолюбия».

Конечно, беспечность и профанация — вот и так, как я, молитву Исусову твердити. Здание надо не с крыши строить, а с окладного бревна, с фундамента.

Quod licet Iovi, non licet bovi[3]. Безмолвников дело есть — упражнение в молитве Исусовой. По учению святых отцов, это уже завершение подвигов, крыша.

Конечно, и лестовичка[4], и молитва Исусова могут украшать быт. Но при таком «декоративном» отношении в трудную минуту и забудешь о ней.

---

[1] *«Старые годы»* — ежемесячный иллюстрированный журнал для любителей искусства и старины, издававшийся в 1907–1916 гг. в Петербурге.

[2] *«Аполлон»* — один из самых значительных русских литературно-художественных журналов начала XX в., орган символистов, затем — акмеистов. Издавался в 1909–1917 гг. в Петербурге.

[3] *Quod licet Iovi, non licet bovi.* — Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку (*лат.*).

[4] *Лестовичка* — лестовка — старинные четки из ста трех соединенных между собой цилиндрических планок с завершением в виде четырех лопастей (чаще кожаных) треугольной формы. Были распространены, в основном, среди старообрядцев.

Я довольно говорил, толковал, мечтал, воображал о «церковном». Но то всё было или от эстетики, <или плотское, буйственное, страстное>[1], красивые башенки, а здания-то и не было. Павильон был воздушный, на песке строен. Каких вещей я касался, расписывал настроения, утешения самые добрые, самые здоровые.

А вот поди ж ты! Граблюсь за «барокко»! Пресытился хлебом чистым беспримесным северной родной речи. Нравятся вот такие выражения, как «трафиться» и т. д., и т. п.

В этих же планах и моя любовь, скажем, к елисаветинскому «барокко»[2].

P. S. Замечателен язык царя Грозного. До него величавая архаика (есть изумительные образцы русской речи и до Грозного, конечно). Не знаешь, к чему примениться. А у Ивана царя крепкая, ёмкая острая русская речь[3].

25 декабря 1939 года
Рождество Христово

...С тем умру. Тут только падать да плакать, да величать.

Откуда это чувство приходит... Это выше моих понятий. Это чу́дное нечто, и не знаю, откуда, и не помню, когда явилось. Говорю о любви моей к художеству и старцу Амвросию Оптинскому.

Даже вот теперь, когда я себя плохо чувствую целыми днями, когда голова не работает, иное еле брожу,

---

[1] *...или плотское, буйственное, страстное* — эти слова в рукописи зачёркнуты.

[2] Далее следует приписка в квадратных скобках: «Откуда любовь к барокко?».

[3] Далее следует приписка в квадратных скобках: «О языке. Барокко».

час какой-то придёт, и думаешь о чу́дном старце. Канун сочельника видел его во сне даже.

Будто он, отец наш, оставляет «дом». В спину отченька видел. Уж не помню всего. ...Высокий будто, сутулый. В выцветшей, вишневого как бы цвета долгой одежде. Власы седые с ушей... Горькое и сладостное чувство что, вот, увидел. И во сне-то как бы сознание было что не явь, а видение вижу.

Бывает почитание святого народное, которого многие любят. У меня к отченьку моему как бы личное чувство. Я не жил с ним в одно время, но его рождение в вечную жизнь и моё рождение на сей свет соприкоснулись. Год возле год. Не огонь, не пламя оставил он, благостный, на земле, но тысячи огоньков, как бы свечечек. И одна свечечка в моей душе. Искорка, может быть, одна шает. «Слабый огонечек то совсем замрёт, то дрожащим светом «стены» души моей, обольёт»[1]...

Частыми стали равнодушие и хлад сердечный... Все цветы опали... И уж как рад, когда оживёт искорка-та Божья, согреет сердце.

Что это за чувство, эта любовь, если можно так выразиться, к святому, которого не знал, которого не видал, о котором я мало и слышал, но больше читал, о котором и книги-то нет у меня, ниже брошюрочки. Очевидно, только в церкви такие отношения возможны. Это, конечно, не институтское обожание. Но хотел бы за ноги отеческие держаться.

И такое отношение возможно только в церкви, отношение к отшедшему как к живому. Церковь смерти не признаёт, не знает. В церкви все живы. И отченько твой жив. И близко он. Есть в иных областях человеческих явлений и отношений чувства, почитание, скажем, общественных деятелей, исторических героев: «Суво-

---

[1] Строки из стихотворения Л. А. Мея «Хозяин» (1849).

ровых», «Вашингтонов», «Наполеонов». Почитание таких героев, гражданских, военных, иное по природе, нежели пригорнование к избранному авве.

Здесь у послушника отношения глубоко личные, интимные, таинственные и сокровенные. Здесь сын и отец, но в планах горних, чудных, высоких. Внимать ему, беседовать с ним, учиться делом, молиться с ним. За его риз воскрылия держаться: в радость Господа ведёт отец твой тебя!

Чудно и давно писано: от пелены изберёшь себе авву (хоть бы по рассказам, хоть бы по книгам) и устремишься к нему, от того часа и авва (на земле живый или уже отошедший ко Господу) тебя знать будет.

Не малое бы дело, ежели бы меня, нищего, таков авва, как отче Амвросий Оптинский, знать стал! Такие, как уж ежели кого «знают», дак о том не худо промышляют.

Пути Божии неисповедимы. Доброму, честному человеку вольно Богу и явно помощь послать. А таким, как я, окольно Бог подаёт, на догадку всяко. И эта любовь моя к херувимскому отцу моему Амвросию — не орудие ли счастия моего и моего спасения? Не есть ли это «объятия отча»?[1]

<Без даты>

Как я радуюсь, как я веселюсь душою, когда любимого-то, обожаемого-то человека лице гляжу. Когда постоянно он глядит на меня со стены моей. Да, разные бывали люди. Ина слава солнцу, ина луне, ина звез-

[1] Далее — приписка в квадратных скобках: «На Рожество 1839 года. Об отце Амвросии Оптинском. Любовь к старцу. Природа этой любви. Этой любовью спасает Господь тебя».

дам[1]. И это не обида. Не можешь быть большой, дак будь поне[2] малой звездой.

Малые звёздочки — это мои родные отшедшие: мама, сестра Нина. Оне глядят с портретов скромных. А звёзды великие или луны это, или солнышко в горнице моей — это ангелы земные, отцы мои о Господе. Не с грустью лики их вижу, нет: сердце мне они ростят, душу надымают. Крылья даруют и будят, и говорят: давай полетим! Это помощники мои[3].

Думается, что в деле *религиозного* воспитания хорошо, чтоб молодежь во-первых чувствовала красоту, потом уж знала. Это, конечно, о тех, у кого есть искорка Божия, у кого вложено это стремление или влечение к *вере*, к церкви, к Богу.

Добро и то, когда, ещё не имея выношенной любви к «духовному», к «церковному», уже желают иметь эту любовь, хотят этой потребности.

Но когда желающие учиться *вере* Христовой есть, но потребности к красоте нет, когда эстетически люди неуязвимы, тогда величие, авторитет, универсальность, грандиозность и великолепие исторической церкви надо показать. Удивление сначала внушить[4].

<Без даты>

Рассказываю в последние годы, для школьников особенно, всё одно и то же. И я уже абсолютно не чувствую, не переживаю ничего, когда о море ребятам гово-

[1] 1 Кор. 15:41.

[2] *Поне* — хотя бы, по крайне мере (*церконослав.*).

[3] Далее следует приписка в квадратных скобках: «Чувства, вызываемые портретами родных и портретами святых отец. Разница».

[4] Далее — приписка в квадратных скобках: «О воспитании *религиозном*».

рю... «путём-дорогой, здравствуйте!»[1]. И в сказках не смешно мне и даже чу́дно, что аудитория моя смеётся. Говорю всегда с одними и теми же интонациями. Глубоко я равнодушен к своим сказкам. Равнодушно пою былины. Где оно, моё былое увлечение былинами, любовь к ним? Чувство очарования былинами отошло. Может быть, заменилось каким то чувством «публики».

[1] Цитата из рассказа Шергина «Мурманские зуйки».

И смерть, и ад
со всех сторон

Дневники

1942

при- лись для меня дали, в ту сторону
лись расступились границы... Дивная церковь
на Нерли, Боголюбов, собор во Владимире,
уж не фотографии

10 февраля Февраль середка,
пятница а мороз признал.
Жжжж В сенцы за водой
ходо... а я чаял оттепели. По
свету стало много.

13 февраля Мишуринку
поневоли пигурку слав,
шампуни добрый человек
галанку на шведку нам переклал. Хоть
на дрова шведка-та охоча, да краса
чисто и тепло хранится. Не знаю
за что полюбил нас добрый человек.
работа тысячу стоит, а он только

6 июня. Воскресенье

Прочитываешь святыя писания богоносных отцов: Лествичника, Исаака Сирина, авву Дорофея[1] и других учителей, ведущих нас по пути Евангельскому, научающих, как препроводить утлый кораблец души нашей чрез бури моря житейского.

Церковь учит устами богоносных отец наших. Преуспевать в жизни духовной велит Церковь чадам своим, велит познавать своё душевное устроение. Церковь открывает ищущим меры духовного возраста. «Восходите, братья, восходите», — говорит Церковь устами святаго Иоанна Лествичника.

Для великой радости привёл Бог в бытие род человеческий, для того чтобы восполнить отпадший некогда десятый чин ангельский. Ангелами хочет видеть нас Творец. Но мы сами себя в бесов претворяем. Ангелы спали с неба, ибо имели свободную волю и употребили её во зло. Того же и мы желаем, свободных и нас сотворил Отец наш небесный.

...Но, Господи, мой Господи, вот я всю жизнь в грехе провалялся. Но вспомнило нечто во мне, что я образ неизреченныя славы Твоея, аще и язвы ношу прегрешения. Помню, сквозь греховный сон помню, что был я образом Божественным почтён. Помню и плачу, и желаю древнею красотою вообразитися.

Да, я люблю услаждаться пением тропарей. Люблю и знаю толк в церковном пении, знаю толк в иконописи, сам иконописец. Всю жизнь я кипятился и ратовал за высокохудожественную обстановку храма, за древний стиль храмового зодчества, за древнее пение, за древ-

---

[1] *Авва Дорофей.* — Преподобный авва Дорофей (620), автор аскетических «Наставлений» и «Слов» о подвижнической жизни.

нюю иконопись, а вот ударили ветры, пришла буря, навалился страх отовсюду, и — всю мою кичливую и неразумную ревность как ветром сдуло.

Потому что праздно разглагольствуя о церковном, богослужебном устроении, потому что увлекаясь эстетически старообрядчеством, его стильностью обрядов и видя в Церкви <1 нрзб.> аляповатую новейшую живопись, небрежность в отношении обряда, слыша концертное театральное пение, я отвращался одно время вообще от церкви, забывал, что православная Церковь велика, обширна, вседовольна, что во многих святых обителях блюдутся древния богослужебныя чины и уставы, наблюдается древнее пение (Соловки, Валаам и др.).

Но о сем до зде[1], всё это не моё было дело! Обо всём суетясь, всюду нос суя, я о том, что для меня есть самое нужное, не позаботился нисколько. А дом душевный и не начал строить. Ни одного кирпича не припас.

Была молодость: в мягких муравах у нас (художников-эстетов-поэтов) песни были, игры всякой час... И вдруг извне пришли годы испытаний Божиих. А в себе я увидел, что и старость близка, и уж пришли неисцелимые болезни — «зима катит в глаза, нет уж дней тех светлых боле»... А у меня ничего нет... Я был «богатая творческая натура». А все эти лепесточки-то единым дуновением сдуло, и уж никто мною не любуется, не нюхает, а и наступят, не заметят: мало ли увялой травы. Дни мои, яко цветы в поле, тако они увяли[2].

Поздно я отрезвился-то, поздно в сознание пришёл. Но Господь говорит устами Златоуста: отдал диаволу силу молодости, дак отдай мне пыл <?> с устами трясущимися.

---

[1] И *о сем до зде.* — Об этом достаточно, сказанного достаточно, довольно. (*др.-рус.*). Слова, которыми нередко заканчивалась часть повествования в древнерусских житиях, поучениях, посланиях.

[2] См. Пс. 102:15.

...Десятки лет, какое, сотни лет стояли сии стены зданий рукотворных. Но едино мгновение и всё сие — груды мусора, кучи песку и уж трава на грудах этих растет, и уж не знаешь, где и было.

Тысяча лет назад, а иное и полторы тысячи, а священное Евангелие возвещено и списано и к двум тысячам, а Библия и тысячи лет... Но Божие слово стоит, как стояло. Авва Дорофей, преподобный и преблаженный, жил в VI веке, но постулаты его о человеке, о законах психики человеческой вековечны, незыблемы. Сколько-то было философов, психологов, скажем, за две тысячи лет, за время христианской эры, но разве кто-нибудь сказал человеку о нём самом так благодатно, так исчерпывающе, так живительно, так спасительно, так живоносно. Разве кто-нибудь так поразительно показал человеку его душу, все пути и заблуждения человеческой души, все изломы человеческой психики, разве кто раскрыл человеку смысл жизни, смысл страданий, разве кто привёл род человеческий в сияние, в радость, разве кто показал путь в вечность, как осиянные светом Евангелия, учителя веры Христовой, истинные носители света Христова: ап<остол> Павел, отцы Церкви, учители Церкви и богоносные отцы — Исаак, Иоанн, Дорофей и другие.

Всё пройдёт, а словеса истинных учеников Спасовых не пройдут. И сейчас, а сейчас особенно, они, благодатные, и только они дадут ответы на все вопросы жизни нашей. (Дорофей о построении здания души).

Авва Дорофей в пятом поучении делает привод и притчей Соломоновых: Им же несть управления, падают, яко листвие, спасение же есть во мнихе, (его) совете.

И в книгах может запутаться страстный, плотский, неискушённый человек. Здесь совет и слово мудраго, искуснаго, опытнаго старца может сразу свет явить.

Конечно, и книги, разумно читаемыя, великое дело, когда нет духовнаго руководителя.

Вот у меня нет старца. Брожу бессоветен, шатаюсь «меж двор», сущая сиротина и бездомовник по части духовнаго окормления.

У святых отцов, усты ли к устам как беседующих, записанное ли слово их мы слышим, — всяк на своё недоумение, на своё вопрошение ответ получит. Ты с бедою, а Бог с милостью. Устами святых отец наших Господь сердцеведец возвестит нам.

Вот я, убогий, у аввы Дорофея нашёл ответ на одно великое недоумение своё. За последние года три я всячески укорял и ругал себя за увлечение моё иконописью (древней), древностями, старым обрядом, крюковым пением, древним зодчеством. Видя равнодушие большинства или непонимание красоты древнего пения, древней иконы, красоты древней уставной обрядности, я собирался в молодости перейти в староверие...

К зрелым годам эта эстетская буесть молодости стала проходить. Благой свет православия, вчера и днесь той же и во веки, снова осиял душу, облака юношеских пристрастий отошли.

Жив Господь, жива святая вера православная, как древо цветами и плодами, благоухающая святыми подвижниками, жившими в последняя времена, угодниками Божиими, причисленными или ещё не причисленными к лику святых: святители Дмитрий, Митрофан, Феодосий, Иннокентий, Иоанн, Иоасаф, Тихон Задонский, Феофан Затворник, Филарет, митрополит Московский, Платон, митрополит Московский, Гавриил, митрополит Петербургский. Преподобные отцы: Серафим Саровский, Паисий, Игнатий Брянчанинов. Старцы оптинские и лики других святых иноков, подвизавшихся во времена недавния.

Благодатную силу Церкви доказывают и явленныя иконы, не в древние времена, а в недавния. В одной

Москве сколько явленных икон Божией Матери, не превышающих древностью и сто лет.

...Итак, я «увлёкся» и «новою» красотою, новыми богатствами, новыми «приобретениями» церкви. И тут опять меня, художника, увлекать стал быт. Ведь я сам вырос в патриархальной обстановке середины XIX века, долго жившей в нашем старом Городе... В юности увлёкшись «новгородской» иконописью (мода была 1913–1917 гг.), Рублёвым, я не замечал, считал «новым, позднейшим» уклад нашего дома с тяжёлыми киотами александровских и николаевских времён, с иконами в ризах и т. п. Мы, эстеты, презирали XVIII век и XIX в иконописи, презирали церковное искусство, а вместе и церковную жизнь XVIII, XIX веков.

...И вот я увлёкся и церковной жизнью, и бытом религиозным веков XVIII, XIX. ...И вот пришли грозные времена. И смерть и ад со всех сторон[1]. Стало не до игры, не до увлечений, не до «искусств», не до «бытовизма». Вечное предстало, как туча грозовая во всё небо. Страшные апокалипсические видения явлены миру. Восстал род на род, и язык на язык, и царство на царство. Нельзя стало, как чижик, сидеть да чирикать. Гремят апокалипсическия громы, блистают молнии. И как будто слышен сквозь громы пушек, сквозь стоны миллионов убиваемых, вопиющих к небу, не слышен ли глас: «Ей, гряду скоро!» И миллионы падающих во прах детей наших, не они ли это вопиют: «Ей, гряди, Господи Иисусе!»

Горе миру сему, горе и мне, убогому! И у меня в моей жизни «доидоша воды до души моей»[2]. И мой живот аду приближися[3]... Не до красот, не до убранства, не до

[1] Строка из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».
[2] См. Пс. 68:1.
[3] См. Пс. 87:4.

стилей стало... Грозные времена для мира настали, лютое время лично для меня пришло: болезнь одолела неисцельная, годы далеко, и ничего, ничего нет в запасе. Ничего не запасено на чёрный день...

И я взвыл: о, не тем я всю жизнь занимался, не то искал. Пришла пора тяжких и страшных испытаний, и всё отлетело! Как же так??? Почему нет утешения, нет спокойствия? Ведь я всю жизнь вокруг да около церкви завлекался. Иконопись, пение и т. д. и т. п.

И вот пришли годы со страхом. И сердце озябло, и ноги задрожали. Далее болезнь пришла... И вот я в нужде, раздражённый, беспомощный. Значит, это всё не добро было, мои увлечения, это всё, значит, ошибка была? А если не добро, то зло?!

И вот прочитываю я в день преподобного святителя слово аввы Дорофея: «Из постройки чувственнаго дома можно в точности научиться созданию дома душевнаго. И дом душевный...». <Запись обрывается>.

2 июля. Среда

Небось от рассвета всё дождь пал. Темновидно было, под один облак небо затянуто. Не похоже, что лету макушка. Ну, думаешь, недаром и закат вчера был таков, и зяблось к ночи. Сменилась погода на дожди. Уж такто глухо да плотно небо было затянуто... Калош-то не поспели залить... Мокни, мол, теперь... На неделю дождя загадывал. А пришёл полдень, и зачало солнышко тучи-те разганивать; запросвечивала небесная лазурь шире да шире. Будто синие озёра во блакитных берегах на небе заразливались. Покамест на небо глядел, и дорога обсохла, и плиты, и крыши.

Так вот и тебя, иное, накроет мрачное, унылое состояние, отупение найдёт. Далёкими, давно прошедшими

и ушедшими кажутся дни и часы светлаго[1] мира душевнаго. С горечью те дни или годы вспомнишь... Нет, думаешь, не вернётся то лето души, те часы душевной весны. Осень жизни пришла. Ветви многолиственные опали, цветы мира и умиления повяли.

...И вдруг снова, точно кто тебе руку невидимо на голову возложит, руку невещественную, но живоносную. И мир коснётся опять души, и воспрянешь, за дело какое примешься. Точно всё кругом посветлеет. И опять радует тебя, опять оживает для тебя твоё сокровище заветное — вера Христова. В часы уныния, мрачности душевной пропадает для тебя благоухание веры, не слышишь блаженной музыки оной, а коснётся сердца просветленье, откатится плита оная гробовая, и — опять добро тебе жить и с твоими болезнями тяжкими. Плюёшь на них: Господи! Что там скорби земные — ведь у меня есть сокровище неистощимое, богатство есть некрадомое, есть у меня счастье, при котором день и ночь ликовать надобно. Есть у меня *вера* Христова! Что передо мною богачи: мое всё! Что передо мною ученые: я знаю всё!

Пусть мрачна современность, ежели я живу во Христе Жизнодавце, для меня живы есть века жизни веры Христовой. Для меня живы века мучеников, и они со мною живы, века преподобных... Да зачем мне по-сесветному, по-земному говорить: эти святые IV века, а эти IX, а эти XV; у Бога нет времени. В Боге всё: сейчас всё, теперь всё, сегодня. И вот я сегодня живу, беседую,

[1] Б. В. Шергин в дневниках придерживался дореволюционной орфографии, использовал буквы *ять, еръ, ижица* и др., а также архаичные формы окончаний прилагательных и местоимений. При публикации дневников в одних случаях эти архаичные формы сохранялись, в других — заменялись, в зависимости от установок публикатора и позиций редактора. Поэтому в настоящей публикации, подготовленной на основании существующих, сохраняется разнобой.

радуюсь с Дамаскиным, и с аввой Пименом, с Паисием Великим, ангелом, и с Паламой[1], учителем света. И Серафим Саровский смотрит на меня, и Нил Сорский с Амвросием и Макарием Оптинским, и вся Церковь Христова, торжествующа, жива со мною. Во мне жива, и ликую я о дивно живущем во мне мире благодатном. О, милость Божия о нас! Песчинка я, пылинка я, ничто я перед этим великим, необъятным миром, перед Богом, перед церковью Божией, а оно всё в моём сердце вмещается. Что есть я? Убогое тело, поглядеть не на что. Много ли я места занимаю? Весь я с этот пень. А смотри-ка, как пречудно мне раскрывает вера: не разыскивай, говорит, где Он есть и где Его обитель. В верных сердцах Он почивает, паче херувимского престола. (Здесь припомяну слово святое: ищи Бога, а не место, где пребывает)...

Бог во мне. А Бог — всё. Значит, всё во мне, и небо во мне. Свет весь во мне. Эти зори небесные, эти вёсны. И праздники Божии все во мне. А что твоё, ты тем обладай, радуйся над тем. Господь, давший тебе эти таланты, спросит тебя, что приплодил...

Это то, что Бог в тебе, и церковь в тебе, и небеса в тебе. Это всё семена в тебе. Возрасти это в себе, а не заглуши.

Бог создал наше тело, как ниву, как землю, и семена живоносные, вечнующие, благодатные засеял. Наше дело эти семена возрастить. Урожай этот в жизнь вечную пойдёт. Но она ещё здесь начнётся.

---

[1] *...и с аввой Пименом, с Паисием Великим, ангелом, и с Паламой...* — *Авва Пимен Великий* (ок. 450) — преподобный, подвизавшийся в Скитской пустыне и имевший множество учеников. *Паисий Великий* (1-я пол. V в.) — подвижник-аскет, пустынник, прославившийся великими подвигами и многими чудесами. Святитель *Григорий Палама* (ок. 1360), архиепископ Фессалонитский (Фессалоникийский, Солунский) — великий богослов, исихаст.

Вот я, убогой человеченко, телом и душой убогой я, в грехах жизнь всю провалявшийся, перед всеми виноватый. Вот и такой нищетный человек и то может свидетельствовать, что здоровье духа не зависит от здоровья телесного. А у совершенных чем мощнее дух, тем более истаевает в немощах тело.

О, как преизобилует благодать в церкви Христовой! Благодать веры не гнушается светить в самые мрачные закоулки, в самые тёмные задворки. Вот я, на что уж скудельный сосуд — худая, бренная, ненадёжная посудина. Ножишки не ходят, глазишки мало видят, голова изо дня в день болит, никакие уж порошки не пособляют. И весь я — день ползаю, да два лежу. А вот с утра живёт во мне какое-то веселье, будто зеницы какия вовнутрь меня отверзлись опять, или слух открылся иной, чем эти мои телесные уши, или сон обычный мой снялся с меня, и я вижу явь. Хоть вот на малые часы некоего духовнаго (посильного по мере своей) сейчасного моего бодрствования знаю и вижу, что живо всё, что прекрасно всё, дивно всё. И дивно мне самому как-то ощущать, что это вот тело моё слабое, болеющее — только храмина для меня другого, нового, не зависящаго от возраста моего ветхаго тела. Сейчас небо вот опять затянуто серым облаком, пыль городская даль туманит. Но там, за серой тучей, та же лазурь, там то же солнце. Ослабленное грехами, виноватое, преступное и за это болеющее тело продолжает держать в плену душу. Ведь весь век только в страстях мысль и сознание моё купались.

Но очевидно, как я ни глубоко сплю, а есть кто-то во мне, кто-то слышащий, что некто глашает его по имени... Слышу, что Господь глашает меня по имени, и ум отворяет дверь хлева, где мы, овцы, зиму зимовали, и уж хочет нас выпустить на луга, где вечная весна, где мы неразлучны будем с Ним, Добрым пастырем.

Мы, живя на сем свете, земля. И добро нам, ежели не дадим врагу рода человеческого себя зоболотить, не дадим себя засеять плевелами, а если поддались грехам, не вырвем мусорные травы. Мы земля. Страдания и скорби, неизбежные на сем свете, — плуг, вспахивающий нашу душу для приятия семян Божьих. Сделаем себя нивой Господней.

8 июля, Казанская Божия Матерь. Вторник

Город[1] лежит растлен, лежит пластью, в расстил, лежит втоптан в грязь, смешан с прахом. Страшное многомогильное кладбище стал город. <...>[2]

Сквозняком выдуло ...душу. Опустошённые, прозябаем ещё, кишим так же, как жуки в навозе, как черви под доской. <...>

Но... воскресни Боже, суди земли... Но... вот сегодня стоял я в переулке, в пыли, внизу. А надо мною возносился хором Божий. Я глядел, подняв лицо, и — ничего в мире не было: только белый хором Божий да лазурное небо с серебряными облаками. Как мачта корабля, возносился ввысь крест Господень, плыли облака. Но мне, глядящему вверх, казалось, что это хором Господень плывёт, как корабль.

Помню то же ощущение два года назад у Троицкой вечерни, в граде Преподобного Сергия. Я стоял во дворе

---

[1] *Город* — здесь: Москва. Часто в дневниках Городом (с прописной буквы) называет Шергин и Архангельск.

[2] Публикатор значительной части дневников Б. В. Шергина Ю. М. Шульман следующим образом комментирует появление квадратных и угловых скобок в текстах подготовленных им публикаций: «В “Дневниках” Шергин делает записи библейских текстов на древнегреческом и древнееврейском языке, часто неразборчивые и не поддающиеся прочтению; эти места заключены в угловые скобки».

Ильинской церкви. Но там природа, дали, окрестность как бы предстояли и молились с народом. Здесь «мир сей», растление городское. Не знают праздника. Под церковным холмом гнездился «мир сей», слепые многоэтажные корпуса. И одиноко высился над ними дом Божий.

И чудо Божие совершалось ещё в мире; <ещё> преславное благодатное чудо совершалось над городом.

Пусть пыльныя бесчисленныя ящики этих жилищ пронизаны, пропитаны сверху донизу, с утра до ночи сифилитической гнусью. Пусть из каждой дыры заколоченных, как гробы, этих домовищ (бывших домов) просачивается один и тот же... сип и хрип. ...Надо мною на холме древний дом Божий. И вот сейчас совершается в нём вечное чудо... И с бьющимся сердцем слышу я, дивяся: звонко и чётко возглашает иерей. И в отверстые окна алтаря, как белые голуби, вылетают иерейские возгласы и, серебрясь, и ширяся на крилех, плывут над городом как благословение, как «мир всем» Церкви Христовой... Лязг, скрип, визг, как унылый вой, стоят над городом, но в этом денно-нощном гуле Города — и вопль отчаяния, и рыданье безнадёжности, и слёзы лютой скорби. И плач, и скрежет зубом, ад заживо в бредовой этой лихорадке нового Вавилона.

Но, о чудо Божие! — явственно, во ушию всем несутся над городом слова: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа буди со всеми вами!»... Благословляет иерей в этот миг народ, и в отверстые западные двери видны и ему оттуда эти бесчисленные теряющиеся в далях крыши домов. И далеко, далеко он шлёт своё благословение, благодать Господа Иисуса Христа и любовь Отца... Шлёт своё всемогущественное благословение Церковь Христова в час святой...

В ТОЙ ЖЕ ДЕНЬ ПРЕЧУДО ОТ ИКОНЫ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ВО ГРАДЕ ВЕЛИЦЕМ УСТЮГЕ И СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ПРОКОПИЯ[1].

Наш город связан был давними, а Понизовье двинское очень древними связями с градом Великим Устюгом. Торговые устюжские люди и Церковь Богородицы Благовещения в честь святыни своего города создали <1 нрзб.> и в нашем Городе.

Корни многих архангельских старых семей шли из Устюжской земли. Родитель мой был из тех краев. Тетка, отцова сестра, хотя и девочкой выехала оттуда, наособицу, чествуя родину, праздновала Прокопьев день.

Древняя, пречудная, великая икона Благовещения, древле бывшая в Устюге, вывезена была оттуда ещё Иоанном IV и поставлена в Московском Успенском соборе.

В <последующие> годы именно как чудо устюжская святыня сияла нетленною красотою своею в <1 нрзб.> галерее.

Июль стоит. Но празднуем сегодня чуду от иконы Благовещения устюжского, и любя, и умиляясь, летит мысль на родину, где провёл я блаженные дни весны жизни, и к весне природы, к светлому месяцу марту, ещё белеющему снегами, но и шумящему водами. О март, месяц любимый, март и апрель, заповедные мои в году месяцы. Март — предначатие радости весны. Март — «ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят». Уж долги вечерние зори. Лазурно сверкающими днями небо, кричат в роще грачи. Сердце весны ждёт... и светлого Христова Воскресенья. И чем ещё люб и заветен март: блеск его дней несказанно мешается с сия-

[1] 8 июля празднуется, кроме Явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), также Знамение от иконы Божией Матери «Благовещение» во граде Устюге (1290) и память прав. Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца (1303).

нием свещей великопостных. Недели марта — святыя седмицы Великого поста.

В марте — жаворонки прилетели, и под шум ночных, сгоняющих снега, рождающих капели ветров, под говор дневной ручьев (в ночь мартовские воды ещё прихватывает морозец) звучат пленительные и трогательные напевы святыя четыредесятницы. И как алмаз в венце месяца марта оный светлый праздник Благовещение.

Суровы спасительные яства дней Великого поста. «Стоит мост на семь вёрст (семь недель поста), впереди моста золотая верста»... Вот и считаешь, сколько ещё до золотого дня Пасхи. И вдруг ещё шествующим нам дорогою поста, ещё подымающимся нам оною благословенною горою, на вершине которой солнце Христова Воскресенья, Церковь ещё прежде света Воскресенья озаряет нас радостью Благовещенья — вот вы дошли, говорит, до двадесят пятого дня марта, и здесь остановитесь, здесь препочийте, месяца марта в двадесят пятый день: «Благовествуй, земля, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу».

Нам, странникам, ступающим по святой земле Великого поста, прежде чем войти в Иерусалим Пасхи Христовой, отверзает Церковь благословенные врата Назарета, града Благовещения. Прежде чем насладиться пасхальным пиром веры, мы вкушаем веселящую празднественную чашу Благовещения.

Хоть редко, но бывает, что Благовещение совпадает с Пасхою. Тогда будто два солнца светят в «Божием мире», в Церкви Божией. И две радости нераздельных, но и неслиянных кладёт Господь на сердце Божьего мира. И в оные благословенные дни благодатнаго месяца, когда солнце Пасхи обходит вкруг пресветлой звезды Благовещения, две златых чаши радости держу я в руках. Пью и от той, и от другой... Солнце за солнце

зашло. «Вечной тайны явление» и «Воскресения День». Пречудно это соединение таинств, неизреченно совершающихся каждый год. Неизъяснимо и несказанно воскресает Христос каждую весну. И столь же неизъяснимо в таинственный день Благовещения в Божием мире, а друга столько в верных сердцах опять и опять совершается вечной тайны явление. Гавриил благодать благовествует, и Сын Божий <1 нрзб.> днесь бывает. Дивное дело: Пасха сошлась с Благовещением. Архангельский глас вопиет: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою». Но покрывает нас другой вопль, архангел бо и иную радость вопиет Благодатной: «Святая Дева, радуйся, и паки, реку, радуйся, Твой Сын воскресе!»

В 1942 настоящем году радость Воскресения Христова предварила радость Благовещения. Но когда первый день Христова Воскресения совпадает с днем Благовещения, тогда он называется Кириопасха — истинная Пасха, ибо предано, что Христос воскрес месяца марта в 25-й день[1].

И не только этими двумя венцами благословлен месяц март. Чти в минеях и прологах «силу и угодье», славу и величие месяца марта. Древле год начинался с марта. «В оный месяц Бог мир сотворил».

В мире Божием всё живёт, всё дивно насыщено жизнью. Там, где мир падший видит мёртвую материю, случайную схему, там, где растленный «мир сей» импотентно дрочится над клеткой, атомом, там Божий мир благодатно видит жизнь таинственную и прекрасную, видит разум Божий сияющий, видит неиссякаемое чудо жизни.

Мир сей, наука мира сего, миросозерцание безбожное — слепые и глухие невежды-мертвецы. Не знают и не чувствуют они во всём, во всём, во вселенной, во

[1] *Кириопасха* — Господня Пасха (*греч.*). Так называется день Пасхи, когда он совпадает с Благовещением.

всём, от малой былинки до звёздных миров, не ведают они, внешние, биения единаго Божественнаго сердца. Занимаются «они» миром видимым (а видят «они» не дальше своего носа), но мало, убого, ничтожно познавание их и сих видимых вещей. «Их» мудрецы препарируют вещи, до атомного деления, затем сушат или спиртуют. Очи имут и не видят, уши имут и не слышат. Чему быть: обезьянья порода они.

А наша Мать-Сыра Земля, а род человеческий, по образу Божию созданные, поем Творца небу и земли, видимого же всего и невидимого.

Есть знание мертвенное и знание живоначальное. Плачуся и рыдаю, егда помышляю о тебе, отпадший от жизнодавца мир, позавидовал ты бесам, предпочел, безумствуя, объятия отчи объятиям смерти.

Христос Воскрес — радуется каждая былинка в поле и в небе каждая звезда[1]. Христос не воскрес! — трясясь и ярясь, и пены точа<?> вопит (как будто ему от этого польза!?!) безбожник. Ничто так не ненавидит безбожник, как весть воскресения, как этот благословенный и препрославленный привет: Христос Воскрес!

Посмотрите: каждый червь из этой кучи смрада, то есть каждый безбожной гроб на себе носит. В безбожнике гроб и на безбожного гроб. Трупом от них несёт... Безобразны, бесславны они...

О чудесе, что се о роде человеческом судьбы: почто вот эти возлюбили тление, привержены смерти? О, <учители> тления, наставники безумия, <воспитатели> самоубийц! В смердящих гробах лежите, червями кипите, воздух почернел от вашего смрада, уж нос провалился, пасть сгнила, а всё бахвалитесь, шипя и гнусавя.

---

[1] См. заключительные строки поэмы А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин»: «И хвалит в песнях Иоанн, / Кого хвалить в своём глаголе / Не перестанут никогда / Ни каждая былинка в поле, / Ни в небе каждая звезда».

Но скоро вас носапыри<?> лопатами в нужники сгребут. Оттуда вы пришли, туда вас и сгрузят.

Бесславный, отпадший от Божией славы мир сей не знает, забыл уже, уснув сном непробудным (их уже только труба архангелова разбудит), не знает мир сей, что и небо, и земля, видимое же всё и невидимое единую сладчайшую симфонию составляют, единый дивный хор.

Мертвенный мозг сих человекообразных потомков не способен, во-первых, понять, что «всё прекрасно в Божьем мире», п<отому> ч<то> Сотворивый мир в нём скрыт. Бог во всём. Во всём Троица Живоначальная. Манием Триипостасного Божества движутся непостижимые человеческим умом громады звёздных, необъятных в величии, недомыслимых в числе и расстояниях миров. Троица Живоначальная движет и соки дерев от корня к вершине, силою Троицы Животворящей цветёт роза, благоухает фиалка.

Всё в славе Отца и Сына и Святого Духа. Всё поет славу Троице Живоначальной. Не гусли ли слышим царя-пророка: «Хвалите Его, солнце и луна...»[1]

9 августа

Передают сонату Шумана для скрипки и фортепиано. Торжественность есть и светлость в музыке. А я стихиры начал тихонько выпевать Зосиме и Савватию Соловецким. И вот нисколько не вразрез и не оскорбителен аккомпанемент музыки гимну святым пустынникам... Благодатный свет соловецкой святыни разливается сегодня по морю Севера[2]. Слышу чудные звуки музыки Шумана и вижу: это волны бегут, обгоняя одна другую. Это волны ряд за рядом набегают на серебряные пески соловецкие, это волны с гребнями, озлащёнными уже осенним солнцем Севера, плывут к стенам

[1] Пс. 148:3.

[2] 9 августа — Собор Соловецкий святых.

святой обители и лобызают камни ея... Соната Шумана... Там, на Соловках, поёт ли сегодня славу хотя один голос человеческий? Но море поёт стихиры, как пело века... Торжественно и властно звучит музыка... Как перезвоны колоколов, рояль. И скрипки, будто вдохновенное «Хвалите» молодых иноческих голосов... Вот я слышу: набегают мелкие волны, целуют камни основания стен соловецких и отхлынут обратно... А вот молчаливо подходят, как монахи в чёрных мантиях с белыми кудрями, ряды больших волн. Выравнявшись перед древними стенами и став во весь рост, валы враз творят земной поклон. Сегодня кудри припали к подножию стен. И вот встают в рост и, оправив тёмные, тьмозелёные мантии, уже пошли с другими вокруг острова как бы в торжественном крестном ходе.

Память святых соловецких угодников, почитание преподобных Зосимы, и Савватия, и Германа, и прочих соловецких святых, любовь к ним... О, какое драгоценное наследие вручила мне моя милая родина, возлюбленный мой Север... Смала в родной семье я привык слышать святые имена Зосимы и Савватия, привык видеть икону их, Соловецкий патерик любимейшая моя была книга, а литографированные картинки его первою моею были картинною галерееею. И начал я копировать их, едва научась держать в руках карандаш. (Соловецкий патерик. С.-Петербург, 1873.) Патерик этот принадлежал тётеньке моей, отцовой сестре Глафире Васильевне. Когда они жили в доме Перова, что против собора, к соборной пристани, я ещё был мал, но любил рисовать. Придя в гости ко крёстному, я срисовывал и «вид» с циферблата старинных часов, и цветы из «Цветника-травника», и вот особенно мною любимые «виды» из помянутого патерика. Тётенька сама любила эту книгу, и я привык относиться к рисункам бережно. И теперь, спустя сорок лет, всё цело...

Дорогие, любимые, заветные воспоминания... Город жил морем. Отец ходил в море. Он часто по рейсу мурманского парохода заходил на Святые острова. Иной год мать и тётки ездили к преподобным. Маленьких нас, ребят, брали не всегда. Надо плыть 16 часов морем, в хорошую пору лета. На Преображенье, на эту августовскую память преподобным, многое множество туда «ходило» богомольцев. От Соловецкой пристани, что на Соломбальском острове (под Городом), отходили на празднество 3–4 августа соловецкие пароходы. Что сказку вспоминаю теперь эти пароходы... Золочёные кресты на высоких мачтах. Нос парохода, корма, основания мачт были украшены деревянной резьбой, ангелы, святые, цветы... всё было раззолочено, расписано лазурью, киноварью, суриком, белилами. Команда на всех пароходах монастыря состояла из монахов. Только длинные волосы да скуфейки выдавали чин ловких матросов... Вот пароходу, до отказу заполненному богомольцами (приехавшие из средней России со страхом ждут морской качки), время отваливать. Пароход свистит, стучит машина, гул толпы... И вдруг раздаётся голос штурмана: «Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас!» Капитан, бородатый помор, в море состарившийся, обутый в нерпичьи бахилы, в кожаные штаны и морской бушлат (но на плечах у него коротенькая — как бы воротник — манатейка), нахлобучивает на глаза соловецкий клобук, крепче накручивает на руку чётки (чётки и у всей команды) и, по-соловецки истово знаменуясь крестом, творит поясные поклоны. Сразу умолкнув, молится и тысячная толпа на берегу, и на палубе, и в машине, и в каютах: «Молитвами преподобных отец наших Зосимы и Савватия, Германа, Иринарха, Елизария Анзерского и прочих соловецких чудотворцев, Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас!» «Аминь, аминь», — гудит

толпа. Начинается дивный в летнюю пору путь открытым морем... Ночь, белая, сияющая, небеса и море сияют тихими перламутровыми переливами. Грань воды и неба теряется в золотом свете. Струящие жемчужное сияние небо и море... как створы перламутровой необъятной раковины... Мало кто спит. Чтётся соловецким речитативным напевом житие преподобных. А тишина блаженная, умиленная... Запоют тихо тропарь: «Яко светильники явитеся всесветлые на отоке окияна-моря, преподобные...»

— Глядите-ко,— скажет кто-нибудь,— из воды кто вышел...

Это нерпа, за нею другая, третья — помахивая головочкой, поглядывая умными глазками, неслышно перебирая руками-плавниками... А к утру, как видение, покажется как бы вознесённая над водами обитель. И как спутники, окружают судно белые соловецкие чайки. Облаком сверкающим налетят они, сядут на борта, на мачты... И вот уж слышны звоны.

А какой захватывающий интерес был для меня в этих привезённых из Соловецка гостинцах. Всё необыкновенным казалось. Малых нас не брали в море. Мы знали, что туда отец уходит, оттуда дуют сердитые ветры. На стене висела картина, привезённая отцом из Соловецка, писанная на тонкой столешнице: золотой корабль, серебряные паруса, чёрные моря в серебряной пене, белые чайки, снасти вырисованы пером... Малых нас страшило. Но знали, что «там, за далью непогоды, есть блаженная страна»[1]. Камешки оттуда привезут. Круглый он, как мячик, обкатан морем... Годы лежит камешек, и всегда от него аромат моря. Ещё привезут цветистых соловецких раковин. А потом хлеб соловецкий, ржаной. Каждому богомольцу, помимо того, что трои-четверы

[1] Строка из стихотворения Н. М. Языкова «Пловец».

сутки монастырь вся поил, кормил бесплатно, выделялось на дорогу пять фунтов хлеба. Чудесно выпеченного, необыкновенно вкусного. Замечательны были большие соловецкие просфоры с изображениями. А как любили мы эмалевые образа, писанные на кипарисе иконы. И стопу таких нарядных, столь праздничных картин с видами монастыря, с изображениями святых. И еще ложки с рыбой в рукояти, или с благословляющей рукой. Затем чудесная соловецкая посуда глиняная. И всюду изображена чайка — герб соловецкий...

13 сентября. Суббота

С Успенья не протянул руки к перу. В пусте дни проходят. Обо всём разоряюсь, о внешнем и о внутреннем. На себя и на людей в досаде. На братишку опрокинулся, сел ему на шею и когда слезу — не предвидится. Весь упал, весь ослаб. Толя... на троих он один добывает. И деньгу он добудь, и на деньгу ухитрись купить. И приготовь обед и ужин, и одень, и зашей, и... всё он один. До ночи не присядет. А я, а моя функция в доме в том состоит, чтобы скандалить с нарушающими моё настроение, срывающими моё преуспеяние. К ночи придёт братишко-то, еле приползёт, за косяки держится, за стенку, сумчонка болтается, бидончик гремит... Мы за еду, он и есть не может. Глазишки его чистые, светлые, серые... Сколько в них усталости смертельной. Я у окошечка дома с книжечкою сижу, в церковь схожу да покушаю, да вечером картинки разбираю. А он и в союз[1], и в столовую, на кухню, и в очередь, то в одну, то в другую. Все удары, все обиды, все стражи, бесконечное околачивание порогов с просьбами, с про-

[1] *В союз* — видимо, в Союз писателей СССР, членом которого Б. Шергин состоял с начала его создания в 1934 году.

шениями, с ходатайствами, ежедневное барахтанье в море беспредельного блата, несмотря на усталость свою смертельную, невзирая на болезнь, всё на себя брателко мой взял, измученный, голодный, больной. Каждый день — может, не может — с утра ему надлежит в битву бросаться. Денежки выколачивать, купить еду, купить подарки тем-то и тем-то, умздить, упросить, одарить, выстоять, выждать, из-за куска хлеба, из-за фунта картошки десять раз съездить по начальству, выпросить, доказать... Ино высшее даст записку на кило капусты, дак низшее «саботирует», этих надо смазать... Придёт домой-то, да и упадёт... А я всегда в ярость, что настроение мирное нарушил с своими буднями, злобами дня. Я тру в три горла братом добытое, добытое через пот кровавый (он добывает, да он же и готовит), братом мне под нос подставленное. Да я же на любое самомалейшее проявление его усталости нечеловеческой, невзирая на то, что он болен тяжко (а лечиться разве он найдет минутку времени?!), я же любую минуту с яростью, с визгом, скандалом затеваю, что он нарушает мой покой и умонастроение. Отлаю последними похабными словами, не стыдясь, не страшась, не стесняясь мальчика, и, хвостнув дверью, вылечу на улицу, чтоб, ежели дело к ночи, успокоить расходившееся сердце, умирить непонятную <непонятую?>, неоценённую мою душу лицезрением звёздного неба. Брат, истерзанный и людьми за день (каждый день людьми истерзанный), истерзанный заботами, тревогами (ведь всё на нём, ни из чего надо ему одному всё создать), истерзанный болезнью и усталостью, да вдобавок мною обруганный, опозоренный, побитый, брат сидит, хватаясь за голову, не дыша, не шевелясь, он уж и плакать, как, бывало, из-за меня или обо мне плакал, не может, а и отдыхать нельзя, надо мне и Мише ужин готовить... А я, наполнив дома стены матерной исступленной хульной бранью, облив

грязью измученного работой на меня человека, двадцать лет с беспредельной нежностью заботящегося обо мне, как ни одна мать в мире не заботится о ребёнке, я, избив и оскорбив его, втоптав в грязь, я, вышед на улицу, возвожу очи на небо, взираю на звёзды, жду, «дондеже утишатся вся чувствия»... Жду, когда он пойдёт искать меня. Ходит, зовёт с тревогой. Найдёт, просит простить. Я поизмываюсь да покуражусь ещё, тогда прощу, а иное и дерусь, ударю его, раз железной палкой по ноге ударил...

21 сентября. Воскресенье

Выбрался сегодня за заставу, за Калитники. И точно в другом «городе» побывал. Сколько неба, сколько света, воздуху сколько! Веселье какое-то даёт природа: осень сейчас, и ветер резкий в тени, ветер с дерев лист сносит, лист кружится по ветру; чудно глядеть: вереницы листьев, точно живые, гонятся друг за другом по дороге, кружатся венком под ногами, будто дети играют. Трава пожелтела, поздний лист летит с дерев. Облака златосеребряные к солнцу, с исподи дымного цвета по-осеннему. Но радует сердце эта воля, простор, купол небесный, который, выйдя за город, опять увидал я от края до края... Широкая дорога, тропинки, ряды дерев идут далеко-далеко и манят тебя идти. И всё бы шёл по этим коврам опавших листьев, подойду да постою... Вон меж дерев старая церковь, покосившаяся ограда, безлюдье и тишина. Только птицы чиликают да ворона крячет на коньке заколоченной избушки...

Я навеку здесь не бывал, а всё здесь моё, всё мне здесь любо. Здесь всё так, как мне надо. Тишина, безлюдье (даже удивишься!), много неба с златосизыми облаками, дорога, вдаль уходящая, лист осенний.

Ты-то стоишь, душа, точно вот птичка эта, из груди вылетает, чирикнет да на той берёзке посидит, опять к небу взмоет. Ты-то стоишь, клюкой подпёртый, а душа-та рада, что из стен городских, из асфальтов слепых вырвалась, душа-та твоя везде налетается, наиграется. Вон как любо небо-то блестит, облака-те сияют сквозь голые ветви дерев. Облака-те что корабли плывут... Обо всём наигралась душа, и меж дерев, и над деревьями, и вокруг старой колоколенки, и над крышами далёких домиков. Ты-то недалеко на липовой ноге, на берёзовой клюке убежишь, а душа — ох, как она далеко слетала по дороженьке той... Трамвай-то долго ползёт долгими улицами до заставы, да от заставы до Таганки, от Таганки до Солянки. Деревянная Москва... Домишки двух-, одноэтажные, флигельки, дворы покрыты травой, деревья из-за заборов... Какая здесь была уютная, настоящая жизнь. Какой спокой. Как жизнь проходила по-человечески... Покосилось, похилилось всё сейчас... Было быто, да было жито...

<Без даты>

Будто в каком-то сне тоскливом дни мои идут. И рад бы обрадоваться, и неоткуда радости ждать. Радость и мир надо заработать, надо других обрадовать, тогда и сам радость получишь. «Тако да просветится свет ваш пред человеки...»[1] А я весь мгла, весь муть и туман по отношению близких моих. Простой мирской честности нет во мне, кругом ложью живу, своё бросаю, чужое хватаю, лгу людям, лгу и себе. Глубоко в тине барахтаюсь, а требую от других уважения...

---

[1] Мф. 5:16.

<Без даты>

И я сегодня день-от вился как белка в колесе. Сейчас Толька понёс Мишке[1] в джаз хлебца, и я урываю писнуть. Завтра память преподобного Савватия... Преподобные отцы Сергий, Кирилл, Савватий и Зосима жили в XIV и в XV веках. Мы живем в иные времена. Но это не значит, что иное время — «иные песни». Нет! Правда, святость, красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители святости и красоты живы, как живы звёзды. Вот это созвездие видишь ты, видели его и твои праотцы, будут видеть, если продлит Бог век мира сего, и правнуки твои... Благословенна эпоха, благословенны времена, в которые жили чудотворцы Сергий, Кирилл, Савватий, Зосима... Они наша слава, они наша гордость, упование и утверждение. Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш против тех святых времён. Но я наследник оных благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же стаде...

Златые уста говорят: «Не можешь быть большой звездой, будь малой, только на том же церковном небе почивай...»

Вот так опомнишься на мал-то час, очнёшься, от будней бесконечных упразднишься на мал час хотя и думаешь: вот какое мне царство предлагается, ведь я царству наследник: сыном света, чадом Божьим я могу быть, вместилищем радости нескончаемой, которую дает Христос любящим Его. Я в церкви Христовой, и она во мне. А этим сокровищем обладание ни с каким богатством земным не сравнишь... Дак что же я скулю как собака, что в мире сем обойдён да не взыскан, не пожалован!..

---

[1] *Миша* — Михаил Андреевич Барыкин, воспитанник Б. В. Шергина и А. В. Крога, «богоданный сын».

27 сентября. Суббота

Ехал на трамвае: Лубянка, Театральная... Толкотня, жмут, ругают. А над городом, за площадью, за домами дальними туманная заря... И вот вижу берег родимого моря. День, тишина безглагольная, разве чайка пролетит и жалобно прокричит, рыба плеснёт. Бледное северное небо. В беспредельных далях морских реют призрачные туманы. В тишине несказанной слышен ещё лёгкий плеск волн о камни... Серые камни, белые пески, раковины. В этой тишине, в тихом сиянии северного дня вижу двух иноков. Это преподобный Савватий и преподобный Герман отправляются на Соловки. Тихи их голоса, спокойны их действия. Преподобный Савватий выше Германа, тонок и худощав... Инокам предстоит двухдневный путь в малом карбасике открытым морем. Но ничто не может нарушить спокойствия Савватия... Начав подвиг иночества в Кирилловом монастыре, Савватий отошёл на Валаам как место более пустынное, но сияние святости заставило и суровых иноков Валаама преклоняться перед Савватием. И вот он бежит в пустыни Белого моря, на берега, в XV веке почти безлюдные. Здесь обретает он другого пустыннолюбца — Германа. И вот садятся они в малый карбас, чтобы, переплыв морскую пучину, положить начало благословенному жительству иноческому на диком, необитаемом острове Соловецком.

В движениях инока Савватия, во взгляде его очей, в выражении его светлого, но изможденного постом лика столько величия неземного, что инок Герман, сам муж духовного разуменья, сразу всем сердцем приник к новому своему сопостнику и сомолитвеннику, почтив Савватия старшинством в великом смирении своём...

Карбасик наполовину вытащен на берег. Мачту поставят, выйдя в голомя, сейчас она с навёрнутым парусом лежит вместе с вёслами и багром. Пестерь с сухаря-

ми, мешок с сушёной рыбой, бочонок воды — вот и вся кладь иноков-мореходцев.

— Господи, благослови путь...

— Аминь. Бог благословит, — тихо говорит Савватий...

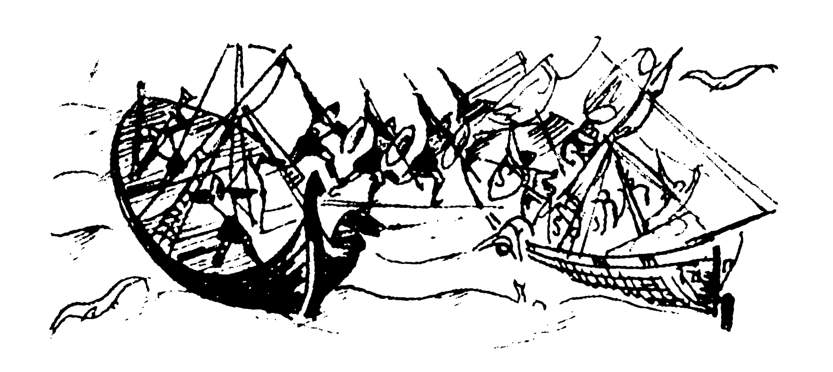
Упираясь грудью в карбас, они толкают его в воду. Песок шуршит, плещет вода. Иноки входят в своё суденышко, отпихиваются вёслами. Савватий садится в корму, правит. Герман ставит мачту. Но кругом много камней. Карбас надо вести осторожно... Иноки садятся за вёсла. Берег всё дальше и дальше. В тишине только и слышен стук вёсел. Небо да вода. Чайки долго летят, провожая святых. Когда потянул ветер и путники поставили парус, вода белыми кружевами забурлила под карбасом...

28 сентября. Воскресенье

Эти вот дня два всё мыслью туда, к святыне родины моей возвращался. Я маленький и скаредный, а сокровище родины моей, которому и я наследник, святыня Соловецкая велика, и неистощима, и пречудна, и лазурна, и пренебесна, и благоуханна. Я приник живоначальной памяти преподобного Савватия, и будто кто меня взял и поставил на бреге пресветлого Гандвика, родимого моего моря... И лики преподобных вижу, и слышу плеск волн, и стук вёсел, и крик чайки...

Свете мой Христе,
надеждо моя Иисусе!

Дневники



1943

наго, бытия годичнаго. Тучно
нивами нивы золотыми,
стоющими. Се поле Васил-
еви всеобильныя, се Григорие-
вы хлеба вмещающія, се Іоан-
новы красуются нивы сладкія
словес золотых. Январь месяц,
а в церкви живя, что лугами
ароматоносными ходящ. ~~До~~ Тамо
цветы Антонія Великаго, а тамо
Феодосія, здесь Ефрема Сирина
луга Лимонарийне, а от цветы
Макарія египетскаго
Евфимиева. И философ Нисский
злат Василие, и юный Кущник Іоа
и божественные Кирилл Афанасий
столпы церкви и доброта ея
В сем соборе зимне-январском

10 февраля. Вторник

Ещё вот свойство мирно-радостного состояния. Обычно уж теперь я, одолеваемый болезнями, нуждою, печалью о брателке, о Мише, равнодушно, в бессилии своём гляжу на то, что собирал, что любил. Книги, картины... нечем взять. А как согреется сердце маленько, и опять мне любо поглядеть на книжные полки, в руках подержать ту, другую книгу. Ведь каждая из них пища и веселие мыслям. Оживают и разговаривают опять со мною и портреты заветные; и они весело глядят на меня со стен. И Филарет в белом клобуке, и Амвросий... И с финифтей оптинских, засуетясь, дым отру. (Ежедень в дыму комнатёшка-та.) И виды Лавры, и Валаам, и диван, и вся, вся дедова наша громоздкая обстановка, коли я мирен, и она ласково глядит: «Ничего, — говорит. — Не горюй, Параха!..»

Западный человек, старея, с утешением и надеждой глядит на благоустроенность семьи, на своих внучат. Семейственностью, внуками он заслоняет от себя конец. Внучата, дети — вот оправданье и утешенье старящегося человека, всегда живущего настоящим.

На Руси человек, старея, начинает глядеть в мир иной. На стариках у нас отображается свет иного века. Старые люди на святой Руси думают и стараются приникнуть к «тамошнему». И какой же радостный ответ на эти столь всеобъемлющие и самые существенные для Руси святой вопросы дает праздник Пасхи!!

— Христос Воскресе! — И этим сказано всё. Жизнь полна смысла. Лишения, скорби, болезни, нужда, смерть самая — всё полно смысла. Пасха могущественно осмыслена и принята Русью святой, востоком православным, и от рождения до смерти «Пасха Христова», «Христос воскресе» хранится и теплится в тай-

нах души православной. «Пасха Христова», «Христос Воскресе» — это семя вечной радости, которое носит в сердце Русь святая, это никогда не гаснущая искра Радости Единственной.

Жизнь на земле — цепь непрерывная лишений, бед, напастей, болезней, скорби. Но имей всегда перед мысленными очами распятого за нас Господа Иисуса. Святый епископ Игнатий (Брянчанинов) дивно говорит о страданиях: «Просили ученики у Христа престолов славы... он даровал им чашу свою. Чаша Христова — страдания».

У многих из нас жизнь — страдание. И безумием будет, недостойным животного, не то, что человека, проклинать всех и вся, клясть судьбу, лезть в петлю. Церковь Христова здесь говорит своему детищу скорбному: — Потерпи Господа, чадо! Т. е. — этими скорбями сам Бог тебя посетил.

Недомыслимое дело плотскому нашему уму постичь, что любовь Божия к избраннику Своему выражается в скорбях и напастях, посылаемых этому человеку, таких напастях, ужасаясь которыми от «несчастного» бегут друзья и знакомые, бессильные помочь и облегчить. Но, попуская такие скорби, Господь властен послать терпение, и утешение, и радование о скорбях. «Чем глубже скорбь, тем ближе Бог».

В минуту, уж, кажись, крайнего отчаяния вдруг свет сияет в скорбном сердце и человек видит «удрученнаго ношею крестной Христа», проходящего в рабском виде, в терновом венце, с гвоздиными язвами на руках и запылённых ногах, из-под тяжкой ноши креста благословляющего землю, ободряющего всех нуждающихся и обремененных[1].

---

[1] См. стихотворение Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...»: «Удрученный ношей крестной, / Всю тебя, земля родная, / В рабском виде Царь Небесный / Исходил, благословляя...».

Вот приходит Пасха Христова, а «Вземляй грехи мира» висит на кресте. Снова и снова распинают Его преступления мира. Мы веруем в распятого Бога...

Здесь великая и живая тайна веры христианской: грешный мир снова и снова распинает Христа. Вот сейчас кругом старики, старухи умирают гладом, трясутся зимою. И если я не делюсь с голодным, который стоит возле, я хулю Христа Иисуса. Я с безбожниками плюю на Его заповедь.

Свете мой Христе, надеждо моя Иисусе! Как часто я теряю Тебя, ухожу от Тебя. Но, Господи, мой Господи, как скучна и пуста тогда жизнь... Ты, Господи, рек пречистыми Твоими устами: — Я лоза, а вы рождие; без Меня не можете творити ничесоже[1].

26 февраля

Улками-переулками — всё слило в корку ледяную. Только держись! В переулках народишко (старух больше!) посередь дороги бродит. С крыш срыто, а худо убрано на тротуарах-то. Инде горбом натоптано, инде и вода. А инде пообсохло у домовых-то пят, чистенько по-весеннему. Какая-нибудь старуха — говельщица, валенки на тротуар не помещаются, до того наподшиваны, лепится по сухому-то.

Давно ли было как нарядно. Везде у зимы, как у попадьи, белые постели накрыты, подушечки, накрывашечки... и, вдруг, — всё оголено. Наго видится, голо... Эдак вот, бывало, для стирки предпраздничной всё сосниимают, занавески с окон и дверей, скатерти, полоски, подзоры у кроватей, накрывашки с угольников, столиков, полок... Зима ещё пыжилась да морозилась.

[1] См. Ин. 15: 5. *Рождие* — отросток, побег лозы.

Но уж ветры, но уж солнце весну будят: — Плющиха идет, Евдокия[1], март. Зиму будто из гостей домой попросили. Она схватила свои перины, подушки с прошвами, простыни с кружевами, обснимала всё убранство и убралась. Сор и грязь оставила. А новая госпожа, Весна, ещё не въехала.

Ежели хоть на малые минуты падёт веселье на сердце тебе, идущу к службе Божьей, знай, что это ангел Божий шаги твои считает. В этом разуме и сказано в патерике. Хорошо, если есть у тебя триодь постная[2]. И по триоди с каждым днем побеседуй. Мне вот книгу разбирать горе стало, не вижу строк. Я буду, если нельзя утром, то в вечерню, а то и к ночи (ночи хороши предвесенние! Капели, вода, ручьи) на улицу ходить, «Божий мир» соглядать — что глазом не вижу, то ухом учую. Кабы я в деревне жил, я бы каждый день этой несказанной поры — когда «ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят, бегут и будят сонный брег»... я бы с утра вышел за околицу, услышал говор вод, так бы душу выронил с радости. Евдокия Плющиха и «Алексей с гор вода»[3]. Всякой год одно и то же, и всякой год ум исхититься об этом месяце только готов от радости. А что бы взять Великий пост в обители где, у леса, у рек... Услышать бы, как поёт жавороночек, сидючи весной на проталинке...

...Но и в городе... Жива душа моя, жив Господь! и в городе... Сколько неба! Сколько тихости теперь в ночах.

---

[1] Евдокия Плющиха («капельница», «замочи подол») — такое название в народном крестьянском календаре получил первый день весны 1 марта. В этот день празднуется память прмц. Евдокии (ок. 160–170).

[2] *Триодь постная.* — Богослужебная книга, содержащая последования служб Великого поста.

[3] *«Алексей с гор вода».* — Народное название дня 17 марта — празднования памяти прп. Алексия, человека Божия (411).

Какие ручьи побегут, омывая древние плиты Города, многовековые пороги стен церковных... Разве в городе нет природы? Как заветны у меня часы рассвета, с которым так пречудно-радостно я беседую в моё подвальное оконце. И этого так много!

Великий пост, службы церковные... Ходи весь май<март?> себе.

2 марта

На рассвете брателко, уходя, развесил мне оконце. И лежа, вижу золотящуюся от солнца весеннего стену и голубого неба кусок. И уж знаю себя лежащим в красе Божьего мира, в радости весны.

Неважно, о, как неважно, что телёшко моё в подвале, что кругом «пыль да копоть и ничего лопать». Это не загораживает сейчас утреннющей мысли. Закоптелый потолок не помеха. Мысль радующаяся летает, как ласточка. В Божьем мире нигде ей не загорожено.

Открыл глаза, увидел стену дыма в солнце и небо мартовское и к стене повернулся. Богач. Божье богатство споро. Се Бог в оконце мартовской весны подал. И Божий дар, как дрожди в человеке. Крылата душа человека. Летаю, вижу елие столетнее, но и ручьи небес горние вижу над моими горами хотьковскими, и перелески. И дороги и... нигде не загорожено.

Какой пустяк, что носом в саженной приступок упираясь лежу, что в саже и паволока... Вторая седмица Святых постов. Какая радостная одежда у этих дней-иноков! Какая радостная печаль! В марте всегда Великий пост, и всегда дни эти одеяны блистаньем начинающейся весны солнечного голубого неба; говор вод, шёпот капелей. А сегодня память матери.

9 сентября. Среда

Итак, вот, вчера праздник проходил[1]: думали с брателком: пусто душе, но Бог глубиною мудрости человеколюбно всё строит и на пользу подавает...

Был парадный приём англиканского епископа. Почему-то (точно я в первый раз стоял с народом) оценил, уважение унёс в сердце к народу. Не было праздного любопытства у собравшихся в таком количестве, было большое внимание. Гость вёл обращение на английском языке. И кстати или нет, в народе заблажил какой-то юрод, захныкал, заплакал.

Потом гость в облачении шествовал в свой автомобиль. Рогатая тиара, фелонь, кисейный стихарь. Наши старухи совались под благословенье. Площадка перед храмом была забита толпою... Солнце, многолюдство, праздничность, не без торжественности.

В это время в толпе появился высокий старец с большой седой брадою и белыми кудрявыми власами из-под скуфьи. К старцу стали подходить под благословение. Стали называть: архиепископ Лука Красноярский[2]. Тоська потащил меня благословиться. Господь внушил моему дорогому брателку за его детское чистое сердце! Уже приняв благословение, я узнал, что это тот знаменитый епископ, хирург, доктор медицины, даже профессор, который был на Севере, который затем переведен был в Среднюю Азию (с ним уехала В. М. Вальнева)... и уж не хотелось отходить от такого, воистину великого человека. А он, теснимый толпою, благословлял и благословлял, хотя, очевидно, уж с трудом стоял. Но благословлял так внимательно, так неспешно.

---

[1] 8 сентября — Рождество Богородицы.

[2] Шергин вспоминает о встрече со святителем Лукой (Войно-Ясенецким) (1961), который в течение некоторого времени находился в ссылке в Красноярском крае.

Мы с брателком всё старались встать поближе к старцу-святителю. С волнением душевным я вспоминал то, что знал о жизни сего святителя-исповедника, поистине врача душ столь же пречудного, как и врача телес... И вот ещё что. Светло и радостно вошло в моё сознание и, думаю, навсегда. Святитель был одет в обыкновенный штатский костюм. Глухая тёмно-синяя тужурка и такие же брюки навыпуск. Только скуфеечка на серебряных кудрях говорила о духовном сане. До сих пор мне казалось, что духовенство, бросив рясы, потеряло некое свидетельство о важности и чести их сана. Я с младенчества привык уважать рясу: важную, длинную одежду, широкие воскрылья рукавов... Ряса делала этих людей такими особенными, в них было нечто необщее... Сняв рясы, сбрив бороды (это уж стыдно!!!), духовенство, казалось мне, смешалось с толпою, стали будничными, стали как все... Но, в действительности, делала ли ряса священника, монаха?.. Конечно, нет. Тут меня и многих других привлекло<?> большое внимание обращать на внешность. Конечно, иерей поведением — жизнью своей ничем от мирян, влачащихся в злобах дня и грехах, не отличающийся, утрачивал известную честь или обаяние, бегая в кургузом пиджачке. Длинные одежды важны, «честны».

Но человек глубокой духовности трогательно близок к нам в простой, «нашей», одежде. Благодатность, святость такого старца, ничем от нас по одежде не отличающегося, входит в наш быт. Уже-де пышные рясы, величественные головные уборы не отделяют нас в быту от наших епископов. Бывало, святителя видишь в храме, на кафедре в саккосе, митре... Потом он садился в карету... Звон, топот рысаков. Теперь он зачастую пешком идёт домой, его можно проводить, с ним поговорить...

Я любил и люблю и чувствую обаяние векового богатого, пышного, величавого, приукрашенного быта прежних архиерейских домов.

Там удерживалась драгоценная старинная бытовая праздничность, нарядность, обрядность, ежедневная, некая именинность быта, уклада. Помню архангельскую ёлку Михея[1]... Пасха, куличи, расписные яйца, «тюлевые» бабы, цветы... И в гостях сам владыка. Румяное, весёлое лицо, волны кудрявых волос, белая брада, кудри на чёрном фоне клобука. На владыке светло-сиреневая муаровая ряса. Казалось, он облачён был в блещущее сиреневыми потоками и ручьями море. Так великолепны были эти подобные крыльям рукава, завёрнутые по локоть и кажущие шелка иных цветов, как и подолы этого сиреневого великолепного одеяния, перламутровые блещущие журчания<?> чётки, сияние жемчужной панагии.

Какой это был праздник! Какая радость для глаз, какое счастье для художника! Сектанты всегда брюзжали, гнусили и шипели по поводу пышной красочности, праздничной нарядности быта архиереев...

Но тут вековечная вражда будней и праздника. Можно иметь тысячи в кармане и скаредно влачить уныло серую беспросветную жизнь. Можно с грошами в кармане всякий день иметь как праздник, как именины. Старинный уклад и быт напоены были праздничностью, «именинностью», торжественностью. Бывало, иной ткал узор своей жизни из дорогих шёлковых нитей, другой из льняных. И сей узор льняной уставностью мог быть лучше шёлкового. А главное, и шёлковое оное кружево, и кружево льняное клались на золотую парчу годичного круга церковного. Церковная всепраздественность напоевала бытовую домашнюю обиходность.

...Не имею я философского языка, ниже мышления стройного философского... Почему-то фразу Мереж-

---

[1] *Михей* (Алексеев) — с 31 октября 1908 г. по 17 апреля 1912 г. — епископ Архангельский и Холмогорский.

ковского вспомнил — «наша религиозность уже не бытовая, но мистическая». Что-то я худо вникаю в эту фразу. Во всяком случае, вера Христова выше всякого быта. Она над временем, над народами, выше быта, традиций, устоев.

Епископ в сановном облачении, монах в мантии чёрной, плиссированной, в клобуке, — это так особливо, небуднично, торжественно, многочестно. Но, вот, поглядите хотя б на чудных, любезных картинах Нестерова, тонких, глубоких. Иноки в простых кафтанцах, в лапотках... Холщовые подрясничкu, порыжелые скуфеечки, как связано это с Божественной красотою обнимающей этих святых природы — красотой берёзок, вербочек, сосенок, тихих вод... Новоначальные монахи страшно обожают зачастую поскорее облачиться в полную «форму» («добра дела желают»!). Старцы высокого преуспеяния, у них уже на другое мысль обращена. Они живут сокровенной внутренней жизнью. Невидимым плотскому оку тайнам сердца внимают совершенные иноки.

Ино я равно люблю и благоговею, например, перед изображением старца Амвросия Оптинского, в соборной ли он мантии и высоком клобуке предстоит или в суровом кафтанце, в чулочках больной снят на карточке... В картине Нестерова «Явление отроку Варфоломею» величаво свят схимонах, лика которого и не видно в кукуле. Свята и крестьянская одежда и непокрытая головка отрока. Лишь бы в церкви... Лишь бы с церковью.

11 сентября. Пятница

Вчера со вставания глянул в окно: О! солнышко! Как солнцем озарённая стоит купа дерев, что напротив.

Ан, нет: пасмурен день. Это золото осени так наряжает листву. Самая сейчас пора: «в багрец и золото одетые леса». С полдня хляби небесные разверзлись, дождь пал до ночи. А в ночь ударила буря, аж оконца тряслись. Зачали бухать ворота, рвало с кровель на слюнях прилепленное железо. Не то ворота чьи-то, не то стропила с листами железа катались по переулку, выло и свистело до рассвета «А нынче, посмотри в окно: под голубыми небесами, великолепными холмами блестя на солнце» лежит золотой лист. Обнажённа, полунага является взору заветная моя купа дерев. Сквозь видятся дома заугольные, а весело и этак. Нет у Бога скуки ни в какую пору. Поэт понимал: «унылая пора очей очарованье». Но и унылости нет; самая «печаль» осени величава, исполнена многосодержательности, я бы сказал, больше, чем лето. Снабдевает поэта, философа, художника.

В зодчестве я люблю не приукрашенность здания резьбой, росписью, но архитектурные линии.

Вот и в природе у дерева старого люб мне рисунок могучего ствола, расположение сучьев, узор ветвей. И дымка нежная зелени весенней прекрасна, и эти сентябрьские редко, со вкусом брошенные то тут, то там украшения из багреца и золота. А вот летняя заматерелая бесчисленная листва, она уж не столько будит мысль и чувство. В этом я всегда на Фета, например, досадую: весну Фет любит только уже благоцветущую, цветами и пышной листвой одетую, с соловьями, розами... Таянье снегов в марте и утренний хрустящий нам, идущим к прежеосвященной постом < ледок>, а на этом поэт мало останавливается. Пугает его зима, осень с дождями только уныние наводит.

13 сентября. Воскресенье;
14 сентября. Понедельник

Дату выставил вчера, а писать стал «Пушкин»<?>. Братец с Михайлушком уехали копать картошку, я обед готовил, овес молол; на «первое» картошку варил, чистил, тушил «на второе». Мыла нет, и согреть воду убыточно, дак и башку крахмалистой картошной водой мыл. Голь на выдумки... К вечеру устал, как собака. И светы мои приползли с мешками.

...Со сна, первые-то мгновения, как откроешь свои «вещие зеницы», гораздо тошны мне эти пятна, зрение застящие. С первого мановения шелковых ресниц, как сны-то золотые (ох! отлетят), демоны отчаяния и уныния «окрадывают сокровища духа». (Я всё цитирую тропарь Иову библейскому[1] (тропарь такой «программный»), пишу лёжа, со вставания, в неловкой позе, и ежеминутно немеют пальцы...) Да, разрушается «столп» моего телесе, и, увы, безоружна душа супротив желающих окрасть «сокровища духа»... Простым резоном тщусь себя поддерживать: тебе полсотни годов, тебя стариком уж нет-нет да и назовут. Ведь уж и пора пришла хворать естественная. У тебя зрение в глазах потребляется, у другого лёгкие, у третьего почки, желудком ин умирает, сердце останавливается... Все кругом умирают постепенно.

...Надо доживать, а главное, подумай о бесчисленно, люто погибших и в сии, тебе пишущу, минуты <1 нрзб.> гибнущих юных... Се ли твоя немощь так

[1] Праведный *Иов* Многострадальный (ок. 2000–1500 гг. до Р. Х.). См. Книгу Иова. *Тропарь* Иову Многострадальному: «Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствоваше праведных враг, и растерзав столп телесе, сокровище не украде духа, обрете бо вооружену непорочнаго душу, мене же и обнажив плени: предварив убо мя прежде конца, избави мя льстиваго, Спасе, и спаси мя».

страшна. Масштабы, без коих никому нельзя жить, ты, старче, не позаботился приобрести. Ежели нет в душе опор мира Христова и Христовой радости (добывай их!), то здравое рассуждение надо иметь. Встречные, которым ты завидуешь, сколько горя несут, может быть, горшего твоего.

...Паки тропарь Иову. ...Да, многи богатства, помогающие жить, были у «мира сего». И первое — вера Христова. Но не могла душа слабая мира сего противиться врагу, и обокрал враг сокровища духа. Мир сей здраво не мыслит, утерял способность здраво подходить к своим болезням. Подход у мира сего истерический, психопатологический... Все истерики, — в деревнях и городах, есть «психи». Всё заболочено, и мироощущение, и самочувствие. Потеряны берега каменистые («камень веры»). ...Из глубин адовых, из челюстей отчаяния воззвах к Тебе, Господи... Трудно мне к своей-то печали ум прикладывать!

Вопль мой к Тебе да придет... Найди меня, яко погибшую драхму. Копейка прозеленелая, под ногами я у мира сего валяюсь. Это бы ещё ничего, копейка бы прежняя, царская, она медная. А я, пожалуй, серебро <1 нрзб.> дырявое, кастрюльное.

Сбродил в храм Божий. Там что-то рано сегодня управились. Но не напрасно сбродил. Много народу осталось: иные поют из молебна! Самообслуживанье, иные тихо кучками по несколько человек (и много таких кучек) тихо беседуют. Я разговорился с каким-то уже седеющим человеком. Поговорили как незнакомые, перекинулись мыслями вообще, коснулись церковных дел и т. п. И, удивительно, светлое чувство от незнакомца живёт во мне и сейчас, спустя несколько часов. Подсознательно душа моя вобрала обаяние того человека. Как бы голубь светлый от него перелетел на меня. А в полумраке храма и лица-то его не разглядел,

да и не рассматривал: задумчиво опущенная голова, тихий взгляд, спокойная речь, неширокая борода, густые волосы, худощав... Но сколько обаяния в манере беседы! Они говорил-то мало, и какая культура душевная в этой скромности, доверчивости... Вот, проповедует с амвона сановный иерарх, и — ничего не унесёшь в сердце. По обязанности, по профессии-де проповедует иерей или, там, иерарх. А тут тихая краткая беседа с таким же, как я, «мирянином», и какое светлое, благодарное ощущение на весь день...

15 сентября. Среда

Осень серая. Туск на травах, серебряная долина. Чёрная, молчащая река. Торжественно, как в храме, когда совершается таинство и молчит всякая плоть человека. Тишина, подобная неизъяснимой музыке. День, и дивно это безлюдие и безмолвие. Только что трижды прозвучал вопль: оглашении, изыдите, и мир сей изгнан отсюда. Ни души на горах, обставших долину священной реки, ни по берегам ея святым.

Бреду с мешками, груз гнетёт долу, тронь, — я так и клюну. Загорбок и шею свело, как понурая свинья ковыляю. Пот бежит по загривку... Не опоздать бы на поезд. Скрипит нога, скрипит липовая. Очки лезут с носа. Подслепые глазишки худо разглядывают.

Но что мне глаза, что мне ноги. Торжественно стало и преславно вокруг меня. И ничто уж меня не оторвёт от славы и мира, ум преимущаго, которые накрыли меня. Уж ничто мне не мешает, — ни поезда, ни люди. Брателко, бредучи с грузом втрое тяжким, ещё что-то насоветывает, а уж около меня как бы гремит чудная музыка. Торжеством исполнилась долина, преславно ожила река. Всё стало настоящее. Уж не дольнее,

топтанное, будничное, а преображённое, истинное все вкруг меня. Никакая широководная река не грозна, не всепета таково, как и сейчас стала Пажа[1]... Нельзя остановиться мне и оглядеться, но знаю, что в час славы сего места прохожу. Не надо и глаз, тут ум видит, и славнее. Не надо и жить тут. (Живя на Митиной горе, что греха было!)

...А надобно, чтобы хоть временно приотворялись сердечные очи. (А главное, надо стяжать их, не терять их...) ...Ты, падаль, не ждёшь, а оные вещие зеницы и отворятся.

Я так мерекаю: во всем мире только братишко да Бог меня жалеют, убогого. Чтобы в конечное отчаяние я не упал...

13 октября

Мне солнечная погода даром. Пасмурно я люблю, не знаешь — день ли, вечер ли... Всё такое особенное делается без теней. В этом есть «волшебность», неведомое нам нечто есть во всём. Идёшь по улице — дома, люди, всё такое обыкновенное, но всё это сопровождает нечто незнаемое нами. У всего, что мы видим хоть бы на улице, есть два лица. У всего, на что смотрят телесные наши гляделки, есть оборотная сторона... (Вот, бывают минуты, наитие какое-то на меня, и я как бы готов ухватить, понять, узнать нечто страшно важное, какую-то незнаемую тайну... Вот... как бы какая-то пелена готова упасть с глаз, и важнейшая подоплёка существования нашего будет открыта.) Люблю вот купу

[1] Река *Пажа* протекает возле села Хотьково. На угоре над рекой расположен один из древнейших в Подмосковье Хотьковский монастырь, где покоятся мощи родителей прп. Сергия Радонежского — прпп. Кирилла и Марии (ок. 1337). В годы советской власти был закрыт и разорён. Ныне ставропигиальный Хотьковский Покровский женский монастырь возрождается.

старых дерев перед моим оконцем за дорогой. Ещё, вот, место против Харитоньевского переулка заветное у меня. Весной, ещё не стаявшему снегу, к вечеру славное было (слава, другая сторона вещей, также деревья, скажем, но более значительные они же есть ещё. И пребывают тут же, в плоти этих, вот, дерев, но как бы это и не одно и то же). «Та» сторона видимых вещей соприкасается и, может, и спребывает с великостью... Мне кажется, что какая-то густейшая пелена некогда спадёт у меня с мысленного ока, и светлое познание озарит мозг, а сейчас мысль чувствует какие-то просветы, но ещё не видит их, и как птица бьётся о стекла матовые...

...Пока чистил картошку, стемнело, а ощущение близости узнания чего-то меня охватывает разве при дневном свете, когда я, скажем, деревья, землю, облака вижу. А при электричестве, вот, разве вспоминаешь ощущения «видения» и «ведения». (Шлёпая на бумагу эти термины высочайшей науки, где я «ни в зуб толкнуть», я закрываю себе постепенное опытное уяснение... веденье то убегает от малограмотного, неразумно-наивного, как гимназист, студент, «сыплющий терминами избранной науки»...)

Это странное и сладкое состояние близости открытия какой-то тайны существования существ и вещей (и вещей!!) я, пока лишь днём, видя деревья, землю, дожди, горы, камни (снега вешние!), одним словом, «природу» видя, видя оком физическим, ощущаю новое, это уловляю я внешним чувством, зрением... Надо идти где-то, и вдруг тихо плева с мысли снимется, и то, на что просто так смотрел, видишь (не видишь, а знаешь) не «просто таким», а... пребывающим ещё и иначе. ...Особенно близко я был к понятию, к узнанью чего-то, вот тогда в предвесенние дни постом Великим, на бульварчике. Говорю «близок», потому что помню ощущение счастья особенно сильное.

Здесь подходишь к сути познаний «человеческих» и познаниям Божественным. Не область ли это Софии, не она ли тут, но сие оставляю, о Софии. Как только начну употреблять термины богословские, всё себе закрою. Вскочить на вершины гор нельзя. Есть восход туда. Безопытно комбинировать и компилировать богословские термины, умствовать о сокровенном, высоком, таинственном, не пройдя чего-то жизнью, «философствовать», например, о «мире идей», прихватывая богословские термины, нельзя. Оперировать этой терминологией (ипостась, богочеловечество, троичность...) мне, например, для выяснения моих ощущений, прикладывать словеса Платона, и святых отцов, и учителей, цитировать их, всё равно как если бы я приготовил полотно 1000 × 1000 метров величиной и украл краску Рафаэлей, Рембрандтов и воображал бы, что я их красками напишу картину — откровение. Нет, понаблюдай природу сам. Дойди своим опытом. Ищи, люби, мучайся... Это надёжнее, прямее к цели... Очистить надо мысль, работу мысли.

19 октября

Ох... возьму перо, но седые туманы зрения наплывают на выспренные облака мысли. Тошно станет... не до письма.

На 17 октября выпал первый снег... Неужели это на сей земле было и во мне было это ликованье о первом снеге... Конечно, давно было, в детстве. Но как памятны человеку впечатления детства! ...Но и сейчас по дорогам смесили ногами, а по заборам, крышам сутки лежали снежки белые, лопушистые. Любо... что-то прежнее шевелится в душе. А се меня брателко развеселил. Кашлял ночь-ту, не мог. А как веселился по-детски

весь день о первом-то снеге. Опять я увидел весёлого, полного надежд моего брателка. За чаем, за обедом что у нас воспоминаний было по поводу первого-то снега. Рамы без стёкол, дров нет... Не беда-де!

Вчера начисто стаяло. Одна грязь. К вечеру по графитному небу так важно, тяжело нарисованы дома. Нет дождя, а всё влажное... Я почему-то вспомнил весну, глядя на одноэтажное крыло, бывало, тютчевского дома, что к Армянскому переулку... На Страстной шёл, уж по просухе кабыть! А верхушки поточных труб там фигурчатые, кабыть ангелки с вазами. И чудно было: — голубое небо, сухие крыши, а ангелки льют да льют на панели воду... Откуда? (Очевидно, лёд прятался в старых желобах.)

Сегодня сыро, а не льют ангелки тех вод... Весной она в ручьи веселяся собирается, вода-то, а осенью, как ситом, везде садится сырость.

Почто Богородицу нарицаем мгла? Светло видит, боголепно гласит Дмитрие Ростовский в слове на Покров. Речет Дева: — Аз яко мгла покрых землю! (Покровом тоя укриваимося, землю покров аки мгла укривае.) Но, о, наияснейшая! Почто худой вещи, мгле подобляешься? Нет ли Тебе Солнца, луны, звёзд в уподобление? Не тебе ли пророк вопиет: — Кто сия восходящая яко утро?.. А мгла какую имать красоту? И речет Наисветлейшая, речет Заря, являющая нашо сонечко Христа... — Аз есмь Мгла. Мгла егда на землю падет и покрыет ю, тогда вси зверы од ловцов целы бывают, никто тех зверев ловити возможе...

Се тайна есть: почто Пресвята Богородица нарицается мглою: яко от ловящих крыет нас... Люди мы, в един чин ставимо себе со скотами и зверьми.

И таковых нас зверов постигают различные ловцы... Но дерзаем — имеем бо Мглу, покрывающую нас (Четья-Минея).

Вот иногда, подобно этим зверям, мне и ладна мгла осени. Спрячет меня от всяких глаз, никому до меня дела нету.

21 октября

Болезнь любого органа человеческого тела, высшего или низшаго, наружного, внутреннего при здоровом, т. е. естественном, нормальном состоянии духа может совсем не мешать человеку жить. Дух и тело — две разные вещи. В немощном теле как часто мы видали дух сильный... Художники, писатели, учёные, у большинства в известном возрасте начинается какая-нибудь болезнь неизлечимая. С болезнью тела, с увяданием тела заболевает в большинстве случаев, увядает и творческий дух. Человек становится мрачен, угрюм, безрадостен. Душка у нас маленькая, «в щенках заморена», во всем она зависит от тела. Сдало тело, сдаёт и душа.

Болезнь духа стала общим свойством. Болезнь наша становится средоточием нашей мысли. Мы прислушиваемся к нашей болезни, проверяем её, ежеминутно к ней возвращаемся. Ты только было развеселился, отвлекся, и вдруг болезнь твоя напомнила тебе о себе, намёком каким, и уж весь ты погас, весь ты опал, весь ты никуда не гож. Заплакал бы, легче бы стало, а се и сердце охолодало.

С приближением старости вообще падает тонус жизненный; старики приохочиваются к крепким чаю, к кофею. За табак принимаются смала. (Плоть наша расхлябывается смолода, вместе с нею расхлябан дух, отсюда тоническое — табак.) «Вино веселит сердце человека». Никотин, кокаин, морфий... И в том болезнь века, что мы думали, что дух и тело — одно, что подчинена душа телу всячески.

18 ноября. Среда

Славлю Бога светло сегодня в темнице убогой души моей. Всё радуюсь (забытое чувство!) о святителе Филарете. Как не свят?! Свят и пресвят. О, в какой беспросветной гнетущей унылости, в каком плачевном прискорбии, в каком лишении света влачил я дни, давно уж... А сегодня с утра умилился и похвалил опять Бога. С утра как очнулся да помянул, что канун сегодня памяти святой его, «согрелося сердце мое во мне». Мертвую душу воскресил святитель.

..Я как камень бесплодный, безжизненный, как булыжник лежал глух и нем ко всякому свету и радости. Уж мне казалось, ни единой искорки радости о Господе не осталось под пеплом душевного хлада... Ан нет, благодатная сила святителя Филарета, живущего вечную жизнь, пронизала тяжкую броню несчастного, отчаянного, безумного, скаредного, хульного, самоубойного нашего прозябания... Сквозь толщу склепа, в коем сидим мы, пробился сегодня луч оттуда, где не темнеют неба своды, не проходит лазурная тишина.

Адом стала земля, и какова же благодать святителя, если седящему во тьме и сени смертной[1] убогому человеченку радостно стало на целый день, едва позвал он святителя, помянув святую память его.

Я как булыжник истертый, истоптанный, один из тьмочисленных булыжников градской мостовой. И вот в середине онаго булыжника заговорила, запереливалась струйка живой воды. Тревога безысходная о будущем, болезнь как бы отошли, посторонились, стушевались перед «силой и угодьем» дня, посвященного личности столь великой, столь живой.

Мне всегда казалось, что не то чудо, что руки-ноги (зубная скорбь!) исцеляются святыми, ниже какова бла-

[1] См. Мф. 4:16.

годать дана. Мне кажется: вот чудо, что убитая скорбями, отчаявшаяся, злобою злобного мира озлобленная[1], потерявшая веру во всё и во вся, невсклонно втоптанная болезнью в яму отчаяния душа человеческая, возроптавшая на Бога и проклявшая людей, вдруг встрепенётся радостно, ещё не видя радости, вдруг умилится, дивясь на свое умиление, и прославит Бога.

19 ноября. Четверг

Сегодня святая-та память Филаретова; а я «как ледышка» в проруби болтаюсь, уж что только ни полощется в грязной проруби дня мира сего! И всякая тряпка меня заденет. А мне бы не ледышкой в грязной, холодной, мутной проруби дневных злоб болтаться хотелось, а в живой воде мира Божьего, благоухающего сегодня именем Филаретовым, растаять хотелось... Недугует тело, немотствует и душа, как безмолвник стоишь, ни в тих, ни в сих. Шататься по лакейским мира сего гнушаюсь, водворитися в возлюбленных селениях мира Божьего, — одежды не имам. Закоптилась грязью одежонка...

22 декабря

Ежели брателко твой днями убивается где-то по гололедицам, падая то под охапкой дров, то под грузом гнилой картошки, а ты будешь считать галок, взирая на небесные нюансы, воображая, что постигаешь,

---

[1] *...Злобою злобного мира озлобленная.* — Канон о единоусопшем. Песнь 6: «Молим Тя, Безначальне Отче и Сыне и Душе Святый, злобою душезлобнаго мира озлобленную и к Тебе, Зиждителю, прешедшую душу во адово дно не отрини, Боже Спасе мой».

«еже вещей истина», то зле прельщаешься. Думаешь, вот к яслям подходишь... — ни близко! Думаешь, ангелов слышишь... — Бог тебя от прямого твоего долга и службы отводит. Прежде помоги брату, тогда и шарь глазами по небу. Тогда не укроется от тебя звезда Вифлеемская. Тогда уж иди за ней. То уж будет твоё.

Послезавтра Сочельник. Всё дни детства с брателком вспоминаем. Сени у них были тёплые, что зал, в Звенигородском их доме. Ёлка в потолок, подносы с орехами, с пряниками, с виноградом и яблоками. И долгие ранние годы детские в Богословском переулке как любит брателко мой вспоминать...

И я почему-то в первых вижу: утро, в окна светло глядит зимний белый день (два года с заколоченными-то окнами я живу, дак светло-ет дом вспоминается!). Я, маленький, пробужаюсь, и мама поёт — «Прикатилось Рожество»:

Прикатилось Рожество
К господину под окно:
— Вставай, господин!
Со кровати тесовой,
Со перины пуховой!
Дам тебе (забыл слово)
Маслица чечульку,
Свертову (сверх того?) козульку! —

напевает (множество она праздничных старинных, вечно юных, припевок знала) и гостинцы предпраздничные даёт, — белые мягкие бараночки.

Это, может, ещё в доме на Садковской улице было, ещё в 90-х годах. Но гуще, богаче праздничные, ароматные, насыщенные, упоительные предстают уму и сердцу дни Рождества, когда мы перешли уже на Кирочную.

Жизнь на Кирочной в старом доме, о сколь мило, сколь сладко, сколь всежеланно вспоминается... Нет, не

вспоминается, а живая, явная предстает умному взору, и снова я там живу; слышу запахи все, руками беру, хожу там, чувствую чувствами тех лет... Морозные синие дни... Сад возле дома закуржевел и заиндевел, что в кружевах. Мама с рынка приедет, из саней выносят снеди праздничные (это всё в кануны ещё), окорока телячьи, мешки с чем-то...

Вот и ёлку привезут. В Сочельник в зало поставят. Она густая, до потолка. Всё заполнит благоухание хвои. В маленьких горенках наших всё блестит — полы, мебель, ризы икон...

И ёлка наполняла залу ароматом, пышная, будто лес благоуханный пришёл в гости.

Козули[1] великое дело были об Рождестве. Пряничники (а были и мастера козульники, работавшие только козули и только в это время года) начинали печь козули за два месяца до Рождества. Пекли из белой муки с патокой. Напекали горы, сохраняя в кладовых. В декабре начинали расписывать козули нарядными сахарами. Булочные, кондитерские, мелочные лавки заполнялись козулями. На рынке в дни предпразднеств были козульные ряды, козульный торг. То-то красота. Пряничный олень чуть не в аршин. По золотисто-коричневому тесту пятна сусального золота. Золотые рога и белосахарный убор «рокайль», красотою этой восхитилися бы Ватто и Буше. В кондитерских козули были фасонистые, чтоб и барышне можно на туалет поставить...

А как я любил, когда в маленькой лавчонке с покосившейся дверью, где зимами при свете одной керосиновой лампушки торговала старуха сельдями, как

---

[1] *Козýли* — архангельские рождественские вырезные пряники, изготовленные из пряничного теста с добавлением специй (корицы, гвоздики и др.) в виде фигурок людей и животных (оленей, коней), украшенные разноцветной сахарной глазурью.

я любил, когда, как первая ласточка, появлялась за рамой подслепого оконца (витрина!) Рождественская козулька — копеечный олешек...

У нас дома рыночных козуль не ели, избалованы были обилием и искусством матерей, тётушек и бабушек. В продажных козулях, по тем временам, мы не находили достаточно сдобы, масел и духов.

Козули мы любили как украшение. Кроме других разных подарков дарились детям козули. Даже женихи невестам дарили козули, дорогие, искусной работы. А ребята в праздник, кто в гости, кто из гостей, встречаясь на перекрёстках, хвастались друг перед другом козулями. У иного «оленя» уж рога отъедены, а у «девки» — ноги.

Мы дома ели пряники домашнего печенья, а козули лежали на скатертях, у образов, на ёлке. Они сладко пахли. За зиму сахар осыпался, если хранить...

У нас, говорю, как и во многих старожитных домах старого Города, пекли паточные пряники. За неделю до праздников готовили тесто. В крупчатку лили первосортную патоку и топлёное русское масло. Месили в больших глиняных горшках. Густого теста заготовляли пуда по два. Его хранили в горшках же завязанными, на холоду. Пекли сколько когда надо, ино и про запас. Раскатывали толщиной с пол-пальца и жестяными формочками вырезали сердечки, звёзды, кружки величиною в кружок стакана и ставили в печь. И тесто, и пряники хранились долго.

Задолго до праздников у ребят начинались спевки — это славильщики. Кроме тропаря «Рождество твое» и кондака «Дева днесь» пели стихи, поздравления. Утром в первый день, ещё спишь, ходили ведь и к заутрене, а у крыльца уж скрипит снег под ногами — кучки христославов. Ребятишки маленькие заходили с чёрного крыльца, подростков допускали с парадно-

го: — «Дозвольте Христа сославить». — «Заходите». Пройдут в залу, сняв шапки, впереди станет старший со звездою, склеенной из деревянных планок, приукрашенною золотою и цветною бумагою (у иных искусников звезда тихо кружилась на древке, блистая), и по тропарю с кондаком поют:

Воссияли дни златые.
Днесь рассыпался туман,
Преблаженная Мария
Родила днесь Бога нам!

Силы ангельски слетали
Светлым облаком с небес,
«Слава в вышних Богу» пели —
Мир на землю нам принес.

Три царя из стран далеких
Дар рожденному несут.
И звезда с небес высоких
Указует к Богу путь.

Звезда прянет от Востока
На рожденного Пророка.
Днесь родился нам Спаситель —
Всему миру Искупитель!

Пойте Ему, прославляйте
Его! Всем господам,
Господиновым женам
Многия лета!

Радость сердце наполняет,
Все печали уж прошли,
Вся вселенна поздравляет,
Бог явился на земли.
Пойте Ему, прославляйте Его!

В Сочельник Город кипел предпраздничнo, радостно. Над нашей Немецкой слободой празднично пели

колокола кирки[1]... В немецких домах зажигались ёлки. Утрени начинались в три часа. Синяя ночь в звёздах, бархатный густой соборный благовест царствует в торжественной тишине ночи... Рождественская ночь! Обширные своды нижней церкви нашего собора... Поют столповым напевом. Любил я в соборе икону Рождества. Очаровательное произведение XVIII века в духе Мурильо, но ярче, наряднее.

Вернёшься домой до зорь. Мама не спит, топятся печи, горят лампады, сияют образа, везде белое, тюль, салфетки. К Рождеству, помню, кухню нашу большую, уютную, многолюдную, украшали новыми лубочными картинками. Помню, Наталья Петровна, старшая над прислугой, сокрушается, что Благословляющая рука (картины были большей частью религиозного содержания) «написаны малаксой[2]». И я, смала приверженный к старому обряду, искусно кистью изменяю троесложное благословение на двоеперстное... А из печи вынимают пироги, белые шанежки со пшеном, кулебячки с свежей сельдью, пирожки с мясом. А в зале на ненаряженном ещё столе батарея вин, стопы вынимаемых в дни торжеств синих веджвудских тарелок...

От первого дня праздника, включая Новый год, устраиваются ёлки и вечера. Костюмы для вечеров с масками начинали готовить задолго. Крестная моя, портниха из первых в городе, обладала художественным вкусом, могла соорудить костюм по любой картинке. Комоды и сундуки её были набиты остатками ма-

[1] *Немецкая слобода* в Архангельске — наиболее респектабельная часть старого Архангельска, располагавшаяся в центре города; здесь жили преимущественно иностранцы: англичане, голландцы, немцы и были построены реформатская и лютеранская церкви. В рассказе «Детство в Архангельске» Шергин писал: «В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки».

[2] *Малакса* — троеперстие (*старообрядч.*).

терий, спорками, старинной моды платьями, роброны, фижмы... Она и наряжала меня и двух моих сестриц. Перед Германской войной сшила мне по картине Мурильо шёлковую сутану на белой атласной подкладке с широким кукулем, с белой шёлковой же верёвкой-опояской. Сшила и шапочку. А в 1913 году сделан мне был по Билибину костюм боярина. За вальс, который я танцевал в костюме монаха в немецком клубе, я получил приз. Приз получил и за боярский костюм; у сестёр помню костюмы домино, рыбачки, чаще они рядились в старинные штофники, парчовые повязки, парчовые полушубки при батистовых рукавах. Это традиционные наши наряды, ещё девичьи мамины.

Святочные вечера... В передних комнатах домов, где бывали — зало и гостина, — огонь. Гости. Подъезжают сани с масками.

Масок пускают?..

Заходите!.. — Маски танцуют, их угощают чаем, конфетами. Зажигают елку.

Опять звонок:

Не угодно ли «Царя Максимилиана» представить?

Пожалуйте!..

У царя Максимилиана бумажно-картонная корона. Мундир с серебряной лентой через плечо. В руке скифетр, оклеенный золотой бумагой, — фигурная ножка от кресел.

В первостатейные дома пускали по билетам. Помню шикарные вечера у Бальквиц, Линдес[1]. Маски попроще бегали и пешком по Городу. В деревнях часов с девяти утра уже видишь чудное зрелище: здоровенные девки, задирая подолы, хватая встречных парней, с «хухканьем и свистом» несутся по деревне...

---

[1] *О. Ф. Бальквиц* — промышленник, прусский подданный, владевший в начале XX в. кирпичным заводом под Архангельском. *Линдесы* — архангельские купцы 1-й гильдии.

Вот дак девки, — с ужасом говорите вы...

Не девки это, — смеется ваш путник. — Это парни титки наложили за сарафаны... Но о сем до зде — народные святочные обычаи описываны многажды от иных...

Писамши, с дороги я свернул.

P. S. А славили не только группы славильщиков молодежи. Славили приходящие поздравить старые почтенные люди. Пел, славил Рождество, браво вытянувшись перед образом, старый морской офицер, ещё помнящий славу военного порта[1]. Детским голосом пела какая-нибудь бабушкина ещё подруга, лет восьмидесяти пяти, не своими голосами «славили» мы с сестрицей, придя поздравить крестного, бабушку.

На вечерах о святках множество можно было увидеть старинных женских нарядов, чаще всего древнерусских фасонов, но бывали и моды XVIII века. А древние повязки, штофники, шугаи оставили носить недавно. А по окрестным деревням ещё в Германскую войну, например, венчались девицы в древнем парчовом, штофном наряде. И на святках, надев «материн» наряд, девицы вели себя очень церемонно.

27 декабря

Святки — нарочитое время рассказов о таинственном, о Божественном, о старине.

Памятливая старуха тут на голос былину заведёт. Маменька мастерица была сказывать, умела и слушать («Что услышу, то и моё»). При случае и в будни что-ни-

---

[1] *...еще помнящий славу военного порта.* — В 1733–1862 гг. в Архангельске существовал морской военный порт, в течение нескольких десятилетий здесь базировалась Архангельская (Беломорская) военная флотилия. С 1886 г. — Архангельский морской торговый порт.

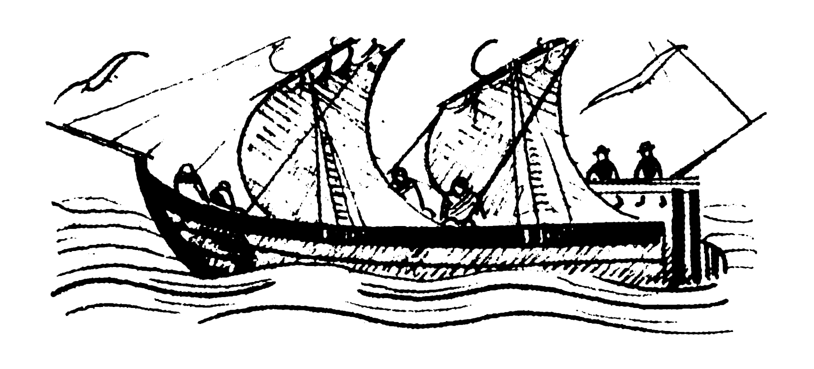
будь вспомнит, как жемчуг, у неё слово катилося из уст. Прислуга, кухарка, кучер забудут про дела... Мама ничего не скажет.

Но уж в праздники прислуга была как гости. А делала мать больше, чем прислуга. Кучер был и за дворника. Женская прислуга: двое — мыли, стирали, помогали хозяйке.

Прислуга живала до 20–30 лет. И о сем <д>о зде.

Относит от берегов Христовых безвольное, ослабевшее существо моё волнами многомутными века сего

Дневники



1944

по ~~паче~~ жаркаго паче солнца 5
и паче огня и угля будни ~~=~~/ скаред-
ние испепеляющей. И от святой
руки ~~видим~~ книги ~~сладкоуханные~~
стихи и святые. Серафим Саровский
Феодосий Тотемский, Павел Обнорский
Святитель Филипп., Ефрем Сирин:
~~Икона~~ многострунные источники святые
Час предвидя суда, рыдал еси горько
Ефреме, поэт церквей. И нас к
плачу зовет Ефрем. По выплаканным
с Ефремом слезам его мудро житейскую
грусть. ~~Е~~Ефремовы слезы в нас золото
чистые отмоют. Ах, сладкая радость
на дно слез с Сириным очень вы-
плаканных. Вод ефремовой речи
молимся мы сладко очень сказывая
слова: Где, сладкое тишины моей
дух праздника ... Ты и иные ...
... о нас земли всемирной, прекрасной

<Без даты>

Новое лето как бы, думаю, с новой тетрадки начать, но не искусственно ли таковое расселение? Жизнь ведь та же, мысли те же... Божье что-нибудь сдумать-то охота. Нельзя жить совсем без радости. А вправе ли я на себя радость-ту натаскивать? Чем тянемся... Конфетёшки, ежели удастся выграбастать по пайку, то и продадим, или жиры. Паёк-то не выдают. За две рубахи семь кило картофеля дали. В ночи брателко-то долго не спит, дума думу побивает. Я всё с головной болью очнусь. Брателко порошков даст, горчичник на затылок, чаю крепкого. Я и ползаю опять из угла в угол. А он, может — не может, уйдёт... Как он трудится! И как я хочу ему в помощь быть! Валеночки у него на ножишках — одни заплаты. Без подошв. Вечером прибежит в худых душах, а ещё Мишку в Таганке надо проведать. Жалеет его... Я куда сброжу, простужусь, лежу — ходите вокруг меня. Неделю «болею», братец по докторам, по аптекам (две аптеки на Москву) гоняет до ночи в дождь и в мороз... Хвораю я с чувством, с толком, с расстановкой. Того ради не любит меня братец одного отпускать куда-ле... Изноет весь: как я улицу перейду, как на трамвай сяду, как бы кто меня не сронил, да как бы кто не раздавил... Ночь-ту сидит мне рубашонки зашивает. Я и дома рваный не хожу, заплаточки и те выглажены. А уж о нём некому подумать. Тонок что былиночка, худ что щепиночка, бледен до прозрачности. Как приляжет на минутку, и встать не может, тик у него нервный сделался. Но на его худеньких плечах все заботы, у него на плечах я — неразвезимая гнилая колода. Врождённое чувство долга и ответственности

какую-то дивную силу даёт хрупкому, точно фарфоровому, существу моего бедного братишечки. И вот там, где я, как навозная куча, расползаюсь во все стороны он, как хрустальная рюмочка, звенит на морозе. Истинно, брателко ты мой, хрустальная ты чаша милосердия...

<Без даты>

Встал рано, напрял мало.

Главные две дымокурки в коридоре враз затопили, дак уж нам, соседям, чуть что не окнами пришлось на улицу выбрасываться... Из коридора набьётся дым во все комнатёнки. Ждём, когда его вытянет сенями на улицу. Тогда из комнатёнок дым в тот же коридор выпущаем. Что было тепла запасено, накурено да надышано, всё уйдет. Но надо не пропустить момент замуроваться снова. Ибо начнут топить других две старушки. Оглянешься, а уж опять вкруг тебя полотенцами дым, как на картине Мясоедова «Самосожжение». Но люди говорят: «У вас хоть дымком-то пахнет...» Где центральное отопление, там и эту зиму в шубах сидят. Сестрёнка на Самотеке коченеет. Брателко на Пречистенку ходил вчера занять до четверга (без гроша сидим)... А ещё морозов не было. Сестрёнка говорит: «Слава Богу, зима-та сиротская...»

Хотелось сон записать. Редко я хорошие сны вижу. Будто сидим в большой кухне (кабыть на родине это). Окно полое — летний день. И по улице идёт высокая пожилая женщина, одетая по-домашнему для обрядни. Повязана платочком, тёмное длинное платье, подпоясана фартуком. Худощавое, смугловатое, но румяное лицо. И необыкновенно прекрасные глаза, окружённые тёмными кругами. Глаза выразительные, в глубь себя смотрящие. Я всё утро помнил впечатление этих

глаз и вспоминал речи Исаака Сирина о мучениках, упившихся вином Божественным, чашею Христовою... «Кто она?»— спрашиваю я. «Как же вы не знаете, это наша Дунюшка...» Отозвались о женщине так, как говорят о блаженных, юродивых, святых. А я (во сне) ощутил какую-то радость, что-де вот с этой женщиной мне надо побеседовать. И я будто знаю, что она пошла к вечерне в собор (больше-де нет церквей). И опять будто недоумеваю: в церковь идучи, она бы не так, по-домашнему, была одета... А сам будто, скорёхонько забежав домой (дом наш в Архангельске), поспешаю к вечерне, чтоб видеть эту женщину святую, с прекрасным, на нём несколько резких морщин, лицом, загорелым, с очами, не видящими суеты вокруг. Поспешая к вечерне, помню, будто погода, как после первой грозы, парит ещё, и листики берёзовые нежные... Да! Еще полупроснувшись, под сладким впечатленьем сна я уже знал, что вечерня, к которой шла та, прекрасная, была на День Святого Духа. Берёзки, помню, благоухали...

Со мною не раз бывало такое: в городе ли, в старом проулке, в деревне застигнет тебя, обнимет некое сочетание света и теней, неба и камня, дождя и утра, перекрёстка и тумана... и вдруг раскроются в тебе какие-то тайновидящие глаза. (Или это разум вдруг обострится?) И одним умом думаешь: когда-то в детстве-юности шёл ты и видел ты схожее расположение дороги, света, тени, времени и места. А разум твой раскрывает тебе большее, то есть то, что сейчас с тобою происходит, отнюдь не воспоминание, но что бывшее *тогда* и происходящее сейчас соединилось в одно *настоящее*. И всегда в таких случаях, чтоб «вспомнить», когда я это видел, мне надобно шагнуть *вперёд* (отнюдь не назад).

«Шедший сзади был впереди меня».

В такие минуты ясности и истинности сознания я не успевал обычно охватить и сформулировать того, что в такой отчётливости и несомненности уяснилось мне.

В такие минуты ум становится широким и ясным, мысль дальновидной. Отходил труд калечных ног, не нужны были подслепые глазишки и очки, не нужен стариковский костыль.

Потом опять тянулись дни и месяцы обычного житья-бытья. Но уж это мне ясно и видно, что в «те минуты» я отнюдь не выходил из себя, но *приходил в себя*. Это были минуты сознания и знания. И я отчетливо видел (понимал), что многолетнее моё житьё-бытьё проходит как бы в комнате без окон. И я не сознаю этого. Может, и окна есть, но мне они ни к чему, вроде украшения. И вот окно отворилось-распахнулось, и я узнаю, что есть иной мир, иное сознанье, иное бытие, настоящее.

...Как-то я уже поминал: старая девица (из богатых), как настанет Велик день или Святки, и она в те дни опухнет от слез. Вишь, юность и детство вспоминает: как-де у них празднично было...

Это мне непонятно. Вот хотя бы моё дело: наследством, по родителех, не судил Бог владеть. Но воспоминания детства для меня богатое наследство! Неиждиваемое, неотымаемое, непохитимое, неистощимое. «Не говорю с тоской — их нет, но с благодарностью»[1] — оно есть у меня, оно при мне. Золотое детство не воспоминания для меня, а живая реальность. И она веселит меня. В труде весь свой век и весьма небогато жили мои родители. Но жили доброчестно. И тихое сияние этой благостной доброчестности чудным образом светит и мне. Светит и посейчас. В этом какой-то великий и благостный закон. О, как это должны знать теперешние молодые родители, имеющие детей!

[1] Заключительные строки стихотворения В. А. Жуковского «Воспоминание» (1821): «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были».

И вот именно поэтому люди любят рассказать-вспомянуть своё детство-молодость. Бабки-деды — внучатам, отцы-матери — детям, бабы-хозяйки — у печки, у плиты — друг дружке.

Бывает, что человек вынес в жизни множество горя и — представьте! — он с годами, рассказывая о бедностях, об утратах своих, уже не жалуется, а хвалится ими! Потому что самый незначительный человек, вынесший много горя, становится значительным, заслуженным.

Старики, когда скорбные случаи их жизни, бедствия, утраты отодвинулись начинают говорить о них как бы хвалясь. Перенесённые скорби становятся приобретением.

В течение тридцати лет знаю женщину, теперь уже старуху. К двенадцати годам лишилась родителей и пошла работать «на торф». Вышла замуж за горького пьяницу, который удавился, оставив её с кучей детей. Сын пропал в уголовной тюрьме. Теперь эта старуха живет относительно спокойно, нянчит дочкиных детей. За последние годы я не раз слышал её рассказы об её жизни. Старуха эта всегда производила впечатление существа забитого. Но год от году рассказывает она свою жизнь интереснее, художественнее, вдохновеннее. Лет двадцать назад она немногословно-кратко вспоминала о том, как умер её отец: «Пошёл отец-то к утрене, весна была, воды. Он меня, крошку, на руках нёс. А утреню отмолились, на обратном пути (из села в деревню) он присел отдохнуть и умер».

Недавно в кухне опять я слышал от этой старухи рассказ о смерти отца. Все детали выросли, стали знаменательными, провиденциальными. Уже отец ея, стоя у заутрени, чует близкий свой конец и произносит мольбы о грядущей судьбе дочери. В таком плане ста-

руха осмыслила и другие скорбные эпизоды своей жизни. Чувствуется какая-то гордость.

Передавая печали и бедности своей жизни, человек, конечно, и вздохнёт, и задумается. Зато как любо, как весело пересказывают люди светлые картины своего житья-бытия. Об уюте родительского дома, о доброй воркотухе-бабушке, о труженике-отце, о нежно-заботливой матери. Все они давно умерли, и кончина их, в аспекте прошлого, представляется рассказчику закатом тихим и мирным.

О бабушках, о тётушках своих люди рассказывают много забавного, любят описывать, как проводились в семье большие праздники, именины. В том же настроении, веселяся, опишут и случившиеся пожар, покражи.

У всякого человека есть что вспомнить, но у человека бездарного ничего не отпечатлелось. Бездарному всё ни к чему, всё мимо носу прошло.

Самая великая печаль человеку — утрата близких, вековечный уход их. Уходит отец и мать, муж, жена, брат, сестра, дети, друзья верные. Пусто, тошно, несносно обживаться без человека, с которым жил однодумно и советно, который всегда был на глазах, которого ласковые речи всегда были в ушах. Но проходит время, «годы катятся, дни торопятся», пустота заполняется. Глубокий ров скорби, которому, казалось, не было дна, уравнивается жизнью, её неизбежными ежедневными заботами, событиями, новыми огорчениями и радостями. И человек помнит и ощущает только яркость и светлость, интересность и занятность бывшего спутника и участника жизни. Конечно, чем дольше шёл ты по жизненной дороге с близким твоим, тем дольше будет и неутешность твоя. Скорбь об ином утишит тебе только мать-сыра земля. Но у большинства людей время залечивает эти раны (старость нередко приносит известное нечувствие).

О, как досадно слышать:

— Всё это было, да прошло. Что прошло, то не существует. Чего не видишь глазами, чего не ощущаешь руками, того нет...

Немысленная речь! Невещественное прочнее осязаемого. Полено хоть сто лет в пазухе носи, полено и есть. А вот матери своей или сестры я годами не видел, без меня обе померли, но любовь и благодарность к ним живы, со мною. Всё, что было, то я в себя вобрал, и оно есть. Горестное бывало, но надобно вразумиться сердцем и принять бедности все как науку, как врачество, как опыт для остаточных дней и — почувствуешь удовлетворение.

Всё, что ты видел, всё, что ты делал, что переживал, во что вникал, над чем радовался или скорбел, всё это, как некие неиждиваемые дрожди, остаётся в тебе. Ежедневная твоя жизнь должна быть и есть творчество (твои думы, твоя работа, отношения с людьми, разговоры с ними...).

Из сказанного вытекает силлогизм, ради которого я и весь этот разговор завёл: мне часто пеняют, и на меня дивят, и меня спрашивают: «Для чего ты в старые книги, в летописи, в сказанья, в жития, в письма прежде отошедших людей, в мемуары, в челобитные, во всякие документы вникаешь? Надобны разве для жизни эти «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»?» И я отвечаю: «Совершенно так же, как веселит и богатит меня жизнь — история моей семьи, отца-матери, бабок-дедов...»

20 января. Среда

Как дятел я долблю, что де токмо сам ты можешь «выработать» радость, мир сладкий (увы, — редко меня посещающий). Но вот с утра и с одра подымаясь и при-

бираясь с рухлядью-то всею, всё о весне некоей радость меня касается — мостки умом гляжу, омытые дождями вешними и снегами. (Это навсегда у меня в памяти деревянные, тесовые мостки-тротуары, такие чистые по дождям остались.) Весны душа хочет, всё какой-то радости ждёт. Как хорошо, что утлая, немощствующая плоть, хоть редко, хоть в неделю раз даёт место неплотскому, а потому широкому, ширшему небес какому-то радованью.

Не умственно, не философично, не отвлечённо оное пребывание, предначатие онаго блаженного пребывания. Радость царства небесного это не какие-то мировые пространства. (Говорят, есть картина: «Через минуту после смерти» — летит куда-то душа. А вдали уж еле виден земной шар...)

Нет! Не то, не за миллионы километров блаженный оный мир, загробный, светлый, радостный, но близко. Наша радость вечная близка. Святые, сподобляющиеся благодатных утешений, не уносятся ведь за Марсы и Венеры, но здесь видят природу преображённою... Святые эту же природу видят, землю, воды, леса, но видят не таковыми это всё, каковыми видит падший человек, а омытыми благодатным дождём Утешителя, жизни Подателя. О, какая тайна радостная и пресветлая вокруг нас. Вот тут, только руку протянуть. Эта вот ликующая, как гроза, как океан радости, тайна вокруг нас.

Дождь. Всё омыто: плиты, камни, деревья, и познание, догадка прорывается радостью, как это солнце и лазурь сквозь плевы облак.

Дождь шумит на дворе. В дому Давидова шум и гром... Странное видение. Сошёл дух на ангелов, и они узнали, как зарница в ночь вдруг осветит всё окрест, увидишь деревья, листы. Они тут были, но ты не видел в темноте. Так вот тебе идущу, сидящу вдруг как «за-

веса раздрах», и глянет в очи твоего ума радость: глянут близко, приничиво[1] лики вечнующие сего неба, сей земли, сих деревьев. Плева-та, плотно это всё закрывающая, вдруг разредится. В просветы эти и увидишь. И хочешь прянуть в это открывшееся, ухватиться за это ликующее прекрасное видение и виденье...

Но тебе, плотскому, нельзя пребывать в этом. В «этом» ты будешь жить, расставшись с телом. Или же достигнув некоторых духовных мер: сие открыто было святым ещё в сей жизни.

...Деревья эти (и не эти), Земля эта (и не эта), холмы, воды эти (но и не эти), цветочки, травы, полынь, березка эта (и не эта) — это и есть «место светло, место прекрасно, отнедуже избеже...»[2]

И это всё во мне. В существе моего вечного ума, вечного сознания моего, т. е. души моей. Во мне оно, необъятное царство Божие[3]. Я ширший небес, чему образ дала Едина Всепетая. И я, как Богородица, родить должен Бога. Родить нового Адама — это открыть очи ума и сердца и увидеть, что Бог есть, что всё в Нем. Тут тайна великая. Я, значит, должен дальше звёзд распространиться, во мне ведь царство Божие, т. е. пречудный мир Божий. Всё в утробе моей, всё во мне делается. И грозы сии благодатные, и небесная лазурь, и дожди омывающие...

Физические органы зрения, эти вот мозговые полушария слепы и тупы, и если не понудят себя на благодарный и благодатный труд, не увидят, не узнают о Боге. Отсюда вот распространение безбожия.

---

[1] *Приничиво* — от глагола «приникнуть» — припасть, прижаться.

[2] См. молитву из Канона «Последования погребения мирских человек»: «Сам, Господи, упокой душу усопшаго раба Твоего (имярек) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание».

[3] Лк. 17:21.

Надо изнутри себя взорвать некие ключи, надо, чтоб внутри тебя началось извержение Везувия. Внутри себя делай глубокую шахту, чтоб огонь вырвался и твой ум и сердце разжёг, через себя, в себе, своим подвигом найдёшь ты Бога, поймёшь, что всё в Нем. Увидишь, и как это всё в Нём. Стяжав Бога, восхитив Царство небесное в душу, оставишь, как детские игрушки, и все твои теперешние недоумения относительно «данных современной науки» и утверждений религии.

Скажут: — Бог до тебя был и потом будет. Он тебя создает, а не ты Его. Бог существует, сознаёт ли Его тварь или не сознаёт. Он-де до тварей был и после них будет. Еретики и безбожники суесловят: «Человек создал Бога по образу Своему и подобию. Бог-де существует в твоём воображении»... Эту блевню опровергать нечего. Здесь солнце хулит слепой, говоря, что оно чёрное. Здесь безносый сифилитик ругает розу благоуханную за отсутствие запаха. Здесь глухой ругает певца за то, что певец лишь губами шевелит, не издавая звука.

Прочитывая антирелигиозную литературу, всё время дивишься, как это слепые дерзают толковать о цветах, о живописи, глухие рассуждают о пении и музыке и поют сами. Вся антирелигиозная литература — это трупы гундосят о жизни. Все гробы истощил Жизнодавец Воскресший, а сей смердящий гроб — безбожие — сатана припрятал себе под задницу. Всем сущим во гробах Христос живот даровал, только сущие в гробе безбожники, что черви, мертвость безбожия глодать остаются. Весь ад озарися блистанием божества, только атеисты, что клопы, в щель от свету того залезли.

— Нету Бога, — в дыре той сидя, пищат лишённые. И о сем до зде.

Бывает так, что самоучки-кустари, дойдя своим умом, устрояют из дерева наивные механизмы, в то время как инженерная наука уже давно решила этот

вопрос и пользуется такими машинами... Нужно ли каждому на личном опыте доходить до богопознания? Ведь вопросы личного богопознания работаны в учении церкви, и надо только вопросить учителей.

Конечно, имей я опытного старца, мне не надо было б бродить вокруг да около бесчисленными тропинами, окольными дорогами идя к тому, к чему существует прямая, углаженная дорога.

Да. Но, может быть, глубина мудрости Божией и судила мне, человеку мира сего сомнящемуся, слабому в вере, обтолочь своими боками путь к богопознанию, к богосознанию, а не то, чтоб я получил оное бесценное сокровище готовым.

Вопрос о внутреннем богопознании, о том, чтоб самому найти Бога, чрезвычайно важным и насущным делается в наши дни. Род людской, «массы» отторгнуты врагом рода человеческого от Отчаго дома. Интеллигенция, городские «массы», а ныне и крестьянство (молодёжь особенно) лишены влияния церкви, ушли из быта исконного, забыли праздники. Церковь уж не навевает им вечного своего аромата. Молодёжь в семье, в быте у старших не находит уже праздников Божьих. Ибо старики быстро вымирают. Молодёжь не знает, например, что «сегодня Пасха». Придя в дом, где висят ещё иконы, они равнодушно относятся к этому, не интересуются святою книгою. Они не в этом уж росли. А между тем, среди этих молодых и пожилых много есть (а дальше будет ещё больше) таких, у которых горит в душе искра Божия. Они видят, что «современность», «материализм» кладёт голодному в руку камень вместо хлеба и ядовитую змею. Таких людей не удовлетворяют скучные «песни земли». Имеющие ухо, чтоб слышать, начинают ловить в природе звуки небес. Может начаться естественное богопознание, которое Господу помогающему приводит в церковь Христову...

Огорчился я, выйдя. Сразу будничный вид улица приобрела. А было: тёмные громады домов смотрят в мерцающее звёздами небо или в клубящееся облаками, а эти слепые пузыри... Люблю свет, иже от Света Вечнаго излиянный по небу, — Солнце, месяц, звезды, зори утренние... Там свет от полноты, от любви, от ядр живоначальных излиянный, а электричество — пустоцвет, дрочильное цивилизации не порожденье, а изможденье — мёртвые пузыри, бельма слепые застят в ночи свет Божьего неба.

22 января. Пятница

Это вот великая проблема, не только здоровья нашего, но и вообще нашего существования: пост, глаголю, в мире Божьем, посты церковные и голодовка в мире сем.

Пост Христов не разрушает здоровья, но укрепляет. Иноки-постники, пустынники, не евшие ничего, кроме хлеба да овощей, да и то раз в день, еле-еле, жили, как правило, 80–100 лет. Иные, не вкушавшие ничего целыми неделями, лишь в воскресенье и субботу разрешавшие сухарь с водою (Великий пост), хоть и изнемогали порою, но здоровья и долголетия не меняли. Да и вся-та Русь наша давно ли ещё не только в Великий, но и в Рождественский, в Петров посты не ела не только мяса, молока, яиц, масла, но и постное-то масло лишь во вторник, четверг, субботу да воскресенье вкушала. А силы никто не менял. Работали обычно. Скажут, что в другое время навёрстывали. Это, положим, так. Ну а пустынники, сонмы этих постников, древних и новых, действительно одним сухариком да чашкой водички жившие круглый год и доживавшие, как правило, до 100 лет.

И теперь возьмём нас: чуть не доели и — выпали из сил. А продолжительное недоедание непременно вы-

зывает болезнь и «гибель» (теперь говорят не «умер», а «погиб»), <1 нрзб.>. Люди мрачны, темны лицом, озлоблены, а постящиеся светлы лицом, мирны, радостны. Измождены, но здоровы и долгоденственны.

Дело, очевидно, в духовном устроении человека. Как не вспомнишь из патерика: В скудный год на иноческой трапезе поданы были ржаные сухари с водой. И вот авва видит, что одни едят мёд, другие это самое крошево, а третьи — навоз... Между тем, еда одна — хлеб да вода. И было авве открыто, что вкушающие скудную сию пищу, радуясь и благодаря, в самом деле вкушают сладость медвяную, а навоз едят негодующие и ругающие убогую пищу.

Очевидно, что духовное перерождение человека перерождает и физический его организм. Очевидно, благодатное состояние человека может поддерживать и содержать плотский состав.

Скажут: вегетарианство не новость и этим даже лечат. Лев Толстой не ел мяса, рыбы... Я говорю не о том, чтоб мясной стол заменить обильным овощным и молочным. Говорю о посте по уставам, посте сверхуставном. (Монахи, евшие хлеб и воду два-три раза в неделю, и то чуть-чуть.)

Эти постники-иноки, какой они сияли радостью, как благодать Христова сквозила и тайно светила в их обликах, во всем существе этих подвижников, неустанно молящихся и трудящихся.

Скажут: постники эти и сидели в затворах на всем готовом да молились. А нам надо работать... Сидевших в келье затворников было очень мало. Престарелые схимники никогда не сидели без работы. Даже лежащие — вязали пояса. Работал весь монастырь: даже иеромонахи, не занятые в храмах, столярничали, слесарничали, плотничали, ткали, шили, сапожничали, послушание на полях-огородах, в поварне, хлебне,

в кузницах и т. д. и т. п. Весь монастырь работал с утра до вечера. И — постились жестоко-сурово. И — были здоровы и долголетны.

А мы чуть не доели и — гибнем. Почему? Подымем-ка этот вопрос всяк до себя. И решим его с помощью Божией. Очень уж дело-то насущно нужное, важное при всяких обстоятельствах и обстановке. А к чему такое измождение тела, к чему поведёт таков телесный труд? — спросят. — К радости, — отвечу.

Подвиги сии: пощение, стояние на молитвах, всенощное, труд с молитвой, хранение уст, сердца, ума, внимание к себе приводят к тому, что человек в самой тяжкой житейской обстановке остаётся мирным, радостным, счастливым. Но и среди «спасающих душу» есть, говорят отцы, три разряда людей. Одни постятся из страха, чтоб избежать вечной муки, — это рабы. Другие постятся, высчитывают поклоны, умножают правила ради наград обещанных, — это наёмники. А есть, что подвизаются, постятся, молятся, трудятся из единой Любви ко Христосу, к Господу Жизнедавцу, Искупителю. Подвизаются, радуясь о Троице Живоначальной, радуясь о Духе Утешителе, — это постники — дети, любимые дети Бога.

Благословен сей пост — радостное говение твари из любви к Творцу, всея твари Украсителю.

..А вечером брателко пришёл, видит, я поблек, погонил на улицу: для того и голова кружится, что неделями воздуха не видишь... В два пальто ватных меня закуфетал, запоясал, шапка, рукавицы, клюка. Выпроводил. А снег мокрый идёт, порошит.

Отцы говорят в патерике: сиди в келии, и та научит тебя всему. Ино не в меру-то такой балаболке, как я. Мой опыт таков: броди возле кельи, — небо над тобой, тучи или звёзды. Снежок белый, галица переклинется на деревах... На ночь глядя тихо в переулке, безлюд-

но. Небо серое, как карандашами нарисованное, тени домов. И белые, белые скатерти. «Госпожа Метелица» постлала в переулках. Лестно по белому-то ходить, все бы шёл. Отвыкли от белого да чистого дома-ти. Простыни-наволоки, портки-рубахи всё не белое, а седое, а ольховой да осиновой золой мыто, дак и коричневато. А пол-от затоптан, а потолок-от от дыму: что в кузнице. Ходишь белыми-те скатертями, мысли оживают. Хорошо на ветре-то преходиться. Днём пестрота всякая в глаза лезет, а к ночи умная тишина, что умная молитва. Да, хорошо бродить возле кельи. В зиму по снежку, в лето по дождичку. Да, не понимаю я путешественников, тех, что «обкатывают» вокруг света в 80 дней. Эти люди, — пока на воде, они скользят, очевидно, по поверхности, ибо, чтоб углубиться, надо время, надо пожить... Я говорю о туристах-верхоглядах, а не об учёных, скажем, Пржевальских. Да он и не катал вкруг вселенной. Я говорю не о тех, кто пешком обходил страну. Апостолы «обтекли вселенную», идут богомольцы в Киев, в Иерусалим. Здесь глубина. Здесь цель, заставляющая человека самоуглубиться.

Переулочком-то своим ходя, люблю я думать. Как бы я хотел жить в деревеньке или в лесу, на опушке. Там и в день-то тишина благолепная.

23 января. Суббота

Дымом сегодня со вставанья на улицу выгонило. Брателко там дым коробом выносит, а я гуляю, — у меня голова слабая... На дворе так и льёт. По обтаявшим тротуарам меж асфальт плиты старые, золотистые, здравствуй мне сказывают. С осени их не видал. Что ночесь белая скатерть была настлана, а та снята, а покрыты улки мокрым тюлем — узорчатыми дорога-

ми. Инде на белом снегу что картина расплылась, экие всё акварельные пятна. Рано сейгод залюбил я эти картины. Предвесенья жду. Поста Великаго. Не глаголю: весны благоцветущей и светлаго Христова Воскресения. К тем ещё я не готов. И в сем теле сидя, буду ли когда к «Пасхе»-той готов?

А вчера забыл записать сон. Будень сразу его замутил...

— Омытый, ранневесенний день, будто и странно весело на душе. Не прост день сегодня, думаю... А почему-то надо что-то рассказывать ждущим людям. И у меня в руках книга древняя рукописная, с изображениями. Я раздваиваю книгу, и на большом листе алыми, и голубыми, и изумрудными красками изображён Вход Господень в Иерусалим, а над «Входом» золотистыми литерами писана стихира: «Преже шести дней Пасхи...» И вдруг я ахнул. Завтра «Неделя цветоносная» — Вербное Воскресенье. И не готов я к празднику, и странно мне и радостно, а надо-де нечто людям сказать. Я и запел эту стихиру «на подобен». И кабыть поючи сладко: «Преже шести дней Пасхи», и разбудился. И как сейчас вижу: страница пожелтелой бумаги или хартии — пергамента. И «Вход Господень» — Спас на жребяти — повернул главу к провожающим. И вверху листа текст — «Преже шести дней Пасхи».

24 января. Воскресенье

23-го была память валаамского игумена Дамаскина. Завтра память оптинского старца иеросхимонаха Анатолия. Завтра — и великого Григория Богослова[1]. Светлый месяц со звездами.

[1] См. примеч. на стр 152.

Завтра в Замоскворечье на Зацепе в Пупышах праздник «Утоли моя печали»[1]. Какой букет прекрасных пренебесных цветов...

Римский папа ежегодно жалует достойнейшего сына их церкви золотою ризой. К золотой ризе применю Великого Григория. И чудные цветы Севера — Дамаскин, Анатолий.

Неможно надивиться: как ни испытывай, не найдёшь в мире Божьем, в году церковном будня. Таково бе и в XV веке, и в XIX. В церковном саду куда ни шагни, куда ни протяни руку — все цветы, цветок цветка чуднее. И ежели на земле, в сем венце искать будешь, в XIX столетии, о, как много новых чудных звёзд на церковном небе воссияло. О. игумен Дамаскин почил о Господе в 1881 году 23 января. Оптинск<ий> старец Анатолий отошёл к Богу в 1894 году. Назвал их цветами. Игумен Дамаскин истинный был богатырь святорусский, могучий дуб. Портрет его Иордан[2] гравировал. Какой богатырь! Широколицый, широкобородый, широкоплечий старчище-поморище... Жизнь Дамаскина, типичная, благословенная жизнь русского монаха, крестьянского сына, в юности ощутившаго благодатный свет в сердце, оставившего отца и мать, прошедшего в избранной им обители послушания конюха, сапожника, хлебопека, наконец, игумена знаменитаго. А подвизался он на Валааме 62 года. В игуменстве был хозяин — строитель, радел святому монастырю. О. Анатолия помню портрет. Светлые, светлые глаза, взор детской какой-то непорочности. Схима на плечах,

---

[1] Празднование иконы Божией Матери «Утоли моя печали» было установлено в 1760 г. 25 января в память о чуде обретения иконы и исцеления от неё. Икона была обретена в церкви Свт. Николая в Замоскворечье (на Пупыше).

[2] *Иордан* Фёдор Иванович (1800–1883) — российский гравёр, автор портретов деятелей русской культуры, иерархов Православной Церкви.

не шитый письменами кукуль на главе, а обыкновенный клобук чёрный.

Этот инок был преемником о. Амвросия, нёс послушание скитоначальника, к нему, как к старцу и духовнику, относились многие сотни людей (шамординские сестры, оптинцы, миряне), но и неся сей крест за послушание, о. Анатолий паче всего жил внутренней своей жизнью, был творцом умной молитвы, паче всего возлюбил безмолвие...

Преже всего враг направляет свои разжжённые стрелы на взыскующих Бога. Если человек, взыскуя (часто вернее скажем — искушая Бога), продолжает валяться в грехе, в слабостях, во всяком неисправлении, в нерадении, то в нём, как в кривом зеркале, Божье, светлое, правильное может искажаться в смутное, кривославное; мутная большая лужа мутно отражает и солнце, а чистая и капля воды, как бриллиант, блестит. Мой основной грех, гнетущий меня долу, наводящий тоску на сердце, это нераденье преступное, небреженье бесоставное, каинова беззаботность о брате, силы и здоровье сложившем на меня, изнемогающем в непосильной борьбе с лютой жизнью. Он бьётся за кусок хлеба, а я на баснях жизнь провожу, не стыдяся Христовых очей во взорах светлого моего брателка, светлого душою и телом, сияющих. За паразитическую, дармоедную жизнь играет мною сатана, искажая во зло, в угнетенье, в страхование то доброе, что в кредит доверяет мне Бог милующий.

25 января. Понедельник

Память Великаго Григория Богослова. Поэтами вдохновенными были оные великие мудрецы-философы.

Юностью, весною благоцветущею оные времена церкви назову.

Умы церковные, учители и отцы наши, как весенняя гроза были, как дожди благодатные, «как бы резвяся и играя», «грохотали» «в небе голубом». Все у них было от радости, от вдохновения, от полноты. То была юность премудрейшая. Вдохновенно и радостно чистым умом проникали они, отцы и учители церкви, в тайны тайн.

В тайны Божества, в тайны жизни, в тайны мира. А то, что мудростью и наукою величают наши времена, есть склероз старческий, извращение дряхлое, гниение. Или же — пыль, плесень, ржавчина. Безрадостны, тщетны, безжизненны умствования последних времён. Радостная, как вешняя гроза, вселенская мудрость София, как дождь благодатный, животворила умы оных учителей — любомудрецов-поэтов, отцов наших. И как же скаредны, мертвенны, тленны умствования и учения авторитетного мира сего. Они эти — моль в одежде, червь в плоде. Гробы они, прах, тлен, пыль.

Бог попустил зло на земле. И эти ненавистники вечной радости, ненавистники света, жизни и Воскресения ненавидят вечную живоначальную мудрость Божию, которая есть солнце мира. Гнилыми гробовыми досками учений своих тщатся гробополагатели-богоненавистники заколотить оную ликующую вечноюнеющую лазурь Господня неба. Мраком ада и смерти тщатся они затянуть горнюю лазурь вечной весны Христовой. И вот умы чад века сего затянуло хмарой мертвых учений. Уж все согласны опуститься, всем охота лечь в сон безбожия, опуститься, уснуть легко. Измотан, измят, измучен род человеческий. Куда там: горé имеим сердца. Куда там: почесть «высшего звания». Повалиться, уставши, в оный автобус смерти — вези куда хошь. Измучил, истоптал, измял сатана людей. Но не

перестает плевать, и дышать, и коптить, где завидит, каков проблеск вечной лазури. А она есть, эта вечная лазурь! Не думайте, что неба не стало. Унылая эта плева, эта болотно-туманная дымовая завеса, что застит вечно ликующее небо Господне, только ленью и слабостью нашей держится. Мрак от твоей дремоты. Стряхни ты с себя этот сон скаредный, поищи утра Божьего, сравни самоубийственность и мрак безбожных учений с тем, чему учит, чем живёт церковь, и поймёшь, где жизнь и что такое жизнь... Хоть мрака-то оного возгнушаешься, хоть утра-то полюбишь ждать. Я вот сам во мраке ещё брожу, но как я утра-то Господня хочу. Петухи-те поют — утро возвещают.

Василий, Григорий, Иоанн Хризостом[1]. Три пренебесных, златопёрых трёхгласных петела поют, утро в нашей ночи возвещают. Эй, гряди, Господи Иисусе! — «Эй, — говорит, — гряду скоро. Аминь». Воскресни, Боже, суди земли.

Вот придёт жених — Пасха, а я опять не готов. Я то и худо радуюсь в Пасху, что во мне Христос не воскрес. Того ради во мне не воскрес, что не сраспинаюсь Ему, Свету. Ещё отреченья своего не оплакивал. Надо, изшед вон из мира, плакати горько... Всё за «утешеньем» гонюсь дурацким умом. А плач бы — моё-то дело. То уж бы моё, то надёжно. Плачу, может, не позавидовал бы враг-от. А то ведь как видит, что я по утешенье поехал, сразу меня с катушек долой.

Вдохновенный полёт ума, крылья души, глубины сердца, златые уста поэта церковь считает неотъемлемыми свойствами богослова-мудреца. Церковь ценит в учителях-отцах божественное изящество их философии, красоты их жизни, их личности, их труда, добро-

[1] *Василий* Великий, *Григорий* Богослов и *Иоанн* Златоуст (*греч. — Хризостом*) — Вселенские учители и святители Церкви.

ту их творчества. Церковь поёт Григорию: пастушеская свирель богословия твоего победила риторов трубы. Ты изыскал глубины духа. Красоты (доброты) вещания свойственны тебе...

...Ты одеждою православия, свыше истканного, украсил церковь. Нося эту одежду, церковь зовёт тебя с нами, детьми твоими: радуйся, отче, богословия ум крайнейший.

Либо тупость и безразличие, либо врождённая порочность мышления (таков мир сей во зле самохотно лежащий) заставляет человека принимать безбожные самоубийственные концепции мироздания. Матерьялистическая чистая наука труп препарирует, по трупу трактует о жизни. О «науках» социальных, общественных говорить нечего. «Массовая» эта «наука» для младшего возраста. Оставим ими интересоваться клубным кружкам.

Но и чистая наука... преподносит мёртвую рыбью кость. Остовы, схемы... Нет, биология, ты нам сделай живую рыбу, вдохни жизнь в мёртвые кости... Ты ещё не дошла до этого... Ну, преуспевай. А мы Живодавца ведаем. Се сияющее, вечное море вселенской жизни. Там играет наша золотая рыбка.

Бог-творец по-гречески называется Θέος — поэт Творца неба и земли, поэт Урана и Геи. Так что нечто божественное предполагается и в зёмном человеческом истинно поэтическом творчестве.

Истины догматов веры, учения о таинствах не могут быть преподнесены в школе как формулы, скажем, физики-химии. Гербарий ведь не всё сказывает о цветке. Надо, чтоб учение о Боге, о церкви, о таинствах повевало благоуханием цветов, благодатным дождем, вешнею лазурью неба.

Богословствующая мысль воплощалась древле в божественно-поэтическом слове. Вот, например, учение

о Сыне Божьем (Символ веры): Он от Отца как «Свет от Света».

1 февраля. Понедельник

На дворе сыро, вся зима такова. Переулки в снегах, а по улицам слило. Вчера на рассказ[1] брателко водил, оттуда один я плыл.

К весне, похоже. Ино, слава Богу, ведь февраль. Сейгод нетерпеливо что-то считаю я дни к весне... «Им овладело беспокойство...»

Все ждут, — вот война кончится, голодовка кончится, здоровье воротится... Как галки за окном кричат, воробыши чирикнут, я всё ловлю ухом — это-де к весне. Люблю голоса Божьей твари. Велика ли моя «священная роща» — десяток дерев против окна-та — дома кругом, а галочки-чернички да воробьи все ночуют. Засветло прилетят, и — разговору! Долго угнездиться не могут. Вот птице наплевать, что гараж близко, а я брезгую этими машинами. Унылые мертвые жабы, чучела жабьи на катушках. И ездит-то на них <1 нрзб.>... а я не о том строчу, о чём хочу.

Сегодня предпразднество Сретения. Ничего, что в грязях да туманах земля. Слушай, что церковь поёт сегодня: «Небесный лик небесных ангел приник на землю, видит Перворожденнаго всея твари Матерью яко младенца несома ко храму. Небесный лик небесных ангел приник на землю, предпразднественную с нами поют песнь, радуясь». Ничего, что дождь да слякоть, приникши, с неба глядят на нас очи ангелов.

[1] Имеется в виду выступление Шергина перед аудиторией с рассказами, сказками, с пением былин.

2 февраля

Славы Отеческой я удалился безумно. Во зле расточил благое Отцово наследство. Отче любимый, ты видишь мои покаянные слёзы. Отче, не дай мне душой умереть вдалеке от любимой отчизны. Вот я стою и стучу в двери родимого дома... Отче, прости мне побыть у тебя хоть последним слугою.

5 февраля. Пятница

Купно с худою головой немощствует и душа... Дела никакого не задеваю. Брателко весь со мною притужился. Три плахи я весь день колю. Из-за брателка мне на своё здоровье обидно. Сегодня «Взыскание погибших»[1]. Завтра Родительская суббота. Во всех храмах Москвы эта икона, списки с той Чудной, что милостиво, детским ликом и кротким взором глядела на Божий народ... Господь приниче на землю, на Город сей, есть ли-де ещё кто помнящий Бога. И видит Господь: вси, вси уклонишася, нет верных ни единого...

Но вот накрыл вечер Москву, и ползут по переулкам люди; что ближе к окраине какой, где есть храм, там больше ползёт людей по переулкам. Низко накренились облака над крышами. Господь приниче над землёю, над грешным и богоотступным городом. Слепые дома, замаскированные страшным маскарадом. Голодный осиротелый люд. Тьму заскорузлых, обледенелых, ухабистых переулков, эту тьму не преодолеют мышиные пузырьки уличного освещения.

А Бог глядит, каково-то освещены сердца человеческия. Печать скорби, Господи, на сердцах... Кто ещё в силах опомниться от уныния, хоть в праздник, идут

[1] 5 февраля — празднование иконы Божией Матери, именуемой «Взыскание погибших».

припасть к Царице Деве Пречистой, к «Взысканию погибших». Сегодня во всех храмах озарён свечами, сиянием лампад кроткий лик Девы. Как понятно и близко всем это изображение! Пречистая изображена с непокрытою, как у отроковицы, главою. Власы распущены по плечам. Лик совсем детский, задумчив. Задумчиво глядят на всех очи Отроковицы. Руки Ея сжаты как бы молитвенно, как бы умоляюще. Правою рукою обнят Младенец. Он, стоя ножками на коленях Матери, руками обнимает Ея шею. Икона не древняя. Пречистая Дева изображена не в типе, нам привычном. Но преисполнена Она неисчетным умилением. Икона обложена ризою, что делает её уже совсем не похожей на картину. Пусть не иконописен, но живописен лик «Взыскания погибших». Этот задумчивый лик Божественной Отроковицы вызывает слёзы умиления. Глядишь на Неё, и молитвенное воздыхание родится в груди, и шепчут уста слово молитвы.

6 февраля. Суббота

Ветер сменился. Выяснило. Леденик-северяк дует с родины. Но февраль-бокогрей своё дело правит. С крыш закапало на солнышке. Наши оконца на Север, дак озябли, а что во двор, там капельки с крыш прядают; сосульки не разглядел, есть ли. По Гагаринскому полз, — старые дома ласково глядят, что солнышко-то боком пригрело в полдень. От стен отсырели плитуары-те. Москва боится холодов-то. Но уж каковы теперь ветры ни дуй, солнышко будет свою силу забирать.

17 февраля. Среда

Первая неделя поста Великого тянется, а мне всё то неможется, то некогда. Не радуюсь о том, над чем

люблю радоваться. Ум долу поник. Уныло живу. С горестным равнодушием гляжу на мир Божий. А мир Божий к славе готовится. Но моё ли то дело — слава Божьего мира, когда по моим неисправностям забота, нужда и недуги брателка с ног валят. Самые заветные вещи продаём... Пойду к вечерне переулочками своими. Зима-та уж сломилась, уж тает днями-то. «Господи Владыко» в церквах читают, старухи бредут к вечерне, галки шумят с воронами, капель с крыш. Так бы, к Мефимону-то[1] идучи, и пить эти настроения. А всё брателково нездоровье да своя немогута; пуще же всего неисправность своя гнетут ум-от. Ослаб я духом, ослаб и телом... Старинщики приходят, последние остаточки выгребают. Где тысяч-то наберёшь, чтобы на рынке что купить?..

Сумеречно в уме, дак как из камеры какой через оконце тюремное на Божий мир, т. е. на природу и на приход в мир Божий великих дней святыя четыредесятницы, я гляжу. Сейчас надо вникать в ум природы, ведь предначатие весны, время заветное и заповедное настаёт. Надо за снегами следить, за капелями, за небом, за галками, за рассветом, за звёздами и за Солнцем, за ветрами.

В феврале днями яснило с северным ветром. Да уж отошло время морозам. Всё вспомню детскую песенку: «Как февраль ни злися, как ты, март, ни хмурься, — всё весною пахнет»[2]. Это птичка села и запела.

Эти дни снеги выпали глубоки. Бродно к вечерням-то идти. Из закоптелых-то комнатёнок выбрав-

---

[1] *Мефимоны* — обиходное название читающегося в церквах в первую неделю Великого поста покаянного умилительного Канона св. Андрея Критского (название дано по ифимонам — стихирам, входящим в Канон).

[2] Строчки из стихотворения А. Н. Майкова «Ласточка» («...Как февраль ни злися, / Как ты, март, ни хмурься, / Будь хоть снег, хоть дождик – / Всё весною пахнет!»).

шись, не можешь надивиться пушистой белизне. Это уж последние разы матушка-зима свои лебяжьи покрывала стелет. Занятно так: в Чистый Понедельник наши переулки — дорога крепкая, а на Хитровом[1] потоки откуда-то журчат. У нас снег крепонек, а к Солянке лёд мокрый. И вчера от вечерни брёл, нигде не таяло, а с Дашкова дома капели изо всех труб. Я и к ночи-то выбреду. Всё проверяю, не каплет ли с какой крыши. Ведь ещё рано, ещё шепотком капельки-те говорят. Первая неделя поста всё так. А о Масляной в кой-то день (а дымно да заботно было!) вылез, что крот, на крылечко. И преславно так небо звёздами глянуло в меня. Во дворике-то ничто не мешает на небо глядеть, окна везде занавешены, а слепые уличные мочевые пузыри фосфоресцируют там, за стенами. Я встал под дерево, поднял рыло-то кверху. Сквозь сплетение редких ветвей глядит звёздное небо. И до очевидности кажется, что звёзды — это цветы, как цвет на яблоне, расположенные по сучьям и ветвям. Было звёздно, уж без мороза. Звёзды шевелились, сияя в синей тьме, как цветы лепестками. Как нарядно, как празднично всё Божье!

В Прощеное Воскресенье бежал бульваром на трамвай. Спешил, высуня язык. Крепонько ввечеру прихватило морозцем, и снега были белые. Заря долгая вечерняя стояла над башней Архангела Гавриила[2], над крышами, над деревьями, такая предвесенняя, золотая и розовая, такая стеклянно-прозрачная, чистая.

---

[1] Хитровский переулок. До середины 1950-х гг. Б. В. Шергин жил неподалёку, в Сверчковом переулке.

[2] *Башня Архангела Гавриила.* — Известная как Меньшикова (Меншикова) башня церковь Архангела Гавриила, расположенная в Архангельском переулке; единственный в Москве храм-башня. Построена по приказу Меньшикова в 1705–1707 гг. И. П. Зарудным.

25 февраля. Четверток

Мефимон последний день, я не попал, с утра немогута, а там и некогда... Прошла зима. С утра капели-те сквозь сон. Лёд на плитуаре широко размок. Вылезши на двор, подивился: как скоро снега сели. Вдруг. И точно их притрусило пеплом, и с крыш льёт так спешно. Дорожки по двору стали широкие и грязные. Куда делись сугробы, как опухшие веки прикрывавшие окна подвального этажа. Оконца открылись, что глазки, и Алексей успел прорыть от них канавки. Ходи, как хошь. Небо водяного цвета. Тяжёлое, наводнелое. Кричат вороны там и там. Бабёшки с галочьими голосами и ребята с голосами воробьиными круто роют снег с соседнего дома. Слышно, будто, подушки падают.

Сумерки. Туманы. Но радостью беременна эта пора.

2 марта. Среда

Постоянная неисправность жизни, бесправильность, неутверждённость жизни ни на чём делают такое житье-бытье безвольного, слабого человека тягостным себе и людям. Упускается день за днём бесполезно, для всего упущенными складываются месяцы, наконец, годы. Уж махнешь рукой на себя и впадаешь в отчаянность.

Слава Богу, зима была милостивая, можно сказать, и окон не вставляли; я прособирался, ан весна подошла. Снег в городе съело дождём да ветром. Сыро, водено. Я мало на улице бываю, да и не гляжу. Иное всплачется душа: увидишь из оконца — облака несутся, грают вороны, ребята шлёпают по лужам... А не до радости... А ведь наступил мой заветный месяц март, идёт Великий пост. Уныл во мне дух мой. Во мне смятеся сердце мое...[1]

---

[1] См. Пс. 142:4.

...К сумеркам, теперь в семь темнеет, вылез-таки на минуту, погоду, холодно ли, тепло ли, проведать. Ветер холодный, сырой, блакитно небо. Уличная мостовая подо льдом, юхнувшие<?> сугробы снега по дворам, всё как бы пеплом посыпано. Кабыть, всю зиму город-то пеплом посыпали, пепел и вытаял серо. Пасмурно при западном ветре. Улица, дома, небо — всё монотонно в цвете, но какой изысканный аристократизм в этой драгоценной одноцветности неба, крыш, мостовой, домов старого переулка... Пасмурный вечер, но уже март. И некий свет, уж не свет ли Григория Паламы, которого прославляли в это воскресенье, напояет мартовские вечерние часы?! Убогая природа города готовится воскреснуть. Ещё туманно, ещё пасмурно, фанерные ставни, рваные крыши, упавшие заборы, тонко на вешних туманах вырисованные сучья дерев порывает холодный ветер. Но «сия скорбь на бесконечную радость». Это снимается ледяная гробовая доска, совлекаются с радости нашей истлевшие саваны. Радость воскреснет, и никто не отымет её от меня.

Чувствую, как я отяжелел, ослаб, опустился, безучастен стал к восприятию радости. Она рядом, и я не могу её взять. Но выйдя в такой пасмурный предвесенний вечер на улицу, я с сладкой болью вспомнил, как в юности трепетно любил я эту пору. И сейчас, как тогда, я ощутил что-то таинственное, почувствовал, что чаша таинственной радости в некую пору, в некие часы, м<ожет> б<ыть>, проливается на мир. Март таинственный, в он же месяц и мир Бог создав, и человека сотвори, в оны же месяцы Гавриил Богородице «Радуйся» возвести, и Христос воскресе.

8 марта. Вторник

То в делах, то в простудах дни поста святого пробегают. Пост Великий уж преполовился. Пост — «житель-

ство ангелов», а я ни близко... Не то горе, что скоромное ем, — та печаль, что таинственности, радостности благодатной сих дней предначатия весны, сих дней святого марта, сих дней к Пасхе Таинственной, к преблаженному, премирному и всерадостному дни Воскресения ведущих, сих дней я в стороне влачусь.

Жизни честной не умел себе устроить, дак уж что дивить, что дни в пустоте изнуряются. От лица грядущего Солнца взамен многомесячного ознобления тёплые ветры веют над Землею. С матери Земли складываются гробные пелены снегов. Им же всея твари Украситель глядит на мать Землю и говорит: — она не умерла, но спит. Как Лазарь, земля, природа ещё в гробе, но уже Марфа и Мария послали за Христом. Уже знаемые и сродники собрались в Вифанию поплакать о четверодневном, тоже возликовать о Его воскресении. О воскресении земли глаголю в снятии ледяных саванов, в журчании ручьев, в играньи овражков, в прилёте жаворонков, в первых цветочках на обтаявших пригорках. Природа совоскресает Христу. Воскресение природы содержит ядро — Воскресение Христово. Воскресение природы — это фон, это рама для Воскресения Христа, это сад, в котором Оно расцветает.

На днях, в недельный день Григория Паламы, очнувшись на рассвете, полез глядеть улицу. ...Рано, безлюдно, чисто, рассветно, сухо, серо-серебряно, благословленно утрени, уж какова-де и природа в городе, булыжная мостовая под окном, забор да десяток лесин за ним... Но несказанно чуден новосвятой утренний свод небес... И вот эта убогая «природа» — дорога да голые деревья, серый забор, древние жёлтые плиты тротуара, только что выглянувшие из-под ледяной коры, в тишине утреннего рассвета, в таинственности предначатия весны так молитвенно глядят в небо, глядят, не мигая,

созерцая тайну. Проснутся, побегут люди, всё станет за окном обыкновенным.

Когда-то всё было райским, блаженным. Потом вниде в мир грех и грехом смерть. Сия земля, деревья сии были в раю. В предутренние часы мне видится: эта истоптанная земля, эти обломанные людьми деревья вспоминают свою красоту и соглядают образы неизреченной славы, аще песнь, и носят язвы по вине человека.

11 марта. Пятница

Чтоб доспеть внутрь себе царство Божие, святые опытно научают нас «быть ниже всей твари». Иноку, признавшемуся, что его мысль всегда у престола Господня, авва сказал: — Это не велико. Будь ниже всея твари... И безусловно, чем ниже склоняет себя человек во прах, тем надёжнее ему, тем твёрже он, тем неуязвимее, тем лучше вооружён от всяких «ударов судьбы», бедствий, несчастий, лишений. Плавающему в слезном море каких ещё печалей бояться?

Запинаемому последней тварью какая ещё обида чувствительна? А у того, его же ум всегда при престоле Славы (ежели не через помянутое море слёз), он ко престолу-то царскому приехал, у беструдно стяжавшего сию высочайшую степень мир сей выбить может подставки-те высокие, степени-те (ступени), мельком пройденные, из-под ног... Ежели тебя слово просто обидит, мала печаль повержет, то быстро сдёрнет тебя мир сей с небесе твоего.

В царство Божие, в оную радость неотымаемую не на рысаках, не поездом катятся в мягком вагоне, а надо на всю жизнь башку-то в хомут запихать да в плуг многопудовый впрячься, да на карачках и выползать отряженную тебе пашню жизни. Ползай, вспахивай глуб-

же да слезами поливай; ово сорок, ово шестьдесят лет. То уж надежно, иноче, будет. Всколосится нивка-та! Сладок хлеб Живоначальней Троицы.

...Март идёт. В среду «жаворонки прилетели». Чаю, где-нибудь проталинки-те ежедень снежком заносит. Инфлюенцией дома сижу, лишь из оконца на «природу»-та погляжу. А чем не природа! В Хотькове, слышь, в валенках ходят. А в городе шибче тает.

«De profundis»[1] комнатки гляжу на дорогу. В полном лике мостовая-то, дороженька предо мной. И весь год она со мной разговаривает. Летом после дождя камни-те, плиты-те умытые, как исцелованные, многоцветные, булыжник, омытый дождём, что многоцветная мозаика. Плиты песчаниковые краше слоновой кости и мрамора. Умная твоя красота так и беседует с красотою старого камня.

Старые камни старого города. Ковыляя старым переулком, видя истёртые ногами поколений древние плиты, камни-ступени, камни-пироги, я люблю посидеть на них, погладить рукой. Ума в них много.

Но я говорю о мостовой, об улице, что глядит и беседует со мною. Как она нарядна, как переменна, как разнообразна, в зиму ли запушённая перинами снежными, уютными, в мороз ли укатанная, скрипящая, голубая, к весне ли, увитая талыми продольными и поперечными полосами.

Гляжу сейчас на дорогу, что под окном. Как много и с какою полнотою она мне рассказывает, что творится на желанных моих холмах, полях, перелесках, окрестных, скажем, града Сергиева... Полоса белого снега, полоса снега талого, воскового, водяная дорожка, в ней отразились ветки дерев...

---

[1] *De profundis.* — Из глубины, из бездны (*лат.*). Шергин жил в полуподвальной комнате.

Дома сижу всё. Но «чую смущённой душой»[1] приход марта там, «в русских далях».

Пишу сие для самоутешения: вишь, велел брателку продать любимые свои эмали. Торг-от состоится или нет, но я перестал тужить....

16 марта. Среда

Завтра Алексея человека Божия — «с гор вода», но на московских горах покуда снег. Ишь, ветер северный премогает мартовскую весну. Свыше недели я недомогал, сегодня вышел на яснину, напустился и до Хитрова. Постоял у Великого канона. Дни-то какие... «Мариино стоянье»[2]. На субботу запоют: «Повеленное тайно прием в разуме, в крове Иосифове тщанием предста бесплотный...»[3], и, как звон кадила, будут струиться из алтаря хвалы Богоматери. Хоть и некогда, хоть и сердце сдаёт маленько, но сбродить к службам сим, заветным, из-за вечера ясного, долгого, из-за дум, сею порою чудною навыкаемых, рождаемых любо. В церкви теперь не так срастворяется сердце со всеми. Люди отпугнуты друг от друга. Всяк измотан, всяк устал, всяк знает, что рядом с ним стоящий ему не может помочь. Но все пришли в отчаянии — не пошлёт ли Бог в эти службы, любимые с детства, минуту умиления. Да, пришли сюда за хлебом небесным, но неласковы друг к другу, так же, как утром стояли за хлебом

[1] Из элегического дистиха А. С. Пушкина «На перевод Илиады».

[2] *«Мариино стоянье»*. — На утрени в четверг пятой седмицы Великого поста поётся Великий Канон прп. Андрея Критского и читается житие прп. Марии Египетской («Стояние Марии Египетской»).

[3] Пятая суббота Великого поста — Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). На утрене поётся великое славословие. Шергин приводит начало тропаря.

картофельным, себе б получить, а другие как хотят... Вымучена, измята душа у всех. «В гости» ходить, видаться и рядом живущие перестали. И в храме стоит «не едино сердце, не едины уста», а, скажем, пятьсот, триста, сто человек... Но о сем до зде. Я, может, грешу, тужа о том, что не имеют пришедшие, скажем, к обедне, единого сердца.

...Я вот пору года люблю соглядать. Было обтаяло, да опять снеги белые напали, утоптались, подмёрзли. А уж зори долги. Любят многие путешествовать. Я который уж год брожу в церковь всё теми же переулочками. И на одних и тех же местах постою да полюбуюсь и в осень, и в зиму, и особливо в сию пору предначатия весны. Как сегодня, старыми каменными ступенями спустился на дорогу, обернулся, полюбовался... Очевидно, холодный северный ветер (он нередко тянет в марте), смешиваясь с мягким <теплом> уже начинающего пригревать Солнца, дают притуманенность мартовским вечерам, вот таким холодно-ясным.

...В вечернее небо возносится серо-серебристый силуэт церкви. Старое суковатое высокое дерево молится вместе с храмом безглагольно. Высоко в небе тихо стоит ясный серп месяца...

18 марта. Пятница

Относит от берегов Христовых безвольное, ослабевшее существо моё волнами многомутными века сего. Уж ни за какое кустье нету сил ухватиться. Уж на брег-от Божий равнодушными, невидящими глазами гляжу — за что уцепиться тамо, не вижу... Дома-то сидя, перещупываю старые иконы да книги... а забота, а нужда, а тревога «как жить, чем жить», — подминает под себя излюбленные мои думы и настроения избранные... По вине совести нечистой свободно окрадывает

меня враг... Как-де люди, так и я. В людях-то куда ни придёшь: «Третий месяц комнату не дают», «ребенок высох и есть нечего», «свет погасили, сырую воду пьём, дров нет». Брателко высох весь, вконец унывает, что должны и отдать нечем. Хлеб, говорит, паёк надо отдать, а то со свету сживут, засрамят перед всеми...

...Я вот как бы Распятие любил, хотел «Исповедую Христа, и Того распята». Со Христом, и притом Распятым, лягайте меня все копыта... Знатно, что у кого я взял да не отдал, дак тем обидно. Да ведь нет у меня!

19 марта. Суббота

...В зиму беспросветный обыватель со своими буднями и глупостью прячется в коробках и ящиках домов. Летом всё это вываливается на улицу. Не видишь лика природы на пропылённых мостовых.

А сейчас, бредучи переулками, всякой день новое прочитываешь. Переулочки, как бреду к вечерне, сказывают мне, сколько про себя, другастолько о том, что делается сейчас там, в Сергиевых рощах, полях, деревнюшках...

...То было дождями свело, съело снега-ти. Да опять новый напал, сутки за сутками падь была. Чудно так было, в весну грязны снега, а тут белёхонек грудился.

Вчера, в канун Похвалы, ветру Северу преставищу<?>, при солнце водой взялись дороги. К вечеру прихватило инде ледком, дак уж вот хруст по городу мартовский. Я, чтоб носом не клюнуть, всё под ноги гляжу, так уж, что ведомость у меня выписана, пути-те, дороженьки. Сам рисовать не могу, не вижу и человеческого художества, а вот как Творец учнёт перво по снегам, а потом по талым глинам весну красную разрисовывать, это соглядать я хочу-могу. Не столько, может быть, худыми глазишками сквозь очки, сколько убогой моей

сердечной радостью к сим вытаивающим градским плитам, к сим возносящимся в поздневечернее небо голым ещё ветвям, к сему высокому тоненькому серпу месяца.

Я сейчас на асфальт не обижусь. Он после снегов вымытый, высохший цвет имеет. Запылиться ему неоткуда. Рядом с тротуаром широкая полоса снега идёт. Две широких каймы снегов так и бегут из переулка в переулок. (Они, гляди-ка, на Страстной ручьями возьмутся.) А серёдка дороги наводопела да уледенела. И хрустит весело так под ногами у тебя, не хошь да с мытого плитуара состyпишь кружевною льдинкой хрупнуть... А главные улицы уж к Пасхе вымыты, ни снегу, ни пыли; чисто, любо так. Бывало, мимозы жёлтые, душистые уж давно бы продавали.

«Люблю тот край, где зимы долги, но где весна так молода»[1]. Любо, что и весна долга. Ещё долго и в Городе хорошо будет.

Древние камни, старые дома города люблю. Третьего дня стою ввечеру на дворике нашем. И сказка такая виделась. Ещё не ночь, но и не день. Свет не то от месяца, не то от зари, ещё не угаснувшей там, за домами. В небе созвездия уж весенние, и по-ранневесеннему стоит над углом двора серп месяца. И жарко уж в шубе. Но из угла в угол дворика постлана бело-нарядная сияющая бело-празднично скатерть непорочного белого снега. Молчащие, что закрытые шкатулки, старинные дома кажутся древними игрушками, расставленными на праздничной скатерти. Стоишь, глядишь, точно тебе кто балладу средневековую сказывает о старом городе, об этих стогодовалых домах под высокими крышами, об этом тоненьком, остром серпе мартовского месяца, что как свеча горит в небе...

[1] Из стихотворения А. К. Толстого «Моя душа летит приветом...».

Христианство, Восток и Запад, великие культуры христианства... Как всё пренебесно, лазурно, хрустально чисто; как всё прекрасно, трогательно, какая слава, какая честь сподобиться этой культуры... Поэзия, музыка, литература, философия, искусства, живопись, зодчество... Какие высокие вечные образы хранит эта культура, хранит не музейно, но живёт блаженною, вечно живою памятью своих любимых героев...

«Преподобная мати Мария, моли Бога о нас...» В эти дни Церковь приводит нас, берёт за руку и указует жизнь замечательную... Бездна греха и горная вершина святости... Все виды разврата и вот — пятнадцать веков уже Восток и Запад в дни сии преклоняют колена и поют, и величают, и ублажают — «Преподобная мати Мария, моли Бога о нас...»

Служительница греха, яко никто же ин, стала ангелом земным, яко и по водам ходити, яко и зверю послужити погребение ея. ...Стала знаменем чистоты, святости, радости о Господе, образом покаяния на все времена. Как разительно, как дивно всё в Житии.

20 марта. Воскресенье

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью Землёю
Он вступил в союз навек.

С Олимпийския вершины
Сходит мать Церера вслед,
Похищенной Прозерпины
Дик лежит пред нею свет.

Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там,
И нигде богопочтенья

Не свидетельствует храм.

Плод полей и грозды сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях.

И куда печальным оком
Там Церера ни глядит —
В унижении глубоком
Человека всюду зрит.

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней Матерью Землею
Он вступил в союз навек.

...«И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время всюду за чёртом, но я все-таки Твой сын, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть»[1].

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит;

Травку выманила к свету,
В солнцы хаос развила
И в пространствах, звездочёту
Неподвластных, разлила.

У груди благой природы
Всё, что дышит, радость пьёт,
Все созданья, все народы
За собой она влечёт;

[1] Монолог Дмитрия Карамазова из романа Достоевского «Братья Карамазовы» (Ч. 1, кн. 3, гл. 3 «Исповедь горячего сердца. В стихах»).

Нам друзей дала в несчастьи
Гроздий сок, венки харит,
Насекомым — сладострастье...
Ангел — Богу предстоит[1].

...Дивное дело — природа! «У груди благой природы всё, что дышит, радость пьёт...» Мать Земля, Мать Пресвятая Богородица, мать, нас родившая... «Душу Божьего творенья радость вечная поит», — эта радость вечная. «Троица Живоначальная. Отец, Сын и Дух святой».

22 марта. Вторник

Весна-та не торопится. Говорят, «в Благовещенье птица гнезда не вьёт». Где вить — дороги падями перемело, трамваи не идут, снег блестит, холодно, воды будет много, а братишко башмаки с ног снял да на Трубу[2] понёс. Я взвыл, книг наладил. Ино книги кому ещё навалишь, а есть надо сегодня. Да ещё чадышко забегало простуженное и голодное. Характерец у него дико вспыльчив, одолели с «шуточками» приятели там, о чей-то, никак, медный лоб смычок разбил. Брателко ещё малость тем утешается, что этот месяц паёк раньше выдадут. Ещё, слава Богу, что детища нашего, хоть в неделю раз, а дома видим. А тамо, на войне, сколько, о сколько этих вот ещё детских глазишек ежедневно, ежечасно навеки закроется. О, детища наши, детища!..

В оконце гляжу, два стеколышка только раскутаны. Было на улице всё снегами занесено, лишь тропы протоптаны. Ино я четвёртый день на дворе не бывал. Может, вылезешь из берлоги своей и учуешь март-от,

---

[1] Шергин цитирует строфы из баллады «Элевзинский праздник» Ф. Шиллера в переводе В. А. Жуковского (1833). Эту балладу цитирует в «Братьях Карамазовых» Дмитрий Карамазов.

[2] *...на Трубу понес...* — Трубная площадь в Москве.

Благовещенье-то предвесеннее. Числа такие, что в два дня утопель может сотвориться.

Болезнь, беспомощность, нужда — голод и холод, тревога и отчаянность о брателькином нездоровье, и сестрёнка забыта вконец братцем единоутробным. И Мишка вправе пособи ждать. И равнодушие прежних друзей, заимодавцы за глотку берут, и вправе они. На себя надо негодовать (только с пользой!), что хватать не сумел научиться. Не сегодня стало видать, какое время лешачье. Мне всё о. Павéл говорил: — «надо и для себя, надо и для внешних». А я не поспеваю в два-ти пути ходить. Убог. Время своё я распорядить не умел никогда. Хватаясь и дорожа минутами, когда светлое, «Божье» душу убогую мою озарит, я упускал, м<ожет> б<ыть>, часы «нужной» работы. Кипу бумаги исписал уж, а надобно ли это кому... Надо! Пусть ведомо будет, что как ни старался сатана зассать остатнюю искорку радости Господней на сей земле, это ему не удалось. «И свет во тьме светит и тьма его не объят»[1].

Ино пору безнадёжность, беспросветность одолят душу; паду на сундучишко, на котором сплю, и башку свою несчастную пальтишком накрою. И вот начну, заставлю себя, зачитаю тихонько нараспев, как в пасхальную литургию чтут по стихам: «В начале бе слово, и слово бе в Боге, и Бог бе слово. В нем была жизнь. И жизнь была свет человеком»[2].

Высоко, выше звёзд уносят словеса сии, Евангелие сие. Уж коль величественно, коль прекрасно и высоко ночное звёздное небо, но сие вечное, пренебесное Евангелие, еже чтётся в Христову ночь, сии дивные слова о Слове предвечном так на крыльях орлих и понесут.

Жизнь бьёт так (теперь не говорят «жизнь», но — житуха), что я давно с копыльев слетел, на коленках

[1] Ин. 1:5.
[2] Ин. 1:1.

ползаю в прямом и переносном смысле. Но вопиет Павел, радуяся: «О имени Иисусе Христово всяко колено да поклонится»[1]. Пущай тебя житуха с ног сбила, ты тем воспользуйся да жизнь настоящую начни. На коленках тебе будет надёжнее: пустотным мертвящим сквозняком века сего не так повевать будет.

...Радость навеки, еже Христос воскресе. Аще Христос не воскрес — тщетна жизнь наша[2]. А жизнь не тщетна. Тому залог «святое недовольство» души, томление её, искания, то, что скучными в конце концов оказываются «песни земли».

Напиши, человече, у себя на сердце, коронуйся, как царскою диадемой, этим вот ирмосом Пасхального канона, еже «Воскресения день, просветимся людие. Пасха, Господня Пасха! От смерти к жизни и от земли на небо привел Христос нас, поющих гимны победные»[3]. И этими поне двумя тропарями упивайся, как вином. Хотя б всей жизни подвигом «очистим чувства» и тогда, несомненно, узрим Христа, блистающа неприступным светом воскресения.

Что значат страдания, болезни и нужда, хоть бы и пожизненные, ежели через это, поне при конце живота, в грядущую Христову ночь ясно услышишь ты Христа, рекуща ти: «Радуйся!» И обрадуешься навеки, победную поюще: «Христос воскресе из мертвых»... Паки тропарь: «Да радуется земля, да празднует мир... Христос бо восста, веселие вечное! Христос воскресе из мертвых! Ныне все исполнилось света: небо, и земля, и преисподняя! Да празднует убо вся тварь восстание Христово, в нем же утверждаемся!»[4]

---

[1] См. Фил. 2:10.

[2] См. 1 Кор. 15:14.

[3] Первый ирмос Пасхального канона: «Воскресения день, просветимся, людие: Пасха, Господня Пасха! От смерти бо к жизни и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющыя».

[4] Шергин цитирует Пасхальный канон.

В нем же утверждаемся. Тина, болото век сей. А ты утверждайся на камне, на Христе, нащупывай его ногами, не теряй, помни, что иного утвержденья нет. Осенью, в ночи, в туманах, в непогодушку, река-та бурлива да в дождях широка, а паром всё ходит, направляет людей сквозь бурю-непогоду. В потемках тех нащупывают люди канат, да держатся за него, и тянутся к тому берегу. Этот канат — Христос, а паром с людьми — род человеческий, переплывающий многобурную, многомятежную реку жития сего.

Утеряли люди Бога, утеряли и радость. И поискать, спохватиться некогда. Утеряли Бога, утеряли и разум. Ум века сего — скотский ум. То, что человечество забывает Бога, есть явление несомненно склеротическое, дряхлость, маразм, собачья старость. Не сегодня «мудрость» (с позволения сказать!) века сего начала вырабатывать одуряющие свои газы. Уж чем только они вечную лазурь небесную ни тщатся застить, каких газов зловонных ни вырабатывают, какими тучами ни пыжатся зори вечные заслонить...

Небо «мира Божьего» (и небо внутреннее наше) как досками заколочено, жёлтою дымною завесою заволочено. Но глядите: какие лучи сквозь этих туч пробиваются! Христос — вечное солнце. Уж сколько на базаре шуму, гаму, свисту, писку. А собачка ни пинков не чует, ни гаму, ни хаю не слышит, одно знает — хозяйка-кормилица не потеряет. Хозяин чуть свистнет — умная, верная собачка уж сыщет. Так и нам надо на базар века сего поплёвывать.

Стоптали тебя в грязь, унизили, ты скажи себе — я это со Христом сопогребаюсь. В болезнях ты изнемог, люди из тебя без правды слёзы выжимают, пой с Дамаскиным: сраспинахся Тебе, Христе, совосстаю днесь, воскресну Тебе. Многи скорби праведным полезны, а уж грешному скорбь, что золото, которым радость навеки купить можно.

23 марта. Среда

«Днесь всемирной радости начатки предпразднественное воспеть повелевают»... Радость обрадованную Гавриил принесе. Все теперь дни пошли — радости начатки. В пятницу Благовещение, суббота Лазарева, утреня с вербочками. Воскресенье — цветоносное, вербное и затем день дня больше, сладостнее — дни Страстной седмицы. Надо «упраздниться» от каторжной «житухи», уволиться в лазурную «жизнь» сих благодатных дней. Житуха не «подпущает» к празднику. Мы стоим да ждём праздника-то, что толпа трамвая после работы... Вот бросились на него, чтоб увёз домой. А не тут-то было: житуха — хоп тебя по затылку, хоп — за шиворот — пожалте в милицию!.. Так и сидишь вместо праздника.

...Послезавтра Благовещение. «Благовествуй, земле, радость великою; хвалите небеса Божью славу». А я настолько отупел, что вот никак приникнуть к царственности этой не могу. Праздник Благовещения. Какая слава нисходит на землю, каким царственным венцом благословлена, коронована наша Мать-Земля. Житуха сипит (у неё давно нет носа, она потому и благоухания не чует).

...Но что я так негодую: пресмыкающиеся всегда были. Скажем, в дни лазурной раннеутренней Эллады, которая всё видела и знала вкруг себя живым и божественным, разве тогда не было лягушек, мышей, вшей, блох, не было проказы, чумы... Правда, увы, чума и проказа, крыса и вошь и числились тогда как таковые... Но очнёмся от этих угаров, выскочим из промозглых, каторжных казарм на волю. Вырвемся из мерзости запустения — в свободу, в полноту, скинем позор, облечёмся в славу, сбросим окаянный хомут горя-злосчастья, не захотим больше валяться в гробе вонючем скаредного безбожия. Полно сидеть в этом нужнике.

Погляди: благословенна Земля, Мать-Земля, лазурно Божье Небо. Белые горницы Назарета. ...Сребро-белые крылья Архангела: — свист крил голубиный...

Мария преблагословенная, радуйся, Благодатная, радуйся, обрадованная. Это небо земле говорит: радуйся! Господь с тобою. Благовествуй, Земля, радость велию, и небеса вместе с землею хвалят Божию славу... «Днесь всемирной радости начало...» — поёт церковь.

Убогие мы, немощные, сбитые с ног безносой неотвязной нашей... сапатой щегомохой <бесорожей?> житухой, валяемся мы где попало, как попало, но вспомним, что дана нам слава, вернёмся к славе чад Божиих. Слышишь благовестие радости всемирной! Житуха дней наших — это лишь сон мрачный, это болезнь: стряхни сон-то, и ночь прошла! Утро Господне в мире, и Архангел благовествует земле радость великую. Гляди-ко, в славе, в сиянии земля-та наша. Пусть житуха-та гнусит ещё свое. Ей в сем веке на волю это дано, допущена эта гниль и позор. Но возьмёмся мы за свою славу. Архангельский глас вопиет ти, чистая, радуйся, Благодатная.

25 марта. Пятница

Святое Благовещение... Праздник-от подойдёт, а меня непременно в эти дни дела, недосуг, забота житейская пристигнёт. На Божьем-то берегу златая лилия, еже ангел сегодня из рая изнесе, на берегу мира Божьего вербочки распустились к завтраму.

Тщусь я ухватиться за райский-то цвет, за вербочки весенние, а злоба-та дня, а своя-та неисправность, в остервенение меня приводящая, так и отхватывают от светлого-то мира, так и уносят паки в тину да в ил гнилого сего моря, вернее, рощи, в трясины житейские. Разоряясь на свою неисправность, как пёс бешеный,

брателка грызу, на него свои вины накладываю. Он сегодня Богу всплакался, что ведь день велик, Благовещение... И так мне самому на себя дико стало, что хочу одно, делаю наоборот; и жизнью своей я страшно хулю имя Божье. Как праздник, так ссора. А потом горе возьмёт да сердце зажмёт. Берусь я, кошка бессилая, эту тысящепудовую и горящую свещу — Бога в жизни своей несть. И дела сего не делаю, и от дела не бегаю. И Богу от меня грех, а людям — смех, а близким, любимым — смерть... И давно я сам себе опротивел. Тщусь идти одной ногой по одной дороге, другой — в другую сторону. Далеко ли так уйдёшь?!

26 марта. Суббота Лазарева

Еле душа в теле полз через Город-от из управления. Всё пеш<ком> бульварами, трам<вай> не ходил. Скользко, водено, колеса-ти провёртываются. Хватил марта своего... А были с брателком и чаю не пивши, — току не было. Ино дома холодной воды с сахарином выпили, хлебца поели. Брателко, может — не может, снова убежал, я поохал, что нет сегодня сил ко всенощной сбродить, да опять и утешился. Долгая заря в оконце глядит. От больших падей вод много, туманисто небо, но просвечивает солнце, пригревает, но и ветер нордвест просвистывает. Я в гору лез от Трубы, ото стен Рожественского монастыря, скользко; ветер, в спину дуючи, только и пособил. Как я рад, что хоть в этот час вечерни в канун Вербного Воскресенья, любимых праздников, душа-та оттаяла, опомнилось, может, хоть на мал час убогое сердце. Ведь целый год этих дней ждёшь, Вербной субботы, Страстной недели, Пасхи, Пасхи Христовой!

Печурку стал топить, дровишка шипят, дыму — хоть потолком полезай, лишь оконце видать и заря

золотится. Брателко вербушку добыл... Нет краше, нет сокровища милее, нет заветнее, как Вербные эти суббота и воскресенье, златые врата Страстной седмицы. Сокровище наше, наследство наше благодатное, благоуханное, вновь и вновь приходящее в мир, как только заговорят потоки, зажурчат ручьи, повеют ветры. Радость наша, оживающая в нас, животворящая радость. И едино для нас, нераздельно, слитно для нас радование.

27марта. Вербное воскресенье

...Удручённость от бездеятельности, от бесполезности гнетёт долу, вяжет крылья души, укорачивает дыханье. А так бы хотелось полной грудью испить животворного воздуха наставших святых и великих дней. Житуха-та забила, заморила, изничтожила слабого человека. Малодушен, робок, боязлив.

28 марта. Понедельник Великий

Утром не встал к Прежосвященной, а се и брателка кашель бил: постыдился его, к свету уснувшего, беспокоить, и своя башка простужена, глухо слушает благовестия святые. Только устав святый дни сии велит проводить в посте, молитве, в сердечном умилении. А я, что собачка, мясца выдали, мясо ем.

...Вечерами на улице зори долгие, уж электропузыри сопливые блазнят, что бельма, а заря Божья все ещё стоит, ясная, чистая в просвете улиц, домов. А внизу продольно полосами назнаменались гряда белых снегов да полоса чёрных вод; инде непроходимо. Народ-от подойдет да назад воротятся; то лёд, то вода, то снег. Наше дворишко непробродимо.

О великости дней сказывает и природа, и службы церковные. Всё зовет к сердечному умилению. А я унылый тщусь любоваться со стороны. «Дух праздности, уныния...»[1] А кондак дня поёт, зовёт: «...Посечения смоковницы убойся, данный тебе талант трудолюбно делай; бодрствуй и зови. Да не пребудем вне чертога Христова»[2].

Я всё тужу об умилениях да о радованьях. «Ах, Исаак, ах, Ефрем Сирин[3]...» А каково, а что Исаково Сирина первое слово? — «Начало премудрости страх Господень», и «провидя день суда, рыдал еси горько Ефреме!» (тропарь). Грозное и страшное — распятие Христово за мир грешный: таинство спасения. Страх Божий — надёжное дело. Страха надо просить, радованью-то бесы и люди позавидуют да отымут. На страх-от никто не обзадорится. То уж твоё.

Сбродил к вечерней службе, а днём Мишка забегал. Недомогает простудно, но весел, слава Богу. Рад, как вырвется. И хвалится: сегодня в рукавицах жарко. А у нас в подвале, в камню не скоро солнечное-то тепло скажется. Братец ушёл проведывать: нет ли выдачи. Я пополз в церковь. У нас так: брат — где убойно, тяжело да трудно, я — где приятно и возвышенно. Он с больными ногами идёт стоять в дикую давку, в тесноту, в ругань, убивается из-за 250 грамм у прилавков, мокрый затем

[1] См. великопостную молитву св. Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми...».

[2] В Великий Понедельник — понедельник Страстной седмицы — «память творим блаженнаго Иосифа Прекраснаго и изсохшия смоковницы: занеже начало отсюду приемлют святыя страсти Господа нашего Иисуса Христа» (Триодь постная).

[3] Преподобный *Ефрем Сирин* (373–379) — один из великих учителей Церкви, автор многочисленных сочинений, главные среди которых — толкования на Священное Писание. Сочинения прп. Ефрема Сирина известны на Руси с XI в.

мёрзнет у трамвайных остановок и часто бредёт через всю Москву домой пеш. Придёт, падёт, говорить не может, сердцем заходится. Кашляет в ночи.

Отдых душевный брат предоставил мне. Я тихошенько побреду в Храм Божий. Мне всё приготовлено, принесено, сварено, подано попить и покушать... Брателко мой, свет мой, хранитель мой Ангел, жизнь моя и дыханье. Сердце милующее, сердце великодушное, сердце жалостливое и любящее. Я и живу, брателко мой, только по тебе и тобою. Без тебя валялся бы я давно не жив. По милости братней я вижу мир Божий и свет белый.

Народишко по улицам бегут, бегут: кусок-то стало непосильно урвать. А я вот могу ещё гулять да «пробужденье природы» наблюдать, собирать настроения Страстной недели. Брателко мой, «что воздам ти, яже воздаде ми». «Искренний» мой, поёт о таковых Давид Царь. Как сам Зиждитель отдал себя в жертву за грехи мира... Таково ж вот видится мне великодушное, реку любви и милости источающее, во образ Зиждителя своего, сердце брата моего, «искреннего» моего.

Сегодня погода веселит. Я устаю идти до церкви обычно. А сегодня уж очень много по пути примечательного. Солнышко пригревало, блестело ясно, ярко: досель по холодам туманилось. Переулки иные непробродимы. Тротуар в воде, обок его тянется непрерывная гряда снега в виде белоснежных Альп. Середка дороги — опять вода с снегом. Много снегов-то, бабёшки-дворники не в силах убрать их во дворы-те... Ручьёв нет ещё, становят воду снега да льды. Иное покаты переулки, а вода стоит в снежных корытцах. Ужо солнце растопит снега, только слушай, что ручьёв да потоков заговорит «на семи твоих холмах». А сейчасная музыка, хрупанье подмёрзшего снега и ледка, а в дни на солнце летит с крыш вода на обтаявшие камни —

точно тысячи маленьких ладоней без устали (как дети) рукоплещут. А где вода падает в лунки, уделанные на льду, там булькание и люлькание... А люди, все наморща лбы, бегут, спешат, сердятся, ежели тропка в воду завела. Одним ребятам ещё весело. По углам, где вытаяло да обветрило, веревочками своими вертят: того гляди, по очкам съездят... Любимый мой переулок Подкопаевский: белые сугробы снега, растаявшая, в чёрных водах, в бусых льдах дорога, долгий деревянный забор, за ним чудесные старые деревья, на бледном небе и дальше — любимый мною купол «Норчия», так я называю купол Ивановского монастыря[1]. Старый московский закоулок и нежное виденье Ренессанса. (И почему я взял это «Норчия» из Новелл. Купол собора Ивановского монастыря, очевидно, долженствовал походить на «Петра в Риме»). У моего «короля» Николы Подкопаевского[2] обтаяли подошвы. Листы колонн, стены внизу смолят, не то сажей мажут здесь... Он брошенный, король-от; в грязных льдах долго у него пяты-те зябнут. А в храме народу средне: некогда, трудно придти, время урвать. В главном приделе холодновато, «Се Жених грядет», «Чертог Твой вижду...». В куполе церкви в западное оконце всю службу солнышко глядело, точно золото сияло в полумраке.

...Десять часов вечера. Брателко ушёл пополдни, не поевши. Видно, 300 грамм дают, ждёт там.

А с зельными сокращениями правятся службы-те. Очевидно, засветло надо управиться, ибо трудно храм «маскировать». Да и поп небось один. Ветх Иван-от. Да

---

[1] *...купол Ивановского монастыря* — Иоанно-Предтеченский женский монастырь — один из древнейших московских монастырей. Расположен в части Москвы, называемой Белым городом, на высоком холме близ улицы Солянки. В 1918 г. был закрыт и превращен в концлагерь. Возвращён Русской Православной Церкви в 1992 г. Возобновлён в 2000 г.

[2] *Никола Подкопаевский* — церковь Свт. Николая Чудотворца в Подкопаевском переулке Москвы.

и певцам, хоть и на два клироса, поди-тка не под силу.... Здесь даже кафизмы выпускают сплошь. Наго утреня-та ведётся. Стихиру одну споют... На подобны не умеют петь, не знают, не хотят. Гастролирующие «хоры» «нотное» что-нибудь изображают. Упадок пения.

29 марта. Вторник Страстной Седмицы

Вылез на улицу днём. И — шум! Льёт, каплет, шумит, шелестит. С углов кабыть из леек льёт на голову. Уклониться никак — тут снег, тут вода. От «труб водосточных» давно одни воспоминания остались, то в виде одиноко и чудом висящего полена высоко над головами, то нечто в виде ржавого сапога у подошвы дома. Но и из этих останков неким чудом превесело брызжет, булькает, пылит и в шапку, и за воротник.

При дожде шум однообразный, а тут целый симфонический оркестр, но странный, так непривычно покрывающий уличные шумы...

Капель булькает и ухает в ледяные лунки и дробно бьёт о камень. Где-то рядом в завалившееся меж домами железо капели бьют, как в барабан. В этом оркестре немаловажны звонкие ритмические удары железных лопаток о лёд: несколько бабёшек, старичишек да ребятишек — дворники — бьюся над водами, снегами, льдинками. И шум над городом, кабыть дожди. Солнце перекрывает светлыми облаками, проглядывает бледная ещё голубизна. Так нежно по-весеннему видятся тонкие веточки дерев на поле блакитном.

А штукатурка с домовых углов сверху донизу, вижу, смыта, должно, не первый год. Стоки-те водные так и моют, так и полощут, так и окатывают. Любо или нет сизым-те кирпичам. Этим, видно, и вымыло у нас угол с подошвы крылечной. Кирпичи валяются в локоть — древние.

С утра печь-дымокурку растопляючи, в плакучее окошечко на улицу взираючи, вздыхал я: то-то в Хотькове теперь с гор потоки... Еще-де «в полях белеет снег, а воды уж весной шумят»... И вот, стоя у ворот, на перекресток-от переулочка глядя, ах! Гул — то ли не весна пришла, то ли не радость! Небесная голубель меж облак. Снега у обтаявших заборов блестят на остатках. Дороги слило налёдными водами, что острова в море, снеговые гряды по дорогам. И этот шум, шум многих вод, что струят, каплют с многих крыш, высоких, низеньких, сплошь расстановкой, откуда переливы, переборы этого весёлого шума, подобного многим дождям.

Заповедные мои деревца напротив, что в зиму стояли как бы графитом нанесенные на лист писчей бумаги, теперь как-то широко глядят в блакитное небо, общая Матерь-Земля оживёт скоро с Христом Воскресшим.

...Тамо, по холмам Сергиева, Хотькова, Городка, на Святой-то неделе побегут ручьи, заговорят потоки. Тамо оживают теперь рощи, перелески... Вербочки распушились по оврагам, у потоков сплошной воды... Но и здесь, в Городе, как старые-те камни зачнут вытаивать, как любо.

...А в церквице, куда я брожу, в главном приделе отмыто на стене «Благовещение». Низенький плешивый иерей, кадя храм, благоговейно так кадит и сию стену.

30 марта. Среда Великая

На рассвете брателко в очередь побежал. Я в 7 часов побрёл к Преждеосвященным. С утра дул холодный вест. Было облачно, перво и не таяло, лывы ледком стянуло. Ребятишки, спеша в училище, нарочито бежали по колеям, подёрнутым тонким, что кружево, ледком, рассыпавшимся весёлыми звоночками. Забавно: взрос-

лые, идучи, подсознательно выискивают, где посуше, поудобнее, ребята выбирают, где вода; вереницей лепятся-торопятся по кучам рыхлых снегов. Часу до 9-го воробыши чивкают по карнизам домов; как солнце разогреет, птахи куда-то улетят. А холодное, с ветром, облачное утро, лывы воды мне удивительно Север, родину напомянули.

...Я похаял вчера: «спешат-де, служа». Нет, с утра не торопятся. И стихиры, и паремии. И чтения тетроевангельские долгие, и хоть за пять человек уж не слышно старенького о. Иоанна, всё же голос его красив, дикция хороша. Прискорбно, что с понятием «дикция» абсолютно незнакомы читающие псалмы. Взяв одну носовую ноту, набрав воздуху, словно собираясь нырнуть, искусно изображают затем кипение воды на плите. На каком языке, что читают, не разберёт никто. И пение плохое. Я сужу, а ведь, должно быть, некому петь. Нет у людей ни времени, ни сил. Люди все пожилые. Как я ждал любимого моего «Да исправится». Трио пели хорошо, но «хор» повторял «Да исправится» испорченным, искажённым мотивом, к досаде молящихся. Я вот так шатаюсь бездельно, гоняюсь за «настроениями» со стороны и теряю остатки своего.

31 марта. Четверток Великий

Немощно слабому, опасливому человеку, такому, как я, охватить растленным умом дивное, вечное, животворное величие сих дней. Унынием привычно отягощаемая душа не в силах и в сии божественные дни расправить крыльев и «царствия вне затворяется». Тайная вечеря, омовение ног, 12 Евангелий, плащаница. Бог, распятый Бог, во гроб положенный. Пять язв святейших; токи крови пречистой. Чтобы с Женихом-то пировать и радоваться в Пасху, надо с Ним сейчас срас-

пинаться и спогребаться. Душа наша распахана и разборонена печалями и скорбями. Отдадим поле сердца нашего, поле мысли, сознания нашего под Христов посев. Когда цветёт липа, всюду носятся медоносные семена. Вечнующая сила всемирных, космических событий, таинственно совершающихся во всемогущие сии дни, — Четверток Великий, Великий Пяток, и Суббота Великая как дивное, благодатное семя, несутся, излучаются сейчас в мире. Всё существо наше духовное и телесное должно воспринимать эту жизнь, это семя истинной, вечнующей жизни. Как дождь благодатный, плодотворный таинственно сейчас орошают мир капли животворящей крови. Подставь душу под этот таинственный дождь... Жених приходит в мир. Эти блаженные страстные дни, и жизнь-душа должна быть приуготована, как невеста. Тогда совершится Пасха — брак души человеческой и Воскресшего Бога. Очи душевные, очи нашего сердца, мысленное око наше должно раскрыться, внутреннее зрение наше должно просветлеть, утончиться, прославиться. И тогда ты увидишь Воскресшего, проходящего «этою талою землею, журчащими водами, сквозящими рощами», увидишь Воскрешение в это таинственное, тихое, блаженное время предначатия весны. Он ходит невидимо по русской земле, поколь поют в церквах: «Христос Воскресе из мертвых». Тебе, человече, выплакавшему в скорбях очи телесные, да дарует Господь око духовное; многими скорбями душа спеется, очи мысленные откроются, очи мысленные откроются широко и светло. Око внутреннее прозревает, поскольку мы подвигнемся «очистить чувствия». Тогда «сердце чисто созиждет Бог», и ты узриши неприступным светом Христа блистающим, услышишь блаженный Его глас: — Вниди в радость Господа своего.

1 апреля. Великий Пяток

Облачно, сырой ветер. Снег разошёлся водою. Лёд, ещё медленные потоки, лужи... Серо, однотонно, северно как-то — однотонная музыкальность, очарованье, своеобразную настроенность даёт такая погода. Холодная ранняя весна остро и сладко приводит на память родной город у моря, милое детство. Но настоящая моя жизнь — эти годы и дни, которые живу вместе с братом, дорогим моим другом. Эта жизнь и есть моя настоящая жизнь. Она больше, ответственнее, серьёзнее, глубже тех беззаботных лет «золотого детства». За эту жизнь, за эти годы дам ответ Богу, а там, на Родине, были игрушки. И глубокая ошибка ахать о милом прошлом и как нечто случайное провёртывать кое-как настоящее. Эти-де годы, скажем, от 25 до 50, не жизнь, а просто так. Жизнь-де будет впереди, вот столь же приятная и беззаботная, как в детстве и юности. Это ошибка большая и, м<ожет> б<ыть>, роковая.

Смолоду всё было легко да приятно делать. И всё оказалось непрочным. Теперь трудно, с принуждением, да авось — надёжно.

Пишу, а в ушах всё стоит любимейшее сладостное пение, два часа назад слышанное: «Како погребу тя, Боже мой, коснуся Пречистому Твоему телу, или кими пеленами Тебя повию». Как запели «Тебе одеющегося»[1], внутри церкви заперезванивали в колокольцы, что сделало сильное впечатление на народ: стихли вопли удушаемых в проходах. Раздался плач, как ветер проносился в церкви вздох, тысячи рук творили крестное знамение.

[1] Шергин цитирует стихиру из Последования святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, поющуюся в Великую Пятницу на вечерне; в конце стихиры из алтаря выносится святая Плащаница.

4 апреля. Понедельник Светлой Седмицы

Христос Воскресе! По опыту прошлогоднему уж и не совались к Хитровой <?> заутрене о полночь. Во вторую смену идти рассудили. Да и уборку до последнего дни довели. Да и с молотьём ржи на кофейной мельнице канительно, да и, в чаду пёкши лепёшки, братец убился. Я его не будил, в четыре утра угрёб на Хитров. Уж заря была, по конец улиц холодный туман. Сухо, ручьи, вода, точно полотенца настланы. В храм-таки забился. Поднесло меня народом к распятию, тут зачалился и стоял литургию. Не у образа Воскресения, а при ноге Распятого у места я был. То уж моё, распятие-то. Светлы мне пять язв Христовых. И тут белые цветы, и тут Христос Воскрес. Вот он пред очами моими ещё не снят с креста, но се вчера было. Сегодня он воскресе из мертвых, сегодня Пасха. Печаль навыкла глодать мне сердце, но сия скорбь на бесконечную радость. Иисусе прелюбимый, Иисусе прекрасный, Иисусе пресветлый, Иисусе пречудесный, вижу Тебя распинанного за грехи мира, но уже всё покрыла радость Воскресения Твоего. Уж, кажись, отбило печалями всё живое в душе, всякую искру радости угасила прискорбная судьба, беды да печали сбили с ног, но гремит кругом победная песнь: Христос Воскресе, Пасха Господня, Пасха, о Пасха, избавление скорби. И рвётся сердце навстречу радости, от смерти к жизни. Ныне вся исполненная света, даже преисподняя. Кресту Твоему поклоняюся, Христе, и святое Воскресение Твое славлю. Голгофой прииде радость всему миру. Из гроба воссияла радость. Пасха таинственная: распятие — залог воскресения. Вчера сраспинахся Тебе, Христе, вчера Тебе спогребохся, совосстаю днесь, воскреси Тебе. Поставь меня перед Ним, блистающим, неприступным светом Воскресения, дак я, как стража, с ног слечу. Я вот эдакого вижу

Его на кресте, руце распростершего, собирающа вся языки, дак думаю, и меня Он в охапку возьмёт, скажет: — Куда тебя денешь... и «радуйся» шепнет. Свете мой, Христе. Надежда моя, Иисусе!

Я «тяжко сердце имею». Ещё в Пяток Великий как я свирепел на брателка, как пёс лаял. О праздниках играет мною лукавый. Как пёс на блевотину, опять да опять я на ярость свою возвращаюсь. Гоняюсь за «настроениями». Горе тем, кто «настроение» мое сорвёт. Не слышу, знать не желаю Христова повеления жить «друг другу покоряющися и друг другу ноги умывающи»[1]. Того ради смятенно и пустынно как-то брёл к службе Пасхальной. Угрюмое утро-то, казалось, как бы стороною. Знал, что воистину сия спасительная нощь и светозарная, «но не услышал Иуда, раб и льстец». И чудно было бы мне, Каину, ликовать. Купить надо радость-ту воскресения крутоделкой да скороспелкой. Я навык умиление хватать, ино хватанным с чужих трапез не наживёшь долго. Надо своё добыть. Господь не зря мое житьё, что солью, печалями солит. То уж не прокиснет.

Но стоит поскорбеть; не дорогá эта цена за «веселие вечное». После обедни народ, в особенности старухи все, взглядывались в солнце восходящее. Церковь-та на горке и восход виден. Женщины, стоя кучками, из-под ручки глядели на солнышко и дивились, как оно «играет». Народ возвращался переулочками, идут задумчиво, многие с освящёнными куличами... Идут, многие поют, у них в ушах ещё радостные те напевы, Христова ночь...

[1] Здесь и ниже Шергин приводит слова кондака 6-й песни на утрени Великого Четверга: «Тайной трапезе, в страсе приблившеся вси, чистыми душами хлеб приимем, спребывающе Владыце: да видим, как умывает ноги учеников, и сотворим, якоже видим, друг другу покаряющеся и другу другу нозе умывающе, Христос бо тако повеле Своим учеником, предрек тако творити, но не услыша Иуда раб и льстец».

Сбродил к вечерне на Хитров. Уж нету снегов, лывы одне да корка чёрного льда. По дворам-то ещё прячется грязный снег, зимы остатки, ручьи с холмов. У Найденовского дома гулко шумит вода. Где нету льда, там земля раскисла. А, чай, грязно по деревням. В Москве ребята одолевают, со своими веревочками скачут. У обеден, у вечерен много народу. Любит Русь службы пасхальные, стихиры везде всенародно поют. А канон, хоть бы взять Петра и Павла[1], «двое с бабкой», спеша и съедая слова и стихи, унылым говорком «сбывают с рук». Придираюсь к певчим — очевидно, у меня-то в душе ничто не поёт.

5 апреля. Вторник Светлой Недели

Тонкая нежная акварель прозрачно-серого неба. Свет без теней. Нежный шёлк облаков скрывает от тебя, полдень ли там или вечерние зори. Кажется, ничего не может быть прекрасней тонкого рисунка древесных ветвей, нанесённых тою же рукой. И серый жемчуг неба, и веточки, И старая, умытая, обсушенная вешними ветрами ограда глядятся в серое зеркало воды. Ещё вчера тут был сугроб снега. Вдоль дороги спешит ручеек, и его тихое бормотанье слышнее и больше будничного шарканья многих рваных калош. Сладкая грусть берёт сердце: полететь бы, как та ворона, встать бы на Митиной горе, там, в милом, милом Хотькове... Венец таинственной весенней тишины почиет над моими холмами, рощами, разливными вешними водами. Пажа моя разлилась и светит, как небо, простершее тончайшую сияющую пелену весенних облаков над радонежскою страной.

---

[1] Имеется в виду храм первоверховных апостолов Петра и Павла на Чистых прудах, у Яузских ворот; в советское время не закрывался.

Светлая седмица. Отверзты Царские двери. Утром и вечером звучит Пасхальный канон. Радость о Господе осеняет мир. Взяться бы там, под радонежским небом, встать у белых берёзок, с розовой вербочкой в руке, вслушаться бы в столь тихую, но немолчную, в тихую, но гласящую паче струн и органа музыку потоков и ручьёв, явно бы услышала душа здесь оное светлое: «Христос воскресе из мертвых». Безглагольное Сергиево небо над Радонежскою страною, сладко и явно сказывает оно всякую тайну душе умученной, отвергнутой «миром сим», осатанелым.

9 апреля. Суббота Светлой Седмицы

На подоконнике своём писать уселся — весна пришла, знать. Дождь идёт, лёд сгонит. А то апрель-то холодный зачинался. Уж и по-архангельски пора бы весне быть. И там в апреле, что к солнышку, окна выставляли.

11 апреля. Понедельник

Ездил рассказывать землякам. Окраина Москвы, но каким воздухом пахнуло чистым, свежим. В городе, видно, гниль жилья, сырость кирпичных громад глушат чистоту воздуха.

Да... Бог лесу не сравнял, не то что людей. Любопытно мне существо этого, например, равнодушия к церкви у такой вот пожилой уже интеллигенции (40–60 лет). ...Сказки-побаски, бытовые рассказики, анекдотики — эти побрякушки слушают. А о хлебе небесном, о чаше жизни, об этом, чай, скажут: «Послушаем тебя в другой раз». А ведь апостол велит: «Не дети бывайте умом»[1].

---

[1] 1 Кор. 14:20.

12 апреля. Вторник Фомин

Купно с недомоганием тела ношу в охапке, не под силу, обалденье трудное, умно-мыслительное. Снега сошли, лёд растаял. Воскресе Христос, и коли ты с Магдалиною в саду не был, спеши Фомою вложить перст в жизнеподательные ребра. Но моя десница не любопытствует. Ум долу поник. Господь-то порадел сделать из меня человека, а я-то в скоты лезу, не радею о почестях высшаго звания. Я как лужа под окном. Вот, небо отразила, через минуту прохожий в неё ступил, она грязная.

Апрельскаго тепла ещё нет. Ветер сушит землю, камень. Обсох булыжник, асфальт; ещё все умытое такое. По дворам есть снег кучами, что тюль рваный. Небо нежное, тонко-графитно-серебристое. Инде как бы протёртое. Так жемчужисто золотится. А ветер качает ветви, ещё голые, но уже живые. Нет гуляющих на бульварах. Вот господин, охая, присел на бульварную скамью. Как два чемодана, висят у него спереди и сзади два сосновых чурбана. Вот не то дамы, не то бабы, обутые в какие-то мешки с сеном, прут мокрую слёгу. Это публика с вокзала. Встречные, поперечные — все в засаленных стеганках. Ребята рваные.

...Так мне хочется за город, чтобы много было апрельского неба, нежно-лазурного или вот такого серо-жемчужного. Чтобы увидеть, как тихо лежит обтаявшая, тихо лежит под вешними ветрами Мать-Земля, чтобы видеть, как стоит проснувшийся лес, глядящий в небо, набирающий почки. Кабы мне попасть сейчас за город, где разлились вешние воды и глядят в них деревья, где журчат ещё ручьи, но просыхают под вешними ветрами дороги, где с утра до вечера можно соглядать ненаглядную нежную красоту весеннего неба, где птицы вьют гнезда... Я бы, у меня ожила бы душа, я верю.

Ничему-то не рад, а хочется радости. Брателко мой всё недомогает, а всё меня ободряет. Сбродит до магазина: нет, ещё ничего не объявлено. Придёт и щей-то пустых хлебнуть не может, еле говорит шёпотом.

13 апреля. Среда Фомина

Неможно надивиться свежести, утренней благоуханности, как бы детской правдивости, безыскусственности и простоте евангельского рассказа о воскресении. Тут всё из первых уст, всё на лету — только что перехваченная народная весть...

Мертвенная цивилизация, «прогресс» (без Бога это регресс к скотству), лженауки — всё это плотной стеной отгородило от человека истинную жизнь, истинное счастье, заслонило от человека истинное счастье, славу, радость... «Аки стену возградила неправда».

Человек порывается всё же искать Бога. Но чёрною мертвенною водою окропила лженаука разум современного человека. Сложным, мудрёным, трудным кажется ему: «Христос воскресе из мертвых». Дак вот, открой Евангелие хоть от Иоанна. И сразу весною пахнёт на тебя. Будто аромат подснежников или ландышей, первых цветиков вдохнёшь в себя. Велико всё и просто: в первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, ещё в сущей тьме, и видит камень отвален от гроба, и бежит обратно, и говорит Петру и другому ученику, которого любил Иисус: — Взяли Господа из гроба, и не знаю, где положили Его. Тотчас Петр и другой ученик побежали ко гробу. Они побежали оба вместе, но Иоанн бежал скорее и доступил ко гробу первый. Приникнув, он видит пелены лежащия, но во гроб войти не посмел. А Петр, прибежавши, вошёл во гроб и видит одни пелены лежащия и плат, который был на главе Иисуса, не с пеленами лежит, но особо

свит на другом месте. Тогда вошёл и другой ученик и увидел, и уверовал...

...А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, приникла во гроб. И видит двух ангелов, в белых ризах сидящих, единого у главы и другого у ног, идеже бе лежало тело Иисусово. И они говорят ей: женщина, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.

Сказавши это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала Учителя. А Он говорит ей: «Женщина, что плачешь, кого ищешь?» Она же, думая, что это садовник, говорит: «Господин, если это ты взял Его, скажи, где ты положил Его, и я возьму Его...» Тогда Иисус говорит ей: «Мария!» Она же, воспрянув, возопила: «Раввуни!» (От Иоанна, глава 20, стихи 1–16).

Не часто Евангелие в руки-те возьмёшь. А взявши, всё уж у Иоанна любезные-те зачала беседы великой, вечной на Тайной вечери погляжу... Дорогое, заветное это, любимое.

14 апреля. Четверток

Свет Солнца такой белый блистал в окна. Апрельское тепло ещё не спустилось с небес. Необыкновенная ясность вечера. Рано обозначился над темнеющими крышами тонкий, прозрачный серп месяца. Линии строений цветасты<?> и утихомирятся. С сумерками крыши, карнизы чётко, красиво обрисуются на прозрачном бледном золоте зари. Переулки начнёт кутать мрак... Серп месяца всё острей, разительней, нежней, единственней. Вправо от него глянула звезда. Тихо. Где-то далеко кричат ещё, играя, дети.

N. N. горестно высказывает: — знаю, что христианство есть самое высокое, самое совершенное. Но...

проповедано оно уже две тысячи лет, а люди остаются злыми, и злоба усиливается, народы, называвшие себя христианами, вели жестокие войны... Вероятно, христианство не подействовало на человечество, не изменило людей...

Здесь виден внешний взгляд на христианство — взгляд наблюдателя. Известны давно крылатые слова: «Христианство не удалось». «Обеден много служили, а жизнь лучше не стала».

Мой милый N. N. глубоко скорбит, не видя действия учения Христова над человечеством. Но N. N. — чадо церкви.

Вспоминаются здесь люди из интеллигенции. Они сохраняют какой-то хроникёрский, газетно-корреспондентский интерес к церкви. Это наблюдатели, иногда «сочувствующие». Прикидывают количество молящихся, следят за выражениями лиц, всё подмечают, набираются впечатлений, потом делятся впечатлениями, делают безапелляционные выводы, благоприятные или роковые для церкви.

Вопрос о том, действовало ли учение Христа на государства, народности, политику, международные отношения, — вопрос обширный чрезвычайно...

Мне кажется, во всяком случае, христианство нельзя рассматривать в аспекте историческом. Оно не есть лекарство, однажды, некогда прописанное роду человеческому или отдельным нациям и... подействовавшее или неподействовавшее.

...На учении церкви создалась прекрасная христианская культура. Христианство соборно, вселенско.

...Мне лично уже некогда, недосуг заниматься сими вопросами. Для меня убогого, слабого, больного нет другого спасения, нет иного прибежища, кроме Христа. Меня спросят: — разве тебе неважно, христиане ли вот эти тысяча человек?.. Для меня это важно. Но пре-

жде, нежели я их примусь обращать в Христову веру, для меня настоит другой вопрос, важнейший: самому со Христом соединиться, самому стать удом тела Христова — Церкви, самому быть виноградиной на лозе Божественной — Христе.

«Общественно-просветительная и нравственная роль христианства в историческом аспекте» — тема важная, обширная и, несомненно, разработанная. Не будет меня с эту тему. Я, как помыслю о христианстве, то и знаю, что оно есть жизнь, дыхание сегодняшнего дня, что без Христова утешения подохнешь в один день, как рыба без воды. Христианство не «общественные науки». Это — хлеб насущный. Без этого голодная смерть.

Законы человеческие могут быть предложены, предписаны той или другой нации, тому или другому государству. Жизнь и суть Христова учения в том, что оно обращается к сердцу, к тайному тайных сердца всякого человека.

15 апреля. Пятница

Уж в каком же мрачно-унылом состоянии духа, но и тела выползешь ввечеру из подвала своего потемненнаго... А глянешь в высокое, тончайшею пеленою нежнейшаго серого оттенка потянутое небо, как бы жемчужнаго тона кисеёю волнисто убранное, озришься на этот пролиянный на землю свет прозрачных апрельских сумерок — и пошевелится в отупевшем сознании просвет какого-то удивления о красоте неба и земли.

В безлюдном углу бульвара обтаявшая, просыхающая земля. Серо-золотистая отава-трава прошлогодняя. Деревья прозрачными метёлочками, тоненькими, гибкими веточками тянутся к небу вечернему. Нечто празднично-прекрасное, некая сладкая грусть в этой тихости ранневесенней. Эту благостную тихость не мо-

жет одолеть будничность лязгающего инде трамвая, не могут нарушить повседневные подворотни, мимо коих ступаю обратно.

Воспоминание о рае; и вновь, и вновь виденье рая для меня — эта вот тишина земли апрельской.

Расточились снега, отшумели ручьи. Весна — утро для Земли-Матери. Глинистая, овеваемая ветрами Земля глядится в тихость небес и беседует шорохом безлиственных ещё дерев, шелестом пролетающих в ночи ветерков.

— Благослови, отче, — говорит Земля. И, незримо благословляемая, учнёт наряжаться на пир брачный, в благоуханную прозрачность первой зелени.

17 апреля. Воскресенье

С запада веет хладень. Изредка подносит лёгкие капельки дождя. Свод неба над Городом окинут прозрачно-льняной пеленой. При солнце в резких тенях и бликах улиц всё как бы как-то беспричинно веселится, иное и невпопад. Но когда в полдень небеса отуманятся безмерной ровности пеленою, всегда кажется, что небо и земля задумались. Эта задумчивость родит тишину. Эта задумчивость природы родит тихость в сердце человеческом.

Спешат куда-то человеки, лают машины: ведь день, ведь дела, ведь — Город!.. Но эта новая песнь Земли, эти глины... эти певучия уносящиися в тихость неба веточки, вся эта тихогласная апрельская песнь без слов — эта всеблаженная музыка больше и слышнее улично-жилищных лязгов, визгов, хрястов.

У природы лик всегда живой... Любая веточка, любой цветочек всегда живы и чудесны. Сколько годов я гляжу зимою и летом, ночью и днём на купу деревьев,

что против моего оконца... Всегда они живы, всегда скажут что-то.

В деревьях, в цветах — чудо вечноюнеющей жизни. Деревья напоминают нам об утерянном рае. Сад был рай. Как любят люди, когда в углу асфальтового двора, на дне двора-колодца вырастет хотя бы чахлое деревцо. Издалека заботливо везут полевые цветочки в свои комнаты-коробки. В свободный день с трудом выберутся за город, отыщут под забором квадратный аршин травки — то и дача...

18 апреля. Понедельник

Карнизы потемнённых зданий, оттенённые сумраком углы — неплохая рама для картины ночного неба. Дождался такого, моего, особливо желанного весеннего неба. Нежнейшее кружевное шитьё. Шёлковый тончайший тюль, ровно истканный бледно-золотыми цветами. Сквозь это несказанно нарядное кружево сквозит синий бархат ночи. Сквозит плывущая там по жемчужно-облачным волнам сияющая ладья молодого месяца. Через всю ночь гонится он за утреннею звездой...

20 апреля. Среда

Всё хворает мой брателко. Сбродил до магазина, нет ли выдачи, и приуныл, мой свет. Я в таких грустях бродил вокруг дома-то. Облачно, ветрено. Падал вечерний суморок. То и хорошо, думалось, то и ладно. Уж как сумрачность эта созвучна моей унынности. Тем-то я и люблю тихо-ненастливые дни. В резво-весёлую погоду ты особо ходишь, отъединённо.

«Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» Это в мои дни начинает природа тихомолчную

беседушку. Природа задумчиво-грустная чашу успокоительную же и лекарственную мне подаёт дружелюбно. Тихостный полусвет-полусумрак реял по земле...

Сумерки тихие с ночью — матерь мне и матерь звериная, покровительница. Такого веселья нет, ино. Дружня рука на плече...

На бульварах пусто: публика не любит такого времени: надоело зябнуть, неуютно, поздно, проносится ветер тороками — порывами. Нахохлившись, пробежит прохожий... На соседней скамье одиноко сидит дама. Завидев мужскую фигуру, дама воркует: «Варвар-вар...» — из фильма «Мушкетёры». Приуныв, дама долго закуривает, кляня спички. Перхая, обдав дымом махорки, она бредёт, шаркая ботами. Голые опухшие коленки, детская юбочка... Везде горе, у всех. И конца ему не видится. И я дома братика оставил унылаго. Житуха вокруг самая бедственная, никому друг до друга дела нет. Никто не пособит, никто не поможет... Приуныв, одумался: ведь апрель, весна ведь. И коснулась сердца радость моя вечная. Огляделся: тихо-светло так... и уж не городской бульвар, а «насадил Бог сад, еже есть рай». Дорожки видятся чистыя, как бы речным песком усыпанныя. Нежно и тонко нарисованные весенние деревца тихими рядами. Как бы внове вижу это воздеяние гибких тоненьких веточек. Человек-от живёт, мятется: день так и век так: сгибайся, падай, подымайся. А эти Божьи деревца и во дни среди шума особо стоят, с суетою неслиянно, светлы и тихостны, умильные дети Матери Земли. Одно ведают — тихость неба, благость света, животворную силу весны.

20 апреля. Среда

Угасив огни, управившись спать, а брателко уже почивал, уж ночь пришла ко утру глубоку, но еще <в>

сущей тьме пало мне на ум: что там на дворе. Раскутал стеколко, и — как вечно любимая невеста, глянула апрельская ночь, весна ночная. В куполе неба над Городом ещё ночь, но побледнели уже края небосвода, а северная страна небес вся брезжит нежно-изумрудной прозрачностью. Переулок ещё спит. Его домы, углы, крыши блазнят, как слепая стена, но крышечки её уже четко выписаны в мерцании зелёно-золотом, предутреннем. Переулочек безмолвен, но не пуст. Сказывает мне таинственное. По взгляду, по виду мы давно понимаем друг друга. На рассвете переулок, вернее, перекрёсток наш кажется особливо выметенным, прибранным. Точно «кто-то» сейчас пройдёт или прошёл только-то... Мосточки так ровно белеют, а дорога светло углажена.

(Учуяв, что я бодрствую и, несомненно, что-нибудь ем, вылезла из своего будуара — комодного ящика — кошка Уляшка. Уронила с печурки Толькин башмак. Толька закашлял.)

Снова развешиваю уголок оконца: сине-зелёная озарённость небес прозрачна несказанно. Весь северо-восток, точно иконостас нерукотворный...

Ещё домы человеческие спят сплошною стеною. Но — как прекрасны живы деревья!

Негасимые, немеркнущие весенние зори Севера, которыми от лет младенчества любовался я всегда сквозь узор стройных берёз, стоявших перед домом родительским, навсегда запечатлелись в сердце как нечто прекраснейшее. И теперь, и всегда было сладко мне видеть утренний рассвет. И диво мне, что и здесь, у второй родины, в городе брата моего любимейшего, что и теперь, на пороге старости живу я опять оконцами на Север, опять в стогодовалом доме, опять сквозь узор деревьев сияют мне весенние зори утром и вечером. Там, далеко

на родине, в юности, в трепетные часы рассвета ждал, и ждал, и мечтал я сладко о дружбе, о любви. И вот молодость прошла. Много ли годов впереди?.. А позади много. И слава тебе, Богу, благодетелю моему, за всё, что мне послал... Добро мне скорбь и печаль настоящего житья. О, каким бы я себя считал счастливым, ежели бы пособил мне Бог устроить жизнь брателку моему... В болезнях влачу жизнь. И это от мира сего. Это плотское, малое. Это должно стать безразличным, это недостатки телесные... Как бы тяжело ни приходилось телу, сладко и благодарственно поёт душа, радостно и трепетно сознаёт ум присутствие Бога через любовь милующую брата моего. Дивно мне и сладко видеть не в книгах, а на себе милость Божью всеблагую. Изнемогает подчас тело, не носят меня хромые ноги, но идёт со мною брателко, и крепко держат меня его рученьки, и чудится, знаю я, что это сам Христос идёт со мною. Худо видят убогие глаза, худо разглядываю людей, но светло, но явно вижу зрак Христов в очах благословенного спутника жизни моей, брата и друга моего.

<Без даты>

— Это Я, — говорит Господь, — это Я!..

О неведомом счастии (о какой-то радости), о неведомой радости без слов молилось сердце в дни юности, там, у светлого моря, когда, забывая о сне, глядел я в жемчужные, таинственные зори белых северных ночей.

<Без даты>

Теперь я понимаю, что природа жива. И ежели людская, денная, пылесосная, суетливая житуха обезли-

чивает, обезразличивает природу в городе, то в оный нареченный предутренний час глядите, как живут своею таинственною, не видимою «невооруженным» глазом жизнью эти деревья. Они — лицо вечной живоначальной матери Природы. Кругом «жилдома» №, №, №... набитые людьми, — кто их знает... Но меж домов благолепно возрастила Мать Земля эту кущу дерев. И шепчутся они с небом, и живут они целою, правою жизнью с Природою, матерью всех. Эта целая, правая жизнь, жизнь здравая, долгоденствующая. Положена и человеку жизнь с природой, с весною и осенью, с небом и солнцем, с ветрами и дождями. Надо жить, чтобы в полночь слышать пение петуха, а на рассвете мык коровушки, чтобы у ворот лаял пёс, чтобы слышать, как осенью барабанит в крышу дождь и шумит в трубе ветер, а по весне поют птицы...

Бродя по городу, я всё остановлюсь да полюбуюсь, сломана ограда, дак и поглажу дерево. Дома-те люди сложили, кто их знает... А деревья эти чудно вызваны к жизни из семечка. Мать Земля питает их животворными соками...

О, какая чудная, несравненная картина глядит на меня из рамы убогого подвального оконца! В свете зари, как на золоте иконы, написана эта малая купа дерев.

В тишине рассвета, в тихости утра внятна и радостна мне разгадка таинственной жизни природы. Живы и прекрасны эти веточки, как сияние расходятся они от сучьев. А сучья воздеты к небу. И деревья тихостью, в благом молчании склоняются друг к другу, глядят в зарю. И ещё лучезарней глядит заря сквозь очертания стволов, сквозь узор ветвей. Не спят, живут деревья, глядят в занимающиеся зори утра. «Живы они и свет вечный видят».

23 апреля. Суббота

Егорьев день. Коровушек, овец на волю выгоняют вербочкой[1]... Меня бы, скотину застоявшуюся в нечищеном хлеву ума моего, меня бы, клячу сорокапегую, в сию зиму безбожия скаредно сердце ознобившую, выгонил бы Господь на пажити весны своей вечно юной, жизнедательной. Скотина-та я очень уж чахлая. На тело бы плевать, но... купно с телесным дряхлованием и душа изубожилась недобре. Вижу рассыпающийся «столп моего тела», невозбранно выносит оттуда враг всякое богатство духа — «обретает бо душу невооруженну».

Запустил, забросил я ежедневное житейское попечение о хлебе насущном, всё опрокинул на брателка. А и он вконец изнемог, телом и духом... Я не бегаю от дела мне причного, приятного, лёгкого. Но свирепа борьба за жизнь. Всяк за себя. А я бы рад уж башку-то влепить куда-ле, только бы Тольке пособить. Слаб мой дух... Будто собака, потерявшая хозяина, тычусь я невпопад под ногами мира сего. И никому нет дела до меня, а иной и пнёт. Я долго гарчу из-под лавки, а укусить не смею. Из знаемых-то никто самохотно куска не бросит, всё надо выскулить да вырвать. Я сейчас, как чеховская Каштанка, к клоуну попал. Только чеховско-ёт клоун кормил собачонку досыта...

А вдруг да позовёт, найдёт да позовёт меня истинный мой Хозяин... Найди ты меня, мой добрый, вечный Хозяин! Приди в цирк, где на задних лапках хожу, приди да и позови...

---

[1] *Егорьев день. Коровушек, овец на волю выгоняют вербочкой...* — 23 апреля — память великомученика Георгия Победоносца (303), по русскому народному календарю — Егорьев день. В народном сознании св. Георгий был покровителем диких зверей и хранителем домашнего скота. В этот день скот в первый раз выгоняли в поле, используя при этом освящённую вербу.

26 апреля. Вторник

День светел; широко открыв глаза глядит. Ровный, светлый туск неба; как тусклое зеркало, отблескивает мокрый булыжник, асфальт, плитняк. Дождь не стучит в оконце, но мокро шлёпают калоши, раскрыты зонты.

...А надо сказать, что благополучные, так сказать, спортивно-здоровые люди в большинстве случаев равнодушны, не замечают, не ценят, да и не подозревают великого значения, несказанной значимости красот природы, обыватель не подозревает, что природа — это книга богооткровенная... Здоровые не ценят... Это не значит, конечно, что всякой человек, заполучив острое или хроническое заболевание, начнёт переживать отражение облаков в луже. Сказываю о тех, кто может вместить, кому дано.

Незавидна доля умываться заместо воды слезами, но дивно то, что как дождевые потоки уносят пыль и грязь с мостовой, так слёзы (столь болезненные!) очищают очи мысленные, омывают зрение сердечное, прозрачными творят очи ума. Таким образом, человек становится счастливым через свои несчастия. (Видит прекрасное и великое там, где большинство не видит ничего, обретает богатство в том, мимо чего мир сей пробегает пуст и нищ...)

Бреду бульваром. Безлюдно. Пасмурный вечер... Как благородна эта однотонность картины. Ежели б я мог рисовать!.. Водицей разбавил сепию, провёл дорожки и, чуть посмуглее, набавив к сепии охрицы и индиго, залил клинья прошлогодней отавы. Это земля. А от бисеринки туши разлил бы это жемчужистое небо. И это небо, и эту землю соединяла бы у меня лента уходящих дерев. Ближние деревья — липы, их сучья видятся контрастно, а дальше идут тополя, восковым становится оттенок их, а дальнейшие блазнят, как паутинки.

Скажут: где, в чём красота ненастья? — а разве не прекрасны серые шёлковые одежды, притом шитые жемчугом?

27 апреля. Среда

За день-то изорвётся сердце...

Вечера попроведать уж на поздней заре вышел. Всё хвалю поля небесные, блакитные. Тихость облачная, исполняющая землю, успокаивает тебя. Боль проходит. Ты учиняешься на дальнейшее способье. Но тихая, прозрачная заря поздневечерняя, успокаивая боль души, умиротворяя скорбь сердца, она подаёт сладкую надежду, она зовёт и манит... Тихая, песненная вечерняя заря!.. Тихомирное, кроткое сияние долго, долго стоит над Городом. Глядят в него люди, и тише становится болезнь, и печаль, и воздыхание. Этот свет «пришедшу на запад солнцу» рождает сладкую надежду на грядущие радости, надежду на некое блаженное утро. С этим утром соприкоснётся там угаснувшая здесь эта прощальная заря.

Люблю я соглядать зори утра. Сердце трепещет здесь, предузнавая некую тайну воскресения. Заря вечерняя — не образ ли это блаженного успения о Христе, успения о надежде радостного утра?..

10 мая. Вторник

...Пора моей весны пришла. Не подумай, что «вспомнила бабка свой девишник». О временах года баю. Природа украсилась зеленью. Деревья пышно завесились листвою. Не видать неба сквозь веточки. Зелень ещё нежная, чудесная. Май наступил. Все поэты эту весну воспели. Соловей, черемуха; тут уж я бессилен, идите

к Фету. Пышный пир для детей своих Мать Земля готовит: растите, множьтесь, наполняйте Землю...

На днях, ожидая трамвая на бульваре, ещё издали услышал сладкую такую и тихую музыку... Наконец начал проходить оркестр, за ним взвод за взводом — молодёжь в военной форме. Стройно шли под марш, такой сладко-весенний. У них были спокойныя молодыя лица... Все одеты по-походному. И подумалось: вот мы, старые, как цепляемся за житуху, как разоряемся, расстраиваемся, что не наелись, мёрзнем, зиму ещё одну доживем ли и т. д. и т. п. А эти, молодые, прекрасные, спокойные, сильные, ещё и жизни не знавшие, идут и не жалеют, как бы отстраняют, покорные, кубок жизни. Отводят от себя кубок жизни царственным таким, великодушным жестом. А мы, старичонки, тесня, давя друг друга, друг у друга отымая, лезем к кубку тоя жизни беззубыми дёснами, цепляемся, имаемся за него. (К слову, в башку пришло: вишь, англичане поношенных брюк, пиджаков, пальтов насобирали да нам послали. Дак у нас не то что рвань вроде меня, а... <1 нрзб.> заявлений наподавали. Не на себя, а на родителей просят.)

Ряды за рядами... Молодые, полные жизни, сил...

Темноглазый флейтист оркестра, промаршировавший мимо и окинувший публику серьёзным взглядом, а пальцы его быстро бегали по флейте, он до того похож показался мне на милого нашего Мишку, что, вслед за старухой, прошептавшей: «Милые сыночки, как мне вас жалко!» — и я сморщился по-стариковски и, будто от ветра, утёр слезу... Всегда у меня сознанье вины перед братиком, но и перед Мишуком. Никогда не выскажет, а всегда точно упрёк в беспомощном взгляде больших ребячьих глазищ. Я-то рос до 25 годов у маменьки за пазушкой. А у этого юностные-те годы ничем не украшены, не помилованы. Не за горами то время: встанет

в семейные оглобли, наденет хомут труда и заботы пожизненной, а покамест юн, попраздничнее жизнь тому же Мишуку обязан я сделать. И тошно, и горько мне обо всём.

Люблю рассветы паче дня.

Люблю кануны праздника больше, чем праздники. Люблю предначатие весны, нежели цветущую пору ея. Никаковы полности Божьего свету нету в моём сердце. Разве пробрезжит временем некоторое предвестие утренних лазорей... Всяко наг, всяко скуден и беден, всяко новоначален, того дня утро-то и явится моё. Мои весны зачала, но не рассвет. С утрами, с рассветами, с канунами единочувствует бедная, обнажённая душа моя. А ещё о роскоши дня, о пышности лета: не станет меня с это...

Я заблуждающийся, претыкающий, недоумевающий, незнающий, несведущий, слепотствующий из кривого и безумного своего опыта делаю самовольные выводы. Я, например, никак не жду над собою чудес физических исцелений. Я не верю, что у меня может появиться ампутированная нога. Медленно, но неуклонно гаснет зрение, не перестанет отмирать зрительный нерв. Материя должна умирать. У одного раньше, у другого позже. С точки зрения «мира сего» я из тех людей, каких называют «несчастными». Без ног, без глаз. Еле брожу, еле вижу. Профессор Маргулис как-то хлопал меня по плечу и, всегда холодный, равнодушный, участливо глянул:

— Не много ли для одного человека?

Но я думаю: как много кругом несчастья, как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастных, особливо в последние смертоносные годы. Для кого, как не для нашего времени, сказано Тютчевым: «Слёзы людские, о слёзы людские! Льётесь вы ранней и поздней порой, льётесь безвестныя, льётесь незримыя,

неистощимыя, неисчислимыя, льётесь, как льются струи дождевые в осень глухую порою ночной».

...Так мало счастливчиков, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей. С плачущими, алчущими, изгнанными, скорбящими, тружающимися и обремененными куда почётнее шествовать путь жития своего, нежели попрыгивать со счастливчиками. «Счастье» этих немногих на бедствии премногих стяпано-сляпано воровски-грабительно. «Поплачем здесь, да тамо воспоем, поскорбим здесь, да тамо возрадуемся».

И вот я не понимаю... Люди — рабы страстей и хвалящиеся своими страстями, плотоугодные, злые, обидчики, насильники, угнетатели, скупые, жадные, сластолюбцы, ненавистники, люди глупые и тупые, клеветники, наушники, обжирающиеся (а вокруг голод), пышно одетые (а кругом бродят нагие), такие вот «деятели» с одной стороны; а с другой стороны «массы» слабые, ленивые, характеры ничтожные, а в-третьих — всякой средней руки обыватель, им же числа нет, — вот все они (мы) ходим в церковь, служим молебны перед иконами, просим у икон чудес, исцелений, требуем от икон активности, а наша активность ограничивается тем, что пришли в храм да купили свечу...

Чудо есть, и Богу вольно человека чудом найти. Богу нигде не загорожено... Да мне-то надо раденье приложить. Вот, скажем, я иду путём и получаю известие, что за этими лесными болотами живёт любимый мой друг, которого я давно ищу и который меня ищет. Неужели я не буду всяко трафиться за эти болота?! Неужели я буду сидеть да ждать, разве хватит у меня терпенья сидеть в бездействии: он-де сам меня найдёт. Нет! Ползком и бродом, днём и ночью примусь я попадать в город, где друг-от меня ждёт. Я к тому сказываю, что чуда-то не надо дожидаться спамши да лежамши...

В человеке заложено семя тли. Человек самохотно взрастил в себе это тление и ныне услаждается им. Ныне человек ослеп умом. Не видит Бога ни в чём, не чувствует сердцем...

24 июня

Поэзия, в широком смысле глубоко и верно отображающая красоту природы, не может быть не любима человеком, религиозно настроенным. Бог открыт в творении Его, в природе, «в мире поэта». Филарет это «видит сердцем» и учит, что здесь одно из величайших назначений жизни.

Познавать Его в твореньи,
Видеть сердцем, духом чтить...
Вот в чём жизни назначенье,
Вот что значит: в Боге жить.

(Три четверостишия — экспромт м<итролполита> Филарета, на стихи Пушкина: —

Дар мгновенный, дар случайный;
Жизнь, зачем ты нам дана...)

Надо сказать, что немногочисленные стихи м. Филарета слабее его удивительной прозы, и он считал стихи свои шуткой. Впрочем, переведенные м. Филаретом отрывки гексаметров св. Григория Нисского[1], V век, изобличают в поэте-переводчике вкус изысканный. И о сем до зде.

...Поэзия светская может быть в каких-то планах молитвой. Но молитва уставная, чиновная, песнь церковная нередко даёт нам ключ к таинствам, скажем, красот природы.

---

[1] *Свт. Григорий*, епископ *Нисский* (IV в.) — брат свт. Василия Великого, один из трех великих «каппадакийцев». Память 10 января.

Вот акафист Иисусу Сладчайшему поёт: «Иисусе, всея твари Украсителю». Вот мы и увидели, узнали художника, творца картины, приведшей нас в такой восторг. И весь этот акафист не есть ли «похвальная» Сыну Божию, всея твари Украсителю, Иисусу Пречудному, который есть ангелов удивление. Хвалы Художнику предивному, претихому, пресладостному. «Иисусе, красото пресветлая! — гремит песнь 3-го икоса, — Иисусе, сердца моего веселие»[1].

Икос шестой вспоминает, как дети ветвями украшали дорогу Зиждителю своему, шедшему на страдания.

...Иисусе, одеждо веселия, одей мя тленнаго, Иисусе, покрове радости, покрой мя, недостойнаго. Иисусе, источниче разума, напой мя жаждущаго.

Творец небу и земли, — поэт Урана и Геи, как значится по тексту греческому Символа веры, всё сотворил Сыном. Во Христе скончаваются все наши желания. Христос наше счастье, воскресенье, жизнь, мир, радость. Во Христе цели стремлений наших.

27 июня. Понедельник

Понудил себя при выходе солнышка вылезть на крылечко. Царственность природы ощутил, но и свое убожество. «Если бы молодость знала, если бы старость могла»: велика мудрость сей пословицы. Бывало, в молодые годы каким подъёмом дух отзывался на высокие утренние часы Божьего дня. А теперь хоть знаю, вижу, что «входит Царь славы», что прозвучало заутре, как вчера (то же и во веки!), — «со страхом Божьим и верою приступите», хоть и знаю, что «душу Божьего творения радость вечная поит», а нельзя мне чашей той причаститься. Так грязен, что самому на себя противно. Людям врать-то устал, не то что Богу.

---

[1] Икос четвертый. — *Ред.*

В дневниках своих я «всё высокое да всё прекрасное» восписую. Люди, которые меня знали, на взгляд и на ощупь, опосле, ежели прочтут, ухмыльнутся: знали, мол, Фоку и сзади, и сбоку. Репутация моя известная. Я верчусь, что корабельный бот... Я бы на гробовой доске своей надписал: «Устал врать-то, дак прилёг отдохнуть». Людям мне не годится в глаза смотреть, но Христу Свету я смогу в очи поглядеть. Он один беду мою, и немощь мою, и скорбь мою знает и видит.

«Знаем мы его», — ухмыляясь или сурово, или презрительно, поджимая губы, сказывают люди про меня. «Знаю я его», — отзовется обо мне и Владыка мой. И от этих слов я и дышу ещё на сем свете.

Да, вышел на крылечко и к сердцу так принял: заря счастье куёт.

Намедни с брателком в пять утра к поезду спешили. И я, бежамши, всё ахал да дивился: а утро-то так и тыкало в зубы радостною, богатою своей чашею. С малых лет я знаю это про утра-те. Над всеми утрами наяву и сейчас как бы живу, когда к ранним обедням ходил там, в родном Городе... Тишина, лазурь, <1 нрзб.> по зелёным нашим улицам, блеск обильных вод и благовест, и я в шёлковой рубахе... Именинные свои дни особой ради празднественности своей в собор я бывало гряду. Будто ангел меня нёс... И ещё утра волшебные, тихие на реке Лае помню. Описать словом не можно... Не один год жил я на Лае. Из окон домичка нашего всё один и тот же вид: река под окнами, лодочка у пристани, изгиб полноводной реки, луга на той стороне, кайма лесов.

Но бывали утра, мы собирались с отцом на охоту. Он укладывает парус, весла, я гляжу диво, которое творится вокруг. Серебристый прозрачный туман над водами. Небо глядит в зеркало. Вероятно, отсюда и чувство волшебности, и будто летишь с чайками: небо опрокинулось в зеркале вод.

У меня есть фотография Оптиной. Снято отражение обители в реке. И я никак не пойму, которое монастырь, которое отражение. В море, на Гандвике у нас, тоже сладкое заветное волшебство. В тихие июньские сияния ночи корабль идёт в перламутровом тихом свете. Край моря сходится с небом. И вкруг одно жемчужное небо. «На воде покойне, тамо воспита мя»[1]. Здесь нету тех вод. Но... — «везде Господь». Прекрасно сегодня подёрнутое легчайшею пеленою сребро-сизых облак небо. Такая задумчивость в недвижности прекрасных берёз. Одни птицы посвистывают.

Солнца с утра не было видно, но облака на востоке над деревьями так торжественно-тихо сияли. А тишина была исполнена славы. Я не слышал, но я знал, что «имеяй уши слышати», услышал бы литургию ангелов. Я долго стоял на крылечке — это были минуты счастия. Торжественно стоят деревья, прекрасный рисунок ветвей запечатлен на фоне серебряного неба... Сейчас бы услышать песнопения литургии. Я и запел тихонько: «Придите, поклонимся и припадем ко Христу, спаси нас, Сыне Божий», а потом «Верую»... И как бы о. Зосима служит, а я пою. И он приглашает: — Горé имеим сердца!

Иногда мне кажется: дом-от радостный Хозяина моего Единственного, прирождённого, дом-от Божий заперт, окна и двери. А на дворе непогода. И я суюсь, тычусь в дом-от, бегаю вокруг, коли-то пустят?!

А то будто муха я, жужжу, бьюсь, лезу в дом-от, от зимы сего жития в тепло дома Божьего. Как собачка скулю о доме-то много уж лет. Я, чаю, многим надоел. А у которых кусок выманю, лихом ли, добром ли, тем уж я — ни на глаза!

Всё про утро токую, как тетерев: одно да одно... А я не один, Давид Царь раньше всех, раньше пастуха,

[1] Пс. 22:2.

небось, до третьих петухов поднялся да поёт: «Заутра услыши глас мой, Царю мой и Боже мой»[1].

Он, свет-псалмопевец, прадедко Христов, рано вставал, до зорь запоёт, правнука-то своего предвечнаго предчувствует, радуется, говорит Ему: — Утренюет дух мой ко храму святому Твоему. Се тьма и рано... А царские гусли уж звенят: царь Давид воскладает своя вещая персты на живые струны. Они же сами князем славу рокотаху, старому Ярославу, вещему Мстиславу, сиречь Ветхому вельми Отцу, и Христу, отмстившему сатане за человека. Славна та месть была!

Псалтырь утренние-те часы добре хвалит: Инже образом, говорит, желает олень на источнике водные, так желает душа моя к Тебе, Боже![2]

Любы вселенские эти молитвы. Весь мир христианский поёт Псалтырь.

...Восходит день, и просит человек: — Слуху моему дай радость и веселие! И Бог ему говорит: — Сердце чисто созижди[3].

Радость устам, радость спасения просит человек, хочет, чтобы устами хвалу Богу возвещать. Заблудился ныне человек, сошёл с пути единственного, ведущего к счастию. Осуетилось, избезумилось человечество. Забыли Бога, забыли молитву, не стало ни спокоя, ни радости, ни мира. И жить стало незачем.

Впустую проходит день. Даром тянется жизнь. Заели мир сей скаредные будни. Засыпан мозг-от радио пылью. Современный человек, что палка, воткнутая в асфальт. И навинчаны на тупую башку кнопки, и суждено человечку жалкому денно-нощно принимать мутные отхожие «волны». Разве останется что от чело-

[1] См. Пс. 5:3–4.
[2] См. Пс. 41:2.
[3] См. Пс. 50:10,12.

века? Где тут быть разуму? Страшен сей сон духовный. Но жив Господь!

Памятью о Боге велит церковь начинать день. Перед образом дома некогда, дак хоть на улице к востоку погляди. Не велики да споры утренние молитвы: — От сна восстав, песнь приношу ти, Спасе! Не дай мне уснуть во греховной смерти. Ты, распныйся, воссияй мне день безгрешен... Избави меня, Господи, от злобы мира и введи в Царство Твое вечное.

...И даруй нам бодренным сердцем и трезвенной мыслью нынешнего жития нощь прейти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня Иисуса Христа, чтобы нам оказаться готовыми войти в радость Христову и в славу Его. Тамо празднующих Глас непрестанный и неизреченная сладость зрящих Христова лица красоту. Ты еси Господи — истинный свет. И Тя поет вся тварь.

29 июня

«Как Феб, Аполлон в колеснице, шествует над березами знойное Солнце». «Ищи избранных слов союза, взлети со мной на Геликон» (Сумароков).

...Кто-нибудь взаболь подумает про меня: «Ишь, коль душа-то выспренна: чуть что, и исчезнет, утопая в сиянии голубого дня!..» Не верьте! Не будь то: весь я, по шею, в болоте слабостей, в тине дармоедной житухи. Сижу на лоне природы и расписываю небесный плафон. Жарко стало, душно, и я в беседочку убрался. А брателка уехал в Москву в четыре утра. У пиджачонка с локтишка отъехала заплата, зашивать некогда, и пришлось пялить на себя пальтище драповое. А люди-те голые сегодня преют. День что баня. Изнеможет брателко-то!

...Надвое у меня ум-то раскалывается. Отложить надо эти небесных-то лазурей описания. Надо «деньги делать», как все делают. Знакомые-то, друзья-то дав-

ненько во мне разочаровались: ни наград, ни орденов у меня. 50 лет, а... не взыскан-с!..

— «Если есть талант, его надо реализовывать!»

Я считаю, что я перед брателком на сто рядов виноват, отнимаясь болезнями, копейку не добываю. Ободрались, обносились, задолжали, опродались наокруг, а... я — будто не моё и дело.

...Но вот я знаю, что через всю жизнь меня носили некие крылья творческой радости. Но плотские всякие пристрастия бесплодными делали порывы творческие мои. ...Драгоценнейшими, заветнейшими жизни моей минутами является состояние, когда как бы очи сердечные, очи умные приоткрываются, мысль становится прозрачною. Вижу преобразившимся всё: вечнующим, прославленным. Такою видел долину Пажи в прошлом годе, носячи картошку на станцию. Истинствующими и вечнующими видел в 42 году в предначатии весны деревья, снега, ручьи на Чистых прудах. Не раз святым постом, пред Пасхою, сердце сказывало уму, что слава опускается на город.

6 августа. Суббота

С ночи как начал дождь чего-то шептать, так и шелестит однообразно, и день не может силу взять. Брателко при рассвете в Москву управился. Я, убравшись, «праздничаю». Чаяли по-вчерашнему вёдро сегодня, а лес кругом, не вижу вечерних зорь, не толкую, каков день придёт. Праздник сегодня светел, а нас, людишек века сего, что котят в канаве сатана топит. Не можем выбраться на Божьи берега. Праздник настоит, сияя, светлое Господне Преображение, а ум отяжелел, что кирпич, не забросишь его на Фавор-от. Ненастье лес накрывает, ни бабочки не порхают, ни кузнечики, одни лягуши шлепают в мокрой траве. Я, как жаба, на Гору-ту за Петром, Иаковом, Иоанном шлепаю. Ну, много

ли жаба ускачет?! Уступами Фавор-от, степенями. Век свой жаба пыхтела да пыхтела, а и подошвы у Горы-то одолеть не могла. Так в тине, в канаве житухиной и сижу. Глазишками бы последить, как те вздымаются выше да выше, но слепы глазишка-те.

Всяк день житухин, как собачья блевотина, снова да снова. Что вчера съела, то сегодня скинула. Одно да одно. Мотается народишко, пайка съедена давно, со свекольного боту в брюхе урчит. Картохи сейчас худые. Осень подходит. О дровишках страх. Тряпьё остатнее продано. Войне конца не видим. Обутёнка сносилась, одежонка с плеч свалилась, зима опять боязкая идет. А ведь праздник: Христово Преображение.

12 августа. Пятница

Старовер Трофим говаривал, бывало:

— Быват, заживёшь, что и помолиться со вставанием негде, и некак, и некогда будет. Дак на улицу выйдя, по пути хоть на восток посмотри, то велико добро...

День-от настанет, житуха-та пресмыкающая, не дни ведь, а будни. Дак какое добро с утра «на восток-от поглядеть»...

Собирать надо такие минуты. Оно хоть лоскуточки всё разноцветные, а ведь и одеяло, глядишь, выйдет. Нарядны бабушкины всецветные эти одеяла. Житуха-та знобит, а ты такое одеяло сошей, тебе и тепло будет. Ещё и внучата тебя, дедко, или тебя, бабка, помянут... Кабы мне из моих настроений сошить одеяло-то. Али лоскут худ? Вернее: ворох-то лоскутья велик, а воедино сошить силы-времени нет. Вот хоть эти записки мои. Собрать да перечесть бы!.. Не будет ли одеялишка?

15 августа. Понедельник

Нежно шелестят, звучат, прядут звук так шелковисто-нежно скрипки кузнечиков. С утра-та всё хотела

душа прославить Успение Божия Матери, а с дровами пробился, с печью. День тих стоял, светлооблачен; дубы, берёзы, точно опустив ресницы, слушают исходное пение, тайну дня. И в тысячу прялочек прядут цикады. Может, то не работа, а в гусельки они играют, день славят...

И вот добро и светло жить. Ведь есть в мире, оставлено нам, положено такое прекрасное, такое живоносное, такое сияющее...

С весны аж до Петрова дня была вода у нас здесь в прудочке. Своя была вода для грядок. С полулета усохла — что Бог с неба дождя пошлёт. С молоду бил родничок радости в сердце моём, своя была радость. Под старость не выжмешь ничего. Со стороны кто польёт, то и рад... Чего ни хватись, того нету. «Внимай себе», а в себе-то джаз кунявит нечто меланхолическое. Иссяк прудок радости моей: мал был. Я как лягуша ползаю посуху, прошу у Зиждителя: создавый мя, дак и помилуй мя!

Богат дождь-от сходит на верные сердца. Как сойдет, так человек все беды забудет. Надо добиться, брате, в широтах жить, где-ка эти дожди сходят.

16 августа. Вторник

...Ночи-те худо спятся, в 4 часа светает. За окном лес стеною, всё погляжу, обозначились ли на светлеющем небе верхушки дубов. А в комнате печка из потемок вылезет. Брателко худо спит, всё желудком неможет, к утру забудется, а уж вставай, надевай котомку да бежи. Я изныл над ним. Всё ах да руками мах, а на том не переедешь. Рад бы я жизнь за него отдать, как он для меня остаточки здоровья и сил ежечасно убивает, но время идёт, а я ни с места. Брателко мой делом всю свою жизнь исполняет повеление: «друг друга тяготы

носите и тако исполните закон Христов»[1]. Моя вера без дела, потому и мёртвою является для всех, кто меня знает. Имя Божие не светится во мне...

Давно ли я, приехав в лес-от сюда, дивился прозябающей молодой травке, нежным листочкам орешника, нежной зелени дубов и берёз... И вот на днях ветер был, и летел, летел жёлтый лист. Разноцветиться начинают леса. Сей год, говорят, рано листопад зачался... Сегодня в ночь и туман опускался прозрачен, но осенью пахнуло. А в ночах я всё звездному сиянию дивлюсь! Величавы стоят тени дерев. И по вершинам и над вершинами, что свечи мерцают в храме Господнем, толь славно и пречудно. Похоже ещё, как дома, смала, бывало, войдёшь в тёмное зало и чудишься мерцанию звёздному сквозь узор тюлевых гардин...

23 августа. Вторник

Ночи прохладны, на заре холодно. А с вечера мочило. В шесть часов, небось, всхожее-то взойдёт. Низко, красно по земле меж дерев светит. Птиц уже не слыхать. А я, недоспав, видно, в горестном равнодушии ползаю. Брателко всё неможет. Гадаем до зимы здесь прожить, но, знатно, не по силам будет Толе при дождях да грязях. Дровишек наготовили, но как-то в Москву перетянем?.. А о братишковом нездоровье так беспокойно, через этот ров не могу перескочить на тот берег, берег мира душевного Все слышу: «Каин, где брат твой Авель?» Вот потому у меня и мира, и умиления, и молитвы нету. Скулю к Нему докучно, как собака, а у Бога одно ко мне: «Каин, где брат твой?..» Вот у меня сердце-то всё и стонет, вот я всё и трясусь.

Вот я твердо, ясно и несомненно знаю, что моё дело жизненное... А оказался я с теми, кто дьяволу нанял-

[1] Гал. 6:2.

ся свины рожцы возделывать и плевелы в умы братий моих всевать. И хоть самый ленивый я в них, однако «лай не лай, а хвостом виляй»! Горе человеку надвое мыслящу и грешнику в два пути ходящу! Ведь мир душе тот может стяжать, кто «ум не разделен имеет». Ною об этом как нищий, всем надокучил... А дармоеды нигде не надобны. Ещё не таково телесное моё убожество, чтоб сложа руки сидеть! А я братишке, слабенькому, всей тушей на руки присел.

Навряд ли может статься, но ежели бы хоть часть какую писаний моих прежалостных прочёл кто имеющий дар рассуждения, то — отче или мати, сотвори молитву о убогой душе моей, о душе «глаголавшего и не делавшего».

Кто-нибудь подосадует: всё одно да одно пишет, жует свою жвачку, отрыгнёт да опять жует. Верно! Это потому, что внутренней-ет мой человек младенчествует. Недоносок он, не ходит, не говорит, не смыслит. Исприбился я с ним, только перепеленаю, он опять обосрался...

Вчера, ужинавши, простёр к брателку слово о том, что дуб шелестит не как берёза, а шум сухой травы опять же иная музыка.

А брателко: «Ох, объявили дрова-то по прошлогодним талонам. Какие хитрые! Где искать талоны эти? А новых до января дадут... Объявлено. Чем топить? Осень пришла...» Я и разинул пасть: не о том-де сокрушаешься, не о хлебе-де едином... О многом-де печёшься. И к чёрту я его, и к матери, и извод бы-де тебя, дохлого, взял, жить-де мешаешь... Он пал на койку-ту, лицо ручонками закрыл. Я на крыльцо вылетел, еще деру поганую свою глотку... В четыре утра он встал, к поезду.

Я всё Север хвалю — тем торгую. Но Север — родина, дом — те годы там — лишь заставицей расписною, золотой были к книге жизни. А жизнь-та вся с брателком прожита. Чувство беспредельного уважения, преклонения и благодарности, с чувством самой рыдатель-

ной любви, неутолимой жалости, денно-нощной тревоги о его здоровье — вот что меня и держит и укрепляет, но и разоряет, но и ломит за моё неустройство, за мою неисправность.

24 августа. Среда

Брателко и сегодня укатил в Москву. Ночь-ту я караулю: не утренний ли свет? Нет, всё еще месяц светит. Берёзы-те что бумажные! А и встали: не часы ли, думаем, вперёд убежали: долго темно. Нет, в пять пастух затрубил, и к шести быстро рассвело. Утро прекрасное, кабы не головная боль. Брателко, умываючись, вопит со двора:

— Скорее на улицу иди!

С запада высокий месяц светит, а с востока утренняя лазорь. Свет так пречудно меняется. И долго так свет зари утренней с ночным светом месяца, как Иаков с Богом, боролись. Восхожее солнце красными лучами стелет низко меж деревьев, по сухим осенним травам сквозь тоненький туманец, а месяц всё над лесом стоит, бледный, одинокий. Один остался без ночи. Люди проснулись, а невнятный ночной сон забыл потеряться. И сон и явь, и сияние зари, и лунный свет встретились. При первых красных лучах дым от костра золотой в лес пойдёт, а приподымется солнце, и дым будет голубой... Низкое-то солнце берёзы окрасит, и оне что свечи пасхальныя. Утро было мудро, птицам на разлёт, добрым молодцам на расход... Петухи редко так пропевают. Птичка тоненько булькает. А я, добрый молодец, пирамидончиком обожравшись и чаю крепкого надувшись, сердечныя капли потом буду пить. А брателко никакого чаю не дождётся —«Что мне твой чай», корочку либо картофелину схватит «с солькой» и убежит. А я бачерничать сяду, вздыхать...

20 сентября<?>

С тех пор как я «писать пишу, а читать в лавочку ношу», уже не под силу мне стало всякое чтиво беллетристическое и научное. Выбор чтения сузился». Т. е. перестал я хватать с полу всякий окурок...

14 октября. Четверг

Во вторник братец срядился в Хотьков, насчёт картошки. И ждал я его непременно в тот же вечер. И не приехал ни к вечеру, ни к ночи, ни утром, ни днём... Так у нас на веку не бывало, и я перепугался до полусмерти. Ночь-ту отгоревал, на рассвете выползла к воротам: тошно дома сидеть. Да так до сутемёнок, уцепясь за калитку, и мёр, ждамши. Домик-от наш на перекрёстке, я так и ел слепыми-ти гляделками переулки, тот да другой, да третий...

...Домой забежу, взвою, полотенце в рот запихав, чтоб соседи не слышали, да опять метаться к воротам. Случись что в Хотькове, думаю, дали бы знать... Знать, под машину попал... или по дороге сгрибчили <ограбили?>... И уж суморок падает... Заодевался бежать на вокзал... А он и стучит в оконце... Час я не мог успокоиться. Сграбился за брателкины ножонки... опять свет увидел, дыханье, жизнь воротилась. Ужас, отчаянье откатилось. Выпугался я, что брателко потерялся. Почернел весь. Лишь минутами Бога-ти помнил, звоплю сквозь зубы: Господи-де, поспеши же, Господи, помози же! А Бог-от и не без милости.

На дворе сухо. Снег не был. И дождя мало. А я уж (глупый я!) сыздали высматривать начал... Рожество! А что? Три царя из стран далеких вышли небось. Ведь не на самолете летят. А вернее всего, что по санному пути они выедут... Так на Руси. Вот ещё что рожественскую

песенку во мне заводит: — старый немецкий журнал, святочный номер. И картинка — Сон Иосифа — чудесная, в стиле Джотто, фреска. И стихи, такие детские, такие простые, ласковые, домашние, уютные... И вот, спустился вечер. В тихом хлеву Мария баюкает: спи, дитятко, спи. Пастухи сказали, что Ты Konigsknabe[1], а я — Gottesmutter[2]. Они много говорили и пели...

Наши рождественские песнопения превыспренне догматствуют и богословствуют. Наши рождественские песни «еже от века утаенное и мудрецам несведомое таинство восписуют. Преже век от Отца роженного нетленно Сына, и в последняя от Девы воплощенного...» У нас древлия пророчества приводятся.

Конечно, есть у нас и стихи народные, христославные — колядки. Это домашнее, семейственное, детское Рожество, столь пышно расцветающее, столь всеобдержно охватывающее старую Европу (и Америку). Это Рожество очаровывает душу. Наша душа хочет коснуться столь сильного аромата их праздника.

Да, рано я запел о Рожестве, раньше петухов. Но три царя, чай, уж ладят сани в дальний путь и поглядывают на небо — не покажется ли звезда. Сегодня четырнадцатое, а через пять недель «Христос рождается» запоют.

<Ноябрь>

...В Александров день с эстрады вякал два часа. Публика — художники. На улицу-ту вышел: поносит меня. Да, песни пой, избу крой, а шесть досок паси... Худой стал я. От силы на сотню публики меня хватит, а уж на большой сцене опасность. Боюсь, что с воронежскими гастролями одни разговоры.

---

[1] Царский сын (*нем.*)

[2] Божия Матерь (*нем.*)

6 декабря

Никодим, впоследствии игумен Сийского монастыря, тонкий любитель искусства и писатель по вопросам искусства... «чернец Никодим» давно дожидается монографии.

Древнерусская культура... из многих разнообразных и своеобразных, но одинаково прекрасных элементов она состоит. Новейшая, массовая стандарт-цивилизация... Тачает она массовые стандарт-болвашки. Всё тут «массовое производство»: всё безлично, всё тупо и плоско. «От моря и до моря» один штамп.

К Тебе возведох очи мои, живущему на небеси.

<Без даты>

Всё рыжебородаго, златобородаго, солнцевласаго дума-та хочет величать... Сергия, говорю, Радонежскаго. Он всяко люб. Позднейшие иконники худеньким старичком пишут с седенькой бородкой. На кушнарёвских хромолитографиях[1], большими оне тиражами шли, Сергиё-то вконец больным, измождалым смотрит. На древних иконах, пущай оне измождали, а как дубы святые-те. А у новейших «богомазов» все как старички больничные. Конечно, у Нестерова Сергий хорош, духовен, хотя тоже сухонькой старичок. А в картине Русского Музея в Петербурге «Сергий Радонежский» он и похож.

— Да ты разве видел его — «похож»?

И видал, и люди видали: свидетельства есть, каков бяше преподобный образом телесным. Брада была большая, густая, златорусая. Власы главные густо же

[1] Речь идёт об издательской продукции известной в конце XIX — начале XX в. типографии (типолитографии) товарищества «И. Н. Кушнарёв и К°».

обрамляли высокое чело. При честных, святых и благоуханных костях Преподобнаго (кои свидетельствуют, что он был велик ростом) видел я и власы его, как бы пясть золота или златоцветнаго шелка. На древних монетах малоазийских сохранился лик Зевса. Тип Фидиева олимпийскаго Зевса. Вот каков был, на кого похож, судя по древним иконам, Сергий Радонежский. Но не тщедушный старичок. И постническая измождённость Сергиева была величава.

Он ходил пешком по Руси. А дорога от Маковца до Боровицкого холма, до Кремля Московскаго исхожена его стопами многократно. Как солнце, ходил он от Троицы по Ярославской нашей дороге к Москве. Тут всё его помнить должно, Ангела Русского...

В 39-м, в 40-м году, как жил я в Хотькове, всё мне там дышало и говорило о нём, «первом игрушечнике». И что узнавал, то я списывал. Много радости написывал карандашиком...

Кости Сергиевы пресвятые я видеть сподобился и руку целовать. Эти кости — основание твоё, Русь Святая. Всяк должен одеть в себе сии живоносныя кости плотью и кровью. Сии праведные, благословенные кости, подобные свещам яраго воску, подобныя корням всесвятого некоего древа, и есть корни твои живоносные, о Русский народ, о Земля русская!

...Я, нижайший, всё в худых душах, вернее, в худом теле. Печку еле истоплю. Ничё не сплю. Лежу, сам себе в уме какой ни-то рассказ рассказываю. Людям-то некогда меня слушать, а мне им рассказывать негде. И я сам себя веселю. От печальных мыслей себя увожу.

...Человек века сего, удачливый ли, неудачливый ли, спокою не ищет

Дневники

1945

2-е февраля

чет. в 2 [illegible] От полноты

[illegible] чувств, от избытка
сердца надо праздник — от
прославить, святыми соборами по-
хвалить. А я как лягушка, в тину
утопал, квакну однажды, уныло да
через силу... На что-то пыжится,
убогая.

+ Некогда вся жизнь была прекра-
шенна, нарядна и обрядна. Весь быт
дышал поэзией и искусством, волшеб-
ство и сказка проникали ~~все~~ ежеднев-
ный быт. Москва была древняя
Русь. Таков был у нас еще и XVIII
век. С воцарением стандартной, механи-
ческой, мертвящей цивилизации в
XX веке выдули, вытравили, вырубили
из быта народный уклад, старинные
[illegible]

1 января

...Познал мир Василий Великий[1]. И воистину дивно и живо и тайны радостной исполнено всё вокруг нас. Слушал: Христос учил воды освятити. «Днесь водам освящается естество». Как сладко и светло стало жить, зная-ведая, что природа вокруг нас также живёт таинственно.

Но не любит природы тот, ни во что не проникнет, ничего не уведает тот, кто жизнь любит проводить «по морям, по волнам, нонче здесь, а завтра там». Чтобы очнуться от мертвенного отношения к природе, чтобы воскреснуть о ней, надобно поставить «келью под елью». Понятие «пантеизм» должно быть осознано, освещено, озарено по догматам, по истинам веры Христовой... Завтра преподобному Серафиму Саровскому. Возьми веточку того леса, где жил преподобный. «Обоняй ладан Саровских сосен».

Разве не о Боге вездесущем, всё исполняющем, шепчут прозрачные струи лесной речки Саровки? «Радость моя», — называл Божью тварь Серафим.

...Вот он, ангел земной, в лапотках, с батожком, бредёт сосновым бором, собирая бруснику, чернику... Святый знает, что он в храме. Подвигом всей жизни человек Божий привёл себя в это сознание. Святый отрёс мутный мертвящий сон мира сего, воскрес со Христом и сам, истинно живой, всё узрел живым.

---

[1] Свт. *Василий Великий*, архиепископ Кесарии Каппадокийской (379).

5 января. Четверг

Навечерие Святых Богоявлений. «Часть моя на земле живых» (псалом)[1]. «Земля живых» — сад. И праздники Господни — деревья благосеннолиственные, благословенноплодные. Не успели налюбоваться, накрасоваться под сению древа Рождества, а уж зовут из Вифлеема на Иордан. Тут древо процвете яблоки живодательные. Тут воды живы протекли.

«Земля живых»... Древо древа краше. И всё богатство наше неиждиваемое: неистощаемые сокровища, сколько их ни держи. А се ты их и не знаешь...

...Праздник Святых Богоявлений, праздник Просвещения...

...Приникал ты к существу сих? Размышлял о сем и угоден Празднику? ...Близко не бывал... Тема велика и живописна: «Водам освящается естество»[2]. Воды... Живы оне.

Тема: «Явился еси днесь вселенней, и Свет Твой, Господи, знаменася на нас...» В Преображение к Свету приникаем и в Крещение о Свете сердце поёт. Ещё тема: «Троица явилась вкупе днесь». Ино не мне, таракану запечному, рассуждать о сем. Я все что-нибудь для себя выхватываю из песен-то. Люблю, как Христа Светом называют.

«Явился еси днесь вселенней, и Свет Твой, Господи, знаменася на нас...» Христосе. Свете истинный, просвети лице Твое на ны.

...Свете тихий... Нет тебя любле, нет тебя краше, свете святый.

К человеку обращается *религия*, а человек-от великой воз тащит хламу и мусору — изобретений прогресса

---

[1] Пс. 141: 6.

[2] Из тропаря на Великом освещении воды: «Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод возвращает струи, Владыку зря крещаема».

и цивилизации. Ненужно вредными, гиблыми изобретениями порабощён, захламощён мозг человека. Вырожденческое изобретательство убийственно поражает человечество столь напрасно, жалко-скаредно ухищряющегося в изобретательствах. Надо бросать этот сумасшедший дом.

8 января. Воскресенье

...Горе сердцу надвое мыслящу!.. Попажа в церковь трудна, в трамвае мёрзнуть ехать, в церквах нетоплено, а я и дома в шапке сижу. На липовой моей ноге, на берёзовой клюке уж сползал бы, с грехом пополам, на Хитров к Петру и Павлу. Но вопят там певчие (сытые) неистово. Уж лучше б бабы голосили...

В сердце человеческом да в природе Бог-от. Моё сердце у нужды в руке зажато. И никто не вызволит, не пособит мне. Какую же радость себе или людям выжму я от такого сердца?! Граблюсь я за природу. Но как лягушка из канавы, как таракан из щели взглядываю я на природу. Иное обрадуюсь о ней, дак после оскомина — будто украл что. То неба украл кусок, то серп апрельского месяца на стеклянном небе, то аромат весенней земли, то галочий крик ввечеру. Это ничьё, это Богово. А и не моё. Это всё дано справным людям. Всем дано, одному не дано — я баню не топил, дров не носил.

В сумерки всё поспешаю выползти на улицу. Будто устюжский мастер на старом серебре навёл этот изящный тонкий и густой рисунок деревьев. Белые крыши, белый переулок, серый туск домов...

Даже у Тютчева живы и живут в нас, и вечны, и могущественны лишь тема смысла существования, тема Бога, темы философские, также несравненные типические описания природы, картин природы. А темы

политические уже отошли. Не трогают нас, сколько бы пафоса ни влагал сюда поэт...

Глубокая и чистая искренность человеческая поражает нас в Тютчеве, в его поэзии и влечёт нас к нему. Это был человек-философ-поэт с миросозерцанием цельным и законченным.

Поэт был человеком светским и семейным. Была привязанность и «на стороне». Но печать великости душевной у Тютчева и к дальним, и к ближним.

Человек великого и острого ума, великого сердца, Тютчев был религиозен. Поэтому и ныне все взыскующие Бога не могут не приникать к поэту, творчество которого запечатлено касаниями к миру горнему. Мы не можем не любить философа, достойно и вправе «горняя мудрствовавшего». Взыскуя Бога, Тютчев далеко не всегда праздничен, просветлён; не часто он славит и хвалит. Когда тоска хватает и жмёт многоскорбное сердце поэта, когда сердцем овладевают отчаяние, одиночество, пустота, поэт как бы не находит Бога и в небе, и в природе...

Кого из «верующих» шокируют «срывы» Тютчева, тот ещё более соблазнится и смутится несказанной искренностью Евангелия. Например, отношением учеников к воскресению Христа.

10 января. Вторник

Январь месяц... Мороз скрипит. Оконце моё что шубой одето белой. Сквозь узор ледяной ясень брезжит крепкая. Деревья закуржавели. Народишко бежит, утуляя лицо в воротник. Как там воюют дети наши? Михайлушко забежит в шинелишке — согреться не может. А се и нам, старикам, согреться негде...

12 января. Четверг

Брателко по хлеб бегал — ножонки откоченели. Слёзы выжимает мороз-от. Тоненькой братишко-то, бледненькой — ни кровиночки, мёрзнет. А дома ни картошины, сегодня в рот нечего положить — надо на рынок, пол-литра на картошку сменить. И взмолился братишко-то:

— Матерь Божья, святитель Николае, замерзну я на рынке!..

А из сеней и лезет солдатёнко: «За водку картошки-морковки не надо ли?» Мы и радёхоньки. Брателко ликует:

— Бог-де не убог, и Никола милостив!

Хоть несколько дней от морозу поотсидеться. На рынке в холод-от жмутся, трясутся, скачут с ноги на ногу... На рынке картошка 14 р. Нам по 6 р. обошлась.

Как брателко сядет, понуря свою кудрявую головушку: как-де перевернуться, где взять? — он пригорюнится, и я распадусь... А управит он хоть картошки, хоть на три дня, и я, как глупенькой, развеселюсь. Мы и тянемся так уже не первый год. Братец тянет воз-от. А я такой, я по-реченному: скоморох голос на гудке настроит, а житья своего не устроит. И другое писанье: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Я вот стою, разиня рот: что музыку, слушаю звонкие, такие игрушечные галочьи голоса, как они в прозрачной румяности зимнего вечернего неба стадом летают. А у людей, мимо бегущих, целеустремленность дела да комбинации у всех. Тот меня толкнёт, другой обругает: стоит дедко, ворон считает. Они правы.

16 января. Суббота

С субботы метель метёт. Приятно вздумать: город стал мягкий, белый, нарядный. Часа в три ночи наро-

ком выскочил я на улку. Ни огонька... Серебристо-белый свет от напавших везде — крыши, карнизы, заборы, деревья, дороги — снегов белых, пушистых. Будто и не ночь, а день, только не наш будничный, а день в сказке, полудень-полуночь в некотором царстве. Молча падают снега, всё молчит, ждёт продолженья сказки. Сказочная свадьба снежного царевича неслышно должна проехать этими уготованными к празднику лебяжьми переулками... Как люди-те уснут, снега устелют дороги, чисто, неслышно припадёт — тут сказка и свершится.

Ходил сейчас проведывал чашу мою небесную. Моя чаша, и небо в ней моё. Мне дадеся. И как она разнолика! Сейчас исполняет чашу облак снежен...

Ненаглядна переменчивая, живая красота неба. Чаша моя — абрис неба над московским двориком в виде чаши...

19 января. Четверг

Помню, отец, бывало, сказывал: «На Новой-де Земле на Офонасьев день в полдень светло явится, на часок светильник погасят зимовщики». Здесь, слава Богу, порядком дня прибыло. Скоро 5 часов, а в нашем подпольице ещё можно писать. Только из-за дыму дня не видишь, во всех комнатёнках затопимши, на четвереньках жильцы ходят, ребят на улицу выставят. Заросли трубы сажей. С морозов картошка вздорожала: 18–20 р.

«Ярослав мутен сон видел», а я сегодня сон светел видел, дорогого наставника детства, учителя светлаго о. Зосиму. Будто он вошел уже в класс, и ученики стихли. А я по-за двери бегаю, извинительную фразу придумываю своему опозданию... Смущённо подхожу к кафедре, но о. Зосима ветречает меня весёлым

и радостным лицом. Бледный, худощавый, серьёзный лик дышит радостью. Уста, очи сияют улыбкой. Восторженно возликовав о таком расположении учителя, я хочу поклониться ему в ноги. Он удерживает меня, и я целую наперсный его крест и затем ланиту... На о. Зосиме серая нанковая риза, в какой он обычно ходил на уроки.

Я проснулся, уже светало, в комнатёнке холодно, тяжело кашлял брателко, видя, что я сижу, спросил пирамидон. Я скорей начал напяливать на себя свои лохмотья. Но радость какая-то светилась еще на сердце...

28 января. Суббота

Церковь — земля хлебородимая, плодородная. Если томится твоя душа в сем житии, желанием чудным полна, знай, — только Церковь утолит чудную оную тоску. Нету зимы в Церкви, но всегда лето благословенноплодное. Вот январь месяц круга церковного, бытия годичного. Точно нивами идешь золотыми, спеющими. Се поля Васильевы вседовольные, се Григорьевы хлеба вечнующие, се Иоанновы красуются нивы сладкие словес золотых. Январь месяц, а в Церкви живя, что лугами ароматоносными ходишь. Тамо цветы Антония Великого, а тамо — Феодосия, здесь Ефрема Сирина луга благоуханные, а вот цветы Евфимьевы... Макария Египтянина. И философ Нисский, брат Васильев, и юный кущник Иоанн, и божественные Кирилл с Афанасием[1]. Столпы Церкви и доброта ея.

В сем соборе зимне-январском, но жаркого паче солнца и паче огня и угля будни скаредные испепеляющем, и от Святой Руси видим крины благие и вечные.

[1] В этой дневниковой записи упоминаются те святые, празднование памяти которых происходит в январе.

Серафим Саровский, Феодосий Тотемский, Павел Обнорский, святитель Филипп. Ефрем Сирин: нилоструйные источники слёзные. Час предвидя суда, рыдал еси горько Ефреме, поёт Церковь. И нас к плачу зовёт Ефрем. Но выплаканные с Ефремом слёзы всю муть житейскую унесут. Ефремовы слёзы в нас золото чистое отмоют. Ах, сладкая радость на дне слёз, с Сириным оным выплаканных. Ведь Ефремовой речью молимся мы, сладкие оные сказывая словеса: «Господи, Владыко жизни моей! Дух праздности...» Ты и ныне молися о нас, звезда всемирная, превысочайшая.

1-го февраля. Среда

Многоболезненное, нужное, расслабленное житьё-бытьё привлачило меня к убежденью, что если ещё возможен в горестном моем положении мир душевный и даже «радость неотымаемая», то только сам я, подняв себя за волосы, могу затащить себя на эту прекрутую и претрудную гору. Видя, например, в тропарях святых, что постоянно и благодарно величаются от нас святые как целители и врачи, как податели неисчетных благодеяний душе и телу, я думаю горестно: «Этот квас не про нас...»

2-го февраля. Четверг

От полноты чувств, от избытка сердца надо праздник-от прославить[1], светлым собором похвалить. А я, как лягуша в тине утопая, квакну дважды, уныло да через силу... На что-то пыжится, убогая.

Некогда вся жизнь была преукрашена, нарядна и обрядна. Весь быт дышал поэзией и искусством, вол-

[1] 2 февраля — Сретение Господа нашего Иисуса Христа.

шебство и сказка проникали в ежедневный быт. Такова была древняя Русь. Таков был у нас ещё и XVIII век. Сквозняк стандартной, механической, мертвящей цивилизации в XX веке выдул, выветрил, вызнобил из быта нарядный уклад, старинные красоты, аромат вековой домовитости, красоту традиций. Ныне все всё растеряли. Голые сидят на пусте месте: всё равно чем от ветра загородиться, всё равно каким лоскутом тело прикрыть. Кучами живут, как на вокзале жел.-дор. узла. Все кучей в любом доме.

Какой тут обряд, старинная праздничность от дедов преданная... «Едим чужое, носим краденое». Из быта выветрилась всякая старая обрядность.

Между тем в церкви остаётся старинная сложная уставная обрядность: обстановка храма, многосложное чннопоследование богослужений. Входы, выходы, выносы, иконостасы, врата, завесы, огни, кадила, возглашения, древнеславянский язык, облачения священнослужителей.

Некогда древнерусский, скажем, человек, приходя в церковь, лишь переключался из одной красочно обрядливой обстановки в другую, более высокого стиля, из доморощенной цветистости отеческой избы в преукрашенность древнерусского храма.

Наш опустошённый быт совершенно утратил связь с чинами и обрядами церкви. У пожилых людей церковные службы, праздники ещё связаны с милыми и дорогими воспоминаниями, скажем, детства. Но, вот, молодежи нашей церковные службы чужды и непонятны. Правда, многим нравится церковное пение (атавизм). Но многие ли идут глубже?.. Но это экскурс в сторону от темы.

...Ведь и для нас, стариков, литургия... совершается где-то там, далеко... Если храм закрыт или далек, мы годами можем не быть у обедни.

Нельзя ли как-то литургию внести в наш быт? Освятить его... Ведь литургия вечна; литургия на все времена. Она вне стилей, вне эпохи. В «Серебряном голубе» у Белого изображены какие-то сектанты, причащающиеся французской булкой. Тут есть драгоценное: проникновение таинства в жизнь, в быт. Бывали случаи, что таинство совершалось при произнесении священных формул и неосвященными людьми (дети).

Конечно, нельзя играть в таинство.

«Простые сердца», конечно, не смущаясь, вносят и в обстановку храма ужасающее обывательское безвкусие. Иная чтимая икона имеет вид галантерейного киоска: электрические лампионы, замаскированные тюлевыми бордюрчиками, банты из стружек и т. п. Но — «чем богаты»... Главное: церковь и храм должны быть связаны с жизнью. На это бьют сектанты, собираясь в простой комнате за простым столом, покрытым белой скатертью.

4 февраля. Суббота

Одно было, когда исторически-книжно осведомлён о какой-либо местности, хотя бы и славной и преименитой. Представление о крае, городе, обители живёт в голове отвлечённо. Вот не мало читал я о Владимиро-Суздальской Руси. Карамзин, Ключевский, художественные описания памятников, фотографии. Знаком с художниками, побывавшими там.

Но, вот, работает у нас каменщик владимирский, печник. Его деревня меж городом Владимиром и Боголюбовым на р<еке> Нерли. Каменщик любит рассказывать о своей родине. Там его дом, семья. Он рвётся туда.

И, вот, под его рассказы открылись для меня дали в ту сторону, расступились горизонты... Дивная цер-

ковь на Нерли, Боголюбов, собор во Владимире — уж не фотографии.

10 февраля. Пятница

Февраля серёдка, а мороз прижал. В соседи за водой надо... А я чаял оттепелей. Но свету стало много.

13 февраля. Понеделок

Мишуткину печурку сняв, добрый человек галанку на шведку нам переделал. Хоть на дрова шведка-та охоча, да краса чисто и тепло хранится. Не знаю, за что полюбил нас добрый человек. Работа тысячу стоит, а он только смеётся да рукой отмахивается. Не на словах жизнь проводит, а делом людям пособляет: «Калоши у вас на меня глядят: туды-ди, тамо-ди, пойду бензину добуду, залью калоши-ти. — Пол у вас глиной я заляпал, завтра прибегу вымою... — Сетки на меня глядят из углов, да-ко я сниму...» Из худой кастрюли сделал нам «печку» — варит и жарит, знай лучинки подкладывай. Мало кто пострадал столько, сколько этот владимирский мужичок, каменщик, не по годам начавший болеть, а какую он сохранил ясность духа, мир душевный, беспредельное благожелательство к людям. Творя добро, такие люди других подвигают на добро. Вот крайность заставила нас продать пайковую крупу. А должник не несёт денег. А у нас: — стужа, да нужа, да нет ей хуже. Брателко и бежит к должнику. А у того нетоплено и неготовлено. Зарабатывал электроплитками, теперь оне не идут. И болен лежит должник-от... Братец мне и говорит: — Вот каменщик какое нам добро сделал, мы ли не потерпим на Кузьме-то. Давай снесём ему дровец...

Вчера было воскресение мытаря и фарисея. Замечательно поёт на сей день Церковь: «Фарисеева убежим высокоглаголания и мытареве научимся высоте глагол смиренных»[1]. Это мне на долгом моём носу зарубить надобно. Люблю слышать «дальней лозы прозябанье и горних ангелов полет». А по моей мере насколько мне полезнее было бы научиться из глубины сердечной износить сие мытарево: «Боже, милостив буди мне грешному»[2]. Великим умом и опытом отцы-те беседуют: «Ежели видишь подвижника юного, новоначального, уже возносящегося на небо, то ухвати его за пятку»... Подвижнику иноку не полезно парить мыслию в превысочайшем, а о такой худой грязи, как я, что сказать...

Я вот месяцами не разговариваю, не вижусь со многими старыми знакомцами по дому за их равнодушие к *вере*, к *Церкви*. Они голодают... А что же, им, голодным, за радость, что я знаю, когда какой праздник? Ведь я им и ста грамм хлеба не подал за двадцать-то лет... Вечный мне укор слово Христово: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего иже на небесех»...[3]

14 февраля. Вторник

Святый Григорий рек: ежели ты не ожидаешь себе ничего трудного, когда думаешь приступить к философии, то начало твое вовсе не философское, и я порицаю таких мечтателей. Если эта философия только ещё ожидается, а не пришла на деле, то человеку бывает приятно. Если же она пришла к тебе, то или терпи,

---

[1] Кондак недели мытаря и фарисея.

[2] См. Лк.18:13.

[3] Мф. 5:16.

страдая, или... будешь обманываться в ожидании (из Патерика).

Это значит, что ежели, скажем, инок стяжал какую-то меру, в чём-то преуспел, то он начинает терпеть свои страдания, нужду, скорбь, болезнь — радуяся... Но отнюдь это не значит, что вот взял на себя человек иго Христово, положил руку на рало, пошёл за Христом и воцарилось у него материальное благополучие и стал он физически здоров.

Сесветное богатство — не зашита от скорбей, печалей, только богатство во Христе. Только в Боге богатеющий совершенно безопасен и избавлен от тоски, отчаяния (П<а>т<ерик>). Скорбь его дивно претворяется в радость.

Преходят дни, недели. Всякой день вижу в святцах имена мучеников, преподобных. Церковь сохранила, списала жития их пречудныя, повелела нам читать эти жития на всякой день. То велика сокровищница. А я вот не приобрёл за всю жизнь житий, не позаботился припасти себе оные ежедневные пречудные светила.

В Четьих Минеях предложены человечеству изображения жизней, характеров, чувств, поступков прекраснейших, единственнейших, несравнимых. Что было лучшего в человечестве, то изображено в Житиях. Дано сие нам на все времена. И более высокого прекрасного не будет. Но мы не желаем всяк день любоваться сими драгоценностями. Мы предпочитаем ковыряться в мусоре, — современное чтиво.

16 февраля. Четверг

После морозов, столь поздних и болезненных для М<оскв>ы, снежок пал сутки, а сегодня что, думаю, за шум на дворе, а это с крыш каплет, где на полдень стена. А брателко сколько оживился, что весною пах-

нуло, друга столько обеспокоился: башмаки зашить, неможно мастера нажить. С водой бьёмся, кругом по домам водопроводные трубы замёрзли и лопнули. Снегом много ли намоешься! Руки, как башмаки. Мы ещё хоть потапливаем, а люди в когти дуют, сидят. Уж как я завидую пронырливым, ловким людям: они не допустят свои семьи до голода и нищеты, как я близких попущаю.

17 февраля. Пятница

Я себя повадил: я уж на том коне еду, что весны да Пасхи жду. Приятным люблю заниматься, верхоглядствую. Надо жить, чтобы всякой день в чести держать, с пользою, а я перескакиваю, не укрепляюсь ни на чём, не запасаю, не сею, а жатвы жду. «Близорок, — через шаньгу за пирог». На баснях время провожу. Оттого наг-то и хожу. И опять думается, — вот А. Толстой помер, как жил, какие миллионы оставил. А что взял с собою, кроме трупа? Впрочем, я не знал, что это за человек был, может и помогал кому.

Брателко разогорчился вчера: у «власть *имущих*» по *союзу* талон дровяной на ½ метра спросил. А писалка из *Бердичева* отказала: «Какую ми имеем от него пользу?» Братец себя приругал: 40 — 50 р<ублей> талон-от на рынке стоит, а *литфондовский* тачас<?> в грязи вываляет и в душу наплюёт за ордер на тряпичные туфли, на носовой платок... На меня брателко-то потужил: «Последняя де грязь пархатая пяту на нас подымать смеет...» — «Братец, — говорю, — иное и полем идёшь, видишь кучу, не раздумывая, переступишь. — Куч-то много... — Плюй да переступай. Да всё дальше».

Вот мое преуспеянье каково: от всякой вши без души. NN негодует: «Почему вы о *лимите* не хлопочете? Всякое ничтожество имеет *лимит*»! ...Просил, не

дали... Растужусь иное, из-за семьи-то, хоть и невелика она... Противно: житуха-та лягает копытом (*лимиты*, *литеры*, и т. д. и т. п.)... Потом раздумался. Услышу, как издали поёт кто-то: горе-де имеем сердца! Мне и стыдно станет. Охота припадет из низости-то подняться душою.

Зачитаю изусть Евангелие пасхальное: «Въ начале бе Слово... В томъ жизнь бе и жизнь бе светъ человекамъ. И светъ во тьме ложится и тьма его не объятъ...»[1]. Масштабы-те мои и станут на своё место. Мусор соберётся под порог, перестанет застить большой угол, где Лику Христову подобает быть.

...В ночи всё снежок падал, с утра сегодня так светлооблачно. И тает. Капель с крыш. А переулочки все беленькие, трои сутки перепадывают снежки белы. В ночи всё выскочу на улку: бело, тихо, сказочно в тишине. Того летом не бывает. Летом грязь глядит с земли. А в зиме белой, тихой, по облакам, по небесьям ведь ходим. С неба снеги-те.

В лете снимутся с города белые скатерти и опять замызганные уличёнки да пыльные площади. В зиму чисто дышать, в лете....

18 февраля. Суббота

Было время, шатаючись, на красивые лица зарился. Бывало... встретишь человека, и как стрела отравленная падёт в душу... Слава Богу: теперь иная красота и иначе запечатлевается.

...Мне иногда кажется, что я одинаково люблю и лесную дорожку, и каменную сказку какого-нибудь ненарушенного с XVII века московского переулка. Ивановский переулок — нечаянная и новая радость. Площадка перед Ивановским монастырем хаотична:

---

[1] См. Ин. 1:1,4,5.

Мамай воевал. Прямо: какой-то эллинг меж двух башен псевдорусского «gotique». Слева на горе — обезглавленная церковь... Вправо уклон к Солянке. Влево опостен монастыря вьётся тоже под гору переулочек... Сразу я попал в тридевятое государство. Слева, ежели идти вниз, старинные невысокие дома, узкие оконца...

Точно тут никто и не живёт: ни души не встретил. Только много ворон сорвалось молча с долгого деревянного забора. Вправо тянется, опускаясь тяжелыми уступами вниз, монастырская стена.

Безлюдье. Тишина. Белый переулок. Золотисто-серые каменные уступы с горы. И прекрасное, лёгкое, облачное небо... В каком я городе? В каком я веке? Узенькие лебяжки по уступам карниза. Снежно-лебяжные опушки придают тяжёлому серо-золотистому камню нежность, праздничную нарядность. Старый город жив. Древняя матерь М<оскв>а. Вот она где. Я думал — нет ея. Старые камни, белая уличка, серо-жемчужное небо. Тишина... Девица. Не умерла, но спит.

20 февраля. Понедельник

Чётки бывают драгоценные, перламутровые, хризолитные; зерно — другого краше. Звенья переменяются молитвенно. Таковы дни Божии. На чётках одно зерно крупнее и по нем рядовые. Применю к воскресению и седмице. Особливо проникновенно начинает молиться Церковь, дойдя по дням-чёткам до недели мытаря, до воскресения блудного сына... Зима кротеет, подходит пост — «жительство ангелов». Наступает март, — блистающий ещё по Северной Руси снегами, но и гремящий уже ручьями. А до Великого поста — три воскресения предначинательных. В Церкви всё строится красотою

и в красоте. Чудною песнею, умиленною в слове и в музыке, одето воскресение блудного... «Объятия Отча отверзи ми потшися»[1]. Её поют на пострижении. Как будто дни предначатия весны, дни тихих ночных капелей, дни тихой русской весны с проталинками, на которые прилетят жаворонки <2 нрзб.>, постригают в чин ангельский, умилительными песнопениями располагает Церковь сердце человеческое к приятию подвига постнического, Триодь Постная, чаша светлой печали о Господе.

...Безумно удалился мир сей от славы дома Отчего. Во зло расточает силу творческую род человеческий. Отравою помрачён ум человека ныне и очумев, отупев, бредёт за врагом, за губителем, за убийцами своими... Так болен мозг мира сего, так слаб и растлен, что как бы и не может быть вместилищем истинного разума. Но ...жив Господь! Иисусе, быстрота умная. Иисусе, память предвечная. Иисусе, светлость душевная. Иисусе, мудрость священная.

21 февраля. Вторник

Братец вчера во втором часу ночи домой прилетел, уж часы ночной ходьбы вышли[2]. А иные, слышь, в подворотнях до 5 утра крылись с чеками. В пять брателко убежал по выдачу: «соль, спички, жиры, кондит<ерские> товары». А я Ивановским переулком шаркнул к Петру и Павлу. Но уже стоял белый день. Слишком светло

---

[1] *«Объятия Отча отверзи ми потшися».* — «Обьятия Отча отверсти ми потщися, блудно иждих мое житие, на богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих, Спасе...» — строки из тропаря канона утрени в неделю о блудном сыне.

[2] *...уж часы ночной ходьбы вышли.* — Речь идёт о комендантском часе в Москве.

для сказки. Сильно белесый свет снега, сильно белесое небо. Шёл мимо монастыря. Точно фото сегодня. А тогда была картина, полная тихого вдумчивого настроения ... Сегодня февральский зимний день — и всё. Ультра-белесая оптика. Бывает, пойду пеш в церковь, дак запечатлеется, зерном похода явится не служба церковная, а дорога. Сегодня дорога была скорлупой, а зерном, пожалуй, обедня. Хотя на клиросе вместо хора притужно кричал дьячок да нежно аукала какая-то женщина... Но молитвенные огоньки лампад, тихие истовые возглашения старенького иерея. А убежал, не поспел звонко и чистоголосый дьякон возгласить: «Оглашенные, изыдите!». Думаю: братишко придёт, а чайник не готов. Да и башка замёрзла.

О Тютчеве.

Я, вот, люблю примечать состояния природы, тона неба... Тут великая тонкость потребна. Для обывателя: — небо и небо. Зима и зима... Но поэт видит многое разнообразие. И я вижу, да определения у меня единообразны: — тихий, тихостный; умиленный, радостный... Да опять снова. У Тютчева удивительна тонкость, разнообразие, многообразие его определений и в картинах природы, и в том, какими словами он отмечает нюансы своих душевных, столь богатых переживаний. Поэт не лезет в словарь старинных словесных красот. Его краски и рисунок индивидуальны. Это акварели или тончайший мастерский рисунок карандашом.

...Цветущее блаженство мая...

Вяло свод небесный на землю тощую глядит...

...И торопливо, молчаливо / Ложится по долине тень...[1]

[1] Цитаты из стихотворений Ф. И. Тютчева «Нет, моего к тебе пристрастья...», «Здесь, где так вяло свод небесный...», «Вечер».

25 февраля. Суббота

Любовь к природе — начало многого добра. Ежели книга природы — любимое твоё чтение, ты на благодарном пути. Приникая к красотам природы, увидишь тайну. Красивые «виды» природы заставляют подумать о Художнике, равно как и благоуханье малого цветочка. Пределы человеческой изобретательности — мертвенные машины. Но в том, что создано Богом: дерево, цветок, — жизнь непостижимая, недомыслимая. От Бога хлеб; человек изобрел суррогаты. Труд человеческий — добро, но психозы изобретательности в разных отраслях промышленности привели к страшному злу. Цивилизация пожирает самое себя. Богоубийственная и человекоубийственная цивилизация отрывает людей от груди матери-природы, вместо материнского «млека и меда» отравляет людей, их тело и душу всякими ядами и... бросает опустошенных и несчастных, бездомных.

Сейчас, живя посреди бедствий неисчислимых, посреди смертей многих, люди стали осатанелыми эгоистами. Рядом в квартире может умирать с голоду человек, и никто не зайдёт, не сунет корку хлеба, не даст полена дров. Ненавидят получающего, скажем, лимит, а лимитчик ненавидит и презирает каких-нибудь «иждивенцев». Добившись «лимита», превращает свой дом в крепость: кабы кто чего не попросил ...Живя «посреде смертей многих», посреди бед несказанных, люди не только не опомнились, не раздумались, не устрашились, не сокрушились сердцем — нет: преклонение перед успехами всеобщее и полное, кака бы мразь ни достигла успеха и какие бы средства для успеха ни были этой мразью употреблены. Успевших превозносят все. Неуспевших все презирают. Понятия: это — добро, а это — зло, это — смрад, а это — благоухание, это — свет, а это — тьма — потеряны, потоптаны. «Надо жить — вон как люди живут», квартиру получи-

ли, лимит получили... И вот свалка, «абонемент есть», дак когтями, зубами исступленно начинают войну за лимит. Его не дают... «На заре, когда спящих разбудит петух, ты увидишь лежащих девять мертвых старух. Все в крови, с нами сила Господня»[1].

Это в мартовскую «выдачу» в нашем магазине драка была до 3-го часа ночи. Администрация выгоняла публику, а милиция сторожила добычу...

— И от всего этого я теперь избавлена, говорит NN, раньше я как зверь была целую неделю, как начиналась «выдача». Теперь муж получил *орден*, и мы имеем право получать паёк через стол заказов. Наш день 19 число... Без драки... В этом месяце крупы даже не заменили картошкой, 2 кило получила... 7 коробок мясо-рыбо-консервы, гусалин, маргусалин по 200 гр., соемасло — 250 гр. Кило джутовых конфет... (или кунжутовых).

Эта дама обладает железным здоровьем. У неё муж с пайком... А масса интеллигентная кунжутные конфеты получит — да на рынок, продать поштучно. (Если милиция не арестует). Это называется «оборот». На «оборот» купят картошки. «Выдачу» («сладкое», «жиры») большинство продаёт для картошки. Так и колотятся. А у кого нет «абонементов», те... тем и хлопот меньше... День за днём... Ужо *война* кончится, будет лучше... С какого же боку к этой вот основной массе населения приступиться, как напомнить измученным физическим голодом людям, что «не о хлебе едином жив будет человек»[2]. Проповедовать вправе лишь те, кто нищий свой паёк «иждивенческий» делит с голодными. Я не делюсь ни с кем. Моё дело молчать.

---

[1] Шергин цитирует балладу А. К. Толстого «Волки»: На селе ж, когда спящих / Всех разбудит петух, / Ты увидишь лежащих / Девять мёртвых старух. / Впереди их седая, / Позади их хромая, / Все в крови... С нами сила Господня!»

[2] Втор. 8:3; Мф. 4:4; Лк. 4:4.

Многие из этих намученных, намятых людей ожесточились, обиделись на Бога. — Молись, не молись, а жизнь своим чередом... Многие ещё ходят в Церковь. Кино удовлетворяет духовные запросы не старше 20 лет. Но и стоя в церкви, измученные житухой люди раздражённо «реагируют» на всякий... толчок. Нет мира в душе... Сидят старухи вдоль стен. Одна говорит: «Уж лучше помереть...» — «С какой стати туда забираться раньше времени?» — вслух зашумела её соседка... «Помер, спокоен теперь. Хорошо ему», — говорит женщина, глядя на усопшего, принесённого для отпевания. Стоявшая у гроба старуха громко забранилась: «Как так хорошо? Ему бы жить надо! Дети остались маленькие».

В давке кричат друг другу: «Сволочь, блядь, кот, котиха». Стоят зачастую злые, и всё же стоят. «Злобою злобного мира озлобленные». Очевидно, знают, где врач. Боль врача ищет.

Наверное, есть в <2 нрзб.> и энтузиасты. Есть и масса — простые сердцем «святые пристани». Есть и разбирающиеся в церковных вопросах глубоко. Эти по поводу <2 нрзб.> думают: «Ладно, что хотя эти есть. А Бог даст и лучшие будут».

Но я опять произвожу учёт верующих, дегустирую иерархии, ставлю диагнозы, назначаю лечение. А ведь это всё не моё дело, не моё призвание. «Пусть ведают большие, у кого бороды пошире». (Хотя им больше нравятся эспаньолки).

— Что тебе, ты по Мне гряди[1], — говорит всея твари Украситель. Пойду и увижу Его в ...весенних, клейких листочках, в первых подснежниках, в вербочках, в шуме вешних вод. В весеннем воскресении природы.

Один древний мудрец пришёл за пущим умом в Афины. На портике храма прочел: «ΓΝΏΘΙ ΣΕΑΥΤΌΝ» —

[1] Мк. 8:34.

«познай самого себя»[1]. Ту же минуту мудрец пошёл домой: — Этого совета хватит мне на всю жизнь. Святые отцы христианства учат: «Внимай себе». «Восходите, братия, восходите»[2], — зовет Лествичник.

Подвиг надо понести. Возьми крест свой, говорит, и по Мне гряди. И не на стороне высматривай подвиг-от. Господь дал тебе иго благое и бремя лёгкое[3]. Неси его благодарно и усердно, до кровей личностных. Благодарное это дело! Живучи в подвиге сем, страдалестен я (а мне надо страдальчествовать до конца).

Очень уж светло, и помянутую книгу природы буду читать. Се Царство Божие на земле. Знаю, что неся крест болезни безропотно, получу и радость о сем.

26 февраля. Воскресенье Мясопустное

Иночествующим присоветовано избегать всего, что наводит искушения и соблазны. Я любил бы жизнь созерцательную, где ни то в тихом скиту. Но приходится жизнь трясти в житухином трамвае. Брателко спиной своей заслоняет меня от толчков и тычков, принимая трамвайную мятку на себя, чтоб я мог сидеть и любоваться в окошечко. Но и сидя за спиною братишки, я болезненно и горько переживаю его труд и болезнь ради меня. И это у меня как ночная зубная боль.

А и истинные иноки, есть же где-нибудь и сейчас такие, могут ли они на сем свете в наши дни искать упокоения?

---

[1] Речь идёт о Сократе и о надписи на вратах храма в Дельфах.

[2] *«Восходите, братия, восходите»*. — «Восходите, братия, восходите усердно, полагая восхождение в сердце своем...» (Прп. Иоанн, игумен Синайской горы. «Лествица, возводящая на небо». Этими словами начинается «Краткое увещание, которое содержит в себе всё то, что говорено было в сей книге пространно»).

[3] См. Мф. 11:30.

Тоскливое смятение о моей неисправности, о брателковом нездоровии и нужде, что накат морской всякой день на душу новый камень положит. И много того каменья, и плотно лежат они. Авва Антоний говорит: «Сам ты себя не помилуешь, дак и Бог тебя не помилует, и я не умолю». А как может Каин сам себя помиловать? — Авеля не убивать. И Каин добрее меня был, один раз брата убил. А я всякой день не по силам брателку воз накладываю. И сам на том возу с погонялкой сижу.

Живя «в миру», сталкиваешься с людьми мнений враждебных в основном, в главном. Спорить б<ольшей> ч<астью> бесполезно и утомительно. К тому же безбожие <1 нрзб.> *свыше*, и воинствует. Приходят старые интеллигенты, они были атеистами ещё в гимназии, ещё с первых забастовок. Эти неодобрительно глядят на иконы в углу... Приходит молодёжь. Для них иконы, — музей. Они «понимают», что старикам трудно расстаться с какими-то мифами.

Тут моё мнение такое: я в ваш духовный мир не вмешиваюсь. Не навязываю вам и своего. Мало ли о чём можно поговорить. Напр<имер>, об искусстве. И вот, где только соберётся интеллигенция литературная, музыкальная, художническая, научная, артистическая, сейчас же обычное: читали последнюю книжку *Когана*? Пьесу Шкловера смотрели? Но сразу же везде и всегда разговор идёт о том, сколько этот рабинович получил и кто намечен в *лауреаты*. Говорят, жадно глотая слюну, ругая, истерически завидуют: почему не я?

Обносившееся, изголодавшееся «общество», — старая интеллигенция давно бросила «всё высокое, всё прекрасное». Перестала презирать и фыркать на всю эту «папину» шпану и на тех, кто перед нею лакействует. Завидуют откровенно и жадно. Всё, чему покло-

нялись, «за два десятка лет снесено в антиквариат» к Голованову. Как звуки небес звучит слово «лимит». А о *лауреате* что говорить: не всем же мечтать о царских коронах... Но есть счастливцы...

Ты, скажу, судишь? А сам не взял бы? — ещё как взял бы. Как бы мне радостно было близких моих, любимых одеть, обуть, накормить, полечить...

28 февраля. Вторник

Февраль прошёл. Вот дак «бокогрей». Только бы уши не отморозить. Я-то дома, а братцу досталось. В ночи вызвездит, а днём я не бывал на улице. Эту ползимы с картошкой живём. Брателко говорит:

— Ты в шутку моё слово не поворачивай. Тогда пришёл край, не мог я встать, на базар идти, взмолился я с воплем крепким к Николе скорому помощнику, и уж который месяц, вдоволь у нас картошки.

— Брателко! Ради твоей веры, ради твоего подвига гора подвинуться может!

— А помнишь тот там год... Чернело у меня в глазах, ходил я, держась за стены. Началося у меня белокровие. Тогда на Страстной обнесла меня дурнота у церкви, упал я на порог храма Божьего. И взмолился я тогда Богу. И смог отстоять 12 Евангелий. И стало мне лучше да лучше. Разве не чудо? Разве можно забыть, не видеть здесь милости Божьей?

— Брателко, — я отвечаю, — сосчитана у Господа Бога каждая твоя слезинка. Если не на таких, как ты, то на ком явится сила Божия? В твоё чистое сердце, радуяся, глядится Господь. Брателко любимый, буди над тобою Божия милость пресвятая.

Хрупкий, болезненный, падая под непосильным бременем, везёт брателко из года в год, изо дня в день воз

труда, забот, хлопот дома и извне. Отдыхом считает он для себя домашнюю-то порядню. А я сгуляю в храм-от Божий, приду, как зверь, сердитый на людей и на себя. И братишко из сил выпадет, картошку чистивши, да на тёрке тручи, да лепешки пекши... И дивлюсь я свету лица Христова, который знаменается во взгляде брата.

Недавно у парикмахерской поглядел я в уличное зеркало. Глазки-гляделки у меня беспокойные, не то заячьи, не то медвежьи, рожа как рукомойник. Зеркало души неказистое.

23 февраля память была старца Назария игумена Валаамского[1] (скончался в 1809 году на своем пострижении в Сарове). Старообрядцы, сектанты, затем и все неверующие корят Церковь, что она-де омирщилась, оказенилась за XVIII—XIX века. Но какие дивные, какие великие старцы были в Церкви в том же «французском» XVIII веке. Живая вода Православия открывалась и наполняла мир христианский чрез таких учителей иночества, как Паисий Величковский, Назарий Валаамский и другие. Ведь во второй половине XVIII века взошла и сия пресветлейшая звезда неба церковного — Серафим Саровский. Упомянул я

[1] Назарий, игумен Валаамского Спасо-Преображенского монастыря (1735–1809). В 1781 г. по воле митрополита Новгородского и Петербургского Гавриила иеромонах Назарий был переведен из Саровской пустыни в Валаамский монастырь и здесь впоследствии возведен в сан игумена. Двадцать лет провел игумен Назарий в монастыре, построил здесь каменные здания внутреннего монастырского корпуса, три каменных храма, умножил братство и по воле митрополита Гавриила ввел в Валаамском монастыре устав Саровской пустыни, на основании которого братия преуспела здесь во всех трех родах подвижничества: общежитии, жизни скитской и отшельничестве. В 1801 г. при митрополите Амвросии игумен Назарий, уволенный от настоятельства, проживал на Валааме в пустыни на покое до 1804 г., а затем отбыл в марте месяце в Саровскую пустынь, где и скончался 23 февраля 1809г. на 74-м году от рождения.

Назария, п<отому> ч<то> меня поразили слова одного из его писем: «Не знаю как Вы, — пишет он к одной монахине, — а я себя так чувствую, что перед всеми я должен и всем виноват». Дивные речи, вложенные Достоевским в уста брата старца Зосимы, отсюда взяты... Сладкие гроздья благословенноплодных лоз иночества XVIII, но и XIX века.

Скороспешно начинал тогда сеять тлетворные плевелы свои враг в пшеницу Господню. Но преизобиловала и благодать. Свет Сарова. Паисий и многочисленные благодатные его ученики. Старцы оптинские...

Болезни неисцельные, нужда телесная естественно рождают во мне скорбь и неизбывную печаль. Слабая воля, слабый характер: — житьишко моё опустившееся и распущенное делают то, что обязательная в жизни человеческой скорбь притупляет во мне зрение внутреннее и слух внутренний. А эти тайные, но важнейшие слух и зрение соглядают и слышат истинную реальность, единую на потребу, но не видимую «веком сим» и «миром сим».

Скорби и печали, как распущенные, невпряжённые, необузданные лошади, бродят как попало, а не возделывают в сердце ниву, посев пшеницы Господней. Скорби и печали, как стрелы ночного стрелка, не бесов, а ангелов поражают в сердце моём. Скорбь и печаль, как таран, метко и отчётливо должны бить в крепость лукавого, которую успевает он возградить в душе слабой. А у меня таран скорбей и болезней дробит в душе не вражье, а Божье. Сверло скорбей, не умею я его на гнилой зуб направить, чтоб причину боли вычистить и зуб здрав сохранить. Боюсь я зубы гнилые свои лечить.

Уж как бы светло было, как бы любо, ежели б дивные очи сердца раскрылись и слух-от отверзся к яви, миру сокрытой.

Месяца марта в 1-й день. Среда.

В. Соловьёв, отходя сего света, сказал: «Трудна-де работа Господня». А про Соловьёва неложно сказал один католический еписоп, что «...душа его... vere sanctai est»[1]. Соловьёв таланта не сокрыл, но паче умножил.

Ежели человеку столь окрыленному, к тому же не нуждающемуся в куске хлеба, трудно было взыскивать Град Божий, что же сказать о какой-нибудь жабе убогой, в яме под доскою сидящей, подслепым оком в оконную дыру взирающей и о свете превысшем всех светлостей сипло, но неустанно поющей... Может потому жаба-та и поёт о свете, что под тротуаром, впотьмах пребывает. Жила бы в бельэтаже, небось, курвяга, спутала бы, что есть свет истинный просвещающий и что есть фукалка с ближней электростанции.

«Грешник, сидя во тьме и сени смертной, виде свет велик»[2]. Знаю, что есть свет. Знаю, что будет паводок милости Божьей, водополье придёт. Хлынет дождём Утешитель и уготованные Ему на земле водоёмы исполнит безмерно. Хлынет благодатная радость. Тогда только подставляй рот, глотай-знай, не залейся...

Ей, вернись. Жаба, сидящая под тротуаром, уж чует благодатный ливень. Миру сему не под нужду и ни к чему, а жаба убогая и престрашная, прячася под камень, чтоб не растоптали, хотя-нехотя высмотрела, изучила и где свет, и поняла, в чём счастье. И уж не так чтобы очень тужит о горьком своем убожестве.

Забралась жаба нищая под камень, а теперича росчухала ртастая, что камень сей небрегоша зиждущий,

[1] Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) — русский религиозный философ. Высказывание о нём принадлежит епископу Боснии Штроссмайеру и содержится в его письме к Венскому нунцию Ванутелли (1886): «Soloviev anima candida pia ad vere sancta est» — «Душа Соловьёва чистая, благочестивая и воистину святая».

[2] См. Ис. 9:2.

но приходит время, и уж кладут его во главу угла[1]. И молит жаба: помяни мя Господи, егда приидеши во Царствии Твоем[2]. Потерпех тя, Господи! Потерпе душа моя, по Тебе[3].

Брателко мечтал: сегодня никуда не пойду. А по воду надо. Плитка перегорела, к монтёру надо. Из 10 жильцов трое не хотят чинить водопровод, и их крепко уговаривать надо. Водопроводчика принимать, развлекать и крепко веселить, чтоб не плюнули, надо. Я этого ничего не умею и не люблю. Должен уметь и любить это всё братец. Он и шубёнку с утра до вечера не скинет. Вечером он отдыхает: готовит обед на завтра... Минька прибежал простуженный. Жалко мне его; где его прежняя веселость... За день я и в окно не сглянул. Ввечеру выскочил за ворота. Небо глянуло звёздами. Стою в двери городовин, а чаша моя вводит меня во двери Господни. Сияет звёздами тёмно-синее небо. Церковь Славы Божией. Храм премудрости Божией, озарённый лампадами ближними ...дальними... Что там город, «уличное освещение»... Всё стерялось в торжественности звёздной первой весенней ночи. Зиждитель величается и хвалится, кажет величие своё и тем зовёт нас. Не прячется от нас Творец, нет, — отверзает широко двери нерукотвореиного прекрасного храма и зовёт нас. Небо всё сияет звёздами. Торжественный мир, молчание, еже над миром звучит больше всякой музыки.

Эта торжественная красота надмирная, зовущая нас, говорящая нам, обнимающая нас, увлекающая ум и сердце, и есть «объятия Отчи», простёртые над ми-

---

[1] См. Пс. 117:22.

[2] См. Лк. 23:42. Здесь Шергин цитирует не само Евангелие, а третий антифон Божественной литургии (называемый «Блаженны»), который начинается словами: «Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем».

[3] См. Пс. 129:4.

ром, готовые обнять человека. Коль прекрасен дом Отчий. Ночь в звёздах, поле в цветах, — всё это дом Отца нашего, сею красотою напоминает Благой Отец наш о себе, сею красотою зовёт нас.

«В небесах торжественно и чудно». И в сей же день первого весеннего месяца спустилось на землю тепло. Капель ударила с крыш сейгод в самую Евдокию. Весна пришла! Сразу пожаловала. И эта песня капели в ночи, душу ласкающая, и «звёзды частые риз Божиих»[1] так дивно надмевали душу. Март пришел, в он же месяц и мир сей Бог сотвори, а Гавриил Благовещение Деве принесёт — «благовествуй земля радость велию, хвалите небеса Божию славу»[2].

2-го марта.Четверг

Улицы слило сегодня. <2 нрзб.> Старухи в булочной толковали, что сегодня грачи прилетают. И как-де на 40 мучеников жаворонков пекли, так сегодня пекли грачей. Иван Акимыч каменщик толковал сегодня, что птицу грех изобидеть.

— У нас тамо-ди к Боголюбову поле с соседом и на меже ряд пречудных старых вязов. И тут грачиных гнёзд неисчислимо. Из веков грач эти вязы избрал... И враг попутал, срубили мы с соседом эти вязы, разорили грачиные домы. И Господь меня за это наказал, за обиду Его творению. В-первых был и мой дом разорён.

(...Скотина видит невидимое человеку. Овцы вдруг во двор не идут. Станут в воротах, глядят на кого-то...

---

[1] Строка из «Стиха о Голубиной книге»: «Звезды частые — от риз Божьих».

[2] *...«благовествуй земля радость велию, хвалите небеса Божию славу»*. — Церковное песнопение на утрени в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы: «Благовествуй, земле, радость велию, хвалите, небеса, Божию славу».

Манишь их кусками — не идут. Но могут наладить знающие люди.)

Возле домов нельзя ходить: с крыш льёт. Небеса облачные, дали наводопели — туманисты.

Сегодня маме память —умерший день. В месяце марте она родилась, в марте именинница, в марте и сего света отошла. И смерть светла о Господе. Свет умный, свет сердечный не отымал Господь.

3 марта. Пятница

И стёганку, и колпак с башки в комнате скинул. На улицах по льду мокро, скользко. Воробыши, чего они скачут, назёму не вытаяло ведь? Днём облачно. В ночи сегодня опять исповедали небеса Славу Божию. Ветер тянул; по двору со всех крыш переговаривались капели, а под углами дома, изливаясь в ледяные самодельные мисочки, вода как в дудочки играла. И небесное паникадило, горящее всеми огнями. Тамо у Господа всегда праздник: всегда полиелей.

В день-от сную из угла в угол по домашности, да с людьми. А на сердце-то расположено: вот город-от утихнет, перестанет пучиться электрогляделками, тогда вылезу на волю слушать мартовскую ночь. Тихий говор капелей в ночи, будто читают книгу таинственную. Часа в 2 ночи украстись из дому, притулиться где ле, чтоб и небо-то видно, и капель-ту мартовскую слышно. Тут откроется сердечное тайное око, еже постигати тайну. Тайну эту ум человеческий постичь не может, только сердце сладко чувствует радость тайны. Дивные птицы райские поют в ночи, Сирин и Алконост. Всяк человек, во плоти живя, не может слышати гласа ея. «Аше кому услышать случится, таковый от жития

сего отлучится. Но не яко там он умирает, но вослед ея пад, душу предавает»[1].

В таинственные предвесенние ночи очищаемое скорбями сердце широко отвергает очи и слух. Тогда касается великой тайны вечной жизни — радости вечной. Это чувство непонимаемое, непостигаемое, неопределяемое сознанием, рассудком и есть касание миров иных, касание бессмертия.

5 марта. Воскресенье Прощеное[2]

В зиму, в Рожество снега нарядно и как надо глядят с крыш, с карнизов, с заборов, с древесных сучьев, с дорог; снега лежат по дворам.

А перед масляной отойдут зимние наряды. Заведутся, волю возьмут вольные ветры из других углов, неморозные. С небес опустится март, и снега жахнут. А они не умирают. Им весело разбегаться водами: капелями, ручьями, потёками. Вот слышу, они с крыш спешат: без числа маленькие ручки в ладошки плещут.

К вечерням подморозило, прояснило... Как бы сам стоит Зиждитель на Запад солнцу. В левой руке, долу опушенной, догорает вечерняя заря. Десница горé простерта над домами, и в ней светло сияет месяц молодой. Меж дальнею зарею и горним месяцем, как запона у ризы Господней, светит звезда... Вот Зиждитель накрыл зорю ризою, а месяц остался сиять в небе, и в синем смеркшем небе уж много звёзд глядит.

---

[1] *Сирин и Алконост* — в русских и византийских средневековых легендах райские птицы-девы. Тексты о Сирине и Алконосте, восходящие к духовным стихам и легендам, помещались рядом с изображениями этих птиц на лубочных картинках.

[2] *Прощеное воскресенье* — последнее воскресенье накануне Великого поста (Неделя сыропустная). Называется так потому, что в этот день на вечерне совершается Чин прощения.

6 марта. Понедельник

Вчера володимерец наш добрый, посидев, прощался: — Простите меня Христа ради, в чём досадил, не управил... По поклоне целовались. Уж очень светло это. Очищается прощею святой муть житухина. Из ила и тины на живую судоходную струю вековечные уставы выводят. Русь крещёная, ты ещё жива! Простой, не книжный мужичок блюдёт святый обычай, которым искони быт России освящался и озарялся.

Как бы мне хотелось в деревне март-от, апрель перебыть, чтобы во дни и в ночи таинственные перемены в природе соглядать. Как снега опадут, как воды из-под снегов побежат, как потоки с гор зашумят, ручейки залепечут, спеша в овраги. Овраги заиграют светлошумно. Я в городе что музыку капели с крыш расслушиваю. А на Руси в просторах её, в тишине ночной что за музыка сладкая, — вешние воды, что за тишина почиет. Разве грачи, вьюшие гнёзда, да, как холмы повытают, — жаворонки нарушат тихость святых постов — четыредесятницу.

Клубы учёных, художников, (*писателей*) «календарный план» на неделю посылают. «Новые стихи, доклады, новые фильмы...» И се (*писатели*) ходят поучаться, внимают всякому дурачью и жулью в клубах. А на Руси, между тем, настал Великий пост. Как обогащены, как утворены, как насыщены эти дни в быту... С Алексия ч<еловека> Б<ожия> 17 марта везде ручьи, говор вод, везде музыка эта откроется. Птица почнёт вить гнёзда. По деревням скворешники изладят. Под аккомпанемент великих вод благолепно идут «дни печальные Великого поста»[1]. Протяжные напевы, молитвы, исполненные неисчётным умилением. Сегодня

[1] Из стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...» (1836).

в понедельник и по четверг четыре дня поёт церковь Канон Великий. Дивны сии напевы: «Помощник и покровитель»[1]. Искони Русь плакала умиленно, внимая дивным проникновенным и животворным песням великого сего канона. Песни Великого поста, дивные речи святых запечатлевались в сердцах и умах народа в течение тысячи лет. Вот на каких дрождях из сырого теста человеческого, из хаоса дохристианского, догосударственного выходила и русская дежа. Вот на каких углях, вот в какой печи испёкся русский хлеб, «Хлеб сладок Святые Троицы».

А уж без «Христос Воскресе» наш народ *труп* разложившийся.

В тот же понедельник к Мефимону побрёл, чуть назад не вернулся. Я в одну, липова нога в другу сторону. Больно да и скользко: нет сил. У Ивановского монастыря с горки едва сполз. Средняя часть Ивановского переулка — какая находка для художника. Как прост рисунок этого «исторического» пейзажа! Как изыскано проста линия уходящей вниз стены. Молчащая стена, за нею одиноко высящийся ренессансно стройно серый купол собора и так много русского, облачного неба над всем. Странно: переулок всегда пустынен. ...Ещё не стемнело, когда я вышел от Петра-Павла. Всегда, остановяся, любуюсь этой церковкой. Она так чудесно и умело подана зодчим. В тесном заугольи, в переулочке строитель сумел преподнести свое создание так, что не налюбуешься.

...Сегодня, спускаясь к воротам, глянул на запад. И вдруг сердце сладко и дивно поразилось: я очень давно, в детстве, видел этот пейзаж: оледенелый скат с холма, обтаявшие и вновь присыпанные снегом су-

---

[1] *«Помощник и покровитель».*— Ирмос 1-й песни Великого Канона прп. Андрея Критского: «Помощник и покровитель бысть мне во спасение...»

гробы, стройная ампирная колоколенка, увенчанная московской луковкой, странно белеющая на фоне свинцовой тучи. Подолок тучи как бы вышит нежнейшими розами — отсвет вечерней зари. Оттуда с запада тянет быстрый холодный ветер. В пейзаже какая-то унынность, редкая красота, что-то очень северное, непонятно поразившее меня. Тождество с чем-то давним дивит меня. Тот же был холодный ветер, и те же розы неба, таков же оледенелый холм и здание.

7 марта. Вторник

Ум интеллигенции зачастую по родителям направлен в сторону нецерковную. Помню ученические свои годы 905–914 — среди учащихся не принято было высказывать симпатии к церкви. Молодёжь как бы стыдилась говорить о Христе... Впрочем, веяние Пасхи, Рождества — праздников, которыми жил весь народ в *царское* время, эти веяния отпечатлевались на всех слоях общества. Лишь сквозняк *воинствующего безбожия* выдул теплоту Христову у многих и многих. «Тяжкий млат, дробя стекло», выковал ли в ком «булат»?..[1]

Да что там интеллигенция: у большинства теперь то, что добро, то, что к славе, то, что на пользу, то, что радость доспевает, то, чем только и живёт душа человеческая, то, что смысл даёт неизбежным в жизни скорбям и болезням, тем как раз небрегут люди, к тому и равнодушны. Да и про себя скажу, возраст ли, печаль ли виною? Отупело слушаю ирмос в церкви, то голова озябла, то места не приберу, то досада, что поют и читают худо, то заботы на уме. Тех ради слабостей

[1] Шергин цитирует строки из поэма А. С. Пушкина «Полтава»: «Окрепла Русь. Так тяжкий млат / Дробя стекло, куёт булат».

уж и не можешь силу-ту великую и животворную божественных глаголов вместить: засорен ум до отказа пылью ничтожною всяких новостей *политических*, литературных, бытом жалким. «Жить надо красиво и удобно», — проповедует знакомый художник, старый интеллигент... А кто не сможет урвать себе комфорт и удобства квартирные, пайки, лимиты, те мыльте себе верёвку. Удавная петля — единственный исход для больных, гласят эти люди.

Отупел и я, ослаб и я, опустился и я, но знаю, что не это жизнь, не здесь русло жизни, не здесь свет. Хотя сюда и загнано стадо человеческое и мятется тут, но вся эта широкая арена — лишь тупик духовный, гнилая заводь в стороне от реки жизни, загон, каземат, волчья яма, куда, ослепший духовными очами, забрёл род человеческий.

Истомлённый, еле живой, как на каторге выгостившийся, выгребаюсь я из сей всеобщей душной, растленной казармы и — «Ныне обнищавшее мое сердце не презри Спасе! Отеческие Славы Твоея удалился безумно! В злых расточил, еже ми предал еси богатство. Согреших пред Тобой, объятия Отча отверзти ми потшися»[1].

...Всемирная смерть: техническая лжекультура, проще сказать, растленная житуха манит тебя, человек, что собачку кусочком, лженаукой, выхолощенным искусством, всякой самоубийственной техникой. И ты скачешь перед житухой задом и передом, глаз не сводишь с кусочка того, мнится тебе — он сладок. И забыл ты, человек, где дом Отчий, заблудяся, не видишь, где зло и где добро, где гибель, где спасение.

Чутье твоё, собаченька, враг-от спортил. Куси, куси его! Чужой, чужой он. Хвати его, чтоб помнил, да дуй

[1] См. седален 3-й песни канона, звучащего на утрени в неделю о блудном сыне.

в подворотню дома Отчего! Истинно-от хозяин не даст в обиду...

Тропари Великого Канона, помню я, бывало, чтёт иерей в тон певаемым ирмосам, чтёт с некиим умиленным роспевом. Получалась музыкальная цельность. Сего на Мефимонах у Петра и Павла не было вполне.

...Удивительное всё-таки было: Андрей Критянин, поэт эллинистической эпохи... VI век. И вот в середине XX века, в России, толпа народа в большинстве случаев простого, народа рабочего, мастерового в течение двух предвесенних дней жизни теснятся, часами стоят, внимая чтению поэмы критского философа-поэта. И так слушает Русь эти поэмы из года в год уже тысячу лет. И внялась в них, напечатлела на сердце, вывела отсюда свои идеалы.

В наши дни упадка художественно-словесной культуры, в дни одичания языка любопытно видеть толпы простых, плохо одетых женщин, тщащихся понять, во всяком случае не пропустить ни одного слова, ни одного стиха и строфы. А ведь у Андрея Критского так много аллегорий античного порядка. Много и, хотя и самого высокого порядка, но... риторики. Это там, где поэт, напр<имер>, призывает душу обозреть деяния библейских героев, деяния добрые и злые, и резюмирует: вот этому праведнику ты, душе, не подражала, а этому злодею поревновала.

И это частность. Неисчетного умиления исполнен канон. Слёзы покаяния, слёзы восторга, слёзы любви, гнев праведный и орлиный полёт молитвы — всё выкристаллизова<лось> в алмазе слова. Эту красоту художественного слова и глубину содержания и оценил русский народ.

(Во владимирских, в суздальских деревнях в чистый понедельник масленицу смывали. Молодые ребята

пойдут по домам, где есть девицы, — ухватят барышню и снегом ей лицо — ну мыть! Визгу, смеху — котора прячется, не даётся, той и под подол снегу набьют...)

7-го марта. Вторник. 1-я седмица

Боль врача ищет. Потому и копится в храмы народ, в частности, к слушанию Канона Великого, что на все времена указано здесь, что добро и что зло, где свет и где тьма, что болезнь и что здоровье. Богоносный, богопросвещенный поэт раскрывает человеку его душу, объясняет человеку, откуда его несчастье и в чем. Как великий хирург и врач, рассекает поэт-философ-учитель жизни вековечные раны души человеческой. И исцеляет дивною божественною цельбою. И как современен Андрей Критский! И чем дальше будет уродовать людей цивилизация, тем поэт из Крита будет нужнее и нужнее. Ныне человека превратили в винтик машины, в удобрение для сомнительного счастья грядущих родов. Человек стал пылью самой будничной. И «с воплем крепким и со слезами» зовёт Андрей, как бы с нами в XX веке живя и с нами валяяся в прахе будней и злыдней: — Ты, Творче мой, создал меня, чтоб я унаследовал престол Славы, престол Царства, а я валяюсь на гноище. Ты уготовил мне царственные ризы, а я тащу на себе нищенское, смрадное рубище...

8 марта. Среда

— Не говеете, дак что же каждый-то день в церковь ходить?

— Вчера на этих, как их, нефимонах были, дак сегодня-то что же? Ведь всё одно и то же, одно и то же в церкви-та...

Это отношение, восприятие служб церковных не ново. Таких «православных» было много. Они знали, что, например, принято, надо «говеть» в Вел<икий> пост. Что поётся, что читается за службами, это сих говельщиков не касалось. Они считали себя обязанными отстаивать добросовестно долгие службы, а уж вникать там во что-то: — Мы в монахи не собираемся... Этому не обучались...

Бывает положительное в этом русском «отстаиваньи» долгих служб, особливо монастырских. Стоят часами, преют, томятся на кафизмах... И это подвиг! Придут домой просветлённые: — Бог милости послал!.. Уж как жарко было!.. Куда там перекреститься, вздохнуть некак было... Уж так харашо... Слава Богу... «Теснота у праздника»...

Эти любители праздничных служб, где-нибудь «у праздника», есть та же «Святая Русь». Начал я говорить о тех, кои ходили в церковь раз в году к заутрене, бывали у знакомых на панихидах (потому и не выносят ладана). В наши дни эти «крещёные» без остатка забыли даже настроения заутрени, тем более надо куда-то далеко ездить... У этих житуха выдула всё сквознячком своим.

И ещё говорят: — В церковь зайдёшь: всё одно и то же, одно и то же. Все те же «паки-паки» да «Господи помилуй» 40 р<аз>.

...Мне кажется: эти люди так же не могут любить природу. Они чувствуют смену зимы только потому, что летом не надо тратить дров. Перемены в весне, переход к осени этим людям ни к чему. А уж о том, чтобы примечать, когда цветут какие деревья, как луга и поля сменяют цветами, какие птички когда поют, какие облака бывают в октябре и какое небо в апреле, это всё равнодушные, пустые, будничные до дна люди презирают, эти пустяки для них не существуют. Не су-

ществует для них поэзия, ясно что и в церкви, хотя со стороны внешней, для них «всегда одно и то же». Кроме насморка ничего эти люди не находят ни в марте, ни в апреле.

— Что ж хорошего в марте и апреле? Деревья абсолютно голые. Под ногами сырость...

...Я вот вчера шёл от Мефимона и всё дивился вечерней прозрачности неба и тому, сколь высоко, в самом зените купола небесного стоит серп молодого месяца.

Над самым верхом церковным первомесяц-от сиял. Дак и над всем городом. Остановлюсь нос утереть (у службы голова назябла) и всё на Божий месяц мартовский дивлюся. Я может за тем к «мефимону» хожу.

9 марта

Вот и мучеников светла и прелюбезная четыредесятница. Всё думалось в зиму-ту: придут 40 мучеников, то и весна пойдёт. Миша вчера говорит: — На лыжах гоняли, я высматривал проталинки, куда жаворонку сесть. Не видать проталинки весенней.

...Брателка на рассвете кашель опять одолевает, с мокрыми ногами день-от бродит. Сегодня и я руку с одра своего не могу за пирамидоном протянуть. Лбом прижмусь к стенке каменной, холодит, дак и легче... И охать, и рёхать совестно. Братишко долго кашлял, пускай де уснет часок. Но он и во сне слышит: чуть я квокну, скрипну своим сундуком, печальник мой сопеть перестанет, спящий расслушивает... Ежели я равномерно дышу, брат продолжает спать. Но сразу почувствует, если я хоть и молча сижу в моем углу, а не лежу. Шепотком (чтоб на всякий случай не разбудить) спросит — ...спишь?

...Брателко, я говорю, не тужи ты о моих напастях. Про прежних людей сказано, что есть жизнь человеческая: 70 лет или 80, а дальше труд и болезнь. В наши дни заместо 70–80 лет поставим 40–50, а дальше труд и болезнь. Каковы веки, таковы и человеки. Наокруг молодёжь войною перенята, перетоптана, без ног, без рук. Иные, опять, с чахотками, с язвами, с пороками сердечными. А то, вон, с почками, те, и не старые, а склероз общий... Брателко, много ли здоровых-то? Все в болезнях, в печалях, в воздыханиях... Брателко, свет мой, не тужи. Кто в наши дни весел скачет, того Бог забыл.

Будем соглядать ныне Христа, Бога нашего, и того распятого.

....

Сегодня лужа за окном светит, небо в ней отразилось. Вчера, бредучи от навечерни, гадал — к теплу ли, к холоду туск на город опустился. С утра-то, ещё окна не раскутаны и башка тошнотно скована, а любо сознаньем уловлять грай вороний и крик галичий и чириканье воробьёв.

Снега опустилися, скоро побегут ручьи. В эти дни плачет над миром и над человеком отче Андрее, пастырю Критский. Плачет, как Мария и Марфа над Лазарем[1].

И дождь и снег заледенелые-те «седмь холмов» моют сегодня. Туман. Скажи: ноябрь... Нет уж: тепло холода борет, а не холод на тепло одолевает. Что годов сорок назад учил стишки, всё уж вспомнишь: ...птичка-та... села и запела: как ты март ни хмурься, всё весною пахнет.

---

[1] См. Ин. 11:1–45.

У службы, как неграмотный, ухом ловлю слова-те Канона Великого. Нет дома книг... Годы те и беды те мучат, да уму учат. Уж не «настроения» великопостные художнически ловишь (сие на песке здание), а диагноз болезни своей от врача пречудного и авторитетнейшего приемлешь, купно с сим и несомненный, и вернейший, и благодатный способ исцеления. Ниц лежит великий отец наш, певец канона, ниц лежит, повергся к ногам Иисусовым и рыдает, и молит о всех людях и о каждом человеке. И нас зовёт, в наши убогие уста свои дивные, умилительные речи влагает.

Помню я, — красоты слога и стиля в сем произведении средневековой византийской литературы я искал. Теперь, слушая, знал, эта книга, — лоция для всех нас, житейским морем плывущих. Канон Великий — лечебник, богоносным врачём душ и телес составленный, и умилительный, высокой поэзии исполненный. Се есть врачевство Иисусово.

«Елицы во Христа креститеся, во Христа облекостеся»[1]. Сораспнемся Христу, сопогребемся Христу и со Христом воскреснем. Тогда «слёзы людские неутолимые, неисчислимые, льющиеся, как дожди осенние»[2] — ненастные, тогда горькие, полынные сии ручьи слёз претворятся в реки умиления, падающие в безбрежное море радости о Христе Господе.

...Зеницы ока сердечного, глаголет врач, слезами покаяния омой и увидишь свет вечный. «Господи, я драхма погибшая, найди во мне образ Свой»[3].

---

[1] Эта песнь поётся при совершении таинства крещения, а также в праздники Рождества Христова, Богоявления, в Лазареву субботу, в Пасху и в Пятидесятницу вместо трисвятого.

[2] Парафраз стихотворения Ф. И. Тютчева «Слёзы людские, о слёзы людские...» (1849).

[3] См. Лк. 15:8–10.

...Поёт хор слепых. Канон поют стройно. Тропарь «Душе моя»[1] поют сильно.

Лик слепых поёт за народ. Предстательствует за нас. Моленье их, обездоленных, дохоже к Богу.

10 марта. Пятница.

Бог всё исполняет. Пребывание Его, везде сущего и вся исполняющего, подобно благоуханию цветка, растворённому в воздухе... Одни ищут сего благоухания и наслаждаются им. Другие сего благоухания не слышат. (По свидетельству мед<ицинской> статистики, количество людей, лишённых обоняния, велико).

Не слышат благоухания и негодуют на обоняющих запах любимого цветка. Ведь запах невидим, неосязаем. Значит его нет для безносых. Наша сифилизация лишила носа многих.

11 марта. Суббота

Не только в деловых отношениях, с посторонними, но и у себя в семьях живут люди как кошки с собаками. На стороне-то ещё сдерживаются, а уж дома... Голодно, холодно, босо, наго у всех... Сердце-то кипит на сытых, на ловких, на тех, что к пирогу-то присоседился, сердце рвётся в куски, а раздраженье на близких вымещается. Зинка, Маруська с работы придут и ну ребят дуть. У интеллигентов-педагогов (набрано у каждого по 10–13 часов в день) ежевечерние истерики у него и у неё. Одиночки-интеллигенты нашего дома, уже старые, много

[1] *Тропарь «Душе моя»*. — Имеется в виду кондак, поющийся во время чтения Великого Канона св. Андрея Критского: «Душе моя, душе моя, востани, что спиши; Конец приближается, и имаши смутитися: воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй».

лет дружившие, еле кланяются, годами не бывают друг у друга. Я как-то шутками говорю одному:

— Пушкин, человек светский, воспитания светскаго, человек молодой, своим разумом нащупал корни древа жизни, ветви и листья которого зачахли, перестали видеться в образованном обществе, но корни, по существу бессмертные, живы и действенны были в народной вере...

— Пушкин???

— Да. Он знал, где аптека помогающая, единственно пользующая в осложнённых и многотрудных отношениях людей меж собою. Пушкин в чудных стихах изложил молитву, во все времена «священник повторяет во дни печальные великого поста»[1]. Это: «Господи, Владыко жизни моей...»

— Мало ли каким настроениям мог поддаваться поэт...

— Нет. Это не было минутным настроением. В сложном мироощущении Пушкина чувство религиозное было как подземный, сокрытый, но живой ключ... Так вот, в помянутой молитве Ефрема Сирина есть слова: «Ей, Господи, Царю, даждь ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего...»

— О, Боже! Начали за здравие, кончили за упокой. Начали Пушкиным, кончили нянькой Агафьей. Неужели Вам не скучно и всерьёз вы повторяете все эти допотопные истины, всю эту прописную наивную мораль... Вот у жены брат, молокосос. У мальчишки скверный характер. Приходит из команды. История с комсоставом, издевательства товарищей. Настроения свои и раздражения на всех и вся тащит домой. Дерзит, грубит... Что ж, поощрять, допускать некорректное отношение?..

---

[1] Шергин говорит о стихотворении А. С. Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...», которое он любил цитировать.

Или, вот, — дражайший тесть... Приходит с ночёвкой, мешает работать, от него пахнет лекарствами, ночью он кашляет, на всё обижается, лезет с советами, берёт в долг и не отдает... Жена его жалеет — он де приходит со своим хлебом... 300 грамм!.. Или соседи по квартире. Лимит у них 3 гектауатта. А жгут плитку! Накрывали их два раза. «У меня дети. Вы сами жжёте день и ночь». — «У меня, говорю, лимит научного работника, тридцать гектауатт...» — Знаю, что жжёт плитку и эта спекулянтка из третьего номера... А счетчик общий! Штраф платим все, и я, и я с моим лимитом! В прошлом году погасили за пережог всех. Соседи воруют у меня дрова... Что же; я буду «зрети моя прегрешения», а вы садитесь мне на шею?..

— Вот вы говорите, у брата жены трудный характер... Посторонние его не щадят. Вы, как известно, воспитывали его с детства. Думается, жалеете его. Кроме вас, кто ещё пожалеет с его характером. Не в казармах же... Если казарма не может примирять в себе «дух терпения и любви», то всяк человек в своем сердце может...

— Оставьте! Старо, скучно, пахнет семинарскими щами и старушечьими шамками. Нужна воспитанность, корректность и джентельменство!..

— Прежде брюзжащее равнодушие к «прописным истинам» церковным ползало каракатицей в тине и иле заводей житейского моря. Там же, где прятался, караулил своё время и страшный спрут-осьминог богоненавистничества, и убожество духовное ныне получило все права гражданства. Воинствующее *безбожие* люто гонит тьму. Равнодушие к *вере* ни в тих ни в сих. «Двух станов не боец, а только гость случайный»[1]. Равнодушного, холодного к вере и Церкви человека может шокировать богохульство. Холодные к Церкви люди

[1] Начальные строчки стихотворения А. К. Толстого (1858).

иногда коллекционируют, например, иконы. Живущие вне Церкви и веры люди могут быть честны, что называется «порядочны» в житейских отношениях. «Долг» может заставить их терпеть бедных родственников, помогать бедному соседу. Моя знакомая пожилая девица, бывшая бестужевка, работала ряд лет сестрою милосердия. При полном религиозном нигилизме (стиль 60-х годов) она душевно мягкий человек. Её назначили к умирающим. Она внушала, что никакой будущей жизни нет.

— Вам сейчас больно, страшно, вы жалеете, товарищ, детей, жену, мать. Это всё моментально оборвётся. Вы перестанете страдать и т. п. Эта особа баюкала умирающих.

Эта сестра милосердия самоотверженно могла сидеть у одра больных, которые ей нравились, внимали ей. Но грубости она не терпела. Прощала, но сторонилась.

Иногда видишь такого человека, улыбающегося на вопросы веры, но филантропа, и думаешь: сердце-то у тебя родилось в христианстве. А мозг-от подбирал крупицы, падающие от скаредной шамовки безбожников. Не вина, дак беда твоя тут.

Часто тут беда, а не вина. Как убедишь человека без носа, что луг, по которому мы идём, благоухает. Человек, лишенный юмора, с недоумением смотрит на смеющихся по поводу анекдота. Лишённый поэтического чувства никогда не поймет, для чего нужен Пушкин, Тютчев, любой лирик. Так и в рассуждении о Боге.

12 марта. Воскресенье

Материализм квалифицировался на вскрытии трупа. А живое материализму неподсудно. Откуда в организме жизнь, что такое жизнь, — материализм тут слеп и глух. Поелику материалист есть шарлатан, на-

глец и жулик, он говорит: я всё знаю, я до всего дойду. Но ты ему не верь, токмо плюй на него. Он это любит. То ему и омовенье. Весь мир продушил, безбожник, мертвый пёс!

А наша часть на земле живых[1]. Нам, еже к Богу прилепитися, благо есть. Не то жизнь и не тут жизнь, где в буднях ковыряются человекообразные (пущай их много!). Истинная жизнь празднична, светла, радостна. Истинная жизнь, для которой и рождён человек, лишь в аспекте Святой Троицы. На древе жизни вселенском благосеннолиственном нашу Мать-сыру Землю «прогресс и цивилизация» века сего превращают в пустой орех. В пустом-де пространстве механически вертится. Всё мироздание гробокопатели гробной крышкой прижимают. Всё-де машина, механизм. А кто механик? Не было-де начала; материя вечна. Объясни, что такое вечность? Не объяснишь, провонялая душа, растленный ум.

И о сих до зде. Догнивайте, проклятые! Аз же возвеселюся о Боге Живе. Часть моя на земле живых. Радость моя и пение мое Господь.

Сегодня весна пришла разливная. За один день снега по дворам, по улицам водою по льду взялись. Я со двора не ходил, а из окна вода, и в дверь вода в подвалишко наше бежит.

Заря в оконце моё по-вешнему золотом прозрачным долго глядела. В ночи хвалится Господи небесною красою. Месяц и звёзды меж кудрявых облак. А тепло. И с крыш вода льёт. Только бы радоваться светлому марту, приходу весны. До Благовещения осталось 12 дён... Вся-та вера христианская есть благовещение миру. Весть благая.

[1] Пс. 141:6.

13 марта. Понедельник

В сердце-то своём веру не часом сбудишь. Как печь, полну золы, сырыми дровами не скоро взбудишь. И Бога «внутрь себя» не скоро узришь. Очи мысленные, очи сердечные доспеть, — подвиг велик. А ты природу люби. С этого зачни. (Ин путь велик: — человека жалей, любить зачни человека).

Ежели у тебя измятого да замученного сейчас для людей-то как бы и сил нет, ты приникни к природе. В ней Бог разлит. Природой и внешнее, телесное наше око может любоваться. Природа велико лекарство на скорби. Вино и елей на раны... Вот опять братишечка моего прибило к постели простудой. Я перед рассветом проснусь, он по долгом кашле дух переводит. Я пореву малость, башку заокутав. Он уснёт, я подлезу к окну. Рассвет... Небо водяного цвета отразилось в простертой к моему окну подошедшей луже. И забор, что напротив, и деревья в воду глядят... Тихо, безлюдно. Небу, водам, деревьям и мне никто не мешает меж себя поговорить. Небо с водами, земля с деревьями, рассвет, — они все в тихости великой и положат мне на сердце тайное слово.

Сунусь в ночи к оконцу, а мне, нищему, оттуда рубль бесценный в руку.

14 марта. Вторник

Адов везувий, пепел мертвящий, всё поедающий, всё иссушающий, давно уж извергает на жизнь человеческую. Из сознания, ума, из сердца человеческого пепел мёртвый, всякое живое воздыханье, всякую живую взыскующую Бога мысль, всякое горнее стремление, всякое искание вечной красоты — всё истинно живое, живоначальное, — всё это иссушает в людях мёртвая, растленная, инфернальная по существу житуха века

сего. В первую очередь съедает эта проклятая засуха живое стремление у молодёжи. Молодёжь ведь наиболее беззащитна. Сердце раскрыто, ум неопытен. Универсальная натодельная пыль из года в год осаждается на молодых умах. И ничего в результате, кроме *кино*, молодые не знают. Всё острижено под гребенку, всё посыпано мертвящим ипритом безбожия, равнодушия к вопросам самым важным, самым нужным. Эта масса не имеет данных, чтоб в будущем и при благоприятных обстоятельствах обратиться к религии. Конечно: «Дух дышит, где хочет»[1]. Сердце человеческое будет искать Бога и правду, но уж не будет того, как было, — русские все православные, французы — католики. Среди русских будет много православных, но не вся нация. Многие будут безразличны к вере.

(Я вижу Бога в природе... Думаю — тужу — но мне нужна среда. Книги — живые люди.)

Для кого же работает или должна работать и нужна ли работа в области религиозной мысли?

Мир сей во зле давно лежит. Избрал сие самовольно и самоохотно. Отсюда и власть над миром сим и веком сим похабной, скаредной, ничтожной, сырой, будничной, мёртвой житухи. Житуха и впредь будет давать человеку камень вместо хлеба, змею вместо рыбы. Но значит ли это, что чистый хлеб пшеничный должен потребиться на земле (?).

Свет во тьме будет светить, тьма не угасит его. Окаменил враг сердца людей. Господь и из камня изведет чад Церкви. Пусть будет два да три — Христос посреде нас. Где велико стадо — то антихристово. Руды вороха, злато крупицами, но что дороже? Пускай будет верных малое стадо. Они соль земли, они свет миру[2]! И сила Божия одолеет зло мира сего.

[1] Ин. 3:8.
[2] См. Мф. 5:13–14.

15 марта. Среда 2-ой седмицы В<еликого> поста

На дворе-то солнце, ручьи, воробьи шумят. А мрачность какая-то на сердце: думаешь: то не моё. И причина всё одна у меня: нужда во всём, бедность, а я плохой работник. Требуется, чтоб я мусор, труху, сор вырабатывал, ерзац всякой да суррогат поставлял. А у меня ведь годы далёко, здоровье на убыли. Ответ дам... Тошно мне чепуху-ту от младости до старости людям сказывать. Напротивело мне, что ярмарочному деду паясничать.

Людям нужен хлеб, а я картонажами, хлопушками торгую... Сказки да побаски... Докуда оне?! Невесело зубоскалить. «Шутить и век шутить... Как вас на это станет?..»[1]

Говорят: всё чего-то выдумывает сидит... Думушка моя соборная о том, что «едино есть на потребу». Природа чистая напоена, исполнена пребыванием Бога, разлитого во всем. Поэтому «На груди благой природы всё, что дышит, радость пьёт». Святые, отрешившись от удовольствия и плотских радостей, убежав веселия мира сего, обрели эту единственную, надежную, неотымаемую, неиждиваемую радость. Святые видели природу зрением прояснившимся, зрением чистым. Отсюда церковное: «радуйтеся», с которым мы всегда обращаемся к святым.

Старец Амвросий Оптинский, ещё будучи малышом, слышал, что ручей журчит, явно выпевая: «Хвалите Бога, любите Бога!» Преподобному Серафиму сосны Сарова шумели: «радуйся». И старец Серафим с тем же словом обращался к людям:

— Радуйтеся!

Дивная жизнь живёт в мире. «Воскресе Христос, и жизнь живет во всем мире». Век сей, глядя, не видит этой жизни.

---

[1] А. С. Грибоедов, «Горе от ума».

Вот где хочу я учинить моё сердце. Хочу «очистить чувствия и узреть Христа и “радуйся” от него услышать...»[1]

Надо общаться с единомысленными. «Брат от брата помогает, яко град тверд». «А одному и у каши не споро». И в теперешней моей ничтожности нельзя мне тужить о будущем человечества. Не растеряй того, что есть в твоей нищей суме.

16 марта. Четверг

Алексей — с гор вода. Истинно сегодня и с гор, и с крыш так и моет город-от. Вчера ночью на вешние грязи снег пал. Пречудно так всю ночь до свету лежал, как праздничная скатерть. В остатный раз горницу белым зима убрала. Утре тротуары смокли, стемнели; а там и дорогу омыло.

А я наслушался сегодня вешних-то вод... пошёл к вечерне и к Ивановскому монастырю. Бегут с горы три ручья. Переливный, весёлый, светлый шум. Слышишь в шуме вешнего потока как бы дальние рукоплескания и бесчисленные детские голоса... льёт с крыш на асфальты — это шумовой оркестр. А ручьи с гор — это симфония, богатая мелодикой.

Ночной-то снег туманами взялся над городом. К вечеру дождём стал садиться. А любо так, сходил хоть к величанью. Будто для святого светлого потрудился. Лик прекрасный Божьего человека будто нёс с собой. Из любимых этот день у меня. Всё родину вспомню. Сиянье солнца, белизна снегов, сосули с крыш, брил-

---

[1] *Хочу «очистить чувствия и узреть Христа и “радуйся” от него услышать...»*. — См. песнь 1 Пасхального канона: «Очистим чувствия и узрим неприступным светом Воскресения Христа блистающася, и радуйтеся рекуща, ясно да услышим, победную поюще».

лиантовые капели в день; тает в полдни. Дни станут долгие...

Дороги навозом возьмутся.

17 марта, пяток. 18 марта, суббота

С утра-то и вчера, и сегодня немогута-лихота долу клонит. В зиму «к снегу». Теперь, знать, к дождю. Свои-то глазишка не глядели бы на свет. Да братишко кашлем извёлся... А кто и забежит, — все с печалью. Р. накоротки приступают, долг требуют старый. Забыла А. Д., как «часто езжала, подолгу гостила», без подарков не отпускали. Старая хлеб-соль забывается. И о сем до зде.

Март-от месяц я все помню, кабыть со снегом, солнца блеск во дни, облака барашками. Сей год он облачен, туманист, с дождём. А зима была не порато снежна.

Вчера, поди-ко, и единого поклона празднику, Алексею человеку Божию, не положил. И о том печаль брала за сердце. К ночи выскочил на улицу. Уж нигде снежинки не белеет. Грязь, да лёд, да вода. Небо облачное еле блазнит. Весна пришла. Сердце, полное печали, из комнатёнки на улицу-ту вынесешь: Сыне-де Божий, поговори-ко ты со мною, печаль мою Тебе возвещу. Свете мой Христе, надежда моя Иисусе! Перед миром сим я как обезьяна в бубенчиках приплясываю, а к Твоим бы ногам охота припасть! О, Владыко тихий, Владыко кроткий, незаходимое сияние Отчее! Красота Пресветлая, милосте бесконечная...

19 марта. Воскресенье

Чуть где пообсохли мостки, всюду ребята углём и мелом исчертили. Пустынен был Ивановский переулок, сегодня на пригреве ребят, что воробьёв.

Над старою стеною и крышами монастыря сегодня небо с сильно притёртыми облаками. Думаешь: дождями тёплыми беременно небо.

В раме берёзовых веток ненаглядный уголок старого города. Веточки на берёзках уж с «огурчиками». У вечерни и у акафиста Страстям[1] любо я постоял сегодня.

21 марта. Вторник

Вест силен, вчера с дождём. Так и сгоняет и лёд, и снег. Сказывали, что в Хотькове уж в феврале водные те жилы посинели, март-от деревней ходят со станции: негде долиной... Как бы я поглядел Пажу мою... «Гонимы вешними лучами».

...А тут я в наследье Соломониды Ивановны[2] несколько достославных книг получил, вкупе и свои четьи за март-май. Обретох радуйся.

23 марта. Четверг

Подходит день благоуханный, день света, день радостный. Букет белых лилий и роз готовит небо земле. И по земле уж слышится небесное лилейное благоуханье, и земля уж знает и ждёт... Сегодня ещё говеет Архангел, не смея ступить за порог... Говеет Дева, опустив очи в книгу пророчеств... Говеет и вселенная... Но тихостью объята земля. Но уж слышен шелест архангеловых крил. Уж готово разверзтися небо... Свет хлынет оттуда. Благовест радости великой пронесётся по земле, восхвалят небеса Божию славу.

---

[1] *...у акафиста Страстям.* — Акафист Божественным Страстям Христовым.

[2] *Соломониде Ивановне* Чёрной посвящены два рассказа Б. В. Шергина — «Соломонида золотоволосая» и «Рассказ Соломониды Ивановны».

...Благовещение сходит на землю... Как будто в закоптелую, душную, заколоченную комнату врывается струя вешнего воздуха и вносится целый сноп благоухающих цветов. Благовещение — будто в казармах века сего вземлится низкий, чёрный, давяший потолок, и мир сей, по будням затасканный, видит лазурное весеннее небо, слышит пение птиц. Благовещение: отекшее водяничное лицо своё мир сей, грешный, несчастный, подымает к небу, слушает забытые слова: — Радуйся, Обрадованная, радуйся, Благодатная... Свирель ли то пастуха доносится с просыхающих полей, или гусли ангелов... Днесь небо являет земле вечную тайну.

Праздник Благовещения... Всё здесь трепет, всё весна, всё радость и предначатие радости... Умолкает лязг, визг, грохот мира сего, превращённого житухою, змеёю подколодною, в гараж... Не слышим бензинной вони, мнящейся разлиться в масштабах планетарных. Днесь весна благоухает, чёрный гараж превратился в горницу уготованную. Поля подступили к ней, бескрайние. Беспределен купол Храма нерукотворённого. И мир сей — Церковь Господня. И вечную тайну благовествует Земле Архангел.

24 марта. Пятница

Праздник вечен. И чины богослужебные уставлены на веки: — пение, чтение, изъясняющие силу и угодье праздника. Но у каждого человека, допустим, что и у каждой эпохи, свой вкус, свои способности, свой стиль. И празднуя святый день, подклоняя голову под венец дня праздничного, своё может любить в нём тот или другой народ, тот или другой человек. Сквозняками выдуло из нас силу и способность чувствовать день Господень. Но ещё остался нежный аромат, осталась любовь, например, к Благовещению. Мы понимаем, что

не праздник побледнел, не праздник умалился, а мы ослабли сердцем и умом, мы — вылиняли, упали, обескрылели. (А. Критский умиляется о Троице — простаде.) Светлая гора праздника всё та же, это у нас украл враг наш лучшие и нужнейшие силы наши: непосильна нам гора-та, высока порато.

Благовещение... Сколько волей, другастолько неволей вылили мы из сосуда жизни нашей драгоценное миро праздника. Но аромат мира не утратился, осталось нежное благоухание. А давно ли великим грехом было задеть работу в этот день: «Птица-де гнезда не вьёт». «На волю птичку выпускали при светлом празднике весны»[1].

...Выйдешь в поле сегодня: голубое небо, ветер весенний гонит воды. Вешними водами, что глядит Земля в Небо. — «Благовествуй, земле, радость велию; хвалите небеса Божию славу»... Мы и сами не сознаём, что нам здесь так любо и так сладко. Вешние ли проталины, шумящие ли воды, вербные ли барашки, грач ли что, ведь сегодня Благовещение. И кому поёт сердце: «Радуйся, Обрадованная, Господь с Тобою...» — Марии благодатной или земле обрадованной?

...Всяка, говорю, эпоха и человек своё любит, своё выбирает в празднике. (Прав ли он или не прав?..)

Я сегодня улучил часок; в четье-минее (издание конца XVIII века, Киевской печати) чёл «Слово на Благовещение». Не в том дело, что печать слепая и глаза слепые, а в том дело, что первое основное «Слово» оборудовано весьма тяжело и громоздко. Всякая деталь оговорена ссылкой на такого-то и такого-то историка. Дамаскин и другие творцы канонов, стихир не боялись поэтического предания, легенд. В богослужении, в каноне эта

---

[1] См. стихотворение А.С. Пушкина «Птичка» (1823): «В чужбине свято наблюдаю / Родной обычай старины: / На волю птичку выпускаю / При светлом празднике весны».

поэзия легенд о празднике благоухает, как цветы, сияет, как жемчужная риза праздничной иконы...

Поэты — Дамаскин, Иосиф[1], вдохновлённые темою своей поэмы, в творческом своём порыве охапками хватают цветы поэтических преданий, хранящихся не в Писании, а в устах верующих. И этим цветом украшают песнь святую, не оглядываясь опасливо по сторонам. Тут же историко-географические справки. (Помню в Слове на праздник Введения целый архитектурный трактат о храме Иерусалимском...) Совсем научный трактат лютеранского богослова (с их скрупулезной тщательностью в источниках-справочниках). Компиляторы — авторы этой редакции «Слова» — как бы боятся брать на себя поэтическую образность, которою так богаты древние торжественники (Беседа Саваофа с Гавриилом. Пространная беседа Марии и Гавриила). И вот компилятор ссылается на «Кедрина»<?>, Вальсамона[2], Амвросия и т. д. Учёность «редактора» XVIII века бывает наивной, очаровательной.

Иной характер, цельный и живой, носит второе слово Киевских четь-миней о Благовещении. Слово Златоустого. Первая страница, эти бесконечные повторения. «...Послан бысть Гавриил»... истинная музыка. Это рокот античной кифары с одним и тем же начальным переливом струн: «В месяц шестый послан бысть Гавриил...»

Нам, любящим лёгкие настроения, трудны сейчас чисто античные, вернее, антично-библейские образы, представления, беседы, как например (в слове Первом,

---

[1] *Поэты — Дамаскин, Иосиф...* — прп. Иоанн Дамаскин (ок. 780) — крупнейший богослов и поэт-гимнограф; прп. Иосиф песнописец, пресвитер (883) или свт. Иосиф, архиепископ Солунский, исповедник, песнописец (830).

[2] *Вальсамон* Феодор — известный греческий канонист XII в., автор знаменитых толкований на Номоканон Фотия.

цитирующем древнего учителя Церкви), Гавриил, смущённый поручением возвестить Деве рождение, говорит Саваофу: «Конечно, Ты всемогущ и можешь иссохшие уды оживить и увядшую трость восставить...» В этом же Слове повторяется о сердце Девы, пламенеющем любовью к Саваофу. Говорится, что в час благовестия и зачатия Дева ощущала неизреченную сладость не плотскую, но духовную... Здесь говорится о великом, чудном и прекрасном. Это не схолии, не аллегории. Но отвыкли мы, увядшие, опавшие, ничтожные, от мощных красот и святыя Библии, и античного мифа. Не в силах мы взять их силу чудотворную и животворную.

Вечен праздник. Своею мыслью, своею умною песнью может чтить его всяк народ и всяка душа. И особо может чтить Благовещение душа Руси Святой в эти ранние весенние дни, когда «ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят». Когда тишина стоит на полях и песня вод многих не нарушает её...

Радуйся, Благодатная, с Тобою Господь.

25 марта. Суббота

Оказывается, картины времён года сменяются быстро. Даже зима; это только по инерции мнится, что долго и единообразно она тянется. Много ли я в памяти и в эмоциях пейзажей зимних, натодельных, зиму венчающих, особливых успел ухватить?! Помню, мимо Ивановского монастыря шёл, зимке снежной, старорусской дивился. Малыми днями позже картина являла туман, мокрые льды. А к Мефимону шёл, ручьи шумели. А на 3-й неделе поста обсохли горки-те.

Вчера ко всеношной шедши, чисто весенней, трепетно нежной голубизне неба дивился. Над старыми глыбами Ивановского монастыря тонко и певуче возносилась

твердь, голубая в легковейных облачках. Ни в церковь, ни из церкви нельзя было пробиться. Царственным таким напевом петá была стихира «Совет предвечный»[1]. Те же певчие умилительно и «Архангельский глас» пели. Остальные стихиры свадебной скороговоркой бойко смотали бабёшки на левом клиросе. Хор слепых крикливо (иногда кажется — они и глухи!), спешно (с каноном здесь не церемонятся) сбывал с рук ирмосы. Тропарей же читали — один или два. А канон чудный: «Да поет Тебе, Владычице, движа свирель духовную, праотец Твой...»[2]

В ночи пасмурно, но светлость марта долго сквозит чрез облака. В ночи же нежданно, видно, праздника ради, устелила город тонко-белая скатерть. В позднюю обедню скатерть осталась лишь по дворам, а с улиц взялась. Небо явилось многооблачно и пестросветло. Плывут по чистой лазури: плат дымчат да плат сиз. Плат серебрян да плат золотой. Стоя в углу церковного двора, разорялся о контрастной живописности светлооблачного неба. Белокаменная церковь необычайно живописно компоновалась с небесным сильным фоном. Тени и света неба и здания были одинаково сильны. Я побежал скорей глядеть Ивановский монастырь. Какая радость художнику! Воздух чист: ни пыли, ни дыма. Отмытый, что мозаика, булыжник мостовых и плитняк тротуаров, что слоновая кость. И громоздкий ансамбль монастыря, тронутый с юга золотыми блика-

---

[1] ...*стихира «Совет предвечный»* — одно из церковных песнопений на Благовещение: «Совет предвечный открывая Тебе, Отроковице, Гавриил предста...»

[2] Канон празднику Благовещения написан в VIII в. св. Иоанном Дамаскиным и Феофаном, Митрополитом Никейским. Шергин приводит строку из первой песни канона: «Да поет Тебе, Владычице, движя свирель духовную, Давид, праотец Твой».

ми, а с севера беспрестанно подчёркиваемый перебегающими тенями, придающими такую объемность пейзажу. Эта призрачная объёмность чрезвычайно живописна в сильном фоне облак, то мутных, то сияющих.

30 марта. Четверг

Ох, как я вчера понял и на своем носу зарубил словеса: «дух любоначалия и празднословия не даждь ми!»[1] Пригласили выступить на 10(!)-летии организации («учёной») и... не выпустили, затем что «заслуженные» песочницы заняли время... Ну, хамство обычное. Негодую не на эту научно-лакейскую шпану, не на всю эту убогую мразь; горюю о самом себе: что я могу так негодовать, возмущаться, рваться в куски за опозоренье моё перед знакомыми. Как доходит до дела, до столкновения с «людьми», так и вижу я себя таким же, как и вся эта ничтожная дрянь, — профессора, досенты и т. п. Перечислял председатель доклады за десять лет... Какого мусора гора: не то что празднословие, а пустословие и суесловие. Какая между всякими убогими «научными» организациями чехарда, кто кого перескочит. И в этом во всём варятся, всплывают, садятся на дно... убогое «любоначалие»... Я в гневе на сих оскорбителей моей чести выскочил на улицу... А ночь-та весенняя тихая, звёзды что свечи... Бежавши до трамвая, обдумывал: вот так-то завтра обругаю, выпою... Но, глядя на звёзды, зачитал: «В начале бе Слово...» до конца. И — стыдно стало: на кого я горячусь, кто меня оскорбил: насекомые. Уйти от клопиного гнезда и, — нет их для тебя...

Окол себя-то всё у меня в беспорядке, куда что рассовано, не помню. Всяким делом волочу долго. Делаю

[1] Слова из великопостной молитвы прп. Ефрема Сирина.

мешкотно. Неисправности мои копятся в большие неприятности, переходят в бедственности. Этот воз везёт брателко, а я иногда толкаю сзади, нередко сам на воз-от присаживаюсь отдохнуть.

Надоел сегодня братишку, расписывая (раз по десять одно и то же) вчерашние надо мною козни. В поздновечернюю зорю срядил он меня на улицу. Напялил шубёнку, на неё пальто, запоясал, нашёл рукавицы и шапку (всегда это в местах необыкновенных у нас завалится) и выпроводил на двор.

...Я долго под углом стою; небо-то светлое не положит ли слово благое в душу... Двор-от обтаял весь; глина. Уж не спорит белизна снега с небом. Одно небо светит. И так обыденкой-то всякой себя ухлопаю, что ничего уж нет на уме-то. Как рыба разеваю рот... Уж всё равно мне, что Лествичника сегодня. Уж не под силу это. Облак лентою стоит над двором... Вот, думаю, облачко это протянулося за город над лесами. Там тихо, сошли снега, воды там, около домов дворы, амбары, сараи, гумна... Теперь насквозь деревню видно. Торчат избушки на голом месте, одна по одной. Ни дворов, ни гумен, ни амбарушек. Было сто мужиков. Сто мужиков с сыновьями в поле выедут... Теперь восемь баб — 100 коней, конь коня лучше...

<Апрель?>

...На дворе вижу братца и Мишу. Подняв лица, слушают...

— Я думал: день свят, а люди спят. А они глядят кого-то?!

— Журавли, журавли летят...

И я услышал как бы тихий струнный звон. Журавли пролетали в небесных полях, высоко над Городом... И Мишка так восторженно:

Снова птицы летят издалёка
К берегам, расторгающим лёд,
Солнце тёплое ходит высоко
И душистого ландыша ждёт[1].

Так со стихами Фета домой зашли, за стол сели. Братец сюрпризом чашку маслин припас. Белую булку и сладкое в ночь съели, разговляясь, и теперь услаждались чёрным хлебом с солью и маслом подсолнечным. И до кофею мы трое любители. Не красна изба явилась пирогами, а углами красна. Намытые полы улыбались, натёртая деревянным маслом грузная дедова мебель сияла. Тут ещё «открывается первая рама, и в комнату шум ворвался»[2]... От ветерка запозванивали фарфоровые расписанные яйца на голубых лентах у образов. Середи стола кувшин с вербами. Барашки опадают, и на веточках будто ангелки сидят с бледно-зелёными крылышками... чёрный хлеб, чёрный кофей, а получился настоящий «simposion»[3].

Я хвалился светлой праздничностью утра. И любо же было слышать, как Миша под прозу моих речей подкладывал поэзию Тютчева, как парчу под редиво[4]:

И в нашей жизни повседневной
Бывают радужные сны,
В край незнакомый, в мир волшебный,
И чуждый нам, и задушевный
Мы ими вдруг увлечены.

[1] Первая строфа стихотворения А. А. Фета «Весенние мысли» (1848).

[2] Шергин неточно цитирует первые строки из стихотворения А. Н. Майкова: «Весна! выставляется первая рама / И в комнату шум ворвался».

[3] *Simposion* — симпозиум (*греч.*). Буквальное значение слова — пиршество. В Древней Греции — застолье, сопровождавшееся беседой, музыкой.

[4] *Редиво*, рядно — грубое домотканое полотно с редкой основой.

Мы видим: с голубого своду
Нездешним светом веет нам,
Другую видим мы природу,
И без заката, без восходу
Другое солнце светит там[1].

<Апрель?>

...Наука века сего с важною миною говорит: у меня всё на опыте и точности. Но удивительное дело: сколь скаредны, убоги и жалки у них сии опыты и точности. Мёртвое дело!..

Что мне в том, что пересчитала, перебрала ты, «наука», все мои жилы?! Для жизни мне нужна радость. Без неё не перенести мне неизбежных скорбей, бед, болезней. А радость эту ты, «наука», выдёргиваешь из-под моих ног, что мост ломаешь через яму. Без радости человеку незачем таскать своё тело. Что мне в теле моём, болеющем, имеющем разложиться? Мне важен дух, поддерживающий, окрыляющий тяжесть тела. Чувства мои должны питаться только радостью...

...Брату говорю: пока сумерки да небо видать, сплаваю переулком. А и опоздал, выскочили электробельма, скрало небо. Я дал задний ход во двор. Но по случаю теплого вечера отворены все окна примыкающего к нашему двору пятиэтажного дома... Тряся одеялом за окно, какая-то Роза кому-то апеллирует:

— А все-таки Эмепшумг есть Эмепшумг! Что?..

Из окна другого этажа несётся как бы предсмертная икота: певица изображает алябьевского «Соловья»... Да, пришла весна, там лето... Всё, что боялось зимы, пряталось в своих ящиках, вылезло на улицу. Зима

[1] Начало стихотворения Ф. И. Тютчева «Е. А. Анненковой».

без разговоров затыкала рты... Осень всех заставит убраться по своим конурам. Зима одна царствует, белая, звёздная, чистая. А лето — оно бессильно в городе. С апреля погано станет: вонюче, оруче, пыльно.

Стою в закоулке двора, где только стены без окон темнеют да неба тихого полоса. Занакрапывал украдкою дождь. А мне стало весело. Да что же я тужу! Разве я прикован?.. Да сядь на трамвай, и вывезет в тихость весенюю. Велик ли город-от по сравнению с просторами светлыми, где не затоптана, не скована, не заплёвана мать-сыра земля? Много лесов, много полей чистых, тихих. Велики просторы Руси родимой. А се и в городе есть тихий час рассвета, весною особливо прекрасный.

А потом, а главное: «се грядет час и ныне есть», что в себе самом возрастёт, откроется, расширится Храм-от светлый. Ты сам будешь храм, ин куда пришёл, там и служба Божия, там и тишина... Не одолит лязг трамвайный... Самоед, лопарь везде у себя дома. Куда прибежали олешки, там он и расставил свою вежу, и огонь развёл, и постели — как век тут жил. Сердце своё сотвори велико, широко, в нём и будешь жить. Телешко твоё низенькое, а сердце твоё сотворится широко, велико. У тебя пазуха-та что царский дворец будет. В нём ходи да ходи...

<Апрель?>

Не посетовал на город в это утро. Свежесть ранняя, дышать резво. В Ивановском переулочке особливо хорошо. Подойду да постою, полюбуюсь. Великие облака, что с ночи стояли, на мелкие роились. Барашками небо взялось, что ангелочками. И лазурь меж облак чиста несказанно. Переулочек омытый, камешек к камешку, плитняк чист. Тоненькие веточки ещё безлистые на фоне весеннего неба... И воробьи на монастырской стене: «Чив-чив, чив-чив!..»

<Апрель?>

Люблю писания протопопа Аввакума — удивительное, яркое проявление русского духа. И какая-то нерусская сила характера. Расколоучитель... Мне кажется, в каких-то судьбах своих, в каких-то планах справедливости Вечный нелицеприятный Судия призрит пламенеющее любовью ко Христу сердце Аввакума. И не пошлёт страдальца за старую веру в ад.

Мне кажется, что все веры, приемлющие древлецерковные догматы, предания и уставы, как-то: восточная православная церковь, армянская, абиссинская (а в недрах русской церкви — староверие), затем церковь римско-католическая, — пусть эти церкви пока не общаются, разъединены на земле, Небесная Правда, Вечный Судия зрит и видит сердца праведников и той, и другой, и третьей церкви. Но я родился в православной церкви, и довлеет мне, и любо мне в ней пребывать.

Итак, трещины, разъединяющие православие и староверие, православие и католичество, не идут насквозь до преисподних земли, но где-то, и не так уж глубоко, исчезают. Где-то, и не так уж глубоко, христианство едино.

Откуда поэт-художник? Что это такое? О чём истинный поэт нам толкует? Тот поэт, кто не почивает на житухе обывательской сытой ли, голодной ли. Мысль поэта имеет «криле позлащение голубини»[1]. И любо поэту, когда мысль его в каковом-либо месте, в каковой беседе с единомысленным человеком может привитать...

...В незакатной белой ночи Севера любо «криле-те голубини» расправить, туда слетать. Там моё радование... Не пуста Россия-та! Люби, храни сердцем и мыслию места-те святые Святой Руси. И не сомневайся, что оне и есть на своём месте...

---

[1] Пс. 67:14.

Тепло и светло на душе, и жить самому легче, и Бога прославишь, как, отрясши сон житухин, доброю и здравою мыслью очувствуешь, уразумеешь радостно, какой сегодня день-от...

Соломонидушка, бывало, скажет:

— Ты все дома, как печь. Печи никуда не надо...

— Я, Ивановна, умом летаю, где мне любо. Везде на оконце посижу...

<Апрель?>

«Разумом молчи, разумом глаголи». Правило основное в быту и премудрое. Живя в разуме, сам себя бережёшь и ближнего. Береги ближнего, войди и в разум сего святоотеческого слова: «Кто себя видит, в брате не видит». Ежели б мог я себя по-настоящему, каков я есть красавец, увидеть, дак ужаснулся б я. Брат-от ангелом бы показался. А ежели и бросил отругиваться, опомняся, захлопнул пасть-ту свою окаянную, дак без злобы язык-от прикуси...

Лукавой ведь может подсунуть тебе сознание: «Вот-де МНЕ что приходится выносить! Вот-де что Я терплю!..» Ложно<?> сказано: «Не видал я праведника оставленнаго...»[1] Вот эта собственная бешенина и застит нам глаза, не даёт понять, что не мы терпим, не я терплю, а от меня, и только от меня терпят.

Тепла всё ещё нет. Сухо. Ввечеру сквозь мреющий в небе туманец сквозит молодой месяц. Город, улица, люди живут чем? Война б скорее кончилась, пых бы перевести. Живут страхом: нова б не началась... Живут тем: к пайку б что добавить, безразлично какими средствами — блат основное. Добыть дровишек, ужулить электр<ический> ток, ухватить паёк, достать кар-

---

[1] Пс. 36:25.

тошки, перелицевать лохмотья, добыть что-нибудь на ноги... Плюс ко всему из строя выходят водопроводные трубы, валятся дымоходы. На этом фоне всевозможные слухи, ожидания, предположения о конце войны, о союзниках, о японцах... что-де будет дальше и т. п. Люди выжаты, измотаны, измочалены. На уме одно: как бы живым вообще остаться. Эта бедственная житуха заботит, трясёт, мучает людей...

<Конец апреля?>

Уж не воротится эта чудная в году пора — начало апреля. Уж сухо в городе, но ещё нет пыли. Ещё голы деревья и сквозит меж ветвей блещущая лазурь, а вечерами высоко в зените неба стоит маленький серп молодого месяца. Утрами хрустит ещё ледок в колеях уличных перекрёстков...

Один из мудрецов века сего (Д. Бедный) изрёк однажды, что все талантливые люди — поэты, художники, музыканты — непременно имеют большой вкус к плотскому любострастию. Сей опыт дебелой плоти противоположен иному опыту. Опыт иного сознания и самопознания, опыт иного ведения предлагает: оставим плоти сладострастие, возрастим души дарования. Чтобы расцвели творческие (единые на потребу!) силы, надо, как одежду грязную, как раз чувственность-ту и сбросить. Пусть человек отдаст долг плоти, сладострастию в молодые свои годы, пусть отдаст долг матери Природе. Этот хмель пройти должен, разум должен очиститься. До сорока годов пущай хмель-от одолевает, после сорока протрезвится. Очисть ум-от, мысль-ту от хмельных грёз. А то и тело уж старое, слабое будет, а привыкшая к молодым сластям мысль и воображенье все ещё позорно будут нудить к жалкому разврату немощное тело. Не позорь возраста. Пусть молодость

там, в «долине роз», в чашечках своих цветков копошится. Пусть молодость и воображает, что вокруг пола всё в мире вращается. Им дальше... и видеть не должно. А уж зрелому-то разуму иные горизонты открываются. Что у юного красота, то у старого срамота.

Трудно бывает человеку перейти малость и низменность телесных похотей, понять, осознать и вовремя им их место указать. Поэзия, музыка, живопись, скульптура как раз внушают, что в плотском сладострастии главная сущность бытия. Отсюда неудовлетворённость, разочарованность, мрачность, пессимизм пожилых людей.

Бывало, как важно держал себя старик, как значительно было его лицо. Недаром вечная книга заповедует: «Перед лицем седого восстани и почти лице старче»[1]. Старость стала презренной, уж если не в силах ты молодым казаться, дак тебя и на свалку.

Но эта торжествующая дикость и примитивизм не стоят внимания...

Итак, иным венком, чем юность, должна венчать себя зрелость человеческая. Очистивший сердце от мути сладострастия, а через это стяжавший себе и ума светлость, с улыбкой глядит на утехи молодости. Просветлённый ум знает, что всё это надобно — и красование юности, и утехи брачные, знает это разум и благословляет, но соглядает и простирается к тайным глубинам иным.

<Май?>

Из оконца виден день, блещущий облаками. Вчера дождили они, сегодня гонит их резвый ветер, что стаю птиц. Ребятишки играют на солнышке. А я... будто и не мой день-от, не моя весна... Око мысленное, сырым

[1] См. Лев. 19: 32.

телом обременённое, что из каземата и на праздник глядит. Не моё-де...

Все эти годы страшные, весь груз непосильный житья-бытья доблестно влачил на себе брателко мой. А в эту, 4-ю зиму припадать стал духом, и здоровьишка негде уже взять... Обтрепались, обносились. Война кончилась, будет ли какая ослаба. Газетешку-ту нюхают, да трут, да копают: выжать-то надёжу какую поскорее тщатся.

Я так уж себя и считаю юродом, бездельником: не у чего-де живу, ветры ловлю, за тенью бегаю. Сверстники-те — председатель, при академии, с орденом, дачу и машину имеет; мимо проедет, грязью оконце моё обдаст, не увижу я ни облачка, ни соседнего забора... Что же, неужели в самом деле смлоду-то надо было не лазури небесные соглядать, а что собаке-ищейке носом в землю практически обеспечивающие дорожки вынюхивать?.. Бежать по следу такого хозяина, у которого кока с соком запасена... Конечно, у <1 нрзб.> верный нюх, знают, где жареным пахнет. Давно у тех окон сидят, хвостом виляют. И много их. Тёплая компания. Овсянку с мясом им дают. Сахару на нос положат, скажут: «Пиль!» Они фокусы умеют показывать... Нам так не уметь.

Ложью век пройдёшь, да назад не воротишься. Умирать все будем. Тошно будет при смертном-то часе. Для чего-де жил? Исполнил ли то, что тебе задано было в жизни? О чём сердце смолоду горело, к чему живая душа твоя рвалась, то куда ты дел? Вот что при конце-то жизни совесть спросит.

Это, конечно, к Леоновым не относится. Их сознанье совестью сроду не было обременено...

Весна идёт, на сердце всё прискорбно, неустройно житьишко-то. На мели сижу. Никто с мели не сдёрнет. Нужда братко<?> держит, не вывернешься. Горе-зло-

счастие — свет из очей теряется, долу меня гнёт. Извне веселье — весна идёт, а внутри меня нету радости. Знаю, что она должна быть во мне, сердце моё — ларец, и положена была в него радость, да ключ теперь теряю часто, не знаю, куда засуну, память худая.

Голодуха, скудость во всём, лохмотья всех наокруг одолели. На сытых и одетых глядят жадно, завистливо. И всеобщий, всеодержимый, единственный у всех идеал и смысл существования: урвать и мне своё от жизни. 10% сыты, пьяны, и нос в табаке. 50% воруют напропалую. 40% из кожи лезут, колотятся-бьются, не хотят подыхать. В деревне идеал: огородишко, ещё козу купить... Мечта и тема разговоров: пара башмаков, хоть одна на всю семью. Событие: получить брюки, рубахи, платьишко бумажные... Жить надо, как вор на ярмарке вертеться. Под лежач камень вода не пойдёт. На дом к тебе никто за твоим товаром не придёт. Не расхожий у тебя товар-то. На любителя...

31 июля. Понедельник

День-то маялся с головой. К ночи вылез на воздух, сел под ясень. Любо так... Повеет ветерком... Гам городской утихает. Бельма оконные одно за другим, этаж за этажом гаснут, спят. А то пялятся не видя... Спокойнее да спокойнее думать. Людские домища завели свои бельма на сон, но отверзаются очи небесные. Поднял лицо-то, а сквозь ветви уж давно, видно, глядит звёздочка... Свет небесный любовно и тихо, и благостно коснулся мозга, головы, чувств утомлённых, притуплённых.

...Звёздный свет, звёзды вечные, прекрасные. Вот эту звёздочку младенческим оком я видел, и ныне, в старости мне пришедши, она же милосердо светит мое-

му уже потухающему взору. Пусть радио гавкает... Это всё пройдет, это всё истребится. Небось, не всё заклеила житуха. Под скамеечкой окурки да пыль, но налетит ветерок, зашумит в темноте ясень, подымешь лицо — и глянет в душу звёздочка. Точно глазок детский, милый, и он вечности око. Милосердый звёздный взор подает мир душе, утишает ум... И сторонятся на те минуты и груз годов, и болезни, и гнетущие заботы.

3 августа. Четверг

Вся тревога о нездоровьи, беспокойство о будущем, всё, что «дух гнетёт и в сердце ноет», — то всё власть смертного и тленного над человеком. Тело сие, плоть сию тленную нашу апостол Павел «хижиною» называет, хибаркою убогою, гнетущею прозябающий, ютящийся в ней дух. Заместо сей жалкой, тесной лачуги Бог готовит человеку жилище царственное[1]... Оттого-то мы и стенаем (ныне), желая одеться небесным нашим жилищем... Но мы, говорит Павел, не хотим, нам непосильным кажется сбросить с себя гнилые и тесные стены этой хижины, хотя и стенаем под ея бременем (Павел)... Итак, страдаем от смерти, но пребываем в смерти. А надо, чтобы «смертное сие» (больное, тяжёлое, водяничное, гниющее) поглощено было жизнью. Водворяясь в теле, подчиняясь этому грузу, мы отстраняем и устраняем себя от Господа (от радости о Господе).

...«Выйти из тела и водвориться у Господа»[2] — это святые стяжали, ещё будучи «в теле»... И потому были бодры духом и всегда радостны.

«Живи и до вечера и до веку». Павел — Христовы уста[3] всяко свое слово сколько коринфянам пишет,

[1] См. 2 Кор. 5:1–4.
[2] 2 Кор. 5:8.
[3] См. Деян. 9:15; Рим. 1:1.

друга столько нам, человекам сих последних времён... «А Христос и умер за всех, чтобы живущие не для себя уже жили, но для умершаго за них и Воскресшаго»[1]. Павловы уста — Христовы уста. Вечно юно, вечно животворно слово Христово и апостольское... Естественный, плотский, страстный, телесный человек всегда ветх, утл, дряхл, независимо от возраста.

Августа 6-го. Воскресение

Высоко где-то, недосягаемо до меня праздник-от... Неприступней Фавор-то гора... А я в пропастях преисподних кишу... Как помянешь, что сегодня показан нам (?) «Свет присносущный»[2], что являл Он сегодня лик Свой «яко солнце» и были одежды Его «белы яко снег»[3], как вспомянешь, что, бывало, от родимого города плыли корабли на праздник престольный в Соловки, как сдумаешь, что это за праздник, каков он был для тебя, и как увидишь, что ты праздника улишился и тьма тебя духовная и физическая обошла и накрыла, дак резнёт тебя, что льдина, краем по сознанию и по сердцу, ахнет скорбно сердце, да и опять отчаянное окостенение. Уж только скорбь и боль просвет-то праздничный в сознаньи вызывает... Преображение.

...Ежели б пожить силою и угодьем, существом этого события, как раз из бездны, из тьмы отчаяния, из мрака окружающей житухи меня вызволяющего и подымающего.

Если б кто поддержал сознание моё, мысль мою, моё мироощущение, поднёс бы кто ко уступу Фаворскому

[1] 2 Кор. 5:15.

[2] См. тропарь праздника: «Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху; да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе».

[3] См. Мф. 17:1–9; Лк. 9:28; Мк. 9:2.

повыше да подержал бы на руках там лишнюю минуту... Помню, как моя мать своего крестника, тяжело болевшего, в кануны праздников, когда везде перед иконами сияли лампады, ходит из комнаты в комнату, поёт «Хвалите имя Господне, хвалите, раби Господа»[1] и подносит дитя к божнице. И ребенок переставал плакать, в глазках его отражалось сияние лампад. И он тихонько припевал: «Аллилуйя, аллилуйя...»

Не равняю себя с чистым ребенком. «Обыде мя бездна греховная». Уже «яко глух и нем не отверзаю уст моих. Мнози восстали на мя, мнози глаголют душе моей».

— Бросьте, товарищ, ваши бредни! Неужели не видите, что весь мир расстался уже с подобными иллюзиями...

...Я вчера особливо духом-то упал, аж до тупого нечувствия... Восемнадцать часов подряд глаз не отворял, лежал, только простанывал... Голова болела... Брателко что подаст, супу ли, чаю ли, всё вон тут же... Только в сознаньи временем мелькало: — Как смерть-то хороша... Боли этой дикой, ум отымающей, не будет... А братец сам еле бродит. Наприбавок у него грипп. И всегда он в отчаянье впадает, как я эдак, падалью, заваляюсь... Через силу я выполз к воротам на ночь-то... Люди бегут, молодёжь, смеются. Я на тротуаре сижу, люди думают, — пьян... Жутко было: ничего вспомнить не могу, ни о чём связно подумать... А сегодня, вот, пишу, и поел. День сегодня хоть без дождя, а темнооблачен: еле видно строки у окна. А я люблю облака Божьи.

...Лик Христов, свет Фавора... Люди утеряли Христа, живя посреди смертей многих. Президент Америки молитвенно заявляет, что у них, наконец, закончились благопоспешно многолетние работы учёных по изобре-

---

[1] Пс. 134:1.

тению атомной бомбы. Бомба проверена. Убито за один взрыв двести пятьдесят тысяч человек... «Сила, справедливость, мир и в человецех благоволение теперь в наших руках», — заявляет г<осподин> президент...

«...И бысть, егда моляшеся, видение лица Его ино...»[1]. И у рабов Христовых, когда молились, лица просиявали... Приникни к житиям святых, т. е. настоящих людей: в каких бы бедах, нуждах, скорбях, болезнях они не жили, ежели жила и действовала в них молитва, внутреннее их состояние отражалось на внешности их. Молитва... Ежели б даровал Бог молитву... Даже и Господу надобно было «помолитися». Взыде на гору помолитися. И егда моляшеся, просияло Лице Его и одеяние Его бело блистаяся...

Нету этого счастья больше, как умиленная радость о Господе. И не просил бы я у Бога ни здоровья, ни от нужды избавления, кабы свет Христов в сердце воссиял... И никакого ещё света не имея, только понаслышке о нём зная, люблю паче всех молитву: «Христе, Свете истинный, просвещая и освещая всякого человека... да знаменается на нас свет лица Твоего, яко да в нем ходяше узрим Свет неприступныя Твоея Славы...». И сие: «Просвети Лице Твое на ны и помилуй ны».

Непроглядна, темна житуха-та... Ходите, говорит, в свете, пока ещё свет имате... ещё мало время с вами есмь... Господи, с нами ли ещё Ты? — Христос, где ты, Христос, сияющий лучами, — восклицал и Надсон[2]... Канун предпразднества Преображения, и я, что таракан запечный, вылез к ночи на двор-от, встал под угол свой: мило-ет лик, чаша моя небесная не молвит ли де... Сквозь тонкий облак, инде звездочка промигнёт...

---

[1] Лк. 9:29.

[2] Шергин приводит начальнную строку стихотворения С. Я. Надсона (1880).

Под открытым-то небом хорошо вздохнуть... И пало на ум: Господи-де, когда телесным оком уж не буду видеть неба, сведи Ты мне в сердце свет Твой звёздный. В душе бы тогда ожило небо-то и свет его...

Кроме древних пречудных ликов, я в детстве, помню, любил картину (из современных художников) в «Родине»[1] «Приидите ко Мне...». Христос стоит в белом одеянии... Образ простой, но близок он был детскому пониманию... Вот таков и видится Христос-Свет. Милость бесконечная, красота пресветлая, любовь неизреченная.

9 августа. Среда.
11 августа. Пятница[2]

Через нужду, через болезнь, через тревогу я гляжу в природу. Сей год безвыездно в городе живя, увижу где ле какой-нибудь «русский весенний или, там, зимний пейзаж» и уж достаточно мне этого намёка: вижу своё... И дали русские, и небо облачное. Открыточки в руках, трёхцветки немудрые, даже безымянные. «Ранняя весна», «Последний снег», «Тает»... И я уж там стою, хожу... Мне только палец подай, я за руку сам возьмусь. И вот... нестеровский пейзаж... Тут художник сам преславно, как надо — поёт. Мне там любо; я, знай, слушаю да благодарю. И есть пейзажисты тоже, изобразители тишины русской «серенькой» природы. Они не устрояют, не подчеркивают сих чудных, как видение, берёзок, рябинок, вербочек, что так любы у Нестерова. Но у сих «реалистов» ты себя, иное, свободнее чувствуешь. Такой реалист, просто отобразивший то,

---

[1] *«Родина»* — иллюстрированный журнал для семейного чтения, издавался в Санкт-Петербурге (1879–1914).
[2] В «Дневнике» две даты рядом.

что было перед глазами, сам отстраняется, а тебе говорит: «Заходи да живи»... Серенькое русское небо, даль, дождик прошёл... Что мне художник...

После полдня дождь да дождь... Тёплый летний дождь в городе — сущая красота и удовольствие. (Я даве помянул, что сквозь-де нужду любуюсь природой, а се брателко босой, да и я... тут и люби дождь-от...). Как в бане, тепловата вода льётся на тебя. Любо и как бы тонешь, так и уносит сердце... Так и ливень тёплый. Переулок, старокаменные дома, отшлифованные ступени, старые плиты... И всё это моет тёплая чистая вода. Моет и ручьями, в ёлочку бежит, расплываясь по булыжнику. Я и асфальт люблю в дождь. Асфальт не врет, показывает, что дождь идёт. Асфальт любит дождь. Ну и плитняк старых тротуаров обожает мыться. И травка рада. (Это лето ей на засуху не приходится обидеться.) Только кирпич в дождь не очень зарен — мрачнеет. И доски мокрые не красны. Бывало, с настоящей льняной олифой крашен дом-от деревянный, дак ему что дождь-то, дом виду не терял. Теперь на ссяке та же охра, дак подтёки в ненастье и по заборам, и по простенкам. ...Ещё стекла у домов любят дождь. Булыжник любит. И я люблю... Богат дождь.

Это я по сироп ходил в палатку, пока брателко, еле душа в теле, придя с рынка, уснул. Сейчас он перемерял кружкой... Баба обдула меня, заместо полутора налила один литр сулемы этой красной. А я разинул рот на облака. Мне и ни к чему. А ссадила с меня 9 р.

Со второй половины лета (я и не уловил дней и чисел) ласточки не свистят по утрам и вечерам. Видно, птенцов подростили да улетели. И воробьёв не слышно. Хлеб, небось, где ле клюют.

Всё серое в дождь, — камень-от... А какая благородная гамма красок! Этот туск серебряный стоит... И ды-

шать легко... Кабы пальто дождевое, да сапоги добрые — я бы всё бродил по переулкам в дождь... Мимо окна дети, ребята да женщины босиком пробегают, берегут обувь-ту.

В коммерч<еских> магазинах посбавили по сотне. И на руках хлеб — 25 р., картофель — 9 р. За окном темнеет. Фонарёшки инде проблескивают.

14 августа[1]. Понедельник

Когда зима-та окротеет, как манят, как надёжат предвесенние праздники и пост, — мартовское, апрельское... Не держат в том подъёме осенние (по-северному, по-нашему) или предосенние праздники Преображение, Успение. Но неладный это признак твоей меры духовной, ежели Пасха и Рождество вспыхивают для тебя неким фейерверком, а другие праздники «не дают подъёма». Бог, всея твари украситель, Он вседоволен, всеблаженен. «У Отца светов несть пременения или преложения осенение»[2]...

По родине милой, по Северу помню августовские золотые праздники. Преображение, Успение... Золотые скирды сжатого хлеба, снопы, жниво, обилие ягод красных, золотых, синих... Золото листьев... А в Московской Руси — «Спас медовый», «Спас яблочный»[3].

---

[1] 14 августа — Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

[2] См. молитву 5-ю св. Василия Великого из утреннего молитвенного правила: «...Безначальный и Присносущный Свете, у Негоже несть пременение, или преложения осенение...»

[3] *«Спас медовый»* — 1 августа — празднование Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня; *«Спас яблочный»* — 6 августа, Преображение Господне. В эти дни в церкви освящали мёд и яблоки.

Богословская сторона сих великих праздников изъяснена Церковью. Но сила и угодье праздников веры нашей скрыты, кроме писаний и предания, скрыты ещё дивно, изобильно мощно в природе. Праздники наши: и Пасха, и Рождество, и Троица, и Преображение, и Успение — отнюдь не суть воспоминания. Они живут и совершаются сколько в нас самих («Царство Божие внутрь вас»), столько в природе. Мы знаем, что природу живят соки Троицы Живоначальной...

Христос есть лоза истинная. Соком гроздей от сей лозы живёт всё живое во вселенной.

Древнегреческий Дионис, сок гроздей его были прообразом Христа и таинства евхаристии. Отношение к природе в религии древней Эллады, где природа являлась живою и как бы мыслящею, глубоко присуще и вере Христовой. Я уж инде сказывал: древние почитали деревья живыми, но исследуй писания: жития святых, патерики, — живёт купно со святыми природа; живёт о Господе... Когда в молитве творила поклон Святая Дева, с нею преклонялися в саду и деревья. А дружба святых со зверьми, с птичками, — это повсюду и всегда и обще вековечному в религиях. Оживотворение природы у древних не неправильно, но по-детски сказочно изложено. «Баснями» и сказками в то время и для тех людей только и нужными приукрашена и призагружена эта религия. Христианская мысль очистить должна истинное в этой древней живой религии греков. Вера Христова не иудейская вера. Нет!

Поскольку христианство есть истина, и не только совершенная и сказанная, но и совершаемая, нам надо выявить истинное в мифологии этой детской и светлой веры. В канонах праздничных, например, взяты прообразы только библейские, мы должны видеть и выявить живое и светлое в древних мифах греков. Нам близко

и светло многое из того, что древние знали о деревьях, цветах, ручьях, реках. Ведь и у нас обожествлено древо, древо крестное... «Радуйся, пречестное древо»... И у нас воспет «кипарис и кедр, и сосна», которые составили крест.

Мы не приносим жертв дриадам и наядам, не молимся берёзке. Мы видим и знаем светлее, полнее и больше. Мы ведаем и соглядаем жизнь Троицы Живоначальной во всём и, конечно, богоносность эту и это веселие, эту радость о Боге ощущаем во всей твари, — травах, деревьях, птицах, животных. Ощущаем особливо сильно и явно по весне, когда воскресает Христос и сорок дней ходит по Земле. Благоухание трав, дерев — всё это царство Троицы Живоначальной, всё от Воскресения Единаго Безгрешнаго.

Несомненно: почитание природы живою и мыслящею у древних было прообразом нашей веры в то, что природа «радуется о Господе». В эллинской религии больше «ветхозаветного» груза, отпадающего по благовестии евангельском, но как в библейской древней вере, так и в эллинской древней вере есть благодатное и живое. Почитание деревьев и трав как чего-то живого и богозданного и с Богом живущего, — в этом гораздо более христианства и церковности, нежели в понимании христианства и Евангелия лишь как некоего морально-педагогического учения. Сектанты (напр<имер>, толстовцы) считают православие — казённым. Но уж если что казёнщина и мертвенная схоластика, то это их выхолощенные регулы и наставления о «поведении духовного христианина» (к сектантам отнесу и кальвинистов, и «методистов»). И какая полнота и царственная радость жизни с природою у Серафима Саровского: «Радость моя»... Да что сравнивать дивную песнь гения с зубрёжкой тупицы, Церковь — с «какой-нибудь»

штундой, церковные песенные каноны — с куплетами «Армии спасения»[1]. Но и сих не хочу ругать, поскольку кто «взыскует Бога», а это единственно важное.

— Значит, — скажут мне, — святые мученики ошибались, гнушаясь языческих капищ, значит, им можно было туда войти и «чему-то поклониться».

Нет, не нужно, не под нужду было очищенному, светлому, озарённому уму натаскивать на себя эти школьные басни о множестве олимпийцев... Юпитеры, Венеры, Аполлоны... Всё это было уже бутафорией, аллегорией... Нечего было делать мученикам в этом скопище статуй... Да ведь и нам нечего делать в современной жидовской синогоге. Что мы, молиться можем там? ...«У всех-де един Бог?»... Конечно, Единый видит сердца всех людей, всех народов. Он и судит. А я травинка, выросшая на Руси. Я вот так верую... По отцам моим.

Древние византийские богословы, песнописцы берут образы библейские, древние отцы-иноки в Египте, скажем, цитируют только пророков да Псалтирь. Но

---

[1] *Толстовство* — группа синкретических сект, зародившихся в нач. XX в. в России под влиянием идей духоборчества и учения Л. Н. Толстого; признано сектой на миссионерском съезде Русской Православной Церкви в Казани в 1897 г. *Кальвинизм* — направление протестантизма, основанное Ж. Кальвином; возникло в XVI в. Основные приверженцы кальвинизма — пресвитерианская, реформатская и конгрегационалистская церкви. Кальвинистские взгляды имеют распространение в иных протестантских церквах и сектах, включая баптистов, *методистов*, пятидесятников и евангельских христиан. *Методизм* (*методистская церковь*) — протестантская церковь, главным образом, в США и Великобритании; возникла в XVIII в., отделившись от англиканской церкви. *Штундисты* — протестанская секта, возникшая в России во второй половине XIX в. среди немецких колонистов и части населения южных губерний, позднее слившаяся с баптизмом. *«Армия спасения»* — международная миссионерская благотворительная организация протестантов-евангелистов, существующая с середины XIX в.

этим они нисколько не запрещают нам поискать нечто доброе, нетлеющее в наследии наших эллинских «праотцев».

А восстановлять Элладу и её Олимп никак не приходится. Сказано: «Взыщите Бога»[1].Он там, где содержится «радость навеки». Сегодня Предпразднество Успения Богородицы. И о «смерти» этой вот что велит Церковь: «Людие, предиграйте! Плещите руками; сегодня все соберитесь особенно радостно. Восклицайте светло, с веселием, потому что Матерь Божия готова перейти в горняя...» (Тропарь предпразднеству ДІ <14> авг.)[2]. И контакион: «...днесь вселенная умно с веселием зовет: “радуйся Дево, христианом похвало”»[3]...

16 августа. Среда

Спас Нерукотворный... В лесах, чай, «мелькает жёлтый лист»[4]... Хотя сей год дождливо было лето, не вылиняла, не истощилась солнцем зелень-та. В засушливо лето к Успенью оденутся леса «в багрец и золото».

Святая Русь поёт сегодня Пречистому Спасову образу... «Радости все исполнивый Спасе, пришедый спасти мир...». А «мир сей и век сей» вылупил сейчас несмысленные свои бельма на атомную бомбу... Слышь-ка, озё-

[1] Пс. 68:33.

[2] См. тропарь предпразднеству Успения Пресвятой Богородицы: «Людие, предыграйте, руками плещуще верно, и любовию соберитеся, днесь радующеся и светло восклицающе вси веселием, Божия бо Мати имать от земных к Вышним прейти славно, Юже песньми присно яко Богородицу славим».

[3] Кондак (контактион — *греч.*) предпразднеству Успения Пресвятой Богородицы: «В славней памяти Твоей вселенная, невещественным духом испещрена, умно с веселием зовет Тебе: радуйся, Дево, христиан похвало».

[4] Начало стихотворения Н. П. Грекова (1810–1866) «Мелькает жёлтый лист на зелени дерев...».

ра в пар превращаются, почва на составные части разлагается и испепеляется. Штучка в ½ кило сожгла всё вокруг на сто километров и расплавила вглубь на 100 м. Вместо первого японск<ого> города осталась воронка, а Нагасаки, слышь-ка, окутан «зелёным дымом». Но дело в том, что в стране самого «богомола» Трумена раздались протесты ученых насчёт дикой свирепости применения таких вразумлений к врагу. А главное, учёные встревожены: жизнь «расщепленного» атома, по-видимому, продолжается и м<ожет> б<ыть> crescendo. Имеются тревожные голоса видных ученых, во главе с Томсоном[1], президентом (что ли) физической и матем<атической> Академии в Лондоне, что столь слепо и опрометчиво разбуженная атомная энергия может разрушить-де земной шар, пробуравив земную кору.

...Аспид, слышь-ка, убивает сам себя, безумствуя в ярости. Так и «прогресс-цивилизация». «Прогресс и цивилизация» века сего уж явно своё сатанинское начало выказали. Уж не прикрыта ничем сатанинская рожа, но слепое несмысленное стадо не способно мыслить и видеть... Мир во зле лежит. И лежит невсклонно. Осатанев, избрав главою себе Антихриста, возгордяся убогою гордостью, до конца избезумяся... Но «свет во тьме светится и тьма его не объят». Всяка живая душа, не ослепшая среди общей слепоты, чувствует что «жив Господь, жива душа моя»[2]... Бесы одолели век сей. Век сей поклонился смерти и аду; несчастные человеки мира сего несмысленно глядят на то, как «наука» готовит им атомные бомбы, «прогресс» принёс им смерть, но несмысленное стадо лижет задницу этому «прогрессу», посылает детей учиться в школах этой смерти. Безумие страшное и преступное. ...Но: «жив Господь,

---

[1] *Томсон* Джордж Паджет (1892–1975) — английский физик, лауреат Нобелевской премии (1937).

[2] См. 4 Цар. 2:2.

жива душа моя»... В подвалах, в ямах, в лесах, в болотах, в пустынях — везде живёт Свет Христов. Везде есть люди, имущие «разум Христов», люди, знающие, где свет и в чём свет в сем универсальном мраке... Страшен сон, но милостив Бог... В твоём, в моём сердце живёт этот свет. Чёрный туман окутывает мозг масс... Но... тихо сияет лампада пред ликом Христовым... Пречистому Твоему образу покланяемся, Христе... Здесь спасение мозга рода человеческого от «работы врагу». Радости все исполнивый, Спасе. Самоубийственная и человекоубийственная цивилизация окутала мозг рода человеческого... Ночь окутала сердца. Веселье у людей века сего лишь наркотическое. Но светло и призывно в этой ночи звучит молитва: «Христе, Свете истинный, просвещающий и освещающий всякого человека... Да знаменается на нас свет Лица Твоего...»[1]. Посреде поклонников смерти и зла будем ходить, нося в сердце свет лика Христова, моляся: «да знаменается на нас свет лица Твоего». Кругом подклонилось под антихристову печать и прияло печать зверя, гордяся. Но: «Христос воскрес». Впотьмах, как звезда, сияет лампада негасимая пред ликом Христовым Нерукотворным. Сердце наше пусть будет свечечкой воскояровой лику вечной красоты, лику Нерукотворному Христа Жизнодавца. Он красота единая и сила непобедимая. Свет Христов во тьме светит.

...Люди, живя в тени смертной, да видят свет велик... Радуйся о лике Христовом, о том, что у нас есть Христос. И паки реку, — радуйся: люби природу, она книга Божия. Читай её. Так люди, вооружася последними,

---

[1] *«Христе, Свете истинный, просвещающий и освещающий всякого человека... Да знаменается на нас свет Лица Твоего...»* — Молитва Спасителю: «Христе, Свете истинный, просвещаяй и освящаяй всякаго человека, грядущаго в мир, да знаменается на нас Свет лица Твоего, да в нем узрим Свет Неприступный...»

наипоследнейшими достижениями науки, истребляют друг друга, — война техническая... Ты не можешь их остановить... Ты обессилел телом и душою так, что и слово-то твоё не услышано будет не то что «веком сим», но и близкими твоими, избитыми «борьбою за жизнь». А ты не разоряйся, не падай духом. Выдь-ка в поле... Ведь не деньги платить за эту вот тропочку глиняную, за эти ромашки, что кланяются тебе при ветерке. Погляди в небо тихое: вон облачко над дальней горкой дождит... Всё то лик Христов Нерукотворенный.

Сегодня совершается гефсиманский чин погребения Богоматери... «Мати Божия, Богородица». Велико здесь таинство, великое знание и смысл. Велика сила и угодье почитания Богородицы. Матерь Божия и Мать Сыра Земля. Радование великое в прикосновении и проникновении, в размышлении о сем. Радостное знанье здесь подаст любовь к природе, даже если ты живёшь в городе, и только букетик цветов, веточка стоит у тебя на столе...

Зарюсь, иное, что крепкая-де, стержневая-де по всему миру система — римский католицизм. Но тайному-то тайных, мысли-то, уму-то сердечному, душе русской, Бога взыскующей, заветному-то твоему даёт ли что принадлежность к этой «системе»? ...Моё упование заветное, сердечное, умиление моё едино с природою русскою. Пойду по полям... Рожь золотая, васильки, синие колокольчики... И пою: «О Тебе радуется, Обрадованная, всякая тварь...»[1]. Не ложно сказано: «не ищи Рима, ни Иерусалима, ни больших собраний. А где два да три, тут и Я»[2].

---

[1] *«О Тебе радуется, Обрадованная, всякая тварь...»* — Начало песнопения в честь Богоматери в литургии Василия Великого (вместо песнопения «Достойно есть» в литургии Иоанна Златоуста): «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...».

[2] Мф. 18:20.

Как о Троице Живоначальной может только нечто постигать ум человеческий и, нечто постигая и догадываясь, радоваться, ибо здесь высота, неудобовосходимая человеческими помыслами, так и о Богородице поём: «Радуйся, глубино, неудобозримая и ангельскима очима»[1].

21 августа. Понеделок

Осень, чаешь, без дождей. А мокро-то пуще. Вчера, никак, второй раз за лето гром гремел. Днем град выпал, кусками летело. А к ночи полило; через всю ночь да и сейчас без поману валит дождь-от. Брателко по выдачу на свету убрёл. Горе в дождь без обутки да без сменной одежды. Но и в ведреный день мне-ка «горе». В доме напротив бушмены или готтентоты дикий громкоговоритель уставили себе. Но галдит, ухает и лает нам в окна. А в дождь всё же глуше: окна и у тех дикарей, и у нас закрыты. Песня дождя всё же лучше. Долго пасмурь-та утренняя стояла... Аж сквозь рамы слышна эта помойная яма звуков. Сказано: «От дурака хоть полу отрежь, да уйди». Так бы, кажется, действительно всё бросил да убежал... А электричество, а водопровод, а лавка? ... Как тут уйдёшь в пустыню... Я давно не живал летом в городе (какой город!?), дак отвык, плохо себе представлял, во что превратил свои стойла-дома тупоголовый обыватель. Окна настежь у всех, и почти у всех зевают эти страшные чёрные пасти... Ухают, лают, гундосят что ни есть громче да похабнее... Позавидуешь крепости нервов и ушей двуногих скотов, которым что громче, что дичее и ужаснее, то и любо... Из машины лезет бабья задница: юбчонка выше колен, одутлая старая мурлетка наштукатурена, крашеная шерсть на башке

[1] *«Радуйся, глубино, неудобозримая и ангельскима очима».* — Икос 1-й Акафиста Пресвятой Богородице.

завита: генеральша... Она говорит спутнику: «Эта мая акно. У мене радева такая...».

...Ненавидеть — себе дороже стоит. Бежать надо от сих человекообразных... Куриные мозги, обезьянья переимчивость, собачья хватка... И о сих до зде...

С полудня дождь перестал, но холодно, ветер северный — сушит всё же. Брателко обед готовит, я взял любимую свою книжицу «Соловецкий патерик». Почитал об основателе Голгофо-Распятского скита иеромонахе Иове[1]... Опять ожили острова святые... Любя, знаю и вижу природу родимого края. Воочию передо мною картины нежной природы Белого моря. И природа эта оживлена дивною жизнью святых. Святые основатели обителей не насиловали, не уродовали природу, а жили одним ритмом с нею; любили природу. Пустыня становилась садом чудным. Суров климат, и жизнь сурова и проста... Иов был житель столицы, сослан на Соловки для пострижения, заподозренный Петром в сношениях с Григорьем Талицким[2]. Иов прожил на Соловках двадцать лет. Он полюбил эти светлые острова, леса, прозрачные озёра, даль безбрежного моря, открывающуюся из окон церкви, поставленной высоко на горе «Ольгоф»[3]. Иов, будучи скитоначальником, не спал в эти хрустальные сияющие ночи Севера, видя в них как бы прообраз вечного «невечернего» дня. Вот Иов «ронит» лес, ставит часовню, кельи... Поручая скит ученику, Иов любит ходить по тихим озёрам, гостит у отшельников. Всё живо, всё любимо для него на сем «су-

---

[1] *Иеромонах Иов* — преподобный Иов, в схиме Иисус, Анзерский (1720), основатель скита на острове Анзер Соловецкого архипелага.

[2] *Григорий Талицкий* (XVIII в.) — раскольник, яростный противник петровских реформ.

[3] *Гора «Ольгоф»* — самая высокая вершина о. Анзер, названная монахами Голгофой.

ровом» острове, который стал для него, «ссыльного», дражайшею родиной.

Современные культуртрегеры насилуют природу, во что бы то ни стало уродуют её. На Севере обилие ягод, овощей; преизобилие рыбы... Этого взять не умеют современные пришельцы... Печатают в газетках, что в тундре удалось вывести... помесь яблока с капустой... Случают «колмогорскую корову» с «швейцарским оленем»... Хвастают, что почту самолеты возят (!), а известное — кораблестроительство и мореходство — уничтожено дотла. И о сих до зде. Тяжко мне от публицистики. Скажут: отошло время преподобных пустынников, вон в дебрях Африки-де и то везде всё нивелируют (и давно!) американ-культура... Да, плоды этой культуры — «атомные бомбы» и т. п. Но «страшен сон, да милостив Бог». «Территория земного шара» вся может быть испепелена этой «культурой», небо, видимое нами, всё застят самолеты, но «Бог в сердцах человеческих пребывает паче херувимского престола». Разве иночеству нужен непременно окружённый стенами монастырь? Нет, внутрь себя можно построить монастырь и в нём жить. Это вернее.

22 августа. Вторник

Норд-вест над Москвою тянет — холодно, будто и октябрь. Видать, прошло лето. Я его и не видал. А, неважно... Всё тщуся приникнуть опять, воротиться к родине милой, к истинному сердцу Севера моего. Всё гляжу в любимую с детства «зеленую книжицу» — «Патерик Соловецкой». Семи, слышь-ка, годов очаровался я литографированными картинками этой прекрасной книжки и с увлечением срисовывал и «Вид Анзерской

пустыни», и «гору Ольгоф». Ажно и сейчас расцвеченные эти картиночки умиляют меня и согревают сердце. Текст иногда кажется мне схематичным; хотелось бы больших подробностей. Но, возможно, их и не было под рукою составителя. Стараясь быть понятным современному любителю духовного чтения, составитель не сохраняет наречия старинных материалов, довлеет сейчас нам и этот добротный и спокойный язык духовных писателей первой половины прошлого столетия. В «Патерике» нет ни перечня источников, ни авторов, ни... Изданье не «ученое», а монашеское. Что составитель-редактор был, наверное, монах, инок опытный, видно по отсутствию ляпсусов в местах, трактующих о внутренней духовной жизни. О сих вещах составитель, яко истинный монах, и не распространяется.

Я бывал на Соловках в летние солнечные жемчужно-прозрачные ночи. Эти «белые» соловецкие ночи исполнены были такого света тихого и святыя славы, что и у ребенка, у меня, поворачивалось тогда сердце восторгом. Всё там, на священных островах, было необыкновенно: денно-нощная песня морского прибоя, тихие перезвоны колоколов, далеко плывущие над морскими далями. Бывало, в море плывём стороною от Святого острова, но и за двадцать вёрст донесёт ветер зов соловецкого колокола, и творит помор умилённо знамение крестное: «Преподобные Отцы Зосимо, Савватие и Германе, молите Бога о нас! Сотворите поветерь пособную!»...

О, книжица светлая, как тебя возьму, так и слышу крики чаек соловецких, соглядаю невечерний свет соловецких ночей...

А на московской улице и сегодня с полдня опять дождь по холоду. Я и рамы обе притворил. Оно любяе так-то, тише... Вонмем патерику: «Слышь-ка, докуль не было скитов, но токмо основная обитель, любители безмолвия скрывались по дебрям “в горах-расселинах”».

Я и дивлюся: не диво «в пропастях» (не дивно...?) Афона да Палестины укрываться, а как же наготствовать зимою на Полярном кругу, в 40° градусов лютого мороза? Бревенчатые келицы, знатно, с печами, но, знатно, и в «яминах» печурки были. Ведь девять месяцев зима-та наша... Теперь вот скудостью пищи я скучаю. Как паёк доедим, так и ослабеем... А жившие в дебрях соловецких отшельники и рыбу не ловили, но овые десятки лет питались какою-то травой (не тура[1] ли?), мочивши её в корытце, овые же употребляли единственно белый олений мох, толкучи мох с брусникою. Иов Анзерский никогда не ел молока, ни рыбы (м<ожет> б<ыть>, несколько дней в году масло постное?). И прожил 85 лет, до смерти сам рубя дрова, нося воду, трудяся на огороде. Еда Иовля была: репа, гриб, ягода, изредка хлеб ячменный. Современная медицина пичкает нас «питаньем» да «жирами», без них-де смерть. Малороссияне ели всегда «сало с салом», подмосковный крестьянин без «свининки» не мог косить. И всё это в рамах теперешней психики правильно. Жраньём, только жраньём приучил поддерживать свои силы человек современный. Но в каких-то планах бытия человека, на неких ступенях духовного его совершенствования наступает некий перелом, и человек, питаясь мхом и ягодой на Севере или мочёными зёрнами ячменя (горстка в день), жил до ста лет, бьючися с мотыгою под палящим солнцем Египта, срубая неохватные деревья в комариных болотах Севера... Да, мы ещё не знаем своего организма, что ему нужно для его здоровья... Богоносная и великая Египтяныня[2] три рисинки взяла ли, токмо краем перстов коснувшеся до кутьи, предложенной

[1] *Ту́ра* — морская водоросль ламинария (*арханг. диалектн.*).

[2] Прп. Мария Египетская (VI в.), проведшая 47 лет в пустыне.

старцем Зосимою[1]. И то ей было за обед. ...Несчастное наше тело, изуродовано оно, развращено, поругано, до того доведено, что и мясо, и сало, и сладости-сахары, — сил не дают «загубленному» телу нашему. Уж падаем на вино, на табак... Далее кокаины да морфин. ...Так мстит человеку развращённое, испохабленное, несчастное тело, здоровье телесное. И о сем до зде. Живущим и работающим сатане и сало с салом не на радость. Вон «миллионер» А. Т.[2] за столом, винами и ветчинами заставленным, сидел, а питали миллионера сего через афедрон. А что куры да вина в глазах, то для выделения сока желудочного. А вот люди иной категории от ягоды и корки ячменного хлеба силу берут. Ажно я не люблю обличать... Самому-то мне всякой бы день белый хлеб да чай с сахаром... ещё полетать охота над святыми-то островами.

...«Бегая славы человеческой, удаляется Елеазар на Анзерский остров, удалённый от Соловецкого проливом морским за четыре версты. В те времена остров сей был необитаем. Редко, редко приставали сюда беломорские суда и лодьи монастырских промышленников, занимавшиеся звериною ловлею и добычею рыб. Среди острова возвышается чрезвычайно крутая гора, называемая ныне Голгофою. С вершины её в ясный летний день открывается величественный вид на необъятное пространство морских вод, на остров Жижгин и Муксалму, на немалую часть острова Соловецкого. Весь Анзерский остров, с его холмами, покрытыми густым сосновым бором и лесом белых берёз, с его озёрами, подобными округлым зеркалам, находится как бы под ногами... Елеазар, пленённый местоположением, поселился около озера, называемого “Круглым”. Первым

---

[1] Прп. *Зосима* Палестинский (VI в.), отшельник.

[2] *А. Т.* — Возможно, Шергин имеет в виду А. Н. Толстого, скончавшегося 23 февраля 1945 г.

делом пустыннолюбцу было водрузить вытесанный им самим из сосны крест, близ которого устроил себе и убогую хижину. Жизнь в соседстве одних только птиц морских была для него, недавнего пришельца из многолюдных селений, весьма тяжела...»

...Анатоль Франс, яко гурман, любит в своих книгах цитировать подобную прозу. Но гурман Анатоль Франс сопровождает это гнилою отрыжкою. У составителей наших патериков всегда живой, светлый, веселящий сердце дух. В молодости, эстетствуя, я любил почитать А. Франса. А потом определился для меня в сих эстетных писаниях непонятный ещё мне тошнотный душок... Кстати, попал я на дачу. В углу сада прелестный был уголок: тень листвы, цветы. Но лежал душок невнятный. Оказалось: мёртвый пёс...

У составителя-«списателя» «Соловецкого патерика» всё чисто, светло, доброчестно в простоте и бесхитростности. Добротен воздух-от, дышать легко.

24 августа. Четверг

Болезнь ли, годы ли, житуха ли, — тускнеет в сознании всякое благое, радостное восприятие. Сегодня Петру митрополиту память[1], вчера сбродил к Петру-Павлу. Уставные по кругу годишнему службы кое-как провёртывают, как принуд<ительный> ассортимент. А собирают публику на «акафисты». И вчера Петру ни стихир, какон кое-как, — две-три песни, одни ирмосы с парою тропарей, и скок-поскок вспыхнуло электричество в витрине «Боголюбивой»[2]... Акафист Богоматери — святое

[1] Свт. Петр, митрополит Московский (1326). Память 24 августа (перенесение мощей) и 5 октября.

[2] *«Боголюбивая»* — Боголюбская (Боголюбивая) икона Божией Матери (XII в.). В московском храме свв. Апостолов Петра

дело, но... одно дело делай, другого не порть! Вот кругом говорят, гомозятся насчет 800-летия М<оскв>ы... Через год юбилей этот — Петра-то Московского, первосвятителя московского и первооснователя — в день его памяти своевременно помянуть, людям о нём порассказать. Хотя б канон ему в его городе вразумительно вычесть. А не выдуманными чинами утеснять службу. Акафисты доступнее пониманию старух, но памяти великих наших отцов не до́лжно смазывать...

...Между нами и оною Русью древнею, святою возградися стена, паче же ров зияет и ширится. Уже и камни святынь древних сознанию недоступны, но и зренью... Но, как брёл Ивановским переулком, старым, узеньким, пустынным, и спускались сумерки, ненастливый ветерок шелестел сухою травою. ...И небо виделось всё то же, что и при Петре. Небо, оно самое было, Петрово.

...Люблю слушать шестопсалмы[1]. В строфах тех всегда, что тебе в данную минуту надобно, найдёшь. И от последнего-то отчаяния вопль Давыдов так ко времени и к месту всегда придётся.

Кардиолог, скажем, мира сего установит, в чём твоё нездоровье, скажет твою болезнь, порошки пропишет, микстуру... Группу тебе дадут инвалидную...

У Господа Жизнодавца, у живых, у сынов света не так. На них, на «бедных Макаров шишки пуще всего валятся». Они, бедные, Давыдовыми устами и вопят Богу: «слякохся (скорчился) изнемогох, уж не плачу, а “рыкаю” от скорби ...аду жизнь приблизилась, дыханье исчезло... сердце смятеся, ...от всех я брошен; доколе бу-

---

и Павла, что у Яузских ворот, о котором пишет Шергин, пребывает чудотворный список с Боголюбской иконы. Празднование иконе установлено 18 июня.

[1] *Шестопсалмы* (шестопсалмие) — чтение в первой части утрени шести избранных псалмов (псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142).

дешь воротить Лице Свое от меня? Над мёртвым надо мной хочешь, видно, чудеса творить... В земле забвения кто будет разгадывать чудеса те... Уж до последнего отчаяния видно, что доведён человек, с Богом-то эдак судится, к Богу кричит... И, вот эти речи иные великие речи покрывают. Величайшие словеса веры, надеяния и любви к Богу. В шестопсалмии сын с Отцом бранится. Сын-от обидится, высчитывает, кидает обиды Отцу... А Отец молчит: наревится-де, наругается, бедной, вспомнит и добро Отцово. (Бог ведь и бьёт нас, дак всё одно, что гладит. А Сатана и гладит, дак льстит в смерть...)

И, действительно, откатится у блудного-то сына обида, опомнится, кинется к Отцу-то: «Батюшка, прости!..» И обнимутся, и заплачут оба... Шестопсалмие — вопль двух любящих. Тварь наскакивает на Создавшего, вопит на него: «до чего де меня довёл...». И тут же, подряд с бранью, унимается и воркует... Это: Отец-от в объятия схватил поскорее горькое своё детище, в «объятия Отча». И одночасно дитя-то у сердца Всеблагого согрелось и уж хвалит... Хорошо, любо у такого-то тятеньки в охапке пребыть! Сей наш, мой и твой родитель-тятенька, иже прибежище бысть нам в род и род. Мы его роду-фамилии. А фамилия Отцу-то: Вечный, Всеблагий, Всеведущий, Всеправедный, Всемогущий, Вездесущий, Неизменяемый, Вседовольный, Всеблаженный. Хвалим тя, благословим тя, славословим тя, благодарим тя за славу Твою, за сияние Твое, за слово Отчее... Ты, Отец Вседержитель, не сниде на землю, но послал сияние Твое. Свет Твой тихий с нами до скончания века. Ты, Отец, сына Единородного не пожалел, агнца Божьего, вземлющего грех мира. Отец наших Боже, благословен еси!

Закоптела за всю-то жизнь душонка моя убогая. О стену ослоняся, стою в церкви. Видно, глаголы-те

шестопсалмия и коснутся сердечного-то слуха внутреннего. Душу в нас Зиждитель вложил, как иконостас златый. И мы его закоптим, замызгаем: не видно станет в нём ликов святых. И вот отроком я, как и все крещёные, стаивал у служб Божиих у обедни, у утрени, с незакопчённой ещё к светлому восприятию мыслию сердечною. И касалися слухов сердечных эти словеса шестопсалмия. Из слова в слово служба Божия всё одна и та же, не остарела (как бы случайные певцы-чтецы ни мяли её).

Теперь, стоящу мне в церкви. ...И голубь Божий крылом смахивает сажу с души, с очей и слуха сердечного. И сколько смахнёт, столько чую, проглянет золото на душевном-то иконостасе. И радостно нет-нет да дрогнет сердце... Есть радость-та, только отгородился я дымною завесою.

25 августа. Пятница

За окном даве здоровенных двое детин резвились-боролись. Что битюги подковами-те по мостовой. Силушка: «за руку хвать — рука прочь»...

26 августа. Суббота

...Возьмёшь перо да и оторвёшься опять, с делом ли, с бездельем ли... Я к тому вчера начал, что вот ною всё, тужу, что-де ослаб, осел, отяжелел (может, это и есть остарел?), но в молодости никогда стремленье мысли-желанья не было столь собранно, определённо и осознанно, как теперь. Сознанье молодости в плену собственной силы хмеля буйного. Молодость телесным, кровяным хмелем одержима. Молодость сама у себя в плену. Ведь и подвиги, героизм всякий, молодому возрасту свойственный, как правило, происходит

от этого буйственного задора. После, думается, сорока лет очищается ум-от. К старости дифференцируется добра-та мысль-цель жизни. Уж теперь я без оглядки бы «от мира-то» отрёкся. А в молодости целая баржа со страстями-сластями привязана была к пароходишку моему. Теперь, мнится, отвязалась баржа-та. Хоть износился-изъездился пароход-от, а легче ему... Могла бы машина-та поработать, кабы управил Господь путь к спасённой пристани вожделенной. А не так бы мыкать горе ни в тих, ни в сих. Неправда, что-де молодость на крыльях. Нет, она связана, она в себя смотрит. А как в разум-от придёт человек (если придёт в разум...), дух-от уж не обдержит кровь-та. Уж не красуется, не пленяется о теле своём человек. И ежеле вложено Зиждителем в человека «желание чудно», то, как пройдёт власть плоти, желанью-то чудному и может без оной тягости внимать человек. Я вот тепериче которое сижу, а которое лежу, и телешко моё, это вот костьё, мышцы меня, сознанье моё не борет: что мне в падали этой... Я, чуть головой обмогнусь, лечу крылато, скороспешно ово на Севере на родину милую, ово на Радонеж. Соглядаю, как Савватий с Германом в карбас, плыть на Соловки, садятся, иду по Троицкой дороге: странники проходят: вон золотобородый, не «он» ли? Не сам ли игумен Радонежский? ...Высший смысл и истинный, насущный и животворящий разум соглядать в вещах и явлениях любо мне. Как на сегодня принесёт брателко кусок хлеба, я опять и за своё.

Я по общественному-то положению у житухи-то под лавкой валяюсь, а вернее, под порог забит. Да и перед Богом-то лучшего не стою...

Хвалюся, что умом праздным летаю, «за морем грады строю». Но насколько мысль не чиста, судить о себе могу по калейдоскопу сновидений: незнанье уроков (через 30 лет отрыгается!), лестницы, обрывы-пропасти, противные мертвяки...

О снах начал, потому что редко, но дивный вижу сон. Сияющее светом светлооблачное утро. Берега тихих прозрачных вод. Сегодня шёл берегами высокими. Меж зеленых холмов всё время блистала тихая серебряная гладь реки. В юности, в детстве поражала меня несказанная красота утренних небес и глядящихся в воды тихие, зеркальные... Эти сны: тихие воды, светлые... Так непохожи на обычные мои сны, что думается, не приоткрывает ли Жизнодавец по благости своей убогому созданью край завесы некой, скрывающей иной мир. «Место светло, воды покойны»... поёт о сих иных мирах Церковь.

27<августа>[1]. Воскресенье

...Богословского образования вот я не получил... Путаю безбожно всякую терминологию. Бывало, не думамши-то просто всё казалось, многое и разное словом «душа» объединял. Теперь вот, соглядая в себя и извне, болея телом и духом, вижу, что вопросами жизни и смерти, «быть или не быть» стали эти термины книг церковных: душа, дух, сердце, мысль сердечная, очи сердечные, очи мысленные... Что тут орган и что функция? У афонитов исихастов[2], я чаю, условлена и давно установлена и уточнена священная номенклатура душевной и духовной анатомии человека. Но едина ли на христианском Востоке эта «филология», общ ли словарь?

Забираясь годами, болея, я чувствую, сознаю, что дряхлеющий физический организм мой — кости, мышцы, внутренние всякие органы — это одно, а то, что животворит весь этот тяжелеющий груз, — совсем другое; нечто совсем иной природы... Ежели у меня

[1] В автографе ошибочно: июля.

[2] *Афониты исихасты* — монахи-подвижники святой горы Афон.

живот заболит, или сердце, или почки, врач мне даст какое полагается леченье. А вот тоску душевную, или духовную, или сердечную лечить где я найду врача? А не леча духовной или душевной болезни, всуе буду я лечить тело. Дух один помогает оздравить тело.

Павел апостол, святые отцы в писаниях своих божественное горение ума словом изложили. Киреевский[1] говорит, что-де кому как не оным великим (имярек) и глаголати «О Святой Троице»... Они в этой стране были...

Чётко, и точно, и верно, и навсегда, и для всех разглядели и знают святые отцы и меня, отчего я умираю, болею и что меня оживит. Ведь и телесный врач на «душевное» состояние больного смотрит. И медицина века сего и мира сего признала, вынуждена была признать, что стремленье больного поправиться — великая помощь леченью. Матрену нашу, помню, врач спрашивал: «Ты хочешь жить?» — «Нет». — «Ну, дак и лечить нечего»...

...Так вот, как же мне не интересоваться, не иматься за эту терминологию молитв, предписанных мне Церковью... Церковь спрашивает меня, больного: «Ты хочешь жить?» — «Хочу...» — «Дак вот, внимай всем сердцем твоим, всею душею твоею, всею мыслью твоей»... И кладет мне в уста песни часов или утрени или велит всё на свете забыть, внимая литургии... Изо дня в день, из года в год, из века в век врач наш, Церковь, велит нам питаться молитвою... При этом всяку молитву (келейную, соборную) велит начинать молитвой же, чтоб Жизнодавец ум хотящего молиться, сознанье просветил, слухи ума открыл. (А то, ведь, читаешь часовник ли, начало говоришь, и сам себя слушаешь, быдто се котелок где кипит...)

---

[1] *Киреевский* Иван Васильевич (1806–1856) — религиозный философ, литературный критик и публицист, славянофил.

Тело живится душою. А душа — «Святым Духом всяка душа живится»[1]. Святого Духа, Жизни подателя молитвою в душу заманивать навыкни. Как пшеничку-ту, живое то зёрнышко, а не опилки, не сор будешь подсыпать, было-ет голубок повадится к тебе в душу прилетать... И ежели твоя голубятня приглянется, Он, свет, там и останется...

«Матрена, хочешь жить?» — «Не знаю...» — «Ну, будем тебя лечить». Чтоб вылечиться, надо, чтобы ты захотела жить. Чтобы хотеть жить, вот тебе «наговоры» против тоски сердечной и злого уныния. Наговоры эти добрые лекари роду человеческому нашептали: Василий Великий, Ефрем и иные опытные врачи... Златоуст Иван курс литургии тебе пропишет... И в графе «способ употребления» Церковь припишет (рецепт этот всё время повторять надо) — Dtd[2] — Дар молчания к святой литургии.

...Это монаха-то помнишь из «Отечника»: закутав очи и уши в кукуль, спешил к литургии и по «с миром изыдем»[3] — бегом бежал в келью. Не расплескать бы «чуда литургии»...

...Мне не надо многих песен, знаю песенку одну[4]... Вот, велено человеку и не однажды в день, скажем, «помилуй мя, Боже» псалом[5] читать... Вот хошь моё убогое дело: часто не могу, дак на боку-то лежа, то ли не добро псалом сей стих за стихом, что леденцы мали-

---

[1] Из песнопений утрени, антифон четвертого гласа «От юности моея».

[2] *Dtd* — Dentur talks dozis (*лат.*) — дайте такие дозы. Предписание врача.

[3] *...«с миром изыдем»* — возглас священника, напутствующего христиан, готовящихся выйти из храма по окончании литургии.

[4] См.: «Лунная колыбельная» Ф. К. Сологуба: «Я не знаю много песен, знаю песенку одну...»

[5] *...«помилуй мя, Боже» псалом.* — Пс. 50, покаянный.

новые, конфетку за конфеткой обсасывать. И не убывает, неиждиваем сей гостинец Христов... Бог-от, как вод чистых потоки, падает на тело, на душу, и вопит, радуяся о великой милости, вопит, веселяся, человек: «Омый мя от беззаконий... Омыешь мя и паче снега убелюся... Безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя исопом и очищуся... Слуху моему даси радость и веселие... Сердце чисто созижди во мне, Боже... Воздаждь ми радость спасения Твоего... Возрадуется язык мой правде Твоей...». И это начало всякой молитве: «Господи, устне мои отверзеши и уста мои возвестят хвалу Твою... Жертва Богу дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Вот в сих последниях стихах о сокрушенном духе и сердце, можно сказать, полностью указана причина тоски твоей, указано и чем эту тоску выжить... «Да созиждутся стены Иерусалимские...» Нас не касаются мечты сионистов. Мы тут молим, небось, чтоб стены внутренней нашей горницы пособил нам создать Господь.

Дождь идёт рано и поздно весь август. Хлеба так и легли во многих местах неубраны. Дождливое лето переходит в осень. От осени ли ведрия ждать... «Иван Постной»[1] на дворе. У нас на родине совсем осень. Остатки листа небось ветр-от сносит. Я вчера в сутеменки Чистыми прудами брёл... Низкие облака, ряды дерев еле блазнят на тусклом небе... Редко человек пробежит, согнувшись... «Осенний сон начал окутывать» деревья. Хорошо было идти бульваром. Пустынно.

29 августа. Вторник

Разве что нездоровье задержит или непогода, то ведь я всегда почти могу к службе на праздник попасть...

[1] *«Иван Постной»* — народное название дня Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Я и не ценю... А люди, занятые работой, семьёй, расстояньем, как они ценят, что дорвались до соборной-то службы, до архиерейской. А мне, бездельнику, вольно хоть ежедневно. Я и устану, и рассеюсь, меня и продует, у меня и голова заболит... Нынче праздник велик, уж, думаю, лишенье будет велико упустить. Как не с Предотечей, проповедником покаяния, дак с кем и пожить. И это главное в празднике — взыскать, ощутить, увидеть, озариться силою и угодьем празднуемого события; ощутить таинственную его жизнь в природе и в нас. А выводить из Евангельского рассказа об усекновении главы Предтечевой[1] только назидание о вреде блуда и пьянства — будет мало.

В Елохове[2] бывает много народу. Бывает много благочестивых зевак. Их нельзя смешивать с любителями архиерейских служб и ценителями пения. Зеваки (очень часто мужчины) стоят и тараторят всю службу... И кто служит, и откуда приехал, и надолго ли, и чей дьякон, и что платят хору... и как было прежде... — всё доложит страдающий недержанием речи богомол... Ежели его сосед не слушает, болтун начинает громко подпевать клиросам... Эти типы пришли к службе развлекаться. Они разглядывают публику; встречают, провожают, оборачиваются, огрызаются бойко, но и бойко ответят на вопрос, укажут, где «Скорбящая», где «Нечаянная», где «Иван Воин» или «Троеручица»[3]. Эти типы любят, когда в церковь заходит молодёжь или военные. Они становятся около, воздыхают, возводят очи горе, истово, надо или не надо, крестятся, бахваляся и выставляяся людям на смех, а Богу на грех.

---

[1] Мф. 14:1-13; Мк. 6:14-30.

[2] Богоявленский собор в Елохове в Москве с 1938 г. был Патриаршим кафедральным собором.

[3] Богородичные иконы «Всех скорбящих Радость», «Нечаянная Радость», «Троеручица», икона св. Иоанна Воина.

Старухи часто, выйдя из церкви, ещё с мостовой оборотятся и начнут намаливаться, что мельница, для показу: нате, мол, глядите, есть ещё верующие, есть ещё порох в пороховницах... Сегодня в трамвае «верующая» из Елохова утеснила какую-то больную, истеричку. Та истеричка завопила, «верующая» «подняла перчатку». Истеричка: «Чёрт вас носит»... «Богомолка»: «Накажет, накажет тебя Господь, отымет твоё здоровье, несчастная будешь». Завизжала и больная: «И пусть, пусть меня чёрт возьмет»... Эта больная, призывая на себя чёрта, ни разу не похулила Бога. А у неё на Бога очевидна великая обида... И глубоко я жалел именно её, яростно накликающую на себя: «Да, да! Пусть мене чёрт поможет! Может быть, хоть он поможет»...

...Написал и думаю: резюме сему — благодарю Тебя, Боже, что я не таков, как эти люди...

...Это уж и глупый бы мне сказал: лучше тебе и в церкви бы не быть, чем судить. Но и ещё сужу: о. Колчицкий проповеди говорит языком стенгазеток. Пожилой человек, «проповедник» — поинтересовался бы языком тех же стихир, поистине украшающих вечерню и утреню. Глубоко содержательны тропарь и кондак «Усекновения».

3 сентября. Воскресенье

Старики бахвалили — бабье лето будет солнечно... Постояло ведрие два дня, да опять дождь без поману.

7 сентября. Четверг

Двадцатое по-новому, а ещё ничего не давали... Братец чуть свет ушёл в магазин. Долги стали ночи. В пять рассвет-от.

Вчера память была оптинскому Старцу Макарию (чаду Леонидову, отцу Амбросиеву, другу Киреевских). И всё думалось, как прошлое оживает и озаряется подобными «памятями».

О святых нельзя сказать, что они «были». Они есть, они живут и сейчас и будут жить истинно живую жизнь. Сей мир, сей век по сравнению с оным живым веком оказывается «притворным, привременным». Род человеческий, как лес. Но этот лес был древле садом. Идут века, поколения сменяют поколения, разрастается, ширится и сад сей. Но участки сего сада, приращённые в «новые времена» истории, являются захломощёнными, полными иссохших и согнивающих деревьев, замусоренными мелким безжизненным кустарником. Были нежизненные деревья и ветки и во времена и века прошлые. Но всё, не творящее плода Божьего, живо́го, благоуханного, подлежало и подлежит уничтожению. Но живо на все времена всякое древо, питавшееся «соками Троицы Живоначальныя».

Оглядываясь в прошлое, скажем, столетие, мы видим многие его достижения, его «прогресс» слинявшими, утерявшими весь свой блеск, модные новинки XIX века видим покрытыми гробною плесенью и гнилью.

Но «смерть не всё возьмет, только своё возьмет» — говорит мудрая пословица. В замусоренном саду «века сего» дивные есть участки, дивные зеленеющие и благоухающие вечною весною деревья и цветы. Жив сад Божий, святая Русь жива! Сад Сергиев — Радонеж. И сад, скажем, Оптиной пустыни — нет для них дряхлости. Они вечная весна... То, что и в прошлом столетии жаждало сосать от болотной сырости, скажем, «вольтерьянства», то сгнило, иссохло. То, что питалось жизнеподательными родниками, скажем, филокалии — живыми водами «Любления красоты», то жило и живёт... Память старца Макария... Макарий ученик

Леонида. Леонид ученик Афанасия. Афанасий ученик самого Паисия Величковского... А сей ученик Нила Сорского, и Сирина Исаака, и Лествичника... Сад жизни, вечная весна... Я, когда шёл к этому саду, не помню, где-то у свалки в пыли остатки челюсти видел — два зуба... Не Вольтерова ли это «знаменитая» улыбка?!

Не думай, что «вечность» — это какие-то там межпланетные пространства, где «аж дух захватывает»... Есть английская благочестивая книга: «Надгробные размышления». Автора, даму, водит (не помню, кто её водит, или носит её...) по «вечности загробной...». Даются астрономические цифры. Даму эту (за гробом) ставят то на Сатурн, то на Марс... Бездны кругом, кометы... Ясно, что дама ухает от ужаса, небось визжит... Чему дивить! Я через Хотьковский мост железнодорожный идти боялся, ладно, что Стёпка, что сзади карабкался, всё меня надоумливал: «Читай, парень, молитву... Молитву твори...». Я и перешёл хотьковское оное мытарство безбедно...

Дак вот. Не такая, деточка, вечность-та — не кометы, и не стратосферы, и не марсы. Не в телескоп вечность изучают и разглядывают... А где она, и что она — тому святые учат. Они были в той «стране»... В себе надо глубоко, глубоко глядеть. В себя надо войти. И Бога в себе велено искать. Первая-то азбука: Что есть Бог и что Его обитель? В сердцах человеческих пребывает, паче херувимского престола. А там, Бог даст, поймёшь, как это Он и на небеси. И где это «на небеси», узнаешь, радуяся.

Рубаха, вот, на тебе близка, а Бог ещё ближе. Дак то и знай, что и Макарий-то старец не в межпланетных пространствах, а за Калугой на Жиздре-реке сидит, живую грамоту тебе пишет...

О, великое добро, великое богатство мое эти старцы. Кабыть, напасены у меня шёлку, или каковой драго-

ценнейшей и тончайшей пряжи клубки. И тку я для зимы века сего одежу тёплую себе.

Святитель Филарет М<итрополит> М<осковский> в прекраснейшем слове своем на освящение церкви преподобного Михея[1] просит показать и первый «малый деревянный храм» Св. Троицы, но и входит туда и слышит треск лучины, светящей чтению и пению. Просит: «Отворите мне дверь тесной келии»... но уже стоит там рыдая, сам лобызает порог келии Сергия, порог, «истёртый ногами святых». Проповедник «видит» и Сергия, плотничающего и получающего за работу плесневелый хлеб. «Слышит» молчание Исаакиево... «Всё это здесь, — восклицает святитель, — только закрыто временем или заключено в сих величественных зданиях, подобно сокровищу в ковчеге... Сокровище это неистощимо, непохитимо; можно брать потребное без ущерба для сокровища».

Святитель Филарет уносится мысленным взором в XIV век. Мы перенесёмся, ради памяти оптинского старца, хоть бы в XIX век... Почитаем из путешествия инока Парфения[2] о приходе его в Оптину, о свиданьи с о. Леонидом... В низкой кельи меж елей сидит схимник, плетёт поясок, беседует с пришедшим народом, который стоит на коленях, затаив дыхание, боясь проронить слово уже отходящего ко Господу великого старца... И это та же святая Русь, что и приходила в Радонеж. XIV и XIX века сошлись... Всё, что в Боге,

---

[1] «Слово на освящении храма Явления Божией Матери преподобному Сергию», устроенного над мощами прп. Михея в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, произнесено митрополитом Московским Филаретом в 1842 г. Обиходное название этой церкви — Михеевская.

[2] *Парфений, инок.* Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженика Святыя горы Афонския инока Парфения: В четырёх частях. М., 1856.

то вечно юнеет, вечно живо... И вечно с тобою, если ты взыщешь... Ежели ты «ум не раздвоен имея, паче жизни (века сего) в Граде быть восхощешь...».

9-го сентября. Суббота

Мы таковы: что не при нас было, чего мы своими бельмами слепыми не видели, дак того будто и не было... А необходимо нам приникать слухом и оком сердечным и к верному церковному свидетельству. Сегодня память святителю Феодосию Углицкому[1], обретение мощей, которое было в 1896 году. Я перечитывал хронику торжеств. Пять дней и пять ночей совершалось над градом Черниговом чудо: несметно собралась святая Русь — богомольцы обложили город как бы лагерем. Их было до ста тысяч... Деннонощное пение, ночь уступала сиянию свеч. Пение и перезвоны колоколов усугубляли молитвенную тишину ночей. Ночами река отражала сияние свеч, богомольцы собирались на берегах, читали житие святого новоявленного. От гроба святителя совершались исцеления; всякой час молва разносила весть о новых и новых чудотворениях. Вера Христова снова и снова являла свою силу и свет — ночи обретения святых мощей были подобны пасхальной ночи. Во Христе нет смерти. Гроб, вынутый из земли, где пролежал двести лет, являл воскресение. И Русь святая вновь и вновь ликовала: Где ты, смерте, жало? Где ты, аде, победа?[2] Воскресе Христос, и жизнь живет во всем мире! Воскресе Христос, и живы мертвые, почивающие о Господе. Радость о Господе горела в знаменательные дни сентября 1896 года. Радовался русский

---

[1] *Свт. Феодосий Углицкий*, архиепископ Черниговский (1696). Память 5 февраля и 9 сентября (обретение и перенесение мощей).

[2] См. Ос. 13:14.

народ, наши отцы, и заповедали, как верные свидетели, радоваться нам...

Всё лето сейгод просидел я в кирпиче у оконной дыры. Но ведь знал я, что стоит сесть в вагон и можно очутиться в поле, где веет благоуханный ветерок, плывут облака... Таково ж знаю, несумняся, что есть радость у живущих во дворех Дому Бога нашего. Ежели самому мне застит житуха худые мои глазишки и сам я ослаб, дак знаю, что где ни-то, может, в соседнем доме, эк же в подвале или на 7-м этаже есть раб Божий, не спящий духом, как я, а бодрствующий. И он мне скажет: гляди, слушай... Жив Господь! Жива душа твоя... Есть у Господа радость.

10 сентября. Воскресение

Два принципа жизни давным-давно определились в роде человеческом. Один принцип: хватать и рвать со стороны, извне всё, что глаза завидущие завидят. Нахватывать благ материальных всё больше, больше, больше... Отсюда изобретательство — техницизм, прогресс индустриальный, всякая механическая богоубийственная и человекоубойная цивилизация — «сифилизация». Человек и целое общество человеческое свирепеет, сатанеет. «Се грядет час и ныне есть...». Понятие добра и зла исчезло; самое понятие любви, братства людей, правды, милосердия истребилось из сознания человека и народов. Заветы Христовы попраны и похоронены. Осатанев, освирепев, люди истребляют друг друга. Как поступает индивидуальный человек века сего, «рвач», так поступают и целые общества современных людей «рвачей». Мало ли, много ли имеет человек века сего, он, сколько сил у него есть, нахватать, накопить, приобрести, урвать со всех сторон тщится.

Сильный со многих дерёт, слабый с ещё более беспомощного, чем он. Директор склада ворует грузовиком, больная старуха тащит чужую тряпку или блюдце из соседней комнаты. Жизнь превратилась в скаредную, осатанелую житуху, и нет, нет уже другого подхода к существованию, нет другого осознания жизни.

Слов нет, что нужно, чтоб дети, семья, родные были сыты, одеты, обуты. А всё это для многого множества людей стало беспредельно трудно, неимоверных усилий требует. И день и ночь голова-то занята: как бы не подохнуть... Зима пришла, а все босые... Надо, надо биться, чтоб тряпку или кусок урвать для семьи-то... Так большинство и бьётся, пока с ног не слетит...

Но не должен быть сдан в архив другой принцип, другое начало жизни (а не житухи) — Ищите прежде Царствия Божия... (Взыскать Бога — это не значит бросить семью голодать: ежели у тебя дети, старики больные, докорми детей до возраста, воспитай, ежели старики, допокой их, докорми — вот твоё спасение. Каин ты будешь, ежели прах мира от ног отрясёшь и будешь в пустыне душу спасать, а «в мире» оставишь беспомощных тех, кому обязан помогать.) И о сем до зде...

Я говорю о начале, о принципе жизни, которое «не вси вмещают, но им же дано есть». Здесь по мере своего совершенствования человек не сгребает под себя, отгребается от вещей, от имения, от богатств. По мере духовного совершенствования сознанье человека проясняется, житухина хроническая плесень исчезает, копоть, покрывающая орган мысли, как дым уносится. Дымное сознанье наше становится «разумом» Божиим. Потому Церковь-та всё и молится: очисти да очисти... Очистить сердце, очи сердечные, очи мысленные необходимо для нашего счастья, для того, чтобы сошли в душу мир и радость, при которых всяка болезнь и нужда не страшны.

Программа и тезисы благодатной этой науки самосовершенствования и преуспеяния изложены в учениях святых. Их всем нам предлагает Церковь Христова. ...Человек, пойдя по этому пути благому, в свете разума, ясно видит, в какую яму невылазную, в какое болото повергает людей несытая, мёртвая хватка, личное преизлишнее обогащение того или иного члена общества, когда все завидуют сильному, рвачу, стараются от него не отстать, давят друг друга...

...Человек века сего, удачливый ли, неудачливый ли, спокою не ищет. Ежели он много нахватал, дак знает, что и зависти самой лютой в окружающих породил, и все окружающие в ложке воды его такого ловкаго утопить рады. И с опаской, с опаской он хватает. Ему и ночь не спится. Посмотри-ка на счастливчика сего света, как у него — чуть что — глазки-то забегают опасливо. Во время чумы-то пировать, ох, многодельно и заботливо!..

А что мне около мёртвых псов стоять, вонь пропащую слушать да про падаль сказывать?! Знатно, что в нужнике, окроме дерьма, нет ничего...

11 сентября. Понедельник

Сегодня валаамским преподобным Сергию и Герману[1] праздник. Как бы золотую ризу накладывает на житейский день праздник, память святая. Особенно любо мне, когда с Севера родимого, от светлых озёр и дремучих лесов в заповеданные дни года идёт и светит, будни наши озаряя и согревая, преподобный оный и блаженный свет... Сергий и Герман Валаамские, основавшие обитель Преображения на озере Нево, в первые века христианства русского, благодатно жили и в века

[1] Преподобные *Сергий и Герман Валаамские* — основатели Валаамской обители.

последующие. Каким огнём сиял свет иночества на Валааме, доказывает век XIX...

Нонешние времена из правил вышли. Ещё Златоустый сказал, что можно спастись и в городах...

Теперь «дом отдыха», «дача»... А бывало, чем красно было лето в моём родном городе... Город стоял на водах — порт, близ моря. Мало кто ездил «на дачу», но семья хоть раз в лето собиралась «на богомолье» — к Соловецким, к Антонию Сийскому, к Ивану и Логгину Яреньским, к Вассиану и Ионе Пертоминским... Особенная жизнь, особенная природа, особенный быт, не наши интересы и разговоры, не наш уклад, жизнь, не боящаяся смерти, и смерть, как праздник. Жили в монастырях люди, умершие для радостей мира, но как тускнели и умалялись радости мира перед святым иноческим житьем. На Соловках у многих из наших горожан были родственники монахи... и уже как бы в чине ангела почитали мы, например, материна двоюродного брата монаха Иустиниана.

Омытыми, новыми возвращались мы из обители. И привезённые из обители образки, картинки, ложки, посуда, книги, просфоры — так это потом любо было...

Кто-нибудь подмигнёт мне и скажет: «Знаем мы монахов — абие-ба-бие», «игумен вокруг гумен» и т. д. И я отвечу: «Всякой находит, что ищет, всякой видел в монастыре то, что он способен был видеть, что ему было дано видеть. Всяк видел то, что хотел. И жемчужну кучу разрывая, ухитрялись «навозное» зерно иные любители находить.

19 сентября. Вторник

Липы мои, что через дорогу, за оконцем, поредели; ветер гонит жёлтый лист. Точно и не было густолиственной купы. Неба стало много видать, чему я рад. Вчера к сумеркам брёл Ивановским, Подкопаевским пере-

улочками. Подойду да постою. Гляжу, не нагляжусь: старая стена уступами вниз, одинокий купол и высоко, высоко в тихом небе реденькие облачка. Тихость коснётся души и ума. И так властна эта тихость неба. Больше она толчков и пинков, властнее шипа, свиста и машинного лаянья...

20 сентября. Среда

Говорят, война кончилась... Нет, мир сей, век сей, житуха наша — война нескончаема. О мире сем древле сказано: «Человек человеку волк». Воюют люди друг на друга люто и неустанно. Схватились в своей «борьбе за жизнь», и разве мёртвые отвалятся один от другого. Каждому надо урвать своё. Одни бьются и колотятся для того, чтоб ухватить корку хлеба для ребенка или покрыть хоть тряпицей какой трясущегося зимою брата, воюют, плача и проклиная, чтоб ухватить ломоть да снести его в тюрьму, больницу сыну, мужу, отцу... А эти вот сражаются остервенело, чтоб удесятерить запасы вин, хрусталя, пополнить коллекции всяких редкостей и драгоценностей...

Полезнее вспомнить: «Если, обличая кого, придёшь в раздражение, то свою только страсть утолишь...»

Трудновато человеку поднять себя за волосы. Трудно исполнить: «Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим». Надо исполнить! «Да отвержется человек себя». Из самого себя надо выскочить. Надо за дурной сон вменить себе всё, что в мире сем видишь, надо заставить себя проснуться, очнуться...

21 сентября. Четверг

Дни сухие, солнечные. Свежий ветерок. Вечером так жёлто-призрачно. Вечерняя заря глядит мне во всё

оконце. Деревья напротив скоро последний лист уронят, а мне любо от этой прозрачности. Того для и люблю я деревья весной до пышного листа, до «соловьев» (с Фетом мои вкусы не сойдутся), и осенью, и в самый листопад. А «пышное природы увяданье», вообще всякая «пышность», и даже летняя, — «с это меня не станет». Какая картина прославленного мастера заменит мне моё оконце. Из старинной, не менявшейся со времен Павла I рамы глядится ко мне и в низенький покойчик то зима, то лето. Как я люблю, когда белая скатерть застелет перекрёсток, на который глядит наш дом! А весной — что зеркала, протянутся лужицы талого снега. Вот сейчас по бледно-зелёной гаснущей заре взялись розовые облака: завтра будет ветрено.

23 сентября. Суббота

...Часто употребляют фразу: «Доброе старое время». Но и в «доброе старое время» во всех ли людях светился свет?..

Обращая мысленный взор в прошлое, а я, например, люблю глядеть в девятнадцатый век, ибо там все мои корни и все заветное моё, я люблю соглядать там «жизнь живую», то, что не умрёт, люблю знакомиться, и знать, и жить с людьми, кои были современниками дедов моих...

К такому «прошлому», вечно живому, я люблю приникать, думая о своей родине.

2 октября. Понедельник

...Один добрый человек, умный, учёный, образцовый семьянин, два сына у него было — надежда и утешенье родительское, этот человек в беседе говорил: «Монаше-

ское умиление и просветлённость... хм... что же в этом, какой смысл?.. Человек живёт для детей. Смысл жизни и счастье человека в детях. У меня растут дети — вот моё умиленье и просветлённость, моя радость. Семья, дети — вот стержень и мудрость жизни. Я гляжу на моих сыновей, и я — царь! Я Бог! В детях моих основа моего жизненного тонуса, моего творчества...»

Это было пять лет назад. Оба его сына убиты на войне. Недавно я встретил этого ученого. Его и жену. Она в свои 50 лет кажется девяностолетней старухой. Он прям, продолжает говорить о своей науке, но временем забывается, молчит, уставясь в одну точку. Идёт по улице — лицо каменное. Инженеры-сослуживцы с уважением говорят: «Какой стоицизм, но какая пустота в глазах. Он стал мёртвый...»

3 октября. Вторник

Скажут: «Что уж ты всё древних-те людей хвалишь, чем они такие отменитые?» Да! Древность и, скажем, Средневековье — это была юность, молодость человеческой душевно-сердечной, умно-мыслительной восприимчивости и впечатлительности. Древний человек несравненно был богат чувствами, воображением, памятью. Ныне одряхлел мудрец. Мало радуют ныне «специалиста» его знания. Будто кляча с возом...

13 октября. Пятница

До осязательности живо, как бы наяву, предстаёт мысленному взору то, чем сладостно жил в годы отрочества там, на Севере, на родине милой. Места по Лае-реке временем вспоминаются каким-то садом Божиим. Река Лая, таинственная в тихости сияющих летних ночей. Протяжные крики ночных птиц, всплески рыб...

Тишина ночи, сияние неба, подобные зеркалам озёра в белых мхах, плачевные флейты гагар... Или днём: лесная тропинка, бор-корабельщина, меж колонн, благоухающих смолою паче фимиама, цепь озёр, отражающих нестерпимое сияние неба. Некошеные пожни-луга, цветы, каких московские и не видели. На лугах, на полянах малинник: ягод некому брать, а я боялся змей, пока не скосят траву...

14 октября. Суббота

Круглое тундряное озеро (чарус) с плачущими гагарами лежит в версте от Лайскаго дока, где мы жили. Мимо озера к деревне Рикасиха идут и едут берегом Белого моря (Летним) в посад Нёноксу[1]. Четырнадцати годов я живал в Нёноксе. Посад отгорожен от моря дюнами: с колоколен видать воздымающуюся над горизонтом высокопротяжённую стену чёрно-синих вод. А шум и как бы некий свист моря слышен в домах днём и ночью, при ветре и без ветра.

Вкруг Нёноксы ячменные поля, пожни-луга с синими цветами, холмы, покрытые белыми оленьими мхами, и всюду-всюду так нарядно, как бы в садах, рядами и кругами богонасажденный черёмушник, рябинник, малинник, смородинник. Из ягодника вылетит нарядная тетёра и сядет поблизости. Зайцев тех летом не трогал никто.

Уж ягод и брать некуда: корзина полна морошки, туес полон малины, а всё идёшь: места открываются одно другого таинственнее по красоте. Круглая сухая поляна белаго мха, по белому моху синие крупные

[1] *Посад Нёнокса* — старинное поморское поселение на Летнем берегу Белого моря (с XIII в. — посад, позднее — усолье), знаменитое своими соляными варницами. Церковный ансамбль, о котором упоминает Шергин, — три деревянных храма XVIII в. и колокольня XIX в.

цветы — колокольчики, незабудки и великолепный папоротник в пояс человеку. Поляну окружает стена розовой ольхи и рябины. Пройдёшь эту стену (под ногами несметно черники), и уж в глазах золотится полоска жита (ячмень), в жите поёт птица «симануха». И тут же непременно речка в белых песках, непременно журчит по камешкам. Речка прячется в папоротнике, в ягоднике или, отражая высокое жемчужное небо, изогнётся меж сребромшистых холмов «высокой тундры». Сколько звёзд на небе, столько в архангельском крае озёр. И речки наши серебряные текут меж озёр и через озёра. И с этих озёр, куда бы ты ни зашёл с ранней весны (с постов Великих) до поздней осени, крики птицы водяной слышатся днём и ночью. Слаще мне скрипки и свирели эти ночные крики птиц, музыка родины милой... Лебеди, когда летят, трубят, как в серебряные трубы. А гагары плачут: куа-уа! куа-уа! куа-уа!

Далеко от посада не уходил, всё в глазах держал высокие шатры древних нёнокских церквей. Иногда в тишине белой ночи поплывут звуки заунывного колокола: кто-нибудь в лесах, во мхах заблудился из ягодников. На колокол выйдет.

«И страна моя, Белая Индия, преисполнена тайн и чудес»[1], — поёт о Севере поэт Клюев. Удивительное, странное и сладостное состояние овладевало мною иногда, среди этой природы, в этой несказанной тишине. И любил я ходить один, а не с ребятами-сверстниками. Какая-та сказка виделась воочию. В те годы, сначала на Лае-реке, потом в Нёноксе, выходя из возраста детства, впервые вглядывался я в окружающий меня мир Божий. И самыми сильными, самыми разительными были непосредственные впечатления северной природы.

Нёнокса было место удивительное, там ещё царствовал XVII век, в зодчестве, в женских нарядах, в быту.

[1] Строка из стихотворения Н. А. Клюева «Оттого в глазах моих просинь...» (1917).

Художник, любитель старины, эстет зашёлся бы от восторга. Красота старины северной пленила меня навсегда годов с шестнадцати (Николо-Корельский монастырь). Но красоты природы могущественно, таинственно и сладко начали пленять мою душу с девяти годов.

В р<еку> Лаю впадает лесная речка Шоля. Отец брал меня, малого, туда на охоту. Мы вставали на заре, я трепетал от счастья: Шоля, покрытая белыми кувшинками, стада чирков — мелких уточек, всё это было для меня путешествие в сказку. Всюду воды, всюду на вёслах или с парусом. Воды северных рек прозрачны. О, как я любил соглядать подводные эти страны. Помываемые глубокими течениями леса водорослей, похожия на косы русалок... Серебряные рыбы меж зелёных кос, раковины. О, как любо было, купаясь, нырнуть в яхонтовый этот мир да оглядеться там на мгновение.

Воды всегда шепчутся с берегом, а в карбасе с парусом встречь волнам — то-то у вод разговору с карбасом остроносым. И в Городе у пристаней, бывало, где много деревянных судов, суда поскрипывают, вода поплескивает: то-то молчаливая беседушка.

Я ни зверя, ни птицу не стрелял, я смала в белые ночи рыбку любил сидеть удить. Ладно, ежели на уху свежей достану, а я за этим не гонился. Озеро или Лая-река в июльскую ночь как зеркало. Всплески рыб, крики птиц, тихое сияние неба, сияние вод... Сидишь на плотике и боишься комара сгонить, чтоб не упустить какой ноты чудной симфонии северной ночи...

4 ноября. Суббота

Гребу утре в важнецкое учреждение, а «начальники», на приём к которым гребу, без шапок летят на улицу, в машину садят ММ. А этот ММ в молодости в дружбе мне

клялся, гостил у меня. А теперь навряд узнает. Надысь, впрочем, два пальца подал: «Ну что, старик?..»

Пришёл домой, разгоревался я на нужду свою неизбывную. Плакать мне над собою али смеяться?!

6 ноября. Понедельник

Человек уносит с собой на тот свет только духовную свою сущность, только моральную свою цену, только нравственную свою стоимость.

Всё страшнее и страшнее становится жизнь рода человеческого. Уже не знают, знать не хотят, что добро и что зло, что смрад и что благоухание, что свет и что тьма. Правда, любовь, красота, честь, милость, прощенье, мир Христов, радость, вера — всё потоптано, забыто. Счёта нет истинным негодяям, преступникам, мерзавцам. Но несть числа и «ни добрым, ни злым». Они сознательно зла не делают, да и добра от них никому нет. Человек века сего нередко от младости до старости гоняется за личными страстями, увлекается науками-искусствами. Около такого человека компания подобных ему. И все ловят жалкие, мишурные блестки скоротлимых ценностей, «мышиное золото» века сего. «Учёный», «писатель», «художник», «артист», иной какой «деятель» празднуют юбилей за юбилеем: 50 лет деятельности, 80 лет со дня рождения. Всерьёз-невсерьёз шумиха, суетня человеческая около всех этих «делов», а вопросы «правды вечной», а вопросы «смысла жизни», добра и красоты, завет «взыщите Бога» — где всё это?

9 ноября. Четверг

Дни короткие, по-нашему, по-северному, зима уж... Снег нападает да стает. Вчера лужи, сегодня выморозило: сухо без снегу. Туск небесный быстро смеркнется,

а всё, где увижу меж домы деревья, особливо старые, ветвистые — и не могу досыта наглядеться, усладиться рисунком сучьев и ветвей, так чудно вырисованных на туске небесном. Кабы мне прежние глаза, только бы я и рисовал, только бы и отводил бархатистую черноту ствола, пальцем бы вывел могучий изгиб... Потом сучья, и это ненаглядное, нарядное плетение веточек. Сумерки спускаются быстро, и нежныя кисти веточек, как шелковыя нити на атласе, соединяются с небом. Чувствую неслучайность древесных изгибов и извитий. Дерево слушается солнца, ветров, дождей, соображается с широтою усадьбы...

14 ноября. Вторник

Конец месяца (сегодня 27-е), дак на мели сидим. Братишко ломает голову, я покорно-тих: делайте со мной что хотите...

Всё применяю к себе горестные слова нашей деревенской хозяйки: «Что уж, какая у меня душа красивая, а лицо, как куричья жопа». Моё б дело какую ни есть работу хватать, где палец протянут, там за всю руку хвататься, а я с прохладцей. А люди — отскочи на пядень, они отскочат на сажень. Не знаю я, что у людей на душе, на сердце: бегут ли, с кошёлками, топчутся ли на трамвайных остановках или у булочных, продавая паёк... Диапазон моих знакомств узок, но нет-нет да и получу приглашение на «вернисаж», на «творческий вечер», «выставку». Среди «голи и моли», которой надо же где-то забыться от очередей, от холода, от нужды, от грязи домашней, разглагольствует полдесятка «взысканных».

В пятом часу уж темнеет. Брёл бульваром. Высь небесная ещё прозрачна, хотя и облачна, а за домами низкое небо дымно-свинцово...

10 декабря. Воскресенье

В Николин день звенел морозец; вчера и сегодня сыро, лужи стоят. Брателко неделю хворал, я не у чего, около себя разорялся, пропадал. Тут поманило заработком, выколотил я малую толику, планы плановал: вот-де заживём!.. Но и опять захирело. «В людях много милости (много??), а вдвое лихости».

Опять то же: «Садка день не зовут на почестен пир, другой не зовут на почестен пир...» Ну, ин ладно, ты, Садко, ежели не о деньгах, дак возьмись опять за свой промысел: о Боге возвеселись!

Давно я оттёрт от «пирога-то». Удачливее меня много лизоблюдов. Видно, они зазевались: «Позвали Садка на пир» (у чёрного крыльца постоял!). А я и о парадной прихожей возмечтал...

14 декабря. Среда

...В родном городе, в музее, было множество изумительных моделей старинных церквей, домов... Была нарядная утварь в виде зверей, птиц. И я, еще подростком, наглядевшись, налюбовавшись, точно пьяный, охмелевший от виденных красот народного искусства, у себя дома резал, рисовал, раскрашивал, стараясь воспроизвести виденное в музее. Сказка, волшебство творчества заражает, вдохновляет, подвизает художника к творчеству.

Тихий зимний день, белый дворик, серо-фаянсовое небо, бесшумно кружащиеся белые пчёлы; время точно остановилось... Творческое счастье охватывает тебя. Вот она, сказка о заколдованном Городе... Святые вечера, святые дни. Далече будни. Ныне время наряду и час красоте... Как бы матери голос слышу, поющий северную старину-былину:

Королевичи из Кракова
сели на добрых комоней...

А пушистые хлопья кружатся над Городом и неслышно ложатся в снег.

Да, святые вечера над родимым Городом: гавань в снегах, корабли, спящие в белой тишине... Над деревянным городом, над старинными бревенчатыми хоромами, над башнями «Каменного города» так же вот без конца кружатся белые мухи. И падают, и падают. И уже всё покрыто белой, чистой праздничной скатертью. Святые вечера. «Во святых-то вечерах виноградчики стучат...» «Виноградие» — северная коляда. Сколько сказок сказывалось, сколько былин пелось в старых северных домах о Святках. Об Рождестве сказка стояла на дворе: хрустально-синие, прозрачно-стеклянные полдни с деревьями в жемчужном кружеве инея. И ночи в звёздах, в северных сияниях... А по уютным многокомнатным домам тепло, «как сам Бог живет»... Тут-то бабки и дедки сыплют внукам старинное словесное золото... И в первый день Рождества мужчины-мореходы ходили по домам с серебряными трубами, славили Христа... Бородатые почтенные мужи. А для «святочных вечеров» женщины вынимали из сундуков и парчу, и жемчуга нарядов XVII века, фижмы и робы елисаветинских мод и фасонов.

Но что вспоминать детство?! Сказке нигде не загорожено. Вот она прилетела с Севера сюда и заворожила...

27 декабря. Среда

Есть совсем «простые сердца»; потребностей, кроме как попить, поесть да поспать, нет никаких. Эти «простые сердца» даже кино не интересуются: ведь там ничего не дают. Есть опять сорт голов пустых, но

которым требуется чем ни то заполнять эту врождённую пустоту. Поверхностная щекотка нервов в местах общественного пользования вроде всезаполняющего кино их удовлетворяет. Публика поцивилизованнее, интеллигенты — этим нужен театр, лекция о научной сенсации и т. п. Эта интеллигенция всерьёз, но без разбору интересуется литературой, поэзией. Какой бы хлам ни выбросил рынок, эта «культурная публика» живёт этими «новинками». У всех у них пустыя сердца, пустыя умы. Но они чем-то непременно должны заполняться, заполняться извне — книжонкой, газетой, киношкой, папироской... Иначе — невыносимая, нестерпимая пустота, скука, тоска...

Есть люди тонкой психической организации, они любят музыку. Они знатоки и ценители её... Но где-нибудь в лесу, в хижине они не могут долго пробыть. Нужны внешние возбудители.

А между тем у человека должно быть сокровище внутри себя, должна быть внутренняя сила, собственное богатство. Человек должен светить из себя.

В человеке, в самом себе должна рождаться естественно, могуче и светло музыка. И когда ты, человече, остаёшься один, ты можешь услаждаться скрипками и арфами, своими мыслями и чувствами. Великая внутренняя содержательность, внутреннее солнце, звёздное небо, дивная музыка внутри себя заставляла инока бежать в пустыню, в лесную дебрь, на необитаемый остров. И всё вокруг для такого отшельника было царственно-радостным, всё было для него насыщено содержанием, благодаря богатству внутреннему. Творческая содержательность внутри себя может быть свойственна, скажем, и талантливому поэту, и учёному века сего и мира сего, но творческий порыв современного поэта не выше «потолка», доступного аэроплану, а «глубина»

исследований современного учёного зачастую инфернальна.

Я упомянул пустынников. Но и везде молитва, дар молитвы есть дивное проявление внутренней содержательности. В нашем доме, здесь, жила порвавшая с семьей из-за «старой веры» поморянка Соломонида Ивановна. Она любила быть одна в своём сыром темном чулане под лестницей... Молилась по уставам, по правилам, с лестовкой. Молилась по праздникам одна, ночи напролет. Как светло её лицо, какие радостные струились слезы: «Весь Ты, Спасе мой, радость! Нет Тебя, Господи, краше!..»

Это не значит, что ежели внутри тебя поёт птица райская, ты непременно должен особиться. Ты, скажем, арфа, а он скрипка, а у третьего виолончель, а тот вон труба сладкогласная: ежели бы вы сошлись, не составится ли чудный симфонический оркестр?! Таковы бывали обители.

Есть красота, в сиянии которой
тонет всякая скорбная тьма
нашего существования

Дневники

1946—1968

№ 6

Февраля,

1-го. Среда. Многобалагуренные, нужные [illegible] расслабленные тихие бытие привлачило меня к убеждению, что если еще возможен в горестной моей положений мир душевный и даже „радость неотъемлемая", то только сам я, подняв себя за волоса, могу взгромоздить себя на эту прекрутую и претрудную гору. Видя, например, в тропарях святых, что погребально и благодарно ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ величаются от нас святые как угодники, ~~как~~ ~~[illegible]~~ и врачи как податели немечтательных благочиний душепитательных, я думаю про себя: — это как не про нас...!

1946

6 января. Суббота

Слушал Реквием Моцарта. Чрезвычайно сильное впечатление. Произведение барочного стиля и в то же время выше стилей и эпох. Солисты слабы. Понимают ли они латынь? Во всяком случае, религиозного воодушевления нет. Но музыка потрясает. И эта священная латынь сама по себе ходатайствует к Великому Судии, хотя бы и произносима была неумелыми, может быть, и равнодушными устами.

Реквием исполняется концертно. Это как бы ожерелье из драгоценных камней различной формы. Они не скреплены для слушателя священнодействованиями богослужения. И всё же впечатление единое и мощное... Точно грохот разбиваемого вдребезги мира слышится. Слышатся вопли рода человеческого, припадающего к Грозному Судии. «Когда поставятся престолы, и книги разогнутся, и Судия возсядет...»[1] — поёт церковь восточная. Восток ниц повергается, моля «неосужденно предстати усопшему к страшному престолу Господа Славы». Восток умиленно и сладостно, и тихо поёт над новопреставленным: «Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего...» Скорбь и радость в дивной этой песне Востока, певаемой над мёртвым. Когда её поют, ниц лежат близкие, родные отошедшего, и печаль облегчается токами слёзными.

Латинская месса Моцарта (глупый конферанс возвещает, что эта вещь «выходит из узких пределов культовой музыки») требует милосердия, мольбы с угрозами,

---

[1] *«Когда поставятся престолы, и книги разогнутся, и Судия возсядет...»* — Стихира недели мясопустной, о Страшном Суде: «Егда поставятся престоли и отверзутся книги, и Бог на суде сядет...»

молит, потрясая кулаками. Наша панихида, как тихая заря золотая, уносящая преставившегося к свету невечернему. Здесь моление бурею подымается к небу... О, какая сила, какое дерзание в заупокойной службе у Моцарта! Эта музыка конгениальна псаломским воплям Давида, который столь же грозно судится с Богом. Но ведь и Вечный говорит: «Придите и стяжемся!..» И Запад стяжается с Богом в этой музыке над бездыханным безгласным трупом: «Не дал ты ему поцарствовать на Земле, так дай ему небесное царство!» Но Восток, видя светлое лицо отошедшего брата, поёт о чудных краях, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания...

В капелле, расписанной Микель Анджело[1], где фигуры грозных ангелов клубятся как облака, где Судия так неумолим, как уместен моцартовский Реквием.

12 января. Пятница

Реквием Моцарта... Ряд солистов временем маловыразительны, не волнуют, хотя и старательны, как приходской хор, разучивший сложную вещь и заботящийся лишь о том, чтоб не спутаться. Но музыка, орган и оркестр великолепно передают всемирную трагедию Страшного Суда. Мощно звучит и хор с органом, с смычковыми инструментами.

Страшный Суд... Какому гению под силу такая тема? Только древнему церковному пению. Но наяву и то, что и творчество индивидуальное, творчество гения, такого, как Моцарт, может так же мощно брать за сердце и исторгать слезы.

---

[1] *В капелле, расписанной Микель Анжело...* — Сикстинская капелла (XV в.), выдающийся памятник Возрождения, на алтарной стене которой — знаменитая фреска Микельанджело «Страшный суд».

14 января. Воскресенье

Смала был я любитель рисовать, красить. На то и учился, падая по цветам древнерусского стиля. Любителем навек остался. Потом былинами и сказками стал управлять. На том коне и еду. Но не интересна мне автобиография эта. Никак! Главное: чем душу питаю. Зрение утекает, как из утлой посудины вода. Прислушиваюсь к музыке. За целые века много тут дива положено. «Светская» европейская музыка. Не только оперетки, но и большинство опер... Верди, Бизе в XIX столетии... Но и Рахманиновы, но и Скрябины, думается мне (я еще не вникал сюда), не для меня. Но говорить об операх и судить... не своим я тут товаром торгую. Я вот на сем свете несказанно, невыразимо люблю природу. У Римского-Корсакова в музыке есть картины природы. Есть у Глазунова, скажем, «Четыре времени года». Вот сюда мне хочется внимательно приникнуть. В такую «светскую» музыку. Ведь я люблю и народные песни «весенния», и стихотворения о весне, осени, зиме, положенные на музыку.

В молодости я мало думал о том, что восприятие природы у художника, у композитора может быть непосредственным и живым. Интересуясь древней церковной музыкой, я мало думал, что природа, вечно юная, хвалит Создателя, и композитор, любящий природу и отображающий её, так же, как и тонкий живописец-пейзажист, сам хвалит Творца. И мне, если я мало и отчасти уже касаюсь рисунка, мне можно и должно искать своё желание и в музыке...

В музыке русских композиторов надо мне подслушать, нет ли там мною любимого — тонко-тусклого, сребро-прозрачного неба, голых весенних веточек и этого: «Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...» Рахманиновская музыка на эти стихи мне не нравится. Светлой грусти весенней нет в этой музыке.

15 января. Понедельник

Не забуду одного дня. Мы жили в деревне. Был сияющий, солнечный ветреный день. Я сидел на широкой поляне под дубом, древним, раскидистым. Свежий ветер правил по небу ряды злато-белых облаков. Как корабли, они плыли от норда к полдню, как корабли, блещущие парусами, кидая на поля бегущие тени. Ветер свистел, веселяся в вершине дуба, но нижние сучья с вырезными листами были недвижны, казалось — сам златокузнец Челлини вычеканил их из бронзы, вычеканил и вызолотил.

В руках у меня был Платонов «Федр», я читал о вещем священном дубе близ Афин. Под сень дуба в полдень приходил Сократ, и в этот час нисходило на мудреца божественное исступление...

В этот сияющий день, в этот час бегущих облаков, когда эолова арфа ветра пела в бронзовых ветвях прекрасного дуба, когда сердце и ум трепетали, радостно внимая вечно оным и вещим глаголам древнего мудреца, я сладко ощутил, узнал и увидел: вот здесь, вот это и есть невыразимая слабыми моими словами — «слава Отцу и Сыну и Святому Духу»!

«Приди Лице, бегущее от человеческаго постижения», — вопиют к Духу уста светлого мудреца наших дней. «Дух дышит, где хощет». Не знаешь, когда и куда Он приходит...

Сегодня опять слушал Моцарта. Симфония «Юпитер». Музыка величественная и веселящая сердце. Музыка растёт в душе, «как сокол ширяся на ветрах». Величество нарастает. Сердце веселится, как птаха малая, взмывая над облаки, в лазурь. Дух-от захватывает, не может птаха навеселиться...

И Моцарт, и, к примеру, Штраус оба были людьми светскими, оба выступали в салонах. Моцарт любил оперу и был блестящим оперным композитором, как,

например, Верди, Гуно, Бизе. Но, слушая Штрауса, представляешь себе венские роскошные гостиные, великолепные танцзалы. А Моцарт выше своего времени, он парит выше европейских столиц. Не прикладываю музыку Моцарта к русской природе... Но инде соединяется с этой светлой музыкой сердце...

На концертах серьёзной музыки видишь много людей, пришедших в концертный зал не потому, что «все будут», не для встреч и развлечений, но чтоб послушать любимые произведения. Многие из этих людей вне религиозных переживаний, не думали о Боге. Переживания, связанные с музыкой и вызванные ею, являются здесь эквивалентом молитвы. У людей же, взыскующих Бога, здесь я разумею и церковных людей, музыка приводит, подвизает к молитве. Во всяком случае, независимо даже от намерений композитора может вызвать настроения и чувства религиозные.

24 января. Среда

Морозов боимся: одежонка плоха, да и такое мокро — горе: калошики забыли, когда и были. Снег с дождём. Я выплыву из крыльца в лужу, ну и домой. А брателко в матерчатых башмачонках в снег и в воду... Светик мой, доброхот.

Через два дня неделя мытаря и фарисея. Заслышим уже недалекую поступь поста, издали донесется бряцание постного кадила... Еще масленица не была, но в церковных службах уже слышим фимиам «святых постов», как дальний зов постного колокола, звучит песня «покаяния отверзи ми двери»...

В своё время писал работу, принята была, но не пошла в ход, не опубликована была, и время и обстановка затеряли её. И я махнул рукой; не в подъём мне эту ра-

боту протаскивать самому. А о том, чтоб кто могущий помочь с мели дело это сдёрнул, смешно и думать: есть у меня горький опыт. Сегодня узнал я, что некто таковую ж работу представил, но несравненно в виде гораздо более слабом и худшем, по сравнении с моим трудом. И этот конкурент мой, как имеющий сильные связи, схватил большие деньги.

Что же мы-то с брателком колотимся, а всё нищие... Как же ещё до сильных-то людей добиваться, лизать их или за пятки по-собачьи хватать?

Побродил по улице: снег, слякоть... Всё немо. И я взял, открыл от Иоанна, словеса Христовы к ученикам после тайной вечери. Он говорит Петру: «Душу ли свою за меня положишь? Петух трижды не пропоет, как ты отвержешься меня...»[1] И сразу пало на сердце: Сыне Божий, ведь это мне он говорит!

17 февраля. Суббота

Бог да добрые люди пособляют на ноги встать. Только ноги-ти охудали порато. Завелася толкотня с деловыми людьми. Вижу рвачей, привыкших брать помногу, брать спокойно, важно и бессовестно. Они сумели так наладить жизнь, что к ним тысячи сами текут в карман. Сколько достоинства в их лицах, сколько подобострастия со стороны окружающих!.. Опять вижу хапуг, которые хватают с визгом и руганью. Эти тысячи-то свои тоже схватят, но достается им не без беготни, не без хлопотни. Около тех и тех кормятся «люди молодшие», не сумевшие стяжать имени и лавров, людишки вроде меня.

Это я об артистах глаголю...

[1] Ин. 13:38.

15 марта. Четверг

В один вечер слушал и Реквием Моцарта, и «поэму на смерть сына» одного поэта «из ведущих». Вот — два полюса. Тут о смерти, и там о смерти. Тут мировоззрение, и там нечто вроде. Здесь скорбь как орёл возносится, скорбные очи орлиные соглядают солнце, и миры, и века. Скорбь веры, рыдая об усопшем, поёт хвалу Вечному. Господь даде <?>, Господь Отче, — буди имя Господне благословенно вовеки! У христианина скорбь плывёт на крилех орлиных выше неба и выше времён и веков. Рыдая, хвалит Вечнаго. Рыдая над усопшим в «надгробном рыдании», поёт верующим ликующее: «Где твое, смерть, жало?!»

А у сего «гада века сего» рев звериный, унылый, страшный. Точно в ящике забитый бьётся человек. Материт убивших сына: «сволочи», «убью!..» «Ваши сыновья блядуны, безносые, воры, жулики... Мой любил кино, радио, спорт, уважал девушек!..» Какой жалкий тупик. Жалкий Реквием сыну.

31 марта. Суббота

Ходили, я и брателко, с вербочкой. Еле залезли, едва и вылезли. Толпу поносит, как в поле траву. Где уж тут свечку зажечь: лба не перекрестишь. Из-за гомона и криков не слышен и многоусугубленный партес клиросных артистов. Как бы то хотелось знаменного, столпового пения. Ведь никого не удивишь концертными ариозами.

Вербочки сегодня повсюду: на улицах, в трамваях. Уж на что одеревянела душа, а умильно видеть прекраснейшие всяких цветов, нежные, как жемчужины, барашки вербные... Вечно юнеющие дни и настроения. Как в детстве, так и теперь, в преддверии старости, опять настали эти дни желанные, заветные.

Вечно живёт и вечно цветёт живоначальное существо праздника. Так же, как в дни впечатлительной юности, должна бы душа моя чувствами и воображением и теперь отзываться на благовест праздника. Но грех, слабая жизнь состарили с телом и душу. И вот существо, долженствующее быть вечно юным, стареет, становится нечувственным — «грешное тело и душу съело».

Обижусь на давку в церкви, а того в толк не возьму: «последняя Русь здесь», как говорил замечательный русский человек Аввакум протопоп. Охают, пыхтят, исходят пóтом, ругаются, а ведь стоят часами. В этих теснотах праздничных брателко всё уж в охапке меня держит. Он сам как былинка, а кабы не он, в заутреню позапрошлого года я бы околел. Брателко троих выволок обмерших... отдышались...

Поэт, ныне умерший, говаривал: «Не увидишь лика человеческого, всё рыла».

Я видел: три женщины, друг друга как бы поддерживая, идут ко всенощной. Все три в чёрном. Две-то ведут третью. Она еле переступает. У всех трех спокойные, я бы сказал, прекрасные лица. В руках вербочки и свечки.

Есть ещё лики человеческие!

1 апреля. Воскресенье. Цветоносное

«Красота спасает жизнь», — говорит Достоевский. Чаще всего здесь под именем «красоты» разумеют искусства: музыку, поэзию, живопись. Ныне меньше всего занимаются философией своего искусства сами профессионалы — музыканты, поэты, художники. Тут, у профессионалов, деньги и честолюбие — единственный двигатель творчества. Халтуры во всем 99%.

Бескорыстно, «для души», любят «искусство» потребители. На концертах «серьезной» музыки я чаще всего ценю публику больше, чем «рвачей»-исполнителей.

Не поспел на ноги встать, удачливый (и талантливый) пианист, скрипач, актёр, а уж он об одном только думает: как бы коллег своих перегнать, за один вечер в пяти местах гонорар сорвать.

Меня не инетресуют эти «жрецы искусства», честолюбивые и всегда алчные. Меня интересуют люди, «живущие» музыкой, поэзией, посетители концертов, почитатели поэтов...

Жизнь наша, жизнь большинства — «юдоль плачевная». «Несть человек, иже жив будет и не узрит смерти»[1]. А пока жив, — болезни, потери близких, старость, всякие несчастья и неизбывные скорби. Конечно, в час скорби ты не пойдёшь ни в кино, ни на Дунаевского и т. п. сор. Но сердцу и душе, скорбящим смертельно, что дадут и красоты Штрауса, Верди, Бизе?.. Ты выберешь, конечно, что-нибудь подходящее к настроению у Чайковского, у Рахманинова, у Глинки. Ну, они заставят тебя слезу пролить. А дальше что? Ведь вот и в крематории «музыка играет» вещи классические, подходящие к моменту, «когда мёртвого садят в печь». Но не сожигающие ли, не испепеляющие ли душу слёзы вызывает эта музыка?

«Массы», простодушный обыватель музыку ассоциирует с развлечением, соберутся повеселиться — тут и гармошка, и джаз. Музыка и кино — лишь бы «рассеяться».

Вопрос о музыке как о чём-то большом и нужном для жизни духа не ставится не только среди «простых масс», но и среди рядовой интеллигенции...

У народа была своя исконная музыка, пронизывающая быт, делающая его праздничным и как бы благословляющим. Были у народа поэзия и музыка, в которых человек рождался и умирал. Семью, род эта бытовая музыка удовлетворяла. Эстетическая ценность

[1] См. Пс. 88:49.

этой музыки, безусловно, велика. Возвышенно настроенные умы и сердца эта поэзия, бытовая, не удовлетворяла. Этим душам орлиного полёта подавала руку поэзия и музыка вселенская, надмирная, поэзия и музыка вечная.

В дедовский наш быт с его неповторимой красотой нам уж не влезть. «Не воротится вода, яже уплынула, ниже жизнь наша, яже преминула». Но над этим, столь любезным сердцу нашему бытом вечно пребывало зиждительное Творчество, вечно пребывала Мысль и Мудрость. Над всем и во всём пребывал и всё наполнял Поэт Неба и Земли. От него гармония миров и музыка. Музыка в тех масштабах, в каких её понимали и принимали древние — эллины, египтяне и сменившая сень закона на свет благодати Церковь Христианская.

Не поскорбим, что исконная красота старинного быта с его укладом вызноблена, выветрена сквозняками века сего. Вековой песенный уклад дедовской жизни был как бы дитятею. Он должен был вырасти «в мужа совершенна», т. е. облечься во Христа. Все народы имели свою национальную красоту. Век сей — «прогресс и цивилизация» яростно устремились на отцовские уклады жизни. Но народы успели стяжать себе щит и оружие — христианство. Оно выше быта и национального уклада.

Философия, музыка, поэзия и пребывающие в Боге являются вечно действующим таинством, вечно совершающимся.

2 апреля. Великий Страстной Понедельник

Бог — творец, Бог — художник, Бог — поэт. Поэзия, философия, музыка, театр, пляска нисходили древле на людей от Творца-Зиждителя, который есть начало

истинного творческого вдохновения. Так было в библейской Иудее, в Египте и в Элладе. Пророк и царь Давид, «скакаше играя». Исполнение трагедий у эллинов было богослужением. Христианская литургия есть трагедийное действо о Боге страдающем и воскресающем. Литургия не есть воспоминание о страданиях Христа Иисуса. Таинство великое страданий Искупителя совершается всякий раз, потому-то верные всякий раз за литургией и вкушают «истинное тело Бога и пьют истинную Его кровь»[1].

Век сей и мир сей, оторвавшись от Начальника, от истока Жизни, от Бога, отломившись от «лозы истинной», век сей и мир сей унесли с собой только шелуху, только красивую скорлупу праздничного пафоса жизни.

Творческий гений человека имеет божественное начало. Пафосом божественности, пафосом религиозного творчества пронизаны и одержимы были некогда не только поэзия, музыка, философия, но и медицина, и история, астрономия...

И слагатель песен, и драматург, и философ, и врач, и художник одинаково отдавали себя в служение Божеству. И труд их, имея начало в Источнике Жизни, в Боге, был на великую пользу людям.

Бог Аполлон и музы — «богини свободных наук» — для христианина лишь аллегории. Но здесь глубокая истина, глубокое проникновение, высокое знание истоков творчества, светлая озарённость разума древних людей.

В Элладе, в Египте театр был храмом. Музыка, поэзия дивно и всепразднственно сознавали свою божественность; участвовать в трагедиях-мистериях, петь,

---

[1] *«истинное тело Бога и пьют истинную Его кровь».* — «Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя» (Из молитвы перед св. Причащеним).

играть, плясать в музыкальных действованиях значило соприкасаться с божественными началами.

Живыми и свободными были «искусства и науки» древних, п<отому> древним дано было величайшее веденье: всё окружающее — небо, звёзды, земля, реки, деревья, — всё живо и имеет разум.

Древние предузнали закон мироздания и творения (и творчества). Но все эти предозарения древнего гения покрыло благодатное солнце — Христова вера.

Провидения тайн древними чрезвычайно туманились «кровью, похотью плотскою, похотью мужескою»[1]. Творческая радость древних, даваемая им прозревать великое, отуманена была буйным хмелем ещё незрелой молодости.

Очень многие мифы Эллады являются пророчественным прозрением или прообразом истин христианства. Все эти сказания о том или другом цветке, дереве, реке не являются красивой поэтической сказкой. В этих «сказочках» о цветах, птицах, ручьях — важное и глубокое проникновение в суть вещей.

3 апреля. Страстной Вторник

Холодной норд с ночи стал торкаться в ветхие наши оконца. Земляк мой — северный ветер — первому мне весть подаст, с первым со мной здороваться прилетит. Чтобы-де не забывал родину. Где забыть?! В дни Страстной недели особливо и животворно возвращаюсь к юности. Сильно и всеобдержно переживались там, на родине, светлые, благодатные дни.

Таинство Страстей Христовых неизреченно, но неизменно совершается в эти великие дни. Детство и юность, когда душа ещё не ослаблена грешной жизнью, остро и

[1] См. Ин. 1:13.

непосредственно касались невидимых потоков таинства страданий и Воскресения. И это приобщение чуду осолило всю последующую жизнь. В дни юности, на Пасхи, я как бы действительно надевал «одежды брачные», а потом пошли годы... Волей или неволей я «ум растлил, тело осквернил, душу погубил». Полсотни лет прожил... Как проспавшийся пьяница, одурело осматриваюсь: борода и ус в блевотине.

Чтобы таинство, силу и угодье наступивших жизнеподательных дней ощутить и быть живоносному всемирно совершающемуся таинству причастником, надо умыться слезами умиления, покаяния. А вот грех-то, жизнь-та, проведенная как попало, в слабостях, в праздностях, в унынии, в празднословии, лютые оставляет последствия... Грешное тело и душу съело. Опали крылья у души, у мысли, у впечатлительности. Так вот и «в смерть» можно уснуть. И «враг» посмеется над всеми «упованиями»[1].

Но и без меня — сплю ли я, сознаю я или нет, готов я принять или нет животворную тайну дней — тайна страданий и Воскресения совершается. Ныне вся тварь говейно созерцает умными очами «Грядущего на вольную страсть». Скоро вся тварь спостраждет страсти Зиждителя. «И каждая былинка в поле, в небе каждая звезда». Что же бы человеку-то, посреде тайны и под тайной живущему, не опомниться, не очнуться для своей же радости?! Весна, хоть каков ни будь лёд, весна сломает его, растопит. Растаяв, льдина войдёт в состав вешних вод, зашумит, запоёт, побежит рекою. Ужели в душе моей, в сознанье моём «вечная мерзлота» установилась? Ужель и весна Христова недейственна здесь? Когда-то воспрянет душа моя и явит дело, а не будет растекаться в словесном балаболе?!

---

[1] См. Пс. 12:4–5.

Господь говорит устами Златоуста: «Отдал ты дьяволу юность и силы, дак ныне хоть трясущиеся твои кости мне отдай!»

И недаром поет Давид: «Возрадовашася кости мои!»[1]

«Не дети бывайте умом»[2], — велит Павел. Павел — весь пафос, весь радование, весь любовь, весь огонь, весь ум Христов. А вот не Христов ум и глупствует по-детски там, где надо нарочитость детскую оставить. В шестьдесят лет иметь ум шестилетнего младенца — достоинство ли? А вот Гёте и иже с ним, ревностные (не по разуму) поклонники античности, негодуют на христианство за то, что «тень креста пала на античную солнечность», за то, что «отлетел милый рой богов родимых и теперь царит один Незримый, одному Распятому хвала...»[3].

Гёте, капризничая, как дитя, не хотел видеть, что младенчествовать, веселяся над игрушечным «роем богов родимых», нельзя было без конца роду человеческому. Я говорю об эллинах, об их «рое богов». Но и у нас, русских, как и у народов романских, германских, был свой «рой богов родимых»: русалки-наяды, лешие-сатиры и т<ому> п<одобное>. Но примитивна была наша мифология. Не долетала до заоблачных высот Платонова мировоззрения. Но платонизм был вершиною, с которой видна была уже лазурь христианского неба.

Но и высокая философия (языческая), как и языческая народная религия, не могли бы уже бороться с тем роковым и неизбежным положением, что «мир во зле лежит». Человек, которому Зиждитель дал свобод-

[1] См. Пс. 50:10.

[2] См. 1 Кор. 14:20.

[3] Шергин цитирует на память строки из поэмы И. В. Гёте «Коринфская невеста» (в переводе А. К. Толстого): «И богов весёлых рой родимый / Новой веры сила изгнала, / И теперь царит один Незримый, / Одному Распятому хвала».

ную волю, избирал — чем дальше, тем чаще — зло. Зло усиливалось соответственно тому, как усовершалось о Христе добро.

Если бы не пришёл Христос, никакой свет давно уже не светил бы, давно уже всё было бы объято тьмою «мира сего».

Жизнь на земле должна была усложниться, льды печали, несчастья, скорби должны были возрасти, умножиться. Наивная детская религия с «роем богов родимых» *что* могла бы пользовать в дни века сего, *как* и *чем* отирала бы она море слёз, тоску и скорбь человека, стонущего посреди «прогресса и цивилизации», когда «науки» занялись изображением смертей?..

Только «вземляй грех мира», только принявший на себя волею все наши скорби, только Тот, который открыл миру, что «Бог есть любовь», только Он, простирающий нам руки с язвами крестными и взывающий: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас», только Он, единый безгрешный, Владыка кроткий, Владыка тихий, может уврачевать безутешную скорбь рода человеческого.

Вчера упомянул я интеллигенцию, людей, не лишенных в той или другой мере духовных потребностей. Они считают, что потребности духа современный человек может удовлетворять в музыке, в художественной литературе (проза, поэзия), в научной работе и т. п. Но масштабы, но горизонты наук и искусств, равно как и философских учений, приемлемых современным человеком, ограничены узкими рамками «мира сего», глухого к блаженству Евангелия о победе Христа над смертью.

И эта «серьёзная» музыка и поэзия, которую только и приемлют «серьёзные» люди века сего, не более как «рой богов родимых», который беспомощен в вопросах

смысла жизни, в вопросах смерти и бессмертия, в вопросах о смысле страданий.

Оставим учёных, изобретателей смертей, и не ко всякому произведению будем предъявлять непосильные вопросы. О, род человеческий: у воды стоишь, а пить просишь. Заблудились люди, забыли вечную правду Евангелия, откуда протекли реки живой воды. «Пьющий воду сию не имать вжаждатися вовеки»[1].

5 апреля. Великий Четверг

Поэты, художники, люди, отдающиеся музыке, философы... им свойственно вдохновение, «муки творчества». Эти люди ощущают счастье. Их можно сравнить, но и нельзя сравнить с людьми, совершающими таинства церковные, и с людьми — участниками таинств веры. Нельзя сравнить п<отому>, ч<то> у поэтов и «певцов» века сего всё «похоть плоти и похоть очей»[2], всё у них житейское, всё у них лишь поднятые на ходули будни. Всё у них матрацы на пружинах, надутые воздухом шары; всё у них самолеты на нефтяном горючем. Чудо творчества века сего — вещь малая, очень отвлечённая, относительная, вещь частная. Поэзия, философия, музыка, свободные художества, науки — всё, чем мнят «творцы» века сего украсить, возвысить, осмыслить, объяснить, облегчить жизнь, — всё это не может претендовать и не претендует на то, чтобы быть или стать всемогущею силою, всеобдержным чудом, чудом, которое властно над жизнью и над смертью.

Мне скажут: почему ты жизнь в церкви, религию сравниваешь, применяешь к поэзии, к творчеству художника? Ведь религия занимается «добрыми делами», делами любви, служением человеку и т. п., не вер-

[1] Ин. 4:13–14.
[2] 1 Ин. 2:16.

но ли применить «церковность» к общественно полезной деятельности?

Я отвечу: конечно, никто и ничто не в силах так, как Церковь, отереть всяку слезу от лица земли. Общественно полезными учреждениями являются и кассы взаимопомощи, и дома призрения, и приюты.

Понятие «Церковь и Вера» бесконечно более великое. «Вера и Церковь» — это вечность, это светлое познание начал и концов жизни. В Церкви нет смерти. Ибо «Воскресый из мертвых» дарует жизнь сущим во гробах. В Церкви не жалкая, будничная, маленькая «общественность», но безграничная, вневременная соборность, в которой пребывают живые и мёртвые. Церковь — собор всей твари. Пребывание в Церкви — это есть несомненное знание, что я никогда не умру, что живы все мои преждеотшедшие отцы и братья, что я встречусь с ними в будущей жизни. Быть во Христе и в Церкви — это ощущать и видеть, что вся природа жива, что всякая былинка, всякий жаворонок веселит, всякая вербочка у вешняго потока живы и хвалят творца. Одно из проявлений веры — молитва, которая места не ищет... Вот «выхожу один я на дорогу, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, звезда с звездою говорит...». Это ощущать — уже есть молитва. Далее у поэта уже падают крылья, он по-земляному страшится сна могилы. Но у этого же поэта есть высокозначительные строфы в стихотворении «Ангел»: «И долго на свете томилась она (душа), желанием чудным полна. И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли»[1].

Отличие людей века сего от людей, взыскующих Бога, и состоит в том, что у первых нет «желания чудного», хотя бы они из кожи вылезли, бегая по заседаниям. Пыль взбиваемая, пузыри на воде — их труды,

[1] Шергин говорит о стихотворениях М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841) и «Ангел» (1831).

скучны их песни и не заменят никогда «звуков небес».

Итак, лучшим представителям поэзии и философии века сего свойственно бывает «желание чудное». Но как быстро у них опадают крылья и сразу они сворачивают куда-то вбок. Лермонтов и боится могилы, и не хватает у него сил воспеть с Церковью: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав[1]... А ведь Лермонтову, как и Пушкину, свойственны были высокие полёты духа. Теперешним «курам» никогда так, как этим, не подняться.

Но как сродни нам эти поэты, орлы в клетке, в оковах понятий и учениях плотских, земных... Чаще, чем кто-либо, стояли они у «вод жизни», а пить просили у века сего. Но к ним относятся словеса: «Дела приемлю, и намерение целую, и спех умедлившего люблю»[2].

И так беспомощно и безответно творческое дело и учение века сего. Кому-то оно берётся помочь, а для всех оно не пользует... Ведь на «площади» мира сколько толпы: воеводы, бояре, монахи, попы, мужики, старики и старухи[3], и дети, и больные, и неграмотные и... всех не перечтёшь.

И всесильная, всемогущая, соборная, вселенская, существующая и на земле и над звёздами Церковь не отвлечённо, а конкретно, вот сегодня, в Великий Четверг, подает всему миру, всему роду человеческому чашу и хлеб — источника бессмертного вкусить. Учё-

---

[1] Тропарь Пасхи.

[2] См. «Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста», читающееся во время Пасхальной заутрени: «...любочествив бо сый Владыка, приемлет последняго, якоже и перваго... и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит».

[3] См. поэму А. К. Толстого «Поток богатырь» (1871): «И на улице, сколько там было толпы, / Воеводы, бояре, монахи, попы, / Мужики, старики и старухи — / Все пред ним повалились на брюхи».

ным отвлеченно известно, что звёзды так далеко, что свет от них идёт тысячи лет... Всё это для личности — для меня, калеки, для тебя, скорбного, — не тепло, не холодно. Так же как и «науке» до тебя нет никакого дела. Церковь влагает в уста хлеб небесный и даёт пить чашу жизни. И мы, грамотные и неграмотные, старые и малые, становились причастны абсолютному ведению. Я причастник сегодня, участвовал в Тайной Вечере и уже знаю всё. Знаю самое важное, знаю, о чём звезда с звездою говорит и какую беседу ведёт «пустыня» с Богом. Залог жизни вечной принял я сегодня не слухом, а устами ощутил на языке и в гортани. А вечная жизнь — абсолютные ведения и правильные ведения всего, яже в небесах, и яже на земле, и яже в безднах... Творец всего видимого и невидимого во мне, чрез него открываются внутренние очи, право видеть вселенную.

6 апреля. Великий Пяток

Поздний вечер, а за домами стоит ещё тихая заря. По переулкам в весенних лужах отражается золото неба и деревья. Тишина ранней весны над городом. Она могущественнее городского шума.

Днём над грузными, унылыми домами небо столь хрустально-чистое, лазурь бледно-голубая, в лёгких, как кисея, барашках... Стоишь, забудешь, что твой трамвай подошёл... Какая тишина блаженная там, за городом. Тишина полей, ещё не просохших... Грачи прилетели.

Днём был у плащаницы. Церковь набита людьми, нельзя и свечечки зажечь. Над головами тихо движется плащаница. Дребезжа, клямкают колокольцы на клиросе. Век бы душа моя слушала напев «Тебе, оде-

явшегося светом яко ризою»[1]. Напев торжественный и печальный, мелодия сладкая и прекрасная. То как бы мать тихо и нежно напевает над уснувшим ребенком, боясь его разбудить, то как бы весь род человеческий, видя своё спасение, возносит хвалу «смертию смерть поправшему».

Уж как одолевают болезни, печали, вздыханья, но сквозь всю тяготу стремится мысль к Единому любимому. Вечная наша любовь, Христе Иисусе, Свете мира!.. Я живу, мучаюсь, но вот Творец и Зиждитель мой распят на кресте, терны впились в Его чело. Вот Он лежит передо мною во гробе, и я целую язвы Его пречистых ног.

Свете мой, Господи мой, ради меня претерпел Ты оплевание, и заушение, и распятие, и лежишь во гробе. Помоги мне с Тобою воскреснуть!

7 апреля. Великая Суббота

Сия суббота есть преблагословенная, в ню же Христос уснув...

Ещё спит во гробе Христос... Пеленою облаков, будто завесою, подёрнуто небо. Тянет вест... По мокрым дорогам идут и идут люди поклониться живоносному гробу; целуют священные язвы... В сиянии свеч, в благоухании цветов ещё лежит пречистое тело «волею страдавшаго за род человеческий». Ещё «молчит всякая плоть человека и стоит со страхом и трепетом»: спит во гробе Начальник жизни. Но скоро, скоро всё исполнится света: небо, и земля, и преисподняя. Воссияет свет, паче грозы и молний; свет Воскресения Христова облистает мир. И услышим вечно желанное, вечно лю-

[1] Стихира, глас 5-й, Великого Пятка: «Тебе, одеющагося светом, яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом...»

бимое: Христос воскресе из мертвых... Вера Христова, сокровище и счастье наше! От дней младенчества и до старости нет вести радостнее, нет песни прекраснее, нету словес более дивных, как «Христос воскресе из мертвых». Помню завещанье материнское: «Сие слово непрестанно припевай, дитя, душе своей...» Ребята на улице окликают меня «дедушкой». Но как у дитяти ликовало мое сердце о радости Воскресения, так и теперь у старика сладко оно трепещет — Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ!.. И с этой радостью умру, и знаю, что в вечность перейдёт эта радость, радость Пасхи.

Светозарная ночь наступает, светоносного дня провозвестница...

11 апреля. Среда

Звенит где-то сладкогласная весенняя свирель: «Днесь всяка тварь веселится и радуется...» Журчат ручьи, разлилися реки, и глядится в воды тихое небо — Христос воскресе!..

Так же, как вот не вынесешь ног, не урвёшься из этого кирпича, из-под этого булыжника, так и расслабленную душонку свою, худенькую мысль нет сил послать, как сокола, чтоб уловили голубицу-воскресение.

Радость Воскресения, голубица, криле имуща златые, летает во вселенской широте, во всемирной высоте, и мне-ка нечем её зачалить. Ни поймать, ни рядом полетать. Мысли моей, желанья сердечного полёт — не больше воробьиного: с дороги да на крышу. Скачу на одной ноге по навозной колее: чик-чирик — праздник!.. А машина наехала и — нету меня!

Говорят: собором и лукавого поборем. А вот и у службы церковной мнится мне не собор, а толпа. Крестятся, как и я, поют то же, что и я. Рядом стоим, теснимся, а

не единым сердцем, не едиными усты[1]... Будто в трамвае стоим; толкни кого — сразу заругается. Возлюбим друг друга да единомыслием исповедуем Воскресшего[2]. А мы всяк по себе. Поют о радости сейчас. Всякое слово пасхальной службы — свет и радость. А в людях нету радости соборной. Пришли на собор — значит, хотят радости Воскресенья, а открыто ли сердце во еже: «друг друга обымем»[3]?

К чаше в Великий Четверг лезут, толкаются, шипят...

Видно, я впрямь старею, всё брюзжу. Не вижу хорошего, только неладное на сердце садится. Одно на уме-то: выйти бы в поле, в леса. Здесь в церковь-ту попадаешь: во все стороны от машин озираешься, через рельсы скачешь, в трамвае жмут; опять ждёшь «транспорта». В Великий Четверг еле я под автомобиль не попал, ушибся, братишку напугал.

Мне б хотелось где-ле меж Хотьковом и Троицей тихонечко брести... Михайлушко сказывал: речки там разлились, тишина стоит, только потоки инде светло шумят. Радонежские холмы в золотистой прошлогодней травке-отаве, тоненькие беленькие берёзки, тихое небо... Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...

Около пенька зелёные блестящие кустышки брусники. В овраге, в кружащейся воде красные веточки

---

[1] Молитва священника на литургии: «И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святага Духа, ныне и присно и во веки веков».

[2] Возглас священника («Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы»), подхватываемый хором («Отца и Сына и Святага Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную»), предваряющий на литургии Символ веры.

[3] См. стихиры Пасхи: «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем...», «...Пасха! Радостию друг друга обымем».

вербы. И не наглядишься досыта на небо, сияющее жемчужными облаками и тишиною своей паче всех человеческих гимнов глаголющее: «Христос воскресе из мертвых!» А в толпе городской человек сирота. Там, над холмами и долами радонежской земли, в благодатные дни Светлой недели может твоё сердце коснуться Руси святой и как птичку вешнюю уловить радость Воскресения Христова.

Говорят: счастье в нас, а не вокруг нас. Да. Но бывает — задохнётся радость твоя в городском-то гаме и лязге, в пустотном балаболе. Ведь Пасха, а все, все только пыль взбивают словом и делом. Живого слова нет ни у кого. Всё балаболит мертвечину... Церковь Живого Бога — в прекрасной «пустыни», где живут берёзки, где золотится вербочка, где тихое небо сказывает сердцу радость неизглаголанную.

Четверг. Пятница Светлой недели. 12 и 13 апреля

Неиссчетным светом исполнен пасхальный канон. Что есть тот свет? О Пасхе и ночь является светозарна и светоносна. Что Христовой ночи светлее? Ночь Христова Воскресения светлее солнца. В каноне поётся: «Ныне вся исполнишася света: небо, и земля, и преисподняя»[1]. Таков же поток света льёт Пасха Христова во внутреннего человека, в наш разум, в наши мысли, в наше сердце, в наше сознанье, в мироощущенье наше. Но повседенный, пожизненный грех, слабая жизнь, праздность, уныние наращивают коросту на душе человека, крылатый разум превращается в будничный убого-практический рассудок, сердце ничего не умеет, кроме

[1] Песнь 3-я Канона Пасхи («Ныне вся исполнишася света, Небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся тварь восстание Христово, в Немже утверждается»).

как «сердиться», чувства копошатся или в будничной пыли, или в чувственной грязи: похоть или воспоминания «о любви» — праздник наших чувств. На иное мы не «реагируем». От такого ничтожного прозябания, когда в молодости бываем мы рабами похотей, а в старости недугуем от сребролюбия, когда и копить-то уж нет сил, а развратничать не можем, от такого преступного отношения нашего к великому дару Божьему — жизни — мы сами себя порабощаем смерти.

Мы настолько ослабли духом, что уж не в силах осознать, что смерть побеждена, что человек предназначен к иному пребыванию. Очи наши одряхлели и не видят, что «ныне вся исполнишася света». Мы, как несмысленные свиньи, ушли из царства, побрели искать, где погрязнее. Не наше дело стало, что слава Воскресения воссияла на Церкви. Стали мы как гнус подпольный, и холодны мы к понятию «Едина Святая Соборная и Апостольская Церковь». А ведь мы должны быть, мы предназначены быть не куриным гнездом, не свиным стадом, а собором христиан. Сегодня Церковь торжествующая, вечная в эту Христову ночь возводит окрест очи свои орлиные и сочетает чад своих, собравшихся от Запада, и Севера, и Юга, и Востока. А мы где? Не у помойных ли ям?!

Ради чего же мы от счастья, к которому предназначены, от подлинной, истинной Жизни, от Света немеркнущего, от радостной Славы, от благодатного своего величия, от мира душевного, неизреченного, от могучего бескрайнего ведения и познания, которые дает Христос Воскресший, отворачиваемся?

Разве мы ценим, разве мы уважаем людей века сего, достигших почестей и благ материальных? Нет! Мы знаем, какими средствами они добились своего положения. Думаем ли мы, что эти дельцы, урвавшие для себя

комфорт и роскошь, живут в радости? Нет. Сейчас у них главная началась тревога и страх: болезни свои лечить и смерть неизбежную оттянуть. У иного из них «почки», у другого «печень», у всех — «сердце», склероз, желудок... Притом все они трясутся за свое положение.

Итак, мы, несомненно, знаем и понимаем, что «счастье», за которым гонится век сей, обманное, мишурное, жалкое, а очень часто и поганое, преступное, построенное на костях многих несчастных.

Что же я в гнилой рот мертвецам гляжу, а к живому, жизнеподательному, животворящему слову глух?! Плюнуть только в рот-то поганый да бежать стремглав, а я стою, жду: не будет ли-де пользы каковы от мертвого пса?..

Скажут: Павла эфиопяне не слушали, а ты кто?

Павел — солнце. А я лягуша из лужи века сего, глаз на Павла выпучила и хвалю его, и любо мне. И от меня это солнце не загорожено. Пасха ныне, Пасха Господня, Пасха! Днесь всяка тварь веселится и радуется! Слышь-ка, Церковь Вселенская поет: «Утреннюю, утреннюю глубоку...»[1] Ещё ночь, ещё храпит век сей, а уж несут миро жены богомудрые... Воспряну и я, побежу поклониться Живому Богу! Будто се труп века сего так меня придушил, что я и выгрестись из-под него не могу?! Нет, довольно я тебя навозил на себе, падаль ты стопудовая; бремени легкого, ига благого[2] я захотел!..

Я крещён: не диво мне крылья расправить да порхнуть туда, где смерти празднуют умерщвление, адово разрушение, иного жития, вечного, начало...

---

[1] *«Утреннюю, утреннюю глубоку...»* — Ирмос 5-й песни Канона Пасхи: «Утренюем утреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем Владыце, и Христа узрим, правды Солнце, всем жизнь возсияюща».

[2] Мф. 11:30.

Века сего житуха — быдль распреподлое, хомут вековой, пустая яма, собачья конура, рабство убогое, биржа вшивая. А что пользы мертвеца, семью смертями умершего, ругать. Послушаем, что живой-то век поёт: «Приступим свещеносnии, исходящу Христу из гроба яко жениху и спразднуем любопраздненственными чинми Пасху Божию спасительную»[1].

Только вслушайся, только приникни слухом-то внутренним — паче грома вечное благовестие услышишь, торжественный оный зов учуешь: «Да празднует убо вся тварь!..» Вся тварь празднует Пасху Таинственную, мы ли мёртвыми останемся с бездушными машинными выделками?!

Плюю я, житуха, на твой камень неплодный! У Христа Воскресшего трапеза исполнена. Все, говорит, насладитеся пира веры, все примете богатство благодати! Пойду пить пиво новое, чудесное[2]. Люб Христов хмель! Сирин Исаак, аки бы не в себе, песнославя, гремит о сем пренебесном новом пиве: вкусили-де его апостолы и победили Христу Вселенную, упилися мученики и, как на брак, пошли на страдания. Знали они, что кто со Христом распинался, тот со Христом воскреснет.

Пускай меня, ленивого, адовы узы содержат. Христос сошёл в преисподнюю земли и сокрушил узы вечные, содержащие нас, связанных. Теперь уж на волю мне дано адовы те узы скинуть. Царь Славы Христос разрушил ад, от цепей адовых одни вороха пыли ржавой остались. В этой ржавчине я и роюсь. А вселенная поёт: «Придите нового винограда рождения, божественного веселия... Царствия Христова приобщимся!..»

---

[1] Песнь 5-я Канона Пасхи.

[2] *Пойду пить пиво новое, чудесное.* — Ирмос 3-ей песни Канона Пасхи: «Приидите, пиво пием новое, не от камене неплодна чудодеемое, но нетления источник, из гроба одождивша Христа, в Немже утверждаемся».

Ей, — наскучила, надокучила соловеюшку клеточка житухина. Махну-ка крылом да полечу и почию тамо, где «праздников праздник и торжество есть торжеств»[1]!

15 апреля. Фомино воскресенье

Термин «богоискательство» — народен он, вышел от сектантов или придуман интеллигентами-богоискателями?

Я смолоду не раздумывал над вопросом: есть Бог или нет? Бытовое православие было стихией. О вере особенно не рассуждали. Наступил пост, посильно постились, а потом радовались празднику. И праздники, понятие святых, церковные службы, поклоненье святым местам: обители, мощи, чудотворные иконы — всё это озаряло и просветляло, украшало жизнь. Быт земной просвечивал небом. Я не рассуждал, есть ли Бог. Лет с семнадцати меня страстно занимала мысль: которая вера права? Старая, дониконовская, или «новая», в которой я крещён? И много лет сердце моё склонялось в сторону староверия. Жил я в северном городе, где народ вообще уважает старину... Много лет страсть к древней иконописи и к древнему церковному пению, любовь к старому обряду были моей жизнью. Слабохарактерность (это ли?..) помешала мне перейти к старообрядцам.

Прошли годы... Род человеческий по всей земле стал терять Бога. Встаёт вопрос не о том, кто прав, католики ли, восточные ли наши, реформисты ли, а вообще вопрос о том, как под напором атеизма воинствующего уяснить себе и людям, что потерять Бога — лишенье

---

[1] ...*«праздников праздник и торжество есть торжеств»* — Ирмос 8-й песни Канона Пасхи: «Сей нареченный и святый день, един суббот царь и господь, праздников праздник и торжество есть торжеств: воньже благословим Христа во веки».

роковое, ведущее к страшным последствиям для души человеческой.

Годы мои, беды да печали и меня с ног скачали. Я стал понимать, что такое — «взыщите Бога».

А для многих, многих вопросы о Боге, о смысле жизни, о смысле страданий стали «устаревшими», отвлечёнными. Эпоха-та трясёт людей, как лихорадкой, все вызнобила, выдула. Прокормить семью, вырастить ребят, «заиметь» копейку на чёрный день — это стало так сложно, что ни у кого на всякие «вопросы» и времени нет.

Когда вопросы о Боге, бессмертии случайно коснутся современного человека, то эти вопросы для него заведомо решены современной наукой. Есть ли теперь люди или среда, где бы, как бывало, стали страстно спорить о Боге?.. Налётом холодного пепла покрыт «этот вопрос» и «эти вопросы».

А нет ли горящей искорки в этой золе?.. Есть! Ты, современный человек, равнодушен к «вопросам религии». Тебя даже раздражают «эти темы». Ведь наукой всё доказано!

А тепло ли тебе или холодно, что «наукой» всё доказано? И что это «всё»?! Как ты ни строй каменное лицо, а люди вкруг тебя и везде по лицу Земли воют от скорби, от болезней, от лютой неправды, от равнодушия всех ко всем. Беги, хватай, рви, борись, грызись. Чуть ты ослаб, тебя стопчут, и нет тебе, слабому, милости... «Наука, прогресс, цивилизация» — эта «тройка удалая» безразлична к добру и злу. «Наука» — это идол бездушный и немой. Ты уповаешь на «науку», ты козыряешь её достижениями. Ты настолько обалдел, что уж не сознаёшь, что пока что самыми показательными делами современной «научной» мысли явилась страшная военная техника, от которой, пожалуй, и древний Ад, и Смерть содрогнулись.

Итак, если тебе не двадцать лет, если ты не кормишься от этих кровавых, палаческих, душегубных «наук», если ты кое-что выстрадал в жизни, ты не будешь уповать ни на технику, ни на физику, ни на химию. Ты скажешь: эти науки можно повернуть на пользу, например, сельского хозяйства. Ты скажешь: сейчас атомная бомба разрушает «грады и страны», а может быть, когда-нибудь учёные одним выстрелом вспашут десять га земли... Вот видишь, насколько слепо, глухо, немо, бездушно это чудовище: сейчас она в одну секунду стёрла в кровавую жижу целый город, а завтра — какая радость! — завтра или через сто лет эта кровомесилка изготовит клумбочку под цветочки.

Ты скажешь: ну ладно, есть наука астрономия, например. Она не убивает никого. Друже! Что мы будем перечислять предметы и дисциплины всех институтов и университетов! Когда горе тебя возьмёт да сердце зажмёт, не помогут тебе ни телескопы, ни микроскопы. Ты опять скажешь: медицина помогает во многих серьезных случаях... Медицина нужное, необходимое и доброе дело. Но и микстура, и порошки, и капли — всё до поры до времени в общем и целом. Врач телесный тогда в состоянии помочь своим искусством, когда дух наш бодр. Посмотри, как повально все подпали под душевные и нервные болезни. Стар и мал, и не только голодные и раздетые, а и сытые-одетые «невесть с чего» поголовно болеют нервно-психически.

Речено издревле: «Бог поругаем не бывает»[1]. Богохульник ругается только над самим собою, разрушает и губит только свою жизнь, свою душу, свою личность, также жизнь и душу людей, его окружающих. А Бог ведь есть Дух Вездесущий, всё Исполняющий, не имеющий ни места, существующий вне времени, Существо

[1] Гал. 6:7.

вечное. Бог, для которого Земля лишь одна из звёздочек (правда, на этой звёздочке Богом дышит и о Нём живёт каждая былинка), не может быть поруган комаром болотным. Комару нельзя надругаться над лесом, комар только сам может комариную душку выронить.

Бог поруган не бывает. Отвергнув Бога, человек подрубил корни своей души, засыпал песком родники живой воды, питавшие его разум, его сознанье, его чувства, всю его жизнь. Оторвавшись от Бога, душа оказалась опустошённой.

И вот у человека не стало внутренней жизни. Душа современного человека не томится «желаньем чудным». Это живая смерть. Это живые мертвецы. Но, может быть, под этим мертвенным холодным пеплом есть живая искра?

Тютчев, который весь был «желанье чудное», говорит: «Растленье душ и пустота, что гложет ум и в сердце ноет, — Кто их излечит, кто прикроет? Ты, риза чистая Христа!»[1]

Есть в мире Добро — Бог, и есть Зло. В душу, в сердце, в мозг, оставшиеся без Бога, непременно входит зло. «Кто не со Христом, тот против Христа»[2].

Зло — дьявол пустил род человеческий в погоню за материальными благами, за земными почестями. Страшная эта бесовская погоня родит войны... Земля залита кровью... И...

Слёзы людские, о слёзы людские,
Льётесь вы ранней и поздней порой...
Неистощимые, неисчислимые...[3]

Бездушный, немой идол «науки и прогресса» не отрёт этих слез!..

[1] Заключительное четверостишие стихотворения Ф. И. Тютчева «Над этой тёмною толпой...» (1857).
[2] См. Мф. 12:30.
[3] Начальные строки стихотворения Ф. И. Тютчева.

В Пасху, в Христову ночь, когда ещё горят в куполе неба звёзды, но уже золотится восток зарёю светлого Воскресенья, в этот час на всех языках мира возглашается вечное и радостное благовестие всему миру: «Все чрез Христа начало быть, и без него ничто же бысть, еже бысть. Во Христе жизнь, и эта жизнь есть свет миру и человеку. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его...»

Христос есть жизнь вечная, вечное спасение, вечный путь и вечная истина.

Начальник Зла, злое начало в мире — дьявол, источник и вдохновитель материалистических учений, приманивает людей тем, что вот христианство не сумело, а антихристианство поровну распределит меж людьми блага земные.

Дьявол скрывает от наивной своей паствы то, что зло гнездится в сердце человека, зло пущено в мир, «мир во зле лежит», лежит издревле. Как ты ни распределяй, злое сердце неизбежно и непременно будет насильничать, обижать, грабить или красть у слабого.

Злобное осатанение мира сего началось давно. Давно мир сей самовольно и самохотно лёг во зло. Но так же, как велено миру лежать во зле, человеку и людям велено спастись. Творец и Зиждитель, давший человеку свободную волю, взял на себя грех мира и основал на Земле, в царстве Зла, царство Добра, царство Любви и Света — Церковь Свою. Отселе «свет во тьме светит, и тьме его не объять...»

Материалистические учения оперируют массами, классами... Там всё массово, классово, механистично. Вместе с тем, неизбежную, неисходную, неминучую для каждого человека скорбь, печаль, смертную тоску, страх смерти предоставляется переживать всякому, как он хочет.

Как стадно ни навыкнет жить человек, личная его жизнь останется на первом месте естественно. Упавше-

го в скорбь душевную человека в когтях смертной тоски век сей бросает биться головой о стену.

Основа и сущность христианства в том, что оно зарождает, воспитывает и ростит в человеке жизнь внутреннюю, сокровенную. Вера Христова и обращается к этой внутренней сокровенной жизни.

16 апреля. Понедельник

Удивительны эти евангельские рассказы у Иоанна, у Луки о явлениях воскресшего из мертвых Господа. Всё исполнено воздуха и какого-то утреннего ветра, утренней свежести.

Только что перед этим были ночи страданий... Вот Господь в грозную ночь молится в Гефсиманском саду и падает о землю, и пот кровавый струится с Его чела.

А уж сквозь деревья видно дымное пламя факелов, Иуда ведёт солдат. И опять ночь: Иисуса водят с допроса на допрос, от одного жидовского начальника к другому... Ночь на кресте, бред одного разбойника и светлая молитва другого...

Эти ночи кончились светоносною ночью Воскресения.

Господь явился мироносицам и Магдалине «зело рано», «утру глубоку», а потом наступает эта дивная лазурь, этот свежий ветр, этот воздух морского берега, чёрных вершин — эти рассказы о явлениях Христа по воскресении... Путь в Эммаус, явление на море Тивериадском...

Белые пески, плеск волн, утренний ветер. Галические рыбаки-апостолы тянут мокрую сеть... Начало брезжить утро, вот рыбаки видят, что на берегу стоит некто Светлый и ветер треплет воскрилия Его одежды. Доносится с берега и голос Незнакомца, повелевающий

закинуть сеть ещё раз. Тогда Иоанн, самый юный из рыбаков, узнал Учителя и закричал: «Это Господь!» И Петр не стал ждать, пока остальные доправят к берегу тяжёлый кораблец. Где ждать! Сердце-то Петрово петухом запело, только не тем петухом, что на дворе у Каифы. В чём мать родила в море Петр-от бросился, плавью берега достал да и пал к ногам Любимого-то... А на бережку костёр, дымок белый стелется.

Опять в Эммаус двое идут и Третий с ними, Неузнанный. А кругом-то утро Воскресения. Над широкою долиной купол небесный, лазурь бездонная, жаворонки звенят... И сердца горят восторгом у двоих-то, Третьего слушаючи, а не могут Его узнать. И язвы гвоздиные небось видят на пречистых руках и ногах, а — «удержаны иги»...

О, вечная юность, вечное возрождение, вечная благодатная сила, вечное светлое могущество, вечное существование и пребывание евангельских событий! Евангельские события, явленья, словеса и благостные дела Сына Божия — это весна, вечно благоухающая, это цветы неувядаемые, непрестанно льющие свой аромат, это звёзды, непрестанно сияющие, солнце немеркнущее, обновляющее душу твою, и мою, и всего рода человеческого.

Евангельские события, вот хотя бы эти светлые и простые рассказы о явлениях Христа по воскресении, из слова в слово, из буквы в букву они имеются записанными и на пергаментах по-гречески, римски, словенски, и на бумаге. Вот Четвероевангелие десятого века, а вот двенадцатого. У меня в руках Тетроевангелие времен Михаила Федоровича. Но не в письменах, не в строках и буквах, не в дате написания или издания дело. Евангелие живо и живёт вне буквы, вне записи и книги. Всякое слово и деяние, запечатленное евангелистами, настолько чудодейственно и благодатно,

что и помимо того, что Евангелие собрано в книгу, оно несказанным, неизреченным, неизъяснимым образом и делом живёт во вселенной... Вот так же, как весенний ветр носится над землею, так же оно струит юное, живое благоуханье, как эти весенние, только что распустившиеся листички берёз, душистых тополей.

Утром открою оконце, и в мой подвал глянет вечное светлое небо. Открою и страницу Евангелия, отсюда в дряхлеющую, убогую мою душу начнёт струиться весна вечной жизни...

17 апреля. Вторник

Праздник сегодня у родимого Белого моря: преподобного Зосимы Соловецкого.

Родина моя!.. Ещё и реки не расплениились от ледяных оков, а уж веют горные ветры, шумят, падают ручьи. По заберегам у рек плавает гагара и чайка, и гусь прилетел, и серая утица. Ещё плавают вкруг Святого Соловца тороса ледяные, но праздник восходит сегодня над островом, над его берегами и тихими озерами — как светлая весна.

Мир сей лежит во зле, но в веке Христовом звучит пасхальная песнь: «Днесь весна благоухает и новая тварь ликует...»[1]

Мирские люди и раньше простодушно думали, что уйти от мира, постричься — это облечь и тело и сознанье в какой-то безрадостный траур. Мир никогда не понимал, что истинные иноки оставляли мир от избытка радости духовной.

Есть и такие христианские учения, которые толкуют, что монашество — это-де себялюбие. Надо-де оставаться в миру, чтобы помогать людям. Надо-де жить

---

[1] *«Днесь весна благоухает и новая тварь ликует...»* — Песнопение Фоминой недели (недели 2-й по Пасхе, апостола Фомы).

как все, завести жену, родить детей. Надо-де, живя своим домком, проповедовать Слово Божье. Будет у тебя... хозяюшка в дому, что оладушек в меду, и тогда толкуй на полном ходу о Христе, о Голгофе.

Время показало, что мир сей самохотно и самосильно будет затыкать свои уши для благовестия Христова, что мир сей непременно отворотит нос от благоухания Христова.

Живали Христовы благовестники в мире. Указывали и показывали миру и обагрённую божественною кровью Голгофу, и сияющий пренебесным светом Фавор. Мир предпочел свалочные горы сесветного мусора.

Истинный инок принимал на себя тяжкий труд — выбраться из-под многоэтажных куч мирского мусора и уходил на Голгофу, на Фавор. И тем из мирян, у которых не угасла в сердце искра света Христова, он был виднее и приметнее.

Помню, я ещё подростком был, богатый рыбопромышленник Окладников тужил в разговоре с моим отцом:

— Поехал на Варзугу по сёмгу. Приворотил к Соловецким, на Анзеры, на часок, да и прогостил там неделю. Каждноднeвно ходил к старцу в пустыньку. Избенко об одном оконце, на пню, что на курьей ножке. Гряда репы. На себе крашеная ряска, вот и всё именье. Я говорю: «Не велико твое богатство, отче!..» «Больше твоего», — отвечает. Посадил меня на порог избёночки своей: «Гляди!» Гляжу: тишина спустилася. Ночь светлая, белая. Келья на горке, леса по увалам вниз сбегают, а наокруг, сколько глазом достать, морская гладь сияет. Вдалеке монастырь над водами белеет. И над всем, над всем несказанный свет небесный. И тишина, разве чайка крикнет, гагара сплачет, комар запоёт... «Отче, — говорю, — у вас целый день богомольцы толклись. Вам отдохнуть надо». Он смеется: «Изо сна не шубу

шить. Зимой высплюсь. Миряне-то свои дела распутывать сюда ко мне приносят: у того с женой неладно; та детей жалеет; этого по службе обошли. Придут: «Отче, расчавкай с нами, как нам быть? Тебе с горы виднее». Я сам и с женой живал, и в чинах бывал, полсотни годов в такой ли суматохе вертелся. По убогому своему опыту, по совести потолкуешь с мирянами-то... Хлебца подадут, я ребятам отдам: зимою трудники, ребята молодые, из монастыря прибежат дров поколоть». Месяц дома не был. Приезжаю: запутались без меня: жена и старшие дети с сердцем с таким встречают, приказчики с недоуменьем — привыкли, чтобы я воз-от вёз, впереди бежал... Доверенный в банке акции вовремя не продал — убыток большой, старший сын с певичкой гуляет, выманил у матери деньги и глаз домой не кажет; на Мурмане трески пятьсот пудов сквасили: судёнко с солью непогоды задержали. К дочке, дурёхе, актеришко подскакивает: невесть кто и откуда. Вот и скачи во все стороны, и рвись на куски. Что мне, что костюм на мне аглицкий да к столу ренское подают. Кругом пустые люди, и я с ними один пляс пляшу. Нету мира душевного, нету радости! Вспомню старца-то анзерского и всплачу: «Ох, отче, отче, насколько ты богаче, насколько счастливее меня!» Ох, как я понял слово-то Христово: «Что есть пользы человеку, аще и мир весь приобрящет, душу же свою отщетит!»[1]

Преподобный первоначальник соловецкий, «Единого Бога возлюбивый, Единому Богу ведомый», пожил на Соловецком острове. «Он был как звон великопостный, как ладана лазурный дым...» Преемник Савватия Зосима, основатель общежития, стал как бы маткою пчелиной в медоносном пчелином улее. К Зосиме собралось «монахов множество».

[1] Мф. 16:26.

В детстве, приплывая в обитель Зосимы и Савватия, любил я и дивился настенным изображениям из жизни преподобных... Видение Зосиме прекрасной церкви. На месте видения он поставил величественный храм Преображения... Вот чудо о просфоре, оброненной купцами; первая литургия, совершённая Зосимой, когда лицо его просияло, как лицо ангела... Вот Зосима в Новгороде зрит виденье ужасное о боярах, впоследствии казнённых московским князем. Преподобный, отходя сего света, прощается с припадающими к нему и плачущими братьями... Корабль с мощами святого Савватия, встреченный игуменом Зосимой...

У себя дома я старался зарисовать соловецкую живопись по памяти.

Более новою стенописью, но по-своему очаровательною и глубоко содержательною, соловецкие монахи украсили и прекрасную свою церковь в нашем городе — церковь Соловецкого подворья.

18 апреля. Среда

Когда «открыта» была новгородская икона, отошли в сторону музейно-ювелирные представления о древнерусской живописи, существовавшие в России, скажем, до выставки древнерусского искусства в 1913 году.

До тех пор почему-то с представлениями о древнерусском искусстве связывались или «фотографии Барщевского»[1] (чеканка, орнамент), или... «боярский стиль» (картины Шварца, Маковского и др.). Васнецов, Нестеров, «Абрамцево» подвели к новгородской иконе. И вот точно завеса упала с глаз: увидели и удивились. Увидели искусство как бы другой планеты. Искусство

[1] *Борщевский* Иван Фёдорович (1851–1948) — фотограф Академии художеств, автор многочисленных фотоальбомов, посвященных памятникам древнерусского искусства.

светлое, широкое, «простое». Но как бы искусство иного мира, даже иного народа. Четыре столетия, отделяющие нас от XIV–XV веков, веков расцвета русской культуры, чрезвычайно изменили характер художественных восприятий народа.

Но не о древнерусской живописи собрался я сейчас говорить.

Новое, великое и чрезвычайно своеобразное искусство, «не городское» — ведь одна из граней жизни той замечательной эпохи, столь отгороженной от нас. О той эпохе или эпохах мыслим мы или схемами и хронологиями учебников истории, или приходят на ум, если мы хотим представить живых людей, исторические романы XIX века: Загоскин, Соловьёв, Мордовцев. Также оперы: «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», «Чародейка», «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Снегурочка»...

Историческая беллетристика и «исторические оперы» XIX века могут быть сами по себе хороши, изобличая таланты авторов, но историческая беллетристика — это почти сплошная фальшь. Так же как и картины Маковского...

Но я ушёл в сторону. Все они, и романисты-писатели, и живописцы, включая Васнецова и Сурикова, и музыканты, включая Мусоргского, Бородина и Римского-Корсакова, показывают нам XIX век, с середины которого началось «возрождение национального русского искусства» и в живописи, и в архитектуре, и в музыке (только не в литературе), все они показывают только своё представленье о жизни и людях Древней Руси. И в этом их право.

Может быть, здесь в чём-то мы видим Русь XVII века, даже XVI. Но подлинного лика удивительных эпох Новгорода, Радонежа, Андрея Рублева здесь нет.

Теперь, после «раскрытия» икон, мы видим, какою была живопись, столь связанная с жизнью и бытом, столь почитаемое искусство.

Мы говорим: «Вот оне какие, эти жизненные святыни наших предков. Какая она странная, и непонятная, и прекрасная — душа наших праотцев, отобразившая себя в этих картинах на доске. Как всё это, говорим мы, не похоже на привычные наши представления о Древней Руси...»

Итак, мы видим икону, то, что было прижато у сердца древнерусского человека. Но в такой же яви, в такой же непосредственности и подлинности, столь же осязаемо и ощутимо мы не видим, как жил с этою иконою человек XIV–XV веков. Лик иконы выдвинулся из глубины веков, а люди и дела, с которыми икона жила, остались в туманной дали «преждебывших времён».

Жития русских святых, исторические документы, документы юридические, также эпистолярная литература Древней Руси — вот что, при умении видеть и слышать, может оказаться крыльями, которые перенесут тебя в ту эпоху и поставят тебя на ту землю, на те дороги, по которым ходит интересующая тебя жизнь и люди. В особенности важны жития как произведения фабульные, связные. Они дают картину яркую и подлинную. К великому сожалению, до нас лишь в немногих случаях дошли первые редакции житий, представлявшие собою непосредственные записи с уст самовидцев и очевидцев.

Литературные вкусы XVII века, любовь к «краснословию» и «плетению словес» подвергла переработке драгоценные подлинники житий. И всё же наша любовь и внимательность увидит там живых людей и живые дела.

Историк Ключевский, как никто, сумел увидеть и умел показать живую эту жизнь.

Север родимый на уме у меня.

И я слежу сейчас, к примеру, намеренья и дела таких представителей русской культуры XV века, как Савватий, Зосима и Герман Соловецкие.

Вот Герман. Он был спутником обоих деятелей северной Фиванды — и Савватия, и Зосимы.

Герман был строгий инок, оставивший «вся красная мира сего», покинувший род и племя и отошедший в пустыню на «бреги студеного Моря-Акияна». И вместе с тем это был характер чрезвычайно деятельный и практический. Всецело, сердцем и душою прилепившись к духовным своим вождям — сначала к Савватию, затем к Зосиме, — прилепившись к ним и вдохновляемый ими, Герман как бы расцветил ум жизни практической, хозяйственной. Савватий, с которым Герман прожил на острове шесть лет, Савватий весь молитва, весь песнь ко Господу, весь фимиам благоуханный, не замечает, что ряска его обветшала, что двери пропускают мороз, а топорёнко худое, гвоздей нету, лопата, чем гряды копать, треснула, иглы приломались, нечем зашиться... А Герман не может терпеть, чтоб «отец» жил необихожен. И Германа не держат ни бури, ни ветры. На чём попало он преодолевает морские просторы, спеша за гвоздями, за пилою, за пряжей для сетей, за холстом для рубах. Пустынны были брега Белого моря в те времена, быт редких рыбацких селений напоминал каменный век. Трудно было достать что-нибудь. Герман задержался. Савватий оставался на острове один. Ему было явлено отшествие от сего света. Тогда и Савватий оставляет остров ради причащения Христовых тайн.

По кончине своего друга и отца Герман опять живёт в Сороцкой губе. Приходит онежанин Зосима, который устрояет на Соловках монастырь.

Герман разделяет с игуменом хозяйственное управление обителью. Будучи в старости маститой, Герман не тяготится съездить в Поморье по делам. Уж при конце жизни, пренебрегая «ветхостью телесного состава», Герман взялся съездить в столицу — Великий Новгород. Там управил все обительские нужды, но на обрат-

ном пути светлая душа старца оставила измождённое подвигами и годами тело.

Преподобный Герман был неграмотен, но памятен. Благоговея к памяти святого первоначальника Соловецкого, Герман заставлял грамотных иноков записывать всё, что он слышал от Савватия и чему, живя с Савватием, был самовидец.

Интересна личность новгородского купца Иоанна, упоминаемого и в житии Савватия, и в житии Зосимы. Этот «Иоанн Новгородец», плывши Белым морем, вынужден был непогодою пристать в Сороцкую губу, где в пустынной часовенке, только что приплывший с острова и дивным образом сподобившийся причастия тайн Христовых, преподобный Савватий торжественно готовился предать душу Господу. Предсмертная беседа великого подвижника, его святолепный вид, его блаженная кончина и погребенье, которому послужил Иван Новгородец, навек с замечательной силой запечатлелись в душе этого деятельного, талантливого и умного человека.

Когда на Соловках основался монастырь, Иван указывает прибывшему в Новгород Зосиме нужных людей и сам ходит со старцем.

Иван встречается с кирилловскими иноками, в обители которых Савватий начал свои подвиги. Кирилло-белозерские монахи с Иваном вместе пишут Зосиме своё известное послание, где всячески наказывают и советуют перевезти в новопостроенную обитель сокровище бесценное — мощи первоначальника.

В одном из плаваний Ивана по морю осенью, — а с кораблём Ивана плыл и корабль его брата Фёдора, — святой Савватий дивным образом спас их от морской погибели. Чудо это записано и засвидетельствовано новгородскими моряками.

Здесь упомяну замечательный момент непосредственно из истории художественной культуры. Иван Новгородец, в семье которого возник как бы культ великого старца Савватия, заказал «первому мастеру Новагорода» портрет — икону Савватия. Он сам сидел, диктуя художнику, каков был рост, каков стан согбенный, какова брада и ус, каковы очи, и чело, и уста и нос, и живость, и ветлость[1], и умиленная улыбка преподобного. «Светлы зело уста Савватиевы бяху, а очи миром небесным сияху. И голос вельми тих, но словеса паче светлых громов напечатлевшиеся на сердце мне», — так вспоминал Иван.

Икона Савватия была любимою святыней в доме и приходской церкви Ивана.

Точный список с неё Иван послал Зосиме на Соловки, когда мощи Савватиевы были туда привезены.

И новгородская икона-портрет Савватия — первоначальника Соловецкого стала святынею и Соловецкого монастыря. С неё пошли списки по всему Поморью.

Все подлинники иконописные указывают на свитке, который держит Савватий Соловецкий в руке, писать: «Чадо Иоанне, пребуди здесь до утра и узриши благие Божие». Эти самые слова Иван слышал от старца, приказавшего ему ночевать на берегу и ждать утра.

Конечно, Иван Новгородец, для себя, для своего дома написавший первую икону Савватия как личного своего покровителя, приказал и надписание на свитке сделать лично к нему, Ивану, относящееся.

Но это надписание так и осталось на все времена. И память доброго и благочестивого новгородца навек связана со священною памятью великих соловецких угодников — Савватия, Зосимы и Германа.

---

[1] *Ветлость* — приветливость, обходительность ласковость (*архаич., диалектн.*).

22 апреля. Воскресенье

Егорьев день, а деревья боятся зелень показать. Не дождь, так холод. Старухи тужат: всё лето будет и сей год ненастливо... может, и надвое бабушка сказала.

Вчера в ночи вылез я на улицу. Оконные бельма везде погасли, только небо глядит таинственно и светло. И стала убогая душа похвалять Сына Божия... Отщепенцы церковные толкуют, что Бог только внутри нас. Заблудились, милые. То несомненно, что ежели внутри себя Бога не стяжаешь, внутрь себя хотя искорку царства небесного не доспеешь, то и вне Бога не восчувствуешь. Бога надо всякому взыскать, без этого ни счастья, ни жизни нет. Без Бога мы мертвецы ходячие. И первое: ты Его в сердце своё потрудися заполучи. Многоскорбен этот путь, но благодарен. Глиниста, неродима душевная целина у нас. Ничего не растёт. Скорбями многолетними она вспахивается, печалями боронуется, слезами засевается... Зато очи сердечные откроются. Внутренний человек, зрячий и с тонким слухом, в тебе проснётся. Всё равно как прежде огонь добывали: бревно о бревно тёрли, трудяся до тех пор, пока искра не вспыхнет, огонек не родится. Таково и нам надо трудиться, чтоб искорку живого огня вытереть внутрь себе. Тогда откроются очи, чтоб видеть Троицу Живоначальную в небесах и Его, Света нашего, Господа прелюбимого, сидящего одесную Отца.

В большом-то городе, в вавилоне асфальтовом, где люди многоэтажно кишат в непробудной суете, как трудно и на малую минуту «упраздниться» и почувствовать, что «есть Бог».

Весь день проведя в «молвах многих», как дорога и благословенна минута, когда вот этак, с глазу на глаз с небом тихим ночным какое-то благодатное веяние незримого света горнего ощутишь. И тут Его славишь, сердечным своим желаньем к Нему припадает мысль, ко

Господу моему прелюбимому. Не ведаю как, а знаю, что Он пребывает на небе и Он близ меня. О непостижимое Слово Отчее, Христе Иисусе! Ты, Господи Вседержителю и Творче мой! Ты Един безначален и бесконечен там, над звёздами. И Ты столь близок мне, что никому другому так не понять, и не услышать, и не увидеть меня, убогого, как Ты меня видишь и слышишь. К человеку самому близкому не припадёшь во всякую минуту хотя б потому, чтоб его не растревожить. А к Твоим ногам, Сила непобедимая и милость бесконечная, всегда можно припасть и «теплоту любимую» восчувствовать. «Вы не рабы, вы други мои»[1], — говорит Сын Божий ученикам. Я не ученик, я прах под ногами рабов Божьих. Но и такую мусорину, как я, Он видит и знает. И меня, мусорину, Он в друзья зовёт. Дак уж каково же любо и дивно мне Друга такого иметь! Такого Друга помышляя, ум крылья ростит и в горние миры возносится. От этого земные скорби малыми и терпимыми кажутся. Чудно и светло Ему, Другу и Благодателю, беседовать. Какая с Ним беседа? А вот пою: «Ты Собезначальное Слово Отцу и Духови! Ты Единородный Сыне и Слове Божий, бессмертен сый, смертию смерть поправый, Един сый Святыя Троицы, споклонямый Отцу и Духу! Слава Тебе, Христе Боже, мучеников радование! Ты привещаешь всякого человека, просвети Лице Твое на мне. Ты был прежде век, Ты искони был в Боге. В Тебе жизнь, и эта жизнь — свет человекам. И свет Христов во тьме светит, и тьма Его не объяла... Ты Царь Славы, Христос, Ты Отца присносущный Сын Его; Ты ко избавлению приими человека, не возгнушайся и меня, грешнаго. Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь, утверждение мое и прибежище мое!..»

Вот этак из-под дому-то, из-под угла домового сглядаешь небо таинственное, и слушает оно тебя. И спе-

[1] Ин. 15:15.

шишь ты те слова найти, которые бы вполне и до дна сердечное твоё желанье, молитву твою выразили. И вот тут любы, и сильны, и желанны, и упоительны словеса священных догматствований о Сыне Божием. Потому что догматы о Сыне Божием напечатлела для нас всемогущая, пламенная любовь и пресветлое озарение божественных отцов Церкви. Словеса, изречённые о Сыне и Слове Божием святыми отцами и учителями, всесовершенны, вечны, прекрасны. И догматические песни о Христе — радостнейшая поэзия для души.

24 апреля. Вторник

Ночью, стоя под липою, люблю глядеть сквозь её ветви на небо. Сквозь ветви небо кажется особенно близким и пасхальным. Летом дерево нарядится в пышные веники листвы.

А сейчас так чудно на облачном небе нарисован узор ветвей. И тонкий рисунок кружевного плетения весь унизан и преукрашен крошечными крылышками младенцев-листочков.

Вчера слышал музыкальную эту «поэму» о Рафаэле, которого кардинал клянёт за привязанность к Форнарине, даже сзывает народ, чтоб все видели, что натурою для прославленных мадонн служит художнику земная краса. Народ сбежался, кардинал отдёргивает завесу с картины, только что оконченной... Музыка, рисующая негодованье кардинала, шум толпы прерываются... пауза... И начинает звучать возвышенный гимн Царице ангелов, Таинственной Розе, Единой чистой и благословенной... Где там земные черты Форнарины... Божественная, исполненная царственного величия, но и кротости неизреченной, глядит на толпу, преклонившую колена перед великим созданием Рафаэлева гения. Восторженно молится чудному Лику

Богоматери и сам кардинал. В музыке и словесном сопровождении этой «поэмы» много оперно-итальянской ариозности, довольно слащавых и шаблонных эпитетов... «блаженство любви», всяких ахатей, но всё же... хорошо! Нужная вещь и многополезная для проповеди христианской культуры. Великолепное христианское искусство Запада — живопись, зодчество, церковная музыка — воистину вечны, бессмертны, прекрасны. Это проповедь живая и могущественная.

Иконы, почитанье икон, поклоненье иконам... Век я любил, чтобы лики святых были в комнате, никогда не прятал их, век теплю лампаду... Не так давно, придя от обедни, на что-то разгорячась, произнёс перед брателком тираду... Что-де мне иконы! Доски и краски. Я сам их не одну сотню написал! Я-де Бога чту, а не иконы... Обедню-де, литургию божественную, когда-де ангелы трепещут, и херувимы лица закрывают, и жертва тайная дароносится... а в эти страшные минуты бабы кучами лазают по церкви, толкаются к иконам со свечками, лижут-де иконы, стоя задом к алтарю... Священник возглашает: «Твоя от твоих...» Хоры поют: «Тебе поем...» А бабы гудят: «Какому там... мою свечу поставили?! Я велела Ипатию, зубному целителю». Старухи-де в обедню зевают, спят и оживают только тогда, когда заводится молебен... Ивану Воину... об обретении украденных вещей... Какому-де образу молиться от какой болезни — знают, а насчёт великих действований литургии хоть кол на голове теши! Редко кто колена преклонит в момент пресуществления, а в целом толпа... не смыслит... и не спросят, и не поинтересуются!

Брателка меня выслушал и, помолчав, тихо сказал: «Иконы ругаешь... А я всегда готов приникнуть к Лику Богоматери, кроткому, скорбному».

Братец у меня тоже запальчиво любит поговорить... И я подивился тону его слов — тихому, задумчивому.

Лик Матери Божьей на наших русских заветных старых иконах — скорбный, милостивый, в сердце наше смотрит. Как же святой заповедный этот лик не любить...

25 апреля. Среда

Когда в Европе началось столь справедливое и полезное увлечение художниками раннего Ренессанса, Рафаэля многие похулили: от него-де пошла болонщина, барокко и т. д. Для нас, восточных, правду сказать, далеко не все его мадонны что-нибудь говорят уму и сердцу. Хотя, например, «Мадонна в креслах», круглое «тондо»[1] перешла даже в народную нашу иконопись под именем «Трёх радостей». Картину эту копировали ростовские финифтяники (XVIII–XIX веков). И все-таки это прекрасная дама с довольно холодным лицом. Но лик Сикстинской Богоматери (Дрезден) божественен. И несомненно, что великому художнику были откровения; конечно, душа Рафаэля касалась мира горнего.

Полна тишины и молитвы икона-картина эрмитажная[2]. Богоматерь как бы в мафории[3]. Она держит молитвенник, в который смотрит младенец. Вдали весенний пейзаж...

С конца XVIII века русский человек навык молиться иконам западного пошиба. Но насколько сильнее радеет наше сердце к древлепреданной, родимой, завещанной от святых отец иконописи греческой и древлерусской! Прекрасный, скорбный, непостижимый лик

---

[1] *Тондо* — произведение живописи или рельеф, имеющие круглую форму. Иногда термином «тондо» обозначают лишь изображение Мадонны с Младенцем.

[2] *...икона-картина эрмитажная.* — Рафаэль. «Мадонна Конестабиле» (1500–1502).

[3] *Мафорий* — большой четырехугольный плат, покрывающий голову и укутывающий всю фигуру.

Владимирской Богоматери — искони запечатлела этот лик Русь Святая в своём сердце, в сокровенных тайниках души народной. В лике Владимирской иконы русский народ искони видел идеал лика Богородичного.

«О пречудная Царица, Богородица!..» — ликует песнь-тропарь, сложенная в похвалу именно этому лику. Сколько высокопоэтических сказаний, чудес, легенд сопровождает почти тысячелетнее пребывание на Руси этой заповедной нашей святыни. Былинный запев «Высота, высота поднебесная! Глубина, глубина, океан-море!» просится на уста, когда встанешь пред Владимирскою иконою и взглянешь в Ея лик.

И тут дрогнет сердце и вострепещет благоговейным восторгом: «Перед этим самым ликом изначал своего бытия молилась и плакала Русь моя...»

Высокое выраженье скорби в иконах Богоматери навсегда полюбил русский человек. И в бесконечных пространствах России, в деревнюшках, затерянных среди дремучих лесов, всегда увидим мы умиленный и скорбный лик «Заступницы Усердной».

Русская народная молитвенная мысль чтит Богоматерь как «в скорбях и печалях утешение». В любимых и заученных народом песнопениях богородичных непременно встречаем: «Молений наших не презри в скорбях», «пред пречистым Твоим образом со слезами...», «Не имамы иные помощи, не имамы иные надежды...», «Призри благосердием, всепетая Богородице, исцели души моея болезнь», «Душу мою помилуй, Благая!..», «Притецем, людие, к тихому сему пристанищу...», «Моление теплое...». Наконец, название одной из любимейших икон: «Всех скорбящих Радость».

Идея «Богоматери Умиления» и «Богоматери Скорбящей» слилась в русских иконах воедино.

Древнейшая византийская иконопись изображала Богоматерь в царственном величии (мозаики), сидящею на троне, стоящею с возденными руками — «Неруши-

мая стена». В течение многих веков и западное искусство, находясь под обаянием греко-восточной культуры, следовало типу византийских икон. Итальянская живопись раньше других стран Европы начала придавать изображениям Святой Девы земную «человечность». Что дальше, то больше западную религиозную живопись в изображении Богоматери занимает тема матери и дитяти. Здесь зачастую нет не только догматичности греческих икон, но нет зачастую и ничего возвышенного, никакой глубины. Тут просто миловидная дама с пухлым ребенком. Сзади помещается пожилой супруг (Иосиф).

Мадонны Мурильо, мадонны Болонской и т. п. школ — это салонные картины. «Святая Русь» не могла молиться этим приятно-сладким картинам.

«Костел поляки устроили при дворе царя Бориса, — горько взывал из темницы патриарх Ермоген[1], — не могу аз слышать латинского пения!» Латинская музыка претила русскому святителю. Также чужда была религиозному чувству Руси Святой и западная религиозная живопись.

Древняя византийская иконопись отличалась торжественностью, монументальностью. Но вот перед нами станковые иконы XI–XIII веков. Уже здесь мы видим тип богородичной иконы «Умиления». Ошибочно утверждали исследователи, что Италия из учениц Византии превратилась быстро в её учительницу, что Италия внушила грекам и Руси нежность и лиричность типа греческой Девы. Византия самостоятельно переживала свой Ренессанс в XI–XIII веках.

Как бы то ни было, «умилённость» ранней итальянской иконописи к XVI веку перестала отличаться от типов светской живописи.

---

[1] *...патриарх Ермоген.* — Сщмч. Ермоген (1612), патриарх Московский и всея Руси (1606–1612).

Тема умиления существует и в западной живописи, но это деталь Страстей Христовых.

Западные, изображая Святую Деву с младенцем, изображали семейное счастье. Тем более тут всегда присутствует и Иосиф. У нас обручник на иконах Богоматери не изображается. А Она, Царица Небесная, глядит с иконы, как бы провидя страшные грядущие судьбы рода человеческого. И Отрок, припадая к лику Матери, как бы стремится утешить Её.

«Когда на земле дети мать обижают, на небесах Матерь Божия горько плачет», — говорит русский народ.

28 апреля. Суббота

Два дни ненастье с дождём, вчера и со снегом. Холодный вест-запад. Сегодня к вечерням опять отемнало.

Однако бульвары, палисаднички городские приоделись в тонко-прозрачное нежно-зелёное кружевцо.

Дождь с ветром, ползёт трамвай бульварами. А в окна на фоне серых домов, как нежно-шёлковая кисея, — весенние деревья. Потом всё закроется махавками листьев, а теперь не налюбуешься досыта изящным рисунком сучьев и веточек, приубравшихся в нежную прозрачность весенней зелени, как невеста под венец.

Есть книги для юношества: «Чудеса природы». Изображены огнедышащие вулканы, Ниагары, пропасти, баобабы, фундуклеи, карликовые деревья, одним словом — что чуднее. А истинное чудо природы, на что надо учить детей любоваться, — это благоуханная нежность «клейких листочков», вербных барашков, сначала серебряных, потом золотых. Надо, чтоб дети почувствовали красоту белой весенней берёзки, как невеста, украшенной серёжками.

Вечно меняющееся весеннее небо нашей Руси... никогда не устанешь на него любоваться. Канун Степанова

дня Пермского (на 26 апреля) в полночь сквозь узорную раму ветвей глядел я картину, живую красоту которой не подменит кисть художника.

Узорно, как бывает только весною, серебрились облака. Лёгкий узор открывал два глубоких синих просвета: с юга и с запада. В южное окно строго и молитвенно, как одинокая свеча в храме, теплилась яркая звезда. В окно с запада сиял серп месяца.

То ли не чудо этот «блакитный» терем во все небо! И два узорных окна в голубую бездну. И два света небесных: звезда и месяц, поставленных на этих окнах светить Земле. Древнерусские художники ведали и запечатлели для нас такое небо.

Угловатая линия зданий сливается в темноте с площадью. В прозрачном вечернем небе над чёрным одиноко и задумчиво возносится старая башня Архангела. Долго не гаснет тихость апрельского вечернего неба. Но под домами, назойливые, мелькают суетливые электрические огоньки. Как мыши, блестя глазками, шмыгают вдоль бульвара машины. А подымешь лицо: над верхушками весенних лип, над городом — тихая заря, а с востока, где небо смерклось к ночи, стоит месяц...

30 апреля. Понедельник

«Помянух Бога и возвеселихся»[1]. Помянул Ангела Святой Руси — и посветлело на душе. Вспомянул Сергия Радонежского — и обрадовался.

3 мая. Четверг

Отщепенцы, гордясь и надмеваясь, называют себя «духовными христианами». Церковная вера, видите

[1] Пс. 76:4.

ли, не духовна. Эх, не форси, сектант, в пустом-то кабаке, без денег-та! Немножко поучись да подрасти, приникни к жизни церковной, к истории Церкви. Отцы и учители вселенские не духовны? Сергий Радонежский не духовен? Нил Сорский не духовен? Серафим Саровский не духовен?! Ино пусть сектантские щенки лают: ветер их глупую лаю носит.

И что есть та духовность? Поразительное дело! Все отходившие от Церкви люди не понимали искусства. Им чуждо чувство красоты. Лютер, Кальвин, всякие реформаторы, наши сектанты довольствовались кодексом прописных моралей, а в сущности были заядлыми рационалистами. Отрицая историческую церковность, они отрубали сук от Лозы Истинной, на котором сидели. Недаром католические апологеты говорят, что из-за спины Лютера выглядывает антихристова физиономия Штрауса[1].

Церковь вся — в поэзии и красоте.

Помянул Сергия Радонежского и возрадовался. Отщепенцы долбят, как дятлы: «Нравственное совершенствование». А кто достиг совершенства внутреннего, духовного, как не светочи иночества?!

Камень веры Христовой многогранен, и одна из сияющих граней его — поэзия прошлого. Но это прошлое вечно юно и вечно живёт в Церкви.

Светлый Радонеж преподобного Сергия вечно юн и вечно благоуханен.

5 мая. Суббота

Как меня вчера печаль прижала... Охал да рёхал, бредучи улицей... Лезешь меж домы; этажи, этажи над

[1] Штраус Давид Фридрих (1808–1874) — немецкий философ-младогегельянец. В книге «Жизнь Иисуса, критически переработанная» (1835–1836) отрицал достоверность Евангелий и Божественность Иисуса Христа.

головой, этажи мельзят огоньками. В прудах этажи опрокинулись, будто и конца им нет. Публика шаркает по асфальту, толкутся у кино. Визжит радио с крыш, со столбов, из квартир. Никому ни до кого и ничему ни до чего дела нет. Мышья суетливая беготня, бессмысленный спех... Всяк всякому чуж-чуженин.

Мельзящий городской муравейник пуще давит на скорбное сердце человеческое. И поглядел я над домы и увидел небо. Меж облак тихо светит звезда. Там вечнующее спокойствие, там тихость, вечно пребывающая.

Невнятно мысль начнёт беседу с миром небесным, с неизглаголанною, но многоречивою тихостью неба. Скажете: ты опять со своей мистикой!.. Никак! Тишина, красноречивое безмолвие неба, благодатность весны — всемогущая сила Матери-Земли.

Как молитву, чуть опомнился, в скорби-то припеваю я уму своему:

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней Матерью Землею
Он вступил в союз навек
... ...
У груди благой природы
Всё, что дышит, радость пьёт...

6 мая. Воскресенье

Церковь — исполнение — полнота и ширь всякого добра и всей красоты. По отношению к личности человека здесь и «уставы» о ежедневном его поведении, о постах, поклонах, о днях и часах работы и о праздниках, уставы, особые для инока, особые для мирян. Здесь и законы внутреннего, духовного преуспеяния («Лествица»). Но и здесь же, в Церкви, предписано

знать и любить добро и красоту, содеянную святыми «во дни отцов наших». Преблагословенный отец наш Сергий, говоря языком хронологии, «жил» в XIV веке. Но в разуме Господнем, но в Боге, но в Церкви Сергий жив и радость его вечно исполняется.

Блаженное искусство Святой Руси чудно помогает нам (и не достигшим каковы-либо меры преуспеянья духовного) жить с Сергием и радоваться о нём по нашей малой мере. Посети радонежскую землю. Ты увидишь холмы, то покрытые лесом, то пашнями. Узенькие реки отражают серебристо-облачное небо... Если ты любишь Сергия, любишь Святую Сергиеву Русь, мысленное око твоё радостно увидит и его: с деревянным ведёрышком он подымается в гору, серебряные капли падают на сухую глину. Вот он поднялся на взлобье холма, поставил тяжёлое ведро на землю и глядит в долину: леса без конца, синяя даль сливается с небом. Сергий тонок и изящен станом, но плечист. Лицо его постнически бледно, но лик ангела едва ли может быть столь же прекрасен...

Сейчас игумен любуется лесною прекрасною пустынею, что бескрайно простёрлась у его ног. Но сердце Сергиево непрестанно молится, и от непрестанного действия сердечной молитвы эта непостижимая вдохновенность лика, этот серафический божественный пламень в очах в час литургии: «Сергий причащается огнем».

Весенние грозы трепещут временем в светлом лике игумена радонежского. Когда игумен совершает литургию, он бывает весь как серафим пламенеющий. Игумену радонежскому в час литургии всегда сослужат ангелы... Это видели, знали и засвидетельствовали ученики святого.

Но богомольцы простые, но дети чаще видели простое, благостное, умиленное лицо игумена... С ласковой улыбкой благословлял он ребенка и давал ему деревянную птичку-игрушку.

Разум, волю, и власть, и грозу видели в лике игумена, власть и грозу слышали в Сергиевом обличительном слове князья, готовые изменить общему русскому делу в борьбе с татарами.

Из нескольких избушечек состояла обитель Сергиева при жизни его. В посконной сермяге ходил игумен, а праздничная иерейская его фелонь-риза была из деревенской крашенины. Ходил в лаптях, лучина, дымя и треща, светила в церквице, которую сам же Сергий и срубил. Но великие князья и бояре, военачальники падали ниц, в землю кланялись «нищему игумену нищей обители». Таково было сияние святости, всепобеждающая нравственная сила, духовная красота, нравственная чистота, таково было блистание разума в слове и совете Сергия. Уклоняясь от всяких почестей в убогой своей дремучей пустыньке, Сергий был (и остался на все века) совестью Руси. Такова была моральная сила, нравственное величие, обаяние личности радонежского пустынника, что пред ним склонялись и праведного его гнева боялись земные владыки, воины-князья.

Когда орлиные очи сего Ангела-Хранителя России закрылись на земле, когда он стал небесным заступником народа русского, могущество Сергиева имени засияло ещё ярче. «Как печать положу тебя на сердце своем»[1], — сказала Русь своему возлюбленному отцу.

Сергий Радонежский... Что благоуханнее, что светлее, что краше?! Сергий Радонежский — наша весна, вечно юнеющая, благодатное утро Руси Святой, наше возрождение, наша радость неотымаемая! Блаженное имя Сергиево, как весенний цветок, распускается в сердце, озаряет ум, окрыляет мысль. Сергий преподобный — заря русская, звезда утренняя. Имя Сергиево — освящение ума, радость мысли, сияние памяти,

[1] См. Песн. 8:6: «Положи меня, как печать, на сердце твое...»

веселье духовное. Радуйся, Сергие, сияние русское, радуйся, обрадованный!

23 мая. Среда

Людям повелено: взыщите Бога! То есть нам повелено радеть и хотеть жизни истинной, обещан мир в душу и неотымаемый ещё на сем свете. Бог дивно живёт во святых, и святые дивно живут в Боге.

Всё, что от Бога, то есть от жизни, от света, от разума, вечно пребывает и существует, вечно юнеет. Святые «в Боге почивают». Про святых Божиих, как и про Бога, нельзя сказать, что они были. Они есть. Здесь нельзя сказать, что «они были, да прошли».

Заголовком-заставицей старинных святцев обыкновенно были слова: «Яко же небо украшено звездами, тако сия книга святых именами». Святых много. Но вот почему-то зачастую особливо примечаем мы для себя такие-то и такие звездочки. Так избираем мы в любовь себе тех или иных святых. Это или святой, имя которого ты носишь, или преподобный, почивающий в обители, близкой месту, где ты родился и жил долго, и т. д.

Есть святые, которые любы и дороги многим... Так всей Руси Святой люб Сергий Радонежский. Дорог как дальним и ближним этот Ангел-Хранитель России. Добро приникнуть светлой мыслью, живым умом, горящим сердцем к поре и времени, в которое жил Ангел Радонежский, Хранитель всея Руси. Ныне он гражданин Иерусалима Небесного, и нет для него эпох и веков. Но любо нам ближе приникнуть к любимому, дорого нам знать о нём всё и знать сколь возможно больше. Если сердце наше горит усердием и любовью ко святому, то исчезнет завеса веков, и мы, возжелавшие увидеть, как игумен радонежский ронит лес на строенье

обители, как он шьёт обутку на братию и как спешит по московской дороге на зов друга своего Алексия-митрополита, как Сергий призывает Русь на бой с татарами и как мирит враждующих князей... Всё это мы увидим несомненно и реально. Таинственно и непостижимо, но совершенно реально станут ноги наши на земле Радонежа, на холме Маковца. Твои уши услышат стук топора в дремучей дебри. Ты пойдёшь по тропиночке и сквозь дерева увидишь белеющие срубы избушечек-келий...

Вон и сам Великий пилит сосновое бревно с Исаакием... Перестала звенеть пила. Преподобные отирают холщовым рукавом пот с чела...

Ты стоишь и не чуешь, что тебя кусают комары... Смолой и земляникой пахнет тёмный бор, благоухает духмян-трава... А ты плачешь от радости: не мигаючи соглядаешь ты солнце русское — Сергия, созерцаешь ты зорю утреннюю, росодательную.

28 мая. Понедельник

Вчера, в Троицын день, были с брателком у Троицы-Сергия.

Снова сияют лампады над пресвятым гробом Великого Отца земли Русской и нескончаемым потоком идут, и припадают, и целуют люди пречестные мощи богоносного Сергия[1]. Слава Господу и великому Его чудотворцу Сергию Божественному, что сподобились мы все дожить до этого счастья, до сладчайших и радостнейших этих минут!

[1] В праздник Святой Троицы в 1946 г. Троице-Сергиева Лавра, закрытая после революции, была вновь открыта. Мощи прп. Сергия Радонежского были перенесены из Троицкого собора в Успенский, где на правом клиросе была устроена сень для раки. На Троицу в Успенском соборе служил святейший патриарх Алексий I.

На утренние поезда попасть было невозможно. Уготовали мы к преподобному уж после обедни, когда масса народная схлынула.

Впрочем, множество народа в ожидании всенощной (на Духов день) шли прикладываться к мощам в Успенский собор Лавры.

До всенощной и мы с брателком пошли отдохнуть и перекусить к Троицкому собору, где было тихо и безлюдно.

Стеклянная прозрачность вечереющего неба... Казалось, что только здесь, у Сергия Радонежского, лазурь неба предвечернего может быть такою чистою и прекрасною. В тишине слышался только свист ласточек да молитвенный шелест вековых деревьев. И как молитва, как слава Святой Живоначальной Троицы, возносился очам белокаменный пречудный храм, созданный преподобным учеником в память Отца своего...

Пришедшу солнцу на запад, небо над Лаврою стало совсем золотым. Чудная церковь Святыя Троицы в сиянии зари казалась совсем пренебесною, как бы возносимою ангелами в беспредельную высь. (О, чудо зодчества Святой Руси!)

Великолепная лаврская кампанилла[1] заиграла перечасье и прозвенела шесть часов... И поплыли, запели, понеслись удар за ударом — звон ко всенощной, к молитве благостной[2].

«И звон смиряющий всем в душу просится, окрест сзывающий, в полях разносится...»[3] И уж тут я поревел всласть...

Ни мыслию того было смыслити, ни думою сдумати, что даст мне Бог слышать звон церковный и сто-

---

[1] *Кампанилла* — башня-колокольня (*итал.*).
[2] Колокольный звон в Троице-Сергиевой Лавре также был возобновлен только весной 1946 г.
[3] Строки из поэмы И. С. Аксакова «Бродяга» (1846).

ять у церковной службы в Лавре преподобного Сергия, припадать к Сергееву гробу, окружённому сиянием свеч и молящимся народом...

Слаще таких минут ничего не живёт на земле.

30 мая. Среда

Лето. Дни красные, жаркие. Брателко и упылится, и умается, а мне, в подвале сидючи, что тужить?

А что к Троице с брателком сплавали, как сон вспоминается. Будто давно было, словно в дальней, нездешней какой стране побывали. Особливо это вот: сияющее тихим светом небо, шелест листьев и вся, как молитвенный зов, церковь пречудна Святыя Троицы... И сноп свечей, и огоньки лампад над гробом преподобного.

Величествен Успенский собор Лавры. Обширен, как бы и не по нынешнему времени.

Тьмо-зелёные купы старых деревьев живописно виднеются на белых исполинских стенах грозновского собора[1].

Зодчество Троице-Сергиевой Лавры, её богатырские стены, башни, храмы, колокольня — вся эта сказка-былина зодчества так величественно-прекрасна, что не замечаешь и не помнишь окружающей сказку Лавры серости, убожества, одичалости, оголтелости... В самой Лавре красота и величие её зодчества царит над житухиным хулиганством. Не видишь ни гор мусора, ни ям, ни всякой замызганности, запакощённости...

---

[1] *...грозновского собора.* —Успенский собор Троице-Сергиевой Лавры строился с 1559 г. на вклад царя Ивана Грозного.

15 июня. Пятница

Я не ждал, не гадал, а братишечко мой управил мне летнее пребыванье за городом, вблизи леса, в хорошем доме. В глазах вся красота небесная. Рядом лес-заповедник. Войдешь, как в церковь: тихо, листва шелестит, в светлом сумраке птицы посвистывают... Думаешь: во сне видится. И комната светом налита до самой ночи. Я давно отвык в таком сияньи жить. «Не к роже кокошник»...

Печаль неизбывная на сердце. Никак я не вправе «благорастворением воздухов» услаждаться. Братишечко мой здоровьем добре хрупок, и неисходно у меня в сердце слеза дрожит. Не о том, дак о другом прискорбно.

Он побежит в город-то: «У тебя цветнее лицо стало, я рад. Ты поешь без меня. Ты в лес-то сходи...» А сам как травинка, колосинка — тонок да трепетен.

Причитать-то я мастер, только делом пособить меня нету.

С брателком вычитали мы ряд исследований: Милле, Диль, Айнагов, Покрышкин и др. — об искусстве Сергиевой эпохи на Руси, о византийском Ренессансе XIV века. Всё вот думалось: XIV век... дремучая, лесная Русь... А на самом деле — какая культура расцветала по Европе восточной и западной! Готика, ранний, благоуханный Ренессанс, Джотто, эпоха Палеологов, Феофан Грек, Рублёв. Не примитивы, а блестящие вершины, завершения прекрасного Константинопольского тысячелетнего искусства. Чудные цветы христианского искусства Малой Азии, Балканских стран, перенесённые на Русь в эпоху Сергия Радонежского...

Эпоху преподобного Сергия можно мыслить только в аспекте золотых, блистательных зорь античности и эллинизма.

Ясно и известно, что простотою несказанною сиял быт Руси XIV века. Но на северных реках, в дни моего

детства ещё сравнительно мало затронутых машинной цивилизацией, я навидался этой «простоты» и «первобытности». Поистине изысканна и антично-прекрасна была «простота» предметов обихода и быта. Особенно поражала эта «античность» по верхнему и среднему течению р<еки> Пинеги. Срубы домов, громоздящиеся над водами, утварь, промысловые доспехи, одежда, обрядность ежедневного обихода, ритм жизни, украшенный, как жемчугом, древнерусским образно-поэтическим словом, словом, творчески чудесным не только в песне, былине и сказке, но и в живой, обиходной речи.

Резьба и расцветка в древнем архангельском доме применялась очень скупо и редко. Здесь поражала красота архитектурных пропорций. Богатырские косяки дверей и окон, пороги, лавки, пропорции углов, всё это золотое царство дерева, голубизна еловых полов, розоватость лиственничных стен... Часами хотелось сидеть в этой сказке...

В ходу была самодельная деревянная посуда — ступы в средний рост человека, ендовы, братины, солоницы в виде птиц и коней, также самодельные чашки, ложки, ковши... Всё поражало изяществом форм. Бывала и оловянная, медная посуда. Все поражало изяществом линий, изгибов, скромным аристократизмом украшений.

Одежда была домотканою: полотна и сукна. Но льняные полотна были тонки и изящны, как шёлк. Посредством деревянных вырезных досок крестьяне умели наносить узор на полотно, и набойки эти оставляли чарующее впечатление драгоценных восточных аксамитов и «хрущатой камки»[1].

---

[1] *Аксамит* — плотная ворсистая, часто узорчатая ткань из шёлка и золотой или серебряной нити, напоминающая бархат. *Хрущатая камка* — плотная шёлковая ткань с узорами.

Краски добывали сами из земли: охра, мумия, белая глина; или же растительные: из ольхи, осины, из коры других пород.

«Бедность» древних храмов была такова, что и медь, и олово были роскошью. Подсвечники и все сосуды, включая святой потир-чашу, всё было из дерева. Кадильница глиняная, фелони и стихари из полотна, но льняная фелонь сияет краше шёлка, складки ея приведут в восторг Фидия, оплечье, набитое вручную, богаче «рыта бархата». Древние иерейские литургийные пояса, свисающие кистями до полу, выпрядены из кручёного неокрашенного льна. Но сама Византия подивилась бы изяществу этих посконных пряжек и кистей. А венцы для брачующихся — из берёсты. На простом ободке расцветает ряд как бы «королевских лилий». Аристократизм формы этих венцов совершенно удивителен.

Так что вот изящество, красота, аристократизм, тонкий вкус, культура предметов обихода, быта не зависят от материала.

И когда я помышляю о скудости и бедности первоначальной Сергиевой обители, я в то же время знаю, что этот деревянно-посконный обиход, с точки зрения нас, художников декоративного искусства, этот обиход Руси XIV века был высокохудожественным, прекрасным, преисполнен высокой художественной культуры.

20 июня. Среда

Прочитывал антологию греко-римскую. В сущности — эротические стихи Овидия, Лукиана, Марциала, Пентадия, Лукреция и др. Звенящая, как бронза, латынь. Язык — музыка.

Тот, чей отец был поток, любовался розами мальчик. И потоки любил тот, чей отец был поток.

Видит себя самого, отца увидеть мечтая, в ясном, зеркальном ручье видит себя самого.

Тот, кто дриадой любим, над этой любовью сияет, и т. д.[1]

Нарцисс, Гиацинт — все эти исполненные ароматом и свежестью весны мифы Эллады, оживляющие, обожествляющие природу, как обаятельны эти вечно юные сказки, вернее, это миросозерцание.

Эллин видел природу живою, разумною, обожествленною, и это великое и насущнейшее знание во многом искупляет и покрывает зачастую чувственно-мутное «эллинское баснословие», позднейшую греко-римскую нагромождённость мифологии.

27 июня. Среда

После жары неделю дул норд-вест; было холодно, но дождь перепадал редко. Последнее время опять солнечная летняя погода. Картофель поправил, но хлеба по многим местам сгорели. Год, слышь-ка, будет неурожайным.

Мне только бы радоваться: в хорошем доме, среди хороших людей поживаю. Посиживаю во спокое на вышке, что в ласточкином гнезде. И столько неба наокруг, то лазурного, то облачного, не наглядишься, не налюбуешься. Да заболела сестрёнка. Чахнет в больнице. Душа ноет, ведь сестра — единственно кровный последний человек, что на земле остался. Я не заботился о ней. А мы вместе выросли, там, на родимом Севере.

Как мне отдыхать, когда и брателко мой крестовой, по милости того, что я, как печь, из избы ни шагу, и он до краю дожил, исхлопотался, избегался, ему пых некогда перевести. Он и в город бегом, и из города бегом, и дома, как волчок... Надо копейку добыть, и ку-

[1] Начало стихотворения римского поэта Пентадия (IV в.) «Нарцисс».

пить, и приготовить. Мне и тарелки не даст вымыть. В лес погулять да на небо поглядеть — только и есть моего дела. Брателко к ночи домой прибежит, евши, не евши, падёт на постелю, я ему и рассказываю про птичек (у нас на балконе ласточки живут) да про облака, и он вздохнет: «Как хорошо... а у больницы сегодня (где у нас сестра лежит) инвалиды костылями дрались, а у булочной бабы сумками дрались...»

3 июля. Вторник

Больше месяца была засуха-та, потом с дождями зажили. Теперь ден пять ежедневно дождь, да и с грозою. С утра, с четырёх часов, солнышко в беленькой дачной нашей комнатке. Не могу нарадоваться утренней ранней поре, всхожему красному солнышку. На балкон двери пóлы, и что сияния по стенам и на полу. А по обеде облаками небо возьмётся. Точно перламутр самосиянный.

Воды здесь нету, речки никакой, отражающей небо. Вода — благодать. Но небо — лазурное ли, облачное ли, вёдреное ли, дождевое ли, — оно покоем покрывает сердечную печаль и воздыханье.

Вот не было дождя недель с шесть — и пылью взялись поля, гряды. А стали перепадывать дожди, и не узнать — как всё позеленело, от леса дух идёт приятный, лёгкий. Душонка моя вся попылена, нету в сердце молитвы. Как бы это под тучу, под облак росодательный встать, чтобы Христос Жизнодавец одождил на тебя дождичком Своим благодатным. Даждь дождь земле жаждущей, Спасе!

23 июля. Понедельник

С утра дождило, за полдень дует сырой ветер. Ровнооблачное небо, любимое, пасмурное глядит в большие

окна дачного дома; над рощею за картофельным полем кричат вороны. Брателко уехал в город (выдача в магазине, рынок, аптека...). Мне нездоровится... На столе цветочки и керосиновая лампа с абажуром, каких я не видал лет сорок... Взял томик Чехова и нашёл рассказ удивительного проникновения, разительной действенности, удивительной тонкости[1]... Сюжет удивительного этого чеховского рассказа несложен: холодный, ветреный вечер Страстной пятницы. Лужи подёрнулись морозными иглами: не похоже, что послезавтра Пасха. Студент Иван Великопольский, возвращаясь с тяги, греется в поле у костра и рассказывает караульщикам евангельские события сегодняшней ночи... Протягивая к огню озябшие руки, студент говорит, что точно так же девятнадцать веков назад грелся у костра Петр... Пустынное поле, одинокий огонь... Взволнованная речь юноши, слёзы баб-караульщиц...

Потом студент опять одиноко шёл домой. Был близок холодный рассвет, на горизонте резкой полосой глянула заря. Ветер морозил пальцы, но в душу юноши пахнула неизъяснимая радость.

«Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошёл дальше. Наступили потёмки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима. И не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, всё происходившее в ту страшную ночь с Петром имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а её дочь смутилась, то, очевидно, то, о чём он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему — к обеим жен-

[1] Рассказ А. П. Чехова «Студент».

щинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое, — думал он, — связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого». И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню, а вдали узкою полосою светилась холодная, багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле... И невыразимо сладкое ожидание счастия, неведомого, таинственного счастья, овладело им мало-помалу...»

Сколько есть «пасхальных» рассказов с настроением: «вербочки», «12 Евангелий», «заутреня пасхальная», «куличи», «звон»... Но Чехов без этих, пусть заветных и обаятельных, аксессуаров Страстной и Светлой недели, глубоко правдиво, как бы оголённо и даже безотрадно показал русскую раннюю весну, мартовскую или апрельскую холодную ночь с замёрзшими лужами... Но радость, как острие ножа, разверзает завесу скорби, и завеса распахивается от верхнего края до нижнего. И радость томит душу человека в такие именно русские предвесенние рассветы...

Март, половина апреля... Заморозки либо слякоть. В церкви поют «Днесь висит на древе...» <...> На рассвете бредёшь в церковь «на погребенье», и ветер дует тебе в загорбок, но предначатие радости несёшь в душе...

Страшно важно, что писатель, замечательный и тонкий художник Чехов без специфики церковных служб,

но, наоборот, в обстановке как бы самой неприкаянной: голые поля, болота, замёрзшие лужи, мгла ненастная, люди, греющиеся у пустынного костра, — в этой «неприкаянной» безгрешной обстановке ощутил и явил сияние, и красоту, и чудо ночи, в которую сама природа таинственно «погребает Христа».

24 июля. Вторник

События евангельские — это недра, вечно рождающие, это лоно, вечно источающее жизнь. Цветёт липа, благоухая, и разносятся семена ея на крылышках без конца, бескрайно. Где-то упадут, непременно дадут росток в доброй земле.

Что Евангелие живёт в сердцах человеческих — это одно, лично для меня; опыт моей жизни, несомненно, показал, что для того, чтобы понять, как это и где это «Бог пребывает на небе; там-де и царство небесное, там и души праведных», чтоб понять это, надо Бога в сердце своё сначала заполучить. Или, что одно и то же, надо царство небесное внутрь себя стяжать. Тогда всё будет ясно. Особливые очи внутренние у человека явятся: сознание-мироощущение новое родится.

Я сначала был близорук, но вот прописали мне очки. И как дивился и далям открывшимся, и рисунку веточек-листичков.

Но куда светлее не эти очки стеклянные, а очи хрустальные внутреннему твоему человеку доспеть.

Тот, «чрез Которого все начало быть», Радетель нашего счастья, велит эти «очи чистые» непременно стяжать. «Блаженни чистые сердцем, яко тии Бога узрят». Ещё здесь Бога узрим. Потому — оная Пасха вечная, то есть жизнь будущего века столь широко полноводна, что и пост Великий земного бытия нашего затягивает.

Это я упомянул о том, что Евангелие и радость, чрез него приходящая, живут в сердцах человеческих.

Но в особом и таинственном смысле «Евангелие проповедано всей твари». Так что семена оного благоуханного дерева, разносимые «ветром весенним», воспринимаются не только человеком, но и природою. Бог — это ум, и мысль, и память. На этом уме изначальном, как на дрожжах, в своё время взбродило и поднялось всё — планеты и наша Земля. Бог в Матери-Сырой Земле, как дрожжи в тесте. Вся плодородность Земли — от этой силы Творца. Ветры, дожди, росы — всё это живая жизнь Земли с Богом.

«В начале» Мать-Земля поручена была человеку, как сад садовнику.

Мы видим, что человек стал жить не помнящим родства. Человек избрал зло. «Мир во зле лежит». И Земля (здесь я хочу сказать — Природа) люто скорбит о Человеке. Человек забыл, что Земля-Природа — его Мать. Человек стал жить жизнью обособленного, оторванного.

Но Земля и Природа, попираемые «блудным сыном», независимо от умонастроения сына помнят и знают Бога. И человек, приникнув к Природе, войдя в неё, полюбив её, прислушавшись, скажем, в дни Страстной седмицы пред рассветом, увидит, что природа сопостраждет Христу, с ним сопогребается и с ним совоскресает.

25 июля. Среда

Я пишу, ведь не учу и я не выдумываю. Заношу в тетрадку то, что становится для меня ясным, что в моих мыслях высветляется для меня. Вынашивая «свою веру», сам с собою об одном и том же и беседую.

Всё «зады» твержу, чтоб вперёд-то надежнее ногу поставить...

Носячи в сердце неизбывную скорбь, не могу я не взыскивать Бога. То я уж несомненно знаю, что Бог, только Он мне поможет.

Давным-давно не встречаю я сильных по Боге людей... За горькою своею немощью редко бываю у служб церковных.

Хромому да подслепому, всякой шаг мне затруднителен. Вот и сижу я у оконца в Городе ли, в деревне ли, справив малую порядню домашнюю (пол вымести, самовар согреть), сижу и гляжу я на небо. Меняется оно ежеминутно — туча накатится, облака пройдут грядою с просветами. Вижу я лик неба выразительным, многоглаголивым. В зиму ли, в осень ли, весною ли особенно выразительна и беседлива блакитная пелена небесная. В тайной, безглагольной беседушке моей с «сереньким» небом самые высокие и сладкие заверения и залоги о Боге я получил...

Лик Земли человек может испохабить и измертвить (в какой-то степени). Но до лика небесного человеку не доплюнуть. Погляжу на землю: там, где в прошлом годе был лес или поле с цветами, там сей год казарменные корпуса химзавода... А подыму лицо вверх, и небо, всё тот же любимый лик ответно и мне поглядит в мои мысленныя очи. И то знаю: какова эта ненаглядная, серо-жемчужная таинственная пелена бывала тысячу лет назад, такова эта переливная жемчужность и сейчас. Каковым это небо соглядал Сергий Радонежский, таковым лик заветный, блакитный вижу и я, нищий.

То мне по уму, то мне любо с облачным-то небом, что, урвавшись на минуту «от дел», выставишь рожу свою несчастную в небо-то, оно кряду и положит тебе на сердце слово тайное и заветное, надобное, будто рука протянется нежным мановеньем. Я и дождливое, нена-

стливое небо люблю, когда и лес-от дальний туманцем потянут, и вороны мокрые сидят на изгороди. Очень уж с тихим ненастным днём мне душевно и понятно. По городским улицам люблю в дождь: точно я с приятелем хожу.

26 июля. Четверг

Чехов иногда серенький-то день тихостный близко так подведёт к сердцу, к мысли заветной. Сегодня тихостью светло-облачною прежеланно земля покрыта, тихость осеняет и дальние домишки, и ближний лес, и поля, и дороги.

Во всю стену окно-то у меня, и во всё окно небесной-ёт лик ко мне глядит, во дни и в нощи...

С утра прозрачную пелену облак перебирает тонкий свет. Временем блакитность пренебесная утончится до трепетности. Но, знатно, в ближнем лесу сидит и пишет свою светлосиятельную картину «всея твари Украситель». Он нагляделся на злато-серебряную тонкость, и ему понравилось сейчас напрясть во всё небо шелковые кудели... Художник посылает эту свою живописность шелково-графитную с севера на полдень, а восток за мысом златопрозрачен, и удивительно прекрасен рисунок сосен, их вершин, ветвей и стволов на златозарном, необычном для полдня, свете неба.

В июльской солнопечный полдень <1 нрзб.> всё является хилого цвета. Но когда в куполе небесном мешается и ходит шёлковая блакитность, а края-уторы<?> чаши небесной сияют, как пояс золотой, то и цвет земли, отражающей облачность, становится жемчужно-серым. Огороды, поля, рощи, деревнюшка — всё как будто нарисовано тонким, изящным карандашом. И что ближе к сияющему золотом горизонту, тем контрастнее, выразительнее, изысканнее и графичнее высокая, так сказать, художественность «лика земли».

В городе ли, где соглядаю я из наземного оконца, здесь ли, за городом, где небо передо мною в полном лике, — везде оно мне, как икона. И особливо здесь, где широта неба ничем не заслонена, любо мне шептать молитву и беседовать «седящему одесную Отца». Воля, ширь и свет неба — то ли не икона.

16 августа. Четверг

Видно, осень заводится. Бухает ветер, облачно весь день. Скрипят окна-двери: напоминает родину с ея морскими ветрами. Отемнало, ударил мелкий дождь.

Облачная небесная высь! Меж туч совсем по-весеннему сияло нежное золото высоких, дальних облаков. И думалось сладко.

А праздник ведь! Сегодня поют погребение Богоматери. И таинственные реки празднественные, тихие и благодатные струи реют над землею, касаются человеческих путей, жилищ... Но утратил человек чудные органы восприятия таинственного. «Всё прошло, пропали силы, притупился взгляд»[1]. Человек истаскался, износился в буднях. Человек ослаб, ему нечем взять, нечем воспринять нисходящих от горнего мира и так близко, вот тут реющих струй живоносной радости...

Я всё не могу наглядеться: снимок с одной из ранних икон Рафаэля. Тихие дали, вечереющее небо. Богоматерь в темном матронате<?> молитвенно склонила главу. В молитвенник глядит и Младенец. Кроткий лик Непорочной светится на вечереющем небе. Молитвенный мир; мир, всяк ум превосходящий, дивно-дивно запечатлен в этом чудном изображении. Когда в вечереющем небе затеплится первая звёздочка, я вспоминаю эту божественную картину.

[1] См. стихотворение И. С. Никитина «Дедушка» (1857–1858).

Почитание Пресвятой Девы, Богоматери... Вот до каких высот досягали крылья человеческого разума! Вот каким познанием озарялся ум человека! Вот этих-то крыльев наш ум и лишился. Вот и не можем мы, лишённые, дотянуться до потоков радости, реющих от нас «рукой подать».

18 августа

Мы затаскались в буднях житейских, обросли корою и стали непричастны потокам радости, мы отгородились от райских рек, от сих дождей благодатных, которые, несмотря ни на что, нисходят на землю. Эти таинственные реки воспринимает «бессловесная» тварь — природа. О высшей мере жили этой радостью святые... Нам, падшим и лежащим, надо стать новыми, чтоб стяжать это неизрекомое нашими грешными устами счастье...

Тайна светлая вокруг нас, но скрыта, замкнута она для нас, душ ослепших...

20 августа. Понедельник

С утра, при тусклом солнце, зажундели мухи: подумаешь — лето. А по обеде опять затянуло дождичком.

Жизнь с природою — телу здравие и душе веселие. Однодумно надо жить с нею и поступать. Надобно знать и переживать, дождь ли идёт, ветер ли, непогодушка — ты слушай, люби. Первый снег напал, ты празднуй, как дети-те об этом празднуют. Хиреет творчески человек, изолировавший себя от жизни природы, от времен года городским комфортом. Надо чувствовать, надо любить, надо переживать времена года.

Смотри-ко, как вместе небо с землёю. Как земля живёт и дышит, как зависит от неба. Я говорю здесь

о дождях, о снеге, о ветрах... Лес, поля, вот эти кустышки, травы, глинистые дороги с глубокими колеями, с дождевыми лужами, стаи галок, ворон, то прилетающие, то опять исчезающие куда-то,— как всё это связано с временем года, с состоянием погоды...

27 августа. Понедельник

Уж таково-то душевно и душевно насытил я сей год своё сердце «небесьем» осенним, величавым, среброоблачным. Осень подошла величавая. Вечерами, по залесью, туманисты дали. Застегнувшись да шапчонку нахлупив, посиживаю на улице, поглядываю. Что же я так рад приходу осени? Или она мне по нраву, или я ей по душе?

По горизонту то ли облака земли касаются, то ли мать-сыра земля туманы возносит... Обвечерело, сумерок опустился, в перелеске галки на сон гнездятся, ещё тараторят. Не наговорились за день-то... А се и писать не видно. Далеко на огородах костёр замигал...

Я трепетно обожаю предначатие весны. Но весна для меня — «невеста неневестная». Душа моя молится таинственной поре — времени марта...

Осень приемлется в иных переживаниях и настроениях. Когда поля сжаты и побурели, леса оголены, дороги блестят лужами, ветер гонит по небу серые облака, утро туманно, а ночью стучит в окно дробный дождь, — кому желанна эта пора? А мне она люба и желанна. Потому что никто её у меня не отымет, никто не станет оспаривать. Я сватаюсь на осени, и она идёт за меня. Венчаться, венчаться надобно человеку с природою, с временем года и жить вкупе и влюбе.

Роскошь фетовской весны, май, соловьи, ахи и вздохи под черёмухой душистой — этому я не пайщик. Не станет меня с это. Ну и «золотая осень», олеографич-

ная: на неё все зарятся. Я люблю рисунок мокрых сучьев и веток на фоне серого неба «осени поздней».

1 сентября. Суббота

Семён-день[1] — летопроводец. К полдню солнышко подтеплило, а чуть ветер — и холодит. В ночи, к рассвету, всё же дождь перепадает. Грязей ещё нету, мы и отдуваемся, не торопимся в город.

Голова опять худа и дурна. А и сквозь худость краем зрения не могу не поглядеть, нельзя не похвалить тихости осенней, небесной. Как же оно пресветло, как же оно радостно, осеннее «серенькое» русское небо! Вот у кого был бы дом или палата, крытая перламутровым куполом. И светлая радужность этой кровли всё бы время менялась. Уж как бы любовался хозяин, купно и все приходящие, таковым чудом! Ты скажешь: в сказках есть наврано тех чудес. Нет, не наврано, не мною затеяно. Воочию всякой день и всякой час гляжу... эту красоту...

Сейчас над лесом продольно собрались облака-те, легкими рядами, нежною позолотою проложены. Любуясь, душу-мысли свои омываешь. Коль оно любо, коль желанно гляденье это, коль несытно, коль доброзрачно!

Высота поднебесная, широкая даль так и льётся в душу, что купелью душа-то чистится. Свободно да вольно ей. Дыхание долгое, глубокое. А в городу, в кирпичах да в людях зажат, разве вздохнёшь вольно да свободно!

---

[1] *Семён-день* — народное название дня 1 сентября, когда празднуется память прп. Симеона Столпника (459).

<Без даты>

Блуд, как его поэты ни называйте, как его художники ни преподносите, блуд, жадность эротическая, разнузданность чувственная есть, во-первых, рабство и слабость, во-вторых, дело растленное и самоубийственное...

Знал людей талантливых, одарённых, ярко чувствовавших всякую красоту. Как дети в дорогих игрушках, как гурман в изысканных явствах разбирались, рылись, лакомились, хвастались и величались они и «Русью Святою», и «сладостью церковных книг», и «отроками», и «ладаном», и «Николы», и «в совокупленьи... корчится с отроком бес...».

Ежели божественный Павел вопил, что «дадеся в плоть мою аггел сатанин»[1], то он, великая душа, позорил этим себя, унижал своё сознание. Видя над собою, против своих подвигов милость Божию, преклонял свою выю долу «ниже всей твари».

А вот наши «певцы и художники» данного им в плоть «ангела сатаны» несут или несли как знамя, несут, красуясь и любуясь собою.

Конечно, всеобъемлющая душа наших поэтов шире и поместительней «всего этого». Поэт всюду ищет лишь того, что ему приятно и нравится. Безмятежно он «играет неиграемым». Православие, староверие, хлыстовство и... надо всем «пламенный дуб у Федота в ночи, на печи...».

Но самоубийственно услаждение плотское, ежели оно культивируется как «искусство для искусства».

Хмель пройдёт, и горько проснувшемуся пьянице видеть «свою бороду и ус в блевотине», как говорит Аввакум.

---

[1] См. 2 Кор. 12:7.

Чувственная страсть, цель которой наслажденье, как друг неверный и корыстный непременно выдаст и предаст человека на позор тоски и разочарования.

Не хулю плотской любви. Упоение ею красит и венчает молодость. Страстность любовная свойственна молодости, как раз её аромат.

Но сия вся «пета бяху». Кто же не знает, что молодость прекрасна и любовь упоительна?

Горе в том, что прекрасностям этим не видится границ. То, что благословенно и благоуханно в своё время и на своём месте, превращается в разврат. Уж у плоти-то и силёнок не хватает, а распутное воображение без конца напущает её на упражнения, которые тем жальчее и напраснее, чем старше человек.

Эти мои, вероятно, прописные рассуждения вызваны ярким впечатлением: на днях была у нас в гостях молодая чета, муж и жена, принесли с собой и младенца, сына-первенца. В обоих неизъяснимый трепет весны, и утра, и вместе с тем зной и расцвет... Нам, поэтам, есть над чем тут распустить слюни и распалить наше болотистое и расслабленное воображение...

Что же юная пара, которую мы исступленно призываем «заголиться и обнажиться» ради всеобщего любования, что же юные Адам и Ева не слушают нас?! Она только что покормила грудью трёхмесячного сына. Чадышко спит... Свет чистоты, сияние непорочности, блаженный великий мир в личике столь малого детища, в трогательно сложенных ручонках. Оно только что гукало, чмокало соской, махало крылышками. И вдруг оно успокоилось. Вечная святость младенчества опочила на нём...

Муж и жена, юные, нежно обнявшись, склонились над своим сыном, и тихий свет чистоты и мира непорочного, озаряющий дитя, отразился и дивно сиял на лицах его родителей.

И по моему лицу, лицу старой сморщенной обезьяны, прокатилась умиленная слеза; и не то где-то в небе, не то в моём убогом сердце пел кто-то слова апостольские:

— Брак чист, ложе нескверно[1]... Тайна сия велика есть[2]...

5 сентября. Среда

Погодка стала строптивиться. На дню-то и дождь не раз пробрызнет, и ветер со всех румбов, и солнышком с краю поманит. Облаки все уж по сезону: с тёмной подкладкой. Холодное сей год «бабье лето»...

Отвык давно от этого ощущения счастья. Душа, точно беспокойная, бесприютная, безнадёжная птица нашла родимое гнездо. Есть ли большее счастье, как улучить, обрести это единство, тождество своего душевнаго устроения с душевным состоянием природы? Не сады, не парки, не луга, не нивы... Заунывная равнина. Ухабистые глиняные дороги. Изрытые и брошенные поля. Молчаливо, согняся под мешком картофеля, опираясь на лопату, пробредёт человек — и нет никого. Над молчащею равниною низко склонилось облачное небо. Быстро опускается вечер. Редкие корявые сосны вдоль дороги теряются вершинами в сумеречном небе. Печаль убогих полей, пустынность дорог, одиночество этой равнины... О, любимая моя царица-бедность.

Говорят, душа не хочет расстаться с телом, тогда начинают петь и играть гусли. И душа птицею устремляется на этот зов.

Я увидел, узнал, нашёл себя бесконечно своим этой заунывной осенней заре, бесприютности этих вечерних

---

[1] См. Евр. 13:4.
[2] Еф. 5:32.

полей и дорог. Душа находила своё, она летала, как птица; сладко ей было пребогатое молчание заунывных далей, безглагольных дорог. Никакая музыка не бывала столь вожделенной, никакая песня столь родимой, ничто не звало душу столь властно. Давно не слышал я столь родимого голоса и зова, каким позвал меня этот осенний пустынный вечер.

На западе низко над землёю всё время сияла широкая, как река, лента зари. Её немеркнущее золото было как обещание, как победа. И радость единства убогой души с бедною природою венчалась венцом надежды на счастье таинственное.

17 сентября. Понедельник

В Богородицыно Рождество перебралися опять в городское своё пребыванье. А се я и не тужу. Оконца ладим чинить. «Уж небо осенью дышало. Уж реже солнышко блистало. Короче становился день...»

Дня два сухо. Ветер гоняет по переулку жёлтые листья. Брёл переулком, а листы, сухо шелестя, летели с лип и берёз; шурша, бегут по дороге. Серые дома, серые мостовые в строгом, ровном свете дня.

23 сентября. Воскресенье

Близятся зори Сергиева дня. В тихости великой сердечной надобно расслушивать, встречать сладкую музыку преподобнической славы. Надобно, чтобы твоё сердце, о человече убогий, пело славу Преподобному, а ты бы внимал себе, радуясь. Ведь «царство Божие внутри вас есть». Но подслепа нищая моя душа: худо разглядывает зори своего счастья, туг я на ухо: недослышу жизнеподательнаго рокота радонежских гуслей.

Душа моя, сознание моё что захламощённая кладовка. Ежели и бывало что доброе, надобно выискивать, рыться во всяком соре и мусоре. Вся моя «вера» построена на песке. Во мне одна только любовь к «светлым настроениям» и погоня за этой настроенностью. Мне непременно нужна соответствующая «обстановка». И горе тем, кто срывает «светлую» мою настроенность. Пропадай всё, а я выколочу, выполю и вымещу вам за то, что сдёрнули меня с любимого конька.

Безусловное и позорное отсутствие «дел веры» способствовало тому, что жизнь моя, существование моё, поведение моё закопились «делишками» мусорными, грязными, жалкими. Камня я не подмостил под себя. Вот и порывают душевное моё состояние всяческие ветры. Стоит дохнуть противному ветру, и все мои настроения облетают, как одуванчик. Опять остаётся голый стебелек.

Будучи такою «мимозой», я и гоняюсь за тихостью природы. Я гоняюсь за покоем. Потому, как сказано, он и бежит от меня. Всякое отсутствие сильного характера и воли, при наличии беспутной самочинности, привели меня к такому жалостному устройству.

24 сентября. Понедельник

...Ведаю, что «внутри нас царство», что счастье это, радость сия в нас. Но великое сокровище это подвигом великим добывается. А я, губы распустя и расшеперя лапы, век свой проболтал. Эта дума есть богатство схватить, а только бы без труда.

28 сентября. Пятница

Настал и прошёл день преподобного Сергия и день Савватия Соловецкого. А я молол на житухиной мель-

нице. Мелева было много, а помолу нет. Празднична работа впрок не идёт.

С вечернею зарёю кануна праздник-от придёт. И самый день до вечера праздник стоит. Можно бы уму и сердцу «упраздниться» на мал час... Можно бы ухватиться за край ризы не Сергиевой, дак Савватиевой. Но подсунет лукавый спешку «деловую» именно на эти дни. И ум-от уж не златую праздничную нить, а пропылённую паутину из угла на своё веретено сучит.

Умишко-то о «делах» тревожится, как мячик под прохожими ногами, катается мысль, и устанешь ты этот мячик к месту прибирать... Знаешь, что праздник и свет сегодня, и сердце-то спросится робко: «Припасть бы к преподобническим ногам, очень-де лик-от светел у святого...» Но недолго прядётся светлая златошёлковая нить. Боязливо обрывает её унылое веретено сознания. Снова и снова наматывает свой привычный, будничный шпагат.

Северное серебряное небо. Ряды за рядами волны с белыми гребнями. На лодье плывёт преподобный Савватий. Морское поветерье шумит в снастях. Святой стоит на корабельном носу, глядит в безбрежную даль, в даль веков... Ветер играет воскрылием мантии.

«...чтим святую память твою...» Уж нету времени, годов, дат живших, умерших поколений... Всё то же небо, и те же волны, те же белые пески, тот же ветер дует сегодня, что и век назад. Вечность вечно юнеет. И сегодня, сегодня ходко бежит корабль преподобнаго Савватия по морю Соловецкому...

Осень чудесная стоит. Опавший лист у оград, у заборов. Уж мало его на деревьях. Не застит света тихаго вечерней зари купа дерев, что против моего окна... В шесть часов уже не видно писать и у окна.

Дни сухие, солнечные, с холодком: редкий год так об эту пору. Сегодня вечер ясный, с праздничною вечернею зарёю.

...Не могу забыть: вчера, на ветру, в сумерки, на людном перекрёстке стоит плохо одетый, нестарый человек и продаёт букет — пучок опавших листьев, каких много под ногами... Видно, нечего больше продавать. Но никто не глядит на эти «цветы». Может, он и не ел сегодня, этот человек.

29 сентября. Суббота

А сегодня по обеде вот как дунул север да со снегом (на мал час снег-от и в первый раз), дак без дела и не усидишь на улице. О, как бы я любил в деревне и зиму, и весну встречать. Однодумно, единосмысленно с природою пожить.

В вечерню над домами, над крышами надходили с холодным северным ветром снежныя тучи. Падал снег с мокром. Но на западе всё время блестела сильным опаловым холодным светом низкая заря. Заря блестела низко меж чернеющих домов, отражалась в лужах. Забелели крыши...

До вечера я бродил, дышал настроением осени в этих старых переулках. Везде вставлены окна, подоконники проложены ватой. Приземистые дома, спешат люди...

Я как-то... уж не любуюсь, не наблюдаю «осенний» пейзаж, а сам себя чувствую частью такого пейзажа.

28 октября. Воскресенье

Китеж, светлый град упования твоего, глубоко утопи в заветных тайниках души. Подальше положишь, поближе возьмёшь. А не делай из своего упования, из своей «веры» лавки. Тогда уж, хочешь — не хочешь, будешь сидеть да торговать. Будешь сидеть, как на ярмарке. Притом из тысячи, может, одному надобен твой

товар. Остальные будут тебя тягать, что непоказанным товаром торгуешь, иные вразумят тебя, что давно вылинял или выдохся твой товар.

Кто Христа на базар ходил продавал? — Только Искариот. Upованье наше Христос. Кто его взыскует, не по базарам тот ходит.

Вера — невидимый град Китеж, озеро Светлояр, тайная тайных нашего сердца. Пусть подземный сей родник питает твою сердечную мысль. Не делай упования твоего фонтаном на площади.

29 октября. Понедельник

У тебя полёт орла, а у меня воронин. Ты поёшь соловьем, а я грязной воробей из-под худой застрехи. Ты лев, а я заяц.

Ознобно ветр прижал к земле травы и цветы. Зиме время быти. Напрасно вы, цветики, головки подымаете. Не время красоваться, не время величаться наружной пышностью.

От многих времен какое множество заведено было наружного, показного. И всё облетело, как маков цвет. Только те не обнищали, только те до последней духовной срамоты не обнажились, у кого в сердечной скрыне собрано-запасено было истинное, некрадомое богатство. «Не ищи ни Рима, ни Иерусалима, ни больших собраний...» Всею мыслию своею приникни к тем, походи, хоть умом-то, вслед тех, которые во все времена держались надежнейшаго и вернаго понятия о жизни... То есть, что эта жизнь есть внутренняя, сокровенная.

31 октября. Среда

Вопросы собственнаго миросозерцания, собственнаго умозрения ныне редко перед кем встают. Не вре-

мя философствовать. Впрочем, вопросы любомудрия, темы умозрительныя казались оторванными от практической жизни уже сто лет назад. Норвежца Стеффенса[1], ученого и философа, жившего в эпоху блестящаго расцвета философских школ в Германии (Стеффенс был современник Шеллинга, Фихте, поэта Гёте и др. замечательных философов, поэтов, учёных), Стеффенса уже тогда беспокоила оторванность и разобщенность философии с «жизнью».

Образованность уже тогда порвала с религией. Религия перестала быть умозрением всех. Философия Канта, Шеллинга, Гегеля заняла у «образованных» место религии. А затем, с середины XIX века, эта достаточно отвлеченная философия уступила место учениям гражданственным, социальным.

Кант вперял умное око в «звёздное небо над нами и в нравственный закон внутри нас».

Величавое спокойствие (довольно безотрадное) внушает нам Спиноза.

Шеллинг... он как сокол, весь в природе, купаясь в воздухе, носится за добычей. Шеллинг так увлекал молодёжь с её сколько пылкими, столько неясными идеалами.

Но, очевидно, жизнь усложнялась. Соответственно настроенные умы занялись вопросами богатства — торговли, рынков. Если Стеффенс и его друзья, любители философии и поэзии, учась в университетах Гамбурга, Киля, задыхались от атмосферы купли-продажи, при всяком удобном случае убегали в горы, в леса и поля, уходили в море, то появились мыслители, теории которых более соответствовали новейшим временам.

---

[1] Хенрик (Генрих) *Стеффенс* (1773–1845) — датский философ, естествоиспытатель и беллетрист. Его беллетристические произведения отличаются мастерскими описаниями природы родного ему Севера.

Но что же?! Звёздное небо над нами; желание чудное, томящее душу: мир и радость, которую дает нам общение с природой. Эти вопросы никого уже не занимают? Затем такие темы, как вопросы о смысле жизни человеческой, смысл неизбежных страданий и смерти; также вопросы любви, героизма, самопожертвования, свойственные душе человека и ещё не истребившиеся. Эти свойства, откуда оне?!

Сознание единства человека с природою, с «Матерью — Сырой Землёй» — дело живоносное, спасающее, оздоровляющее ум-сознанье и тело, физическое и духовное существо человека.

Удивительно благодарное и жизнетворное дело приникнуть к учителям-мыслителям, стоявшим на этом верном пути, искавшим и обретшим эту воду живую.

Но почему Стеффенс? — меня привлекает это имя, потому что он был уроженец Северной Норвегии, довольно пишет об её природе и людях.

Между тем эта страна сходна природою с моею родиной. А быт её, описанный в Стеффенсовой автобиографии, живо напоминает мне обстановку и людей, среди которых я родился и вырос. Хотя нас разделяет целый век, хотя мыслитель этот родился в стране протестантизма...

5 ноября. Понедельник

Киреевский привёл только молодые годы Стеффенсовой автобиографии. Но и на том спасибо русскому любомудру. А читаешь с сердечным весельем. Только чудно мне, как Стеффенс, восторженный взыскатель Бога и веры, с не меньшим энтузиазмом делает модные тогда опыты над электричеством, тратит остатки средств на устройство вольтова столба, гальванизирует лягушек...

10 ноября. Суббота

На Михайлин день[1] с вечерен полетела над Городом метель-поносуха. Несло с кровель, завивало на перекрёстках; белые сувои снега поперёк устилали переулки, выходы дворов. Наш дворишко заметало до полуокон. Потом два дня была морозная ясень, в ночи звёздно, снег скрипел по-морозному. То уж зима настала, что и дивить: во вторник заговенье на пост Христова Рождества.

В нашем дворике четыре кряжистых дерева. Лоза, та с первыми ознобными ветрами лист растеряла. Дуб в углу до полуоктября шабарчал мертвенно-сухим убором. Ветер налетал, в сердцах, сильнее да смелее. Дубовый лист, как вереница кладбищенских старух, ездил по голому двору из угла в угол. С каким-то могильным и сиротливым шорохом. Всякой вечер махнёт с переулка через забор северный ветер, а листы-шкелеты того и ждут. Выстроясь, что похоронная процессия, поползут к северу, как живые, заворотят за угол к воротам. Тут остановятся. Сквозняк их догонит да поддаст, листья-старухи и выфурнут в переулок. Тут порядок растеряют, которая куда побежит...

Нейгауз играл Шопена. Ряд вещей пленительных и по исполнению. Музыка интимная и меланхолическая. Так хорошо; так ко времени; так отдыхает, в себя приходит душа под этот переливный ручей звуков, под ласковый перебор этих струн, под это лирическое и медлительно-прелестное веретено, прядущее музыку интимную, трогательную.

...Вспоминались, вставали в памяти сердца мечты юности, несбывшаяся, может быть, первая любовь: много их было у меня, первых-то любовей.

---

[1] *Михайлин день.* — 8 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

А я вот как оглянусь да увижу свои юношеские мечты и жизнь «юношескую» — и всё оно передо мною, как книга в расстил, лежит. И ничего-то единого, цельного, высокого не правил <привил?>я в своей молодости. Как «проснулись чувства» в 15, в 17 лет, так и пошло десятка на два годов: «Чего-то нет, чего-то жаль; куда-то сердце мчится вдаль». Страстные порывы к «прекрасному», к искусству, отчасти к поэзии, а более всего ухлопал, убил, погубил время и годы на увлечения более, увы, платонические. И над всем мечтательность, мечтательность безоглядная...

16 ноября <?>

Родину бы хотелось повидать, там бы уж недолгие мои годы дожить... В Двинской губе ещё в детстве пало мне на сердце одно место: как от Города плыть к Лае-реке, и после Чёрного леса (Цигломина) будет высокий наволок. И на горе деревня Глинник. Ряд старинных северных изб тянется по гребню величественно-сурового глинистого берега. Под горою белые пески, карбаса. И беспредельное царство свинцовых двинских волн. Немерная водная ширь! Здесь всегда качнёт, трепанёт — в карбасе ли плывёшь, на пароходе ли.

Я мальчиком бывал в гостях на Глиннике. Из какого оконца ни взглянешь, всегда точно крылья развернутся за плечами, будто сам ты летишь над седыми волнами, вместе с морскими птицами вон к тем дальним, еле видным островам.

Помню осенний вечер на Глиннике. Бесконечные ряды черно-свинцовых валов с гребнями, пламенеющими в последних лучах заката. Грозным, немигающим оком глядит из-под сизых туч последняя заря. Красота грозная и плачевная и восторгом охватывающая душу.

24 ноября.

Меняющийся лик небес имеет для меня силу великую, притягательную. Одноличко с небом (и даже больше!) поразил меня взгляд младенца.

Взрослые беседовали у лампы. Грудной ребенок, мальчик, тихо лежал поодаль, в тени. Мы думали, он давно спит. Я подошёл к кроватке. В полумраке увидел широко открытые глазки. Мальчик как бы внимал чему-то для меня непостижимому, но для него близкому и сродному. Я опустился на колени, шепча нежные слова, дивяся чудной сосредоточенности милого личика... Он стал глядеть на меня, как бы вопрошая о чём-то. Чувство какого-то смятения, но и восторга поднималось в моей душе. Мы глядели друг другу в глаза. Он, только что «пришедший в мир», ещё весь чистота и непорочность. И я, уже собравший на себя всю грязь и весь тлен земли.

Он лежал маленький, спелёнатый, но важность гостя из таинственной страны почивала на нём...

Только глядя в звёздное небо, давно когда-то, ощутил я подобное чувство...

30 ноября. Пятница

Вся неделя с морозами. Давеча слышу — поют под рояль: «Под душистою веткой сирени» Чайковского (по сезону!). Это всё чары комнатные. А выскочил на улицу (стекло ребята разбили, дак поорать)... Чистота опустилась на Город, морозная праздничность, непорочность, празднственность холода, наступившего на грязь, на тлен, на смрад Города...

24 декабря. Понедельник

Сочельник Рождественский. Дни святые, время чудное, часы прекраснейшие. У нас намыты полы, благоухает ёлочка, в оконца глядит несказанная белизна, тускло-серебряное небо сыплет снег; летают, гоняются друг за дружкой снежинки.

Ночью вышел на улицу. Белая земля, белые кровли домов. Ровный тихий свет от снегов, покрывающих город. Рождественская ночь. Загадочно-таинственно темнеющая пелена неба над белою молчащею землёю... Сердечное око человека видит большее, и тоньше слухи сердца. Небо, вмещаемое нашим сердцем, шире видимого глазами и преславнее. Гляди внутрь себя, внимай себе...

1947

7 января. Понедельник

С тихою важностью идёт снег. Небо как бы склонилось над землёю и убирает, и уготовляет её в белые одежды. Из старинного коротенького оконца точно рождественская картинка глядится: белая, белая пелена дорог, белые шапки на столбах ограды. Серебряно-тусклое небо, на нём как бы карандашом нанесён изящный рисунок ветвей и сучьев, протянувшихся над оградою, тоже накрытою белыми шапками и воротниками... Серо-каменный дом поотдаль. И серебряное небо ткёт и ткёт тончайшую шёлковую кисею, преиспещрённую узором белых пчёл. Невидимые руки неустанно ткут завесу в белых пчёлах, и тихо опустится она на город...

Знаю любителей пейзажной живописи. В центре вонючего города, в утробе кирпичнаго небоскрёба, в каби-

нете развешаны произведения пейзажистов. В папках рисунки, офорты... При мёртвом свете электричества хозяин смакует тонкость передачи зимних или весенних настроений...

Я люблю быть сам участником пейзажа. Вот стою и соглядаю «зимний вечер». Я сам стою в белых, как лебяжий пух, снегах. Снежные пчёлы, что как нарядная сеть, неслышно опускаются на сугробы, эти пчёлы садятся и мне на лицо, на плечи.

Дохнул ветерок. Может, он с Севера, с дальних полей... Всё живо, этот пейзаж растворён и неразлучен с музыкой, он услаждает и слух: звонко-хрустально кричат галки, каркают вороны, усаживаясь на ночлег. Свистят крылья, шелестят ветки. Галочьими голосами зовут друг друга пробегающие ребятишки:

— Харитошка, Харитошка!

Зренье, слух, осязанье, обонянье...

Помню, старовер Трофим укорял Федора, молодого человека: «Спасаться ты побежал в “пустыню”, а у родителей за недоимки корову со двора повели!»

...Все, все, и в первую очередь интеллигенция, особенно к старости, люди одинокие, скудные, больше всего боятся беспокойства. Они предпочтут одинокую камеру, но только не то, чтобы в их комнате смеялись и плакали дети. Знаю дом: в комнатах по многу лет живут ученые дамы, пенсионерки. Комнаты-одиночки. Век не топлено, не готовлено. Выйдут — дверь на замок, и войдут — дверь на ключ...

5 марта. Вторник

Вчера Аким сказывает: «Две скворешницы сделал, надо поскорея в деревню свезти. В эту субботу жаворонков надо ждать...»

Воспоминаньями, притом далёкими, думы о весне родимого Севера,

Уже я вижу, например, холмы Хотькова, ручьи-потоки вокруг Сергиева града. Хорошо и здесь по деревням-то. В полях, на огородах снег, а у избушек завалинки, крылечки приобсохнут. За углом ветер, лёд, а на припёке старики щурятся, кошка на подоконнике греется...

Эх, мысли-то тщусь посылать в тихость деревенских дорог, а самому сдвинуться с места, хоть часок посидеть, поглядеть, как сосульки мартовские с деревенской крыши свисли, — задница тяжела. Думы-то соколом, а жопа-то кошелем. Да и думы-то мои не соколы, а кисельная выжимка. «Всё прошло, пропали силы, притупился взгляд». Только и осталось, что плачет душа по радости неотымаемой. И начал я стареть и всяко ослабевать, не заготовив снасти, чтобы неотымаемую-ту радость уловить и удержать.

Желанье-стремленье будто и есть, а воля-характер слабые. На корабле духовного существа моего матросы — пьяницы, штурман карты-планы потерял; капитан знает, куда плыть, да команда его ничем зовёт, сколько он ни горячись. А се — и капитан-от рукой махнул, — как хотите!

7 марта. Четверг

Пасмурно — тают инде снега. По улицам сегодня воды нет, а уж конец зиме. Народишко посередь дороги лепится — везде снег с крыш роют. В Хотькове, сказывают, только на станции вода, тает. А так — многоснежно. От Митинской горы, слышь-ка, к Паже в прорубь щель меж сугробы рыта. «Говорю о новостях

природы,— пишет молодой В. Дроздов[1], — когда новости людские не заслуживают слов».

23 марта. Суббота

...И без того ум-от худ, тревога заботная на двое, на четверо его раскуделивает: апрель перебьёмся, а май месяц... никаких получек не предвидится. Вот эта гнетущая тревога, этот страх перед завтрашним днём пригнетают силу ума, делают сердце пугливым. Сердце просит радости, как голодный — хлеба, просит и безнадёжно, безответно умолкает...

Вот для чего я эту печаль пищу? Для кого? Легче мне, что я это всё выложил? Помру — печку растопит моими тетрадками какая-нибудь Нюра или Муся.

14 апреля. Воскресенье

Сегодня память, умерший день отцу моему. Преставился в 1905 году, в Великий Четверг, в два часа пополудни. Утром сряжался к обедне, к причастию. В доме с рассвета шла предпраздничная порядня. В четверг мать пекла куличи. Вижу её в слезах и в хлопотах с тестом: «Отец у нас особенный сегодня — захожу к нему в спальню, а он: "Христос воскрес! Что вы не готовы? У меня на заре три священника были. Пели Пасху. Христос воскресе!" — И руки протягивает христосаться...»

Я подивился и, не зайдя к отцу, поспешил к обедне в гимназическую церковь. Потом прошёл в собор на «омовение ног». Домой пришёл часу во втором пополудни. И слышу из отцовой спальни пение пасхального тропаря. Я почему-то заплакал и вошёл к нему в горницу. Он

[1] Речь идёт о митрополите Московском Филарете (в миру Василий Дроздов).

лежит такой праздничный, борода и волосы учёсаны, и весело мне говорит: «Поздравляю тебя с принятием Святой Тайны!» Я заплакал, обнял его. А он: «Погляди-ко, сынок, который час?» Я прошёл в кухню. Там уж вынимают куличи, опрокидывая их на подушки. Я загляделся минуту, меня чем-то заняли, потом говорю:

«Ах, мама, папа-то спрашивал — который час». Мама сама побежала к нему. Минутку спустя слышим стук в стену: отцова горница была смежена с кухней. Я подбежал: мать, обнимая отца за плечи и припав лицом к его голове, плачет над ним, называя по имени. А он уже кончился. В Страстную Субботу отца схоронили на Кузнечевском кладбище, мы остались невелики годами.

Родитель мой был старинного роду. Прадеды наши помянуты во многих документах Устюга Великого и Соли Вычегодской. Родился в селе Серегове Яренского уезда в 1850 году. В 1865 году, по смерти моего деда, бабушка оставила родину навсегда и уехала в город к морю. У моря началась трудовая отцова жизнь. Почти всю жизнь он плавал на Мурманских пароходах. А матери моей предки (и дед мой по матери) век служили в Адмиралтействе, при корабельных верфях.

Род матери моей покоится на Кузнечевском кладбище (а частью на Соломбальском). Здесь же и отцова мать, бабушка Мария, и отцова сестра Павла.

Я сегодня помянул род свой... День с утра такой северный, какой на родине милой бывал, когда реки тронутся. Во второй половине апреля, бывало, пойдет лёд в море.

Как бы я туда слетал, походил бы по родимым берегам, ветрами бы подышал, детство и юность желанную помянул. Как беспечально там жизнь проходила...

Детство, юность, молодость — всё у меня с родимым городом северным связано, всё там положено. И всё

озарено светом невечереющим. Годы золотые, юные — заботы, тревоги о куске хлеба на завтра я там не ведал. Делал то, что любо было... «Что пройдет, то будет мило».

Но разве мало милого было в здешних местах, во вторую половину моей жизни, столь несхожую с бытом Севера родимого? Как сравню, думы там были невеликие, хмель молодой одолевал, печали молодые, несмысленные. Мать, разумная, терпеливая, дом, житьё-бытьё вела и правила, а я с сестрами одну заботу знали — учиться. Вишь, потому ещё жизнь-та в те поры красна и светла вспоминается, что сил душевных и телесных много было.

А теперь всё — ох да ох... Не живем, а колотимся, как навага о лёд.

А погода сегодня малу-помалу хмурилась, да и дожжинушка зачал сеяться. Заблестела мокрая мостовая. Неуедно живу, да улежно. А хозяинушко мой с рынку пришёл, еле ноженьки приволок, выпал весь. Картошки в кошёлочке принёс. Люто голодна весна-та. Мы с четверга Светлой недели на одном постном супе, на пустых щах сидим. Худо дышит семеюшка моя. Я бы так не тужил — на них глядя, горестно. Добытку нет. А дороговь люта. Хлеба-та не хватает, делим его на четвертушечки. Я вот курить стал при старости лет. Ещё чаем отнимаюсь. Чай души моей отрада. Даром что без сахару. Не завлекательно об этом писать.

19 апреля. Пятница

От юности моей увлекался я «святою стариной» родимого Севера. Любовь к родной старине, к быту, к стилю, к древнему искусству, к древней культуре Руси и родного края, сказочная красивость и высокая поэтич-

ность этой культуры — вот что меня захватывало всего и всецело увлекало.

Но прожив жизнь, когда уж «всяко меня бито, и о печку бито, только печкой не бито», вижу, что, «как ладья ни рыщет, а у якоря будет» — деваться некуда: приходится посмотреть, подумать и взяться за то, чего в молодости-то отмахивался.

...Ребенку простительно... постлать на пол картину Рафаэля и, ежели не досмотрят, топтать и рвать её. Дитяти простительно вылить за окно ведро, скажем, розового масла, забросить в реку слиток золота, сжечь, играя, в печке денежных бумаг на миллионы рублей и т. д. и т. п. Но ежели так будет поступать взрослый, все скажут, что это умалишённый, что это идиот, что тут нужны срочные меры. Не собираюсь и судить эстетов, коллекционеров, которые «неиграемым играют». Когда на моей улице пожар, я не побежу в соседнюю улицу читать лекцию о противопожарной охране. Когда мне прописано лекарство, я не буду заставлять соседа пить его насильственно; ежели я угорел в чадной комнате, а другие, обладающие более крепкими лбами, сидят как ни в чём не бывало, я должен выскочить на свежий воздух...

Сегодня такой «серенький», такой северный день, жемчужно-облачный. Северная весна. Небось там, у северного моего моря, реки расплenились от льдов, а берега по взгорьям обсохли. Ветер сегодня весенне-свежий, с родимых моих берегов прилетает. И я Фиванду русскую вспомнил: небесного Зосимы Соловецкого память только что была. Художественная культура XV века: живопись, зодчество, поэзия, быт... «в ней всё поэзия, всё диво»[1]. Но человече безумный, устрашись ступать ногою на хлеб насущный. Любуясь прекрасною оболочкою, не забудь главного, важнейшего. То, что одухо-

[1] Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Красавица» (1832): «Всё в ней гармония, всё диво...»

творяло и живило прекрасные формы иночествующего быта «Северной Фиванды», является и нашей жизнью, и нашим дыханием. То, что было «единым на потребу» для Святой Руси, есть и нам «едино на потребу».

...«И ты, — говорит святой писатель Древней Руси,— не можешь быть солнцем, будь звездою, не можешь быть большою, будь малою, только на том же Святой Руси небе почивай».

3 июня. Понедельник

Что-то уж очень бойко зачал я духом-то падать. Никакой во мне укрепы, никакой основы не стало. Чуть какое нестроение дома, я с ног слетел. Всецело моё душевное устроение от людей, вернее, от человека зависит. А человек-то, близкий и единственный, вконец из сил выбился. «По лошади и воз накладывают», а у брателка не воз, а целый обоз.

Июнь пошёл. Чудные они, июньские негаснущие зори. Сейчас тихий вечер, над крышами посвистывают стрижи. В камне, в городе и то любо...

Сегодня на родине праздник. Июньские сияющие ночи, говор беспредельных вод, острова, белые пески, родимый, ныне недосягаемо далекий Город, крики чаек... Почему вот теперь печаль угнездилась в сердце? И держит его, не отпуская. Точно свинцовым грузом обложено сердце. И некому разгрузить, никто не пособит. А уж и дышать тяжело.

18 июня. Вторник.

Говорю о том, что светит уму, что желанно сердцу. А выговаривать суд да кручину — отяготительно для меня. Оскомина падает на душу от сердитости...

28 июня<?>

Эти две-то недели обиваю пороги, приёмов добиваюсь. Высоки пороги-те. Сидишь, сидишь, ждёшь-ждёшь, да с тем и домой бредёшь. Перед крашеной секретаршей стоишь, по имени-отчеству её, сучку такую, величаешь, а она и глядеть и слушать не хочет... Собрался с духом, позвонил именитому человеку, бывшему, так сказать, «другу юности». Дак, трубку-ту держачи, будто я в кипятке сидел. Трёх слов не сумел я ладом оболванить. Каково же мне тошна просительская роль! Главное — знаю, что в глухую каменную стену стучу. Вот этак, собравшись с силами, зачнёшь людские пороги обивать...

7 июля. Воскресенье

Попаду в деревню, и нет у меня сытости глядеть на эту светлооблачную небесность, на эти тропиночки меж дерев, на эти ряды белеющих, как свечечки, берёз... Голуби на серебристой крыше сарая, стайка воробьёв на изгороди. А по сторонам тропинки ромашки. А вдали стена тёмных, важных, неподвижных елей.

Нет сытости слушать и внимать шелесту листвы, шуму ветра, шороху дождя. Музыка тонкая и сладкая, вожделенная, любимейшая! Иной гул хвойнаго бора, совсем иначе шумит берёзовая роща. Вокруг нашего дома темнеют ряды елей и белеют купы берёз. Под ними кусты ягодника и трава-метляк. При ветре они все будто разные инструменты симфонического оркестра. Разные, но звучат согласно и стройно.

А речь и говóря дождя... Уж столько у дождя разговору со старинною крышею нашего домика! Видно, давно знакомы. Сначала редкие капли обмолвятся словом да помолчат. А потом все заговорят, зарассказывают

спешно. Тучка-то торопится, деревень-то много надо облететь, каплям дождевым многое надо обсказать: то у них и спешная говоря-та. Ино в ночи долгую повесть дождь-от заведёт. Я лежу да внимаю... Осенний дождь слушать люблю. Он моё мне рассказывает. Мерная говоря дождя, особливо осеннего, спокой в душу приводит.

Дождь-то знает, что я его слушаю, ведает, что я слушать его люблю, и он подолгу со мной свою беседушку ведёт, всё мне обскажет. Моё говорит, моему уму норовит, речи-беседы дождей, радостных вешних или грозовых летних, или осенних тихомерных — всегда они, эти речи дождевые, уму-разуму и сердцу-хотению желанны и любезны.

8 июля. Понедельник

Новостей человеческих не знаю здесь, в деревне. Одни надо мною новости природы. Вечером вчера сковылял до лесу, он в глазах. До оврага не долез, заподымалась туча, загремело со сторонушки звенигородской. Гроза кругом обошла, и установился дождик обложной. С рассвета и за полдень точно кто гаммы наигрывает однообразныя, то тише, то смелее по кровле моей. Хозяйская бабушка предвещает недели на две ненастье-то. Ветер своё дело управил, натянул дождя и успокоился. С вечера и кузнечики примолкли, сегодня их не слыхать. Только птицы щебечут, синичка посвистывает. Тонкий сырой туманец реет у лесных далей...

С брателком мы этот месяц из воблы суп варим. К обеду и ужину. А между вытями, проголодавшись, той же воблы твёрдые ремешочки жуём.

Чаем я свою душу утешаю, дважды в день завариваю, по-богатому. На сахарок-от поглядывать прихо-

дится — тут не по-богатому. Крупа на рынке дороже 20 рублей стакан.

Видишь вот, о чём я, бездельник, пишу. Не приходит в башку слово к полезному!

Хозяйская бабка, старая, но ещё крепкая, осень, и зиму, и весну до просухи, до лета, живёт здесь одиношенька, караулит дом. 25 годов так-то. Тем не тяготится, но веселится. Вот кому я завидую. Хоть глуха, а видит хорошо. Книги заветные перечитывает, в будни шьёт, вяжет, прядёт. «Хлебца мне дети в воскресенье привезут, а картошка, капустка своя. Одна царствую!» Ещё бы не царство!

О, как бы я хотел да радел так пожить. Соглядать, внимать и следить, как зима на извод пойдёт... март великопостный, апрель пасхальный... С конца февраля оттепели, сосули с крыш, капели ночные. Потом проталины, небо заголубеет, облачки барашками засобираются. От Благовещенья ручьи загремят... Вся-та истинная жизнь, жизнь природы, жизнь единая на потребу, жизнь телу на здравие, сердцу на веселье, уму на радость — всё здесь с человеком. Вот где счастье-то! Вот где настоящее-то!

Конешно, «в чужих руках и кусок больше, и ломоть толще» кажется. Много надобно иметь в себе, в уме-мыслях, в сердце богатства, чтобы одному-то поживать...

9 июля. Вторник

Рисовать любил с детства страстно. Художествам учивался в молодые свои годы. Ничего в этой области своего не сделал, своего ни в графике, ни в акварели не показал, опричь невеликих декоративностей, но любованье «видимым же всем (и невидимым!)» во мне есть. Люблю рисунки и картинки, где тонкостно переданы

настроения русской природы, особливо зимней и ранне-весенней. Люблю залы картинных галерей вроде Эрмитажа и Третьяковки, когда там тихо, когда не мешает никто жить с художником. Смотришь любимые картины, рисунки, и радость надмевает твою мысль. Бывало, иду из Третьяковки, точно богатыми подарками кто меня нагрузил. Домой тороплюсь донести. Не знаю, что с таким богатством буду делать.

11 июля. Четверг

...И на искусство, вероятно, взгляды мои очень личные. По себе сужу и философствую. Лето сравниваю с молодостью. Не наблюдаю, а беру, хватаю. Там цветы завидел, нюхаю да букет собираю. Вон там ягоды и яблоки — иду под яблоню с коробкой, с карманами. Блестит речка — лезу в воду. Любуяся лесом, беру грибы да ягоды. Луг благоухает травами — хорошо тут полежать. Бескорыстия мало в любовании моём летнею природою. Летом — «что очи завидят, то руки заграбят». Это вот в молодости так...

А любование моё зимнею природою (русскою) сравню я со старостью. Я с горок не катаюсь, коньков сорок лет не видел, лыжи тоже забыл. Я в зиму иду лесом волшебным. Изящество, тонкость, изысканность чёрного цвета, силуэты, линии, контуры стволов, ветвей, веточек. Нежнейшие нюансы белых тонов. И потом «русский лес зимою»... радость накрывает моё стариковское сердце. Сорока роняет снег с тяжелой еловой лапы, стрекочет мне — «Жив ли сказочник?»

Гляжу меж стволы: тихо, таинственно.

В зиму, ежели так назову старость, я бреду по тропочке, сказочными сорочьими ножками строченной, по чудным узоринам и соглядаю ненасмотренную, глубокую, родимую тайность русской зимы. Устланная белы-

ми, праздничными скатертями земля, по белому полю вышиты чутким узором ёлочки. Вдали чёрная кайма леса. Над всем восковое небо... Как это мысль мою обогащает, как ум мой об этом богатстве веселится.

Я руками тут ничего не хватаю, за пазуху ничего не пихаю, лыж никуда не навостряю. Только глаза мои видят эту праздничную пречистость русских полей, молчащих с тобою, но вместе с тобою внимающих тишине.

Наберу этой радости полные закрома своего ума-разума, и столько этого много у меня, что от сердечного веселья, от полноты этой не могу не поделиться со всеми ближними и дальними. Спорая она, эта радость творческая. По избытку сердца не можно ею не делиться.

Так вот она, старость-та, каковою может быть у человека. Высотою, для молодости неудобовосходимою, и глубиною, молодыми очами неудобозримою.

12 июля. Пятница

От этой радости художество народное, русское, настоящее зачиналось и шло. Помню: выпал первый снег... Убелил Радонежскую землю, холмы Хотькова... С Митиной горы открывались дали без конца. Точно канун праздника настал. Точно к празднику убралась в бело земля. Как широкое льняное полотно, стлалася долина Пажи, и Пажа, не замёрзшая, вилась посередине серо-шёлковой узором-лентой. А по сторонам серо-кубовой ленты реки, точно вытканные пояски, в два ряда бежали чёрныя стёжки-тропочки... Какое веселие художнику! Где, как не здесь, зацвести творческой радости в народной русской душе!

Мысль моя веселяся летела, привитала и гостила в дальних деревеньках этого заветного края.

Знаменитый Филарет хвалился расписной хотьковской посудой: цветастыми чашками, чайниками, блюдами, фарфоровый и фаянсовый завод Попова был здесь. Поповский фарфор был плоть от плоти здешнего народного искусства. Обилие белых глин и земляных красок породило исконное здешнее художество. Встарь отдельные семьи по деревням лепили и обжигали. Потом завелись заводы: Дунаева в Митине, Попова близ монастыря. В XIX веке дунаевские куклы — фарфоровые головки для шитых кукол — славились и за границей. Фарфоровые части пресловутых саксонских игрушек были сделаны и расписаны в хотьковских деревнях. Всему миру, можно сказать, известны были хотьковския шитые «мягкие» игрушки, а также всякое художественное вышиванье — вещи и для светского обихода-украшательства, и для церковного. Мастерством игрушки и высокой золотошёлковой вышивкой именит был Хотьковский девичий монастырь. Здесь было искусное гнездо художества женского. Художницы, монахини и белицы, в большинстве местные уроженки, творческой своей радостью питали высокую монастырскую технику.

Столицей игрушечного царства был Сергиев Посад. По народным преданиям, первую деревянную игрушку сделал сам Преподобный Сергий. Он будто бы вырезал («этим самым ножом в ножнице на ремешке») из липы птичек, коньков и дарил «на благословенье» детям.

Исследователи полагают, что здешнее, столь древнее и широкое, славное по всей России искусство деревянной игрушки вышло в XV веке из лаврской резной мастерской, пошла игрушка с лёгкой, мудрой и хитрой руки инока Амвросия. Образцы высокого художества Амвросия — резные кресты, панагии — хранятся в Лавре.

Деревня Богородская посейчас сохранила мастерство резной деревянной игрушки. А вообще сергиев-

ская игрушка, эта истинная радость и для ребенка и для художника, — сергиевская игрушка была многолика и разнообразна по материалу и по искусству.

Игрушка и всякое художество было народным промыслом, «хлебом» здешнего края, овеянного, осенённого светом Радонежа.

«Не сами, по родителям», — скромно говорят о себе местные художники-кустари. Кругом «эти бедныя селенья, эта скудная природа», из подслепого оконца, из низеньких дверей избушки, где живёт и творит деревенский игрушечник, видны тощия нивы, глиняные, ухабистыя дороги, «серенькое русское небо», а на убогом дощаном столике, на полках и на печке праздник красок, царство сказки, радость цвета и формы. Дерево, глина, жесть, бумага, — всё сияет и горит цветом небесно-голубым, ало-огненным, радуга позавидует яркости злато-соломенных, изумрудно-зелёных, «брусничных», «маковых», «сахарных», «седых», «облакитных», «бирюзистых», «жарких», тонов и цветов.

...Когда я брёл по талой тропинке и сел на пенышек, а надо мной трепетала осинка ещё неопавшими листьями, и узорным рядком, темнея по белому склону, стояли молоденькия ёлочки, и кисти рябины краснели над серой избушкой, неизъяснимая радость обовладела всем моим духовным существом. Надо было что-то делать, в чем-то излить своё веселье. Тетрадочка и огрызок карандаша были с собою. Я стал записывать... А дома вижу шадровитую столешницу, бесцветные филёнки дверей и шкапов. Дай, думаю, я вас весельем своим развеселю! Зашпаклевал, загрунтовал. А потом два дня расписывал. Выйду на крылечко, послушаю, как кричат галки над гумном, как воздыхает за бревенчатой стенкой Бурёнка. Погляжу, как нарядна чёрноталая дорожка по белому-то скату горы, как изящен серебро-серый рисунок изгороди, как тонко вырисованы

ветви дерев на фоне небес, тускло отражающих «первый снег», покрывавший русские поля. Нагляжусь, наслушаюсь и дома на белой отлевкашенной столешнице напишу «Лавру» розово-амарантовым колером и мумией намалюю башни, стены, высокую компанеллу. Потом ультрамариновые купола Грозновского собора и золотою вохрою шапку собора Троицкого. А оконца и воротца чёрными глазками глядят у меня с белых стен. А по краям чёрным же цветом подобающия литеры-пояснения вкратце. И по углам кину букеты роз. Столешница дня в два у печки сохнет. Тогда лаком выкрою. Хлеб-соль есть на таком столе приятно.

Лавру рисую, потому что в ней и, во-первых, во внутренней таинственной её сущности, а во-вторых, во внешнем её облике, народ имеет видимые и осязаемые воплощения своей радости о красоте.

Творцы-художники, создававшие во все века произведения искусства, которые мы видим в Лавре, зодчие, живописцы, а с ними мастера искусств прикладных — резчики, чеканщики, ткачи — нашли здесь удовлетворение своему томлению о красоте. А любитель красоты народ, хлебопашец, мастеровой, который сам непосредственно не занимается «художествами», но любит украшательство, окруженный в Лавре великолепием красоты, которой при этом можно молиться, целовать, и народ, «потребитель» (как и создатель красот), находит удовлетворение и, так сказать, обладает в Лавре тем, чего неясно желал, о чём томился.

Служитель чистого искусства, «пейзажист», например, увидев то, что я вижу: чёрные деревья, коричную дорогу, тьмо-зелёныя ели на белом фоне перваго снега, так это всё и потщится перенести кистью-красками на полотно. Или возьмёт альбом, зарисует чеканно-кованый изгиб сучка, сплетенье веток, зарисует серебристые слеги изгороди с чёрными галками... Отсюда вот и появился в искусстве чудесный «русский пейзаж».

О, как я люблю, какую заветную песню напевает уму и сердцу моему, например, саврасовская «Грачи прилетели»! Я родился на Севере, люблю природу родимого края. Вторую половину бытия переживаю в Средней России. Вопросом духовной жизни и смерти явилось для меня умом и сердцем прилепиться к природе второй моей родины. И вот то заветное, что сладко беседует нам с картины «Грачи прилетели», положил я, как печать, на сердце своё.

Возлюбленная «от младых ногтей» красота русского исконного народного художества, многоликого и прекрасного во всех своих проявлениях. И так, как она проявилась у сергиевских «игрушечников», и так, как она показала себя, скажем, у созвездия «абрамцевских» художников.

Торжественно-величава, может быть и сурова, красота родимаго Севера. Мне уж чудно теперь на самого себя: хватит ли, станет ли меня с неё. Уж я прилепился сердцем к здешней «Владимиро-Суздальской и Древле-Московской» земле. Уж глубоко запал мне в душу свет Радонежа. Где сокровище всея Руси, тут и моё. Не тут у меня несено, да тут уронено.

После гимназии (на родине) стал я ездить для обучения художествам в Москву. Но оставался страстным поклонником Севера. Приеду на лето домой и запальчиво повторяю, что сколь ни заманчива художественная Москва, но жизнь моя и дыхание принадлежит Северу. И моя мать с светлой улыбкой скажет: «Нет, голубеюшко, ни ты, ни сёстры твои, вы не будете свой век здесь, на родине, доживать...» Точно она знала.

13 июля. Суббота

Сегодня я «в худых душах». Весь день лежу, как пропасть. В доме тихо: я наверху, хозяйка внизу, тоже

болеет. А моя комарья душа без хвори замирает: братишко по крайнему делу уехал. Ссуду просим. Не дадут, дак и... всё тут. Всё вот эдак: до краю доживём, отпихнёмся да опять...

Надоело завтрашнего-то дня бояться. Уж не видел я у брателка веселия в глазах. Бывало, он петь, шутить, смеяться любитель был. На гитаре мастер играть. Голос у него светлый да сильный. Ох, как давно не слышал я его звонкого, беззаботного смеха. Ещё по старой памяти запоёт: «Свеча, чуть тлея, догорала, камин, дымяся, угасал...»[1] или «Вечерний звон», или «Гора Афон, гора святая...» Запоёт да и помолкнет. От забот ему истома непомерная.

Тишина в доме...

Приехал братишко. Напилися с ним чаю. Мне к вечеру отлегчило.

«Богомолья» исконные, русские, посещенье прославленных, именитых обителей глубоко входили в быт, в жизнь русских людей. Не забуду, каким праздником, каким надолго взвеселяющим душу событием было для наших северных горожан морское плаванье в Соловецк, пятидневное пребывание в мире живой легенды.

Прекрасное зодчество, древняя живопись, древний покрой облачений, старинное убранство не только храмов и келий, но и гостиниц, а главное, неумолчная песня моря, из волн котораго, точно сказка, точно древняя былина, точно дивное виденье, точно явленный Китеж-град, возносилась древняя обитель. Кроме того, на Соловках сохранилось древнее столповое, знаменное пение — музыка чрезвычайно своеобразная, необыкновенная, удивительная, пение торжественное, величавое и вместе с тем умилительное, манера пения разительно

---

[1] Народная песня «Тройка» (отрывок из стихотворения Ф. Н. Глинки «Сон русского на чужбине»).

противоположная театрально-оперным красотам, повсюду и давно въевшимся в наше церковное пение.

23 июля. Вторник

...Декабрь — мало дневного света, а богат весельем сердечным. С Николы у старших пост строже — в понедельник, среду, пятницу и рыбу не все едят, и к Рожеству готовиться будут. Пряники наши старобытные выпекать начнут. Крупчатка, топлёное масло, патока, имбирь, кардамон. Столько напекут, что до Масленицы хватит, всякой день с кофеем пьют.

С конца ноября, как запоют «Христос рождается», начинали шить маскарадные наряды к Святкам. Со второго дня праздника начиналось заветное веселье. В дни предпразднества, с 20-го декабря, начинали жарить мяса, печь пироги, кулебяки, шаньги, булки, стрецели<?>. В кануны поспеет и пиво, и «сыр молодой на блюде», сладкий мёд с кардамоном, зелёное пиво с шафраном.

Кухня у нас была обширная и по старой моде «улиминована» лубочными картинами. За год от чада и мух яркие краски пожухнут, и к Рожеству мама накупит новых лубков. Опять, как цветы, зацветут по стенам.

Материны помощницы Наталья Заостровка и поморка Ирина заводили моленье дома по-староверски. У нас полон дом был древних икон. Мы с мамой ходили на Соловецкое подворье. В Сочельник в зале красовалась уже и ёлка, густая, ароматная, кудрявая, до потолка.

Ребячьи артели славильщиков заканчивали последния спевки. Славленье начиналось после ранней обедни, до рассвета.

— «Дозвольте Христа сославить»...

...Зайдут в зало, занесут звезду, блестящую золотою бумагой. Запоют...

По тропарю, славе и кондаку пели стихи, мотеты[1] века XVIII, «Радость сердце наполняет», «Силы ангельски», «Три царя», «Звезда грянет», «Воссияли дни златые»...

С Николина дня Зимнего (6 декабря) по Крещенье (6 января) — целый месяц приподнятое, радостное, праздничное было настроение. Особливо любо было в четыре, а то и в три утра вставать, заветные рассветы караулить.

Великим постом дни станут долгие. Опять начинается время сладостного ожидания Пасхи и весны. В апреле уж долги вечерния зори, рассвет рано. Ночныя капели, проталинки, звенящие ручьи, распута по рекам, половодье. Таинственно-прекрасные недели Вербная, Страстная, Светлая, Радоница... Таинственное и прекрасное воскресенье природы. Таянье снегов, вскрытие рек, прилёт птиц, — Великий Пост и Пасха Христова — светлая грусть и радость денно-нощных служб и чинов церковных.

Слитна являлась жизнь природы, составляла единую трепетную и живоначальную гармонию с богодатными<?> и блаженными днями церкви. Мать-сыра Земля готовилась совлечь белые саваны снегов, и церковь дивными чинами и последованиями напевала Земле о близком Воскресении.

Пробужденье Земли и радость церковная, золотыя вербочки и огоньки страстных свечей, рокот вешних потоков и пасхальные напевы, таинственная жизнь Церкви и Природы, — всё это единою радостью оживотворяло душу человеческую.

«Настроенье» вот этих месяцев марта и апреля как люблю я найти отображёнными в живописи, в поэзии.

[1] *Мотет* — вокальное многоголосое произведение религиозного содержания.

Есть чудесный рисунок Рябушкина «Пасхальная утреня»... Купола старинной церковки теряются ещё в ночном небе, но вдали, за ветлами, брезжит уже заря Христова дня... Как я люблю эту картину Рябушкина! Потому что художник (и какими простыми средствами — карандашом!) уловил заветный для меня предрассветный час Христовой ночи.

Час желанный, незабываемый... Юность... Весна. Воды. Старинный родимый город. Тихий рассвет. Иду от заутрени. Тихость природы, тихая радость в сердце.

Я люблю просматривать «пасхальные номера» прежних иллюстрированных журналов — взрослых, детских. Художники любили изображать «выход от заутрени», «освященье куличей и пасок», праздничный стол, христосованье... Но вот тишину Христовой ночи или настроенье дней Великого поста, когда начинаются оттепели, я чаще нахожу не в натодельных[1] картинках. Здесь опять помяну «Оттепель» Ф. Васильева, «Грачи прилетели» Саврасова, многие рисунки Серова, ряд Левитановских. Сочувственен мне «Над вечным покоем».

У любимого моего Нестерова всюду вижу ненаглядную пасхальность— и в пейзаже, и в умилительном жанре его.

Русские художники с конца XIX века оставили много рисунков, акварелей на темы пасхально праздничные. Репродуцировались в «Ниве», «Родине», на открытках и т. д. Много тут уютнаго, милаго, но зафиксирована внешняя декоративность: куличики, писанки, зайчики. Полинялые ленточки, обветшалые альбомы, фарфоровые яички, поздравительные открытки, эти материальные остатки, эти пыльныя реликвии, этот музей — дело не великое.

[1] *Натодельный* — ловкий, умелый, качественно сделанный; здесь — самодельный, ремесленный (*диалектн.*).

Святки не замешиваются уже на пряниках, не изобильствуют бытовым весельем. Но разве Вифлеемская звезда померкла? Разве не вечен свет ея?

Праздники как бы нисходят к нам от горняго мира и раскрываются в нашей душе — в нашем сердце, в разуме. Праздник нисходит и на природу. В Пасху «Всяка тварь веселится и радуется». В Христову ночь «светом исполняется небо, и Земля, и преисподняя»... «Да празднует вся тварь восстание Христово»!..

Рождественская ночь... Разве перестали сиять в небе звёздныя паникадила? Ежели мои «очи потухли и голос упал», то ангелы до скончания века поют в эту ночь: «Слава в вышних Богу, и на Земли мир».

А светлое Христово Воскресенье и тогда, в дни юности, не связано было для меня с «целодневным звоном», «визитёрами», поздравительными открытками, гостьбами, нарядами, весельем. Я ощущал предначатие Пасхи в вербочках, глядящихся в протаявшия воды. В мартовском и апрельском небе, когда нежною становится лазурь и облака, будто несчётные стада барашков, в Страстную, в Светлую неделю любил я в тишине слушать говор вод... Бывало, на Светлой неделе река ещё не шевелилась, только ширятся, отражая небо, забереги. В низинах, на мхах ещё снега.

23 июля. Вторник <?>

...Перечисляю популярные картины и художников русских и ловлю себя на мысли: а сколько у тебя любимых по «настроению» картин из иностранных?

В Эрмитаже есть «Избиение младенцев» Брейгеля. Дело не в сюжете «Избиения», а в пейзаже. Удивительно и широко дана деревенская зима. Как бы «первый снег», тёмные лужи по дорогам, снег на кровлях, голые

ивы, низкое тяжёлое пасмурное небо, контрастное белым тонким пеленам снега. Стильные силуэты людей с древним изяществом выписаны на том же ровном белом фоне.

Вообще люблю уютные голландские «зимы», с тусклыми льдами, белыми берегами талых каналов, старыми домами в белых кровлях.

Есть у меня любимые гравюры. «Утерянная драхма»[1]. Обстановка скудной кухни или пустоватой кладовой. Женщина, согнувшись, освещает сальником пол — ищет драхму. По стене, углу и потолку «движется» громадная чёрная тень... Не картина из русского быта (Перов, Федотов), не домашние фотографии, а вот взгляну на такую картину, как «Утерянная драхма», и вижу себя дома, соглядаю своё детство.

И ещё храню старинную гравюру, переносящую меня домой. Голландская хозяйка в кладовой проверяет на свете свечи свежесть яиц... Видно, зимние утра там, дома, в детстве, пали мне на сердце.

И ещё храню картину на сюжет утра, любезный сердцу. Это опять-таки голландская гравюра XVIII века: две служанки, отягощаясь ранним пеньем петуха, сбыли его. Хозяйка, боясь, что служанки проспят, стала их будить раньше пенья петуха. Опять женщина в широкой юбке, со свечой, стропила сеней, тени от свечи, поющий петух, не слезшие еще с седала куры. В верхнее оконце глядит ещё серп месяца, а в приоткрытую дверь — низкая ещё полоска утренней зари.

Брёвна стропил, тяжёлая дверь, свеча, разгоняющая мрак, поющий петух, сундуки, серп месяца на предутреннем небе — подлинная серьёзность, талант

---

[1] *«Утерянная драхма»*. — Имеется в виду картина итальянского художника Доменико Фетти «Притча о потерянной драхме» (1620).

художника, сила настоящего искусства и, конечно, какое-то сходство «интерьеров» старой Голландии и родного поморского города заставляет меня в голландских картинах ощущать своё детство.

Материальное, вещественное меняется, ветшает, проходит. Глядеть на черепки бабушкиной чашки — одно сожаление: «всё в прошлом». «Милое, невозвратное прошлое...»

А по мне то, что в музеях да в сундуках тлеет, и пусть тлеет! Мои воспоминания, мои впечатления детства меня на всю жизнь обогатили.

Не знаю, хотел ли бы я, чтобы, например, наш дом, там, в родном городе, сохранился со всем убранством комнат, с комодами, креслами, киотами, картинами, скатертями, книжными шкафами, ткаными половиками, на тех же местах, как стояло, лежало, висело всё при дедах, при отце и при мне, ребёнке и подростке.

Эти вещественные останки породили бы во мне грусть, что «никого уже нет». Эти материны вещи связали бы меня. И велик был бы соблазн сделаться хранителем музея:

— Вот это мамочкино платье сшито в 1875 году. Вот это вышитые ею туфли отца. Вот очки тётушки. Вот остатки скатерти, которую я, младенец, залил вином. Вот в медальоне мои волосики, когда мне сравнялся год... И т. д. и т. п.

К счастью, в нашем быту не было прискорбного и жалкого обычая фотографировать усопших сродственников в гробах. Того бы ещё не хватало!

Для меня невелико то сокровище, которое моль ест, шашел точит, червь грызёт. Но подлинно «золотым» назову я своё детство и юность, потому что обогатился на всю жизнь сокровищем, которое моль не съест, которое не линяет, не ветшает.

Живая душа содержала наш «старый» быт...

<Без даты>

В страстную, в Светлую неделю любил я в тишине слушать говор вод... Бывало, на Светлой неделе река ещё не шевелилась, только ширятся, отражая небо, забереги. В низинах, на Мхах[1], ещё снега. Город весь, как Венеция, глядится в разлившиеся каналы и канавы. Но берега-холмы, на которых стоят церкви, обтаяли. Взлобья набережной обсохли, золотятся бурой прошлогодней травкой-отавой. На взлобье холма древняя церквица, внизу ещё белеет снег, но два, три ручья летят, бьют, вьют, пенят, говорят о весне... Здесь людно будет в навигацию. А пока вон на обсохшей деревянной лестнице, что спускается от церкви к реке, сидят две старухи, отдыхают после обедни, глядя вдаль, тихо поют:

— Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи...

Скажем, это было сорок лет назад. А теперь, скажем, на холмах Хотькова, Сергиева, Городка, Сергиева Посада... в марте и апреле, когда еще «в полях белеет снег, а воды уж весной шумят», разве вербочки, и ручьи, и проталинки, и лазурь весеннего неба, и белые берёзки не те же?..

29 июля. Понедельник

С 22 дня опять красное лето. В канун Пантелеева дня[2] воротились мы в деревню. Здесь дородно яблонь. Хозяева с дробовками в кустах ночи сидят. А иные зелень сняли. Картошку, ту и днём бесстрашно копают «грибники». Картошка на рынке 12 р. Хлеб, буханочка, 50 р. Грибов нет, изобилия плодов огородных нет. Но

---

[1] *Мхи* — большое болото, ограничивающее Архангельск с востока.

[2] Память великомученика и целителя Пантелеимона (305) 27 июля.

благорастворение воздухов. Но благодать. Сквозь листву сияет небесная лазурь. Кузнечики неустанно прядут свою шёлковую музыку под шелест лист деревьев.

Лучше меня на пилу посадите, нежели тащит «гулять» по жаре. Лесок поначалу редкий. Ель, сосна, берёза. Сел под ёлку: нейду больше. Поотдаль ельник и сосняк сплошной стеной видится, и нескончаемые ряды хвойных паникадил чудно красиво рисуются на сияющем золоте выплывающих из-за леса облаков. Налетит ветерок, встрепенутся осины, зашелестят ветви берёзы, потом точно вздохнут тёмные ели. Шум леса становится ровным, единообразным. Потом всё смолкнет, только осина ещё шелестит. Далее и осина уснёт. В ушах лишь нежно-сиплая музыка кузнечиков.

...Около дома в тени чудесных старых дерев куда благоприятнее, нежели не вем где шататься с худыми ногами и глазами. Жить в лесу в избушке я бы любил. На одном чтобы месте. Вылез на крылечко и — вся прогулка. А как незнакомые места — меня это досадно рассеивает. Из своей тихой комнатки с сосновыми стенами любо мне следить, как плывут облака, видеть лес, слушать шелест листвы. Только так можно сосредоточиться, обдумывать думу.

Однако сегодня таково жарко — мухам лень летать, не то что мыслям в думы складываться. По дачам, тамсям, ясли. Ребята весь день ревут. Не иначе: к дождю. 40 градусов жары. Хоть бы гременуло за лесом. Стужа — не добро, и зной тяжко.

Молодость всё топит в вожделении. Молодость уверена, что любовь-страсть — главное в жизни. Что любовь — во-первых, а всё остальное — во-вторых.

Молодость не знает, не может понимать, что любовная страсть — это частность в жизни, вожделение телесное лишь неизбежный период. В годы расцвета красоты тела человеку надобно, чтобы им любовались,

желает и сам любоваться, любить и быть любимым. И это добро, и надобно, и поведено. Как яблоня цветёт и приносит благовонные яблоки, так должна покрасоваться молодость. Немногие призваны к девству. Это не для всех. «Все» пускай открасуются и отлюбуются в свои цветущие годы. А пройдёт этот хмель, протрезвится разум, тогда должно человеку стать целым, честным должно после хмеля юности взойти на высшую степень жизни и поведения. Пусть юность, как пчела, копошится в медвяных чашечках цветов любви. Человеку благословенно пожить в этой долине роз. Но потом следует отрясти с вежд липкий медвяный этот сон и прохватиться, и осмотреться. Открой «вещия свои зеницы». В долине твоей уже вечер. Посмотри, как сияют горния вершины. Они отражают беззакатные зори, они никогда не меркнут. Восходи к ним: увидишь, какие дали будут тебе открываться. Доспей себя в «мужа совершенна». Оставь детям игрушки-те.

То, что свойственно молодости, что любо и мило у юности, то сожалетельно видеть у пожилого человека, то бесчестье и зазор для старика.

Человеку дотоле свойственно копошиться в цветке любви, доколе не созрел ум. Отдай «долг природе» и подклони свою честную главу под венец светлой и радостной мудрости.

У всякого возраста есть своя красота. Не говорю уж, что люди обо мне скажут, а как я сам на себя посмотрю, когда мне за пятьдесят, а гонюсь за утехами двадцатилетних и тридцатилетних. «Что-де за годы — пятьдесят! Я-де ещё в соку и хочу ЖИТЬ». Не жалкое ли мое духовное и морально-нравственное состояние, когда мне семьдесят, а я не желаю поддаться сорокалетним и пятидесятилетним, потому что «человеку столько лет, сколько ему кажется, потому что годы — это условность». «Пятьдесят» и «семьсот»<?> — дело относи-

тельное и безразличное. А в пятьдесят люди женятся. И вообще надо «жить».

Конечно, всякий понимает, что значит это «жить». Уж весь-то я старый одёр, старая кляча. Бороду скоблю, ино морда как куричья жопа. Плешь блестит, как самовар. Шея, что у журавля. Брюхо посинело, ноги отекли. Задница усохла... А всё пыжусь, всё силюсь подражать молодому жеребцу.

И этот позор мне за то, что я разум свой растлил. Добрым людям, на меня глядя, смех, а мне смерть. Замер бессмертный мой дух, покалеченный скаредной жизнью.

Так вот мы и до старости молодящимся, легкомысленным умом уже не живём, а влачим жизнь. Мы убеждены, что как скоро минули наши молодые годы, жизнь покатится под гору. И вот тщимся, усиливаемся как можно дольше в саду-то молодости остаться. Потому что до «старости дожили, а ума не нажили».

Сознанью молодости свойственно легкомыслие. Разум спеется на следующей степени возраста. А мы и в пекле пятидесяти довольствуемся тем же легкомыслием. Обольщаем и обманываем сами себя, бедные!

Жар молодого цветущего тела, сила юной крови — от всего этого как бы хмелеет мысль-воображенье юноши, невольно уступает и подчиняется этому хмелю. Но эти «страстныя мечты» отнюдь не суть естественное свойство человеческого мозга. Этому положено своё время. Страстный хмель с годами должен пройти. Ум, мысль, воображенье должны снова стать чистыми, ясными, способными к восприятию иного сознания, должны взойти на степень высшаго мироощущения.

Но как часто с человеком бывает такая беда: «страстныя мечты» засядут в мозгу, и полюбит человек ими услаждаться. Страстно-ёт хмель должен налететь да вылететь, налететь да вылететь. И чем старше стано-

вится человек, тем реже и реже чад-то этот туманит воображенье. А бывает: страстные-то помыслы прочное гнездо совьют себе в нашем сознаньи. Полынным мёдом обволокут, залепят наше сердце и ум. Здесь уж не молодая кровь и плоть будет смущать ум и воображенье, а воображенье, ставшее распутным, и ум, сделавший себя развратным, начнут впрягать наш телесный состав в несвойственную, ненужную работу. Человеку-то по годам пора хвалиться-радоваться о «почестях высшаго звания», человеку-то в разуме чистом, омытом, светлом пора богатеть и строиться, а человек-от в низинах похоти, как свинья в грязи, роется. По себе скажу: сколько тут моей беды, столько и моей вины. Ты говоришь:

— Я не виноват. Это у меня наследственное. Родительница моя, окромя троих законных мужей, встречных и поперечных довольствовала. А про отца и деда и говорить скоромно...

— Дак ведь эти самые слова и твои дети, несчастные, про тебя скажут! Отец-де наш был блудня. И мы, худосочные, наследственно выжимаем из себя...

Зачем же мы эту блудную колесницу тянем и детёнышей наших на их погибель заведомо по той же пути везём, худую, бесславную участь им, бедным, готовим?!

У тебя, говоришь, нет детей? Ты свободен блудить делом и словом? Никому, говоришь, твои грехи не прильнут?.. Да ведь кругом дети. И таких же, как ты, слабых родителей. Умилися о ребятишечках-то. Пожалей да научи их. Помоги им наследственное-то преодолеть! Ежели родители у них слабы, да и ты блудня, где же «малые сии» настоящих учителей будут добывать?

N.N. мне говорит: Вы забываете мироощущение античной старости. Помните у Анакреона: «Старец пляшет в хороводе, просит жажду утолить!..» Представь-

те себе античный пир. Венок из роз на седых кудрях. Мудрец, черпающий силы в объятиях юности...

Брось ты врать-то! Ужели не видишь, как «юность»-та глаза зажмурила и нос зажала, чтобы рачьих осоловелых глаз не видеть и смердячаго дыханья не слышать. Нужда притуганила эту «юность» к этой жалобности...

О людях каких времен вы, друзья, говорите, и так горячо? — возражает Икс. — Люди нашего времени, молодые и пожилые, любят урывками, женятся наскоро. У большинства одна дума: как бы перебиться, прокормить семью. Где тут культивировать страсть?! Если человек мало-мальски сыт, он думает о комфорте или занят всецело своей карьерой. Пожилые люди сплошь честолюбивы и корыстолюбивы. Питают страсть к отличиям и деньгам. Вот два старца Игрек и Зет козыряют друг перед другом научными кирпичами, высиженными в кабинетах, стараются подставить один другому ножку. А вы: «...Старец пляшет в хороводе». Ей-богу, я бы уважать стал академика N., если бы он пустился в пляс, надев венок из роз! Но не могут мертвыя души плясать в хороводах с венком на челе. Изволите метать Перуны на старых развратников. Да знаете ли, что чувственность, сластолюбие, вкус к разврату, изысканное любострастие есть неотъемлемое и неутолимое свойство натур творческих, талантливых, свойство художников и поэтов. Вы зовёте стариков из сада любви к горним вершинам. Но, согласитесь, трудно в преклонном возрасте учиться альпинизму.

Итак, да здравствует старость в садах любви. Да придут к ней на помощь режим, электролечение, водолечение, патентованныя средства... Впрочем, не отрицаю ваших «горних степеней» или как там? — не случалось об этом читать... Но дело в том, что не только заниматься внутренним совершенствованием, а и в садах любви прохлаждаться теперь и некому, и некогда.

Молод и стар думают лишь о том, как добыть кусок хлеба. Сытый хочет обеспечить себя на завтра. Все хотят «делать деньги».

Деловитость, практицизм, карьеризм — это, и только это владеет умами всех!

Так что и старец, увенчавший свою лысину розами и покоящийся в объятиях курносой Нюрки, которую он зовет Аспазией и которая вытягивает у него остатний грош, и старец, отрекшийся мира и одиноко созерцающий звёзды в пустыне, — и тот и другой для меня наивные дети, милые чудаки, которые не видят, что жизнь летит мимо них на самолетах, гонит на машинах...

— Друг, голова у тебя на плечах, или <1 нрзб.> вертится? Сердце у тебя (разумею под именем «сердца» нервный центр) или двигатель бензинный? Чего ты испугался? Перед чем ты смутился?! Откуда и почему это дикарское преклонение перед техникой?

Говоришь: какие там розы и любовныя песни, какие гимны Творцу, когда через Фиваиду не верблюды идут, а лязгают автомобили. Как я устрою у себя на седьмом этаже моленную? Мать Манефа на лифте будет подыматься?.. Я нажал кнопку — свет по всей квартире. Нажал другую — вода в уборной спустилась. Удивляюсь этому.

...В ресторане «Дернье Кри» — «Последний крик» — тарелки перед обедающими бегут по ленте конвейером. Сигнал — пустыя тарелки движутся влево, справа набегают другия, со вторым...

Прогресс и цивилизация! Преклоняюсь! NN привез из Парижа домашнее кино «Для курящих». Крошечный экранчик. Голые дамочки, что проделывают!..

— Вот ты договорился, друг, до самой сути. На себя и под себя наговорил. Перед чем ты и все тебе подобные на коленках стоите! Перед «местами общественного пользования»... И усовершенствованный транспорт, и

удобный нужник, лифт, и электрическая самодрочилка суть вещи весьма служебныя, суть средства, а не цель.

Ты говоришь: жизнь мимо вас на экспрессе мчит, на аэроплане лупит... Ты велишь мне гнать сломя голову за этой, за той, за третьей машинкой. А куда, по какому делу, кем они пущены? Не Астор ли с Морганом войска гоняют на захват чужих земель? Не с огнём ли, бомбами и газом летят зловещия погремушки?.. Маразм, растленье и несомненное извращение воочию видны в изобретательстве «века сего». Понятие о добре, о правде, о любви, о истине, о красоте сданы в архив.

Но жужжит еже и лязгает — правда, одной только половиной — мотор мозгового «научного» аппарата, скаредно и срамно порождая адския машины.

Ты говоришь «прогресс»... Верно: «прогрессивный паралич»! Растленный мозг людей, у которых атрофированы понятия о добре, правде, любви, чести, совести, болезненно плодит вредное, душегубное, смертоносное. А потерявшее разум и смысл человечество, как обезумевшее стадо, как скот, пригоненный на бойню, подклоняет выю под удары самоубийственно.

Они придумали бомбу, и всем приходится заместо труда мирнаго, созидательнаго готовить оборону.

Теперь о «деловитости, практицизме, карьеризме». Если это для того, чтоб доставить необходимое для семьи, для близких, то понятно... Но что значит «необходимое»? Конечно, для семьи необходима квартира хоть бы в две комнаты с «удобствами» — телефоном, ванной и т. п. Необходимо есть досыта, тепло одеться зимою. Чтобы жить прилично, «глава семьи» делячествует. Надо учить детей, кормить их, одевать. Дети подросли, оженились, надо внуков поддержать. Не вылезти главе семьи из этого хомута... Главе семьи, живущей в бельэтаже, необходим автомобиль, жене и дочери необходима Ялта, тёще — Сочи. Всем им необходимы заграничныя костюмы.

Все лезут жить в города. И жизнь в городах стала беспредельно дорога, сложна. Многим не под силу крестьянский труд. А многим, из молодёжи, жизнь в деревне кажется скучной. Предпочитают голодовать в городе, но чтоб каждый день было кино и танцы. Молодёжь привыкла к поверхностному щекоченью нервов посредством кино и, как пьяница без алкоголя, как курящий без табака, морфинист без уколов, не может жить без кино. Молодыя девушки, два дня не побывав в кино, мрачнеют, темнеют, становятся вялы, жалки... А хватили зарядку в кино и... глазки блестят; разговору, впечатлений! Это тоже необходимость, кроме шуток. «В кино не на что сходить»... — объясняет бабка истерику внучки.

Беспросветный скудный быт надоедает, устают от работы. Об умственном и нравственном развитии, об уровне вкусов и культуры говорить не приходится... Радио, орущее под ухом день и ночь, как бы не слышат. Впрочем, выучили «Темную ночь» и «Тонкую рябину». Мужская молодежь, учащиеся, где сойдутся, говорят о «Динамо». Предметы средней школы, лекции — их только бы с рук сбыть. Наука не интересует, литература, искусство не существуют.

Это рядовое явленье. Конечно, тем радостнее встретить исключение.

— Однако мы уклонились от темы. Давайте «закругляться». Значит, «кино, флирт, танцулька» — это и есть сады любви?

— Мне хотелось сказать о натуре человека вне какого-то периода времени. Юность, зрелый возраст, старость имеют типическия черты, вне эпохи и племени.

— Должно ли всех привлекать «к почестям высшаго звания»?

— Надобно, чтобы всякой человек сознавал, что жизнь должна иметь смысл. «Практический ум», «дело-

витость» — полезныя свойства. Но «карьеризм», но «эгоизм», бессовестное делячество, жадность, несытое скопидомство — гнусныя и подлыя свойства.

Поживи для людей, поживут люди для тебя. Всякой человек должен твёрдо сознавать, что вот это я делаю честно, а это — бесчестно; это достойно, а это бессовестно.

— А ежели у человека совести нет? Ежели он Бога не боится и людей не стыдится? Ежели «не страшат его громы небесныя, а людския ему не страшны»[1]?

— Как не страшны? Разве нет управы на бессовестных воров, загребал, хапуг, рвачей? Должно так дать им по рукам, таков образец показать, чтоб они задрожали!

— Должно ли воздействовать на человечество путем религиозных учений?

— Думается мне, что религиозность есть свойство подобное Таланту. Есть талант художника, есть литературный талант. Мне кажется, свойства одарённости религиознаго человека сродни и сходствуют с настроенностью поэтической. Не все художники, не все поэты... Ежели душа человека томится среди житейских будней, «желаньем чудным полна», ежели «скучны мне фокстроты земли», я прислушаюсь к «звукам небес» — не эти ли, де, звуки утолят мое «желание чудное»?

В течение многих веков каждый народ содержал ту или другую «веру». Были люди с ярким «талантом» религиозности, проникнутые «верой», любящия ея. Были многие, не раздумывавшие о своей вере, «по родителям» ходившия в церковь. Уж так полагалось. Пришли времена: общенародную «веру» стали выдувать различные сквозняки. Люди (м<ожет> б<ыть>,

[1] Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда»: «Не страшат тебя громы небесные, / А земные ты держишь в руках».

большинство), которым несвойствен этот «поэтический дар», стали жить без Бога, м<ожет> б<ыть>, не чувствуя никакого лишения.

Часто видишь теперь, как в семье, где старшее поколение держится ещё старых привычек, молодёжь уже равнодушна к «вере отцов».

Но случается и так, что в старой интеллигентской семье, где ещё деды покончили со всякими «верованиями», сын, дочь или внук вдруг начинают «искать Бога»... «Дух дышит, где хочет. И не знаешь, откуда приходит...»

— М-да... Начат был разговор резко, как бы с сердцем. А кончился мирно. Или вничью?

— Потому что пуще всего не люблю я кому-либо что-либо навязывать. Такой ли мой фасон, чтобы людей убеждать? Нет во мне целости ума и целости жизни. Помнишь, в «Винограде Российском»[1], в поморских жизнеописаниях: «Акулина новгородская торговка бяше. И благочестия древляго, но жития прохладнаго»... Видячи моё «прохладное» житие, кто уважит моё «древлее благочестие». Ежели я чего ищу, дак про свою потребу. Я не тебя убеждаю, а с тобой рассуждаю. У тебя тоже «тёрто полозом по шее». У тебя свой опыт. Ты свои выводы, может быть, сделал.

1 августа. Четверг

Вчера днем ещё, выпуча глаза, потом обливались. Под вечер ударило дождём, к ночи взялся северный ветер и вперемешку дождёк.

---

[1] «*Виноград Российский*, или Описание пострадавших за древлецерковное благочестие» — знаменитый староверческий мартиролог, сборник жизнеописаний важнейших деятелей старообрядчества, составленный Семёном Денисовым (1682–1741).

Сегодня о всхожем было ясно, а день облачен. Кабы до вечера дожь-от подождал, брателку дал бы без мокра воротиться. В половине четвертаго, на заре выстали. Около пяти, небось, солнце-то поднялось. Август... На родине уж осень пойдёт золотая. «Первый Спас» — медовый — сегодня. Новым мёдом разговляются. Мы ещё старого не пробовали.

...О погоде да о природе толковать самое любезное дело. А философствования ни я, ни люди читать не будут. «Ума холодных наблюдений» у меня нет. А «сердца горестные заметы» у всякого, чай, свои.

Уж чьих только объедков худая моя голова, как горшок печной, не переваривала на веку-то. Уж чем только разум-от не замусорен, уж какими только линялыми лентами и бантами ум-от не заплетён, не перепутан... Мысли-те не текут, не бегут прямо и право, не идут стройно, а виляют да криуляют. Не Слово Жизни, а своё измышление котелок-от мой поважен переваривать...

...И вот, случаем, хотя-нехотя приворотил глазишки-те к Евангелию. И будто заместо толкучки да полями иду. Спеющия нивы без края. Лазурь небесная без предела. Грудь отвыкла вольно дышать, дак теперь не можешь надышаться свободным горним ветром.

...Пётр отвечал Ему: Господи, с Тобою я готов и в темницу, и на смерть идти. Но Он отвечал: говорю тебе, Пётр, не пропоёт петух сегодня, как ты трижды отречёшься, что не знаешь Меня.

Взявши Иисуса, повели. Пётр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели, вместе сел и Пётр между ними. Одна служанка, увидевши Петра, сидящаго у огня, и всмотревшись в него, сказала: «И этот был с Ним»... Но Пётр отрёкся от Него, сказав женщине: «Я не знаю Его». Вскоре и другой, видя Петра, сказал: «И ты из них». Пётр опять отвечал: «Нет».

Прошло с час времени. Ещё некто настоятельно говорит: «Точно, и этот был с Ним, и этот Галилеянин». И снова Пётр говорит, что не знает Того Человека. И не успел Пётр выговорить слова, запел петух...

Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра... И Пётр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: «Прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня».

И, вышед вон, горько заплакал.

...Скажут: — Начал ты с того, что будто в поле на свободу вышел, а отреченье Петрово приводишь. Ты бы о лилиях полевых, о колосьях восторгнутых прочёл...

— Видите ли: душе-то обремененной ладно и у места, тут, в ночи, на дворе Кайафином с Петром у костра сидеть. Сердечныя очи въявь соглядают эту картину. Будто не Пётр, а ты отрёкся. Будто ключом тебе замкнутую твою душу отомкнут. И ты... вышед вон, плачешь горько.

<Без даты>

...В письмах митрополита Филарета почти нет описаний природы. Он говорит о погоде, жалуется, что весна холодная, дожди испортили дороги в Лавру, в пасхальную заутреню дождь шёл... Или радуется, что наконец солнышко пригрело, с простудой справился, на Страстной служил в Успенском, а по пути в Лавру захватила непогода со снегом...

«Водил по Кремлю Наследника по снегу и под снегом (заводилась вьюга), простудился. Третий день безвыходно сижу в келье»...

Ни о соловьях, ни о закатах, ни о цветниках, только о том, какова была погода на Страстной, какова весна о Пасхе, какое было лето, осень. Веселится, что в осен-

нюю память Преподобнаго «время стояло как о Петровом дне» — умолил, де, Сергий... И вот эти краткие, но частные примечания и указания, что «днем тает, но весна ещё за горами», или «овраги шумят, но деревья голы», «ко дню св. Георгия лист на берёзах в копеечку»... Эти попутныя приписки в письмах, датированных сороковыми годами прошлого века, как много оне говорят сердцу!..

Зимние оттепели, вешния капели, апрельския распутицы... Как это связано с жизнью, с повседневным бытом не поселянина, а Московского митрополита.

Остарев, митрополит Филарет не предпринимал далёких путешествий. Но ему по долгу службы приходилось посещать монастыри епархии; он постоянно ездил к Троице-Сергию. Путешествия эти совершались на лошадях. Отсюда постоянная зависимость от времени года, от погоды, от состояния дорог. Филарет любил природу, любил уединение (недосягаемым счастьем казалось оно ему!), но, будучи болезненным, постоянно простужался. И, вот, эти жалобы на весну с ея простудами и радость о весне, эта зависимость от природы со всеми досадами, а больше радостями, эта неотъемлемая связь весны, осени с бытом и укладом пишущаго цитируемыя письма удивительно и чудесно оживляют эти письма, а главное — природу нашу русскую делают близкою, живущею одною с нами жизнью.

<Без даты>

Календарь гласит: в августе убудет дня два часа семь минут...

Глазишки сегодня худо взглядывают. А день такой «мой». Светлооблачно, без дождя... Нежная, светлая пасмурность неба, тишина. Видно, к дождю звонко

пропевают петухи. Слышнее далёкие голоса... Никто у меня этого богатства не отнимает. Я ли не богат?!

Уносится мысль на родину и соглядает таинственную душу Севера, поклоняется сокровенному, но вечному свету его.

Там, на родине милой, сейчас глубокая осень. Кратки дни. С северным ветром перепадает снег. Помню низкую, обширную комнату с бревенчатыми стенами. Чисто намыты полы, старинные иконы в большом углу озарены лампадой. Развалистая печь дышит теплом. Все домочадцы слушают житие преподобного Савватия Соловецкого. Северный праздник. Но в эту поздне-осеннюю память святого угодника горожане, за морскими непогодами, не плавали на святый остров Соловец. Там в эту пору «снег, что белый пух, быстро кружится, подымает грудь море синее, и горами лёд ходит по морю»[1]. Одни иноческие соборы в монастыре и в скитах оставались «во отоке Окияна-моря» на долгие-долгие месяцы.

Суровый Север... Но как тепла, как согревала душу память родимых северных святых!..

У матери в спальне была древняя икона преподобных Соловецких. Зосима и Савватий возносят над бушующим морем обитель свою. Отец мой, моряк, счастливым почитал год, когда удавалось пристать в корабельном походе к святым островам и помолиться у гроба преподобных.

В осенние непогодливые ночи я, маленький, укладывался спать у матери в комнате. В старом доме водворялась тишина. В комнатах каждые четверть часа били часы своё «перечасье». Мать, помолившись, спит. Я знаю, что крепко молилась она об отце, который ещё не вернулся с Мурмана, хотя уже начались непогоды. «О плавающих, путешествующих отцах и братьях

[1] Цитата из стихотворения И. С. Никитина «Русь» (1851).

наших помолитеся угодники Божии, Зосима и Савватие!» — шептала мать.

И сколько раз, проснувшись в ночи, всегда я видел святые лики Зосимы и Савватия, озарённые кротким светом лампады, как вечное благословение возносящих над морем святую обитель.

Тонкое обаяние русской природы, нежную радость русской весны, настроение какого-нибудь февральского денька, когда начинаются уже оттепели, первый снег на Покров, одиночество сжатых нив, просёлочных дорог, шелест осеннего дождя, всё, что так исцеляет душевные раны, так мирит с жизнью, — все эти «настроения» мы почему-то алчно и жадно ищем встретить у художника-живописца и у писателя-поэта.

При этом нас может оставить совершенно равнодушными обширная салонная картина, изображающая природу. И наоборот, этюд, эскиз, рисунок вдруг скажет нам жданное слово о том, «кого» мы любим. И хочется часто, постоянно этот, скажем, пейзаж видеть. Видеть как собеседника, как друга, который нам такое верное и нужное, взыскуемое нами слово сказал о Любимом, о Желанном, Единственном, но как бы неизъяснимом или неуловимом.

Заветное, желанное дело соглядать лик природы. Соглядатайством этим обогащаешь разум, собираешь в душу сокровища, которые никто не сможет у тебя отнять.

Напрасно тебе кажется, что ненастливые, с дождичком, осенние дни похожи один на другой. Не воображай, что весною, когда тронутся льды на реках, то холодно-ветреные-облачные дни также схожи... Вот около тебя есть человек, лицо которого любо тебе. Посмотри: на дню-то несчётно раз оно переменится. То задумчивое, то грустное, то приветливое, то хмурое. То милый-то твой человек брови насупил, уста сомкнул —

досадует. То опять брови высоко округлил, глаза округлил, улыбка пробежала по губам — весел друг-то твой, но с выжиданием... А всё одно и то же лицо, что и вчера было.

Ты мне скажешь: «Вот ежели любимое-то лицо реветь возьмётся неустанно и днём, и ночью, и целую неделю... Сидит перед тобой любимое лицо и пущает слёзы с утра до ночи. Неделю я на даче сидел, и дожжинушка стояла несменяемая...»

Применил ты Море-Океан к малому озеру, а то и к пруду, или к лужице.

(Не обидься!) Лик природы — Море Великое. Сокровищница неисчислимая, неисчетная, неизъяснимая. Лик природы — красота и богатство беспредельное, безграничное, радость и богатство, всем дарованное и одному тебе принадлежащее.

Ты любишь вечерние закаты — «слети к нам тихий вечер на мирныя поля...»[1] Ты резвишься на зелёной траве, припевая: «Дожидались мы светлого мая. Цветы и деревья цветут. И по небу синему, тая, румяные тучки плывут!..» Люби. Это твоё богатство.

А вот я люблю тихие ненастливые дни летом. Люблю оттепели зимою, когда, знаешь, небо оттушевано тонко-серым тоном. А земля бела, как ватман, и по ней чёрные лужи... А пуще всего я знаешь что люблю? — Люблю удивительный и неизъяснимый час рассвета. Люблю караулить рассвет и в городе, и в деревне. И зимою, и осенью.

Великое богатство это — раннеутренние часы. Чем больше их захватишь, тем ты богаче. Бывало, на родине мать, бабки и зимою в четыре часа встанут. На кухне берёзовые дрова весело затрещат. По горницам засия-

[1] Начало романса А. Тома на стихи Л. Н. Модзалевского «Вечерняя заря весною» (1860).

ют лампадки. И как я радёхонек, когда вовремя сон отряхну. При лампе что-нибудь рисую... И вот — окна зачнут мало-помалу синеть, небо бледнеть. Синий свет зимнего утра потиху начнёт одолевать золотой свет лампы, восковой свечи...

1948

24 января. Четверг

Афанасьев день прошёл — морозы не были. Зима всё стоит сиротская, то есть по дровишкам не убыточна. С неделю ровно постояло, да и опять третий день дворники мне в оконце мётлами воду брызжут. А се, авось, уже теперь недолго буду я мокрые обутки изучать: надолго ли, нет ли, а влепил я башку свою неудачную на работу. До первого ладимся поплотнее засесть у работы в Митиной деревне.

Для пробы жили там три дня. Уставали, простужались, нервничали: труппа гораздо неопытная, тревожимся за спектакль. Но братишко режиссирует на совесть! Но устал он беспредельно. А надо начинать новую постановку. Я, конечно, своим ремеслом промышляю: мажу декорации. Получаем мы на двоих шестьсот пятьдесят рублей. Долги платить надо... Как хошь, так и рвись.

А в Хотькове праздничная свежесть воздуха, чистая белизна снегов, тишина несказанная!

Наш домик на взлобье круглой белой горы. Доступ к нам с долины Пажи по крутым ступенькам, вырубленным по ледяному скату. Под горой на Паже прорубь.

Мимо нашего дома за день только и прохожих, что несколько баб с вёдрами на коромыслах.

<Без даты>

Баптистка в вагоне так настойчиво и проникновенно совала листок о вреде курения... Спрашивала адрес, приглашала на ихнее собрание... Все-де заблуждаются, все во тьме. До баптизма-де не было христианства, но одно заблуждение и обман...

Баптистское учение соответствует какой-то категории «взыскующих». Оно как раз по плечу «простым сердцам». Вся «вера» их разлинована на узенькие правила морали: веди себя хорошо, не пей, не кури и т. д. Эти добродетели баптистов в быту лезут наружу. Они не такие, как все прочие грешные. На собраниях чувствительные стишки, незатейливые мелодийки. Всё обносочки с лютеранских или реформаторских — барских — плеч.

Что и откуда у них взялось, «простые сердца» баптистов в это не вникают. Всё у них ученически примитивно. Вот это и может привлекать в баптизм «малых сих».

Вот, скажем, молодое существо в теперешнее время... Молодому человеку, выросшему вне привычного русского быта, всё непонятно в церкви. На каком языке читают и поют? Что значат и на что эти действования священнослужителей? А у тех же баптистов всё просто. Вот тебе брошюрка с альбомными стишками. Вон Иван Иванович, закатив глазки, говорит:

— Господи, ты такой же, как я, плотник. Приди в мои объятия.

Баптистам присущ настойчивый зуд пропаганды. Новички, счастливые тем, что попали в избранное стадо, сами рьяно вербуют в секту. Они приходят на

квартиру, если учуют благоприятную обстановку, начинают неотступно и неотвязно «спасать». Приходят к больному, предлагают даже свой уход за ним при условии присоединения к секте. Если больной не поддается пропаганде, его бросают «среди дороги». Не любовь к людям, не сердце милующее, не жалость к обездоленным, не доброта заставляют баптистов неустанно и неуёмно охотиться за новыми и новыми адептами в свою «веру». Нет, если баптист знает, что ты не перейдёшь к нему, он наступит ногой на тебя, лежащего, больного, и пойдёт «спасать», выискивать покладистых.

Пропаганда, вербовка новых и новых членов, выискивание людей, находящихся «ни у того берега, ни у другого», скрытая или явная неприязнь и нелюбовь к церкви, самомнение и гордость истинно бесовские — вот основные черты баптизма.

Этим баптисты разительно отличаются от русского человека вообще. И от благодатной вековой практики Вселенской Церкви (Восточной). Но не эти величия собрался я рассмотреть... Баптизм или какая рационалистическая секта — их «как ворона на хвосте» невесть откуда занесла. «С ветру» все эти учения. Потому адепты этих учений и навязываются так, потому они и беспокойны, и егозливы, что чуждая они трава на лугах Святой Руси. Не здесь они выросли, сюда наскочили.

Когда христианство пришло в страну восточнославянскую, то пришло на землю девственную, языческую. Христианство принесло высшую культуру духовную, приобщило славян к культуре Византии, следовательно, к культуре Эллады, эллинизма. И это семя веры Христовой, принятой нами от Греции-Византии, дало на Руси дивный плод... Плодом вселенского христианства является и художественная культура Древней Руси — Киевской, Новгородской, Владимиро-Суздальской, Московской...

Что такое православие?

Вечерний звон, наводящий так много дум «о юных днях в краю родном»... Белая церквица среди ржаных полей... Или там, на милой родине моей, шатры древних деревянных церквей, столь схожие с окружающими их елями... И эти дремучие ели и сосны, и деревянное зодчество — они выросли на родной почве.

Март 15 дня. Воскресенье

Послезавтра Алексей с гор вода, а тепла всё ещё ждём. Дни стояли солнечные, а хотьковские пригорки и на припеке не протаивали. Морозов уж нет, а дороги и тропки белы, не стоптаны. Но на закате в небе не без мягкости жемчужной.

Сегодня дует запад сырой. Пасмурно, инде капель; прокаркивают вороны.

Куры во дворе напевно кокочут.

С утра поднесло снежку, белым забелило. А у двора, у скота, чёрная грязь, вытаяло опять крылечко.

16 марта. Понедельник

Сегодня с рассвета взялся, кабыть, норд-ост, тороками-порывами. По здешним местам он не так холоден. Кабы облака не перекрывали солнце, таяло бы. Солнышко выглянет, заблестят снега, начнёт в овраге тинькать малиновка. Где-то у дворов стрекочет сорока, с нею разговаривают куры. Пропевает петух.

Я прижмусь к низенькой дверце хлева, в заветерье, жмурюсь на блеск мартовских снегов, слушаю, как свистит в застрехах кровли норд-ост.

Зимою всё думал — придёт март, буду везде расхаживать, по кустам, по оврагам. Думал — вот заживу под боком у Преподобного: рукой-де подать к нему в гос-

ти ходить да ездить. В зиму было холодно разгуливать, а подходит весна... не придётся ли к разбитому корыту, обратно в городской свой подпол лезть.

Братишко выдохся, бьючись над тем, чтобы собрать «любителей». С собаками не загонишь. Люди вялые, равнодушные, усталые, на репетиции не ходят. А директор недоволен руководителями. У братишка руки опустились, а я своих и не прикладывал. Раденья у меня нет.

Как хочется чему-то обрадоваться! В самом себе нет веселья душевнаго, нет радости сердечной, а со стороны никто не несёт. Вот и проходят дни-те бездельно. Бедность пригнетает ум; нету крыл духовных. Сижу, как ворона, уж и каркнуть неохота. Давно я стал камень лежащ, не подойдёт под меня живая вода. А люди того небрегут, чтобы меня сдвинуть.

Дух уныния так и клонит меня вниз, долу. Дела не веселят, потому что не зачаты у меня дела-те. Жду жатвы, а ещё не сеял.

Не родится света в душе. Спит она, не может воспрянуть. Потому что студными я окалях душу грехми, и блудно иждих мое житие[1]. Где взять крылья душе, когда храм телесный весь осквернён.

Уж не зову Отца, не плачу к Нему: «Объятия Отча отверзти ми потщися!»... Потому что я отеческия славы удалился безумно. В злых расточил, еже ми предал Отец богатство.

Знаю, что есть богатство неиждиваемое, знаю, что есть «объятия Отча», но навык бродяжить, полюбил

[1] Здесь и ниже Шергин приводит слова из покаянных тропарей, которые поют в Церкви в преддверии и во время Великого поста: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен; но яко Щедр, очисти благоутробною Твоею милостию. На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу грехми, и в лености все житие мое иждих, но Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты».

жить «на дне». Уже не «утреннюет дух мой ко храму святому», храм нося телесный весь осквернён. «Покаяния двери» скрипят мне докучно. Разве уж сам смысла Податель вразумит сердце моё... Ты даждь ми слово, Отчее слово!

Вот когда я говорю, что-де природа жива и радуется о Господе, то в моих устах эта истина является празднословием. Потому что «когда не поп, дак не лезь в ризы». Благовествовать вправе лишь тот, у кого со словом слитна и его жизнь.

Бывало, в молодости, знавал я по силе моей «чудные мгновенья». Это, мнится мне, был залог, зов таинственный. Когда Мария Египетская услышала дивный оный зов, она, «вся отвергше», бежала в пустыню и семнадцать лет Христу сраспиналась, со Христом спогребалась. И — воскресла со Христом.

А я тужу и ною, что вот закрылась, потерялась радость, не чувствую уж, что «природа радуется о Господе».

23 марта

Домой-то приехали... Как у нас хорошо! Тишина какая. Всё своё, всему хозяева. Судит Бог, и Пасху здесь будем встречать... В окошечки старинной горницы нашей столь знакомое небо, деревья, вытаявшая дорога. На дворе ещё кучи снега, лужи. Опять, когда вздумал, можно к службам ходить. Ведь полжизни я здесь пост Великий правлю. Пусть там, в Хотькове, «природа». Всё сказалось непривычным, не своим, незнакомым. И примениться я ни к чему так и не мог. Уж всячески я, усиливаясь пожить «в деревне», надевал на глаза шоры, старался видеть только «талыя тропинки» да грачей... Мелочная, ничтожная «житуха» туземцев сбивала все «настроения». Алчность, жестокость, эго-

изм, торгашеская совесть, вражда, сплетня — вот чем живут в «милых» этих «деревенских» домиках.

Как я не хочу про всё про это думать и писать. В конце концов, прискорбно это.

Я хотел поглядеть на проталинки, послушать, как шумят весенние воды. Да ведь не будешь при водах-тех жавороночком на веточке сидеть. Надобно где-то повседённое житьё-бытьё править — пить, есть, спать, согреваться, работать. Надобен свой угол. А вот с этим-то всегда оказывалось тяжко-непереносно.

Вернувшись домой, в свои стены, к своей печке, сидя за своим столом, понял я, какое это благо — свой собственный угол.

Думается, если я не буду жить в Хотькове, то пройдёт время, и я снова буду мечтать... Очевидно: «Там хорошо, где нас нет».

Как хорошо дома! Я один весь день. Братишко уехал в Хотьков. Грустно мне... Вечерняя заря глядит в оконце, из которого я гляжу на неё девятнадцать лет. Мерно тикают часы. За оконцем вода до полудороги. В ней отразилось вечернее небо. Потемнели углы моей горницы. Но светлеют ещё окна бледным золотом. Тихий свет лампады в потемнелом углу... Зосима и Савватий возносят свою обитель. «Свете тихий святыя славы».

Я всегда думал, что городской гам мне «жить» мешает. Пожил в деревне: там «ничтожность туземцев» мне мешает «живу быти». Не я ли сам себе «мешаю»?! Ей, так!

25 марта. Среда

День с ветром, облачный. Солнце помалу проглянет. Большие улицы просохли. В переулках булыжник мокрый, возле тротуаров ручейки. По дворам грязь малопроходимая со льдом.

Стаскался к поздней. Авось, думаю, не протает ли душевный-то лёд? Не по годам, пожалуй, равнодушие и эта вялость. Что-то мало сил и душевных, и телесных. Дух уныния, а отсюда дух праздности.

Поют: «Благовествуй, Земля, радость велию!» Я, видно, не Земля, не та Земля, которая начинает протаивать, которая благовествует радость говором ручьёв, пеньем птиц.

Я куча мусора в углу двора. Пусть весна, пусть хвалят небеса Божию славу, она, куча, куча и есть. Сказано: сила Божия в немощах совершается[1]. А вот мои немощи далече мя творят от ясности, от радости Господней. Видно, смолоду надо было заготовку великую производить, каким-то образом силы духовные копить, чтобы, как немощи придут, было чем «силу Божию» ухватить. А я жил, как придётся, как попало. Стал под старость решетом дырявым. Как во мне силе Божией удержаться?!

Есть художники, есть поэты Божией милостью. И есть дилетанты, самоучки. Последние — в лучшем случае — трогательны, но и маловыносимы. Я в богоискательстве своём вот такой дилетант-самоучка. Что-то слышал, до чего-то сам, своим умом дошёл, и всё-таки «дилетантизм есть любовь к искусству без взаимности».

Ни высшей, ниже средней школы в науке (да, да — науке!) духовного совершенствования я не прошёл. Что-то нравилось, чем-то увлекался, а школы не было. Время пропустил, пришли годы немощей телесных, иссякла и всякая «радость», которая вызывалась исключительно тем, что «младая кровь играла», но отнюдь не была показателем некоей «меры духовной».

---

[1] См. 2 Кор. 12:9.

26 марта. Четверг

Много лет проводил я пору Великого поста, пору предначатия весны в городе, из года в год бредучи к «ранней» или к вечерне, вылавливая «настроения» старых переулочков, вытаивающих камней старого города, ручейков, бегущих с какой-нибудь Ивановской горки.

Старая церквица на обтаявшем бугре. Ряд старух у ограды, подставивших горбы вешнему солнцу... Уж сколько лет хожу я по этим переулкам к Мефимону, «40 мученикам», к «Вербному воскресенью», к «12 Евангелиям» и к заутрене Светлой. И пусть замызганные домишки, а не «радонежския рощи». Эти домишки так ласково, после зимы-то, таращатся подслепыми окнами на солнышко. Обсохшие тротуары, омытые недавними ручьями, таявшими снегами мостовые ещё так чисты. Ещё нет пыли, ещё ютится по дворам, по углам остаток снега. Ещё так ясно, непорочно чисто небо над городом.

...Раным-рано бредёшь с железной клюшкой Подкопаевским переулком в конце марта. Лужицы захвачены утреничком, хрустит шелковисто ледок.

Мы с брателком всё грустим, что только тень прежних предпраздничных «настроений» и приготовлений осталась на нашу долю... А вот как в «деревне» пожили «в одном столе, в одном хлебе» с чужими людьми, тогда и поняли, что ихния «лампадочки», отобранные за долг иконы, ихния залитые «политурой и ханжой» «святки» и «масляницы», и куличи с диким ораньем песен, — всё это не наше, всё нам чужое. Как мы с брателком (ещё в «деревне-то» сидя) взгрустнулись, как поняли, что по-своему и у нас, в «городском» нашем быту, в старинном доме, в низеньких покойчиках был по-настоящему светлый и добрый быт и светлые и радостные «настро-

ения». То, что казалось нам в нашем «праздничном» быту слабым и (сравнительно) жиденьким, устоялось, как вино. «Мельзи млеко и будет масло»[1].

Сегодня тихая весенняя пасмурность. Как бы перед дождём. На родине моей, на Севере так бывает, когда вскроются, пойдут реки... День такой задумчивый. Но светла эта задумчивость.

Здесь, «в городе», в кривых переулках, в старинном домике, в горенках моих с древними оконцами, полтораста лет глядящими на свет Божий, я корни пустил, и, по силе, зеленею, и помалу цвету.

«Хвали море, на берегу сидя». Хвали «деревенскую» жизнь, сидя в своём углу, глядя на природу из собственных окон. Здесь ты хозяин и собственным мыслям. «Хозяин что ступит, то дело найдёт». «Дома стены помогают». О, как верно!

В будущем году осенью сравняется 20 лет, как я в этом своем «низу» живу. Да в этом же доме, этажом выше, прожил я семь лет. Волею и неволею, хотя и нехотя, присвоился я тут.

Сколько здесь живало и сколько сюда прихаживало милых, незабвенных людей!

27 марта. Пятница

«Творца видимым и невидимым»[2].

Век сей и мир сей ниже краем уха слышать хотят о существовании мира невидимаго. Между тем он и в нас, и вокруг нас. Например, Флоренский учил, что слово —

---

[1] См. Притч. 30:33.

[2] *«Творца видимым и невидимым».* — Шергин цитирует Символ веры: «Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым...»

это организм, как бы семя[1]. Говорящий оплодотворяет слушающа-то. В слушающем слово начинает жить. И это отнюдь не аллегория. Это акт таинственной биологии.

Разум церкви Христовой знает эту тайну. Учение церкви о Втором лице Святыя Троицы открывает беспредельныя глубины сущности слова как Логоса, а соотносительно (дерзну так выразиться) с им первым, вечным Словом, по образу Слова — существа Божественнаго, живёт и слово, износимое от разума и сердца человека. Конечно, здесь существует великая разница. Бог Слово есть вечное Добро, творческое Благо, Любовь по существу. Человеческое слово есть также чудо, но оно может исходить и от Зла. И тогда оно породит в воспринимающем недоброе бытие.

В Писании читаем: Бог (Отец) словом сотворил мир. «Рече Бог: Да будет свет и стал свет». Тайновидцы, святые отцы, изъяснили, что Бог «Сыном создал мир».

Произносящий слово оплодотворяет слушающего. Это происходит через слух.

«Слыши, Дщи, и виждь, и преклони ухо Твое»[2]... Неизреченное воплощение Слова, Сына Отчия произошло через слух Девы Пречистой. Ангел изглаголал повеленное Отцом, и Дева зачала, приняв слухом оное «радуйся». Таинственное «радуйся» было живоносно, могущественно, плодоносно.

Об этом, об этой непостижимой тайне говорит Златоуст в слове на Благовещение.

---

[1] Ю. М. Шульман в примечаниях к первой публикации этой дневниковой записи пишет о том, что с П. А. Флоренским «нередко встречался и подолгу беседовал Шергин в 20-е годы в доме художников Ефимовых» (*Шергин Б.* Дневники 1948–1968 // Москва. 1994. № 5. С. 125).

[2] Пс. 44:11.

28 марта. Суббота

Живёшь, думаешь: вот ужо лучше будет... Увы, всё печальнее становится. Всё под гору. В деревне живя, собирался всякий день весны переживать... Не до весны стало. Вернулись в Город... День-два веселились. Ох, не до весны, когда осень безотрадная в душе... Братишко изнемогает телом, изнемог и духом. Всё ему не мило, ни на что, ни на кого не глядит. Никого не слушает.

Сегодня с утра срядился в Хотьково на завод ехать. Поглядит на часы: «Опоздал на поезд»... Опять поглядит: «И на этот опоздал...». Вслух стонет от сердечной тоски. Нет сил, нет... Я уж и добром, и лихом уговариваю. И обниму, и ругаю его исступленно: «Ты-де работать не можешь, дак зачем меня в доски, в гроб сганиваешь?..». Он слова поперечного не терпит, и я не поддаюсь. ...Господи милостивый! Нет у меня ни света, ни мира в душе.

...Уехал братишко. Я работу разложил... А голову разломило: никакие пирамидоны не помогают... Папироса за папиросой, что смола в горле. А сердечной печали не может папироса-та приглушить.

Сквозь боль, сквозь очумелость, сквозь опустошенность и бессилие, как о чём-то далеком, вспоминаю... Как некий старец стал что-то часто плакать. Он объяснил свои слёзы встревоженным ученикам: «Плачу о том, что скорбей нету...».

Очевидно: высокой духовной меры был этот старец. А такого, как я, всяка скорбь с ног сбивает. И лежу в яме горькаго уныния. Ропщу на Бога, тяжко виню всех и вся. И уже устаю ждать, что придёт кто-то, подаст руку, выведет из гроба скорбнаго.

Насколько нечисто моё сердце и какая кромешная тьма обдержит его, можно судить по тому скаредному остервенению, которое приходит из силы в силу, если брат не признает моей правоты, не хочет слушать моих «обличений», не покоряется мне. Брат замолчит, а меня

все ещё трясет злоба... Уж я знаю, что буду жалеть и каяться о сказанных словах, тем не менее, изрыгаю подлую брань. Наворочу гору скотской ругани, потом, обойдусь, разгорюсь, зажалею. А растревоженный, разорённый мною братишечко долго не может успокоиться, сделается совсем больным...

...Каин я, Каин! И часть моя с Каином. О, какое я скаредное ничтожество в сравнении с брателком моим, который не треплет языком о Боге, а просто доблестно, из последних сил тянет ярмо жизни, без высоких речений кладёт душу «за други своя».

Взял в руки книгу аввы Дорофея. Мне ли читать?! Всяка строка бьёт меня по лицу... Всякая неправильность человека, говорит авва, даже по отношенью к посторонним людям потемняет сердце.

...Аз же брата своего Авеля ежечасно убиваю. Ежечасно сам сатана играет мною и радуется обо мне.

30 марта. Понедельник

«Скажу крепче, сердцу легче». «Выскажусь, дак хоть на сердце не лежит».

Ладно, ежели у «собеседника» сердце лёгкое. А если он тебе скажет: «Ты своё сердце тешишь, а мое гневишь!»

...Мы, теперешние люди, слова не терпим. Мнительные, растревоженные. Чуть что не понравится и — вспорхнём, как бензин. А там и пошло до потолоку. Без сердитости ругаться могут только здоровые, ровные, весёлые люди. Теперь таких днём с огнём не отыщешь. Заболели да померли здоровые-те. Остались больные.

Разоряясь на болезнаго моего братишку, лепя слово на слово, заведомо знаю, что буду жалеть. Расстраиваясь на митинских «хозяев», знаю, что лучше, полезнее, достойнее сдержать расходившееся сердце, удержать

язык. Ан, нет, — точно с крутой горы качусь, язвлю и язвлю «неблагодарных»...

Знаю, что, например, у аввы Дорофея всё на пользу, всё на спасенье. Всё у него врачевство, всё исцеленье. От всякой болезни душевной врачевание.

Но, как подумаешь, с какого бы конца начать лечиться, так ох! Всё одно, что полон рот больных зубов и все надо лечить, а иные рвать... А всё запушено годами. В зубную больницу ходить далеко ... Да зубы что! Роза Марковна и вылечит, и новые вставит. ... А вот совесть мутная, сердце нечистое... Тут легче из керосина розовое масло сделать, дугу распрямить. ... Всякие страсти с сердцем моим, как мука с водой, сболтаны. Попробуй, раздели теперь муку о себе, воду о себе.

15 апреля. Великая Среда

Царствия вне затворённая, уныло плачет душа. Тошно ей в житухином склепе. Украшенного чертога хоть не видит, подслепая, но знает, что он где-то есть. Навыкла скитаться в говённом рубище, но просит брачных одежд, а купить не на что. «Се Жених грядет»[1] — где-то, кого-то зовут... Горегорькая, разнесчастная, нищая душа моя прислушивается: не мне ли стучат? Не меня ли зовут? ...Нет, не в мою дверь стукнули. Не меня позвали. Некому ко мне прийти. Давно я, душа, на пиру-то не бывала. Отвыкла, ослабла, обносилась, опустела.

«Се стою при дверях и стучу»[2]. Господи! Я как тряпка половая, все полы мною вымыты, все пороги обтёрты... Уж сил нет, радости нет побежать, поискать Тебя.

---

[1] «Се Жених грядет в полунощи...» — Тропарь, поющийся в первые три дня Страстной седмицы.

[2] Откр. 3:20.

17 мая. Воскресенье

И праздники прошли, и весна пришла... Живу, какой-то опустошённый. Ничто меня не веселит. Здоровьем, силами и всем оскудел.

Один дни деньские сижу в своем подвальце. Братишко таскается на работу. На полсуток уедет... Он расстраивается, что я «не на воздухе». А я нисколько не думаю и не хочу «на дачу»-то. Одна у меня дума: как скудости нашей помочь? Вишь, всё дума, а не дело.

<Без даты>

Силом меня братец в Измайлово выволок. Как корову на баню тащил. А против города хорошо здесь. День был бессолнечный; облачно без дождя, с летним ветерком. Отдыхаю (не знай, от каких трудов!), сижу в тишине, в спокое, «на воздухе», а братишко уехал на сутки в работу. Ему не надо отдыхать.

Сейчас время к ночи, за переулком играет гармошка, завизжат девки, залают собаки... К ночи приусилился ветер. Звук напоминает родину. Там в летнюю пору чуть припадёт морской ветерок, и рамы уже скрипят. Их наружу, на ремешок подвязывали.

Я любил бы вот так один-то сидеть. Думу думать да списывать... Только думы-те печальные: братишкино нездоровье меня сокрушает. Чуть в Хотьково съездим, кашель усилится.

Кабы эти мои записи были письмами к кому-то... А о себе, для себя... унынность свою, сто раз одно и то же — не для кого, не для чего. Сам для себя больно не занятен, не стоющ, не значущ.

Любовь без дела мертва[1]. Жалею брателка единственного... А что пользы в моем сокрушеньи? Вот горе меня об этом и сушит.

---

[1] См. Иак. 2:14, 16.

Когда я был помоложе, то внешние явления и предметы, имеющие, так сказать, общий интерес философский, поэтический, идейный, художественный, оказывали на меня сильное впечатление. Я устремлялся к бумаге, к перу, чтобы записать иногда мгновенное переживание, настроение, сделавшее меня счастливым. Бывало, я никогда не записывал «ума холодных наблюдений, ни сердца горестных замет». Я хватал перо, чтобы занести внезапно схватившее меня радостное, счастливое настроение.

<Август?>

Теперь, вероятно, по привычке, я продолжаю вести «диариус». Но узок круг моих переживаний. И «пою уныло».

...На дворе непроглядный дожжинушка. Осень круто подошла. Ночи холодные, утра с туманами. Слышь-ка, в сентябре сулят снег. Совсем как у нас на родине...

«Счастье не вокруг нас, а в нас», красота не вне нас, а в нас. Внутри тебя не станет творческой радости, так и, скажем, красота природы не поражает душу. Не до того...

А добра и мудра пословица, что-де дома и стены помогают. Невзрачно у нас! Полы прогнили, потолок и стены покоптели, мебелишки нету. Обихаживать некому. А всё свое тут, своё, хоть в этих невеликих аршинах. Сколько тут пережито, передумано. Сколько переговорено... Ино «своя печаль чужой радости дороже».

<Сентябрь?>

У нас на родине уже и август месяц в осень кладут. По здешним местам август — ещё лето. Ино теперь и по-вашему, и по-нашему осень пошла...

Сколько горькой печали, где мы, старики, чаяли видеть молодое счастье, молодую жизнь, так всё исказилось, избезобразилось.

Каким лучезарным, добрым, ласковым светом озарены для меня мои воспоминания об отчем доме, о родной семье, об отце и матери. Эти воспоминания, точно благословенны, на всю жизнь.

...Добро, добро читать книги, которые книги годны-то тебе. Ты тогда себя человеком числишь, когда утверждение какое-то имеешь, когда пишется тебе, когда стоющее хоть помалу накапливается. Иное — стоющие мысли проносятся в голове, но не подвизают руку к писанию. Неохота взять карандаш. Уныло созерцаешь себя в такие дни. Не люблю жить бесполезно. И много дней так-то прошло...

И вот как же ценить надо такую книгу или такие книги, которые не только мысли в голове рождают (воистину, книги эти живые, и живы их словеса, как семя чистое, жизненное, благопотребное), но и руку к писанию подвигают. Настолько насущны, живоначальны, живодательны, настолько сильны, могучи слова этих книг, что даже мой дух, мнилось — невсклонно упавший, давно поникший, заботами, неисправностями, тревогами, страхами, болезнями дух угнетённый, эти книги, то есть мысли, идеи, в них заключённые, будят, подымают, зовут, окрыляют, живят...

И вот ещё мысль мелькнула: а для чего, на какой предмет, для кого пишешь или записываешь, и записываешь такие и всякие свои мысли... Не знаю, для кого. Опытные и высокие, достигшие уже меры <1 нрзб.>, хоть сколько преуспевающие, только улыбнутся этим строчкам... Да ведь и сам я сознаю, что это всё «говор водный», пена, на воде сбиваемая. Все эти мои описания ощущений «радости» суть «восхищение

недарованного». Это всё не на деле, не от дел слова. Всё это самообольщение. Потому самообольщение, что при всякой даже тени страха всё, как дым, рассеивается, без остатка. При тени страха готов я от всего отказаться, малодушный, слабый человеченко...

Но почему же всё-таки, заведомо зная, — думаю, и люди знают, и лучше меня знают ничтожество и бесчестность мою — у многих достойных в долг взял и не отдал (в долгах всяко замарался), я всё-таки пишу и люблю сквозь все гнетущие заботы это веселье в себе. Потому что единственно стоющим (сам-то ничего не стою) считаю это на земле, единственный смысл жизни в этом вижу. Единственную правду, единственный смысл жизни...

...Вот что охота отметить: когда б ни касались сердца моего словеса сии: Киев, Киево-Печерская лавра, всегда слышу старый стих — «В небе тих вечерний звон, вы откуда собралися, богомольцы, на поклон?..»[1] Всегда, очевидно, виденная и запечатлевшаяся на сердце (а умом забытая) картина-изображение, каким-нибудь богомольцем занесённая к нам на Север: на фоне вечернего золота... как бы город сказочный: храмы, пещеры, древа... золото, киноварь, охра, зелень... И что-то всегда тётушка моя о своей тётке рассказывала, кто-то «ходил (из семьи) в Киев». И вот думается, чувствуется: отозвалось что-то раннее, золотое в душе, когда весною увидел я в Лит. музее лубочные, столь преукрашенные изображения Киево-Печерской лавры... Я не знаю, как там было в действительности и что там было. Но я знал и хранил в душе и через четыре десятка лет пронёс в душе небесный Град, старый Киев. Не малороссийский, а как бы некий Китеж, недосягаемый, святый.

---

[1] Строки из стихотворения А. С. Хомякова «Киев» (1839).

15 октября

Из пятого в десятое проглядел запись этой тетради: всё печаль да уныние. Всё будто про больной зуб, одно и то же. А ведь никому до чужой печали дела нет. Один в мире человек у меня есть, для которого моя печаль есть его печаль. Но прискорбно мне его повседневно и повсечасно печалить. Порадовать бы хотелось. Ему и жаловаться не надобно. Он по морде моей видит, что я всегда в унынии прискорбном.

А и как мне не унывать: глазишки еле свет видят. Хотя и что уж унывать: к шестидесяти подвигаюсь. Нагляделся уж на свет-то Божий. Бывало, один я любил посидеть, над книгой подумать. Теперь читать не могу. А думы безотрадные. Кроме брателка, никто не придёт, не разговорит, не уведёт печальных дум.

Пять часов, смеркается. Небо сегодня не столь густо спеленато. Ветер холодный как будто. Мостовые пообветрели. Галки сегодня перед сумерками пролетают над городом, кричат. Знать, по-за городом холодно стало.

22 октября. Четверг

Вторые сутки дожжинушка мелкий, как пыль мокрая, и с туманом. День худо глаза-те приотворит, да и смеркнется. В четыре часа у окна читать не видно. Холодно, слякоть, мостовые отблескивают. На деревьях уж ни листочка. Холодно, мокреть, дак и галка-воронка во весь день не прокаркнула. Грязинушка, а братцу хоть плыть, а в деревне на работе быть.

Но сумеречные тона одиноко-задумчиваго, молчащаго с людьми дня прекрасны. Летния общепонятныя красоты олеографичны, лубочны. Летним днём вдосталь налюбуешься. А октябрьский-ноябрьский день недолго на тебя глядит, мал час гостит. Он ничем тебя

не подкупает, испытно, взглядом спросит: «Симон Иоппие, любишь ли меня паче сих?»[1] Пока ответишь, его уж и нет.

Летний день, он любимец публики, он у всех имеет успех. Летний солнечный день — баловень. Это румяный, завитой, раздушенный красавец, модная картинка. Вся «широкая публика» с ним в сад гулять идёт; все его чмокают, всем он на утеху.

А этот холодный, сосредоточенный в себе, несчастлив в любви. Он сам по себе, он незнакомец. Не ловит улыбок и взглядов. Проходит, опустив глаза: лучше любя не иметь, чем иметь, не любя.

26 октября. Вторник

Сегодня яснит. Днём проглядывало солнце. Холодно. На вечернем, ясно догорающем закате, как на фарфоре, как будто тонкой кистью нарисованы деревья, ветви. Осень... «Давно ли» была весна? Проходят дни, годы. Всё те же низенькие оконца и глядящая в них вечерняя заря. Мерное тиканье часов.

...Сколько было намерений, сколько надежд! В жизни я любил украшения. А украшать-то и нечего стало. В землю путь близок, а на небо крыльев нет. Художная душа, я из бумажек лазоревых да золотеньких крылья-те клеил. На словах жизнь провёл. Баять да приплакивать был горазд. Но «Еремины слёзы по чужом пиве льются». Замашки были, а не взмахи. Тянулся к чему-то, устремлялся, а всё сидя на месте. Как баржа с товаром, весь век на мели. Но баржа может ли сама с мели сойти?.. Никакой пароходишко баржу-то не зачалил да с мели не сдёрнул. А уж её песками заметало и товаришко в ней подмок.

---

[1] См. Ин. 21:15.

17 ноября. Вторник

Больших морозов ещё не было. Холода вперемежку с мокром. Вчера вечером вдруг оттеплило. Сегодня мокрый снег подносит.

Этот месяц живём ничего, хорошо, без нужды. Я играл в платных спектаклях. Приглашает воронежский антрепренёр на восемь разовых. С одеждой только никак не справимся. Без неё эстраднику нечего делать.

В четыре пополудни уж темнеет. Галки кричат; небось к теплу. День преподобнаго Никона[1]. Как просит душа-то хоть малаго покоя и мира! Пускай подмостки театральные хлопотливый заработок. (Мне пятьдесят пять, а уж, видно, старик!) Но ежели б чаще под ногами подмостки-те чувствовать! Уверенность оне дают. Когда-то были дела, выступал чуть не всякой день. Теперь забывать стали старого паяца. Не в моде стиль Ивана Фёдоровича Горбунова[2].

25 ноября. Среда

С Веденьева дни, с субботы, по Александров день Невскаго[3] три дня дождило и снег без остатку сгонило. А в понеделок же, к ночи, одним часом ветер сменился; заморозило, высушило. А снегу нет. Братец на работу бродит по мёрзлым бугирям. Всё бегом да бегом. Домой придёт — отдышаться не может. А ему нельзя бегать.

---

[1] 17 ноября — память прп. Никона, игумена Радонежского (1426), ученика прп. Сергия Радонежского.

[2] *Горбунов Иван Фёдорович* — русский писатель и актёр (1831–1895), в творчестве которого соединились обе эти профессии, что позволило ему стать основоположником жанра сценического рассказа.

[3] *С Веденьева дни, с субботы, по Александров день Невскаго...* — Введение во храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября; память блгв. вел. кн. Александра Невского — 23 ноября.

Вторую зиму кашляет тяжело. Сколько работа, друга столько гулянка эта, попажа на поезда ночью меня-то вконец удручила. Не по силам ему, не по здоровью, не по годам.

В Александров день с эстрады вякал два часа. Публика — художники. На улицу-ту вышел: поносит меня. Да... «песни пой, избу крой, а шесть досок паси». Худой стал я. От силы на сотню публики меня хватит, а уж на большой сцене опасаюсь. Боюсь, что с воронежскими гастролями одни разговоры. Антрепренёр речист, да...

По коридору соседский мальчуган бегает. В Михряюшкиных годах[1] (трёх годов нету!). Всё прислушиваюсь: будто Мишуточка кричит да лепечет. Только этот нелюдимый, сердитый какой-то дитёнок. А тот всё с улыбкой. Так бы и поглядел, так бы и послушал, так бы и прижал к сердцу милаго, маленькаго Завлеканушку, светлое мое улысканьице, радостное усмеханьице.

С желанием прочитываю об Отцах четвёртаго века. Бесконечно величавыя образы, несказанно трогательныя. С волнением следишь это море жизни, столь отдалённой. Чудишься и любишь их, великих, дивных. А отложил книгу и... уж как бы фрески древния соглядал. Прекрасныя, гениальныя, но... о как давно это было! Нет силенок связать и применить к теперешней жизни.

...Вервие ума кратко, не достаёт глубин тех.

На дворе морозит и ветер.

19 числа память была Филаретова. Я задвеньем <забвеньем?> утерял, не вспомнил. Беспамятен стал. Так вот и упускаю силу и угодье дня. Дни богатые проходят, а я скудаюсь, нищенствую разумом своим.

Но и взять-то от богатства и силы дня уж нечем стало. Опустел, ослаб, опустошился человеченко убогий.

---

[1] Речь идёт о сыне Михаила Барыкина (Миши старшего), также названном Михаилом.

Мимо доброт и красот тех бреду. «Пропали силы, притупился взгляд».

6 декабря. Воскресенье

В канун Николина дни первый большой мороз взялся. А снегу ни порошинки. Бесснежье, слышь-ка, широкое повсюду. Бывало, смолоду мы ничем звали мороз-от. Теперь, как зима, так и печаль. А странно здесь: речки сковало, земля как железная, а белости зимней нету.

Я не вижу природы-той: дён с десять за калиткой не бывал, да и на крыльцо не выкуркиваю. То кашель, то поясница, то ещё незнамо что. Не по годам немогута пришла. Без воздуха и голова всякой день болит, порошками опился.

14 декабря. Понедельник

После Николы поднесло снежку, накрыло инде как бумажкой, да и опять нету. Морозов нет, а холодно. У меня и без морозу сердце вызябло. Неможется. День бежу, да два лежу. С утра болит голова. Днём пошевелюсь с чем ни то: комнату приберёшь, полено разлучинишь, и — полежать надо, сил нет. Хуже стогодовалого старика. Братишко надо мной тужит. Я отговариваю: ахал бы дядя, на себя глядя. Он с двумя-то работами до краю добился. Осенью бродил, в грязи тонул, теперь о голый лёд колотится.

С воскресенья, 20-го, зачнутся предпразднества. «Просите и дадут, ищите и найдёте, стучите и отворят»[1]... Вишь, просил-то я только языком, для баландолу. А искал только похотей лукавых. А стучал я, как барабан: старым-то своим годам вижу, что не вера у меня была, не взысканье Бога, а суетня около. Неиграе-

[1] Мф. 7:7–8; Лк. 11:9–10.

мым играл весь век. «И хочется, и колется, и блудня не велит». Такие, как я, только треплют имя Божье. Хулится оно такими, как я, а не славится. «Талант» этот мне был отпущен, дан. Я им как игрушкой играл. Как погремушкой баловался. Писанья, минеи, чины, службы, праздники... И я, как попрыгунья-стрекоза, вокруг да около: ах, красиво, ах, поэтично, ах, возвышенно!.. «Лето красное всё пела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза...». Старость-та подходит, и вижу, что не на деле, а на баснях век-от проводил. Я сделал для себя игрушкой-забавой то, что есть смысл жизни. И вышло: «отцу-матери бесчестье, роду-племени позор». А уж «зима катит в глаза», то есть нечувствие, уныние, упадок сил душевных и телесных... А к яселькам-тем подползти бы да припасть бы, скоро, уж скоро пастухи-те услышат: «Слава в вышних Богу, и на земле мир»[1]. Нежность, говорю, к детям Мишечка во мне ключом таинственным отомкнул.

...Младенец Вифлеемский, Младенец миродержавный, дай к Твоим яслям припасть! Нет иного счастья, иной радости. Убогий вертеп, убогие ясли... Младенец Божественный, Ты с нами. Младенец прелюбимый, свете миру, мир Твой даруй сердцу моему! Свете беззакатный, солнце незаходимое, Младенец предвечный, Дитя пречудное, Дитя вожделенное, к яслям Твоим припадаю, перед Тобой плачу. Дивно безмолвствуя в яслях, Ты слышишь нас.

30 декабря. Среда

«Зимы ждала, ждала природа — снег выпал только в январе». Сейгод так и получается. Ежели выпадет снег-от. На второй день Рожества постлало тонко-бе-

[1] «Слава в вышних Богу, и на земли мир» — Ангельская песнь (Лк. 2: 14), поющаяся на утрени.

лую скатерть. Через день по городу и ту сгонило. Вчера опять в бумажный лист напало. Подморозило. Ночью я вышел во двор. Месяц высоко стоит. Белый дворик сияет снегом... Почудился я и подивился. Забыл уж об этой чистой красоте. Как будто давно это всё было и отошло невозвратно. Потому я и болею душой и телом, что лишился чистоты, тишины, прозрачности и светлости природы.

Не вижу природы, не дышу ею, утерял ея светлое виденье и знанье. Зачах, выдохся я в камне, в подвале. Не дышу воздухом, не вижу простора.

1949

1 января

Генварь зачался. Зимы два месяца осталось. Время к свету пошло. День прибавился на час. Святки проходят, а мне ни тепло, ни холодно: мне что праздник, что будни. Пустота на сердце пала. Вымороченное именье, а не человек стал. «Три клада в сей жизни были мне отрада»[1]. Ни единаго не сохранил.

6 января. Среда

Всё не в себе живу. Ни в тех, ни в этих прозябаю. Как хоромина непокрыта, как одёжина без рукава. Ни к чему не гожее моё существование. День за днем — всё мимо меня. Всё без пользы. Светлый разум дней где-то далеко от меня проходит, стороною. Не слышал,

[1] Из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».

как пастушки играли на свирелях, свет не знаменался на моей темноте. О, как богата нищета яслей тех и насколько скаредно моё оскуденье...

Братишко всё в худых душах бродит. Я ему худая помога, из-за того пуще и унываю. Никто к нам не ходит. И доброхотам-то нужда и докуки наши надоели.

Изредка, к ночи, когда приутихнет над городом, вылезу на двор. Белая пелена снега, молчаливыя громады домов, молчащее тусклое небо. Слушаю: где-то прокричат галки... Вздохнёшь, запросишь мира какого-то в душу.

Как велик упадок церковнаго пения! Правый, «праздничный» хор, как правило, исполняет номер за номером пошлейшия, кричащия, безвкусныя вещицы. Левый хор — кто в лес, кто по дрова; кто рубль, кто полтора.

13 января. Среда

Второй день притаивает на солнышке. Тихо-безветренно. Погода: будто и март. Снег-от выпал, братишко катанки подшил, а по городу не пройдёшь, — водяно по расхожим-то улицам.

«Брожу ли я вдоль улиц, шумных...»[1]. Ох, думы мои, думы мои, «лыхо мене з вамы...»[2]. Обрадоваться охота чему-нито! Братишку надо бы от упряжки освободить. Не по силам ему! ...Ино, мои-те заработки всегда вилами по воде писаны: вспомнят, ткнут в какой-нито концертишко. А не вспомнят — сиди жди. А здоровьишко худое. Голос короток стал, звонкость потерялась.

Не порато[3] стары мои годы, а радости в душе, в сердце, в сознаньи не стало. Видно, не в кованой скрыне

---

[1] Первая строка стихотворения А. С. Пушкина (1829).

[2] Из стихотворения Т. Г. Шевченко «Думы мои», ставшего народной песней.

[3] *Не порато* — не очень (*диалектн.*).

хранилось, а в деревянной чашке штяной налито было моё «сокровище духовное». Чашица-та обветшала, трещину дала, сила духа утекла.

На дворе смерклось к пяти часам. Месяц назад к четырём смеркалось.

18 января. Понедельник

На дворе мягкая, белая «зимка». Дворик наш белой скатертью устлан. Встану под деревом. Сквозь тонкия веточки небо видится, будто и природа. Снег шёл день до сумерок. Люди всё толкуют — «уж один месяц зимы остался». И я утешаюсь — скоро февраль-«бокогрей». Сживаю да сбываю зиму-ту. Неладно это. Всякое время года надобно принимать как доброго гостя и жить с ним душевно, а не спихивать, не тяготиться: скоро ли, де, ты уйдёшь?! Какое время стоит на дворе, то и следует всякой день проводить благодушно.

Зима сейгод до нищего человека милостива. «Крещенских» морозов не было. Афанасьевских, сегодённых, — тоже. Ударят ли «сретенские»? А там солнышко о полдни станет пригревать.

Намедни прочитал трогательное, чудесное сказанье об основании Тверскаго Отроча монастыря. Когда-то, ещё в детстве, я читал эту прекрасную повесть и забыл. Но как тогда, в детстве, так и теперь, к старости, всё то же впечатление золотаго, ранняго утра. Утро моей жизни там, далеко, в светлом Помории, и утро святой Руси. Какое-то единство переживаний и впечатлений. Читая повесть, живу жизнью детства своего. Эта повесть и подобныя ей навсегда пленили меня в любовь к красоте Древней Руси. Я с детства, с самой ранней юности стал искать эту красоту в красоте родного Севера. Тщился изображать её в рисунке, в красках.

22 января. Пятница

Хвастал я, что и Афанасьевских морозов не было. Ино 20-го, в среду, крепонько хватило, да с ветром, с сивером. Вчера вечером мело. Сегодня утром притаивало. К вечеру запад яснит сквозь розоватую облачную муть: небось, к ветру.

Я, нижайший, всё в худых душах, вернее, в худом теле. Печку еле истоплю. Ночь не сплю. Лежу, сам себе в уме какой-нито рассказ рассказываю. Людям-то некогда меня слушать, а мне им рассказывать негде. И я сам себя веселю. От печальных мыслей себя увожу.

24 января. Воскресенье

По-северному сегодня «полузимница Оксенья». По-здешнему... вроде как с Афанасия сейгод зима-та началась. Через день мороз, не велик, да стоять не велит. Братишко катанки решил заушить<заложить?>. Чает: пимов худых на месяц хватит. А там-де вешние воды.

А я оттепель люблю. В морозную ясень природа как горница без потолка, как жильё непокрыто. Как-то резко и бойко всё и при зимнем холодном солнце, и при летнем полуденном. Тут оговорюсь: на хотьковских холмах в феврале, при солнце неописуема, несказанна блистающая чистота и прозрачность дня. Воздух, белизна, лазурная синева теней!.. Но я люблю тихую, нежную облачность оттепели. С крыши тихонечко каплет. Где-то каркает ворона. Молчат дороги: нет этого резвого скрипу. Задумчиво небо... Инде разлилась тёмная на белом снегу лужа... Какая-то грусть, обещающая несумненное веселье.

Вечером сбродил к службе. Пастырскую свирель Григория не риторов трубы, а докучное и бездарное

творчество богомольных барынь середины XIX века побеждает.

О Великом, уме крайнейшем, почти и не слышно. Глубины духа изыскавший где-то «сзади, Христа ради», с нищими на паперти. Всё заменено службою «Утоли моя печали»[1], «...устав не писан». Акафист — многословие не без пустословия.

Как гневался Филарет на такое бездарное «творчество»! Гневался и не знал, что делать с этим мутным дилетантским потоком, засоряющим уставную службу и подавляющим её.

Не хулю праздник «Утоли моя печали». Но ведь Деве Богородице всякой день поют гимны, составленные классическими поэтами Церкви.

Во всяком случае замалчивать, пренебрегать памятью Великого Учителя и Отца доказывает величайшее скудоумие тех, кому сие ведать надлежит.

А здесь местный, бытовой праздник всячески подавил праздник вселенский.

26 января. Вторник

Зиму-ту проводили было. А она, матушка, не собиралась, видно, уходить. Морозец уши добре прихватывает, да с ветром. Ввечеру носил дрова из сарая. Таково-то светел месяц в непостижных, беспредельных высотах небесных. Снег под ногами скрипит. По белизне его моя синяя тень ходит. Дышишь морозной этой чистой ясностью. Стравила, выела, выдула ясность чистая, морозная проулочную, междомную копотность, грязность, дохлость.

---

[1] 25 января память свт. Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (389), и празднование иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640 г.).

...Трое их великих, светлых, вечных собралось в зимнем этом месяце[1].

29 января. Пятница

Сам себя тешил народишко, что зима прошла, «без рукавиц можно». А она по Афанасьеве дни силу забрала. Сейчас уж сретенские жмут: по улице бежи, ухо да нос держи. Оконца у нас утлыя, из лучинок складены; затянуло морозом, всяким ремошьем заокутываем. Печка-галанка тепло худо держит, ветхая. А се и дрова экономим.

4 февраля. Четверг

Облачно, с крыш капель. По дворам утоптались тёмныя дорожки. Отмокли тротуары, местами лужи, скользко. Зычно прокаркивают вороны. И в вечерней тишине — капель с крыш.

Михайло ездил к тёще. Оказывается, она почти всю зиму одна-одинёшенька с двумя внучатами. И воду ледяную добывает-носит, и за коровой ходит-убирает, и печь топит, и еду готовит, и моет, и стирает, и с двумя младенцами водится — всё она, всё одна... Я услышал — ужахнулся. Ведь с ребят-то ни днём, ни ночью глаз нельзя спустить! Спит ли когда она? Присядет ли днём-то хоть на пять минут? Я Михаиле говорю: ты и твоя жена, оба вы должны этой труженице «ноги мыть и эту воду пить».

Сбродил к Мефимону. Как хорошо! Пенье «домашнее», но самый канон поистине велик, действительно, предельно полн неиссчетным умилением. —«Я драхма,

[1] В январе празднуется память всех трёх Вселенских учителей и святителей: Василия Великого (1 января), Григория Богослова (25 января), перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (27 января).

которую Ты когда-то потерял. Найди меня». «Лежу, как Езекия, и плачу. Какой Исайя утешит меня? Ты Сам приди»... И эти светлыя хвалы Египтянке... Встает ея прекрасный, чистый, удивительный, любимый образ.

Назад шёл: высоко стоит месяц над домами. Тонкий ледок на лужах хрустит и опускается под ногою.

Остыла, отяжелела былая впечатлительность ко всему тонкому, высокому, прекрасному. Надобны стали внешния побуждения. И сильныя. Купно с телом одряхлел и дух. «Не имам слезы умилительныя»[1]. Но и опять скажу, почему это так: впечатлительность к «высокому» той же кровью питалась, которая возбуждала и низменныя страсти. Всю жизнь я ползал семо и овамо[2]. Сколько на небесную красоту поглядывал, вдвое-втрое земную пошаривал. До обеих лаком был.

Между тем природа, сущность оной горней красоты такова, что она не может смешиваться ни с какою «красотою» сомнительною. Возлюбил её и иди за нею, не шныря глазами вправо, влево и назад. И я век свой к той, «единой па потребу» красоте, не шёл, а как рак, задом к ней пятился. Тот там рак не горевал, прибылой воды ждал. А меня какая вода с мели снимет? Я и рак-от не живой, а как кирпич в тине лежу.

Как комар, ною про это, а что же надо сделать? — А уж это программа всей жизни. Хоть пять годов жить осталось, хоть двадцать пять. В этот благой университет принимают без ограничения возраста. Хотя ты и задом наперёд ходишь от древности, — ничего: садись за парту, берись поне за букварь. Не тужи, что кости трясутся.

Как же на эту дорогу встать? Где этот ум взять?

---

[1] *«Не имам слезы умилительныя».* — Слова молитвы Канона покаянного ко Господу нашему Иисусу Христу.

[2] *...семо и овамо* — туда и сюда (*церковнослав.*).

Вот вторая неделя постов Паламина будет. Его зови: «...Як ум Уму Первому предстояй, к Нему ум наш настави»[1]. А через три дня вникни в жизнь той, которая «правостью умною привязала душу свою в любовь Христову». Которая «тленная, красная и временная забытием претекла»[2].

Вишь, всё про ум говорится. Понятие «душа» вроде как и не ясно нам. Что она такое? Жизнь, дыхание, чувствования? А ум... это будто бы мы понимаем (!). И «Первый ум», то есть подлинный ум, то есть оригинал всякого ума есть Божье Слово. Следственно, мы должны быть копиями живыми. О, как возвеличен человек! Ведь человек же был Палама. А он назван «ум божественный».

Добро войти в стихию, в степень, в русло такого ума. Правильность мышления здесь не даёт результата схоластическаго, сухого. Правильное, логическое мышление, «правость умная» приводит здесь мыслящее существо человека в любовь.

...Ночь. Высок и светел месяц. Скроется в лёгком облаке и снова сияет. Лёд блестит на дворе в свете месяца, лёд, притаявший днём, прихваченный ночным холодом. Ночь вся исполнена каким-то лёгким, как бы растущим светом месяца.

---

[1] Неделя вторая Великого поста — переходящее празднование памяти свт. Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского. См. кондак Григорию Паламе: «Премудрости священный и Божественный орган, богословия светлую согласно трубу воспеваем тя, Григорие Богоглагольниче; но яко ум Уму первому предстояй, к Нему ум наш, отче, настави...»

[2] См. тропарь прпмц. Евдокии (память 1 марта): «Правостию умною душу твою привязавши в любовь Христову, тленных и красных и временных забытием претекла еси, яко Слова ученица, пощением страсти первее умертвивши, страдальчески второе врага посрамила еси».

2 марта. Вторник

Прочитываю книгу «Чины колмогорские соборные»[1]. Первый завод Афанасьев[2] на Севере... Бывал там, видал места те. Шумящие под ветрами воды, песчаные берега. Древний деревянный городок и поодаль меж старых елей белокаменное Офонасьево зиждительство.

Великого размаха был человек. Под стать Петруто. Какую художественную нарядность, какую цветистую картинность. Как декоративны, каким восхитительным зрелищем, истинно театральным, были даже эти «большия и малыя провожания» Афанасия из его дома к службам и обратно. Перезвоны, обрядное пенье, узорные аксамиты, разноцветные штофы... И всё это на фоне строгой и прекрасной природы, под жемчужно-восковым небом Севера. Сколько тут было для народа посмотренья-погляденья! Было на что полюбоваться! А ведь не про это, про другое любованье мне поквакать было охота. Ведь то моя родина... Чины колмогорские соборные старинные глазами читаю, а сердечное, а умное-то око видит, как всё это при мне, во дни юности моей было. Чины Великаго поста, Велика дня конца XVII века читаю, чины служб церковных, а по свойству моему вижу обтаявший пригорок у южной стены собора. И мосточки тут вытаяли и обсохли. Бугор соборной, хоть пообсох с юга, трава ещё бурая, прошлогодняя. Старухи тут сидят, в шубах с долгими рукавами. Из-под шуб видны сарафаны с репей-

---

[1] *«Чины колмогорские соборные».* — Видимо, Шергин имеет в виду опубликованные А. Голубцовым «Чиновники Холмогорского Преображенского собора» (М., 1903); издание содержит богатый документальный материал о жизни Холмогорской и Важеской епархии в первые годы её существования.

[2] *Первый завод Афанасьев.* — Здесь: начинание Афанасия. Архиепископ Афанасий (Любимов-Творогов) — первый архиепископ Холмогорский и Важеский (1682–1702). Резиденция архиепископа и кафедральный собор находились в Холмогорах.

чатыми пуговками. С холма далеко видать: речки ещё не вышли, но уж лед, инде, посинел. Под Куростровом, где стоит древний ельник, уж вон какие забереги! Попадут ли куростровские к заутрене... А что матигоры, что куростровы, они художники, любители до чинов, до красот, до обрядов, до всяких прекрасностей, интересностей!

Долга предвесенняя и весенняя пора на Севере. Долго великия <вешние?> воды шумят и поют; долго глядится весеннее небо в полыя разливы рек. Долги вечерния, тихостныя апрельския зори. А в три утра светает. В Великий пяток на Погребение, бывало, бежишь: светлооблачно, с моря ветерок, инде полоса снегов, инде воды по улицам. Серёдка реки водой взялась, от ветра рябь идёт. Меж островами лёд стоит. В распуту весеннюю бывает холодно с ветром, когда реки идут, а весело на сердце! Бывает, река ещё стоит, а уж Город утопает в водах. По улицам на плотах ездят и к Страстным службам чужими дворами ходят. Тыны-заборы нарочито разбирают.

Таким образом, читая о XVII столетии, вижу я свою пору и о своей поре веселюсь. Соглядая художественность быта онаго столетия, радуюсь тому богатству впечатлений, переживаний и настроений, которыми так обильно упивалась душа моя там, на родине.

И вот ведь какое чудо! Эти впечатления и переживания отнюдь не воспоминания, отнюдь не прошлое для меня. Что было потом, лишь прибавилось к тому, что было раньше. Скажем: в юности отец-мать подарили мне сто рублей, а я прибавил со временем другия сотни. Ведь первая-та сотня не потерялась!!!

Может быть, я не вспоминаю по частностям тех фактов, которые сладко поражали мою впечатлительность. Очевидно, не факты, а сила радости, рождаемой фактами, неустанно клала свои печати на душе моей. А душа есть вещь непреходящая, нестареющая.

Вот почему веселить может «воспоминание».

Когда, например, запоют «вечную память», мы повадились рёв, хай, скулёж подымать. И тут мы являем, насколько мы малоумны, и безразумны, и полуумны. Потому что в разуме Божием, то есть в разуме вечном, всемогущем, всеведающем и всезнающем, понятия «память» и «жизнь» равнозначуще-равносильны и восполняют одно другое. Кроме того, память составляет половину ума-разума нашего. А о Зиждителе отцы говорят: «Все мы, живущие и отшедшие, живы в разуме Божием». Поэтому: «Помяни, Господи...»

О второй ипостаси Троицы акафист поёт: «Иисусе, память предвечная». День «памяти» какого есть день его жизни с нами, жизни особенно близкой и соборной. Хотя тебе не заказано воспоминать его, то есть жить с ним, разговаривать с ним, то есть молиться ему всякой день.

И воспоминания личной жизни человека могут быть однородны и равноценны «памяти Бога», и эти наши воспоминания суть дрожди, которыя квасят всё наше «смешение», и сила их животворна и не умирает.

4 марта. Четверг

На вчерашнее число в ночи снег пал, и вчера весь день сеяло с дождём. И таяло. С крыш текло. Сегодня к вечерней зоре прояснило, а дорогу не везде пройдёшь. Соседний переулок как река в ледоход: снегу разъезженнаго гряды да талая вода продольными лывами. Сейгод с крыш не роют: малоснежна была зима. Сам снег-от сбежит.

Прочитывал эти дни «Чины колмогорские соборные». От 1682 года по 1744 год. Это всё «дневныя», даже «повседённыя» записи, ведённыя в Колмогорах, в Городе, и в деревнях Двинского понизовья. Благодаря большой подробности записей эпоха как живая встаёт

перед глазами. Ты видишь эти карбаса, украшенные «клейнодами» Афанасия, Рафаила, Варнавы[1], видишь паруса с гербами, видишь деревянное зодчество, закладку зданий каменных, в которых ты, спустя двести лет, сам бывал и художество их помнишь не хуже убранства родного дома.

Чрезвычайно ярко отражена духовно-культурная жизнь Севера. При Афанасии Любимове на Колмогорах была живописная мастерская, где не только писали новое, но и поновляли древнее. Афанасий, так же как и современник его знаменитый Никодим Сийский, были страстными любителями искусства живописнаго. Никодим сам был «живописец преизящный» и составил трактат о живописи. Сийская школа живописи (XVI–XVIII вв.) не изучена совсем, по сравнению, например, с новгородской или московской. Манера «сийскаго письма» родственна устюжской.

Год за годом описана жизнь Афанасия: как встречал он Петра I, как плавал с ним на «новоманерных» судах.

Описанье холмогорскаго дома, где жил Афанасий, показывает, каким знатоком и любителем декоративнаго искусства был этот северный деятель.

Афанасий, как и Пётр, любил воду, и можно сказать, вся книга о нём наполнена стуком вёсел, плеском двинских и беломорских волн.

Поэт чувствуется и в авторе «Вседённых записок». Благодаря автору, о чине и имени которого можно только догадываться, сколько видишь, а ещё больше слышишь голоса, музыку эпохи...

Кроме плеска вод, исполнена книга денно-нощными перезвонами колоколов и уставным пением, знамен-

[1] *Рафаил* (Краснопольский) — четвёртый архиепископ Холмогорский и Важеский (1708–1711); *Варнава* (Волостковский) — пятый архиепископ Холмогорский и Важеский (1712–1730).

ным-столповым и демественным[1]. «Звон учали за час до свету». «Звон был переменялся в малые колокольцы». Получена весть о кончине царя Ивана Алексеевича. «Указал владыка к пению благовестить в большой колокол, в один край редко ударить единожды и, в конце звука, дважды и снова, при конце звука, единожды».

«В лето 1702, в ночь на 6-е сентября владыка Афанасий помре скоропостижно». В лиственничной домовине лежал он девять недель, ожидая официального указа из «царствующего града» о погребении. Многолюдные поминальные столованья в третины, девятины, 20-й и 40-й дни, с пением, с заупокойными чашами, по обычаю, справлялись тут же, в присутствии безмолвнаго владыки.

А нравом он был крутенек. Плавал однажды под парусом в Чухчерему «на обновленье». А карбас с соборянами запоздал. В наказанье всем им владыка приказал положить «по сту земных поклонов в шубах».

Как художественна, как торжественна была эта уставленная Афанасием жизнь в зимние великие праздники — Рожество, Крещенье! В ней участвовали не только Колмогоры, но и окрестныя именитыя селения: Куростров, Ухостров, Матигоры. Как удивительно преподносит это всё автор «Чинов холмогорских»! Слышишь эти перезвоны в сияющем звёздами северном небе. Видишь эти толпы, шествующие к ночным службам. Слышишь скрип шагов, пенье, славленье.

Великолепный и священный театр учинил этот владыка-художник. Нет никакого сомнения, что только благодаря Афанасию так неожиданно пышно расцвело в XVIII веке холмогорское искусство резьбы по кости.

---

[1] *Знаменное* (*столповое*, крюковое) пение — древнейшие виды русского богослужебного пения; *демественное* пение — стиль древнерусского церковного пения, получивший распространение в XV–XVII вв.

<Март>

Творчески одарённый человек создаёт около себя и распространяет атмосферу увлекательную и живительную для других. «Подобное влечётся к подобному» (Платон). У какого дела работает мысль человека, там и творчество. Всякая творческая деятельность человека рождает около себя жизнь. Особенно это относится к области искусства. Искусство тогда живёт сильно, когда оно вовлекается в строительство жизни. Та или другая эпоха, строительствуя, имела свои идеалы. На Руси в XV веке стержнем «большого» искусства была церковность. Центром внимания «большого» искусства была только религиозная тематика. Со второй половины XVII века волны общей жизни уширили многоструйную реку русских художеств... И церковное искусство как-то разрумянилось, раскудрявилось, подало руку бытовому народному искусству. Если портретист начала XVII века, пишучи царя Михаила, всячески тщился уподобить живое лицо иконописному лику, то в конце века наоборот: «белостью и румяностью», доведёнными до лубочности, старались добиться «живства». Старообрядцы только себя считают охранителями древней иконописи, забывая, каким яростным гонителем новшеств в живописи был как раз их антагонист Никон.

Но и сторонники Никона, теоретически разделявшие его взгляды на искусство, может быть, незаметно для себя увлеклись «живостью» в искусстве и способствовали этой живости. Таковы были, например, знаменитый деятель Севера, холмогорский архиепископ Афанасий (род. в 1640 г., умер в 1702 г.) и современник его, страстный любитель искусств и сам художник, сийский архимандрит Никодим. В Сийском монастыре была старинная живописная мастерская. Под руководством такого теоретика и практика, как Никодим, была, несомненно, и холмогорская мастерская. И если

у себя в обители Никодим поддерживал относительную древность «сийского» стиля, то на Холмогорах, поощряемый широкою, жизнедеятельною натурой Афанасия, вводил в иконопись реальный пейзаж, «младую округлость» фигур, белость и румяность ликов. Впрочем, и Сийская школа давно, ещё до расцвета своего при Никодиме, писала ангелов с обнажёнными по колено ногами, с голыми по локоть руками[1].

В таких случаях исследователи начинают, как дятлы, долбить о влиянии Запада. Любовь Афанасия к художеству объясняют (А. Голубцов) исключительно влиянием Немецкой слободы в г. Архангельске. Жалкое, но типичное объяснение. У торговых дельцов, наезжавших в Россию исключительно для наживы, наши Афанасий и Никодим заразились, видите ли, страстью к искусству.

Нам гораздо интереснее то, что эта страсть Афанасия строить, перестраивать, обновлять, а главное, украшать дала толчок, стимул бытовым народным

---

[1] Примечание Б. В. Шергина: «Мастерская в Сийском монастыре основана преподобным Антонием (ум. в 1569 г.), который сам был «живописцем изящным». «Сийское письмо», то есть стиль, определилось уже к концу XVI века. У старинщиков, у старообрядцев, любителей издавна существует термин «северные письма». Так называют иконы своеобразного стиля, вывозимые с Севера. Их изводят то от Строгановых с Соли Вычегодской, то из Устюга, то с Вологды... Почему-то совершенно вне внимания осталась и остается школа Сийская, существовавшая, во всяком случае, до конца XVIII века. Как ни странно, эта школа раньше других русских школ живописи отразила на себе «барочные» веяния (а может быть, ренессансные?), но преломила их чрезвычайно своеобразно. Несмотря на какое-то веяние Ренессанса или барокко, Сийская школа, например, первой половины XVII века, выглядит архаичнее икон московских той же поры и не похожа на них. Но не похожа она и на новгородские (на византийские — большая декоративность). Цикл икон на тему «Апокалипсис» (12 громадных квадратных досок) в церкви Рождества в г. Архангельске. Тона синие, зеленые, черные. Мало вохры и киновари».

художникам и ремесленникам. В течение двадцати одного года, буквально день и ночь «без поману», и на Колмогорах, и в Архангельске, и по Двине, и по Пинеге работают «каменные мастера», «плотники добрые», «искусные умельцы по железу», «мастера кузнечного дела», «добрые мастера столярского художества», «изрядные живописцы-малеры». (Эти «малеры» расписывают карбаса и струги, паруса и завесы, сани и кареты, потолки и двери, крыльца, галереи и переходы.) В великом фаворе у Афанасия были художники — резчики по дереву и, конечно, резчики по кости.

Холмогорская резьба по кости является одним из самых оригинальных, самых изящных народных художеств России. Из всех народных искусств Русского Севера оно стало и широко известным, и наиболее оценённым.

Читающий статьи-исследования об этом искусстве получает впечатление, что оно как бы вдруг, как бы упав с неба, расцветает на Колмогорах с первой половины XVIII века. Прикидывая и примеряя, один из исследователей (а их всего двое) полагает первым организатором холмогорских костяников зятя Ломоносова, Головина. Никто из исследователей народных искусств Севера (правда, эти «исследования» носят очерковый, эскизный, чисто дилетантский характер) не рассмотрел, не оценил столь важной, столь значительной в истории искусств эпохи, какова была эпоха Афанасия и Никодима. Очевидно, не доходили руки или не пришло время.

Между тем «зажиг» пошёл от Афанасия. Не при нём костерезное художество зачалось на Колмогорах, но он первый из единичных резчиков собрал в «число».

Афанасий и, несомненно, Никодим, собравший колоссальный «свод» русского художества — «Сийский лицевой подлинник», дали резчикам рисунки-образцы и подробнейшие инструкции.

Эпоха Афанасия была эпохой лютой борьбы с расколом, борьбы страстной и непримиримой. Сам Афанасий первоначально был яростным противником «Никоновых новин» и «адамантом древнего благочестия от своих нарицашеся». Но внимательное изучение классиков, так сказать, святоотеческой литературы заставило его усомниться в правоте раскола. «Ежели по букве мы в малом чем и видимся правы, то по духу церкви единой вселенской мы не правы: воюя за меньшое, попираем великое». Афанасий сблизился в Москве с видными деятелями и сторонниками новых веяний — Стефаном Яворским, Симеоном Полоцким, Епифанием Славинецким, с художниками — Симеоном Ушаковым и другими. Поскольку Афанасий был великий знаток «божественных» писаний и страстно интересовался церковными делами, его приобщил к себе патриарх Иоаким.

Проповедь старообрядчества, как известно, особенно живой отклик и сочувствие встретила на Севере. Дальновидный Иоаким учредил в Колмогорах архиепископию и послал туда Афанасия. Староверы твердили, что-де «нонешние архиереи чины и уставы церковные ни во что кладут». Между тем, Афанасий был любителем, несравненным знатоком и ценителем богослужебных уставов, чинов и обрядов. Благодаря Афанасию раскол не стал на Севере явлением массовым.

Северные люди чутки ко всякой красоте, к художеству, к искусству. Ценитель, любитель и знаток «всякой красоты и преизящности», Афанасий в своём строительстве необычайно широко применял народное искусство.

Построенный Афанасием каменный собор в Колмогорах поражает строгим изяществом архитектурных пропорций. Даже дверные навесы, пробои, затворы «кованы с вымыслом». Замки, кованные по рисункам самого Афанасия то в виде коней, то в виде птиц, до сих

пор, двести лет спустя, служат своему назначению. Настолько добротна была эта техника.

Афанасию, воспитавшему свой художественный вкус в Москве, странной казалась архитектура северных шатровых церквей. Приехав на освящение церкви Козьеруцкой пустыни, владыка зело кручинился: «Откудова вы взяли такое поведение, чтобы городить фряжский турм?» (Дас Турм — башня.)

Афанасий сам стал делать рисунки и чертежи для новостроящихся на Севере храмов, предписывая «освященное пятиглавие». Надобно сказать, что северные зодчие и плотники зачастую «учинялись архиерейскому указу ослушны и противны».

(Во всяком случае, мысль Афанасия о происхождении северной шатровой архитектуры от готики любопытна.)

Но любовь Афанасия к бытовой «приукрашенности» нашла сочувствие. Из Колмогорской и Сийской мастерских распространялись рисунки-образцы всякого «узорочья». Кроме старорусских, здесь видим и мотивы североевропейского барокко и рокайль. В горниле северного народного творчества европейский барокко XVII века и французский рокайль переплавились, стали одним из видов вполне «русского» стиля.

В XVIII веке мода на художественные вещи, сделанные «по маниру огородов Версальских», распространилась всюду. И холмогорские, например, резчики-костяники, к чести их, могли предложить обществу этот «барок» и этот «рокайль» уже в чисто русской переработке.

<Март>

Всю неделю таяло. По дворам, по проулкам вода. У нас и не пробредёшь, калошишка заливает. Про-

тив окон лужа. В неё глядится небо, чуть пооблачное. В Хотькове уже грачи прилетели. Братец не приметил, которого числа...

...Кабы брести тихонечко деревенской дорогой, меж талыя лужи. В оврагах ещё снег. Под снегом, а инде поверх, ручей гремит. Подойти бы да посидеть у избушки на обсыхающей завалинке. Хозяин скворешник чинит. Петух где-то далеко пропоёт. Тишина. А небо, небо ненаглядное...

Опять думается: «там хорошо, где нас нет». Печали да заботы с собой ведь носишь. Думается: кабы нужды да печали сердечной не было, так и в городе, в кирпиче сидел бы, «ох» не молвил...

<Март>

Сей год малоснежна была зима. Поздно падали снега, не слежались, их круто и сгонило. По городу булыжник везде вытаял. В переулках грязно, по большим улицам уже обсохло.

Из жилья своего низенького вылезаешь, в глазах зарябит: как светло!

Грязь, лужи, а светло. Вишь, небо в лужи-то глядится. И несозвучным этому блеску сам себе кажешься. Как крот подслепый выполз. Бульваром брёл да брёл. Чудное дело: день, а бульварами никто не идёт. Слякотно, вишь. Грязь, вода. Порядочные люди тротуарами сыплют. Я непорядошный, дак грязями грести люблю. Вру, что никого нет: ребятишки тоже не как люди. Им тоже не интересно по сухим тротуарам. Им тоже любее по снежным лужам обутку мочить. Стайка мальчишек видят, что я вроде них кружаю по лужам, остановлюсь да на воробьёв погляжу, тростью в луже поболтаю, веточку понюхаю, — возымели ко мне симпатию: «Дя-

денька, пойдёмте, вон там за деревом лужа больша-ая! Сидеть можно!» — «В луже?» — «Нет, пенёк есть».

Март ненаглядный, раннее утро года. В марте и вечер беспечален. Ребятам любо, где «почтеннейшей» и всякой иной публики нет, и мне тоже.

Мальчишки, они озорники, да светлые они. Предвзятости, тяжести, а главное, скуки в них, в детях, нет, грузу этого. Злобы, а главное — безразличия к людям в детях нет.

Безлюдье, будто и не в городе. Ясное небо, вечернее. Мокрые дороги, вода. Холодный ветерок. Но это холодок утренний. Весь ты утро, весь ты радость, весь ты любовь моя, заветный, заповедный месяц март.

<Март>

Время к восьми вечера. А все ещё не погасла заря. Дома уже стоят чёрными силуэтами. Но потемнелая дорога все ещё блестит лужами, отражающими тихий свет зари.

Был я ещё молод, и так же в это же оконце глядела долгая весенняя заря. И опять вижу узор ветвей на золотистом догорающем небе. Когда-то (а уж не так давно) сладкая радость проникала в моё сердце от этой красоты неба, веток, воды. А теперь я гляжу и знаю, что это радость, — ведь любимый мой месяц март! Но как будто остается эта радость там, за оконцем, и не проникает меня.

И, выступая на подмостках, я уже не вхожу в роль. Делаю привычные жесты, привычно понижаю или усиливаю голос. Смешу. Публика хлопает, а мне, увы, безразлично. Ведь что в двадцать пять, то и в пятьдесят пять преподношу. Не чувствую, примелькалось.

<Без даты>

...Бойко сей год вода сбежала и с крыш, и со дворов. Не успел я наслушаться этого шёпота ночных мартовских капелей. И сосулек ледяных кровель не видел. Конечно, в деревне протяжнее весна. У брателка всё выспрашиваю, как на Хотькове воды, да как ручьи, как грачи, Пажа какова? А до грачей ли ему? В ночи-то с работы к поезду попадает: зги не видно, грязь да вода. Дорогу утеряет, на поезд опоздает, на ветру ждёт...

Уж второй час ночи, братишки нет. Я сижу, жду — он стукнет в оконце. Вот ведь горе: для гнева, для ярости, для раздражительности, для всякой скорби, для страха, для печали — по-прежнему обнажена душа. А к тонкостным впечатлениям, скажем, зимней, весенней природы душа моя стала тупа и косна. И это не потому, что «мартышка к старости слаба глазами стала». То, что для меня детали пейзажа тушуются, не есть минус (в планах живописного восприятия). Не крошечными лукавыми глазишками моими соглядаю я, скажем, вешния воды, вербу у ручья, жаворонка на проталинке. Тут зрительные впечатления не главное. Ты сам участник пейзажа и воспринимаешь его всем существом, всеми чувствами:

а) осязанием, потому что ноги твои разъезжаются вон куда, вон в какие синие дали уходят. (Сюда прибавь-приложи веяние ветра, ощущение сырости воздуха. Озябнешь ты, ноги промочишь, это всё неотъемлемо при живом восприятии.)

б) слухом. Для творческого восприятия природы слух великое дело. Не только поэт, музыкант, артист, но и «живописец» слышит «картину» природы. Слышать и слушать, например, тишину русской весны. Тишину эту акцентирует журчание ручья, шелест ветерка вон в тех кустах, карканье грачей вон на том дальнем холме.

в) обоняньем. Ветерок пахнет, холодок пахнет, сырость пахнет. Это в марте. А в апреле земля будет преть, пахнуть. А когда деревья зачнут распускаться, тут ты и сам знаешь, «чем пахнет». И веточку, и травинку сорвёшь: обоняние и осязание вместе. И все неразлучно с живым восприятием пейзажа.

Я к тому говорю, что зрение — далеко ещё не всё даже для художника-пейзажиста. «Смотрит» ведь и объектив фотографа. Но что в том? Фотография — это инвентарный список, опись имущества.

Так что вот я не на глаза обижусь, а на то, что другие чувства лживы стали, невстанливы, безучастны.

В чём-то я ещё не разберусь: если красивый изгиб чёрной ветки на фоне белого снега меня уже не трогает (примелькалось, обыграно, облюблено), то «силуэт» нищего ребенка с протянутой ручонкой «на фоне белого снега» я не могу равнодушно видеть. (Прежде было иначе.) Но это во мне не доброта, не любовь. Любовь деятельна. А я только копеечку дам да вздохну. Таких «добрых», как я, «до Киева не переставить...».

А на дворе в сутеменки выпал снег. Небеса чёрные, земля белая.

<Без даты>

Из книги «Домовых указов» Афанасия, архиерея колмогорского от 1691 года: «Как бывает нам, преосв. архиепископу, провожанье из соборныя церкви в наши хоромы, и подьяки-робята, и певчие идут чинно, и свечи несут искусно. А как нас в хоромы заведут, и обратно летят стремглав, и у соборной паперти запнутся, падают и свещи ломают. И ты б, ключарь, велел каменщику у паперти, у плит переды скобелью выгладить, чтобы робята не падали. То первое дело».

К сему ключарь рече:

— А второе дело: тем робятам зады ремнём выгладить, чтобы знали да не падали.

«На Велик День соборному протопопу снести нам в поднос пять яиц, а градским попам нести по три яйца крашеные, а дьяконам снести по два яйца» (1683 г., апреля 12 дня).

...Чудное дело: вижу куст, дерево в чёрной воде, полоску снега в ложбинке, ступаю по хрупким листочкам льда, по застывшей глине у забора, бреду через лужу, которая развеличилась во весь перекрёсток, вижу нищих у церквицы, откуда доносится великопостное: «Иже в девятый час...» И ты скажешь: «Воспоминания детства как живыя встают передо мной...» В том-то и дело, что не «воспоминания»! Воспоминанье — это дымок от папироски, окурки. А я вот ясно вижу, чувствую, знаю, что радость, которая рождалась во мне тогда, в детстве, эта радость существует.

Ты скажешь: «Понимаю: события твоей жизни являются для тебя звеньями единой цепи...»

— Но цепь ведь влачат! Разве ты «влачишь» воспоминания детства? Или уж это чудная «златая цепь». «Красное золото не ржавеет»... И, дивное дело: бывали ведь и в юности, в отрочестве горести-печали, но в «златой цепи» жизни моей чёрных звеньев нет. Должно быть, с «золотом» слёзы-то сплавились.

— Как это ты можешь ощущать и переживать одновременно то, что было с тобою сорок лет назад, и то, чем живёшь ты в данную минуту. Как можно совместить переживания шестнадцатилетнего с шестидесятилетним?

— Видишь ли, несколько десятков лет моей жизни — это несколько десятков червонцев, которые все при мне. Существо этих «златниц» таково, что их нель-

зя растерять. Жизнь свою я назвал «златою цепью». Первое звено её есть моё младенчество, последнее звено есть старость. Концы этой цепи соединяются. Получается вечность.

При этом называю я своё «младенчество» первым звеном, а «старость» последним очень условно. У цепи два крайних звена, два начала, и естественно их соединить.

Разговор сейчас идёт не о вещественном, плотском, осязаемом. Но всё же и тело моё, руки, ноги те же самые, что «были» в четырнадцать лет. Я говорю о «переживаниях» тех или других лет моей жизни, которые явились знаком, знаменьем, залогом. Я отозвался тогда всем моим существом, всеми моими чувствами. От этого родились реальности, стали существовать «вещи», которые нельзя осязать руками, нельзя видеть телесными нашими гляделками, но которые, несомненно, существуют.

Истинная мудрость должна была об этом знать. Истинная философия должна об этом сказать. В каких-то книгах, вероятно, это объяснено, выведено и сформулировано... Человек я зело неграмотный. Языка у меня этого нет, и терминологии надлежащей не знаю. Опытно, для себя, дошел, а объяснить не умею.

Но я и не собираюсь создавать философской системы. И я говорю отнюдь не о вещах отвлечённых. Ничего абстрактного я не понимаю; этого не существует для меня. Может быть, абстрактными силлогизмами можно доказать и какую-то реальность, но я «не учён, не школен и в грамоте недоволен». Я упомянул о своих «переживаниях», которые являются знаком и залогом и которые есть доказательства несомненной реальности, а отнюдь не воображения.

Кратко приведу то, что в ином месте рассказал подробно. В четырнадцать лет у меня был некий «пир»,

некий «брак» с дождем. Был полдень, блистало солнце, лил дождь, благоухали цветы, берёзы, тополи, пели птицы... Я скинул одежонку и в восторге наг плясал в тёплых потоках. Я как бы «восхищен был втай и слышал неизреченные глаголы». Царственно было...

Как будто Утешитель меня всего исполнил.

Это событие «плоть бысть» и существует.

Таких восхищений было в моей жизни несколько. Последние в теперешние годы жизни. На Паже, затем у прудов. Я как бы видел суть вещей. Я глядел на те же деревья, на ту же землю, на те же воды, которые видел много раз, но в эти (не знаю, часы или минуты) всё становилось «не тем». Глаза как бы переставали глядеть, уступая место иному зрению...

Был сентябрь, конец месяца. С тяжелой ношей спустились мы с братом в долину Пажи, от Митиной горы к Больничной. Брат пошёл быстрее, чтобы взять билет. Я брёл тихо. День склонялся к вечеру. Безлюдно, безглагольно. Бурая земля, чёрная вода, голые деревья. Я с трудом передвигал ноги. Но вдруг всё начало изменяться передо мною. Преславно стало вокруг. Как бы завесы открылись, раздёрнулись. Всё стало несказанно торжественным. И чёрные воды, и долина пели, пели как громы, сладко и дивно...

...И ещё утра волшебные тихие на реке Лае помню. Описать словами не можно... Не один год жил я на Лае. Из окон домичка нашего всё один и тот же вид: река под окнами, лодочка у пристани, изгиб полноводной реки, луга на той стороне, кайма лесов... Но бывали утра — мы собирались с отцом на охоту. Он укладывает парус, весла. Я гляжу диво, которое творится вокруг. Серебристый призрачный туман над водами. Небо глядит в зеркало вод. Вероятно, отсюда и чувство волшебности, и будто летишь с чайками...

24 марта

После полдня стало пасмурно, потянул знобкий ветер с Севера. Кот полез в печурку: не снег ли будет?

Носил дровишки. Хорошо, любезно сердцу на дворе. Строгая такая погода. Красота офорта; свет без теней. Голая земля, лужи. Но не осеннее остывание, а надежда, охота к творчеству, ожидание радости.

Подложив под колени плаху, колю у сарая дровишки. Озяб, дак греюсь. Люблю, когда холод или дождь на улице — население в дома улезет... Колю дрова, а сердцу любее да светлее. Суровость весны, строгость дня, вселенское могущество природы... Это всё как мать меня обняла. Топором-то тюкаю, согнувшись, и оглянуться боюсь: кабы-де из объятий не вывернуться. Передо мною водная лыва, камень, глина, дерево. И ветер, и небо. А завтра Благовещенье. Радость нашёптывает мне: тебе любо потому, что во всей Вселенной так: и над звёздами везде ручьи, и весна, и вытаяли камни, и скоро пойдут реки, и на планетах<?> сейчас грачи вьют гнёзда, и завтра Благовещенье, обещание радости...

Вчера к ночи вылез на двор братишка ждать: подивился тихости часа. Уж ни снега, ни льдины. Дворы, дороги сохнуть хотят. То уж апрель, заветное утро: ещё «друг наш» спит, но жизнь идёт будить его. Последние пелены снимают с земли живые вешние ветры.

Апрель месяц, заветная пора, заповедное время. Ветры обвевают дороги, обсыхают холмы. «Пойду по тропам, по дорогам, пойду по холмам, по долинам...» Все восхищаются, когда, «шествуя, сыплет цветами весна». Я люблю пору ожидания и время обещания. Люблю эту тихую и прекрасную прелюдию весны.

<Без даты>

Нынче тихий облачный день, без тепла. Ровный свет, как бы утро. На кухне спрашиваю у молодки:

«Что сегодня на дворе-то?» — «Хорошо, — отвечает, — весна! Не ушёл бы с улицы».

С улицы входит молодкина свекровь: «Суровый день. Часу не могла с ребёнком посидеть — застыла».

Завидно мне на молодых. Чем ни-то обвеселятся, так уж надолго. А старый обрадуется чему-нибудь, да и повянет. Молодость ни над чем веселится, а старость хоть знает, над чем надо радоваться, да сил мало радость ту удержать. Молодость веселится над тем, что есть, видит то, что сейчас хорошо. Старость ноет о том, чего нет, видит то, что плохо.

<Без даты>

...Облачный день, западный ветер. На Севере, должно, идут реки. Стиль дня был северный, была некая важность. Пелена серебристых облаков потянула небо...

21 апреля. Четверг

Слушал «Думки» Дворжака для скрипки, виолончели и фортепьяно. Эта музыка рассказывала о том, о чём моё сердце плачет. «Есть у меня три печали великие». Как будто по слезам плыла скрипка. Тихим и низким звуком ей вторила виолончель... Я пристроился к печали моей о маленьком Мишечке. Играли в той комнатке, где он жил у нас два с половиной года назад. Нежная грусть «Думки» сменялась временем весёлой краткой мелодией. Плачу — это я. А нежное весеннее щебетанье — это он, Мишуточка. Плачу я, старик, о маленьком радостном ребятёночке и не могу утешиться. Мать

увозила его от нас поздно осенью. У него ещё не было шубки. В канун отъезда привела Мишеньку с улицы. Стоит у дверей в моём меховом жилете, который достигает ребятёнку до пят, широкий, как стихарь. На голове вязаный платок. Сияющая рожица. Я бросился к нему, и Мишечка, протянув ручонки, путаясь в подолах, устремился мне навстречу... А то, сидит, проснувшись, один посреди широкой кровати. На тёмненьких кудрях белый кукулек. И мрачная, подвальная комнатёнка как бы вся озарена светом сияющей младенческой улыбки. Светлая улыбочка, весёлая усмешечка, увижу ли я тебя когда? Всякой радости и счастья в жизни прошу я тебе у Начальника жизни.

На деревьях нежная зелень. Но к ночи прохладно. Нет-нет да потянет норд-вест. По-за город уж травка зеленеет.

На днях бреду переулком, а впереди женщина ведёт за руку мальчугана лет трёх. Иду следом за ними, думаю: вот Михряюшка теперь такой же. Ребятёнок оглянулся и, видя мою улыбку, улыбнулся сам. И вот, стал он оглядываться чаще да чаще. И уж не улыбается, а смеётся. Забавно ему и занятно, что какой-то старик, весело улыскаясь, спешит за ними. Женщина куда-то поспешает. Ребятёнок едва поспевает за нею, быстро-быстро топоча маленькими ножонками. А смех одолел его настолько, что он уже перегибается хохоча. Наш флирт дошёл до сознания мамаши. Она удивлённо оглянулась, остановилась, пропустила меня вперёд.

Опять на бульваре чуть не сшиб меня с ног кроха-велосипедист. Налетел на меня да и сам упал. Я его хочу подхватить, а он, ещё стоя на четвереньках, поднял ко мне безмятежно сияющую рожицу и говорит: здрасте, дяденька!

1 мая. Воскресенье

Холодный апрель-то проходил. Ночами до заморозков, слышь-ка, доходило. А уж яблони зацветали. Недаром и ласточек не слышно было. Они чувствуют, знают. Солнышко всякий день с утра покажется, да и опять облачно. Временем и дождик брызнет. Зелень молоденькая везде. Сговорились насчёт комнаты в деревне, а не тянет меня никуда. Не делаю ничего. Братишко с ногой мается. У меня с утра — голова. Ох, кто бы меня, ленивого, взбыстрил.

26 мая. Четверг

Во вторник приехали в Хотьков. Сверточки-узелки понемногу перетаскивали. Благоприятной погоды ждали. А первую ночь здесь зябли, лето никак не наладится. Сегодня запад бухает, но дождя нет. У комнатки стена стеклянная: небо в полном лике.

На вчерашний день перед всхожим иней пал по низким местам. Но днём в заветрьи пригревало.

Небесная высь потянута прозрачной пеленой. Над вершинами елей плывут серые облака. Налетит ветер, ёлки зашумят, заскрипят двери, захлопают воротца.

29 мая. Воскресенье

Два дни запад (West) хлопал да хлопал (хотя и солнце пекло вперемежку). Вчера по обеде с грозой дождь. К вечеру землёй нежно пахло и дождём. К ночи холодно стало, туман упал. Братец в Томилово съездил, к рассвету вернулся, промёрз. А сегодня к полдню обложило дождем: со стороны N. O. (северо-восточной). Так

и поливает, так и полощет сплошную оконницу нашей комнаты.

30 мая. Понедельник

Вечереет. Весь день, вперемежку, шёл дождь. На фоне тонкой серебристости неба силуэты ёлок. Точно стена древнего города с островерхими башнями стоит этот древний ельник. Будто эти ели всё время сказывают сказку о прекрасном, древнем и вечноюнеющем. Обновляют и призывают на тебя радость, которою ты всегда жил, которая была светом для ума, весельем для сердца.

31 мая. Вторник

Как вчера дождь нарядился, так и сегодня сеет без поману.

Пять одежин накифетал на себя. Утром на братишку лаял как пёс, что снял не комнату, а коробку худую. Он преогорчился, убежал на работу. А дороги худые, до завода далеко, глины размыло.

А я сижу, чай пью, на ёлочки любуюсь. Только у меня зубы ноют, рыло платком повязал. Такая досадная хламина не то что людям, а и себе в тягость. Горе братишке со мною. А он не устаёт от меня, говна такого, жалеть, век надо мною трясётся да нянчится. Всюду и везде братишечко, друг и благодетель мой меня заменяет. Всё обмирает, чтобы я не устал, не простудился да не досадился. А сам уж давно из последних силёнок выбился.

Время к Петрову, а погода будто к Покрову, хоть опять увязывайся да в город бежи. Тошно мне и на себя: бесчисленно людей в работах, в должностях, в посылках, в дорогах, в лесах, в реках и морях месяцами

без малого укрытия живут и в дождь, и в ветер. А я, на даче сидя, то себе в несчастье поставляю.

5 июня. Воскресенье

Дождались, видно, и лета: «по небу синему, тая, румяные тучки плывут»[1]. Назяблись изрядно. Вчера шёл к брателку на завод пустынными полями. Сыроглиняные борозды, по межам — травы. Глины здесь бойко мокнут, круто каменеют, ходьба грубая. А хорошо в тишине той. Жавороночки звенят высоко. Подойду да остановлюсь, похвалю Начальника тишины. Край деревнюшки старинная дорога обсажена стогодовалыми берёзами. На всякой берёзе птиченька сидит, и все оне, пережидаясь, пропевают коротенькую песенку. По ночам опять петухи поют, пережидая один другого. Ни который не в свою очередь не пропоёт. Когда по ряду дальний пропоёт, тогда опять ближний возгласит. Ночи сейчас светлые, заря не гаснет.

Здесь в доме живут для лета наши знакомые. У них ребятеночек грудной. Смирненько лежит, спеленатый, как белая куколка. Подойдёшь, глядит на тебя пристально синими глазками. Дитятко милое, новый пришелец на Землю.

13 июня. Понедельник

Прошлая неделя стояла жаркая, а ночи с холодными росами. Вчера и позавчера бухал ветер.

Окна отворим и верёвками свяжем, чтобы не разбило. Вечером потишело, солнце село в стену, переменяясь, стал сеяться дождь. И весь денёчек сегодня то частым слётом, то дробным решетом мочило.

---

[1] Строки из стихотворения Г. Гейне «Май» в переводе М. Л. Михайлова.

Братец повёл меня в больницу зуб рвать. Я всю дорогу куплеты пел, ругался — очки-де заливает, не вижу, и дорога грубая. Версту прошли с грехом пополам, воротились. Хозяин в обед прибежал — шойна-де<?> наплывает. ...Вниз пошёл маленького поглядеть. Лежит в колыбели, смотрит, кто подойдёт, и ручками разводит. Комары ночью его, спеленатого, наели. Братец тоже ночью всё охлапывался, клял комаров. А мне наплевать! Как они жалостно воют, мне родина вспоминается.

14 июня. Вторник

Под утро ещё моросило. Как солнце пошло высоко, парить стало. Птичка пропоёт, кричат петухи, не опять ли к дождю.

Недавно ещё я любил изъяснять неизъяснимую красоту здешней природы.

Теперь повяла моя одержимость. По-видимому, не родится в душе радость. Эта красота стала мне казаться отвлечённой. Может быть, она рядом со мною, но уже не во мне.

Бывало, любил «встать пораньше да шагнуть подальше»: в городе — к пенью, в деревне — к лесу. Теперь ослаб.

Толкую всё, что природу люблю: пожалуй, из окошка я её люблю. Так уж я, видно, навык: в городе из окна на улицу поглядываю и здесь, в деревне, из окна ворон считаю, птичек слушаю. Ввечеру дай, думаю, к речке спущусь. Сошёл с горки, в низине уж сумеречно, месяц из-за лесу рога кажет. Пала сильная роса. Сырая прохлада. Что-то мне сиротливо стало. Что, дескать, без дела тут ходить. Воды бы взять, дак берег иловат и ведра нету. Веник наломать — башмаки в траве намочишь. Воротился скорее в комнатёнку, братишка ждать.

Мне думается, что я, по бездельной навыкновенности своей, люблю душевные разговоры, а собеседников нету. Братишко откуда придёт, я всё спрашиваю его — кого видел да что слышно. И этому рад.

21 июня. Вторник

Покамест от крыльца до ворот дойдёшь, два дождя пройдёт и с антрактом. И вчера за сарайчик весь день сбегать не удавалось. Двои сутки туча тучку гонит. Ночь холодная была, ветер мокрый. Я под шубёной зазяб. А братишко худенький, а не зябкий. Я куда сряжусь, всё думаю: что бы ещё на себя напялить? А братишко куда торопится (он всегда торопится), думает: что бы с себя лишнее скинуть? Вот, вместе куда бежим, я, одемшись-то и разжарею. И ругаюсь — не мог ты загодя узнать, тепло ли, холодно ли! Я из-за тебя бумазейную рубаху напялил...

— Из-за меня?! Ах ты...

У братишка в театришке жалованье грошовое. А заботы выше сил. Любителей на репетиции палкой надо сгонять. Кто пьян, кто забыл, кто занят, к кому гости пришли. И я, самый бы сейчас сезон, но «рад бы в гости, да никто не зовёт». Братишке я помочь не умею, вот меня что сушит. Уж я куда как не горделив. Мной хоть полы мой да пороги подтирай. Но...

Ветерок перегоняет облака с места на место, проглянуло лазоревое небо и солнце. Я лез с горы к речке сквозь ольшанник и осинник, ломал веник. Держусь за деревцо да гляжу с холма. Даль какая чудная! Долина речки, а вдали опять холмы и поля. Под ногами, на нижних уступах, берёзки и маленькие ёлочки. И в какой всё светлости от блистающих облаков, от нежной лазури неба! Эта красота — неотымаемая. Да вот сила

душевная иссякает, чтобы эти тихость и нежность петь и хвалить.

2 июля. Суббота

Недолго постояла хорошая погода. В Петров день с утра пооблачилось. Вечером дождь пошёл. В Митине праздник. Гостили с братцем у Михайлушкиных. Ночью домой впотьмах брели, в мокрых глинах. Три дня там по деревне всё столы да пиры. А уж Мишины кожу у себя с зубов сдерут, а двои сутки гуляют. Дальних и ближних за стол тащат. Трезвым не отпустят. Гости и в сенях, и на сеновале ночуют. Утром опять за столы.

А в городе, как в аптеке угощают: с мерки да в дырку. Разговоры больше, а хлеб-соль маленькие. Михайлушко пел, играл на гитаре, гармошке, плясах. И не в столь сильном пьянстве, но в большой нервной ажитации. Он всё так (эти последние года два), сегодня — «душа общества», завтра — замкнут и мрачен.

Сказано: «где любят, тут не часто гости». А я охоч ходить «по пирам, по братчинам». «Бывали дни веселые», — и мы с брателком любили у себя принимать... А, не дело болтаю: «Ерёмины слезы по чужом пиве льются». Квакнул я, что в пиры ходить залюбил. И «не тем красен пир, что трубят трубы, а тем, что люди людям любы». В городе лижут винцо полунаперсточком, жмутся, себе на уме. В деревне — душа нараспашку. Сердце друг другу открывают. Кто мил да люб, тот и друг.

Бывало, мне самому с собой было весело. Как дрожди внутри себя ходили свои думы, веселили и подпевали. Одинёшенек дома, сочиняю да мастерю. Теперь одному уныло оставаться. Лежу, курю. Ничего в уме и в сердце не родится. А в людях, когда есть кто позанятней, я оживаю.

6 июля. Среда

Вчера день был вёдрен и солнечен. Сходили с братцем к празднику[1]. До закатимого там были, устали как, притолкались, притоптались. Но запечатлелась в уме и в сердце светлоликая и светлоглаголивая праздничность. Собрались с раздумьем: не близкой свет туда попадать, ходьба-та страшит меня, и братец топтаться долго не может. А воротились с барышом. Хотя, воротясь, и поругались. Потому что в многолюдстве растерялись, искали друг друга, обратно правились врозь...

Уготовали к поздней, еле забились на паперть. Уж как я тяжел и слаб, а в час литургии на таком святом месте похвалил и прославил... Изнутрь пашет благоуханье темьяна, извне аромат цветущих лип.

Потом туда пошли, где молчит сладкоглаголивая гусль. Вереницы, толпы стояли, часами ждали, абы коснуться устами святаго гроба. Целовали и мы при пении неседальна.

Условно допущу, что две красоты обладают в мире человеком. Одна — это чувственное влеченье к красоте телесной. Всю жизнь человек может быть в плену страстных мечтаний. Осуществленье страстной мечты не утоляет томленья. Поэзия, живопись, музыка — всё рабски служит этой «красоте». Всё вертится вокруг «любви». Но всё это только «похоть плоти, похоть очей». «Грех сладок, но отрыжка после него всегда горька». В молодые годы упоенье плотской красотою естественно и любо. Но естественный хмель юности ведь проходит. Но вот, когда в свои пожилые и старые годы человек не может протрезвиться, очнуться от страстного похмелья, то картина получается жалкая. Любовное

[1] *Сходили с братцем к празднику* — 6 июля — Собор Радонежских святых; Шергин вспоминает о посещении Троице-Сергиевой Лавры.

томленье перестает быть силой, красотой и весельем. Оно становится слабостью и несчастьем.

В мире сем род человеческий влачит жизнь посреди горя, несчастий, бед, посреди нужды, лишений, болезней и смертей. Всякого раньше или позже ждут потери близких, болезни, старость и смерть. «Мир во зле лежит». Слёзы кругом. Похмельное любленье плоти как воск тает, как чад рассеивается в скорбях и печалях жизни. Кая житейская сладость печали непричастна? Кая ли слава стоит на земле непреложна?

Есть другая красота нетленная, вечная. Есть красота, в сиянии которой тонет всякая скорбная тьма нашего существования. Слышишь ли Иоаннов пасхальный благовест: «И свет во тьме светится и тьма его не объят»... Сергий Радонежский, святая Русь, вера христианская. «Свете тихий». Тихий, но всемогущий. Тихий, но тишина эта покрывает и в ничто прелагает визг, лязг и скрежет бедственного нашего житья-бытья.

Сижу у стены церкви чудной Троицы Живоначальныя. Стена, как парус прямой, корабельный. Вся живёт. Вот гладь её блещет на солнце, а через минуту точно кто смежит очи — бегут, переменяясь, прозрачныя тени облаков. Свет и тень живут, трепещут на белом камне.

Шелестят липы. По всему монастырскому двору сидят богомольцы. Мальчик вслух читает по книжечке завет Преподобного о том, чтобы «свеща не угасла».

В толпе у святаго колодца тихо поют стихиры из службы Преподобному. Он никогда не гонялся за спокоем, он всю жизнь прожил для других. Он был отцом и духовным вождём русского народа. Князья преклонялись перед этим нищим игуменом убогой обители.

Татаре движутся с востока, волжские города в смятении. Нижегородские князья «куют крамолу». Туда устремляется Сергий. Грозным прещением, пламен-

ным словом он укоротил раздоры и смуту. Движется орда с юга. Рязанский князь замышляет страшную измену. Как Божья гроза налетел Сергий на Рязань, и Русь была спасена. Благородное рыцарское сердце этого великого русского патриота исполнено было святым гневом и к чужеземным насильникам, и к тем из своих, кто готов уже был мириться с владычеством монголов. Он возгнетал и раздувал пламя национальной свободы, пламя национального сознания на Руси. «Истинный воин», великий и неутомимый борец, он и в предсмертном своём завещании молит и повелевает русским людям: «Смотрите, чтобы свеча не угасла», т. е. дух национального самосознания. Имя Сергиево стало знаменем национальной свободы, и с этим знаменем Русь свергла чужеземное иго. Уже в последния свои минуты, прежде чем смежить для вечного покоя орлиные свои очи, великий отец сказал, как бы обращаясь ко всему народу русскому: «Не скорбите, братья мои! Телом отхожу от вас, но духом буду с вами».

Он стал почитаем как «ангел русской земли». В годины бедствий Русь говорит: «Он жив, он с нами!». Имя Сергиево было победным кличем. В смутное время, когда Москву, «сердце Руссии», захватили чужеземцы, Сергий явился Минину и повелел поднять народ на освобождение Москвы. Минин сам поведал народу об этом чудном видении и повелении. Лик Сергиев неотлучно находился в ставке Кутузова.

Ангел грозный и светлый и отец наш тихий и кроткий. Любимый наш и единственный: чем воздать тебе за любовь твою? Как похвалить тебя за то, что ты есть у нас?

Радость и молитва осеняют у гроба Сергиева, потому что жив он и знает нас, отец благой и радостный.

Кто-то сказал: «Полюби святаго Сергия, и он тебя полюбит». Как же не любить его?! Он вечная живая лю-

бовь Святой Руси. Он весь был любовь, огнём горящая, а любовь вечно пребудет, когда и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знанье истребится[1].

8 июля. Пятница

В Сергиев день погода была красна. Вчера, пережидая, весь день ходил дождик с грозою. Сегодня вёдрит, а ветрено. Дорожки сушит, не надо глину волочить на башмаках. Облака плывут пышныя, сияющия под солнцем: от облак, от лазури светел день. Налетит резвый ветер, в елях свист: у ёлок свистящий шум. Ели при ветре точно поют. А берёзка, липа, оне шелестят, сказывают тебе.

Это лето здесь так: в кои часы вёдрит, бежи по воду. А будешь пережидать, что, дескать, пусть глины обдует, и без воды насидишься. Бабы — те бегают, а я в грязь боюсь под гору сунуться. Сегодня вздымаюсь с коромыслом, постою да полюбуюсь. Бирюза небес, золото облаков, шум леса, травы, цветы веселым ветром кланяются тебе. И, бывало, я на коленки паду, вот этак от восторга. А теперь уж нет... Бывало, в темных каморках своих (в городе) убираюсь, пол мету. И напахнёт на сердце радость. И не знаю, куда ликованье-то девать. Теперь я деревянный стал.

Сегодня на родине родителя моего праздник, Прокопьев день, Прокопья Устюжского[2]. И устюжане, и вычегодские усольцы в каких бы городах ни жили, все уж праздновали Прокопьев день.

Облака, что белопарусная флотилия, в три вереницы держат от West'а к Ost'у. А три строки налепишь,

---

[1] 1 Кор. 13:8.

[2] Прав. *Прокопий,* Христа ради юродивый, Устюжский чудотворец (1303).

взглянешь опять в окно, все корабли за лес спустились.

27 июля. Среда

После обеденных часов запроглядывало солнышко, ино уж и не надеемся. «Самсон мокрый», говорят, на шесть недель ненастье заводит. (Самсон — 27 июня). А ветер прохладный (ost), в пальтишках люди бежат.

Братец с актерами ездил в поездку, вдаль за Троицу. Воротился на рассвете. Натрясло как! Завтра с ним оба мы в Мытищи. Какова-та попажа будет. Облака стало слоями слоить. Синь проглядывает. Ох, кабы без дождя спутешествовать!

Вот, как регистратор, записываю «входящия да исходящия». А бывало, философствовать любил. Теперь уж ничего такого в уме не родится. Всем оскудел: и телом, и духом. Другой раз возьму Послания Павловы: это уж настоящее. А чтобы к жизни применить... Высока гора! Неподступна! Он что море, Тарсиянин-то[1]. А я муха. Пытаюсь вникнуть и сознаю про себя: «Напустилась муха за море». Точно издалека, издалека слышу его чудный зов: «Всегда радуйтесь!» А я уж на том и стою, что всегда печалуюсь. В компании с рюмкой в руке или в театришке балаболю речисто. А обычно косен и медлен стал мой разум. Да и был ли он когда у меня? Художество любил с детства, рисовать, красить, вырезать, мастерить что-нито — очами оскудел. Желанье есть, а зренье не позволяет. Живое слово люблю, сочинять бы да сказывать. Ино, этот товар не идёт. «Раз в год по праздникам» позовут куда-нибудь побаять, попеть, посказывать. Ино для этих редких и случайных «разов» нет резона сочи-

[1] *Тарсиянин.* — Апостол Павел был родом из города Тарса в Малой Азии.

нять да слово составлять. И сдумал бы что, а для кого? «Уронена стара мода со высокого комода».

<Без даты>

Священное таинство, служащее и вызывающее явление на земле нового человека, втоптали в грязь, сделали скверностью. Но «тем море не погано, что псы в него налакали». Недаром речено, что женщина спасёт свою душу рождением детей...

Ночь... Братец уехал в город с ночёвкой. Тьма окутала землю. Призрачными дорогами тянется над болотами туман. Лес будто подошёл к оконцам. Меж вершины елей, как свечи, стоят звёзды. Миры неведомые. Хоры дивные светил. Кто зажёг их? Кто учредил эту бесконечность? Кто учинил это величие? Что и кто там дальше звёзд?.. Тайна, умом непостижимая, но поклоняемая и славимая. Источники жизни на земле оттуда. Потому что Земля частица Вселенной.

Людям некогда глядеть в звёздные миры: «Видели. Ничего нового». Тем же обычаем и о светлости младенческого лица говорят: «Что там... Ничего оно не выражает, потому что ребёнок — ребёнок и есть». Звёзды — звёзды и есть. Ребёнок — ребёнок и есть.

А между тем, нет никакого сомнения, что светлость младенческого облика есть отпечаток светлости иных, неприступных миров.

С годами эта светлость сбежит с лица дитяти. Но пока она сияет в лице дитяти, я несыто хочу глядеть на него, и спрашивать, и угадывать, и дознаваться.

Любо и светло находить и видеть заветное, желанное. Под горою, прячась в кустах, вьётся меж цветущих трав, сбегает вниз белоглинистая тропинка. На высоком песчаном обрыве громоздятся ели. Щебечут птицы. А вдали ненаглядный «нестеровский» пейзаж:

светло-жёлтые поля на холмах, ёлочки, по горизонту синяя полоса леса. И над всем прозрачно-облачное, тихое небо.

— Добро нам здесь быти,— говорю я брату.— Построить бы избушку под елью...

А на Маковце, всякой раз, как побываешь у него, ещё много видится светлого чуда. Три белых собора — как три белые птицы у моря. Они только что сложили крылья, но опять готовы лететь. В белокаменной «церкви чудной, еже созда ученик над гробом учителя», дивная «золотая легенда» Андрея Рублева... Здесь поёт «птица Сирин, глас её в нощи зело силен. Кто поблизости ея будет, тот всё в мире сем позабудет». Он, ученик «Святой Троицы», вдохновлял и Андрея Рублёва, и зодчих. В этой песне линий и красок у блаженного Андрея, в этой песне зодчества душа великого Сергия.

Добро сдумана, ладно сделана светлая и радостная живопись над вратами. Линии, краски, очертания фигур, здания — всё нездешнее, на всём свет горняго мира.

Благодатна была земля Маковца. Чудно цвело здесь и искусство века осьмнадцатого. Знаменитая кампанилья, «чертоги»— это всё вошло и в народное искусство, в игрушку.

Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соединились на Маковце в некий удивительный синтез русского искусства вообще... Неожиданно с дороги открывается взору эта сказка... Точно виденье возникает перед тобой этот холм, этот явленный Китеж Древней Руси... Стоишь на мосту, глазам не веришь: — Господи, да что же это?! Наяву видится или во сне чудится??

Невольно начнёшь спешить, опережая других, начнёшь торопиться для чего-то. Очевидно, для того, чтобы руками осязать эту «златую легенду», ногами исходить эту сказку, красоте которой очи не верят.

В детстве там, на Севере, слыхал я древнерусские былины. Прозвучали, да и нет их. А эта былина, былина светлого Радонежа, наяву. Боговдохновенная песнь старой Руси стала вещественной... Лазурная музыка Древней Руси облечена здесь в формы. Это одно из великих чудес России...

В народное искусство, даже в игрушку — «радость детей», вошли красоты чудного града.

Русское искусство разных эпох видится на Маковце в некой удивительной гармонии. И не то что видится, принимается сердцем. Великолепно явила себя здесь эпоха Платона... Но душа моя хочет придти, припасть и поклониться тому, что озарено немерцающим светом Сергия... и Андрея Рублева...

Благодарная эпоха Сергия — XIV век, эпоха учеников его — XV век — это самая сильная, самая обаятельная, самая могучая струя жизни этого чудного Града, который есть сердце Святой Руси.

В призрачной и таинственной сумрачности оной «церкви чудной» мерцают свечи. Там отец наш. Там молчит священная гусль Руси Святой.

Но разве молчит эта божественная гусль? Нет, она поёт, и говорит, и зовёт.

В нашей русской природе есть некая великая простота. Эту простоту скудостью назвал поэт. «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» Но душевные очи художника в этой простоте видят неистощимое богатство. Серенькое русское небо, жухлого цвета деревянные деревнюшки, берёзки, осинки, ёлочки, поля, изгороди, просёлочные в лужах дороги... Красками как будто бедна. Но богатство тонов несказанно. Жемчужина — на первый взгляд она схожа с горошиной. Но вглядись в жемчужину: в ней и золото заката, и розы утренней зари, и лазурь полуденная. Не богаче ли, не краше ли перламутра тонкая пелена облак над холмами Радонежа?

Что проще наших полевых цветочков: ромашка, иван-чай, лютик, незабудка, колокольчик, голубоглазый василёк? Но не в голубизну ли василька, не в синь ли полевого колокольчика божественный Рублев одел пренебесное своё творение — икону «Святая Троица»?!

Жемчужность и перламутр рублевских красок — оне русского «серенького» неба...

Скажут: «Но эти краски Рублев видел у византийцев, у Феофана Грека!» Нет уж, извините! Эту тихую мечтательность, этот пренебесный мир, эту божественную гармонию не только линий и очертаний, но и красок, блаженный Андрей мог найти только в себе и видеть только около себя...

<Без даты>

Семь часов, восьмой вечера. Отемнало, и дожжинушка ударил. Знай шум стоит, да вода с крыши плещет. Дождь-от с ветром. Ветр-от как нажмёт, и дожжинушка как метлами по крыше-то шаркнет. Ещё то ладно, что сейчас в деревне близ работы братишкиной живём.

В соседях мальчишечко на третьем году есть — Юра. Волосики как лён. Один вечер мельком я с ним повозился; он где меня ни увидит, всё кричит, радуется:

— Адя! А дядя!

За старшими побежит, бойко частит маленькими ножонками. Подопнётся, упадёт, подпрыгнет, как мячик, засмеётся и опять спешит.

— Адя! Дядя! — Это в окно мне кричит. Возьму его в охапку, подкидываю, тешу, а у самого у меня слёзы ручьем: Мишуточку любимого не могу позабыть. Сегодня год восемь месяцев, как Мишечку не видел...

Дождь пошумел да унялся. Заря в тусклости смерклась, видно, к дождю. Утки в прудке крячут, не к дож-

дю ли? Братец побрёл к завтрашней репетиции игрецов своих подтверждать... А уныло на даче в ненастливые вечера. Писать темно. А письмо моё не стоит того, чтобы свечу жечь.

<Без даты>

Удивительна светлость младенческого лица! Вспоминаю Мишечку, вижу сейчас вот этого двухлетнего Юрку. Как лицо неба, как солнечный лик смотрит тебе дитя в глаза несмущённо, безмятежно. А ты смущаешься и мятешься. Во взгляде дитяти неведенье зла и греха. А твоя жизнь — «страницы злобы и порока». Доброго, правого, невиноватого человека эта светлость младенческого лица только радует. А моя кривая совесть не терпит этой светлости, этого сияния младенческой улыбки. Как от солнечного света, морщится худая рожа и текут слёзы.

Тьма не терпит света. Младенец никому не сделал зла и сам зла не помнит. Младенец никого не обидел, ни в чём, ни перед кем не виноват. Потому он весь светел, и титул его блаженный.

Душа младенца белее снега. Как же моей душе не смущаться, когда я сделал её чернее башмаков... «Думы мои, думы мои, лихо мени з вами!..»

<Без даты>

Как бы хотелось хоть на малое время высвободиться из-под гнёта неотвязных заботных дум. О «завтрашнем» дне забота уж так-то отягощает мысль! Хоть коротенькую бы песенку запеть охота, а не видеть, недоуменно моргая глазишками: чем-де прожить до 20-го...

<Без даты>

85-летний старичонко перед своим домишком рубит прутики орешника.

— Дедушка, веник хочешь сделать?

— Зачем веник, это дровца на зиму... А у меня старуха в город уехала с молоком. Булочку мне привезёт! — хвастливо прибавляет он.

20 июля. Ильин день

«Погода пуще свирепела». Истинно, что погодушка штормовая! Не подумаешь, что Ильин день. Норд-вест садит с дождём... Оконца трясутся, кровля железная гремит... Сору второй день из избы вынести не отважусь.

У Студеного моря, на родине, об Ильине дни таковой непогодушки не живёт.

Так и хвощет, норд-вест-от, с дождём. Точно серчает непогодушка-та: ветер-от налетит, налетит, будто прочь снести хочет избушки-те. Избушка-та не упадёт, дак ветер-от дождём её хвощет спереду и сзаду, и с боков, и с углов.

<Конец июля?>

С Ильина дня всё же сушит. Только наш посёлочек на болотце сидит: все ещё с крыльца не ступишь. Здесь недавно селиться стали. Пни торчат, дороги нету, только тропочки. В Хотькове про здешних говорят: «В лесу живут». А леса уж нет. Только то тут, то там старые вековые ели. В ветер зашумит, шум дождя да шум деревьев — сладкая музыка. Сначала дальние деревья зашумят, потом ближе. Мало — из оконца ветерок пахнёт, занавески залетают... Бумаги мои полетят со стола...

Малых пичужек здесь редко услышишь. Оне у Вори под горой, в кустах.

Любезных моих ворон, галок и желанных сорок нету. Может, зимою будут. Пуще соловьёв, пуще певчих птичек люблю я сорок, ворон да галок; и грачей — вестников весны.

Сорока — птица из сказки. К избушке подлетит, на изгородь сядет, всего наговорит, да таково спешно да занятно. Любезную птичку-сорочку увидишь и уже знаешь, что сказочно «некоторое царство» тут близко, что никуда оно не девалось.

Славная здесь Земля. Здесь возродилась русская сказка.

Облачное небо, ёлочки, бёрезки, болотца и дремучия ели... так и видится «избушка на курьих ножках».

Край деревни, как стена, ряды за рядами стоят старыя ели. Все шумят, все чего-то сказывают. Дерево к дереву, ровныя, густыя, точно древния башни, — богоделанный город.

<Без даты>

Катехизис, определяя, что такое вера, даёт Павлов привод: «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». То есть, несомненное известие о том, на что ты уповаешь. А также в вере налицо предстают невидимые вещи.

Свойства истинного художника всецело можно определить этой формулой.

Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или в Багдад.

...Человек-художник с юных лет прилепляется душой к чему-нибудь «своему». Все шире и шире открываются душевныя его очи, и он ищет, находит и видит желанное там, где нехудожник ничего не усматривает.

Ежели твое «упование» есть любовь к красоте Руси, то «эти бедныя селенья, эта скудная природа» радостное «извещение» несут твоему сердцу.

Городок, Здвиженское, Хотьково... И сергиевские «игрушечные» деревеньки. Глинистые дороги, поля, болотца, ельник... И нескончаемые дороги, изгороди, чахлые поля... и... сорока стрекочет на изгороди... Не о художной ли сказке того первого Игрушечника, который строил (будто сказку сказывал) вон тот былинный городок, что как сон наяву возносится посреди чахлых полей, под «сереньким русским небом»?

Поверхностным и приблизительным кажется мне выражение — «художник, поэт носит с собою свой мир».

Лично я, например, не ношу и не вожу с собою никакого особого мира. Моё упование в красоте Руси. И, живя в этих «бедных селеньях», посреди этой «скудной природы», я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту. Потому что талантливость твоя или моя «есть вещей обличение невидимых».

Он не видит здесь сказки заветной, заповедной. Он говорит: «Может, здесь что и было, да сплыло». Ему надобно «за сказкой» ехать в «Персию», в Шираз или в Багдад.

А у нас с тобою... Вот выпадет первый снег... Белая земля, «серенькое» небо, и — на чёрной слеге у овина защекочет, засказывает сказку сорока-белобока.

Несыто ли хотим слушать сорокину сказку. О богатом мире русской красоты сорока-то возвещает...

<Без даты>

Уж полдень, а тихость утренняя не сходит с земли. Ходил, проверял своё сокровище... Встарь серебряную казну ковшиками считали.

Вышел к Воре, сел на горе. Искажают люди прекрасную мати-Пустыню... А все же есть и жива ея тихая русская красота. Построил бы «келью под елью», избушку бы курьей ножке, да всё и поглядал бы эту даль. Меж лугов и полей проблескивает чистым серебром, вьётся Воря. Ея долину обогнула цепь высоких холмов. По вершинам их нескончаемой стеной уходит вдаль синий ельник.

<Без даты>

Девочка лет десяти стояла около меня, читала вслух. Поразила меня нежность очертаний её бледного личика, её чистый голосок.

У её братишки Юрки — свет блаженного неведенья жизни. А у его сестрёнки какая-то недетская и грустная дума. Они беднячки, и этой девочке, очевидно, приходится много переживать... Читает весёлую сказку, а высокий голосок звучит безрадостно...

Почему дети? Почему всякое слово ребенком закроешь?.. Потому что так же, как любо сердцу слышать пенье птицы, шелест листьев, журчание весеннего ручья, видеть лазурь неба, тени облаков, бегущие по лугам, так же сладко слышать голос ребенка, глядеть, как он бежит к тебе, протягивает ручонки.

<Без даты>

Вечером остался один с хозяйскими ребятишками. Тьма глядела в окна. Синела керосиновая лампочка. От большой печи веяло теплом. Когда налетал ветер, в нежилых верхах точно кто-то ходил. Ребята жались ко мне:

— Дяденька, расскажите сказочку. Страшную...

Куда-то отлетели десятки лет, прожитые в городе. Чудно мне было сознавать, что сижу в деревенюшке. Кругом поля, леса... Далеко до города. На конце деревни пролает собака. Ей ответит другая, и опять тишина. Уже поздно: восемь часов. Ни в одной избушке нет огонька.

Годов сорок пять назад точно так же жались мы, и я, и две сестренки, к матери.

— Мамушка, запой про кнегиню Юрьевну. Тоненьким голоском мать поет старину:

Сине море на волнах стоит,
По седой волне корабль бежит —
Юрий-князь в Орду плывёт.
Дань-калым кораблём везёт...

Тьма глядит в узеньки оконца поморского дома. С моря налетает норд-ост. ...Скрипит флюгер на мачте, во дворе.

— Ох, деточки! Папа-то у нас в море...

<Без даты>

В «Хождении», книге XII века, писано: «Несть сыти пьющим живую воду тое реки...» Ясное осеннее утро. «В багрец и золото одетые леса» — это всё «пета бяху». Бывают «роскошные виды». Но разве необходим чан воды тому, кто хочет пить?

Передо мною чистая небесная высь. И на этом свете легко и тонко нарисованы изящные веретенца ёлочек. Они стоят не часто. Вершины вознесены как свечечки. За ними даль и ширь молчаливых сжатых полей, холмов и лесов. Красок немного, но гамма их сложна. Вид прост, но фотография ничего не даст. Эффектных сочетаний света и тени нет. Впрочем, невысокое солнце освещает ёлочки «с той стороны», и чёрно-серебряные силуэты на фоне прозрачного неба восхитительны.

Можно ли скопировать этот простой русский пейзаж так, чтобы и «невидевшие уверовали»? Живая кисть может. Но не «копируя», а передавая разум этого «радонежского пейзажа».

Выйдешь утром и увидишь красоту этого лика Божьего, т. е. преизящество этих ёлочек, явленных в свете какой-то земной небесности, — увидишь и похвалишь жизнь...

С юных лет пленило меня искусство, которое ограничительно именуют декоративным и спесиво отлучают от «чистого искусства». (Это «декоративное» искусство жило еще «от праотцев» в нашем поморском быту и потому, кажется, должно бы примелькаться мне. Но «дух дышит, где хочет».)

Ежели грубо определять, и в пейзаже люб мне рисунок, композиция, силуэт, контур. Мазанности в живописи, хотя б она вся была как радуга, я не люблю.

(Как у всякого дилетанта, то есть человека, любящего искусство без взаимности, симпатии мои к видам изобразительного искусства не дифференцированы. Специалист улыбнется на мои сужденья. Но, скажите мне, такой вид человеческого творчества, как любовь (скажем, любовь мужчины и женщины), требует специализма? На тех правах и я люблю искусство. А любовь влагает в уста слово. Пущай оно будет косное.)

В технике любого искусства не хочу расплывчатости, смазанности... Но ненаглядно пленительны нюансы неба на Руси. Тихо облачное небо беседует моему уму, всегда нашептывает о чём-то важном и нужном.

Неуловима переменность светлооблачного русского неба. Оно как бы шито бледными шелками. Тона его цвета плащаницы Древней Руси.

Как же ты, дядя, говоришь, что не любишь смазанности и бесконтурности?.. Русское «серенькое» небо — любимая, самая ненаглядная картина для меня. Но

картина эта как бы перестаёт существовать без рамы. «Рама» — это ширь и абрис далёкого горизонта, это очертания и сила цвета ближних холмов, гребень лесов.

В городе чудесной рамой для любованья небом являются ближния крыши, карнизы, прогалы переулков... Рама для чудных картин небесной живописи — это мать-земля и вся яз <иже?> на ней. Но воды, реки, озера и моря, а в зиму пелена снегов повторяют нежную красоту неба. В зиму цветом своим небо кажется иногда тяжелее белизны русских равнин, полей.

Любуешься умильными ёлочками, нежно нарисованными на призрачности неба, и являются некия «школьные реминисценции»: Раннее Возрождение, Фьезоле, Беато Анжелико... Но даже если назовёшь нашего блаженного Андрея, простой и нежный пейзаж русской иконы, самый словарь, самая терминология начнет эстетствовать.

«Мысль изречённая есть ложь».

Завидую людям-хозяевам, людям практическим и расчётливым. Смала превзошли они науку — добыть, нажить, приобрести. Жизнь мне показала, что одна только эта наука и пригодна, и нужна. Практические люди ступают твёрдо, глядят остро, говорят уверенно, никому не кланяются, советов ни у кого не спрашивают — деньги ума дают. Скупятся они и жадничают с радостью — больше останется. А наш брат скупится и скудается от того, что нет ничего. Завидные эти люди берутся только за верные, выгодные дела. На авось ничего не делают. Не так наш брат, который за тенью гонится, на вей-ветер надеется.

В результате стыдишься ты своей «жизни в искусстве», и крыть тебе нечем перед запасливыми «умными» людьми. Все твои «науки, искусства, поэзию» умные эти люди ни во что кладут и ничем зовут. Слушают тебя сочувственно, а думают:

— Ты бы, философ, лучше валенки к зиме подшил да локти у пальтишка залатал.

На скудость-ту обижусь да обижусь. И обида эта мне свет Божий застит. Опять зазираю и корю себя за своё усердие к этой святости и красоте природы. С ведёрком в гору вздымаюсь, десять раз остановлюсь, не могу налюбоваться. И борются во мне два ума. Один ум доказывает: красуйся над тем, за что деньги платят. А с этого пустого погляденья сыт не будешь. Другой ум говорит: эти серебряные осинки, это ясное небо, эти холмы-богатыри с еловыми гребнями на затылке, эта молчаливая, но много говорящая река, вся безглагольная, но многопесенная тишина этого места, всё это и есть твоё богатство. Это и есть твоя «радость неотымаемая». На это твоё богатство никто не обзадорится.

<Без даты>

Достоевский сказал: «Красота спасёт мир». Очень широко и общо сказано. Не хочешь, да помянешь сказку: «...твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту. Неси благодать, а то ничего не видать!»

Ох, голь перекатная! Хоть кол тебе на башке теши, ты своих два ставишь. Опять «красоту» да «светлоту» прибираешь. Краше бы тебе «бедноту» да «наготу» рифмовать.

Я согласен. Рассудок мой таково ж скаредно думает. Но сердце, но разум вопиют своё: «А все-таки она движется!» Есть, есть красота! Существует сама по себе и не требует причин к своему бытию. Скажут: идеализм. Ну а «любовь», «совесть», «жалость»? Каких ярлыков ни наклеивай, душевные вечные чувства и свойства останутся с человеком. Точно так же, как любовь (не физиологическая) — «дышит где хочет и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Точно так же и красота,

рождающая в человеке чувство радости, понуждающая человека к творчеству, существует помимо нашего признания или непризнания. Искусство и поэзия созданы радостью о красоте.

Это я говорю в оправдание того, что, например, за водою на речку можно сбегать за двадцать минут, а я в час не обернусь.

<Без даты>

— У меня муж маленько недослышит, а я недовижу. Я и говорю: старик, ты будешь глухой, а я слепая. Я буду тебе сказывать, что про нас дети-то говорят, а ты мне за то рассказывай, что они делают.

6 августа. Суббота

Со вчерашняго дни погода с солнышком. По обеде дождик перестал, а всё не та осень, что недоуменье даже наводила. Больше недели мы в Городе сидели. Было так, что два дня, две ночи без поману, без прогляду дожжинушка валил. Здесь речки из берегов ходили. Пажа по своей долинке, как в весну, распространилась. Но вчера тут уж сухой ногой ходили. В деревне охают, что сено будет дорого.

Вчера и сегодня дождевыя облака уж редко протягивались над хотьковскими холмами и кропили при солнце. Вечером сыро. Кузнечики стрекочут помалу. Впрочем, в Митине лугов нет: поля да гряды.

Я поминал, что уж не восхищаюсь природой как прежe, до горазда. А всё же, пустой да унылый, выглянешь на улицу или в окно выглянешь: солнышко, небо, воздух, зелень, по долине внизу вьётся Пажа. Посветлеет на уме-то, теплее станет на сердце. Животворна она, природа.

Сегодня явлен Свет присносущный. Да знаменается на нас свет лица Твоего... Гадесовым[1] пламенем моя-то рожа отблескивает, а тужу о свете чудном. И любо то, что вон за теми холмами и лесами «не умер, но спит» тот чудный, кто весь был озарен светом Преображения. Чудный Сергий весь был в оном свете Фаворском. И мы, приходя к великой тихости радонежской, зажигаем и с собой уносим свечечку света невечерняго.

В эти дни всегда вспоминаю родину мою. Умныя свои очи Север возводил к Свету Преображения. Собор Спасо-Преображенский на Валааме, соборный храм Преображения на Соловках. Здесь, на святом острове Белаго моря, все эти дни был праздник. Преображение, 8-го — Зосиме и Савватию. Шум моря, крики чаек, деннонощное пение. Начальник, Савватие, светлотихостный был ученик Кирилла Белозерскаго. А Кирило был ученик Сергиев. Свет от света, цвет благоуханный от цвета.

8 августа. Понедельник

Митинские бабы сейгод ходят жать, пособляют Бобылевской слободке. Бобылевские бабы благодарно кланяются в пояс. Но митинские обижаются, что бобыли в обед спят по два часа, мужики посиживают дома, да в окошечко поглядывают, да покуривают. Также, когда митинския жнеи захотели пить, обегали всё Бобылево в поисках чистого ведёрка.

Впрочем, и митинския насмешили бобылей. За обедом, где за одну чашку сажали по две жнеи, две бабы поругались из-за того, что одна вытаскала всё мясо, в то время как другая занималась разговором.

На ночь маленькому Сашке дед рассказывал сказку о медведе. Малыш переживает положения сказки, не

[1] *Гадес* (Аид) — в древне-греческой мифологии бог подземного царства мёртвых, а также название самого царства мёртвых.

допускает сокращений и перестановки слов. Но положения персонажей комментирует каждый раз по-новому.

Сегодня дед повёл сказку так, будто всё случилось с ним и с Сашиной бабкой. Медведь идёт по Митинской улице и поёт: скырлы, скырлы... Вот бабка забралась на печку, закрылась шубой. Я за трубу... Медведь в подвал провалился. Прибежали Егор Иванович, Зина, Костя, Пётр Марков, убили его...

Малыш крайне заинтересован. «Баба, ты из шерстки мне варежки связала, из медвежьей, да?»

Уже засыпая, ребенок читает молитвы. «Ангел мой, ляг со мной. Враг сатана, отойди от меня. От окон, от дверей, от постельки моей. Нет тебе места. Есть престол, да и тот Христов». И затем «молитву», которой научен был ещё в прошлом году от знахарки, когда болел лихорадкой. «На море, на Окияне лежит камень Латынь. На том камне сидит святитель Никола с тремя ангелами.

Идут мимо три городовы дочери. Куда вы идете, окаяния? В мир идём, кости ломать, тело терять. Кто нас трижды помянет, к тому вовек не пристанем».

— Дедушка, а гуси где?

— В хлеве (пауза).

Малыш опять:

— А Бог спит?

— Он Сашеньку хранит...

12 августа. Пятница

Как в Бобыльское бабы на помочь ходили жать и одна митинская, только вид показав, что пришла, тотчас уехала ко всенощной, к Троице. Там мниху похвасталась, что уж не упустила службы. Тот ей и говорит: «Ты больше бы от Бога получила, ежели бы в поле бедственным людям помогла».

На горах здесь картофель добрая, в низких местах раскисла. Что копнут, то кисель. Дует норд-вест. Вест дождя подносит, а сивер знобит.

1 сентября. Четверг

Тихий, ненастливый день. С рассвета дождило, в полдня показывалось солнце. И опять затянуло. Лёгкий ветерок. Тихо. В низине Пажи крячет утка.

Решили ехать в город. Грустно мне, но лирика тихаго ненастья не рентабельна. Может, дело какое навернётся в городе. А сидеть, в окошечко глядеть... Вишь, сегодня день тих и тепел, то я и зажалел уезжать.

Человек, «рождённый для вдохновенья и звуков сладких», есть сущее горе для его близких. Век свой я просидел у окошечка, созерцая облака, возложив на братишку всякое житейское попечение. Он упадёт без сил, я пла́чу. Чуть он обмогнётся, и я опять как птичка Божия — «не знаю ни заботы, ни труда».

30 ноября. Среда

Кабы не озябныя ветры, погода бы ничего. Братишку в поле просвистало. Да ещё из-за боли в ноге духом упал. И я со вчерашнего дня приуныл: обнадёженный «дамой-патронессой» два месяца сидел над сценической вещицей. Вчера торжественно понёс в контору, указанную дамой, уверен был в гонораре. А там пожали только плечами. Такой товар не надобен. Ещё в двух местах с братцем были: результат плачевный.

1953

25 февраля. Среда

Эту вот пору года, когда зима на извод идёт, когда днем на солнышке с крыш бежит вода, а старухи, идучи к пению, сторожко обходят отпотные места на дорогах, боятся ещё снять валенки, а и замочить боятся. На улице совсем смеркнется часов в семь. Пост Великий. О, как я эту пору люблю.

Нужда гнетёт душу. Бывало бы радовался, «печали сопротивно», а уж старость приходит: печалюсь, радости вопреки...

Братишечко всё хворает. Как Михаил у нас, мне хоть веселее: есть с кем словом перекинуться, со своим близким, как-никак жизнерадостным человеком. А без Михаила я все свои тревоги в себе жму. Миша с работы придёт и — разговоров! Будто он часть вечных, неусыпающих наших печалей на себя берёт. А тут два старика беспомощных.

Уж никогда, видно, этот камень печали не откатится от моего убогого сердца.

О, какое счастье, у кого есть семья, дети! Кто-нибудь заболеет, все печаль разделят по себе. А мы с братишком, два старика, только горюем да духом падаем, глядя один на другого.

Пишу я всё будто не чернилом, а слезами. «Хотел бы весело хоть раз взглянуть на Божий мир»[1].

Миша Старший давно прирос к сердцу. Врос в нашу, уже стариковскую жизнь. В доме должна быть моло-

[1] Строка из стихотворения В. А. Жуковского «Песнь бедняка» (1816).

дость. Когда брателко ходит-бродит с делами, и я вроде как бодр. А стоит братишке заболеть влёжку, я уж не человек. И присутствие Михаила мне нужно, как кислород для дыханья.

Месяца марта, в первый день

Заветные мои, заповедные мои месяцы — март и апрель. Но некогда радоваться и сил уже нет расположить себя, свои мысли на радость. «Некогда», потому что не умею расположить и распределить порядочно свою жизнь. Не умею во пору и вовремя воздавать «Божие Богови, а кесарево кесареви»[1].

День провожу, то валяяся в слабости — голова кружится, тошнота сердечная, — то мечтаю бесплодно, как Манилов. То схвачусь прибираться в квартирёнке своей. Вечером возьмусь за перо. А уж устал не у чего.

Попала в руки книга хорошая: стихотворения Кольцова со статьёй Белинскаго. Кольцов был для меня поэтом из хрестоматии.

В статье Белинскаго много чувства, но все же Белинский говорит речь о Кольцове, благородно ораторствует... Живого Кольцова надо выискивать.

Я ещё не прочел суждений Белинскаго о творчестве Кольцова. В литературных суждениях Белинскому «книги в руки». Но в жизнеописании Кольцова много высокого ораторства. Например, о любвях Кольцова, игравших, очевидно, большую роль в жизни Кольцова, Белинский не рассказывает, а громит или самодурство родителей, а в другом случае бичует какую-то вероломную красавицу, в выражениях гневных, но... хотелось бы знать, в чем дело.

---

[1] См. Мф. 22:21.

Белинский сообщает, что Кольцов умирает, нуждаясь иногда в куске сахара, иногда не имея куска хлеба. Почему?? Кольцов умер в родном доме. Семья его отца многочисленна. Кольцов вёл все дела по торговле.

Пусть родная семья Кольцова была чужда ему по духу, но Кольцов умело вёл торговые дела. Почему он умер заброшенным, голодным?

Заинтересовывает жизнью поэта, умершего всего на 34 году жизни. Хочется узнать об этом милом, талантливом, с сильной душою человеке точнее, конкретнее. Но в многих поворотах, где жизнеописателю надо бы спуститься на землю, войти в дом воронежского прасола, отца поэта, и поглядеть, подышать воздухом, пускай тлетворным, поглядеть на «изменниц коварных и жестоких». Как раз в этих местах Белинский подымается на крылья если не риторики, то... и мы с высоты полёта не в силах разглядеть и понять, что случилось с поэтом.

Белинский не хочет разбираться в грязи и оставляет нас в неведении. Не любя «идеальничания» жизнеописания, сам идеальничает.

Потому досадно на Белинскаго, что это — мыслитель выдающийся.

Но всё же Белинский открывает простор для мыслей читателя. Читая статью Белинскаго, я могу широко мыслить, догадываться, искать, вопрошать.

И эта абстрактность жизнеописания Кольцова, на которую я, может быть близоруко, досадую, куда значительнее, шире и вернее всяких биографических романов о жизни того или другого поэта, писателя, композитора, каковых романов пишут так много и пишут люди, в подметки не годящиеся Белинскому.

Средний романист собрал бы анекдоты о Кольцове, понюхал бы кой-какой материал о быте провинции первой половины XIX века и «оживил» бы мир людей,

окружавших Кольцова, в духе самого банального романа. Нахватал бы типажей и словечек из драматургии Островского, только получился бы у романиста-биографа... «Труба пониже да дым пожиже».

Широкому читателю это бы было по зубам, но разве это всё можно было бы сравнить с Белинским?

(Я читаю книгу о Кольцове издания 1856 года. С портретом Кольцова. Какое милое русское лицо! Хорошие глаза.)

В книге много стихов Кольцова. Многое не чувствуешь, многое кажется наивным. Но как мне любо, как это меня обогащает и оживотворяет, когда «некто» из хрестоматии вдруг становится живым, подходит к тебе, ты чувствуешь его теплоту, его взгляд, слышишь его задушевное, нужное тебе слово.

Кольцов чем-то близок мне. Почему я так мало знал о нем раньше?

Кольцов мне не современник. Но есть что-то общее в творческих путях наших. О Пушкине и Лермонтове я не мог бы употребить это слово — «наших». А о Кольцове — могу. Этот человек может стать моим другом «по мыслям по верным, по думам по крепким». Он из торговой среды, я из мещанской. Он от ранней юности взыскал красоту, и рвался к ней. И я. Он рожден был поэтом, я, неизвестно откуда, с детства пристрастен был к художеству.

Да, вдруг я стал думать об этом человеке... Пока ещё не стихи его, а жизнь его, судьба его заставляет меня подойти к нему, искать его близости, которая кажется мне светлой.

И чувствую, что жизнь Алексея Кольцова мне нужно узнать для своей пользы.

«Но уже звенящий благовеститель полнощь извествует, и пора мне препокоити скоропишущия руки моя».

Т. е. бьёт двенадцать, братишке пора спать, а мне положить перо.

Сегодня Евдокия Плющиха. День солнечный. Течёт. «Кура из лужи напилась» — по примете, лето (или весна?) будет благоприятное.

А завтра матери моей умерший день. Там, у Студёного моря, почивает моя мать. Уж ветры, налетающие с моря, источили древо больших поморских крестов. Чаю, мохом поросла надпись: Преставилась въ вечную жизнь раба Божия Анна. «Отъ смерти убо къ жизни».

Когда я читаю беллетристику, то устану и ничего не останется в разуме. Там всё чужими зубами пережевано. Много ли наешь?

А чтение документов, писем — это меня обогащает. Люблю, когда словам тесно, а мыслям просторно.

20 марта. Пятница

Крестопоклонная неделя. В Городе разве по дворам лёд, да лужи, да грязь. По улицам уж сухо. Привелось взглянуть, какова весна и за городом. Снегов уж мало, разве о заборы. А от грязной дороги, вдаль, всюду тянутся лывы водныя. И синий лёд. В воды глядятся ещё голые, тонкие ветлы, ивняк, берёзки.

Тряслись с братишком к Мытищам. Любо мне было после городского камня да гула видеть ширь небесную, деревенские домишки, окружённые водою. Всё в какой-то тусклой нежности ненастливого дня.

Весна сейгод ранняя. И грачи, и скворцы, и жаворонки, и водоплавная птица прилетели в свои дни, «на Федота», «на Герасима», на «сорок мучеников», «на Дарью».

4 апреля. Суббота

Тесный каменный дворок старого города. Высокая серая башня. Она стоит без перспективы: нельзя на неё поглядеть издали. Такие здания любят стоять на берегу или на горке.

На фоне догорающаго запада зодчество старой башни так изящно. Всегда, когда я вхожу в этот древний каменный дворик, мне кажется, что я пришёл в другой, иной какой-то город.

Сегодня вечером вкруг башни народ со свечками, с вербами. На лицах двойное освещение: свет вечерняго неба, свет бледный и красноватый отблеск свечей. Молятся ли стоящие? Или пришли за воспоминаниями, которыми хотят согреть сердце?

19 апреля. Воскресенье

Сегодня с утра дождь. Ещё засветло перешёлся<?>. Школьники бегут без пальто. А мы ещё окон не выставили, рам не открывали. И топим через день. Ну, это стариковская кровь не греет. Сосед вчера, к ночи, в пиджачке, без шапки, а я в ватном пальто озяб.

2 мая. Суббота

Впопыхах (после дела-то), в тревогах дни изнуряю. И писанье сдал, и рисованье сдал... Машу кулаками после драки. Дни ведём, едим, пьём, встаём, спать ложимся. А на сердце-то всё тревога и боязнь. Нет надежды, что труд мой долгий и кропотливый обсудят люди доброжелательные.

Надоело жить в тревогах, надоело бояться. Надоела бедность.

Идёшь по улице: люди смеются, разговаривают, припевают. А я на той же Земле живу, а будто и не человек. «Хотел бы весело хоть раз взглянуть на Божий мир».

Мир родимой Северной Руси, который чувствовал, о котором думал, — за него и маюсь. Никому он не надобен.

8 мая. Пятница

Весна благоухает где-то... Но и я через дорогу, за забором, вижу нежную призрачную зелень лип. Принесли ветку цветущей черёмухи... Как я всё это любил, как чувствовал! Ведь и в городе весна. Ещё нет пыли.

Но на душе камень печальный. Никто этот камень не снимет.

10 мая. Воскресенье

Не люблю (у себя дома, в украшении или в обстановке комнаты) ничего бесформенного. Раздражают меня окляклые, жиденькие, как попало сунутые в плошку веточки. Это, видите ли, природа. Не выношу я мягких пуфов вместо стульев. Не люблю этого разубранного мещанского одра — пышной супружеской кровати. Не люблю сору, окурков. Люблю твердую форму, ясную и отчетливую.

Так точно и в литературе: у писателя должен выработаться язык, чтоб словам было тесно, а мыслям просторно. Нельзя считать «книгой» это неисчислимое чтиво, эту бесформенную, бесхарактерную, нудную говорильню, безликую, без соли, без дрождей болтушку на воде.

11 мая. Понедельник

Сегодня днём первый раз услышал ласточек. Вечер. Натянул облак. Идет тёплый дождь. Где-то «дождь по листам шелестит». У нас поплескивает с крыш под окна. И то любо. В городе как узнаешь, что дождь пошёл? Побегут девчонки, укрываясь куда-нибудь, побегут с весёлым криком. Кряду и мостовая смолкнет. Потом и с кровель плюскать зачнёт.

Хорошо в дождь и в городе. Как-то грустно-обидно, что этим летом в камне городовом придётся сидеть. А где-то благоухание весны, ширь неба, зори, цветы... Пустяковое это во мне чувство. Подумаешь, что старому хрену надо?

Подоплёка этой моей грусти, конечно, в том, что сей-год дела у меня плохи. Два года я сидел, списывал своё знанье северной морской старины. И всё прахом идет. Писать, рассказывать могу. А устраивать, продвигать работу — на это ума и сил не хватает.

Когда эти два года писал про морскую старину, всё мечтал — кончу писание, начну рисовать. Эти лодьи, кочи, раньшины[1].

А и писание-то никому не навяжешь. Кому же нужны рисунки мои?!

Бывало, запоем для себя рисовал. А теперь уж и стыдно «не делом» заниматься.

Братишку очень убивает состояние наших дел. К тому же здоровьем слаб. Нет сил телесных и душевных. И я разгорююсь, палю папироску за папироской...

Ласточки свистят, знать, и это лето в нашем переулке жить будут. А вот галки и вороны уж две или три зимы как не зимовали, не ночевали на деревьях, что через дорогу. Выжил живую природу гам и лязг города.

[1] *Лодьи, кочи, раньшины* — старинные типы поморских судов.

А се и то, что помойных ям не стало. Питаться негде. Но воробыши живут зиму и лето. Веселят своим чириканьем...

Да, самое главное не записал: (!) на рассвете сквозь сон слышу звуки, сладчайшие всякой музыки. Над городом летели журавли и кричали. Какая флейта, какой хор, какия виолончели могут воспроизвести эту сладчайшую гармонию — пренебесные звуки, серебряный звон, блаженный зов летящих журавлей.

Соловей воспет и прочувствован поэтами и прозаиками. Диапазон соловьиного описания исчерпывающе невелик: если соловей, то неумолимо светит луна и неизбежное лобзание влюбленных. И ежели тебе не двадцать лет, а за полсотни, то какое твоё дело, что кругом — «шепот, робкое дыханье, трели соловья».

А журавли — музыка зовущая, а куда — неизъяснимо. Журавлиный крик — в сердце и печаль, и восторг. Заслышишь — весной ли, осенью ли — выбежишь на улицу: где они? А журавли прокричали, позвали и — нет уж их.

19 мая. Вторник

На дворе гроза. Вдруг отемнало. Над городом катится гром. Дождь моет серый камень города. На что краше!

27 мая

Заходил человек с родины. Там худо и знал её, сейчас будто родной кто приходил. Говор забытый, милый, родной услышал. Названия улиц. Всё в душе всколыхнулось. Ожил родимый мир. Ожила во мне моя молодость.

Вернулась в меня та ушедшая жизнь. Другая была жизнь, другие, не теперешние люди, другой был я.

И вдруг я унёсся в этот мир. Пришёл оттуда человек и стал говорить об этом мире юности моей. И я забытое вспомнил. Ясным, и ярким, и живым стало то, что становилось уже забываемым сном...

...И что-то стало звать меня ещё раз повидать любимую родину. Точно эту женщину послала родина позвать меня. Я вдруг почувствовал, что значит родина. Там отчий дом. Там дорогие могилы, там вековой наш род. Там сияющая пора детства и юности моей.

<Без даты>

Вот как регистратор записываю «входящия да исходящия». А бывало, философствовать любил. Теперь уж ничего такого в уме не родится. Всем оскудел: и телом, и духом... В компании с рюмкой в руке или в театришке балаболю речисто. А обычно косен и медлен стал мой разум. Да и был ли он когда у меня? Художество любил с детства, рисовать, красить, вырезать, мастерить что ни то — очами оскудел. Желание есть, а зрение не позволяет. Живое слово люблю: сочинять бы да сказывать. Ино, этот товар не идёт. «Раз в год по праздникам» позовут куда-нибудь побаять, попеть, посказать. Ино для этих редких и случайных «разов» нет резона сочинять да слово составлять. И сдумал бы что, а для кого? «Уронена стара мода со высокого комода».

<Без даты>

Я поминал, что уж не восхищаюсь природой, как прежде... А всё же, пустой да унылый, выглянешь на улицу или в окно выглянешь: солнышко, небо, воздух,

зелень, по долине внизу вьётся Пажа. Посветлеет на уме-то, теплее станет на сердце. Животворна она, природа...

<Без даты>

Слышал человека, побывавшего на Севере: Кемь, Онега, Ухта, Вокна-волок... Всё, слышь-ка, однообразно. Климат, слышь-ка, скудный, холодный.

А мне родина моя какой кажется прекрасной. И не сравню с здешними местами. Тихославная Двина, родимая северная речь, прекрасное зодчество... Отцы и праотцы там лежат. А меня отнесло-отлелеяло от родимой стороны. Иное и вздохну «о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом».

Но уже не оторваться мне от здешней, теперешней жизни. Близкое и дорогое моё здесь. Тут всё мое дыхание и сердоболь. Забвенна буди десница моя, пусть иссохнет язык мой, если забуду тебя, родина моя прекрасная[1].

Но здесь, «на реках вавилонских», и жизнь моя, и дыхание, и всё. Север для меня — туманное и сладкое воспоминание, а жизнь моя здесь.

<Без даты>

Разница культур. Северные люди любят древний стиль в иконописи. Северный крестьянин и мещанин ежели и не гонится за древностью иконы, то всё же требует, чтобы написана она была письмом «горним и пренебесным», считая, что всё святое и поклоняемое может быть передано исключительно формами, линиями и красками греческих и древнерусских живописных

[1] См. Пс. 136: 5,6.

пошибов. В дни молодости моей в домах северных людей — Беломорье, Сев<ерная> Двина, р<ека> Пинега, р<ека> Мезень, Печора — нельзя было встретить икону «новаго», малярно-«академического» стиля. Это, во-первых, потому, что жители Севера тщательно берегли иконы, унаследованные от предков. Во-вторых, приобретая или заказывая новую икону, требовали, чтоб пошиб был «священный», канонический. «Живописную» (некогда заимствованную с Запада) манеру иконописания северный народ считал профанацией, снижением, недомыслием. Дескать, это будни, это обыденное, сесветное. А «то» искусство передано из мира горняго, от ангелов.

По поводу одной картины Нефа поморка сказала:

— Что уж... будто обыкновенная картина... Наснимают барыней, да ты им и молись. Она хоть и скромница, а тельна очень, хлебна... Глазки голубенькие, щёчки румяные, губочки собрала. Нет, уж это не «Высшая небес»...

Люди Севера также любили древнюю манеру церковного пения. Характерность не только мелодий, а самой манеры исполнения столпового, крюкового пения считалась на Севере принятой от ангелов. Наоборот — театрализованное, чувственное, давно уже распространенное в России пение не нравится северным людям. Оперно-концертный стиль церковного пения поморы, двиняне и др. считают недомыслием, оскудением, ложью и ничтожностью. Концерты, распеваемые в церкви, рёв басов, визги сопрано, по мнению северных людей, есть «скраденая ересь». Не о староверах говорю. Это дух общей культуры Севера. Кстати сказать, в таком рассаднике церковной культуры, как Сийский, пение искони употреблялось только и исключительно «столповое», знаменное с его особливой техникой исполнения.

Северный человек, почитая церковь «земным небом», считает, что здесь всё должно быть не такое, как в сем мире. И глаза и ухо должны видеть и слышать «пренебесное», надмирное, высокое. Условно-идеалистическая живопись, особый стиль пения, красота которого столь несродна общераспространенным ныне понятиям и вкусам, — вот что требует душа Северной Руси.

<Без даты>

Перечитывал «Запечатленного ангела» Лескова. Нельзя довольно надивиться богатству этой повести. Лесков несравненный мастер рассказа-монолога («Полуночники», «Очарованный странник»). Но повесть-монолог «Запечатленный ангел» — вещь совершенная в этом роде. Автор даёт обильные сведения о технике древнерусских художеств (и какою замечательною речью он это преподносит!), рисует очаровательные типы артельных людей, каменщиков: Марка, Мароя, Луку, «отрока» Левонтия, живописца Савостьяна. Вместе с рассказчиком мы живём в рабочей слободке, ходим в Москву, бредём дремучими лесами Заволжья в поисках прехитрого изографа Савостьяна и обретаем Панву безгневного.

Многообразный этот рассказ настолько целен и целеустремлён, что кажется очень простым, бесконечно хочется слушать этого Марка, от лица которого ведётся речь.

Монолог как литературная форма очень трудная вещь, но настолько оригинальна и трогательна фабула, настолько живы положения, любопытны и ценны сведения об народном искусстве, что без конца готов насыщаться (от) богатой трапезы, учреждённой изумительным мастером слова. Многие пишут в народном вкусе,

но в больших дозах угощение это становится пресным и приторным. У Лескова несравненный вкус, Лесков никогда не свернёт на торную дорожку слащавого и банального «русского штиля», которому так легко подражать. Язык «Запечатленного ангела», «Полуночников» и (местами растянутого) «Очарованного странника» навсегда видится нам струёю чистою и живописною посреди мутноватых и подражательных и зачастую бездарных подражаний народной речи.

<Без даты>

Не беда, что все мы слабы телом, больны. Беда, что ослабли духом. Не только немощные, но и здоровые телом негодуют на всякое беспокойство в личной жизни. Даже бабушки и дедушки, дяди и тёти крайне тяготятся внуками:

— Не отдохнёшь, не сядешь как следует чайку попить...

Не дадут полежать, кричат, стучат, шумят, просят есть, одень их, раздень, подай то, подай другое, капризничают. С улицы дети приходят в пыли, в грязи, с мокрыми ногами. Что-нибудь разорвут. Надо на них стирать, гладить, зашивать, штопать. Надо купить обутку, одёжу.

Это всё так. Особенно в тесноте городских квартир, комнат. Нянек ведь мало кто может держать (я говорю о среде, в которой живу).

Такова же и психология современных бабушек и тёток, живущих в деревне, хотя там жить просторнее и привольнее...

Но, в общем, иссякло чувство любви и жалости даже к внучатам, к племянникам, не говоря уже о чувстве к неродным детям. Под настроение и чужому ребенку дадут конфетку, яблочко, посмеются, пошутят с ним, но

терпеть шум, возиться с чужим ребенком никто даром не станет.

Все мы устали, всем нам некогда, всем нам надо работать, все мы хотим спокоя. И далеки и непонятны нам слова об «иге», которое надо взять на себя для того, чтобы обрести покой душе. Если бы в нашей душе жила любовь и жалость, если б мы горевали о том, какая жизнь у них будет, мы терпели бы беспокойство от них, не тяготились бы усталостью. Мы почувствовали бы, что дети «иго благое и бремя лёгкое»...

Но не найдём спокоя мы, жаждущие устроить жизнь себе к покою.

<Без даты>

У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходится. И вот-вот спаяются края онаго таинственного. Старость с детством радостным таинственно сольются. И оттого, что начало жизни и конец ея уже близки к слиянию, оттого, что магнитная сила неизбежная стягивает конец и начало в бесконечное златое кольцо, так как уже проскакивает искра от концов кольца, оттого я и чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле. А когда концы кольца онаго дивного жизни сведутся, тогда наступит вечность, бесконечность. Только достойно надо конец-то жизни-кольца, из того же и чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-ти для вечности-бесконечности.

1957

12 марта. Понедельник

В прошлом годе я мало-редко записывал что в тетрадку. Сей год опять появилась эта потенция. Но вялы мысли, стороннему человеку скучно читать.

Ничто уж не «вдохновит». Слаба стала воля к работе. Нанизываю фразы по привычке. Я не скажу, что мне скучно. Лежу, — все что-нибудь думаю. Но воображение не держится чего-нибудь одного. Сколько недоделанного писанья, неотвеченных писем. Не тянет куда-нибудь сходить, — а ведь всю зиму сиднем сидел. И чудно мне, что ребятам, которые к нам заходят, всё охота куда-то лететь. Их ни дождь, ни мороз не держит.

Я, вот, наблюдаю: множество людей окрест живущих, обеспеченных, чиновных. Цель и смысл жизни — карьера. Чуть что по линии карьеры сорвалось, и человек лишается смысла жизни. Ему нечем больше дышать. Состояние нервов и психики разительно действует на физическое здоровье. Здесь телесный состав может поддержать только жизнь духа.

Пепел покрыл душу человека. Но, если под этим пеплом сохранялась бы хоть малая искорка, свет её мог бы засветиться во тьме. Тьма не объяла бы духа, и тело не разрушилось бы.

Употребляется выражение «погиб» вместо «умер». «Там» ведь — ничто. Только улыбнутся и рукой махнут, если кто напомнит, что есть «тот», что существует мир невидимый.

Но я начал говорить о том, что малая искра истинной жизни поддержала бы тело. Но беру широко и про-

странно тему жизни духа. Возьмём хоть одну частность этой жизни, которая может поддержать человека до глубокой старости. Будь милостив к людям. Хоть близких тебе милуй до конца. Рассмотри жизнь человека, который провинился перед тобой. Суди о людях по себе. Разгорячился на ближнего за проступок и сразу же рассуди — а я не поступал так же? Меня обманул приятель, а я разве не обманывал? С окружающих тебя, с приятелей старых и малых, и с семейных не взыскивай жестоко, не «выводи на чистую воду», никогда не обидь их, не скорби <не оскорби?>, не вгони в краску стыда. Ежели кто заплачет из-за тебя, огнём пусть кинет на тебя каждая такая слеза.

С богатыми, счастливыми поступай как хочешь. (Я и не знаюсь с такими.) Но к тем, кто горя и тесноты, и тычков, и пинков, и обид, и скудости навидался, тех милуй, и жалей, и люби. Обид от них не помни. Будь милосерд, ласков. «Кто себя видит, в брате не видит». Вот если будешь милостивым, если будешь иметь сердце милующее, не будут тебя поражать и сокрушать «удары» и «разрывы» сердца. Потому что житейские беды будешь переносить легко и ровно.

30 марта. Пятница

Месяц мой любимейший, март проходит. В деревне, скажем, в Хотькове, как я ощущал эту нежную пору предначатья весны. Пора Великого поста — неделя недели нежнее. Погода сейгод в марте была по «тонам живописи» разнообразна. Третьего дня выбрел я на двор: бело, двор перемело из угла в угол; по переулку несло позёмок. А то, вот как сегодня, с утра до вечера нежная однотонная серебристость облачного неба, улиц, домов, дорог, ещё не просохших. Бывали солнечные дни, гомон воробьёв и ребят. И вечерние зори долго-долго

глядят в оконца мои. Двадцать восемь вёсен гляжу на долгие мартовские и апрельские вечера. И всегда любы они по-новому.

14 апреля. Суббота.

...Что же сегодня с утра тоска схватила и не отпускает? Что худо и тревожно, то и неделю назад было не лучше. Откуда без экстренных <1 нрзб.> фактов этот мрак вдруг навалится? И кручины этой ни порошками, ни рюмкой, ни табаком не утолишь. Молитва? Сознание, что поют «Христос воскресе», — что-то приёмник мой давно перестал ловить эти волны.

Природа, весна?.. И на это зрачок не реагирует.

Единственно, на что сильно-болезненно отзываюся, — это на всякую болезненность, на скорбь. Всякую свою и близких мне людей болезнь и печаль я переживаю отчаянно. Тут ещё неизбежные расходы, страх перед нуждой материальной. А главное — это убийственное «настроение».

Не могу сам себя обсудить, — может быть, болезнь брата и моя болезнь (полгода болит нога, сижу сиднем) настроили меня на этот жуткий минор. Какой бы светлый человек пришёл, да развеселил, да обнадёжил.

А то — терапевт придёт, хирург придёт, кардиолог, невропатолог... Тьпфу! Придут, как в темницу посадят. Может быть, это старость, которая «ipse morbus».

Непонятно мне, что такое старость!

...Принесли из лавки папиросы. Я сую их на полку. Тут давно и праздно валяется малая книжица. Открыл, прочёл:

«Придите вы в пустынное место и отдохните немного». Что есть то «пустынное место»? — опустошённые, вроде меня, люди. Только среди них откатится камень от сердца.

30 апреля. Понедельник

Настало сущее лето. Хотя по календарю можно спеть «днесь весна благоухает».

Даже в наш дворик зайдёшь — аромат тополей. Особливо после дождей с грозами. Сегодня ввечеру так гремело и лило.

Материально сейчас мы живём с тревогой. Занимаем. От издательств везде всё выбрано. Тревожит лето. Нога у меня всё же лучше. Могу обуться.

Благоуханно сейчас в деревне, в лесах... Мне что-то стало всё равно. Скуден я телом и духом. С горя редко реву, но и никогда уж ничему не радуюсь. Ещё влечет красота, но «видишь — мило, да идёшь мимо». «Ни сан, ни годы не позволяют».

На родину, на Север уж не тянет. Не бывать там.

Мечтал о деятельности там, в родном Городе. Нет уж, всё здесь, корни здесь глубоко пустил. Туда уж меня не пересадить.

9 мая. Среда

Развращённый ум мешает видеть, что есть стержень и главное в моей жизни и что является побочным.

Отсюда неверное, сбивчивое моё поведение. Шаткость моего поведения (рожденная слабостью характера) может поставить меня перед лицом неизбывного отчаяния.

Для меня, человека расслабленного, хромающего на оба колена, велик труд идти правильно и нести ношу, не роняя её. Но если я не приму этот труд, если не буду править (хотя бы остаток жизненнаго пути) «в мире честно, цело, здраво», для меня начнется, ещё в мире сем, мука вечная.

19 мая. Суббота

Психология человека пожилого и психология существа юного, очевидно, различны. Редко когда пожилой или старый человек может полностью проникнуться мироощущением юнаго. Ведь для этого надо жить чувствами юнаго. Надо, чтоб тебя волновало то, что волнует и, главное, влечёт его. Посильно переживать, понимать влечения юнаго может только тот, кто увлечён личностью юнаго. Пожилому человеку, оказывается, очень трудно сопереживать с юным пробуждению пола в нём. Если юное существо начинает вести половую жизнь интенсивно, у пожилой особи, эмоционально вникающей в жизнь и поведенье юнаго, появляется сильный протест. Здесь пожилому человеку необходимо подробно вспомнить соответствующие годы своей юности, необходимо вспомнить свои половые переживания в шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет (и ранее). Пусть даже пробуждение пола проявлялось стыдливо, утолялось неопытно, они, эти эмоции, были сильны. И эти твои шестнадцать, семнадцать лет помнятся ярче и дифференцируются эти годы ярче, чем, скажем, последние три десятка твоих лет. Если, например, ты наблюдаешь, что существо, только что переступившее грань от отрочества к юности, жадно ищет половых сношений и проводит их как взрослый, несыто, опытно; если ты вспоминаешь, как ты в этом возрасте был робок, как редко тебе что-то удавалось, то пойми, что обстановка тогда была совсем иная. Возможности у тебя были не те.

Понятия «испорченность», «развращённость» современной молодежи весьма условны и относительны. Судят так молодежь люди весьма недалёкие.

21 мая. Понедельник

Любовь, даже неразделённая, — счастье. Потому что она наполняет душу пафосом. И это при всём том, что ты знаешь, что любовь твоя безнадёжна, при всём том, что неразделённая любовь есть страдание. Неразделённая любовь рождает муки ревности. Но пойми, что эта ревность является частью пафоса, который рождён любовью (пусть эту любовь назовёшь ты своей бедой и несчастьем).

Почему же все-таки и неразделённую любовь я называю счастьем? Потому что этот пафос, это чувство, охватившее тебя, твои мысли, твой ум, отодвигают на второй, на третий план тоскливые, удручающие каждодневные «болезни, печали, вздохи» — всё то, что угнетало и заполняло унынием бесконечным годы и дни твоей жизни.

26 мая. Суббота

Вечерняя заря ослепительно глядит в подвальное оконце. Оконце открыто настежь на мостовую. Зеленеют омытые дождём деревья. Немолчно (целый день!) чирикают воробьи, кричат ребятишки. И над всем, над всем — зов колокола «Приди ты, немощный. Приди ты, радостный: звонят ко всенощной, к молитве благостной»[1]. Завтра Троицын день.

30 июня

Отошли «в путь всея Земли»[2] творцы-художники. Ходишь по музеям, галереям, соглядаешь прекрас-

[1] Строки из стихотворения И. С. Аксакова «Всенощная в деревне».

[2] 3 Цар. 2:1–2.

ныя картины. С горечью думаешь: таких больше нет и впредь не будет.

Читал живые воспоминания о встречах с художниками Саврасовым, Левитаном, Нестеровым. Всё речи о живой красоте, о людях, которые застали красоту в живых и успели запечатлеть её. Странное было чувство, будто художники, видевшие красоту, унесли её с собой. Будто красота иссякла, будто мир пуст красоты.

Но в тот же день, но в ту же ночь увидел, что красота нежно и торжественно, таинственно и осязаемо живет среди нас.

Я говорю о красоте, которую видят глаза, которую могут осязать руки. Это красота обнажённого человеческого тела. Я понял, почему живописцы и скульпторы любили изображать красивое тело спящим. «Почил Бог от дел своих»[1].

Я соглядал красоту юности. Ещё много детски-нежного было в миловидном лице, в опущенных ресницах, в чистых и нежных очертаниях рта, в дыхании неслышном и благоуханном. Тонкие приподнятые брови точно дивились тому, что только во сне подсказывает отрочеству юность.

Только дети спят так торжественно, воздев руки, величаво раскинув их на подушках: это поза спящего ребёнка, и это жест Вседержителя, творящаго небо и землю.

Только Бог, упразднившись от дел, и дитя чистое, невинное, только человек в раю спал вот так, нагой, и не стыдился.

Мы спим, даже во сне ёжимся да оберегаемся, а тут, понял я, что соглядаю наготу свободную, непричастную тленья.

Красота природы и красота человека всегда кажутся новыми. Сколько бы раз ни увидел красоту тела без

---

[1] См. Быт. 2:2.

тряпок и завязок, всегда мною овладевало чувство неожиданности, чувство удивления.

Пришло в голову сопоставить красоту античных статуй и живую красоту живого человека. Красоты Аполлонов, Бахусов, Ганимедов схоластичны, риторичны. Пусть эти «красоты» совершенны, недаром там всё соразмерено по канонам.

Обаяние красоты, которую я сейчас соглядал, стократно усиливается сочетанием отрочества и юности. Я видел утро знойного дня. Нежные руки и мощные плечи, сильная грудь и отроческие линии живота.

1966

29 января

Есть в мире Божье чудо — музыка. Прослушал «Концерт для фортепьяно с оркестром» Моцарта. Раздвинулись стены комнаты. Иду ли я по цветущему лугу? Поют птицы, звенят ручьи. Кто «виновник торжества»? Моцарт, Ван Клиберн. Великолепная слаженность оркестра. Чувствуется только одно: душа моя развернула крылья и, ликуя, кружит в каком-то нерукотворном храме или цветущим лугом кружит, касаясь крыльями весенних дерев.

Прекрасное это музыкальное произведение ощущается как некий целостный организм, как существо, которым зов времени и пространства осязаемо обладает вами полностью.

Три части концерта. Богатство переживаний творца этой музыки. Бедное воображение моё не успевало, не

могло угнаться за богатством переливов-перезвонов моцартовской музыки.

Но душа, как птица в вешнем небе, неутомлённо купалась в радости.

Концерт окончился. Но ощущение, что ты был участником пира, что тебя наделили богатством и ты это богатство несёшь с собою, — счастье надмевает душу. Оно кажется неиждиваемым. И бедная душа верит и надеется, что оно не будет окрадено или утрачено.

От пространных музыкальных произведений у меня всегда оставалось впечатление расплывчатости. Сюиты, сонаты... Например, в «Лунной сонате» Бетховена привык слышать и помню только элегические повторения первой части. Остальное терялось.

Но прослушав «Концерт» Моцарта, дивлюсь на себя: будто я получил во владение дом. Моё — стены, кровля. Всё осязаемо. Оглаживаю его, обстукиваю. Сижу в нём; ношу его в охапке. Это моё владенье, могу измерить аршином... Люди прочтут, подумают: купил невидаль...

3 марта

Послушай меня, поэт, мастер слова. Ежели обдержит тебя лютая печаль, и ты один, в ночи, сидишь, рыкая от тяжких вздохов, — ты, друже, злую печаль изживай доброю мыслью.

Что та добрая мысль? Это заветные, заповедные твои темы, которые вынашивал ты всю жизнь. Хотя ты ночь не спал, на рассвете сядь к окну. И хотя через силу дописывай, закрепляй пером на бумаге мысли, которые так недавно были...

Ежели ты художник-поэт, запоёт, встрепенётся душа твоя, расправит крылья и запоёт весенние радостные песни.

«Злую печаль развевай доброю мыслью».

Что есть злая печаль? Утрата близких, неисцелимая болезнь, старческая немощь.

Что есть добрая мысль? Всегда держи в памяти жизнь и деяния великих философов-поэтов, художников. Они вне веков, вне времени. Они в твоём сознании. Применяй к себе, как живую воду.

19 июля

Молодёжь задает вопрос: «Как стать писателем?». Сколько в море рек, столько в литературе путей. Не ошибёмся, если напишем на сердце и повяжем на выю слово Антонина Пия: «Nulla dies sine linea». — Ни одного дня без строчки[1]. Антонин был римский император (II в.). Десятки лет провёл в походах, возглавляя римские войска. Ни одного дня без строчки. Ночью Антонин возвращается в стан. Слезши с коня, какова бы ни была усталость, он, полулёжа, писал.

Ни одной строки о событиях боевого дня... Учение философов-стоиков. Но стоического бесстрастия, бесчувствия Антонин не усвоил.

Вот пример писателя древнего. «Ни одного дня без строчки». Здесь кроется привычка писать. Ясно и то, что строчка эта должна быть продумана.

Вспомним и завет древнерусских писателей: пиши так, чтоб словам было тесно, а мыслям просторно. Умей в немнога словеса мног разум вложити.

22 июля

«Откуда есть пошла Русская земля, откуда она стала есть?»

---

[1] Слова *«Nulla dies sine linea»* принадлежат римскому историку и писателю Плинию Старшему (23–79).

Откуда зачинается, зарождается в человеке художник? Нет сомнения, — человек родится художником.

Я рассказывал о себе, как рисовал и «красил» в годы детства, рисовал запойно и, думается, бессознательно.

Мне любо вспомнить о годах юности, когда пришла на меня любовь к тому, что стало радостью моей навеки. Всю жизнь мой ум увеселялся искусством. Невнятно подошла старость. Теперь, когда почувствовал, что слово простое обидит мя, малая печаль повержет мя, смирился. Конец? Или в путь необратимый. Великими горестями не козыряю... Отёр слезы. Но те, кто жив, кому надлежит по возрасту цвести и приходить из силы в силу, — они как тёрн острый в сердце, как жало жалят душу неутомлённо.

Но слушайте, слушайте! Непроглядное уныние и нечувствие мое вдруг покрывает весенняя радость...

25 июля

В тихие, ненастливые дни охватит меня не воспоминание, а некая пречудная жизнь. Вижу себя юным. Сижу у окна. За окном дождливый день... Описывать исчезнувшее болезненно.

Немногие годы спустя в Москве пил я живую воду досыта. Но не художники, не музеи, не выставки — не этот слепящий глаза парад переживаю «при конце жизни». Тихий свет обнимает мой ум в тихостные, призрачные, серые, как жемчуг, дни.

Должно быть, весьма рано начались у меня муки творчества. Этот хмель, это смятение, эти искания в дождливые дни по улицам города, разглядывая «Деисусы», поставленные над входами и крыльцами, иногда у могил на кладбище.

Весь век переживал радости и горести любимого искусства.

И эти переживания становились воспоминаниями. Но переживания ранней юности, то, о чём пытаюсь рассказать, вдруг, хоть на малый час, становятся жизнью. Утро и весна жизни. Искания, стремления юности. Трепетное томленье само по себе счастье, счастье <нрзб.> неиждиваемое.

1967

9 августа

Лето с Борисова дня[1] как бы повернуло на осень. Кусты за окном пашут траву, как веники. Но радость, осенявшая меня от дней отрочества, никогда не спрашивалась с погодой.

В Архангельске было мне лет шестнадцать, принесу с чердака чёрную икону, протру постным маслом. Как бы из глубины веков чуть-чуть проглянут контуры, силуэты нездешнего мира. И я от радости на руках пройдусь по комнате. Потом, хмельной от радости, нанесу на бумагу то, что провидел.

Невдолги объявились около меня два друга единомысленных — Виктор Постников и Павел Кузнецов. Виктор уже отыде жития сего света, и прекрасна память его. А ты, Павел Геннадьевич? Лет сорок не могу уловить никакой вести о тебе. Если бы ты потрудился найти меня! Обнял бы я твои ноги со слезами благодар-

[1] *Борисов день.* — 24 июля, память благоверных князей Бориса и Глеба.

ности. Ты был богаче меня. Вместе сыскивали мы древнюю красоту, и твоя взволнованность передавалась мне. Ты соколиным своим взором сразу усматривал в древней красоте то, что будет жить вечно. Благодаря тебе, Павел Кузнецов, юность моя видится мне как бы лик нерукотворный, позлащенный. Ты был цвет благоуханный, благоухание души твоей и поднесь живёт со мною. Весь ты был светлость, весь чистота пренебесная, весь утро весеннее. Но и теперь для меня ты день невечереющий.

10 августа

Радость о красоте есть грань, «юже никтоже возьмет от нас». Следственно, по природе своей будучи вечной, та самая радость, которая надмевала меня в годы юности, обдержит меня и сейчас. Скажут: то было пятьдесят лет назад. Отвечу: а весна текущего года, разве она не та же самая?

И в восемнадцать, и позже я не менял ни силы, ни свойства радости. Я, робея, приобучал себя освобождать древнюю живопись от чёрной олифы. Этот период связан у меня с сияющими белыми ночами, когда полночь в Архангельске разнится от полдня только безглагольной тишиной...

Жизнетворческая сокровищница наша состоит из богатств, которые собрали мы ещё в дни юности нашей. Богатства эти пополняются в течение всей жизни. К счастью, которое мы имели, прибавляется новая малость и радость.

Но великая и богатая малость и радость, пришедшая к тебе в годы последующие, преогорчена бывает неусыпающим сознанием твоих неисправностей и твоих вин. Скажем: как солнце, согревали меня годы и

годы любовь братская, дружба верная. Жил в этих лучах беспечно. Но «солнышко на закат пошло, красное закатилось».

Но и то неложно сказано: «Ради скорбей спеется душа». Старая книга говорит: «Не добрая, братия, вдавшись в печаль, изнемощи. Печаль — моль в одежде, червь в плоде, печаль жжет сердца крепость».

Всяк человек перед кем-нибудь виноват. Старый, немощный человек, например, виноват уж тем, что надоел своим близким. Но в то же время и ему, немогущному, по превосходному разуму, не положено падать в печаль.

Чем же ты отмахиваешься от печали? Тем, что от юности стяжал богатство неиждиваемое. Вечно юнеет весна; всякий день наступает утро; разве к вечной весенней юности приложимо понятие: история, воспоминание, прошлое?

Я ещё в юности убедился, что заветные думы живут и цветут, когда ты делишься ими с человеком, который тебе по уму и по сердцу.

Вот мы угнездимся с Павликом на моём мшистом камне лицом к воде, соглядаем подводное царство. Он говорит: «Там всегда всё к празднику умытое. Разноцветные камешки постланы узорными дорогами, во вкусе. Одни глазками глядят карими, а другие смеются, как беленькие зубки. А на пыльной дороге всё это ослепнет». По дну, тихо шевеля плавниками, шли бронзовые рыбы. Одна, важно поводя хвостом, справила под наш камень. Павлик прошептал: «Это правым шкивом оборотень на тебя глядит, левым на меня». Я говорю: «Оба шкива на тебя глядят. Это наяда тобой любуется». Домой шли, думали, как нарисовать эту сказку.

Не воспоминаньем, а жизнью ликующей и обновляющей являются для человека избранные свидетели его юности.

12 августа

Потом полдесятка лет был я учеником Строгановского училища. Осень и зиму жил в Москве. Весну и лето жил дома, в Архангельске. Художественная жизнь Москвы 1913–1917 гг. была эпохой восторженного увлечения древнерусской живописью. «Ум исхититься может от перезвона тех красок» (Никодим Сийский). И я ходил, как хмельной.

Но прошли десятки лет. Теперь, на старости лет, не переизбытки впечатлений столичного Ренессанса древней живописи и связанная с этим эстетическая истома и суета... Нет, не эту эпоху вспоминаю я... И... окрыляет радостью моё сердце.

Любовь к древнерусской красоте породила во мне Северная Русь. Архангельский глас, а не московский вопиет во мне: «Радуйся!». Там «Свете тихий» поют в неизрекомой тишине и древний город Архангела, и зеркальные воды под ним, и острова... В мире, превосходящем всякий ум, в тишине, в свете тихом рождалась и крепла в сердце моём радость, которую ничто — ни болезни, ни лишения, ни уличный железный смрад — не смогли у меня отнять.

14 августа

Не как воспоминание, а как явь сего нареченного дня встает передо мною путеплаванье наше в Никольское устье Северной Двины. Здесь с незапамятных времен стоял монастырь Николы Морского (именуемый также Корельским)[1].

[1] Николаевский Корельский (Николо-Корельский) монастырь основан неподалеку от устья Северной Двины на Корельском берегу Белого моря преподобным Евфимием в конце XIV — начале XV в. В начале 1920-х гг. монастырь был закрыт. В 1936 г. на этом месте началось строительство кораблестроительного завода, рядом с которым вскоре вырос г. Северодвинск.

В 1419 году этот монастырь разорён был норманнами. Берег-от был вотчиною новгородских посадников Борецких.

Около середины XV века посадница Марфа послала сюда для досмотра своих сыновей Феликса и Антония. Морская непогода разбила судно, на котором шли Феликс и Антоний. Тела их волною морскою вынесены были к подножию холма, под стены разоренной обители.

Над гробом своих сынов Марфа воздвигла истинное чудо архитектуры. Гениальный зодчий замыслил эту белокаменную «сказку». Величественный соборный храм, как лебедь крылья, простирает на север, на юг и запад торжественные входы и выходы. С какой бы стороны ни подходили к монастырю, с моря или протоками, меж островами, всегда казалось, что белая лебедь, вышедши из волн морских, отрясает свои крылья на все страны света. При этом кружится, опираясь на аркады подкрылий.

18 августа

Чувство ошеломляющее охватило меня, когда я, в дни ранней юности, переступил порог летнего собора Никольского монастыря. Сияние полуночных зорь наполняло храм. Ни единой души человеческой. Но в соборе шла торжественная служба. Я слышал Херувимскую песнь: «Ныне силы небесные с нами невидимо служат». Кто пел? Кто совершал службу?.. Такова была динамика, такова сила вдохновения новгородских художников, что я со страхом чувствовал «ветр Духа Святаго», который гонит апостолов, пророков, святителей

В настоящее время (с 1998 г.) возобновлены службы в Воскресенском храме монастыря, который находится на территории завода «Севмаш».

к Христу. Таков был орлиный, творческий полёт русских художников, что, претворяя в краски и линии литургические песнопения, русская храмовая живопись удесятеряет силу текстов и музыки.

24 августа

На горе, на высокия
Храм — Божья церковь соборная.
Там звоны тихогласные,
Там горят воскояровы свещи,
Там поют епископы, попы....

В мерцающем свете неба белые стены собора, алтарные апсиды, крыльца казались написанными на иконе. Но вот на соборной колокольне начинается перезвон. Звонари тихогласно и редко ударяли попеременно в большие, середние и малые колокола. Начиналось «Погребение Христа». Шествие с плащаницею вокруг собора. Впереди шли мальчики, дисканты и альты. За ними мужской хор. Священники несли Плащаницу. По сторонам шли дьяконы с звенящими кадильницами.

У нас в соборном храме издревле допускалось только знаменное столповое пение. Знаменные напевы передают все оттенки чувств человека, но в них никогда не бывает чувствительности.

Вот и сейчас мальчики по уставу поют «глагол рыдающий». Но в мелизмах, передающих плач и исполняемых дискантами, ни тени человеческой.

Светская, мирская музыка в операх, романсах передаёт и томную элегическую грусть. Мужчины, изображая горе, ревут как быки, визжат как калеки. Но разве это музыка горнего мира? Разве не кощунство у гроба Того, кто взял на Себя грех всего мира, ариозно-оперная театральщина?

Август, 30-го

Лето прекрасное на редкость... пригорки, ручейки и мурава шелкова. А не с кем молвить слова. Тоскливую скуку не с кем развеять. За столом болтовня пустая, пересуживают всех и вся. Михайлушко редко приезжает. О нём и о сыновьях его припадаю к Нерукотворному Лику.

Но весь вечер слушал «Феодора Иоанновича» Алексея Константиновича Толстого. Слушал один, сиротливо, впотьмах.

Впечатление сильное. Есть, есть она, бессмертная красота святой Руси!

Как люблю я слушать такие передачи с сыном богоданным, с Мишей моим.

Народная русская мысль убеждена была в том, что Христос каждогодно приходит на Русскую землю.

Таинственно полагается во гроб и таинственно и торжественно воскресает в пасхальную светозарную ночь.

Воскресеньем Христа обуславливал русский народ и наступление весны на русской земле.

Тайнозрители, поэты-художники воочию видели Воскресшего. Этой степени достиг Нестеров в картине «Святая Русь». Весь же народ, равночестно с поэтами-художниками, видел Воскресение Христово в благодатной теплоте воздуха, в чудной голубизне купола небесного, в радостном блеске вешних потоков, в цветущих вербах, в аромате вешних листочков на деревьях.

31 августа

Русская природа раннею весною — это икона Воскресения Христова. Рядом с этим вовеки жила вера в то, что Воскресший Христос от первого дня Пасхи до Вознесения, то есть в течение сорока дней, ходит

по русской земле невидимо или под видом странника и нищего.

Помню, чуть прозвучит у крыльца или под окном голос просящего «Христа ради», мать бежит на улицу и, подавши красное яичко, колобок и шанежку, поклонится нищему в пояс. Приезжие сторонние люди дивились:

— Что вы это оборванцам чуть не в ноги кланяетесь?

Ответ был один:

— Может, это сам Иисус Христос был.

2 сентября

Странствование Христа по Руси в марте — апреле я с детских лет принимал к сердцу. Но я не вглядывался в лица прохожих странников. Я знал — подлинный лик Христов глядит на нас с Спасовой иконы, в домах или в церквах.

Помню, семья наша подолгу гостила в подгородной деревне Уйма. Занимали здесь верхний этаж древнего дома.

С семилетнего возраста стал я соглядать Спасов лик в большом углу горницы. Когда в горнице никого не было, я становился ногами на лавку. Какие чувства могли волновать меня, шестилетнего? Но и в последующие годы.

Спасов лик с той поры стал обладать для меня силой, необоримо привлекательной.

Ещё отпечатлелся в моей душе лик Нерукотворного Спаса, что находился в иконной палате епархиального древлехранилища г. Архангельска. Большая храмовая икона. Не успеешь переступить порог, Лик, точно корабль, поплывет к тебе, помавая чёрными косами власов.

4 сентября.

Я не мог разобраться в чувствах, которые волновали меня, тогда ещё мальчишку. Позже в «Губернских новостях» я поделился впечатлениями от помянутого собрания икон. Но о Лике Спаса я ничего не дерзнул сказать. Это был лик русского Христа, но отобразилось в нём всё величие русской души и непобедимая мощь народа русского.

На другой день Успения Русь праздновала «Нерукотворному Спасу». Тропарь начинается словами: «Пречистому Твоему образу поклонимся, Христе... Радости вся исполнившеся Спасе, пришедый спасти мир»[1].

1968

23 августа

Глубокое, ценное слово о родимой стороне может сказать только тот человек, для которого его родина не есть «край», а центр. Отсюда, сказал Писарев, художник и исходит. Я исхожу из родимого дома в городе Архангельске. И снова, и снова возвращаюсь туда. Домой. Там, когда не стало отца и матери, живою речью заговорила со мною вся обстановка поморского дома, поморского письма иконы, модели кораблей, деревянные солонки в виде птиц, даже «коренные» ложки, изящно украшенная Иисусовой молитвой посуда соловецкой работы. Каждая чашка, тарелка, ложка, декоративно украшенная Соловецким гербом — плывущая чайка.

---

[1] «Пречистому Твоему образу покланяемся, Благий... радости исполнил еси вся, Спасе наш, пришедый спасти мир».

Мастер употреблял только три краски, три цвета — синий, белый, чёрный. Рисунок предельно лаконичен, эффектен.

Любая бытовая вещь много говорила сердцу и уму. И посейчас малые остатки быта зовут «домой».

23—29 августа. Помин

Из начала мира звучит откровение Библии: Бог сотворил человека по образу Своему и подобию. Взяв тело от земли, Бог вдохнул в это тело «душу живу». Бог наделил человека Своими божественными свойствами и, во-первых, бессмертием.

В Пасхальную ночь не слышим ли мы Благовест:

— И свет во тьме светит, и тьма его «не объят».

Тысячи людей, заполняющих площади и проулки вкруг, переполняющих церковь в Христову ночь, не свидетельствуют ли о том, что Его лик светел на Руси.

Возьми крест, падай под тяжестью его, да опять неси. Гляди, впереди тебя на Голгофу идёт Сам Христос.

Человеку, взыскующему Христа, суждено претерпеть и Голгофу. И тогда наступит воскресение. Ещё здесь, на земле. Тогда ещё, когда ты в теле, в плоти, найдёт тебя Пасха Великая. Когда откроются у тебя очи и слухи сердечные, тогда в Пасхальную ночь узришь дивное чудо Божие на Земле, узришь Христа, сияющего светом Воскресения. Ясно услышишь из уст Его слово, обращенное к тебе: «Радуйся!» Ликуя и радуясь, запоёшь победную песнь: «Христос воскресе из мертвых!»

О, человече! Изучи на память, непрестанно припевай душе своей канон Пасхи и тропари. Держи в памяти чины пасхальные, и звоны, и сияния свечей, и брячания кадил, и целование: «Христос воскресе!».

Ты, человече, и то ещё учти: праздник Пасхи, Дни Пасхи, «12 Евангелий», Плащаница, Светлая Заутреня — этих дней целый год ждала наша Русь, ждала, как утра весеннего, как весны животворящей. И, дождавшись, и в храме, и дома ненасытно, с упоением воспела пасхальные службы.

Нередко слышишь слова: «Как хорошо Иван Иванович, сидя в гостях, острил, хохотал и, вдруг, перекосил рот и... готов. Как хорошо!» Или: «Бежал на службу, посвистывал и вдруг... свалился. Вот счастливец!»

Нет, это очень нехорошо. Если человека не забыл Бог, человеку подлежит перед смертью попрощаться.

Христианство есть церковь соборная. Без соборности, без литургического общения нет церкви. Но к каждому из членов этого собора церковь относится как к личности самостоятельной. Христос каждого из нас омыл своею кровью. Потому он и сказал: «Единой души человеческой весь мир». На панихиде, от лица умершего, возникнет молитва: «Я образ неизреченной славы Твоей. Ты из небытия создал меня и образом Своим божественным почтил».

Век сей и мир сей исключил из своего словаря понятия: «смерть», «гроб», «мертвец». Современный человек выработал своеобразный иммунитет: друзья и знакомые один за другим ложатся в гроб, а я ещё поживу. Но вот и он заболевает, начинает трястись от страха и кричит: «Доктор, спасите меня!»

Но какие препараты, какие шприцы и уколы могут успокоить душу, ум и сердце человека, всю жизнь сознательно истреблявшего в себе всякие стремления к тому, что едино есть на потребу? Современный человек думает о смерти с ужасом...

Почему же вам, горестные люди, понравилось влачить существование в преисподних ада? Ведь не рады вы вечной зиме, вечной мерзлоте?

Возьми на себя подвиг, унылый преогорчённый человек, отряхни мрачный сон. Возьми иго, возьми бремя, реченное в Евангелии. Возьми на себя крест...

ИЗ ДНЕВНИКОВ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛЕТ

Мне думается, что интересные мысли, если твоя голова вообще способна рождать интересные мысли, созревают у тебя и в возрасте, со старостью смежном, и даже в старости.

Дело только в том, что у тебя прошёл хмель молодости. А в молодости ведь кровь бродит, как вино. Под тем хмелем «робишь и работать хочется». Идёшь и идти хочется. Поморка Соломонида Ивановна говорила: «Лучше меня нет пряхи в деревне. Но в молодости я хорошо пряла от радости. За кросна сяду, сон и еду забуду. Я в старости пряла гладко и ровно. Но уж радости нет».

Так и искусный писатель: пусть перестало его накачивать молодым хмелем, зато наступило трезвение, каковое устроение как раз и ценили древнерусские учителя-философы... «Если ты видишь юного, живым возносящимся на небо, то, ради Бога, скорей ухвати его за пятку и сдёрни на землю».

Мысли могут быть равноценны у молодого и у старого. Но молодой с радостью записывает живую мысль хоть в кабаке, хоть в трамвае. Был бы огрызок карандаша да обрывок бумаги. С годами образуется привычка.

Пишет уж не с пылу, с жару, а с рассуждением. Молодой боится растрясти бесценные свои мысли — старый хочет поделиться, радуется сочувствию собеседника, сотаинника...

Для творческой натуры не беда, если, скажем, неладно со зрением или там ноги худо передвигаются. Горе, когда такого человека перестало охватывать состояние радости. Когда осеняет тебя радость, хватаешь любой огрызок карандаша, лист обёрточной бумаги, спешишь, не сронить бы её. Я как-то пошёл поглядеть, не отвязалась ли лошадь. Напахнула эта радость. Я карандашиком на стволе белой берёзы давай записывать эту памятку.

Душа наша навыкла сидеть в груди и у нас, как птица в неволе, в клетке, сложив крылья. (Постепенно душа и разучится летать.) Но как радостно ей расправить крылья и полетать на воле, где ей любо летать-то.

Теперь уже не то... В пожилые-то годы образуется привычка. Теперь это вот припевай: «Привычка свыше нам дана: замена счастию она!» Пущай свыше, а того счастья не заменит.

Бывало-то, в восхищении, неизрекомые глаголы в сердце запоют.

Когда осенила тебя живая мысль и ты живёшь этой мыслью, записываешь её, «сплетая силлогизм», старайся сейчас же закончить её. Завтра увлечёшься другой интересной думой. Вчерашнее философствование трудно будет передать живо. Гораздо легче работать над какой-нибудь живой сценой, где видишь перед собой беседующих, смеющихся, бранящихся людей, и записывать их. Вообразить живую бытовую сценку легче, чем живо, красочно и сжато философствовать, где «в немноги словеса надобно мысль многу вложити».

Бывает, по поводу какого-то человека возникает живая мысль, как родничок забьёт из сухой земли. Вот,

думаешь, на одной страничке изложу. Но параллельно единой думе возникают мысли попутные. Добро, если как-нибудь пришьёшь к месту и их. Единый-то родничок разбежался на десять струй. А завтра уже какая-нибудь побочная мысль станет главной в праздносияющей твоей голове. Беда мне, горе-литератору. Разговоры разговаривать с бабами моё дело, а не книгу писать.

Люблю это душевное состояние, когда ум перестаёт дремать и побегут мысли, одна перегоняя другую. Сначала одна в кореню, смотришь, у коренника две впристяжку. Тройкой правишь и квадригой. Смотри, вожжи держи: они, мысли те, врозь полетят!..

Вишь, как я важно выразился: мыслями-де моими, как тройкой, правлю... Гораздо бы сказать: за двумя зайцами гонишься. Тотчас их из виду упустил и о чем, бишь, собрался сказать? Небось «про Новгород, про царство Золотое? И, бабушка, задумала пустое; Докончи лучше нам «Илью-Богатыря»[1].

Молодой человек делает желаемое, а пожилой человек описывает желаемое. Недаром сказано: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». В молодости-то всё стесняешься да не решаешься, стыдишься да не умеешь. Недавно одна ровесница со следами былой красоты напомнила мне с грустью: «Ты тогда одно только слово и сумел мне выговорить: «Не бойся меня, я сам тебя боюсь...» Глупые мы были!

Эх, снова бы помолодеть, знал бы, как состариться!

Где уж там восхищенье да восторг. Любо и то, когда утром выйдешь на крылечко и охота тебе записать, каков цвет неба, и откуда ветер, и как изящно вьётся по холму белоглиняная тропинка.

Велика досада, когда семейный, скажем, перекор

[1] Неточная цитата из эпиграммы А. С. Пушкина на Н. М. Карамзина «Послушайте: я сказку вам начну...»

собьет твое творческое настроение. Хуже нет — какое найдёт отупение ума! Держишь в руке перо, а живые мысли не приходят.

Со мной бывает, что вдруг над чем-нибудь расхохочешься и ум оживится, захочется писать.

В древних книгах, греческих и русских, часто рассказывается, что вот придут люди к такому-то старику любомудрому, сядут вкруг него и скажут: «Отче, скажи нам слово на пользу!»

Не наугад брели, знали, куда шли, верили, что получат ответ на вопрос неразрешимый и совет в обстоятельствах самых трудных. У этих любомудрых наставников и учителей книжное знание проверено было личным жизненным опытом. Но учительство, наставничество никогда не было их профессией. От людей, приходящих к ним ради полезного слова, они не брали ни денег, ни куска хлеба. Скудное пропитание добывали каким-нибудь ремеслом: сапожничали, вязали сети, плели корзины. Речь такого учителя была «как злато, претворенное в горниле сердца». Слушатели воспринимали эти живые речи умом и сердцем. Старцы радостно, неутомлённо встречали приходящих, как детей, как внучат. Хорошо, что «слово на пользу» записано. Но, ах, какое великое дело личные впечатления!

Закреплять письмом должно только стоящие мысли, нужные хотя бы немногим, или мысли интересные. Это обязательно, если ты хочешь собрать книгу. Ни к переписке дам-приятельниц, ни к фельетонам, ни к многотомной печатной халтуре эти требования не относятся. Учитывать продукцию водопровода нам сейчас недосуг.

Я это написал и осёкся. Кто-нибудь непременно скажет: «У тебя у самого если не вода, то каша мыслей».

Верно, всё на свете относительно и условно. «А все-таки она вертится». То есть та, настоящая литература должна существовать.

Любопытен опыт древних отцов, наставников, проповедников, учителей-философов. Судя по древним записям, это были люди истинно поэтической души. И что же? Отцы этих отцов, то есть опытные старцы, руководствовавшие этими поэтами, предостерегали их: «Во многоглаголании нет спасения». То есть ежели вы будете многоречивы, то вдохновенное красноречие ваше принесет вам вред. Богатство, которое вы накопили, не расточайте без ума. Не расточайте душевных сил в красноречивом ораторстве. Не опустошайте себя. Опустошенное место скорее всего наполнится духом празднословия и неизбежного уныния. Храните мудрость цельно.

К древним отцам народ приходил, требуя решения вопросов личных, семейных, общественных. Эти отцы знали жизнь, знали людей, знали человека, всегда были тонкими психологами и педагогами.

Судя по сохранившейся литературе, греческой, латинской, древнерусской, эти учителя никогда не произносили долгих душеспасительных проповедей и как от чумы бегали от долгих бесед.

Ответы этих отцов — это всегда или краткие афоризмы, где «в немногие словеса многий разум вложен», или те же краткие, но глубоко содержательные примеры из живой жизни.

Чтобы сказать «слово на пользу», надобно быть в душевном веселии.

Если веселие негде взять, соберись в некоторое мирное устроенье.

Счастье твоё, ежели есть у тебя опора в жизни — брат или друг. Может случиться, что опора эта изне-

могла, надорвалась, потому что слишком велик воз везла. Здесь надобно заметить, что «творческая личность» всегда считает себя замученной. «Творческой личности» никогда не придёт в башку мысль: не я ли вымотал душу у ближних моих?

А всё-таки, правый ты или виноватый, искру творческого вдохновения в себе блюди.

Видя богатство дарований Иова, тщится обокрасть его сильный в злобе враг. Враг разрушил крепость тела, но сокровищ духа не украл: непобедимо вооружена была талантливая душа.

Всякому человеку надобно иметь стержень некий мысленный, «столп и утверждение».

Что же это за стержень? Это, во-первых, степень душевной силы, на которой надобно человеку содержать себя даже при упадке сил телесных. Не падать духом ни при каких житейских неприятностях. Я не говорю здесь о каком-либо душевном горе, я говорю о семейно-бытовых, также о житейских, деловых неурядицах, которые трясут человека и выматывают его пуще лихорадки. Во-вторых, это тонус, эта душевная сила не есть какое-то нечувствие или бесчувственность.

Нет, если ты человек поэтически настроенный, если пронёс ты через всю жизнь нечто любимое, скажем, призвание к чему-либо, осуществлённое на деле, в минуту жизни трудную наведи себе на мысль это твоё вечно любимое.

Пусть любимое ходило когда-то в тебе, как дрожди, пьянило тебя, увлекало, вдохновляло. Пусть от этого огня осталась теперь у тебя копеечная свечечка. Самое воспоминание о любимом, заветном украсит, озарит твоё умонастроение теперь.

Что любимо было у меня? Что драгоценно осталось для меня и теперь? Художество... Природа...

Я вот этак теперь сижу — раскис, по бокам развис. Думаю о себе: «Квашня ты, квашня! Кисла шаньга архангельска...» И вдруг точно дух свят накатит. Он, дух-от, дышит, где хочет, не знаешь, куда уходит и откуда приходит. И заживёт, заходит кислая опара. Точно зори утренние в тебе взойдут. То, что любимо было во всю жизнь, опять, как травы весенние из-под слякоти осенней пробрызнут. Мир, превысший всякого мира, обымет душу.

Чувствуешь, что живо всё, что ты любил. Чувствуешь, что сокровищница твоя некрадомая, неистощимая.

Но вот зачну я сказывать, что есть моё любимое и какое моё богатство неиждиваемое, многие усмехнутся. Не велики, скажут, твои масштабы, не широки твои горизонты. Болото ты замшелое.

Однако мох, солнцем высушен, ещё как светло горит!

Любил я с детства художество, но признавал я в художестве только то, что умел сделать сам. Понятно было мне искусство, которое годилось бы в доме, которое постоянно было бы в руках. Таковым было, например, художное столярство, резьба в дереве. Вспоминаю цитату из сказки: «...стоит в лесу липа. Годится на Божий лик липа, и на иконостас, и на чашку, и на ложку, и на стул, и на стол, и на поварёшку».

Мне часто доводилось видеть, как северные мужики вырезали из узлов карельской березы, из обрубков рябины солоницы и братины в виде птиц, делали изящные чашки и красиво выгнутые ложки. Стол, уставленный такой утварью, казался мне особо праздничным. Стол, накрытый синей выбойчатой скатертью, с вереницей таких судков, чашек, солониц удивительно напоминал море с кораблями, у которых «нос-корма по-звериному, бока взведены по-туриному».

Руки мои сами тянулись к ножу, к стамеске. Тщился я взвеселить свой дом такой деревянной, осязаемой сказкой.

От юношеских лет и до теперешней поры упоительно люблю я делать модели домов. Ещё будучи школьником, пленился я изумительными моделями северных старинных домов и церквей, собранных в архангельском городском музее.

Картины на стенах казались мне чем-то вроде ковров или портьер. С картиной нельзя «играть», она висит и висит в простенке.

Иное дело иконы. Северные люди признавали в иконописи только древнерусский стиль. Следственно, они были чрезвычайно декоративны. Почитанье икон связано было и с бытом старого Севера. Понятие об этом дает «Стих о Николе Морском»:

Мы пишем Николу
разноцветными вапы,
украшаем Николу
скатными жемчугами.
Мы ставим Николу
в киновареную божницу.
Мы теплим Николе
воскояровы свечи.
Кадим мы Николе
ладаном-темьяном.
Творим мы Николе
земные поклоны.

Форштевень нередко представлял собою изваяние того же Николы Морского.

Следственно, и это религиозно-бытовое художество не являлось чем-то абстрактным. Но, будучи самодельным, осязаемым, понуждало ремесленные руки к подражанью и всегда служило к «увеселению очей».

Откуда вечная жизненность так называемого прикладного искусства? Я своим «прикладным» умом думаю, что несовершенна полнота художественного произведения, на которое — с понятием или без понятия — можно только поглядеть издали. Поэтому не особо я обожаю скитаться по галереям, увешанным картинами или уставленным скульптурами. Везде мёртвый ярлык. Просят «руками не трогать». Для меня это всё равно что «вход строго воспрещается».

Под картинами ампирные кресла. Присесть не смей: от локотника к локотнику натянута струна барабанная. Стой, значит, перед картиной или перед римским идолом руки по швам.

Недаром сказано: с погляденья сыт не будешь. Люблю художество, с которым можно жить, которое можно держать в руках, которое можно трогать, разглядывать.

Мне скажут — а как же зодчество? Перед любезным тебе зданием ты стоишь, глаза пялишь или вокруг да около ходишь. Оно есть недвижимость.

А я говорю: самое оно моё, зодчество-то. В это вот красовитое здание двери открыты. К дверям ступени меня подводят. Я захожу и живу там телом и душой.

В каждой любезной мне хоромине и окна есть. Я и окном залезу, как мышь в сундук. Мышам ведь нигде не загорожено. Буду по дну ходить, то есть по полу.

Всю жизнь неуменными руками тщился я охапить непосильные красоты зодчества.

В родимом городе над Двиной громоздились приземистые башни и стены древнего Гостиного двора.

Бесконечные сени с неожиданными переходами и поворотами, сводчатые горницы, узкие оконца. Тяжкие двери с железными узорами. В двадцатом столетии здесь всё было так, как было в веке шестнадцатом. Зодчество суровое и простое — и в то же время сказочное и таинственное. А в оконца, сколько ни выглядывай, —

нежный туск северного неба, сребро-свинцовые волны, белые чайки.

Такое же упоительное чувство сказочности охватывало меня, когда мне приходилось живать или бывать в крестьянских хоромах на Двине, у Белого моря.

Сяду один в верхнем жилье и ликую: царство дерева, нежные нюансы золота, тона коричневые.

Откуда, отчего рождалось ощущение счастья, когда соглядал я северную избу-горницу? Что созерцал я глазами, что осязал руками, ногами, спиной? Восхищали мощь, изящество, строгость и цельность стиля. Мощные, коричневого цвета бревенчатые стены, могучие косяки и порог тяжкой двери с кованой скобкой, широкие скобленые лавки, широкие синие осиновые половицы.

Никаких украшений, ни окраски. Но какая нежность тонов, какое удивительное чувство пропорций было у людей, создавших это жилье.

И, конечно, северная природа, глядевшая в коротенькие оконца, оживляла, одушевляла. Природа была единого духа с созданием рук человеческих.

Припас здесь как будто прост: сосна, северная осина, лиственница. Просты снасти — топор, пила, рубанок, долото. Но безупречность пропорций, чувство композиции в поделиях больших и малых — точно песню поют безмолвную, но немолчную о том, что северные мужики-плотники были зодчими-художниками.

Мало мне было тогда настроений и впечатлений. Очевидно, я не знал, что они запечатлелись навсегда. Переживания, рождаемые зодчеством, надобно мне было тогда воплотить в нечто осязаемое.

В те времена я не знал, что народное искусство и красоты родимой природы век будут веселить и молодить мою душу. Увлеченье художеством было действенным и понуждало к труду мои руки.

В это время в городском музее выставлены были модели северного крестьянского зодчества. Когда замолкали шаги сердитого хранителя, я, замирая от волнения, приподнимал дом или амбар руками, заглядывал в крошечные окошечки: там внутри всё было по-настоящему — печь, полати, двери.

Я приходил домой как заколдованный. Я знал, как надо утолять невнятное доселе художническое томленье.

Неудобно мне склонять эти местоимения — «я», «у меня», но я не себя объясняю. Я — малая капля, в которой отражается солнце народного художества. Что говорю я, мала дождевая капля, о том веселее меня сказывают тысячи других капель вешнего художного дождя.

Дни-ти мрачны стали, мраковидны. В полдень разве день-то пошире взглянет. Грязей больших нет, хотя мостовые худо просыхают. Дождей, вишь, с неделю не было. В ночи маленько украдкой поморосит. С Покрова озябный ветер поднялся.

С деревьев остатние листья падают. К вечеру в воздухе тусклота такая холодная.

О полдни день-то похаял, а в два часа светло стало, и читать видно. А холодком от оконца потянуло. Дороги повысушило.

Живу я, содержу ум цел и разум здрав, если растеряюсь и распадусь на мал час, опять да опять соберу и построю себя в добром, в правом моём создании.

Сторонние добрые люди, наверно, думают, что житьё-бытьё моё — болезни, печали и воздыхания. Люди не вникают в то, что «своя печаль чужой радости дороже».

Ради скорбей душа спеется. Верно тебе говорит поэт-писатель: горе — добрый пахарь. Если вспахана твоя душа горестью и преогорчением, вырастет добрая пшеница. Сеющий слезами радостью пожнет.

...Нашёл чем хвастать, слезами! Чувствительные дамы всякий час плачут. Оттого у них и нос красный.

Но, например, великая душа — Пушкин — ничем не схож был со слабонервной дамой, и тем не менее, у него был «дар слез». Он пишет Филарету Дроздову: «Когда твой голос величавый меня внезапно поражал... Я лил потоки слез нежданных...» И в другом месте: «Над вымыслом слезами обольюсь». Стесняясь своих слез, Лев Толстой шутил: «Я старик мягко-слёзный...»

Бумажных книг не читаю. Некогда. Ничего бумажного, чернильного не вмещает моя голова. Житьё-бытьё близких моих, а их у меня много, это я переживаю днём и обдумываю ночью.

Вот моё утешенье, моя отрада: как все-то успокоятся, уснут, лягу и я и начну складывать рассказ или повторять готовый, подходящий к горести или радости дня. Много у меня в памяти «сырых» рассказов. Я люблю их уделывать, речь к речи пригонять.

Пишущий человек ощущает потребность писать и будучи в унылом настроении. Очевидно, ему необходимо выключиться, он хочет отойти от горькой печали. Но все же унылые ползут мысли. Уныла и речь. Да и надолго ли в таком преогорчении писанье твоё? Бросишь перо-то.

Школа писателя-мыслителя, как и всякого человека-деятеля, начинается в своей семье, в среде людей, с которыми суждено жить единой жизнью. Если писатель умён и добр, большую пользу принесет ему многолетняя жизнь в многолюдной коммунальной квартире.

Человеку творческому не приходится всегда черпать силы в семье своей, у домашних своих. Век ты с ними прожил, жалостны они тебе, но в конце концов каждый из них едва набирает сил для собственного дыха-

нья. Жена, брат, сестра — пусть они у тебя прижаты к пазухе,— тебе надобно иметь и искать людей, которые больше тебя знают или светлее тебя думают, собеседников надо иметь художных, вот кого.

Бывает, живёт человек преутомленно. Не беда, что дышит кирпичом, асфальтом, бензином. Беда, что внутри человека — печаль неизбывная. От городского пыльного удушья можно вырваться. А слезную тучу везде с собой понесёшь.

Но и лежащий в печали человек всегда хочет встать да развеселиться. И чтобы сердце твоё развеселилось, совсем не надобно, чтоб вдруг изменились житейские обстоятельства. Развеселить может светлое слово доброго человека. Весело станет, когда дождь вымоет твой каменный дворик и начнут благоухать веточки на деревьях.

Люди нужны людям. Бывают дни удушливо-тоскливы. Знаешь, что ежели теперь тоскливо, то дальше будет «плач и скрежет зубовный». Но вот точно вольным ветром нанесет к тебе человека с живой душой. И будет он говорить не о твоем горе, а горя твоего часть он унесёт.

Уговариваю родного человека, а сам горюю. В таком преогорченье возьму книгу, ещё отцова письма. Там заложена страничка: «Не добро, вдавшись в печаль, изнемогать. Печаль — моль в одежде, червь в плоде. От печали исходит смерть. Печаль жжет крепость сердца».

...Куда же деваться-то? Но верно-опытно знаю, что спастись от печали можно только в людях. Доспей себе близких, копи, стяжи, припаси себе людей. Не живи один, пусть с тобой люди живут, которым ты нужен.

Извне огляжу мою жизнь, как будто ровная она: полжизни прожил в Архангельске, полжизни здесь. Два жительства только и сменил от рождения до старости. Маску тщусь носить спокойную. А уж как сердце-то рвется да слезами исходит, то уж мое дело.

Братишечко сядет на постели, взглянет в окно, тихонько скажет: «Абрикосиха прошла. Соболев куда-то идёт. Древние, а ходят. А я уж не могу...»

Меня горе схватит: «Что уж наша участь какая!»

Потом одумаюсь: «Братишечко, не горюй. Другой бы и рад, как мы, дома посидеть, полежать, да некого в лавку или в аптеку послать. Дом напротив — думаешь, мало в нём чахлых, немогущих, сиротливых? А мы живём, не брошены. Смеющихся, болтающих мы видим и слышим, а грустные — они печали своей не выказывают».

Когда-то я записывал только то, что рождалось в голове «от веселья сердечного». Я чувствовал в себе творческую радость до пятидесяти лет. Потом она стала утекать, как вода из треснутой чашки.

Поздненько я спохватился, что «вдохновения» ждать извнутри себя дело легкомысленное.

Надежно только то, что добыто трудом, крепко и верно только то, что достигнуто подвигом.

Годов до тридцати, тридцати пяти я мало писал: расписывал и разрисовывал стены, двери, бумажные листы. Потом был у меня период годов с десять — записывал редкостные мои мысли как попало, на чём попало, на полях газет, на коробках. Записывал ни для кого. Теперь, «годами призаживши, летами призабравши», из самого себя не выжму. О том горюю, что друзья-сверстники, собеседники мои, сотаинники уходят «в путь всея земли». Как цветы вокруг меня увяли, как свечи угасли.

И всё-таки живёт в душе какая-то светлость. Не люблю печального сна, не терплю на себе горестного унынья.

Говоришь, значит, что радость утерял, будто кошелек из кармана выронил. Что уж, сказано ведь: на старости две радости — кила да грыжа.

Отовсюду выходит, что расположенье моё удручённое. Однако выработанная привычка — закреплять письмом сердечные мысли — действует во мне.

•

«Душа моя мрачна», однако мрачность и удручённость свою анализировать — какая мне от этого польза и кому это интересно?

Великое горе сбило меня с ног. Я уж не валяюсь, не кричу. В тоске смертной я забился в угол.

Я чувствую, что стал мал и ничтожен перед величием горя моего. Стал я тупо равнодушен к близким, сердечным людям.

Житьё-бытьё в старом здешнем доме для меня тоска неизбывная, непроглядная. Переезд в новое жилье представляется мне зловещей, бессрочной ссылкой.

Знаю человека, уже оскудевающего силами телесными, но еще богатого душевными чувствованиями. Говорит о себе: «В силу недуга я домоседлив, но крылатая дума моя летает широко — зимой над полями снежными, весной над лугами цветущими. Но не там богатства мои. Сокровищница моя — близкие мои, искренние мои».

Я зайду к этому человеку, он поглядит в оконце, потом на мой лысый лоб, скажет: «По небу — облака, по челу — думы». Я отвечу: «Ум мой долу поник. Ум мой как ночной ворон. Скажи мне слово живое». — «Опять заплачешь?» — «Легче будет».

Блюдите, не ленитесь, от каждого из вас пусть хоть два человека призаймутся чудным огоньком. От тех че-

тыре, может, и четыре десятка понесут наше душевное художество.

Мне люба срединная Русь деревенская. Время года — петровщина. Дни тихие, ненастливые. Стенка у комнаты стеклянная, и видится она картиной нерукотворной.

За окнами березник, рябинник. Листва загораживает солнце и сияет, как изумруды. Только темнеют густолиственные ветви и сучья. К полудню небо пооблачится. Зачнет погромыхивать дальняя гроза, будто серебряная призрачная кисея опустится на землю. Стеклянная стена моей горницы видится новой картиной. Нет ярких красок. Только нюансы нежно-тусклых тонов. Купы деревьев будто карандашом прочерчены на этой чуть подцвеченной акварели.

Куда глаз достанет, видится шёлковая пелена. По этой пелене призрачные тени ветвей теми же шелками шиты, каковые краски этого пейзажа. И я спрошу: каковы тона безглагольной тишины? Впрочем, птичка какая-то подобрала тона, посвистит повыше и после паузы возьмёт столь же нежно пониже.

И был вечер, и было утро — день второй. Цвет неба — облакитный. Светлошумный ветер. За окнами новая картина. Перед старыми лапистыми деревьями рядочками стоят молодые поросли. Чуть налетит ветер, и старики важно начнут помавать густолиственными сучьями, будто руками благословлять. А молодые тотчас в такт помаванию стариков зачнут кланяться в пояс.

Стремления художника многообразны. Добро, если он сосредоточит свои творческие силы, свой умный взор на образе природы. Люби Мать-Сыру Землю. Соглядай красоту природы. Не плавай далеко. Всего света в кар-

маны не уберёшь. Ранней весною броди по холмам, по берегам срединной Руси. Собирай в сердце рано-утреннюю красоту. Она отрыгнётся нестареющим душевным весельем.

С досадами повторяю слова «краса природы». Созвучие это — пустой орех. Я имею в виду Мать-Сыру Землю — существо таинственное, жизнеподательное, песенное. Сыра Земля — это не торфяная яма. У Матери-Земли очи недремлющие. Эти очи неутомлённо соглядают днём серебряные облака, ночью — сияние звезд. В косы Матери-Земли заплетены луговые цветы и травы.

Я однажды лез на Митину гору, что в Хотькове. Лез, не чуял колючего шиповника. Мне дивно было, что в берег заплетены были могучие, точно из золота, связи-корни, омытые вешней водой. Я брался руками за эти чудные крепи и чудился: из меди тут ковано или это камень? А после понял на радостях — это кости нетленные Матери-Земли. А на взлобье Митиной горы древле стоял бор: пни заросли давно ельничком-березничком.

Днем в окна глядел дождливый туск.

Я вылез на улицу к вечерней заре. Тонко-облачная пелена стояла над западом. Она светилась золотом, нежным и тусклым. Но на туске небесном, призрачно и ярко, как свечи, горела листва на деревьях.

Омытые дождем мостовые, бульвары будто вышиты были золотом листьев. В дом заходим, трём да трём ноги. А как тут можно топтать эту бронзу и красную медь, это червонное золото?

Горькую чашу подносит мне жизнь на остатках. Не отказаться, не отбиться, не убежать. Страшно, ужасно, а пей чашу горчее полыни.

Людям горя не кажу. Что спросят, отвечу весело. Пуще всего бодрись перед близкими. Думаю, все уйдут, дам себе волю. Один-то остаюсь вечером. Вот и глянет в оконце «погибающая заря». Вешние и летние зори сияют нежно, ласково. Сейчас глядит заря осенняя. Пронзительна, резка, плачевна.

...Вот закрою дверь за племянником, буду лицо ладонями бить да кричать беззвучно.

Но где и когда вот так же острозрачно и горько-плачевно глядела мне в душу эта осенняя заря?

Это было в молодости, когда я расставался с родимым домом. И там я, ладонь к ладони, бил локтями о стол. Кричал тогда: «Прости, отчий дом! Думал, век буду здесь жить, остаётся век поминать!»

Вышел на пристань. Увидел красоту вечную, превосходящую всякое горе. Было небо, пылающее золотом и розами. Двина катила волны сизые с чернью, а гребни волн отражали огненный закат.

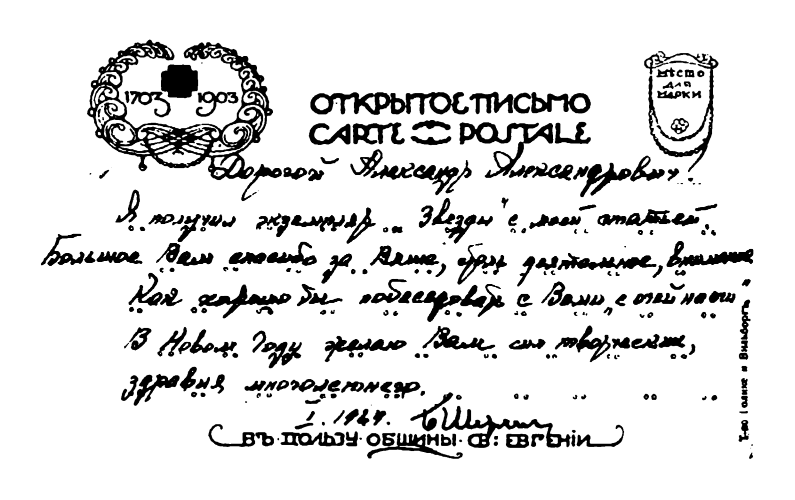
Север мой, родина моя! Живы они, свидетели моей жизни. И не «погибающие зори», а свет вижу вековечный.

Я тем душу питаю и силу беру, что, когда схватит меня горе, я равняюсь по народу моему. Как они горе переносили мужественно и великодушно, так должен и я.

И вот сейчас, глядя на «погибающую зарю», я не стал кричать и бить руками о стол. Я стал рассказывать стенам и сам себе быль, которая давно живет в памяти сердца моего.

Любовь сильнее
смерти

Приложения


ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
CARTE POSTALE

Место для марки

1703 1903

Дорогой Александр Александрович!

Я получил экземпляр «Звезды» с моей статьей. Большое Вам спасибо за Ваше, друг, [illegible], внимание. Как хорошо бы побеседовать с Вами [illegible]. В Новом Году желаю Вам сил творческих, здоровья [illegible].

1.1949. [подпись]

ВЪ ПОЛЬЗУ ОБЩИНЫ СВ: ЕВГЕНІИ

сердечной износить сие мытарево: - Боже
милостив буди мне грешному. Великие
умом и опытом отцы-то беседуют:
Егда видиши подвижника юнаго, ново-
начальнаго уже возносящагося на небо,
то ухвати его за пятку!... подвижнику
иноку не полезно парить мыслию в
превысочайшем, а о такой худой гря-
зи как я что сказать...
Я, вот, ~~[illegible]~~ отказали не разго-
варивать, не видится со многими ста-
рыми знакомыми по духу за их
равнодушие к шельмам, к лентяям. Они
голодают... А что же им, негодники
за работа, что я знаю когда какой
праздник? чтоб я им и сто грамм
хлеба не подал за двадцать полет...
Такова
внешний мне укор слово Христово: - Тако да
просветится свет ваш пред человеки,
яко да видят ваша добрая дела и про-
славят Отца вашего иже на небесех...

ПИСЬМА

Письма к Юрию Михайловичу Соколову[1]

Письма Б. В. Шергина к Юрию Матвеевичу Соколову хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в фонде известных фольклористов братьев Б. М. и Ю. М. Соколовых.[2]

Знакомство Шергина с Юрием и Борисом Матвеевичами Соколовыми (1889–1941 и 1889–1930) состоялось в конце сентября 1915 года, когда двадцатидвухлетний студент Строгановского художественно-промышленного училища Борис Шергин пришел на концерт Марьи Дмитриевны Кривополеновой (1843–1924) — знаменитой пинежской сказительницы, привезённой в Москву О. Э. Озаровской[3]. В этот же вечер познакомился Шергин и с самими участницами концерта. Быть может, выдающееся исполнение старин Марьей Дмитриевной подвигло Шергина на сказительскую стезю и... стезю писательскую. (Об этом вечере одна из первых опубликованных работ писателя.[4]) А братья Соколовы и заразительный пример Озаровской наставили Шергина на путь собирания фольклора... Вскоре Соколовы запишут от него тогдашний Шергинский репертуар старин[5] и даже за-

[1] Письма к Соколовым приводятся по публикации Т. Г. Ивановой — Русская литература, 1984, № 4, С.159. Примечания — наши. Письма к В. И. Малышеву и А. А. Горелову публикуются впервые. Примечания к письмам Горелову выполнены А. А. Гореловым.

[2] ЦГАЛИ, ф. 483, оп. 1, ед. хр. 2047.

[3] Ольга Эрастовна Озаровская (1874–1933) — исследователь и пропагандист фольклора, актриса, певица. Автор «Бабушкиных старин» (1922) и «Пятиречия» (1931). В 1920 году, специально для Озаровской Шергин запишет свой сказочный репертуар, включенный ею в «Пятиречие».

[4] Отходящая красота. «Архангельск», 21.11.1915.

[5] ЦГАЛИ, ф. 483, оп. 1, ед. хр. 2975 и 2980.

планируют его публикацию[1], которая, однако, в условиях военного времени не состоялась.

К этому времени молодые ученые — братья-близнецы Соколовы были уже известными фольклористами, за несколько месяцев перед историческим вечером вышли их «Сказки и песни Белозерского края»[2]. Юрий Матвеевич пригласит Бориса Шергина иллюстрировать пением старин свои лекции в Университете Шанявского. Братья Соколовы введут Шергина в научные круги, через них, вероятно, получит он благословение А. А. Шахматова на экспедиционную работу.

1

Москва. 1915/XI/3.

Многоуважаемый Юрий Матвеевич!

Возвращаю вам том Григорьева[3] и очень извиняюсь, что так долго читал. И к вам по этому поводу много раз звонил по телефону, но как-то не мог дозвониться.

Прилагаю еще фотографии. Две вам и в особом конверте две для Бориса Матвеевича[4]. Все это по поручению Ольги Эрастовны.[5]

Марья Дмитриевна уезжает числа 15/XI и шлет вам низкий поклон.

Очень благодарю за книгу.

Желаю всего хорошего.

Борис Шергин.

---

[1] См. Т. Г. Иванова. Русская фольклористика в биографических очерках. СПб., 1993. С. 80. Отчасти эти старины опубликует сам Шергин в газете «Архангельск», 17, 22 и 24 января за 1916 г.

[2] Сказки и песни Белозерского края. СПб., 1915.

[3] Архангельские былины и исторические песни, собранные А. Д. Григорьевым в 1899–1901 гг., т. I. СПб., 1904.

[4] Б. М. Соколова.

[5] О. Э. Озаровской.

2

Архангельск. 6/I/1916.

Здравствуйте, глубокоуважаемый Юрий Матвеевич!

Приветствую Вас с Зоей Семеновной, Бориса Матвеевича и Веру Юльевну[1]. Открытку Вашу получил. Равным образом мама моя шлет Вам низкий поклон.

Праздники я провожу дома весело. Только жаль — время скоро идет. Скоро надо и в Москву. С грустным чувством я всегда оставляю Архангельск.

Старины вещественной и словесной почти не собрал. «Во святых-то вечерах» гулянье на уме. Каждый день все госьбы да вечера званые.

Не знаю, сказывал ли я Вам, Юрий Матвеевич, что знаю стих о 12 пятницах. Я помнил отрывки этого стиха и его голос. Нынче я нашел и весь текст, записанный мною от старовера Пафнутия[2], с которым часто пел о 12 пятницах. Я раз один прочел и сразу все на ум пришло.

Климанта попа рымскаго
О 12 великихе пятницах

и т. д.

Голос этого стиха слегка похож на голос «Снафиды», так что первое время нынче осенью я немного путал.

И еще теперь, на святках, я выучил от одного плотника стих «Сон Богородицы». Сначала я записал, а потом мы несколько раз вместе пропели. Я теперь «Сон Богородицын» хорошо знаю. Но, пожалуй, это не то уж, что старины, выученные мною в детстве без запи-

---

[1] Зоя Семёновна и Вера Юльевна — жены Ю. М. и Б. М. Соколовых.

[2] Вскоре Шергин опубликует второй свой очерк «Недавнее прошлое: Пафнутий Осипович Анкудинов» («Архангельск», 26.04.1916). См. также рассказ «Пафнутий Анкудинов» в «Изящных мастерах».

сей... Плотник этот слыхал и про Илью «Муромца», но определенного ничего не помнит. «Есь иша, говорит, на Мурмане и другой богатырь Оника. Тамотки и остров есь Оникиев; дак эфтот Оника на судах ходил, Нарву грабил. Ну и своих промышленников не миловал». Есть ли про Онику песни — не знает. «Быват и есь — всего по вызнашь». Ничего кроме «Сна Б-цы» этот дядя не поет. И этот стих он поет неохотно. Объясняет тем, что призабыл голос, а без голоса песня — все одно, что человек немой или мертвый, — хотя видимость и есть, но уж все не то.

Я помню, что в детстве слыхал от певцов такие мысли о равноценности текста и мелодии в старинах и стихах. Я припоминаю, что говаривала моя Наталья Петровна Бугаева о певцах и напевах. Привожу ее речи почти буквально, что припомню:

«Наедут всеки странники да убоги на ярмангу ли на богомолье. Поют, снуят. И про Оликсея человека Божья, и про Страшный суд, и про Лазаря. И всё-то на один голос да на едину стать. Которы и старину настоящую споют, дак все, ровно “Христа ради” просят. Никакой разноты нет... У нас эдак не водится. У вас коли про Илью петь, дак не круто, не в ростягу, не с подерьгой, а ровным голосом держать; мало, мало где, в конце ли, в середке, голосом качать». Веселые старины, «небыли» надо петь с «подерьгой», с «подбором», «борзясь». Старины вроде «Снафиды» Н. П. пела, когда «тоснуло на сердце». Конечно, мелодия была печальной. Что касается стихов, то их поют непременно «в ростягу», «вытягают», «водят голосом». Говорил еще кто-то, Наталья или Пафнутий, или еще кто, что если поют несколько человек, то непременно петь надо в один голос, «всем голос равно держать, в сторону не заводить». Пафнутий говорил, что петь «на разны голоса», «с перехватами да с “ахами”, да с “охами”, да с “руладами”, то один,

как баран блеет, то все взревут, — так петь прилично *и принято* только в ресторанах, в “киатрах” да в никонианских церквах...»

Еще я вспомнил, что пропускал, кажется, в старине о «Снафиде и Василии» следу<ющие> строки:

Сревит Чурилья не своим голосом:
«Вы, ой еси, Снафидины сестреницы!
Вы подите-тко да во темны леса,
Наживите у змеишша ересна зелья,
У той змеи у подколодныя!»
Они имают змею да ей в рошшеп кладут

и т. д.

И еще в «Соловецком разоренье»:

Возыговорит как Спас милосердныи:
«Уж вы ой еси, старцы соловецки,
Как настало нонь времечко страдимо,
А страдимо времечко счестливо
Скоро матушка Россия загорится,
Со восточныя сторонушки запалится;
А от той от огненной купели,
Никотора душа не спасется,
А котора душа убоится,
И та душа в превечную муку.
Уж вы гой еси, старцы соловецки!
У меня круг престолу места много,
На престоли золотых венцов довольнё,
Вы первы ко мне, старцы, ступайте,
Со престолу золоты венцы хватайте...

Дальше еще что-то есть, но я не помню. Потом кажется:

Как на том на синем да на мори,
Задуват она лекка поветерь»

т. д.

Синцов,[1] кажется, счастливее меня. Он записал целую свадьбу.

Открытки я Вам, Юрий Матвеевич, привезу. Жаль, что нынче почти ничего нет. Старые виды раскуплены, а новые не издаются.

Жителей в Архангельске нынче насчитывают около полуторых сот тысяч. А раньше, наверно, и половины того не насчитывалось. Все стало дорого ужасно. Многих товаров нет. Напр<имер>, говяжьего мяса совсем нет. Все время едим оленину. Но да это вкусно. Козуль, расписных пряников сей год почти не было из-за дороговизны сахара.

Марья Дмитриевна выступала здесь два раза. Оба раза до моего приезда. В первый раз ее выступление предварил маленьким вступлением здешний архитектор (...)ников. Вероятно, по проспекту г-жи Озаровской (...) она выступала на «кабарэ» (благотв<орительном>). Половина публики была иностранцы (коммерсанты) и были удивлены, ничего не поняв. Вообще, публика самая попалась не подходящая. В общем же было все хорошо. Старуха все время страшно торопилась к себе на Пинегу.

Не знаю, как она там теперь поживает. Наверно, Ольга Эрастовна знает.

Я в Москву выеду числа около 15 января.

Желаю Вам, Юрий Матвеевич, всего хорошего.

Шлю низкий поклон.

Уважающий Вас Борис Шергин.

3

Архангельск. 1916/VII/26.

Здравствуйте, глубокоуважаемый Юрий Матвеевич!

---

[1] В. Синцов — товарищ Шергина.

Я возвратился из поездки по Шенгурскому уезду в середине июня. Объехал реки Ледь и Сюму в сев<ерной> части Шенг<урского> уезда. Записывал больше отдельные слова и выражения. Записал вопли обрядовые от вопленицы-профессионалки. Употребил на поездку 18 дней. Не знаю, насколько ценны собранные материалы. П. Г. Богатырев[1] был в Шенг<урском> уезде в одно время со мной, но в другом месте.

Н. Ф. Яковлев записывал в с. Серегове Яренского у<езда> Вологодской губернии. В одно время с Яковлевым в Серегове гостила моя тетка, уже знакомая ему по Архангельску. Он, т. е. Н. Ф. Яковлев, там, кажется, нашел хороших певиц. Не знаю, как насчет эпоса.

А в Архангельске уже проведали, что я сказывал в Москве старину. То, что я знаю несколько «старинных песен», никого, конечно, из моих земляков не интересует, но, к несчастью, я имел неосторожность выступать с былинами в одно время с пребыванием в Москве М. Д. Кривополеновой. Об этом раньше всего узнали московские студенты — мои земляки. Они решили, что мне не дают покоя лавры Кривополеновой и я тоже навязываюсь со своими песнями. Склонны были думать, что я мечтаю «хорошо заработать» на знании старин.

Как это ни странно, но будто бы это говорил про меня и В. Синцов. Эта внезапная недоброжелательность меня крайне удивляет, так как Синцов меня более или менее знает. К сожалению, он говорил и такую нелепость, как то, что будто бы я выучил свою тетку петь князя Романа, а она потом эту старину пела Николаю Феофановичу.[2] Может быть, все это Синцов говорил «предположительно», но до меня это дошло как факты. И тетка моя, кажется, весьма раскаивается

[1] П. Г. Богатырев — известный фольклорист.

[2] Н. Ф. Яковлеву.

в том, что пела. Мамаша моя тоже собиралась петь про Василия Окуловича и про Соломониду. Хотела сказать Николаю Ф<еофановичу> Яковлеву, но постеснялась. П. Г. Богатыреву тоже не сказала, видя, что от пения старин одни неприятности. И мне петь в Москве теперь крепко-накрепко заказано.

Впрочем, маме моей и раньше не особенно нравилось, что я пою принародно «всякую небыль» и «трясу память Натальи Петровны[1] и П. О. Анкудинова». Их-де надо только молитвой поминать, а не «сказками».

(А может быть, так и в самом деле. Ведь уж надо признаться, что былины — сказки. Когда народы были нецивилизованны, могли интересовать и нехитрые старины. А теперь по-настоящему-то, конечно, былины занятны только для ребят. А впрочем, кто их знает. Мне было очень интересно слушать Марью Дмитриевну)[2]. Правда, я глупость спорол. Да не про дело расписался.

У нас была Ольга Эрастовна. Теперь она уехала на Пинегу. С бабушкой[3].

Старины всякой я сей год почти не собрал. Все очень дорого стало и на местах. У знакомых уличан я видел тетрадки со стихами, писал Пафнутий Осипович Анкудинов. Я выпрошу эти тетрадки и привезу Вам. Наверно, отдадут.

Города Архангельска теперь не узнать. И не внешний вид изменился, а внутренняя жизнь повернулась за 2 года. Мы все думаем продать свой дом и место. Может, куда уедем. Был еще у нас нынче племянник Н. П. Бугаевой, от которой я кое-что выучил. К сожалению, этот племянник слишком безразлично настро-

[1] Н. П. Бугаевой — см. «У Архангельского города, у корабельного пристанища». М., 1924.

[2] Текст в скобках зачеркнут Шергиным.

[3] С бабушкой — т. е. М. Д. Кривополеновой. См. «Бабушкины старины», «Пятиречие» и др.

ен ко всякой песенной старине. Хотя он слыхал, как пела Н<аталья> Петровна и кое-что помнит. Кое-как отрывками восстановили текст «Домнушки Фалилевны». Но в общем он не интересуется. Нынче я вступил в число членов «Арх< ангельского> о<бщест>ва изучения Русск<ого> Севера» и заседаю в «Комиссии по сохранению древних народных песен».

До свидания, Юрий Матвеевич.

Поклон вашей супруге Зое Семеновне, поклон Борису Матвеевичу и Вере Юльевне.

Б. Шергин.

P. Scr. Те сплетни, о которых я Вам писал в середине письма, меня, конечно, только первое время расстроили. Теперь мне только смешно, конечно.

Б. Ш.

4

Архангельск. 1916/VIII/8.

Здравствуйте, многоуважаемый Юрий Матвеевич!

Спасибо Вам большое за письмо. Я очень рад был получить. Конечно, мне досадно было слышать всякую безлепицу про мое пенье, но это меня тронуло только вначале. Теперь позабылось. Да в общем-то здесь совершенно никому не интересно знать и слышать — пою я или нет. И В. Синцов уехал в военное училище. Не стал я ему и поминать ничего. И расстались не ворогами. Бог с ним. Безусловно, у него не со зла, а с глупа было говорено.

Да и пустяки это все. П. Г. Богатырев в 20-х числах июля уехал в Саратов. Материалов он набрал очень много. Записывал и сказки, и песни, и анекдоты. А я вот за свой материал беспокоюсь. Ведь я серьезно интересоваться фольклором только после знакомства с Вами начал. А если раньше и интересовался, то только что в

старообрядческом духе. Ведь и на старины свои я очень мало обращал внимания, В детстве они меня интересовали как сказки. Потом и все почти забыл, М. Д. Кривополенова разбудила по мне почти забытое.

Но все-таки мне кажется, что всецело и серьезно я не могу увлечься фольклором в широком смысле. Когда ездил по Шенгурскому уезду, мне не раз случалось встречаться с людьми, предубежденно относящимися к старообрядчеству. Случалось мне с ними «пратиси о словеси». Я с жаром «грызся за веру». И действительно, это очень все важно и серьезно. И живучи в Москве мне было важнее всего узнать, которая вера правая — поморская или белокриницкая[1]. Староверчество — это та стихия, в которой я могу раствориться душой и как художник и просто как человек... Такая безлепица у нас: и в церковь ходим, и попов примаем, и старого жаль. «Хромаем на обе плесне». Кто богу свеща, кто бесу кочерга, кто што нисе. А в общем все мы воистину настоящего града не имеем, но грядущего взыскуем. Ладно сказано.

У меня как-то все спуталось: и гимназия, и разные прологи, и требники с Толстым, и Златоструи[2] с Ренанами и Штраусами[3]. И все то лгано.

И как мне канон по лестовке править, когда я не знаю, где правда.

И Сологуб[4], и другие современные свое проповедуют тоже прекрасное. Конечно, их «Эллада» манит, но раз-

[1] Поморская вера — т. н. беспоповцы. Белокриницкая — согласие, признающее церковную иерархию.

[2] «Златоструй» — древняя русская книга духовного содержания.

[3] Ж. Э. Ренан — французский писатель, автор «Жизни Иисуса». Д. Ф. Штраус — немецкий философ, автор «Жизни Иисуса, критически переработанной».

[4] Ф. К. Сологуб (1863–1927) — русский писатель.

ве все можно вызнать? Про это как-то неладно писать. Да уж <нрзб.> «писах-писах».

И потом мне как-то странно и вроде как бы обидно: вот когда я ною стихи (и старины соотв<етствующего> содержания), то к этим стихам и старинам (Иосиф, Пустыня, Гроб <нрзб.>, Соловецкое разоренье) в Москве относятся просто как к отжившему, прекрасному, (м<ожет> б<ыть>) прошлому и серьезно проняться никто не хочет. А ведь это все божьи люди сложили и все это надо. Это не сказки вроде «небылицы в лицах».

Но я теперь люблю и то, и другое. На многое *шире* взглянул и вижу новую красоту наравне со старой. Наталья Петровна пела духовные стихи и равным образом мирские песни. И память о ней я еще больше полюбил. Нынче в июле я ездил к Наталье Петровне на могилку в Заостровье. Творил ей память. А как канон спел, стало как-то грустно. Там на кладбище на угорышке *тишина*, цветы цветут. Настоящая мати пустыня. И я спел ей про прекрасную мати пустыню и к ряду другие *стихи*, которы Н<аталья> П<етровна> певала. И вышло две панихиды, одна мирская, другая христианская.

Статьи[1] про Пафнутия Осиповича Анкудинова я, к сожалению, Вам не могу прислать. У меня нет больше ни одного № газеты той. Может быть, у знакомых у кого найду, так привезу. Вы спрашиваете про тетрадки Анкудинова. Я наверно достану. А тут еще на годах такой случай был. Священник из Успенского на Бору прихода в г. Архангельске восстал против всяких «Снов Б-цы» «Пятниц» и т. д. Велел жечь эти тетрадки. И нашлись дураки, не но разуму ревнуя, тетрадки эти старописные в печь кидали. А в деревенских приходах так постоянно троицкие и др. листки раздают, где подобные тетрадки хулятся всячески. Борются попы

[1] См. газету «Архангельск» от 26.04.1916 и, позже, — в «Изящных мастерах».

с остатками старой веры, с пятницами, с молитвами Громовнику и т. д., а на главное не обращают. «Комары оцеждают, а вельбуды поглощают».

А в Архангельском о<бщест>ве изучения Русск<ого> Севера специально фольклорной комиссии нет, а есть «Комиссии по сохранению древних народных песен».

Много обещают, но знай много ли совершат. Специально образованных людей в нашей комиссии нет и посему приходится выслушивать мнения весьма необыкновенные и субъективные. Но задачи-то в общем благие. Собираются записывать тексты и мелодии стар. песен и потом, сорганизовав хор, эти песни популяризировать.

Была устроена публичная лекция и, о лютой нам язвы, лектором приглашен член всех комиссий О<бщест>ва — м<естной> пр<ироды> и нашей — некто Бартенев В. В. Он всецело распространялся о народн<ых> романсах (Мой костер, Колечко, Ухарь купец, Вниз по Волге и т. д.). Говорил, что эти «прекрасные народные песни на Севере часто неправильно поют, мелодия теряет рельефность, становится монотонной. Хор будет распространять лучшие мелодии и правильный (?) текст».

Вообще недопустимые ереси были проповедуемы. Я даже расстроился и, не дождав конца, ушел.

А есть у них и благие цели. Будут собирать адреса певцов и сказителей и представлять всем желающим. То же будут делать и с материалами.

Сейчас получил письмо П. Г. Богатырева. Пишет, что их комиссия хочет очень работать с нашей архангельской комиссией. Давай бог.

Он много пишет. Из Звенигорода. Скоро в Саратов поедет. Написал статью о своей поездке в здешнюю газету. Собирается послать в О<бщест>во изуч<ения> Севера программы Император<ского> О<бщест>ва

народн<ой> словес<ности> и статью о собирании Н. В. Васильева[1].

Вам из Общества, Юрий Матвеевич, все, что могу, привезу: труды, устав и т. д. Обращаться с запросами можно прямо в «Архангельское о<бщест>во изучения Русского Севера». Передадут в соотв<етствующую> комиссию. До сих пор наше это общество фольклором не занималось вовсе. Разве случайно что в орган О<бщест>ва попадало. Занимались больше общественной деятельностью. А в общем О<бщест>во до сих пор умирало. Не знай, нынче что будет. И еще О<бщест>во мало популярно. Местных коренных жителей в «Комиссии по сохр<анению» народ<ных> песен» раз два да и обчелся. Приходилось открывать им такие Америки, как то, что Архангельская губ<ерния> наравне с Олоньем считается «Русской Исландией». (Это я на заседаниях в Москве на ус намотал про свой край, теперь и похваляюсь).

До свидания, глубокоуважаемый Юрий Матвеевич.

Желаю Вам всего хорошего и Зое Семеновне. Вашему сыну и новой дочке доброго здоровья. Сказывайте поклон Борису Матвеевичу и Вере Юльевне. Моя мама Вас благодарит за привет и равным образом велела сказывать поклон. Глубоко уважающий Вас

Борис Шергин.

5

Архангельск. 10/IV/17 г.

Христос воскресе!

Здравствуйте, дорогой Юрий Матвеевич!

---

[1] Произведения народной словесности и их собирание в России («Педагогический вестник Московского учебного округа». 1914, № 3. С. 3–17).

Приветствую Вас и Вашу семью. Хотел я попасть в Москву после Пасхи, но, видно, скоро не удастся. Ждем ледохода. Зараспустился я. У нас весна. Реки и озера слило. И в городе улицы водой взялись.

Скоро светлое время. Трехмесячный день. И теперь уже вечерняя заря с утренней сходятся. «Светоносного дня провозвестницы».

В Архангельске опять собирается разный народ. Скоро навигация. Иностранцев очень много. Англичане, скандинавцы, французы.

Фольклором мне удастся ли заняться? А думаю. Мечтаю. Между прочим: мне в июле идти в солдаты.

А Вы, Юрий Матвеевич где будете лето? На даче?

Мне придется еще дня на 2, на 3 приехать в Москву в конце апреля. Узнать результаты экзаменов.

Вечерами у нас в кухне собирается компания онежан и мы поем стихи. Любо.

Желаю Вам доброго здоровья, Юрий Матвеевич, кланяйтесь Зое Семеновне. Сказывайте здоровья Борису Матвеевичу и Вере Юльевне.

Уважающий В<ас>

Б. Шергин.

6

Глубокоуважаемый и дорогой Юрий Матвеевич!

Осенью реорганизовано учреждение, где я служил десять лет, главным образом изучая книжное оформление и иллюстрацию. Эта часть работы свернута, и с 1 октября с/г я не у дел. Чтоб остаться членом союза, я хочу взять какую бы то ни было работу. Решаюсь обратиться к Вам, Юрий Матвеевич, не пригожусь ли я где-нибудь, на что-нибудь, в каком-нибудь московском музее, хотя б временно?

В случае, если Вы, Юрий Матвеевич, м<ожет> б<ыть>, даже случайно окажетесь осведомленным, что где-либо нужен человек, пожалуйте — вспомните меня.

Зная Вашу занятость, мне крайне трудно беспокоить Вас, Юрий Матвеевич, но и еще беру смелость сообщить свое, в некотором роде curriculum vitae:

В 1913 г. оконч<ил> классическ<ую> гимназию в г. Архангельске.

С 1913 по 1917 г. в московском Строгановском художеств<енно>-промышленном уч<или>ще; работал в мастерских — живописно-декоративной, резьбы по дереву, набойной, эмальерной. Здесь же в музее три года раб<отал> с реставраторами икон.

С 1917–1919 в Архангельском о<бщест>ве изучения Северн<ого> края. Устройство выставок, собирание и починка коллекций, изготовление макетов дли Краеведческ<ого> музея.

С 1919–1923 художник-инструктор кустарно-художественных мастерских Архангельск<ого> губ<ернского> совнархоза (резьба по кости, деревянные и глинян<ые> игрушки, скульптура и т. п.).

1922–1930 — штатный сотрудник Института Детского чтения и литературы (Научно-педагогич<еского>). (Впоследствии отдел Детск<ого> чтения при Институте Внешкольной работы). Здесь был заведыв<ающим> *художественно-этнографическим* бюро, затем работа по изучению *книжного оформления.* Также теория и практика рассказывания.

Б. Шергин.

Я взял бы работу и помимо специальности той или другой.

Если Вы, Юрий Матвеевич, найдете как-нибудь минутку для ответа, то, может быть, позвоните по телеф<ону> 5-16-40 с 12–4 ч.

Вызвать Веру Тимофеевну Козелло. Она мне передаст.

Мой почтовый адрес:

Москва. Маросейка.

Сверчков пер. (Малый Успенский)

д. 6 кв. 15

Борис Викторович Шергин

Еще раз простите, что беспокою.

7

Глубокоуважаемый Юрий Матвеевич!

Состоится ли фольклорный вечер 29/I?

Какова программа вечера?

Я предполагаю дать впечатления о поездке, картинки современного быта, образцы речи. Также надо познакомить публику с исполнением былин и т. д.

М<ожет> б<ыть>, Вы, Юрий Матвеевич, сообщите еще какие-нибудь Ваши пожелания?

Завтра Анатолий Викторович[1] (буде не застанет Вас дома сейчас) зайдет за ответом часов в 12 дня.

Кстати, с какого часу начало вечера?

Кого вы приглашали, Юрий Матвеевич?

С искренним приветом

1934/I/27. Б. Шергин.

[1] Анатолий Викторович Крог — названный брат Шергина, дальний его родственник по матери (троюродный брат).

Письма к Владимиру Ивановичу Малышеву

В. И. Малышев — известный исследователь древнерусской литературы, создатель фонда древнерусской литературы в ИРЛИ АН — т. н. древлехранилища. Два письма Б. В. Шергина к Малышеву (от 20.09.1951 и 30.12.1952) находятся в рукописном отделе ИРЛИ, р. V, ф. 494, оп. 2, № 1354. На конвертах адрес: «ИРЛ АН СССР, сектор древнерусской литературы, В. И. Малышеву» и обратный адрес: «Москва. Маросейка. Сверчков п. д. 6. к. 1».

1

20.09.1951

Глубокоуважаемый Владимир Иванович, пожалуй, больше года назад имел честь получить от Вас письмо. Вы спрашивали о В. Ф. Кулакове, об имевшихся у него когда-то изображениях Аввакума.

Я не успел ответить Вам, — дом наш подвергся ремонту. Все книги, бумаги, письма целый год лежат в сарае... Так и остался у меня на совести ответ Вам.

Между тем, Владимир Иванович, у меня, у самого назрел вопрос к Вам. Излагаю его, в надежде, что при случае, на досуге (если Вам бывает когда досужно) Вы не оставите этого вопроса без внимания.

В настоящие время я, в соавторстве с полярником К. С. Бадигиным[1], пишу книгу по истории поморского мореплавания. Среди выписок сделанных мною ещё в

[1] К. С. Бадигин — полярный исследователь, герой Советского Союза, руководитель знаменитого дрейфа «Георгия Седова». Неизвестно, была ли совместно написана книга в 1951 году, но в 1953-м году Бадигин защитил диссертацию о древних мореплавателях-поморах, а в 1958 вышла «Детская энциклопедия», где в первом томе на стр. 302 и далее имеется статья «Русские северные мореходы», написанная не без влияния Шергина. См. подробнее в биографическом очерке.

дни моей молодости, в Архангельске есть у меня выдержки из поморской рукописи XVII-го века «Малый виноградец». Выписал я о Маркеле Ушакове «корабельном вожже» XVII-го века. Между прочим, этот мореходец в 1682-ом году 14-го апреля, очевидно не случайно, был в Пустозерске. В 80-х и 90-х годах XVII-го столетия Ушаков управляет судостроением в Архангельске, непрестанно воюя с Афанасием Любимовым.

Может быть, Владимир Иванович, я отягощаю Вас этими подробностями, но упомянутая книжица «Малый виноградец» в 20-х годах была в руках у В. Ф. Кулакова. Думаю, он перепродал кому-нибудь эту рукопись. Но на случай хочу спросить Вас, — если Вы бываете в Вельске, не видали ли Вы такой книги?

В. Ф. Кулаков, как будто, не собирал рукописей, но если после В. Ф. остался какой-либо архив, и, если Вы, Владимир Иванович, видели его, не встречались ли Вам какие-либо рукописи по мореплаванию и судостроению?

«Малый виноградец» (нынче представляется, что книжица эта составлена была в какой-то «pendant» «Винограду Российскому») открывает яркие и любопытные страницы культурной жизни Русского Севера в XVII-ом и в начале XVIII-го века. Жаль, если эта рукопись пропала. О Маркеле Ушакове, думается мне ученике Аввакума Петрова, печатно я в февральском номере журнала «Вокруг света». Излагая «Виноградец» по копиям моим, я отчаянно жалел об отсутствии подлинника.

Не посетуйте, Владимир Иванович, что отнимаю у Вас время «протяженно-сложенным» письмом, но вспомнил, что собираетесь Вы в Вельск и, представилось мне, что вдруг да Вы видали там «Виноградец».

Б. Шергин

Адрес мой: Москва: Маросейка. Сверчков переулок. Д. 6. кв. 1. Борис Викторович Шергин.

Желаю Вам доброго здоровья.

2

Глубокоуважаемый Владимир Иванович!

Боюсь, что ответы мои не продвинут автора научной статьи.

Календарь для которого делал я обложку датирован или 1915м, или 916м годом. Издания этого я так и не видел.

На выставку 917 года представлял я картон, приблизительно в локоть вышины и ширины. Передний план занимает фигура на костре, (привязанная к столбу).

Писано клеевыми красками. Приобретена была и увезена на р. Печору.

Помните, я перечислял Вам изображения Аввакума, виденные мной на Севере.

В дер. Гачи под Архангельском была «картина» — пустозерское сидение Аввакума. Полунагой сидит и пишет, как бы в избе.

Кругом условный пейзаж. Копия моей работы была в Московском литературном музее.

В Архангельске видел я и делал копию икон Аввакума и Павла Коломенского. Стоят друг против друга. Десницы молебны, в шуйцах свитки.

В Архангельске же у В. Ф. Кулакова (маляр) в 1920 г. (или в 919м?) копировал я икону Аввакума, приблизительно в аршин величины. Изображение прямоличное, в рост, ризы поповские. Стоит на костре «светел гораздо». В правой руке широким жестом поднятое кадило, в левой свиток.

Копии я делал с подлинников, затем в последующие года по памяти. Заказывали любители. На сих изобра-

жениях Аввакума, виденных мною на Севере, тип лица его прослеживается весьма устойчиво, хотя и делано в разное время (конец XVII века и век XVIII) и в разных пошибах. Похоже на лик Предотечи. Власы и брада космами, как у пророков. «Но сей рус, над сед». Только на «картине» в Гачах, Аввакум изображен без нимба.

Кстати, привожу здесь колыбельную песенку, слышанную мною от крестьянки С. И. Черной[1] (Арханг. Обл. Пинежск. р-н).

Петрович — сокол
Улетел высоко.
Выше церковки,
Выше маковки.
Уронил сапожок
На зелёный лужок.
— Прокопьевна, сестрица,
Подай сапожок!
— Брателко, Петрович,
Не слободно подать:
Я в клетке сижу,
Красной смерточки жду!

В устной поэзии исторические имена забываются быстро. Приведённая (сохранность — ?) имен объясняется тем, что С. И. Черная переняла этот текст из «стишника», живя в 1924–5 гг. в Москве на «Братском дворе» (центр филипповщины).

Желаю Вам, Владимир Иванович, время доброго!

Шергин[2]

---

[1] Шергин указывает пинежанку С. И. Черную, как одного из авторов «Пинежского Пушкина» (см. «Пинежский Пушкин»), а также рассказывает её устами сказ «Соломонида золотоволосая».

[2] Слева по краю листа рукой Шергина: «...быть, что запоздал с ответом. Живу в деревне, письма приходят с оказией». Слева от

Письма к Александру Александровичу Горелову

А. А. Горелов — известный исследователь народной культуры, руководитель отдела народной культуры ИРЛИ РАН («Пушкинский дом»), автор множества работ, ответственный редактор «Свода русского фольклора». Ниже приведённые письма Б. В. Шергина были подготовлены Александром Александровичем по нашей просьбе для публикации в настоящем издании и хранятся в его личном архиве. Примечания — А. А. Горелова.

1

Глубокоуважаемый Александр Александрович!

Мне очень приятно было получить от Вас весть. Я сам намеревался напомнить Вам о себе, и вот — получаю интересную Вашу статью о Кирше Данилове[1]. Мне любо видеть в Вас художника-портретиста. Кирша Данилов встает перед нами «прям как жив». «Кирша» казался мне чем-то абстрактным, невнятным. В Вашей работе происходит «вещей обличение невидимых». Вы ставите Киршу Данилова перед нами на лицо. «Прям как жив» — восхищенно говорит один древний путешественник, увидевши в Царьграде отмытую икону князя Бориса.

Александр Александрович, в прошлом году Вы мне прислали № 3 «Русской литературы». В письме Вашем

стиха, рукой Малышева: «Это, наверно, сочинил сам Б. В. Шергин, большой плут по такой части». Мы, однако, иронии Малышева не разделяем. К сожалению, в определённых кругах и по сей день Б. В. Шергина считают мистификатором. См. историю о «подлоге» в биографическом очерке.

[1] Речь идет о статье «Кем был автор сборника “Древние Российские стихотворения”» // Русский фольклор. 1962. Т. VII. М.-Л., 1962. С. 293–312.

Вы изъявили желание, чтобы я изложил мои мысли о слове литературном и о слове устном.[1]

У меня имеется рукопись, где я последовательно закрепил ответы мои на вопросы молодых моих слушателей. В этих «Беседных очерках» я трактую о взаимоотношении литературного языка (книжное славянское наречие) и речи живой, народной.

Молодежь удивлялась и интересовалась тем, что грамматика литературного русского языка в течение ряда столетий была отлична от форм языка русского, разговорного.

Ребята-школьники бывают озадачены, слыша по радио настойчивый, но невнятный постулат: «Учитесь языку у классиков».

Вкратце коснулся я и этой темы. Назвал я мою статью «Слово устное и слово письменное».

Подойдет ли такая тема для альманаха «Русская литература»?

Прошу ответить мне, Александр Александрович, краткой строчкой.

С искренним приветом

Б. Шергин

21. I-63.

Москва, Рождествен. бульвар, д. 10, кв. 6. Борис Викт. Шергин.

---

[1] Будучи ответственным секретарем журнала «Русская литература», я пытался организовать на его страницах дискуссию о современном русском литературном языке. К сожалению, статей по проблемам языка было прислано слишком мало, чтобы такая дискуссия могла состояться. Б. В. Шергин откликнулся названной им рукописью, которая, однако, больше подходила по стилистике для художественного журнала. Тогда я решил передать статью в отдел критики ленинградской «Звезды», и она ее практически незамедлительно напечатала. Этого касаются нижеследующие письма Б. В. Шергина, датированные июнем 1963-го и январем 1964-го гг.

2

Глубокоуважаемый Александр Александрович!

Присылаю обещанные еще зимой очерки «Слово устное и слово письменное».

Я убежден, что литературоведение, искусствоведение, музыковедение — все эти науки тогда становятся живыми, когда начинают «прорастать и зеленеть» в «низах», заинтересуют широкий круг людей.

По летнему, отпускному времени застанет ли Вас рукопись моя в Ленинграде?

Буду ждать ответа.

Всегда желаю Вам, Александр Александрович, сил душевных и веселья сердечного.

Б. Шергин

P. S. Если — принципиально — статья годится для альманаха, прошу ходатайства Вашего о присылке мне аванса.

Б. Шергин.
14.VI-63.
Адрес:
Москва
Рождеств. бульвар, д. 10, кв. 6.
Бор. Викт. Шергину. Тел. 61-36-59.

3

Дорогой Александр Александрович!

Я получил экземпляр «Звезды» с моей статьей[1]. Большое Вам спасибо за Ваше, столь деятельное, внимание.

---

[1] *Шергин Б.* Слово устное и слово письменное. «Беседные очерки» // «Звезда». 1963, № 12. С. 154–159.

Как хорошо бы побеседовать с Вами «с очей на очи».

В Новом Году желаю Вам сил творческих, здравия многолетнего.

I. 1964. Б. Шергин

АВТОБИОГРАФИИ Б. В. ШЕРГИНА

Автобиографические сведения широко рассыпаны в дневниках писателя и, быть может, лучшей его автобиографией является сам дневник.

Мы выбрали две краткие автобиографии: первая написана, видимо, для какого-то советского учреждения в годы войны (?) и опубликована Ю. М. Шульманом[1].

Борис Викторович Шергин родился в 1896[2] г. в г. Архангельске в семье архангельского помора и корабельного мастера, служащего Мурманского пароходства.

Окончив Архангелогородскую классическую гимназию, я учился затем в Москве, в Строгановском художественном училище.

Восприняв от поморов сказителей богатство устного народного слова, я начал выступать с 1915 с былинами и сказками.

Обширность и музыкальность моего репертуара послужили темой многочисленных ученых докладов, главным образом, в Москве.

В 1916 г. Академия наук командировала меня в Архангельскую и Вологодскую губернии для определения границы поморских и вологодских диалектов. В это

[1] *Шульман Ю. М.* Запечатленная душа. С. 281–283.

[2] Так в рукописи. Действительно — в 1893 году.

время я начал печататься в изданиях «Архангельского общества изучения Севера» (1915–1919), [подготовил] сборник сказок «На Севере дальнем».

В 1919 г. я, попав под трамвай, потерял правую ногу, пальцы левой ноги. С 1919 г. до включительно 1921 г. был художником-инструктором при Архангельском Совнархозе, не переставая собирать и изучать северные наречия и народное художественное слово.

В конце 1921 г. я был приглашен в Москву в Институт Детского чтения Наркомпроса для организации фольклорного бюро, также в качестве художника-рецензента по оформлению и иллюстрации детской книги. Мои научные статьи и доклады печатались в «бюллетенях» Детской литературы и в журнале «Новая детская книга» 1922–1930 г.

В качестве научного работника первого разряда я работал в системе Наркомпроса непрерывно с 1921 г. по 1930 г.

Кроме научной работы, я печатался в это же время как писатель-беллетрист почти во всех детских журналах и газетах. Отдельными книгами за это время вышел сборник былин-новелл «У Архангельского города», ГИЗ, 1924 г. и «Приключения Шиша Московского» ГИЗ, 1930 г.

Кроме текста, я всегда был и художником-иллюстратором своих произведений.

Будучи литературным научным работником и художником, я вел художественное рассказывание в самых разнообразных аудиториях — Москвы, Ленинграда, Калинина и т. д.

В 1929 г. на почве постоянных головных болей и прогрессирующей близорукости я потерял зрение в правом глазу (кровоизлияние).

Это не помешало мне предпринять большую работу по собиранию советского эпоса. Собранные и обрабо-

танные мною материалы заслужили достаточное количество хвалебных отзывов.

С 1933 г. я состоял в Оргкомитете Московских писателей. В 1934 г. был принят в члены Союза Советских писателей. От Московской организации был избран делегатом на Всесоюзный съезд писателей 1934 года.

С 1933 по 1936 г. я выступал с чтением своих рассказов на радио.

Несмотря на трудность передвижения (я ношу протезы), прогрессирующую близорукость и гипертонию, я продолжал работать и печататься как писатель и как художник-график.

Мною собран и начат обработкой громадный устно-поэтический материал по философии труда и ремесла. По этой линии Гослитиздат заключил со мной договор на книгу «Народ-художник». К несчастью, новое кровоизлияние в единственном моём рабочем левом глазу сделало меня по-видимому окончательным инвалидом. С конца ноября 1940 г. я уже не могу читать и писать.

За последние два года усиливающаяся по вине болезни нужда заставила меня продать книги, мебель и кругом задолжать.

Я имею на своём иждивении моего двоюродного брата, инвалида 2-ой группы, получающего 50 р. пенсии, но и являющегося бессменным моим секретарём. На моём иждивении находится племянник — студент музыкального училища. Оба они живут со мной. Бедственное положение моё и моей семьи вынуждает меня просить о пенсии. К сказанному не могу не прибавить, что живу в сыром и тёмном подвале.

II

По просьбе писателя и художника Юрия Коваля Борис Викторович Шергин 3 января 1970 года задиктовал

свою биографию, записанную рукой его сестры — Ларисы Викторовны:

«Богатство северорусской речи известно. Не только беседная речь, но и домашний обыденный разговор изобилует оригинальностью речевых оборотов. Бесконечно богат и речевой словарь, при этом чисто русский. Но уважали книги с содержанием героическим. Юмористических книг и журналов не читали.

Однажды я дал старику, моему дяде, комплект юмористического журнала “Будильник”. Он вернул мне журнал со словами: “Что же отсюда можно вынести?”

В Архангельске почти в каждом доме была и русская классическая литература. Но романы русские и западноевропейские пересказывались богатейшей северорусской речью.

Северные люди — мореходцы, много видевшие и слышавшие, не имели обычая записывать свои приключения. Интереснейшие свои встречи и приключения излагали они зимою в семейном кругу.

Я, Б. Шергин, напечатал свой первый рассказ в одной из архангельских газет, когда мне было девятнадцать лет. Но мастерство устного рассказывания, по силам моим, я воспринял много раньше.

Первым моим серьезным рассказом я считаю легенду “Любовь сильнее смерти”, напечатанную в 1919 году.

Здесь надобно подчеркнуть, что с детских лет меня прельщали кисти и краски. Я расписывал двери, шкафы, сундуки, посуду. Поэтому, приехав в Москву, я был зачислен в ученики московского Строгановского художественно-промышленного училища. Это был важный этап в моей жизни.

Но как раз в это же время Москва и Петроград переживали увлечение русским народным словом. Усвоенный мною с детства северный фольклор оказался

как нельзя более кстати. Я выступал в вузах, средних школах, собраниях художников. Наиболее культурная аудитория особенно оценила исполнение былин в их подлинном звучании. Учащиеся особенно любили рассказы с интересной отчетливой фабулой. Младший возраст любил сказки и прибаутки.

В 1924 году издан был в Москве сборник былин с моими иллюстрациями под названием “У Архангельского города, у корабельного пристанища”.

В 1936 году выходят “Архангельские новеллы” (М.: “Советский писатель”) — сборник новелл и сказок, бытовавших на Севере, слышанных от бывалых людей.

В 1939 году вышла книга “У песенных рек” с моими рассказами-новеллами. Половину материала этой книги представляют собою мысли, афоризмы, суждения народные о замечательных людях и деяниях нашего времени.

В 1947 году вышла книга “Поморщина-корабельщина” (М.: “Советский писатель”) — это также запись устных моих рассказов о Севере.

Отдельные сказки, рассказы, новеллы печатались в “Литературной газете”, “Известиях”, “Ленинградской правде”, в газетах, издаваемых в Архангельске, в журналах “30 дней”, “Октябрь”, “Смена”, “Пионер”, “Вокруг света”, “Нева”, “Колхозник”.

В этом цикле А. М. Горький считал лучшим сказ “Рождение Корабля”.

В 1957 году Детгиз издал большую книгу “Поморские были и сказания”, оформленную В. А. Фаворским.

...И в устных моих рассказах и в книгах моих сохраняю я особенности северной речи, и слушатели и читатели мои ценили и ценят этот мой стиль.

В богатстве русского языка можно убедиться, не только слушая живую речь.

Приведу такой факт: из Соловков привезены были сундуки с церковными облачениями. На одном из сундуков была позднейшая наклейка “Белые одежды”. На первый взгляд все одежды были белые. Но был к сундукам приложен старый инвентарь, и у составителя, человека XVIII века, вкус и взгляд были более тонкие и острые, чем у нас. Наше поверхностное понятие “белый” он заменяет словами: цвет сахарный, цвет бумажный, цвет водяной, цвет облакитный (облачный). Мы бы сказали — муаровый.

На другом сундуке тоже новейшая наклейка “Красный цвет”. Но старинный составитель инвентаря вместо слова “красный” употребляет слова: цвет жаркий (алый), цвет брусничный, цвет румяный.

Таково же определение тонов желто-зеленых: цвет светло-соломенный, цвет травяной, цвет светло-осиновый.

Слово “красный” употреблялось в смысле красивый. Народ и сейчас говорит: красная девица, Красная площадь»[1].

Текст, на взгляд Ю. Коваля, не был завершен, и он спросил об этом Бориса Викторовича, на что тот печально пошутил: «Какой будет финал — это ясно... Да что ещё говорить. Хватит» и добавил: «Биография писателя — его отношение к слову... остальное факты жизни».

[1] Печатается по воспоминаниям Ю. Коваля: «Опасайтесь лысых и усатых», М., 1993. С. 277–278.

СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ
(Из воспоминаний о Б. В. Шергине)[1]

Три русских прозаика, встречавшиеся с Борисом Викторовичем Шергиным в последние годы его жизни, оставили воспоминания о нём. И все трое, не сговариваясь, подчеркивали в облике старого писателя особую, внутреннюю красоту, отмечали в его внешности черты, вызывающие в памяти иконописные и житийные изображения святых.

Фёдор Абрамов увидел Шергина таким:

«...хорошо помню его светящийся лик (ничего больше подобного не видал), его неторопкую, умиротворяющую речь. Как ручей в белой ночи... И еще помню, как светло было у меня на душе, когда вышли. Как в детстве, когда выходил из церкви на Пасху. И по-иному выглядело всё на улице. Пахло весной. И люди все хорошие. <...> Впечатление. Побывал в XVI–XVII веках, а может быть, у истоков. Святой, и вещий баян, и монах, и летописец. <...> Вышел с ощущением святости. <...> Комната — подвал. К вечеру было дело, темновато. <...> Но — свет. Свет от старичка на кроватке. Как свеча, как светильник. В памяти вставал почему-то Зосима Достоевского, в последний раз наставляющий Карамазовых, деревенские старики, которые уже «сожгли» всю свою плоть. Бесплотные, бестелесные... <...> Впечатление — благость, святость, неземная чистота, которая есть в картинах Вермеера Делфтского. Слепой старик. А весь светился. <...> Праведник, святой в наши дни — не чудо ли?»[2].

---

[1] Эта подборка выполнена совместно с Е. Ш. Галимовой.

[2] *Абрамов Ф. А.* Слово в ядерный век: Статьи; Очерки; Выступления; Интервью; Литературные портреты; Воспоминания; Заметки. М., 1987. С. 417, 421–423.

Юрий Коваль, который был не только писателем, но и художником, сумел и словесный портрет Шергина сделать выразительным, запоминающимся:

«Борис Викторович сидел на кровати в комнате за печкой. Сухонький, с прекрасной белой бородой, он был все в том же синем костюме, что и в прошлые годы. Необыкновенного, мне кажется, строя была голова Бориса Шергина. Гладкий лоб, высоко восходящий, пристальные, увлажнённые слепотой глаза и уши, которые смело можно назвать немалыми. Они стояли чуть не под прямым углом к голове, и, наверное, в детстве архангельские ребятишки как-нибудь уж дразнили его за такие уши. Описывая портрет человека дорогого, неловко писать про уши. Осмеливаюсь оттого, что они сообщали Шергину особый облик — человека, чрезвычайно внимательно слушающего мир». *Юрий Коваль вспоминает о том, что, взглянув на нарисованный им портрет Бориса Викторовича, сестра Шергина ответила на вопрос слепого брата, получился ли рисунок, так:* «Ты похож здесь на Николая-угодника». А сам Коваль замечает: «Лариса Викторовна ошиблась. Облик Бориса Викторовича Шергина действительно напоминал о русских святых и отшельниках, но более всего он был похож на Сергия Радонежского».[1]

Владимир Личутин тоже подмечает сочетание в облике Шергина черт немощной старости, неприглядности и побеждающей плоть, проступающей сквозь ветхую оболочку внутренней красоты:

«Почитай, уж тридцать лет минуло, как повстречался с Борисом Шергиным, но весь он во мне, как окутанный в сияющую плащаницу неизживаемый образ. <...> ...согбенный старик, совсем изжитой какой-то, бесплотный. Просторно полощутся порты, рубаха враспояску

[1] *Коваль Ю.* Там же. С. 269 или: Веселье сердечное // «Новый мир». 1988. № 1. С. 153–154.

на костлявых тонких плечах... <...> я поразился вдруг, какое же бывает красивое лицо, когда оно омыто душевным светом... от всего одухотворенного обличья исходит та постоянная радость, которая мгновенно усмиряет вас и укрепляет. Осиянный человек сердечными очами всматривается в огромную обитель души, заселённую светлыми образами, и благое чувство, истекая, невольно заражало радостью и меня. Я, молодой свежий человек, вдруг нашел укрепу у немощного старца».[1]

А художник И. С. Ефимов писал о Борисе Викторовиче так:

«Я считаю пропащим каждый день, когда не слышу Шергина.

Позвольте сказать о непонятном и страшном явлении действительности: последний подлинный голос древней страны беломорских мореходов, кровь от крови их, по какой-то непонятной гримасе судьбы, лишен возможности служить нашей Родине. А голос этот поднимает в душе каждого глубокие, истовые и добротные чувства. Б. В. Шергин — сказитель, дающий возможность слышать неискаженный голос предков.

У него хранятся записи и материалы о старинных мастерах резьбы, крестьянской росписи, древнему кораблестроению.

Иметь счастье жить с ним в одной эпохе и не слыхать, не знать — это непоправимое несчастье. И в нашу ли эпоху может совершиться такая ошибка, что бы эти жемчужины русской речи пропали, засыпанные и раздавленные мусором убогой жизни, в котором этот несчастный человек живёт в преклонном возрасте.

Самое, может, важное, даже не успокоение его старости, а судьбы овеществлённого наследия, которое может быть просто выброшено. В жизни могут происходить

[1] *Личутин. В.* Моё упование в красоте Руси // «Ясная поляна». 1997. № 1. С. 338–340.

страшные невозвратные гибели. Страшно присутствовать беспомощным зрителем.

Вчера вечером был у Шергина и как всегда жалею, что не каждый день бывал. Так густа, насыщена его речь. Пишет книгу вместе с моряком о поморских древних корабельщиках. Оказывается, на канале Москва-Волга зря стоят каравеллы Колумба — наши были выше качеством по тому времени. [...]

Рядом с ними всегда на высоком доме селятся ласточки. И Шергин записывает, когда они прилетели. Не иначе, как к нему прилетают. Мы, смертные, никогда в Москве ласточек не видим. Он говорит, что они всю ночь носятся, режут воздух со скрипом, а встают поздно. Аристократы. А воробьи и ложатся и встают рано. Удивительно, какие у него кладези и в душе и в памяти. Архангельская, Белого моря культура.

И какие клады он с собой унесёт. На много бы людей его духовной пищи хватило.

Рассказал, что на Троицу «о во аде držимых» молятся, «о руку на себя наложивших», о которых всегда молиться не полагается.

Шергин говорит: «У меня ум поворачивается, как исподний жернов»

Шергин про зимовку на Новой земле: «Зима кончилась, солнышко показалось, мы ему в ноги поклонились».

Шергин рассказал, что на Севере особенно заслуженную лошадь хоронят в праздничной сбруе серебряной. Рекрут, прощаясь, кланяется в ноги отцу, матери и лошади.

Шергин: «Лучше умного хула, чем глупого хвала».[1]

Ефимов не зря беспокоился о сохранности архива Шергина...

[1] *Ефимов И. С.* Об искусстве и художниках. М., 1977. С. 196–197. Записки, по всей видимости, относятся к периоду сотрудничества с К. С. Бадигиным (1951–53 гг.).

ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИИ

История публикации литературного наследия Б. В. Шергина отчасти просматривается по располагаемой ниже краткой библиографии. В своё время творчеством Шергина интересовались многие: друзья Шергина, исследователи его произведений. Так в отделе народного творчества ИРЛИ АН («Пушкинский дом») наследием Шергина заинтересовались П. С. Выходцев и его аспирант Ю. М. Шульман. В настоящее время основная часть Шергинского архива передана в Рукописный отдел Пушкинского дома (фонд 278). Там находятся многочисленные рукописи (в том числе и неопубликованные) его произведений и дневников (1920–1960 гг.), а также различного рода документы, рисунки, фото, рассказ М. Барыкина, стихи о Шергине Столбова, воспоминания о А. В. Кроге, письма к Шергину и письма (черновики?) самого Шергина к К. Бадигину, М. Барыкину, А. Горелову, И. Ефимову, А. Крогу, Лунину, О. Озаровской, С. Писахову, Резановым, Смирнову. Как указывалось выше, письма к В. И. Малышеву находятся в Малышевском фонде (ф. 494), письма к Ю. М. Соколову в ЦГАЛИ (ф. 483), а письма к А. А. Горелову — в его личном архиве.

Большую подборку из дневников Б. В. Шергина подготовил и опубликовал Ю. Ф. Галкин: «Из дневников разных лет, Поэтическая память» (1978), а также — в «Изящных мастерах» (1990) и в журнале «Москва» за 1996 год и др. Основу его публикаций составляла часть архива, переданная ему названным сыном Бориса Викторовича — Михаилом Барыкиным. Как рассказывал нам Юрий Федорович: «Михаил вытащил из-под кровати чемодан и показал тетрадки...». Юрий Федорович взял несколько, переписал. Позже вернул эти и взял

ещё несколько и так далее — почти все они вернулись в упомянутый чемодан и оставались в квартире (Рождественский бульвар, 10, кв. 6). Это было вскоре после кончины Бориса Викторовича — в конце 1973 года... Позже остававшиеся рукописи в большинстве были приобретены «Пушкинским домом», но частично остались на квартире — у Ю. М. Шульмана («Архив Б. В. Шергина» — см. «Запечатленная душа»).

Многочисленные публикации, подготовленные Ю. М. Шульманом (основная — журнал «Москва», 1994, № 4, 5), отчасти перекликаются (в некоторых случаях под другими датами) с публикациями Ю. Ф. Галкина, а так же с публикациями, предпринятыми в Пушкинском доме А. Н. Мартыновой и И. А. Красновой («Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома» за 1994 год (СПб., 1998) и за 1997 год (СПб., 2002)).

Повторы можно объяснить тем, что — либо черновые листы записей одних дат случайно попали в папки с другими записями, либо какие-то фрагменты Б. В. Шергин намеренно использовал и переписывал, вставляя в новые места. Либо (и это вероятнее всего) публиковались тексты, существующие в единственном экземпляре, но разные публикаторы датировали их по-разному, по-разному сокращали. В любом случае мы при подготовке к печати оставляли более полный, законченный вариант. Большая сложность обнаружилась и с датами, которые Борис Викторович не всегда ставил в рукописи, особенно, если учесть, что рукописи были перепутаны и разобщены, а публиковались фрагментами.

Позже Ю. Ф. Галкин передал свою часть архива (несколько тетрадей, что оставались у него на руках) на хранение в Архангельский музей Б. М. Егорову. И мы надеемся, что Борис Михайлович (как и Юрий Михайлович Шульман) издадут имеющиеся у них части дневников, а «Пушкинский дом» закончит эпопею публика-

ций своих сокровищ. Тогда станет возможным создать действительно полный свод шергинских записей. На сегодня же мы собрали всё возможное: иные фрагменты увидят свет впервые, иные, уже публиковавшиеся (но без дат), выйдут под датами, сведённые в один текст в хронологическом порядке. Эта работа стала возможной благодаря труду Елены Шамильевны Галимовой, подготовившей тексты дневников к печати, и дружеской помощи Бориса Михайловича Егорова, который помог установить датировку своей части шергинского наследия.

Дневниковые записи Бориса Викторовича в большинстве случаев не предназначались для стороннего взгляда, но, вместе с тем, и не без надежды на дальнего читателя. Мы сохраняем написание и орфографию (за небольшими исключениями). Здесь — наедине сам с собою, с далёким ли собеседником или предстоя пред Богом в своих размышлениях, — Борис Викторович был свободен в своей речи: как говорится, как мыслится, так и писал (так и на магнитофонных записях). Местами речь литературная, местами — где надо — разговорная московская, местами, где о Севере (и особенно в прямой речи оживших героев), Шергин переходит на северный диалект. Порой записи эти совсем не рассчитаны на чтение, как записки перед исповедью: одному только батюшке показать, порвать и — в печку... Но Бог нас простит — свою главную исповедь Борис Викторович уже принес Господу... А нам — «Слово на пользу»...

А. В. Грунтовский

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Произведения Б. В. Шергина

Книги

У Архангельского города, у корабельного пристанища: Сб. старин / Текст и рис. Б. В. Шергина. Предисл. А. К. Покровской. Муз. записи С. Е. Протопопова. — М.: Гос. изд-во, [1924]. — 52 с.: илл., ноты.

Шиш Московский / Худ. А. Самохвалов. — М.; Л.: Госиздат, 1930. — 80 с.: илл.

Архангельские новеллы / Предисл. и рис. Б. В. Шергина. — М.: Советский писатель, 1936. — 192 с.: илл.

У песенных рек / Худ. Б. В. Шергин. — М.: Гослитиздат, 1939. — 196 с.: илл.

Поморщина-корабельщина / Худ. А. Усачев. — М.: Советский писатель, 1947. — 244 с.: илл.

Поморские были и сказания / Вступ. ст. Н. Емельяновой. Худ.: В. А. Фаворский, А. Ф. Билль. — М.: Детгиз, 1957. — 272 с.: илл., портр.

Авдотья Рязаночка: Былины в пересказе Б. Шергина / Предисл. авт. Худ.: В. А. Фаворский, А. Ф. Билль. — М.: Детгиз, 1958. — 32 с.: илл. — (Книга за книгой).

Океан-море русское: Поморские рассказы / Предисл. А. Югова. Послесл. В. Сякина. Худ. В. Бродский. — М.: Молодая гвардия, 1959. — 352 с.: илл.

Илья Муромец: По мотивам былин / Худ. П. Павлинов. — М.: Детгиз, 1963. — 70 с.: илл., ноты.

Добрый молодец: Русские пословицы / Сост. и авт. предисл. Б. В. Шергин. Худ. Г. Валек. — М.: Дет. лит., 1964. — 32 с.: илл. — (Шк. б-ка).

Запечатленная слава: Поморские были и сказания / Предисл. автора. Худ. Э. Аронов. — М.: Советский писатель, 1967. — 439 с.: илл., портр.

Незабудки: Пословицы в рассказах / Худ. Ю. Авдеев. — М.: Дет. лит., 1969. — 30 с.: илл., портр. — (Книга за книгой).

Гости с Двины: [Былины, сказания] / Предисл. Б. В. Шергина. Худ.: А. Ф. Билль, М. С. Чуракова, Ф. Д. Константинов, В. А. Фаворский. — М.: Дет. лит., 1970. — 64 с.: илл., портр.

Небылицы в лицах / Худ. В. Лосин. — М.: Малыш, 1970. — 45 с.: илл.

Гандвик — Студёное море: Сказы, были, новеллы / Вступ. ст. В. Сякина. Худ. А. Т. Наговицын. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971. — 206 с.: илл.

Избранное / Сост. и авт. вступ. ст. Ю. Ф. Галкин. Худ. Г. Бурмагина. — М.: Советская Россия, 1977. — 382 с.: илл., портр.

Поэтическая память / Сост. и авт. вступ. ст. Ю. Ф. Галкин. Послесл. В. Гусева. — М.: Советская Россия, 1978. — 128 с. — (Писатели о творчестве).

Сказы и сказки / Сост. и вступ. ст. А. А. Горелова. — М.: Современник, 1983. — 365 с.

Повести и рассказы / Послесл. Ю. М. Шульмана. — Л.: Лениздат, 1984. — 495 с. — (Мастера русской прозы XX века).

Древние памяти: Поморские были и сказания / Вступ. ст. А. Налепина. Сост. и научн. подгот. текста Л. Ю. Шульман. Худ. Ю. Бажанов. — М.: Худ. лит., 1989. — 558 с.: портр.

Изящные мастера: Поморские былины и сказания / Сост., предисл. и сопровод. тексты Ю. Ф. Галкин. Худ. Ю. Фролов. — М.: Молодая гвардия, 1990. — 430 с.: илл.

Поклон отцу = Et bukk for far: [Рассказы] / Арханг. лит. музей. Сост., вступ. ст., пер. с русск. на норв. М. Бьеркенг. — Архангельск: Правда Севера, 2002. — 355 с.: илл. — Текст паралл.: русск., норв. — В кн. также: фот. Б. В. Шергина из архива Арханг. лит. музея.

Дневники

Из дневников разных лет // Поэтическая память (1978) — см. п. 17 (а также см. п. 19 и п. 20).

Из дневников 1942–1953 годов // Изящные мастера (1990) — см. п. 21.

Дневники 1942–1968 гг. // Подгот. текста Е. А. Шульман. Сост. и примечания Ю. М. Шульман / Москва. 1994, № 4, 5.

Записи 1946 года // Предисл., подготовка текста, примеч. Ю. Ф. Галкина // Москва. 1996, № 5 и др.

Литература о жизни и творчестве Б. В. Шергина (краткий перечень)

Книги

Галкин Ю. Ф. Борис Шергин: Златая цепь. — М.: Советская Россия, 1982. — 172 с. — (Писатели Советской России).

Галимова Е. Ш. Книга о Шергине. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1988. — 124 с.

Дегтярева В. С. Борис Шергин: Генезис литературного творчества. — М.: Компания «Спутник+», 2003. — 56 с.

Шульман Ю. М. Запечатленная душа: (Очерк жизни и творчества Бориса Шергина). — М.: Фонд Бориса Шергина, 2003. — 288 с.: илл.

Наследие Бориса Шергина: Сб. ст. / Сост. и отв. ред. Е. Ш. Галимова. — Архангельск: Поморский ун-т, 2004. — 108 с.

Галимова Е. Ш. Домострой Бориса Шергина. — Архангельск: [б. и.], 2005. — 64 с.

Галимова Е. Ш. Земля и небо Бориса Шергина. — Архангельск: Поморский ун-т, 2008. — 223 с.: портр.

Публикации в коллективных сборниках и периодических изданиях

Югов А. Северный кормщик слова // Литература и жизнь. — 1958. — 13 июня. — С. 3: портр.

Померанцева Э. В. Писатель-сказитель // На рубеже. — 1960. — № 5. — С. 122–124.

Арбат Ю. А. Любовь без хитрости: Борис Викторович Шергин // Детская литература. — 1966. — № 12. — С. 41–42, 2-я с. обл.: портр.

Томашевский Ю. Российской словесности мастер: К 70-летию Б. В. Шергина // Литературная газета. — 1966. — 6 авг. — С. 2–3.

Осетров Е. И. Поэтическая душа Севера // Русская речь. — 1969. — № 4. — С. 21–22.

Бражнин И. Я. Три жизни — три сказки: Волшебное кольцо и волшебное слово // Аврора. — 1971. — № 5. — С. 46–50.

Александрова Е. Богатырщина народной жизни // Детская литература. — 1972. — № 8. — С. 49–53: портр.

Дмитриев Л. А. Житийные повести Русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. — Л.: Наука, 1973. — С. 244–245, 247.

Горелов А. А. «Ему не будет перемены» // Горелов А. А. Соединяя времена. — М.: Современник, 1978. — С. 161–190.

Лойтер С. М. Фольклорные сюжеты и образы в книгах Б. Шергина для детей // Проблемы детской литературы. — Петрозаводск, 1979. — С. 78–95.

Лойтер С. М. Отцово знание // Север. — 1980. — № 10. — С. 115–121.

Лойтер С. М. «Старины» Б. В. Шергина и народные эпические песни // Проблемы изучения русского народного поэтического творчества: (Взаимовлияние фольклора и литературы). — М., 1980. — С. 141–154.

Галкин Ю. Ф. Заповедь: О рассказах Б. В. Шергина // Литературная учеба. — 1981. — № 6. — С. 138–147.

Галкин Ю. Ф. Свет негасимый // Север. — 1981. — № 10. — С. 111–119.

Пономарев Б. С. Тайна волшебного слова // Пономарев Б. С. Литературный Архангельск. — Архангельск, 1982. — С. 62–65.

Галимова Е. Ш. Родословная «Вани Датского» // Правда Севера. — 1983. — 21 авг.

Галимова Е. Ш. «Российской словесности рожденный сын» // Правда Севера. — 1983. — 29 июля.

Шульман Ю. М. Природа в творчестве Б. В. Шергина // О литературе для детей. — Л., 1984. — Вып. 27. — С. 77–86.

Абрамов Ф. А. Борис Шергин // Абрамов Ф. А. Слово в ядерный век. — М., 1987. — С. 416–426.

Коваль Ю. И. Веселье сердечное: [Из воспоминаний о писателе Б. В. Шергине] // Новый мир. — 1988. — № 1. — С. 152–172.

Личутин В. В. «Мое упование в красоте Руси»: О Борисе Шергине // Писатель и время: Сб. док. прозы. — М., 1988. — С. 494–498.

Соколова О. Пращур: [Очерк творчества Б. В. Шергина] // Современная драматургия. — 1989. — № 4. — С. 178–182.

Галкин Ю. Ф. О Шергине // Слово. — 1990. — № 3. — С. 8–9.

Михайлов А. А. Смиренный архангелогородец // Слово. — 1993. — № 7/8. — С. 68–73.

Шульман Ю. М. Светлая душа: Пролог словесного художества Б. В. Шергина // Белый пароход: Лит.-худож. альм. — Архангельск, 1993. — Вып. 2. — С. 3.

Голубков Д. Н. «...В ритме сердца, размером судьбы»: Воспоминания о Борисе Шергине // Белый пароход: Лит.-худож. альм. — Архангельск, 1994. — Вып. 1. — С. 62–64.

Шульман Ю. М. Личность над временем: О религиозной основе творчества Бориса Шергина // Москва. — 1994. — № 3. — С. 84–89.

Скепнер Л. С. Держатель чудесного сказа: О Борисе Викторовиче Шергине (1893–1973) // Литературный Север: Кн. для учащихся 5–8 кл. — Архангельск, 1995. — С. 102–107.

Дюжев Ю. И. Хранитель народной памяти // Север. — 1999. — № 3. — С. 142–158.

Крупина Н. Л. Б. В. Шергин: Обыкновенное чудо // Литература в школе. — 2000. — № 7. — С. 38–43.

Петухов С. В. Устойчивые образы-символы в художественном мире Б. В. Шергина // Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 9. Филология. — Сыктывкар, 2001. — Вып. 4. — С. 64–74.

Грунтовский А. В. Материк Россия: Слово о русской словесности. — СПб., 2002. — С. 268–291.

Григорьева Л. Г. Творчество Б. В. Шергина как свидетельство взаимосвязей между Россией и Скандинавией // Народные культуры Русского Севера: Фольклорный энтитет этноса. — Архангельск: ПГУ им. М. В.Ломоносова, 2002. — С. 156–162.

Дюжев Ю. И. Б. В. Шергин // Дюжев Ю. И. История русской прозы Европейского Севера первой половины XX века. — Петрозаводск, 2002. — С. 174–200.

Овчинникова Л. В. Фольклорно-литературные сказки как составная часть отечественного литературного процесса 20–50-х гг. XX в. (Б. В. Шергин) // Русская словесность. — 2002. — № 3. — С. 15–20.

Скепнер Л. С. «Читаешь, и такой свет в душу льется...»: Творчество Б. В. Шергина в школьном изучении // Скепнер Л. С. Словесное искусство Русского Севера в литературном образовании и развитии школьников: Кн. для учителя. — Архангельск, 2002. — С. 59–77.

Галимова Е. Ш. Год Бориса Шергина: [2003 год объявлен в Архангельске годом Шергина] // Двина. — 2003. — № 1. — С. 24–25.

Галимова Е. Ш. Духовное зрение Бориса Шергина // Новая книга России. — 2003. — № 6. — С. 23–25.

Галимова Е. Ш. Станем ли мы наследниками Шергина? // Двина. — 2003. — № 4. — С. 11–14.

Коняев Н. М. Живая вода русского сказа // Коняев Н. М. Рубцовский вальс: Апология русской судьбы. — М.: Русь, 2005. — С. 179–188.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Викторович Шергин
Праведное солнце. Дневники разных лет

Редактор Чех. А.
Корректор Николаева Н.
Верстка Марусова О.

ООО СПИФ «Библиополис»
198052, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, 17
Телефоны: (812) 710-18-90, 710-12-47
Интернет сайт: www.bibliopolis.ru
Электронная почта: info@bibliopolis.ru

Подписано в печать 14.06.09.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Объем 41 п. л.
Печать офсетная, бумага офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ № 16596.

Отпечатано по технологии CtP
в ОАО «Печатный двор» им. А. М. Горького.
197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15